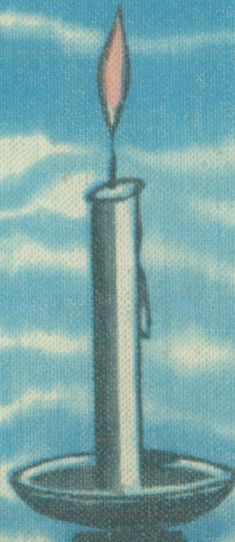


*Жоржи Амаду*

*Жоржи Амаду*



ЖУБИАБА\*МЕРТВОЕ МОРЕ





МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1973



*Жоржи Амаду*

ЖУБИАБА



МЕРТВОЕ МОРЕ

*Перевод с португальского*

И (Латин)  
А 61

**Jorge Amado**

**Jubiabá**

**1935**

**Mar morto**

**1936**

**Предисловие**

**И. ТЕРТЕРЯН**

**Художник**

**В. ЮРЛОВ**

**Портрет работы бразильского художника**

**АЛЕМИРА МАРТИНСА**



## БАИЯ, ДОБРАЯ И СУРОВАЯ ЗЕМЛЯ БАИЯ

**П**ередо мной лежит сверкающая многоцветной печатью, великолепно изданная книга. Она называется «Баия, добрая земля Баия». Ее авторы: писатель Жоржи Амаду, фотограф Флавио Дамм и художник Карибе. Определить жанр этой книги трудно — художественный альбом, этнографическое и социологическое исследование и поэма, вдохновенная поэма в прозе — все сразу. Зато нетрудно определить чувство, которое подвигло авторов (и других художников, журналистов, историков, помогавших авторам собирать материал) на этот труд, — пылкая влюбленность в свой город, такой удивительный, не похожий на все города мира.

Баия (полное имя, данное городу португальскими колонизаторами, было Сан-Салвадор-да-Баия) лежит на северо-востоке Бразилии, на берегу уютной бухты. Город раскинулся вдоль пляжей залива, карабкается вверх по склонам холмов. Ослепительная тропическая красота: бирюзовое море, почти всегда такое же бирюзовое небо с полуденным солнцем. Старинные особняки, соборы, церкви, выстроенные в XVII и XVIII веке в пышном стиле барокко... Как во всяком жарком приморском городе, жизнь здесь протекает главным образом на улице, всегда заполненной пестрой толпой: здесь торгуют, устраивают представления, играют в азартные игры, дерутся, зазывают, бьются об заклад... Все это еще не так удивительно, много других таких же красивых и шумных городов в мире. Особость и удивительность Баии — баиянского образа жизни — корнями уходит в историю этого города.

Баия была одним из первых центров (вернее сказать, ворот) португальской колонизации Бразилии. Здесь складывалась классическая система плантационного хозяйства, основанного на рабском труде, сюда плыли караваны негров-рабов из Африки, когда выяснилось, что аборигены страны — индейцы — плохо выживают в неволе. Здесь бурно шел процесс смешения рас: португальцы женились или брали в наложницы негритянок и индейок — постепенно росло смешанное, метисное население Баии, где теперь можно увидеть любые оттенки цвета кожи и где подавляющее большинство составляют не белые, не черные, а мулаты и метисы, потомки всех трех скрестившихся рас.

Важным результатом этнического смешения было формирование особой народной культуры. Самым активным элементом этого процесса были негры. В течение столетий негры сохраняли африканские языческие культы, держались за них тем упорнее, чем злее преследовали их белые сеньоры и католические миссионеры. Это было формой протеста против рабства. Негритянские верования сливались с близкими по языческому духу верованиями индейцев, таких же преследуемых и угнетенных. Когда негров и индейцев насильственно обращали в католичество, они приспособливали новую религию к своим языческим культам. Католические святые отождествлялись с идолами, с «ориша» — божествами негритянского «Олимпа». Так, святая троица христиан превратилась в могучего ориша Ошала, который может появляться то в виде юноши Ошоднана, то старца Ошолуфана. Святой Георгий, поражающий дракона, показался вполне подходящим для бога охоты Ошосси. Но и белые люди, столкнувшись с чужой и опасной природой тропиков, легко перенимали негритянские и индейские поверья. Более того, влияние негритянского и индейского мировос-

приятия как бы «проявило», усилило и сохранило языческие, дохристианские элементы в иберийском фольклоре, привезенном португальцами.

Стойкой и отчаянной борьбой бразильские негры добились не только отмены рабства (в 1888 году), юридического равноправия, но и — значительно позже — признания права сохранять свои племенные культы. Однако к тому времени эти верования и культовые обычаи стали достоянием всего пестрого населения Баии. Католические священники вынуждены были мириться с тем, что праздники католических святых сопровождаются языческими процессиями и танцами, что, начавшись утром в церкви, праздник заканчивается ночью на радении — кандомбле (или макумбе). Сейчас, в наши дни, языческие капища — террейро — регистрируются властями как «любительские общества», и полиция более не врывается и не разгоняет участников кандомбле. Баиянские художники, поэты, композиторы — свои люди на кандомбле, а Жоржи Амаду даже избран ога (старейшиной) одного из самых многолюдных террейро — Опо Афонжа, — и на радении он занимает почетное кресло рядом с жрицей, Матерью святых.

Конечно, Амаду и его сотоварищи по искусству не потому посещают кандомбле, что верят в магическую силу Матери святых или в то, что бог Шанго вселяется во время ритуального танца в одну из молоденьких жриц-наво. Кандомбле — настоящий праздник народного искусства, парад разных его видов. Барабаны и погремушки выбивают причудливые ритмы — во всем мире молодежь танцует под мелодии самбы и босса-новы, родившиеся из бразильских ритуальных ритмов. В иступленном танце кружатся мужчины и женщины, они обожествляют танец, верят, что божество выказывает свою милость не иначе, как даровав свободу и красоту движений. А старые жрицы готовят обязательное на кандомбле угощение — пряные и острые блюда, чудеса народной кулинарии.

Не сохранение прадедовской веры, а сохранение народного искусства было подвигом бразильского народа, и в особенности народа Баии. Удивительность, неповторимость Баии состоит как раз в том, что в большом современном городе — городе середины XX века — народное искусство не сведено к роли кустарных промыслов и любительских выступлений (как во многих развитых странах), а живет естественной полнокровной жизнью, объединяя массы горожан в народный коллектив.

Баиянский календарь богат праздниками: тут и дни католических святых, и особые местные языческие праздники, как



2 февраля — день Иеманжи, богини моря, и исторические даты. И для каждого праздника есть свои песни, свои танцы, свои красочные обряды. Праздник кипит на улицах, площадях, пляжах, его никто не организует, люди стекаются сами и объединяются в общем согласованном ритме. Творцы праздника — бедняки Баии. Жители богатых кварталов остаются любопытствующими зрителями. Впрочем, нередко и их увлекает властный ритм общего веселья. Баиянцы умеют превращать в праздник даже тяжелый труд. Со всего города сходятся любители посмотреть на рыбную ловлю: пятьдесят — шестьдесят рыбаков (все мужское население рыбацкого поселка) вытягивают гигантскую сеть, их тела движутся в такт песне, которую поют все жители поселка — женщины, дети, старики — под аккомпанемент барабанов и погремушек.

Фольклорное искусство, расцветшее в Баие и распространившееся отсюда по всей Бразилии, и разнообразно, и многожанрово, и на редкость самобытно. В нем можно различить какие-то исходные негритянские, индейские или иберийские элементы, но все это сплавлено в новое целое — бразильское. Самый буйный многодневный праздник — карнавал — родился из соединения традиционного празднества европейского средневекового города и языческого праздника в честь наступления осени. В сказках и повериях известный на Пиренейском полуострове фольклорный герой Педро Малазарте (Педро Проказник) соседствует с оборотнями-волкочеловеками, с другими страшными существами из тропической сельвы. Многочисленные танцы-игры появились из сплава европейских рождественских пасторалей и тотемических обрядов негров и индейцев. В свое время иезуитские миссионеры, используя старинные португальские ауто для пропаганды катехизиса, приспособляли их к пониманию индейцев, вводя персонажи индейской мифологии. Народный театр «перемолол» и португальские ауто, и различные обрядовые игры африканских племен. Так сложились народные драмы конго — героические, воссоздающие эпизоды борьбы негров против рабства или индейцев против колонизации, и просто игровые, представляющие посольство одного африканского племени к другому. Примеров такой удивительной художественной амальгамы в бразильском фольклоре можно привести множество.

Силовая борьба, которой занимались негры-рабы из Анголы на потеху белым сеньорам, «обросла» музыкой и песнями, превратилась в капоэйру — уникальную борьбу-искусство, борьбу-танец, где каждый выпад сопровождается сложными акробатическими движениями.

«Не надо думать, что в Баие народу легко живется. Наоборот, это бедный город в слабообразованном, почти нищем штате, хотя и обладающем огромными природными богатствами. Для народа здесь гораздо меньше возможностей, чем, например, в Рио-де-Жанейро или в Сан-Пауло. Различие состоит в народной цивилизации, народной культуре, которая делает жизнь менее жестокой и суровой, более гуманной...» — пишет Жоржи Амаду в книге «Баия, добрая земля Баия»<sup>1</sup>. Искусство, которое создает народ и которым он наполняет свой быт, свою повседневную жизнь, помогает ему переносить нищету и социальную несправедливость, вселяет жизнелюбие и надежду.

Баия с ее самобытным миром вдохновляла многих поэтов, художников, композиторов. Но именно Жоржи Амаду суждено было стать тем художником, который с наибольшей полнотой и универсальностью выразил этот мир, сделал его достоянием мировой культуры.

Жоржи Амаду родился на небольшой плантации какао, принадлежавшей его отцу, в штате Баия. В детстве он был свидетелем стычек между плантаторами, мести, насилия, разбоя (однажды отца ранили на глазах сына, — обливаясь кровью, отец все же донес ребенка до дома). Родные, батраки, слуги рассказывали по вечерам легенды о кровожадных плантаторах, отчаянных жагунео, жестоких, но справедливых разбойниках-кангасейро, те самые легенды, которыми будет потом заслушиваться Антонио Балдуино.

Когда мальчик подрос, его повезли учиться в столицу штата, Баию, и отдали в иезуитский коллеж. Но отцам-наставникам не удалось удержать его в школьных стенах. «Годы отрочества, проведенные на улицах Баии, в порту, на рынках и ярмарках, на народном празднике или на состязаниях в капоэйре, на магическом кандомбле или на паперти столетних церквей, — вот мой лучший университет. Здесь мне был дарован хлеб поэзии, здесь я узнал боль и радости моего народа»<sup>2</sup>, — рассказывает Амаду в речи, произнесенной им при вступлении в Бразильскую академию литературы.

Амаду начал литературную деятельность (первый, еще юношеский его роман «Страна карнавала» вышел в 1931 году) в момент подъема революционного движения в Бразилии. Наделенный активным и страстным общественным темпераментом, стремившийся быть на уровне самой передовой идеологии эпохи, молодой

---

<sup>1</sup> «Bahia, boa terra Bahia». Rio de Janeiro, 1967, p. 60.

<sup>2</sup> «Jorge Amado, povo e terra». São Paulo, 1972, p. 8.

писатель испытал глубокое влияние мировой революционной прозы 20-х годов. На португальском и на испанском языках он уже мог тогда прочесть «Тихий Дон» и «Разгром», «Цемент» Гладкова, «Железный поток» Серафимовича, «Неделю» Либединского, а также книги Майкла Голда, Эптона Синклера, немецких революционных писателей. Под влиянием распространенной тогда теории Амаду воспринимал революционную литературу как «литературу факта». Две его следующие книги «Какао» (1932) и «Пот» (1934) содержали точное, протокольное описание всех сторон жизни и труда батраков на плантации какао и пролетариев с окраины Баии. «Не будет ли это пролетарским романом?» — спрашивает писатель в предисловии к «Какао».

И «Какао» и «Пот» нашли горячий отклик у рабочих, студентов, демократической интеллигенции. Но Амаду не был удовлетворен своими первыми книгами — ему хотелось нащупать художественные пути, более органичные для бразильского романа. Ему хотелось, чтобы тема становления классового сознания была спаяна с чисто национальными формами проявления этого сознания. Все то, что он слышал и видел во время своих отроческих и юношеских блужданий по городу — песни, легенды, рассказы, предания, — все это рвалось на бумагу, жгло руки. Так Амаду написал свой первый цикл романов о Бане: «Жубиабá» (1935), «Мертвое море» (1936), «Капитаны песка» (1937).

В это время, в связи с общим обострением социальных конфликтов в стране, обострилась и полемика между прогрессивным и реакционным лагерем бразильской интеллигенции по вопросу о неграх, об их влиянии на развитие бразильской культуры. Так, академик Оливейра Вианна в книге «Эволюция бразильского народа» утверждал, что «даже наиболее развитые из представителей черной расы никогда не смогут ассимилировать культуру белых, их способность к цивилизации не простирается далее простого, более или менее удачного, подражания обычаям белых»<sup>1</sup>. Многие крупные ученые выступили против расизма. В 1934 году был созван первый афро-бразильский конгресс, в 1937 году — второй. Роман Амаду «Жубиаба» был встречен как аргумент в этой дискуссии, как пылкая речь протеста против расистской идеологии. Виднейший исследователь бразильского фольклора А. Рамос назвал «Жубиабу» «книгой, проникнутой ароматом Баии, книгой о религии и поэзии негров Баии, произведе-

---

<sup>1</sup> F. Oliveira Vianna. Evolução do povo brasileiro. Rio de Janeiro, 1956, p. 155.

нием, в котором негритянский народ сам выступает за свое социальное и культурное освобождение»<sup>1</sup>.

В «Жубиабе» рассказано о нищете, горе и бесправии, о рождающейся воле к борьбе — но рассказано необычно, не так, как это делается в реалистическом повествовании. «Жубиаба» — особый тип романа, который можно назвать фольклорным. Французский социолог и этнограф Роже Бастид, большой знаток Бразилии, в статье о творчестве Амаду<sup>2</sup> высказал догадку, что «форма повествования в «Жубиабе» воспроизводит, на свой лад, технику негритянской устной поэзии, когда импровизатор поет, а хор отвечает солисту. Здесь же негр Антонио Балдуино, герой романа, исполняет роль солиста и его песне вторит хор второстепенных персонажей: солдат, грузчиков, рабочих, негров, мулатов, белых, объединенных общей долей — нищетой». К этому надо также добавить, что роман построен как АВС — распространенный в Бразилии фольклорный жанр, баллада о жизни какого-нибудь популярного народного героя: певца или знаменитого силача, разбойника или вождя негритянского восстания. Каждая строфа баллады начинается со следующей буквы алфавита — отсюда название жанра. Конечно, эту особенность Амаду в романе не сохранил. Но каждая главка романа, подобно строфе АВС, рассказывает о каком-нибудь эпизоде из жизни героя, и эти эпизоды соединены, как отдельные звенья единой цепи.

Да и сам герой, этот легендарный Антонио Балдуино, больше похож на героя народной песни, чем на персонаж традиционного реалистического романа. С легкостью героя плутовского романа он переходит от одной профессии к другой, от одного «места в жизни» к другому: то попрошайка, то боксер, то лодочник, то циркач, то батрак на табачной плантации, то вдруг становящийся пролетарием... Но в плутовском романе характер героя, проходящего через всякие житейские метаморфозы, менялся: пикаро становился изворотливее, хитрее, эгоистичнее, развращеннее. А Антонио, как бы ни трепала его жизнь, каким бы способом он ни зарабатывал свой хлеб, остается все тем же — открытым, смелым, великодушным. Он по-детски чист, равнодушен к деньгам, житейским благам, не способен ни лгать, ни подличать. А главное — он полон такого ощущения своей связи с коллективом (только коллектив его — весь народ), какое невозможно у всегда «атомизированного» пикаро.

Антонио идет по жизни, как Уленшпигель, всегда сопровождаемый народным хором. И он впитывает все горе, всю нужду,

<sup>1</sup> A. Ramos. O negro na civilização brasileira. Rio de Janeiro, 1956, p. 160.

<sup>2</sup> «Jorge Amado, povo e terra». São Paulo, 1972, p. 45.

которые видит на своем пути. Если он отчаивается, то потому, что не может больше выносить страданий людей, окружающих его. Он всегда ощущает себя частью народа, он грезит его героическим прошлым: самая яркая звезда в небе кажется ему Зумби — легендарным вождем восставших рабов, основавших негритянскую республику Палмарес.

Подобно Антонио, и другие главные персонажи романа близки героям песен или преданий. Каждый из них как бы воплощает одну из сторон народного познания.

Старый жрец Жубиаба — это прошлое негритянского народа. Он хранит память об африканской родине, но страшный волко-человек-оборотень — для него уже не просто чудище тропических лесов, а белый сеньор, мучивший негров-рабов. Жубиаба передает своему народу воспоминание о Зумби из Палмареса вместе с горькой мудростью терпения. Амаду заставляет Жубиабу в конце романа склониться перед стачечником Антонио Балдуино как перед богом — это жест чисто символический: прошлое склоняется перед новой мудростью, мудростью не смирения, а борьбы.

Во время многих приключений Антонио сопровождает Толстяк, этакый Ламме Гудзак, но комичный по-иному, в духе бразильской народной поэзии, мечтательной и лиричной. Толстяк воплощает другую сторону народного сознания — ту, что среди ужаса жизни находит выход в поэтических грезах фантазии. Толстяк сходит с ума, когда на его глазах при расстреле демонстрации полиция убивает ребенка. И эта судьба символична — грезы не могут противостоять жестокой действительности.

Весь роман построен на таких образах-мотивах, образах-символах, взятых из фольклора. Любая мысль, любая идея входит в роман, облеченная в форму фольклорного символа. Когда на тайное языческое радение — макумбу — приходит белый, по-видимому, писатель, о котором говорят, что он объехал весь мир, когда Антонио впервые чувствует в белом человеке интерес и уважение к негритянскому народу, то этот белый мгновенно ассоциируется в его воображении с героем народных сказок, веселым бродягой Педро Малазарте. Антонио так и сохраняет уверенность в том, что он видел самого Педро Малазарте. И это лучшее доказательство того, что белый человек может быть принят как свой в мир народного сознания, что не цвет кожи разделяет людей.

«Глаз милосердия» и «глаз зла» — другой фольклорный образ, который проходит через весь роман. Старинное поверие, рассказанное Жубиабой, превращается в этическую меру. Этим символом Антонио и Толстяк выражают свое отношение к жизни и к людям, судят себя и других.

Даже те сюжетные линии романа, которые решаются, казалось бы, обычными для реалистической прозы психологическими средствами, тоже обнаруживают свою связь с образными схемами фольклора. Такова история тайной любви Антонио к Линдиналве, дочери его бывших хозяев. История эта показалась бы нестерпимо мелодраматичной, не будь в ней наивной условности народной песни. Негр или индеец, влюбленный в белую девушку, — хорошо знакомая бразильцам фольклорная тема. Но Амаду переосмысляет привычную формулу. Новое, товарищеское, отношение Антонио к Линдиналве, решение воспитать ее ребенка, — такой неожиданный поворот разрушает традиционный образ. Точно так же переосмыслен в романе широко известный фольклорный прием — параллелизм зачина и концовки рассказа. Роман начинается боем между Антонио и белым боксером. Роман кончается приветом, который посылает Антонио белому моряку. Веками устоявшаяся форма обновляется, в ней прорастает новое качество. Сохраняя свою песенную поэтичность, народное сознание становится новым — революционным сознанием. В этом смысл и итог пути Антонио Балдуино.

Антонио Балдуино воплощает самое творческое, самое активное начало народного сознания. Две темы, сילетаясь, создают этот образ — музыка и море. Антонио — поэт и музыкант, он сочиняет и поет чудесные самбы, которые потом беспечно дарит и друзьям, и незнакомым слушателям, и даже модному поэту, сующему деньги за песни, как за товар. Модный поэт продаст самбы (уже под своим именем) на радио. для записи, для исполнения. Он разбогатеет, прославится. А Антонио просто поет для всех, чтобы люди запоминали и повторяли его песни. Он слагает музыку и стихи по неодолимой потребности природы. Так народ создает свое безымянное искусство и наполняет им мир.

Любовь Антонио к морю, странное, волнующее беспокойство, охватывающее его вблизи моря, становится залогом того, что его силы не будут растрачены впустую. Море — революционная, вечно бунтующая, свободная стихия, и она побеждает в жизни и сознании Антонио Балдуино. И в конце романа уже видящий свой путь в жизни Антонио вновь ощущает великий зов моря, зов к странствиям, переменам, вечному движению.

«Мертвое море» — новый вариант современного фольклорного романа. Тема становления классового сознания бразильского рабочего в этой книге не раскрывается так прямо, как в последних эпизодах «Жубиобы», когда Антонио Балдуино становится докером-стачечником. В «Мертвом море» эта тема как бы «спрятана» в подводном течении романа. Ее отголоски, однако, возникают в

рассказе о легендарной жизни смельчака Гумы: то как упоминание о забастовке в порту, то как неясные мечты учительницы доны Дулсе. В отличие от Антонио Балдуино Гума гибнет, так и не вступив в братство борьбы. Поначалу нам кажется, что жизненный путь Гумы завершится тем же итогом, что и путь Антонио Балдуино, что, проведя своего героя через рифы житейских трудностей, разочарований и отчаяния, писатель подарит ему в конце спокойную уверенность Антонио Балдуино. И вдруг — Гума гибнет. И оттого мы сильнее ощущаем трагизм случайной гибели сильного человека, созданного для борьбы. Но все-таки автор возвращает нас к тому итогу пути Гумы, который мы, казалось, уже различали в дали повествования.

Дело в том, что в этом романе Амаду сплавлены воедино два повествовательных плана: житейский и поэтический, реальный и легендарный. Каждая ситуация, каждый поступок героев имеет как бы два толкования, два смысла — обыденный и сказочный. В реальном плане герои романа живут убогой, нищенской жизнью рыбацкого поселка, погибают в море, оставив вдов и сирот. В легендарном плане — они общаются с богами, моряк не возвращается из плавания, потому что становится возлюбленным богини моря Иеманжи. Две мотивировки — бытовая и поэтическая — объясняют нам финал книги.

Много раз в «Мертвом море» говорится об участии вдов моряков: в реальных историях, памятных всему порту, в песнях, в мыслях Гумы, в мольбах Ливии. Фабрика или проституция — оба исхода кажутся Гуме и Ливии страшным, безнадежным рабством. И вот сбылись предчувствия, самое худшее случилось — Ливия осталась одна с ребенком на руках. Но она нашла иной путь, независимый, трудный. Первой из женщин порта она вышла на «Крылатом» в море рядом с мужчинами — товарищами Гумы.

Но есть и другая, поэтическая, песенно-сказочная причина решения Ливии. Ведь по глубокой вере всех людей порта, моряк, погибший в бурю, спасая товарищей, становится возлюбленным богини моря Иеманжи. Это она, ревнуя своего избранника, развязывает бурю и уносит возлюбленного в далекие земли Айока, где он будет принадлежать только ей. А Ливия живет после смерти Гумы сумасшедшей верой в то, что в море, заняв место Гумы у руля его бота, она вырвет мужа из рук богини, снова переживет радость любви. Она бросает вызов могущественной богине. И когда ее бот пронесется мимо моряков, Ливия сама кажется им Иеманжой, повелительницей моря.

Чудо, которого ждут моряки в песнях и легендах, — это борьба. И каждый смелый шаг, освобождающий от страха и уни-

женности, каждая победа человеческой воли, свободного чувства — приближение чуда. Чудо совершают сильные, свободные, красивые, как боги, люди. Таким человеком мог стать Гума. Таким человеком становится Ливия. Люди как боги — так можно обозначить идею того поэтического претворения действительности в легенду, которое совершается в романе.

Этот принцип — соединение быта и фольклорной поэтизации — отчетливо сказывается в языке. В диалоге, в репликах персонажей Амаду воспроизводит многочисленные просторечные обороты и даже грамматические неправильности, характерные для простонародной разговорной речи. В косвенной передаче мыслей героев, в их внутреннем монологе все неправильности исчезают. Герои мыслят совсем не так, как говорят. Во внутреннем монологе появляются языковые особенности, характерные для фольклора: повторы слов и целых фраз, фразы-лейтмотивы, звучат прямые цитаты из народных песен: «Он ушел в глубину морскую, чтоб остаться в зеленых волнах», «Море — ласковый друг...». Рядом с диалогом язык внутренних монологов кажется несколько приподнятым, приближенным к стихотворению в прозе. Есть разрыв между повседневной жизнью героев с навязанными им невежеством, нищетой, грубостью — и высоким поэтическим строем их чувств. Это и выявлено языковой неоднородностью.

«Жубиаба» и «Мертвое море», восторженно встреченные передовой бразильской критикой, внесли в бразильскую литературу новую ноту. Конечно, это не значит, что другие писатели — современники Амаду — были вовсе чужды фольклору. В такой стране, как Бразилия, с ее богатейшим народным творчеством, этого не могло быть. Уже в 20-е годы в среде бразильской интеллигенции распространился интерес к фольклору, увлечение почвенностью, возникали журналы и поэтические группы («Пау-Бразил», «Желто-зеленое», «Ревиста де антропофагия»), пропагандировавшие индейский или негритянский фольклор в качестве исконного элемента национальной культуры. Были созданы значительные, яркие произведения (поэма Рауля Боппа «Кобра Норато», роман Марио де Андраде «Макунаима») на основе индейских мифов и легенд, негритянских песен и преданий. Однако фольклор остается для этих писателей особым, чарующим и прекрасным, но замкнутым миром, отъединенным от современности с ее социальными конфликтами и проблемами. Поэтому в их книгах ощущим оттенок любования экзотическим, ярко декоративным зрелищем.

По-другому подошли к фольклору писатели-реалисты 30-х годов, В романах из «Цикла о сахарном тростнике» Жозе Линса до



Рего рассказано о многих легендах и повериях бразильских негров, описаны их традиционные праздники, ритуалы макумбы. Для Линса до Рего верования и обычаи негров — одна из сторон той социальной действительности, которую он показывает. Писатель выступает как наблюдатель и исследователь этой действительности, все, что составляет интересующий его предмет, — труд, отношения хозяев и батраков, обычаи, — все попадает в поле его зрения.

Амаду не наблюдает своих героев. Никакой дистанции, существующей между объектом исследования и исследователем, в «Жубиаве» и «Мертвом море» нет. Легенда, рожденная народным воображением, открывается как сию секунду существующая действительность. Амаду-рассказчик все время представляет себя комментатором народной легенды, каким-то образом узнавшим все доподлинные подробности. Фольклор не изображается, не воспроизводится — он проникает в каждую клеточку повествования, определяет все — фабулу, композицию, психологию. Чувства героев Амаду усилены, укрупнены, не подвергнуты аналитическому разложению. В народной песне тоже всегда выливается чувство цельное и непосредственное. Отношения героев Амаду укладываются в фольклорные формулы, о них можно рассказывать, как рассказывает сказка или песня, всегда однозначно оценивая людей и их чувства. В «Мертвом море» Роза Палмейрао воплощает любовь материнскую, жертвенную, Эсмералда — низменную, предательскую страсть, Ливия — ту единственную любовь, что сильнее смерти. Герои романов, как и анонимные авторы народных песен и легенд, знают только светлое — или темное, чистое — или низкое, дружбу — или предательство. И в прекрасной силе и цельности их душ заложено объяснение того, что сказочная атмосфера романа кажется нам реальной, что мы вместе с автором готовы поверить в существование Неманжи и далекой земли моряков Айока. Замечательна в этом смысле сцена со свечой из «Мертвого моря». Друзья погибшего Гумы ищут его тело. Для этого они пускают по воде горящую свечу, — по поверью, свеча остановится над утопленником. С ними в лодке плывет доктор, образованный человек, не верящий в морские приметы. Но так неустанно, самозабвенно ныряют друзья Гумы в самых опасных местах, лишь чуть помедлит свеча, что врач начинает напряженно следить за ее движением... Когда читаешь эту сцену, чувствуешь какое-то завораживающее ее действие, тоже начинаешь следить за остановками свечи и ждать, что вот-вот появится тело Гумы на руках его товарищей.

Книги Амаду вызывают в нашей памяти произведения писателей-романтиков. Разве не романтична страсть героев Амаду к

море, разве не было море истинной родиной целой семьи романтических скитальцев? «Свободный человек, любить ты будешь море!» — восклицал Бодлер, как будто вторя Пушкину, назвавшему море «свободной стихией». И герои Амаду любят море за его вольную ширь, за ощущение свободы, которое приносит им одиночество среди волн и единоборство со стихией.

Связь Амаду с романтизмом через головы непосредственных предшественников-реалистов сказывается и в признании за легендой не только живописных качеств, но и духовного содержания, созвучного и нужного современному человеку. Из этого признания вырастает принцип поэтики, общий для романтиков и Амаду, — воссоздание народной легенды как реальности. Амаду эту связь с романтиками подчеркнул в речи при вступлении в Бразильскую академию литературы — он назвал себя «баианским отпрыском семьи Аленкара» (Жозе де Аленкар — крупнейший бразильский писатель-романтик XIX века. Его роман «Гуарани» известен советским читателям). И все-таки даже в ранних своих книгах Амаду был глубоко оригинальным творцом, а не талантливым реставратором романтической прозы.

Романтики рассматривали фольклор как область прошедшего. Они восхищались легендой, но их привлекала именно удаленность легенды от повседневности, от пошлой и бескрылой тривиальности общественной жизни.

Амаду соединил фольклор и быт, вчера и сегодня. Он перенес легенду на улицу сегодняшнего города, он услышал ее в гуле скучных трудовых будней. Он смело использовал фольклор для раскрытия духовных сил современного бразильца. Это было художественным новаторством молодого писателя.

И новаторством Амаду был обязан не только своему таланту, но и родному городу, в чью повседневную жизнь так властно вплетается фольклор. Быт народа Баии послужил моделью художественного мира романов Амаду. Опыт общения с рыбаками, моряками, грузчиками, работницами, рыночными торговками подсказал Амаду саму идею сплава народной реальности и народной фантазии — ведь эти люди жили (и живут) двойственной жизнью: усталые от нищеты, униженные и измученные, они становятся сильными и свободными творцами во время праздника, танца, песни.

В 1937 году, после установления в Бразилии реакционной диктатуры, Амаду вынужден был эмигрировать. В 1942 году он возвращается на родину, но уже в 1947 году эмигрирует снова и до 1952 живет сначала во Франции, потом в Чехословакии. Вполне понятно и закономерно, что у писателя, родина которого переживала острые и мучительные потрясения, возникла потребность

в трезвом и историческом взгляде на жизнь. Амаду не отошел вовсе от Баии, и в эмиграции он написал ностальгическую книгу «Баия всех святых. Путеводитель по улицам и тайнам города Салвадора». Но его все больше волновали большие общенародные проблемы, и он принялся работать над эпическими полотнами, в которых прослеживается судьба обширного края на протяжении полувека («Бескрайние земли», «Город Ильеус»), судьба целого класса — крестьянства («Красные восходы») и, наконец, — всей нации («Подполье свободы»). Эпический взгляд на мир требовал перестройки поэтики — Амаду освоил уже сложившуюся и хорошо разработанную в европейской литературе форму романа-эпопеи. Перелом не был мгновенным — поэтика фольклорного романа еще долго вторгалась в новую структуру. В «Красных восходах» фольклорная символика определяет распадение книги на три части — повести о судьбах трех братьев (извечный мотив сказки, в том числе и бразильской). Следы фольклорного романа исчезают лишь в «Подполье свободы».

Прошло много лет, Амаду пережил трудный творческий кризис, прервал работу над трилогией, первым томом которой должен был стать роман «Подполье свободы». Наступил час, день или год той человеческой и творческой умудренности, когда писатель захотел идти не вширь — в ширь пространства и истории, — а вглубь — в глубь человеческого сообщества. И Жоржи Амаду вернулся в Баию.

Вернулся в буквальном смысле слова. С 1963 года он живет в Баие постоянно, здесь его дом, его друзья. Он знает здесь всех — мастеров капоэйры, торговков баиянскими сладостями, старых жрецов и жриц кандомбле, рыбаков, лодочников. И они знают и любят сеу Жоржи — один народный поэт даже включил его в АВС, прославляющее Баию.

Но еще раньше в творчестве Жоржи Амаду начался новый баиянский цикл — в 1961 году вышла книга «Старые моряки», за ней последовали «Пастыри ночи», «Дона Флор и ее два мужа», «Лавка чудес». Этот цикл не завершен — писатель прибавляет к нему все новые и новые книги. Все они были изданы в русском переводе, и очень тепло приняты нашими читателями.

Новые книги Амаду прямо продолжают «Жубиabu» и «Мертвое море». Кое-кто из персонажей — шкипер Мануэл и его подруга Мария Клара — даже появляются вновь в повестях из «Старых моряков». В других случаях герои молоды, они могли бы быть детьми Антонио Балдуино, Гумы и Ливии, и они их дети, если не по крови, то по духу, — по любви к

свободе, песне, морю, по наивной вере и неистребимой жизнерадостности.

Конечно, многое изменилось — тридцать с лишним лет сделали писателя неторопливее и осторожнее. Он знает теперь, что социальный мир и социальный человек не перерождаются так быстро, как это случилось с Антонио Балдуино, что старое живуче, а новое очень долго и упорно должно бороться за свою победу. В самом деле, какой мир встречает детей Антонио Балдуино и Гумы через тридцать с лишним лет? Разве только выросли на улицах Баии ультрасовременные здания да забегали по водам залива катера и моторные лодки, вытесняя маленькие парусные боты и жангады. Но по-прежнему люди идут за советом и помощью к старым жрецам, приписывают все свои горести коварным злым духам Эшу. По-прежнему 2 февраля жены и матери моряков несут к морю букеты цветов и подарки Иеманже: коробочки пудры, флакончики дешевых духов, гребни и платочки. Примет или не примет Иеманжа подарки, пощадит или погубит мужей и сыновей? По-прежнему тяжел и опасен труд, горька участь вдов и сирот, по-прежнему бедность, неграмотность, страх за будущее угнетают жителей баианских окраин.

Но и по-прежнему звучат там смех и песни Антонио Балдуино, Марии Клары, Руфино. А главное — царят в этом мире дружба, человеческая теплота, солидарность. Амаду видит теперь народную среду гораздо более традиционной, более устойчивой, но в этой устойчивости угадывает ее силу. Писатель стремится теперь узнать и показать, как народный коллектив в современном буржуазном обществе сохраняет свои представления о жизни, свою этику, свое мировосприятие, что защищает народ от мещанской пошлости и эгоизма, от двоедушия и расчетливости. В этом смысле новые книги ближе к «Мертвому морю», чем к «Жубиабе»: Амаду избегает быстрых и прямолинейных решений, но предпочитает демонстрировать такие свойства народного характера, такой духовный потенциал, в котором читатель уже сумеет увидеть залог будущего.

Романист вернулся и к поэтике фольклорного романа. Вновь появляется фольклорный герой: вместо Антонио Балдуино поет, пляшет, любит мулатка Габриэла (роман «Габриэла»), тоже как будто вышедшая прямо из народной песни. В новеллах из книг «Старые моряки» и «Пастыри ночи», в романе «Дона Флор и ее два мужа» то же равноправие легенды и реальности, та же двойственность мотивировок — бытовой и сказочной, — что в «Мертвом море». Пожалуй, новые книги написаны увереннее, сочнее, нежели ранние романы, но это и вполне естественно: еще очень молодой в середине 30-х годов, художник достиг теперь, прибли-

жаясь к своему шестидесятилетию, высокой творческой зрелости. Но и у ранних книг есть свое преимущество, которое делает наше знакомство с ними радостным событием,— они проникнуты волнением и увлеченностью первооткрывателя. Жоржи Амаду открывает читателю новую землю, неведомый человеческий материк. Последуем же за ним на улицы и пляжи далекой Баии, которую часто называют также «Баией всех святых».

*И. Тертерян*

# ЖУБИБА



Р О М А Н

*Перевод*

И. ЧЕЖЕГОВОЙ

Е. ГОЛУБЕВОЙ

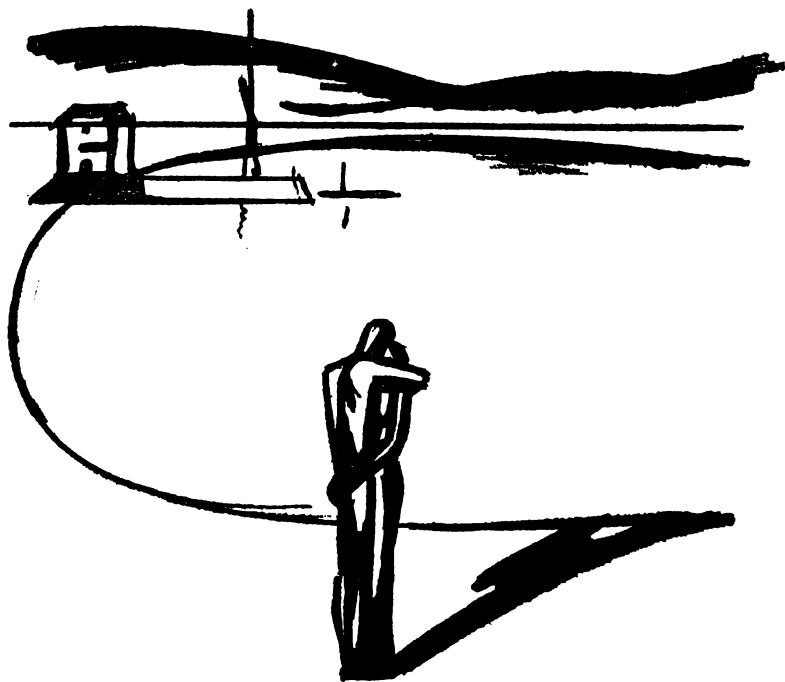


БАИЯ ВСЕХ СВЯТЫХ  
И ЖРЕЦА ЧЕРНЫХ БОГОВ  
ЖУБИАБЫ









## БОКС

**В**се, как один, вскочили со своих мест. И замерли, за-  
таив дыхание. Судья считал:

— Шесть...

Но, раньше чем он успел произнести «семь», немец с трудом приподнялся на локте и, сделав невероятное усилие, встал. Усевшиеся зрители завопили. Негр яростно рванулся вперед и снова бросился на немца. Толпа ревела:

— Бей его! Бей его!

В тот вечер на Соборной площади яблоку негде было упасть. Разгоряченные, потные болельщики теснились на скамьях, завороченно глядя на ринг, где негр Антонио Балдуино дрался с немцем Эргинном. Вековая громада собора закрывала своей тенью площадь. Редкие лампы скупо освещали помост. Солдаты, портовые грузчики, студенты, рабочие — все в простых штанах и рубашках жадно следили за дракой. И все — негры, мулаты, белые — болели за Антонио Балдуино, который уже дважды сбивал своего противника с ног.

Во второй раз было похоже, что немцу не подняться. Но, прежде чем судья произнес «семь», Эргин встал, и поединок возобновился. По рядам зрителей прокатился одобрителный гул. Кто-то пробормотал:

— А немец тоже парень что надо...

Однако симпатии болельщиков оставались на стороне сильного, высокого негра, чемпиона Баии в тяжелом весе. Теперь уже все орало без передышки, желая, чтобы матч кончился и немец остался лежать на ринге.

Какой-то тощий человек с испитым лицом в волнении кусал погасшую сигарету. Коренастый негр вопил:

— Бей нем-ца... Бей нем-ца... — и в такт своим выкрикам шлепал себя ладонями по коленям.

Все в нетерпении ерзали на своих местах и кричали так, что было слышно на площади Кастро Алвеса.

Однако в следующем раунде немец неожиданно ринулся на негра с такой яростью, что тот повис на канатах. Это не обескуражило зрителей, уверенных в своем любимце: сейчас он себя покажет... Антонио Балдуино нацелил было кулак в окровавленное лицо немца, но Эргин опередил его и молниеносным выпадом нанес негру страшный удар в правый глаз. И, не давая ему опомниться, навалился на негра и теперь молотил его по лицу, животу, груди. Балдуино снова безвольно повис на канатах, не отвечая на сыпавшиеся удары. «Только бы не упасть», — думал он, изо всех сил цепляясь за спасительные канаты. Немец, молотивший его по лицу, казался негру дьяволом. У Балдуино из носа лила кровь, правый глаз заплыл, щека под ухом была разорвана. Он как в тумане видел перед собой прыгающего белого человека, и глухо, словно издали, до него доносился рев толпы. Зрители бесновались: их герой, того гляди, растянется на ринге. Они ревели:

— Задай ему, задай ему, негр!

Но вскоре, сраженные происходящим, смолкли. Немец избивал негра, и тот даже не сопротивлялся. И тогда толпа снова завывала, заулюлюкала:

— Черная баба! Баба в штанах! Бей его, белокрысый, бей его!

Негр покорно позволял избивать себя, и это приводило их в ярость. Они заплатили три мильрейса за право увидеть, как чемпион Баии разделает этого белого с его титулом чемпиона Центральной Европы. И вот теперь на их глазах разделяли негра. Болельщики негодовали, вскакивали с мест, подбадривали то белого, то негра. И все облегченно вздохнули, когда гонг возвестил конец раунда.

Антонио Балдуино, держась за канат, побрел в угол ринга. Человечек с сигаретой сплюнул и закричал:

— Где же он, негр Антонио Балдуино, победитель белых?

Антонио Балдуино услышал этот выкрик. Он отпил глоток кашицы из бутылки, протянутой ему Толстяком, и обернулся к зрителям, ища обидчика. Голос звучал металлом:

— Где он, победитель белых?

И часть зрителей подхватила и повторила хором:

— Где он? Где?

Балдуино обожгло, словно его хлестнули плетью. Он не чувствовал боли от ударов немца, но оскорбления своих были непереносимы. Он сказал Толстяку:

— Кончится матч — прочу этого типа. Следи за ним...

И едва прозвучал гонг и начался третий раунд, негр бросился на Эргина и нанес ему удар в челюсть и сразу же второй — в живот. Теперь зрители снова узнали своего любимца, и со всех сторон раздались возгласы:

— Давай, Антонио Балдуино, давай, Балдо, бей его!

Коренастый негр снова шлепал себя ладонями по коленям в такт своим выкрикам, а тощий человечек улыбался.

Балдуино осыпал немца ударами, и каждый удар распалаял его все больше и больше. И когда немец налетел на Антонио Балдуино, норовя угодить ему в левый глаз, негр стремительно уклонился и затем с силой разжавшейся пружины снова нанес немцу страшный удар в челюсть. Чемпион Центральной Европы, описав в воздухе дугу, всей тяжестью рухнул на пол.

Охрипшая толпа скандировала:

— Бал-до... Бал-до... Бал-до...

Судья считал:

— Шесть... семь... восемь...

Антонио Балдуино, довольный, смотрел на белого, распростертого у его ног. Потом окинул взглядом обезумевших от восторга зрителей, ища крикуна, позволившего себе усомниться в нем, победителе белых. Не найдя его, негр улыбнулся Толстяку. Судья считал:

— Девять... десять...

Антонио Балдуино одержал верх над чемпионом Центральной Европы. Толпа восторженно приветствовала победителя. Но в оглушительном реве толпы он явственно различал металлический голос тощего:

— Негр, ты все еще бьешь белых...

Зрители потихоньку двинулись к выходу, но часть их бросилась к освещенному квадрату ринга и подняла на плечи негра Антонио Балдуино. За одну ногу его держали студент и грузчик, за другую — двое каких-то мулатов. Толпа пронесла победителя через всю площадь, до общественной уборной, где для боксеров была оборудована раздевалка.

Антонио Балдуино переделся в синий костюм, глотнул кашасы, получил свои сто мильрейсов и, выйдя, сказал своим почитателям:

— У белого кишка тонка... Где ему тягаться с Антонио Балдуино. Такого, как я, не одолеть...

Он улыбнулся, спрятал деньги поглубже в карман брюк и направился в меблированные комнаты доны Зары, где его ждала Зэффа, девчонка-каброша<sup>1</sup> с ослепительными зубами, приехавшая из Мараньяна.

## ДАЛЕКОЕ ДЕТСТВО

С вершины холма Капа-Негро Антонио Балдуино глядел на город, сиявший внизу огнями. Едва вышла луна, на холме зазвучала гитара. Полились печальные песни. В заведение Лоуренсо-испанца заворачивали мужчины: поболтать и узнать газетные новости — для любителей пропустить стаканчик хозяин покупал газету.

В не по росту длинной, замурзанной рубаше Антонио Балдуино вечно гонял по грязным улицам и переулкам

---

<sup>1</sup> Каброша — темная метиска, почти негритянка.

Капа-Негро с оравой таких же, как он, мальчишек. Несмотря на свои восемь лет, он уже верховодил ватагами сверстников, и не только теми, что жили на Капа-Негро, но и ребятами с соседних холмов. А по вечерам его любимым занятием было смотреть на сверкающий огнями город, такой близкий и такой далекий. Едва начинало смеркаться, он пристраивался на краю облюбованного им оврага и с нетерпением влюбленного ждал, когда зажгутся огни. Он ждал их, как ждет мужчина любовного свидания с женщиной. Глаза Антонио Балдуино были прикованы к городу. Он ждал, и его сердце билось все чаще, пока ночной мрак окутывал дома, склоны холмов и снизу, из города, все явственней поднимался невнятный гул множества людей, возвращавшихся домой и обсуждавших сделанные за день дела и совершившиеся прошлой ночью преступления.

Антонио Балдуино хоть и бывал в городе, но всегда под конвоем тетки, а с теткой разве что увидишь? В эти же вечерние часы он внятно чувствовал всю жизнь огромного города. Снизу до мальчика докатывался его шум. Мешанина звуков, волны голосов ползли по скользким склонам холмов. И Антонио жадно впитывал все это разноголосье, эту звучащую жизнь и борьбу. Он уже видел себя взрослым: вот он живет в вечной спешке, как и все другие, и каждый день должен бороться, чтобы выжить. Его глазенки сверкали, и не раз он еле сдерживался, чтобы не скатиться по склону холма вниз и вдоволь налюбоваться зрелищем города в пепельных сумерках. Конечно, пришлось бы лечь спать голодным, да еще получив изрядную трещку. Но не это удерживало его от желания разобраться в звуковой сумятице города, возвращавшегося домой после работы. Ему было жаль хоть раз не увидеть, как зажигаются огни: каждый вечер это было по-новому неожиданно и прекрасно.

Вот уже город почти совсем погрузился во мрак.

Антонио Балдуино замер в напряженном ожидании. Подул холодный ветер, но он его не замечал: всем своим существом он наслаждался сумбуром звуков, возраставшим с каждой минутой. Он различал взрывы смеха, крики, косноязычные речи пьяниц, разговоры о политике, протяжные голоса слепцов, просящих подаяние Христовым именем, грохот трамваев... И жадно впитывал все, чем жил и звучал город.

Однажды он уловил звук, заставивший его содрогнуться. Он вскочил, весь дрожа от возбуждения. Он услышал плач, плач женщины и голоса, утешавшие ее. Это вызвало в его душе такую бурю, что он едва не лишился чувств. Плачет... кто-то, какая-то женщина плачет в сумеречном городе... Антонио Балдуино вслушивался в эти скорбные звуки, пока их не заглушил грохочущий по рельсам трамвай. Мальчик все еще стоял, боясь перевести дыхание, надеясь снова услышать потрясший его плач. Но, видно, женщину увели уже далеко, он больше ничего не слышал. В этот день он не притронулся к ужину и перед сном не удрал, как обычно, еще немного побегать с ребятами. Тетка ворчала:

— Мальчишка чего-то насмотрелся... Но поди попробуй узнай: клещами ничего из него не вытянешь...

В другие дни он дрожал от волнения, заслышав сирену «скорой помощи». Там, внизу, кто-то страдал, и Антонио Балдуино, восьмилетний мальчишка, ловил эти отголоски страдания с блаженной мукой, похожей на муку любовных судовог.

Но огни, зажигаясь, очищали все. Антонио Балдуино успокаивался, созерцая вереницы ярких фонарей, его живые глаза омывались их светом, и он начинал мечтать, что когда-нибудь непременно сделает счастливыми всех ребят с Капа-Негро. Если бы кто-нибудь из его дружков подошел к нему в эту минуту, Антонио поразил бы его непривычной приветливостью: он не стал бы, как всегда, награждать мальчишку щипками или осыпать его ругательствами, которые выучил слишком рано. Он ласково провел бы ладонью по жестким курчавым волосам своего товарища, а потом обнял бы его за плечи. И, может быть, улыбнулся. Но мальчишки гоняли по улицам, забыв про Антонио Балдуино. А он все смотрел на огни. Он даже различал силуэты прохожих. Силуэты женщин и мужчин, должно быть, вышедших погулять. Позади него, на холме бренчали гитары, велись беседы. Старая Луиза звала его:

— Балдо, иди ужинать! Ну что за мальчишка!

Тетка Луиза была для него и отцом и матерью. О своем отце Антонио Балдуино знал, что его звали Валентин, что молодым он был жагунсо<sup>1</sup> у Антонио Конселейро, что любил он мулаток, ни одной встречной не пропускал, что страшный был выпивоха, и мог перепить кого угодно, и

---

<sup>1</sup> Жагунсо — здесь: участник крестьянского восстания 1894 г.

что кончил он свою жизнь под колесами трамвая после очередного немислимого загула.

Все это мальчик узнал из рассказов тетки, когда она судачила с соседями о своем покойном братце. Она всегда кончала так:

— Красавчик был — ну просто загляденье... Зато уж такого драчуна и пьяницы — второго не сыщешь.

Антонио Балдуино жадно слушал ее рассказы, и отец виделся ему героем. И, уж конечно, отец каждый вечер бывал в городе, когда там зажигались огни. Часто мальчик пытался представить себе жизнь отца по тем историям, о которых он узнал от старой Луизы. Его воображение неустанно рисовало ему бесчисленные отцовские подвиги. Мальчик мог часами сидеть, уставившись на огонь, и думать об отце. Стоило ему услышать о каком-нибудь смелом и безрассудном поступке, как он тут же говорил себе, что его отец сделал бы то же самое или даже еще что-нибудь похлеще. Когда они с ребятами играли в разбойников и договаривались, кто кем будет, Антонио Балдуино, который еще ни разу не был в кино, заявлял, что он не хочет быть ни Эдди Поло, ни Элмо, ни Масисте...

— А я буду как будто я — мой отец...

Ребята удивлялись:

— А что такого сделал твой отец?

— Много чего...

— Он что, поднял автомобиль одной рукой, как Масисте?

— Подумаешь, дело, — мой отец один раз грузовик поднял...

— Грузовик?

— Да еще нагруженный...

— Интересно, кто это видел?

— Моя тетка видела, можете у нее спросить. А будешь зубы скалить — я тебя так тресну, сразу поверишь...

Не раз Антонио приходилось в драке отстаивать память отца, которого он не знал. По правде говоря, он дрался, защищая то, что сам же выдумал, но он твердо верил, что полюбит бы отца, если бы хоть раз его увидел.

О матери Антонио Балдуино не знал решительно ничего.

Никому не нужный, мальчик бродил по холму и еще никого не любил и ни к кому не испытывал ненависти.



Он жил как зверек: свободный от всяческих чувств, он доверял только своим инстинктам. С бешеной скоростью он скатывался по склонам холма, скакал верхом на швабре, воображая себя всадником; на слова он был скуп, но с лица его не сходила улыбка.

Антонио Балдуино рано стал признанным вожакom среди мальчишек с холма; ему подчинялись даже те, кто был старше его: он был мастер на всякие выдумки, и в храбрости никто не мог с ним сравниться. В стрельбе бумажными шариками его рука не знала промаха, глаза его метали молнии, едва завязывалась очередная драка. Они постоянно играли в разбойников. И он всегда был главарем. Часто он забывал, что это игра, и дрался по-настоящему. Он ругался как взрослый, и непотребные слова то и дело срывались у него с языка.

\* \* \*

Он помогал старой Луизе готовить мунгунсу<sup>1</sup> или мингау<sup>2</sup> — она по вечерам торговала всем этим в городе. И помогал хорошо, вот только не умел толочь орехи. Мальчишки сначала подняли его на смех и дразнили кухаркой, но насмешки быстро поутихли после того, как Антонио Балдуино разбил одному из них голову камнем. Получив от тетки изрядную взбучку, он так и не понял, за что она ему выпала. И, верно, потому быстро простил ее, забыв и думать о перенесенных побоях. Тем более что выдрать его как следует ей не удалось: мальчишка был куда какой ловкий — он рыбкой выскальзывал из тетких рук и увертывался от плетки. Это было похоже на игру: победительно смеясь, он уходил от ударов, и лишь немногие из них достигали цели.

Несмотря на это, старая Луиза любила повторять:  
— Все-таки в доме есть мужчина...

Старуха была охотница до разговоров, и соседки вечно приходили к ней посудачить и послушать ее удивительные истории: сказки о феях и привидениях перемежались с рассказами о невольниках, а иногда тетка рассказывала или читала им истории в стихах.

---

<sup>1</sup> Мунгунса — лакомое блюдо, приготовленное из зерен кукурузы в сладком сиропе, иногда с кокосовым или коровьим молоком.

<sup>2</sup> Мингау — сладкая каша из пшеничной или маниоковой муки.

Одна из этих историй начиналась так:

Читатель, о случае страшном  
я должен тебе рассказать,  
хоть становятся волосы дыбом  
и я весь начинаю дрожать:  
как поверить, что есть на свете  
такие чудовища — дети,  
что убьют и отца и мать <sup>1</sup>.

Это была история о девушке-убийце: газеты печатали сенсационные сообщения о ней под крупными заголовками, а некий поэт, автор АВС <sup>2</sup> и популярных самб, зарифмовал эту историю и продавал по двести рейсов за штуку.

Антонио Балдуино был от нее в восторге. Он без конца приставал к старой Луизе, чтобы та снова и снова рассказывала ему эту историю, и поднимал крик, если старуха не сдавалась на его просьбы. Любил он также слушать про приключения Антонио Силвино и Лукаса да Фейра. В такие вечера он забывал про игры и шалости. Однажды кто-то спросил его:

— Ну, кем же ты хочешь быть, когда вырастешь?

Не моргнув глазом, он ответил:

— Жагунсо...

Разве было что-нибудь прекраснее и благороднее этого занятия? Ведь все жагунсо такие сильные и храбрые.

— Надо бы тебе ходить в школу, — говорили соседи мальчику.

Это еще зачем, думал он про себя. Разве хоть один жагунсо умеет читать? Вот доктора умеют читать, а что толку? Он знал одного доктора по имени Олимпио, врача без пациентов: время от времени тот поднимался на холм в надежде что-нибудь заработать, но и здесь ему ничего не перепало. Был он слабосильный и тощий — дать ему хорошую затрещину, так он и с копыт долой.

Да вот взять к примеру его тетку: старуха едва-едва буквы разбирает, а между тем все жители холма еще как ее уважают: никто с ней никогда не бранится, никто ей грубого слова не скажет, а уж в те дни, когда у старой Луизы разламывается голова, ни один болван не отважится ее потревожить. Теткина голова приводила Антонио Балдуино в ужас. Когда у старухи начинались приступы

---

<sup>1</sup> Стихи в романе «Жубибаба» даются в переводе И. Чежеговой.

<sup>2</sup> АВС — куплеты, каждый из которых начинается с очередной буквы алфавита. Обычно в них излагается история жизни какого-нибудь популярного героя.

головных болей, она делалась как безумная, на крик кричала. Соседи сбегались на ее крики, но она гнала всех прочь — пусть, мол, катятся ко всем чертям и оставят ее в покое.

Однажды Антонио Балдуино услышал, как соседки толковали про эти приступы, совсем замучившие старую Луизу.

Одна из соседок говорила:

— Голова у нее болит от этих вечно кипящих жестянок со сладями. Все время на жару...

— Как бы не так, Роза! Это дух ее мучает, сразу видать! Из тех могучих духов, что бродят неприкаянные, не ведая того, что они давно уже померли. Бродят и все ищут себе пристанища в живом теле. Не иначе какого-нибудь казенного дух, прости меня господи и помилуй.

Остальные поддержали эту версию насчет духов. Антонио Балдуино, услышав такое, застыл от удивления и ужаса. Он до смерти боялся духов. И никак не мог понять, зачем им понадобилась голова его старой тетки.

Тогда-то и появлялся в их доме Жубибаба. Луиза посылала за ним Антонио Балдуино. Подойдя к маленькой двери приземистого дома, мальчик стучал.

— Кто там? — отзывался голос изнутри.

— Тетка Луиза просит тебя, отец Жубибаба, прийти к нам, — она опять занемогла.

И мальчик опрометью бросался прочь. Жубибаба внушал ему непреодолимый ужас. Он прятался за дверь и сквозь щелку следил за приближающимся колдуном: а тот шел, опираясь на палку, сгорбленный и сухой, с белоснежной шапкой жестких курчавых волос. Все встречные останавливались, приветствуя старика:

— Добрый день, отец Жубибаба...

— Да благословит вас бог...

Он шел, на ходу раздавая благословения. Даже Лоуренсо-испанец, и тот склонял голову и подходил под благословение. Мальчишек как ветром сдувало, едва они издали замечали фигуру столетнего старца. Только шепот прокатывался:

— Жубибаба идет...

И они бросались врассыпную и прятались по домам.

Жубибаба, по обыкновению, нес ветку с листьями, трепетавшими на ветру, и бормотал что-то на языке наго<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Наго — африканская народность.

Так, разговаривая сам с собой и благословляя встречающих, старик шествовал по всей улице, подметая ее своими старыми кашемировыми штанами, поверх которых была выпущена вышитая рубаха, развевавшаяся на ветру словно знамя. Едва Жубибаба входил к ним в дом, Антонио Балдуино шмыгал из-за дверей на улицу. Но мальчик знал, что теперь голова у Луизы перестанет болеть.

Он боялся Жубибабу и не знал, что о нем и думать. Чувство, которое он испытывал к старику, было совсем непохоже на то, что он испытывал к другим взрослым: к падре Силвио, своей тетке Луизе, к Лоуренсо-трактирщику, Зе Кальмару или к таким героям из легенд, как Виргулино Фонарь и Эдди Поло. Жубибаба был целителем глухих переулков холма, его все почитали и воздавали хвалу его искусству, а иногда у дверей его хибары останавливались роскошные машины. Один из мальчишек как-то раз стал уверять Балдуино, что Жубибаба — оборотень, а другой клялся, что у Жубибабы живет черт, которого он держит запертым в бутылке.

Временами из дома старика по ночам доносились странные звуки какой-то диковинной музыки. При этих звуках Антонио Балдуино начинал ворочаться на своей подстилке, все в нем ходило ходуном, казалось, музыка настойчиво зовет его.

Ритмы батуке<sup>1</sup>, шарканье танцующих ног, таинственные голоса. Луиза, верно, уже там, в своей красной ситцевой юбке, надетой на нижнюю. В эти ночи Антонио Балдуино было не до сна. Жубибаба был мучительной тайной его беспечного и одинокого детства.

\* \* \*

По ночам на холме Капа-Негро веселились. И не счесть, сколько выслушал за эти ночи негритенок Антонио Балдуино интереснейших историй и сколько любопытнейших вещей он узнал. Их рассказывали женщины и мужчины, собиравшиеся у дверей соседних домов в долгие лунные ночи. В ночь на воскресенье, если не было макумбы<sup>2</sup> в доме у Жубибабы, собирались у дома старой Луизы, которая по случаю праздника не ходила торговать своим

<sup>1</sup> Б а т у к е — танец негров Баии, исполняется под аккомпанемент ударных инструментов.

<sup>2</sup> М а к у м б а — негритянский языческий религиозный обряд, сопровождаемый танцами и песнями.

мингау. И у соседних домов тоже. Везде болтали, перебирали струны гитары, пели, отхлебывая по глотку кашасы, которую всегда держат для добрых соседей, но все же больше всего народу собиралось возле дома старой Луизы. Даже, случалось, и Жубиаба появлялся там и тоже рассказывал разные истории, но все они происходили много-много лет назад. Рассказывая, старик вдруг переходил на язык своего племени или прерывал рассказ подходящими к случаю советами и рассуждениями. Он выглядел патриархом среди всех этих негров и мулатов, обитавших на холме Капа-Негро в продуваемых ветром лачугах с крышами из жести. Стоило старику открыть рот, как все замолкали и слушали его в немом благоговении, лишь одобрительно кивая головами. В такие ночи Антонио Балдуино бросал свою ватагу и, усевшись в кругу, весь превращался в слух. Он отдал бы жизнь за то, чтобы послушать какую-нибудь историю, особенно если история рассказывалась в стихах.

Большим мастером рассказывать стихотворные истории был Зе Кальмар, беспутный малый, нигде не работавший и бывший уже на примете у полиции за разные мошенничества. Но в глазах Антонио Балдуино он обладал двумя неоспоримыми достоинствами: он был храбрец и умел петь под гитару про приключения знаменитых бандитов. Ни одна вечеринка в лачугах Капа-Негро, ни один бедняцкий праздник в городе не обходился без гитары Зе Кальмара, повсюду он играл вальсы и разные веселые и грустные песни. Высоченный мулат с изжелта-смуглой кожей, Зе Кальмар ходил развинченной походкой, которую приобрел, как утверждала молва, с тех самых пор, как несколькими приемами капоэйры<sup>1</sup> обезоружил двух матросов. Не всем он был по душе, были и такие, что смотрели на него с неодобрением, но Зе Кальмар часами возился с живущей на холме ребятей, обучая ее искусству капоэйры и проявляя при этом поистине безграничное терпение. Показывая разные приемы, он сам вместе с мальчишками катался в пыли, чтобы они лучше усвоили, как нанести удар или как выбить нож из рук нападающего. Ребята молились на него как на идола, а их вожак Антонио Балдуино мог часами ходить за парнем и слушать его рассказы о разных случаях из жизни. У Зе Кальмара

---

<sup>1</sup> Капоэйра — атлетическая игра, сложные приемы которой включают умение владеть ножом и кинжалом.

он уже выучился здорово управляться с ножом, а теперь ему не терпелось освоить гитару.

— Ты научишь меня, да?

— Ну конечно, научу.

Мальчик бегал с поручениями к возлюбленному Зе Кальмара и защищал его от нападков.

— Он — мой друг. Чего вы сами не скажете ему все в глаза? Небось духу не хватает?..

Зе Кальмар был завсегдатаем сборищ у дверей Луизино дома. Он появлялся, щеголяя своей развинченной походкой, призванной подчеркнуть его независимость, садился на корточки и закуривал дешевую сигарету. Он молча выслушивал истории и случаи, которые рассказывались собравшимися, не вмешивался в споры, и только если чей-то рассказ производил уж слишком большое впечатление на слушателей, Зе Кальмар давал сигарете отдых, заложив ее за ухо, и изрекал:

— Гм... Ну, со мной однажды еще и не такое приключилось...

И далее следовала совершенно неслыханная история, разукрашенная всевозможными подробностями, дабы ни у кого не возникло сомнения в ее правдивости. Если все же он видел в чьих-то глазах ясно выраженное недоверие, Зе Кальмар ничуть не обижался:

— Не верите, спросите у Зе Счастливого, он тогда со мной был...

Всегда был кто-то, кто был с ним. Всегда находился очевидец, который не даст соврать. И ко всем заварухам, случавшимся в городе, Зе Кальмар, судя по его рассказам, имел непременно касательство. Стоило только начаться разговору о недавнем преступлении, как Зе Кальмар прерывал беседующих:

— Я как раз был неподалеку...

И он выкладывал свою версию происшествия, по которой его участие в нем всегда предрешало исход событий. Однако если приходилось, он и вправду умел за себя постоять. Лоуренсо-трактирщик может подтвердить: у него на физиономии два шрама от ножа Зе Кальмара. Подумать только, этот паршивый испанец захотел вышвырнуть парня из своего заведения! Каброши, приходя в восторг от походов Зе Кальмара, пожирала его пламенными взорами. Их сердца таяли, покоренные его ленивой поступью завязанного бездельника, его славой смельчака и забияки, его неотразимой манерой, рассказывая, дове-

рительно обращаться к слушателям, напоминая им сходные случаи из их собственной жизни; они жадно ловили его взгляд, улыбку чувственного рта и окончательно теряли головы, когда их кумир начинал петь под гитару.

Едва очередной рассказчик заканчивал свою историю и на секунду воцарялось молчание, как одна из каброшей тут же спешила с просьбой:

— Спойте, сеньор Зе, уважьте народ...

— Да нет, девушка, к чему мешать такой интересной беседе, — прикидывался он скромником.

— Ну, не ломайся, Зе, пой...

— Да я и гитару оставил дома...

— Не беда... Балдо принесет...

Антонио Балдуино только этого и ждал и мчался со всех ног к лачуге Зе Кальмара. А тот все заставлял себя упрашивать:

— Я сегодня не в голосе... Пусть девушки меня простят...

Теперь уже все хором его уговаривали:

— Ну, спой, Зе...

— Ну хорошо, но только одну-единственную...

Но, конечно, за одной единственной следовало много других: тираны<sup>1</sup>, коко<sup>2</sup>, самбы, песни любовные, песни печальные до слез и приключенческие АВС — они больше всего нравились Антонио Балдуино:

Ах, свижусь ли с домом родимым,  
увидю ль родные края?  
Схватили меня и в Баию  
везут арестантом меня.

Зе пел о разбойнике Лукасе да Фейра, любимейшем герое Антонио:

Богатства себе не скопил я,  
богатым не быть бедняку,  
но жил в своем собственном ранчо  
и ящик имел табаку.

В Баие мне суд учинили,  
тюрьма угрожала уж мне...  
Но стражников всех раскидал я,  
а сам ускакал на коне.

---

<sup>1</sup> Т и р а н а — бразильский танец типа фанданго.

<sup>2</sup> К о к о — народный танец, распространенный на севере Бразилии.

Слушатели шепотом комментировали:

- Ну и смельчак этот Лукас...
- Говорят, он ни разу не промахнулся...
- И добрый, говорят, был человек...
- Добрый?
- А что? Он только богачей грабил, а награбленное отдавал бедным...

Грабитель — я бедных не грабил,  
да что и возьмешь с бедняка?  
Но всех богачей-толстосумов  
моя настигала рука.

- Ну, слышал?
- И по части женского пола был силен...

Каброши с глазами как пламень,  
мулатки с кудрями как шелк,  
креолки и белые крали —  
никто от меня не ушел.

Дойдя до этого места, Зе Кальмар победительным взором окидывал столпившихся каброшей и дарил им одну из своих неотразимых улыбок. Девушки взирали на него с обожанием, словно перед ними был сам Лукас да Фейра собственной персоной, а парни, глядя на них, покатывались со смеху. А дальше говорилось о верности разбойника своему слову и о его горделивой отваге:

Не выдам своих я собратьев,  
позор, коли выдам я их,  
пусть сам я погиб безвозвратно,  
не дам погубить я других.

О ком говорит вся округа  
и песни слагают о ком?  
Я ловок и смел — ведь недаром  
меня все зовут главарем.

Но наступала минута, когда голос Зе Кальмара обрел особую звучность, а взгляд становился особенно томным. Так было, когда начинались куплеты на букву У:

У — тоже лишь гласная буква,  
как а, е, и, о, — потому  
прощальный привет посылаю  
друзьям и еще кой-кому...

Глаза певца не отрывались от очередной избранницы, и в тот миг он и впрямь был Лукас да Фейра, разбойник, убийца, не устоявший перед любовью...



Под аплодисменты собравшихся он заканчивал свою историю:

Я грабил и старых и малых,  
в жестокий пустившись разбой,  
но вот наступил час расплаты,  
назначенный злою судьбой.

А потом следовала самба. Истинной печалью наполнял ее несравненно тоскующий голос Зе Кальмара:

Я покидаю край родимый,  
коварством изгнанный твоим...  
Я покидаю край родимый,  
тоскою о тебе томим.

Женщины изнемогали от удовольствия:

— Ах, какой он красавчик!

— Как он выводит-то, прямо до слез...

Одна из них, с большим животом, видать, на последнем месяце, шепотом рассказывала другой:

— Мой-то, пока меня добивался, от меня ни на шаг не отходил... Подарками задаривал... Жениться обещал: мол, и в церкви обвенчаемся, и у судьи запишемся...

— И в церкви и у судьи?

— Да, моя милая... Мужчина, чтоб нашу сестру обмануть, что хочешь наобещает... Улестит почище самого дьявола... А я дура и поверила... Ну вот и получила... полное брюхо... Работать пришлось, красота моя на нет и сошла... Ну, он и удрал с одной каброшей, — она уж давно на него варилась...

— Поворотить надо было, вот он бы и вернулся...

— А к чему? От своей судьбы не уйдешь... На все божья воля...

— Еще что! Надо было хоть на эту гадюку порчу напустить! Нет, вы только подумайте! Какая-то стерва уведет моего мужа, а я буду на это смотреть! Будто так и надо! Ну нет, моя дорогая... Я бы тут же напустила на нее проказу, и он бы мигом вернулся! Отец Жубиба свое дело знает, от его ворожбы не спасешься...

— А ни к чему это все... Мы в своей судьбе не вольны, как там определяют, так и будет. — Женщина подняла глаза к небу. — Кому что на роду написано, — никуда от того не денешься. Вот он, — она показала на свой живот, — еще и не родился, а уж на небесах вся его жизнь расписана...

Старая Луиза поддержала ее:

— Твоя правда, дочка. Так оно и есть...

Разговор делался общим:

— Слушай, ты знаешь Грасинью, мулатку с Гиндастедос-Падрес?

Кто-то припомнил:

— Не эта ли — без зубов, страшная что твоя жараракусу? <sup>1</sup>

— Она самая... Но слушайте дальше: и вот с такой-то рожей она отбила мужа у Рикардины, ну, а та, сами знаете, бабища — во! Жубибаба ей поворожил...

— Она сама ворожить горазда... в постели, — загоготал один из парней.

— Говорят, Балбино помер от ворожбы...

— Ну да! От собственной злости он помер. Злющий был — чистая кобра.

Толстый старый негр, чесавший себе ступню острием перочинного ножа, продолжал вполголоса:

— Вы что, не слышали разве, что он сотворил со стариком Зекиелом? От этой истории волосы дыбом на голове становятся... Всем известно — старик кривить душой не умел. Строгий был человек. Я его хорошо знал, вместе каменщиками работали. Уж до того был прямодушный. Второго такого на всем свете не сыщешь. Но однажды, на беду, свела его судьба с Балбино... Этот чертов сын втерся к нему в дружбу, а для чего? Чтоб соблазнить старикову дочку. Помните Розу? Я-то хорошо ее помню... Скоро глаза мои могильная земля засыплет, и не увидать мне больше такой красавицы — первая была среди каброшей... Так вот Балбино прикинулся, что влюблен в нее и хочет жениться...

Женщина на сносях поддакнула:

— Точь-в-точь как у меня с моим Роке...

— Даже день свадьбы назначили... Но случилось так, что старику Зекиелу пришлось ночью выйти на работу. Он в то время в гавани работал... а тут как раз срочная погрузка... Балбино на правах жениха заявился в дом и потащил Розу в комнату старика, вроде затем, чтобы взглянуть на приданое. А там он повалил ее на кровать и, как она ни кричала и ни отбивалась, снасильничал над ней и бросил растерзанную, всю в крови, хоть и живую. И еще у него достало бесчувствия взломать сундук старика и вытащить оттуда деньги, несчастные пятьдесят

---

<sup>1</sup> Ж а р а р а к у с у — ядовитая змея.

мильрейсов, припасенные к свадьбе. Когда старик вернулся — он прямо обезумел... А Балбино — он ведь всегда больше глоткой брал — струсил и где-то до поры хорошился, а потом он и его дружки подкараулили старика ночью и забили до смерти. И ничего ему за это не было... Говорили, что наверху у него есть заручка.

— Да уж не без этого. Раз какой-то солдат выследил его и задержал. Так знаете, чем это кончилось? Балбино отпустили, а солдат сел за решетку.

— Говорят, он приводил полицию туда, где праздновали кандомбле...<sup>1</sup>

Никто не заметил, как к собравшимся подошел Жубиаба:

— Он умер страшной смертью, — проговорил макубейро.

Все склонили головы, никто не смел ему противоречить.

— Он умер страшной смертью. У него закрылся глаз милосердия. И остался один только злой глаз. Но когда он умер, глаз милосердия открылся снова. — И он повторил еще раз: — Глаз милосердия закрылся. Остался один только злой глаз.

Голый до пояса негр протиснулся к Жубиабе поближе.

— Как это, отец Жубиаба?

— Никто не смеет закрывать милосердный глаз. Не-хорошее дело закрывать милосердный глаз. Добра тогда не жди.

Тут он заговорил на своем наречии, и у всех по телу пробежала дрожь, — так всегда бывало, стоило Жубиабе заговорить на языке наго.

— Ожу авун фо ти ика, ли оку.

Вдруг полуголый негр бросился Жубиабе в ноги:

— Я тоже закрыл свой милосердный глаз, люди... Однажды я тоже закрыл милосердный глаз...

Жубиаба глядел на негра из-под опущенных век. Остальные, мужчины и женщины, неслышно расходились.

— Это случилось там, в сертане<sup>2</sup>. Была великая сушь. Падали волы, погибали люди, все погибало. Народ бежал от засухи, но почти все оставались лежать на дороге. Под конец мы шли уже только вдвоем с Жоаном Жанжаном.

---

<sup>1</sup> К а н д о м б л е — то же, что макумба.

<sup>2</sup> С е р т а н — засушливый район Бразилии.

И наступил день, когда ему пришлось нести меня на спине, — идти я уже не мог. Жоан держал глаз милосердия широко открытым, но глотки у нас совсем пересохли. А солнце было такое злое... Пути нашему конца-краю не виделось, и где раздобыть воды, мы не знали. Все же на одной фазенде<sup>1</sup> удалось нам выпросить бутылку воды, и тогда побрели мы дальше. Жоан Жанжан нес бутылку и строго отмерял воду по глотку. И все равно мы помирали от жажды. И тут попадись нам на дороге белый человек — тоже уж совсем богу душу отдавал без воды. Жоан Жанжан хотел было поделиться с ним глотком, да я не позволил. Но клянусь, что воды у нас оставалось на донышке, самим бы едва по глотку хватило. А он хотел отдать ее белому. У него для всех глаз милосердия был открыт. А у меня жажда его иссушила. Остался только злой глаз... Жоан захотел отдать воду, я набросился на него, не помня себя от ярости... И убил его... А он целый день тащил меня на спине...

Негр смотрел в ночную тьму. На небе сверкали бесчисленные звезды. Жубиаба слушал его с закрытыми глазами.

— Он целый день тащил меня на спине. Его милосердный глаз всегда был широко открыт. Я хотел бы стереть его взгляд со своего лица, но не могу. Все время чувствую его, все время он на меня глядит...

Негр провел рукой по глазам, словно пытаюсь избавиться от навязчивого виденья. Но оно не исчезало, и взгляд негра снова приковался к одной точке:

— Он целый день тащил меня на спине...

Жубиаба монотонно повторил:

— Злое дело закрывать глаз милосердия. Жди тогда беды.

Негр поднялся с колен и стал спускаться с холма, унося свою страшную историю.

\* \* \*

Антонио Балдуино слушал и запоминал. Это была школа жизни. Единственная школа, которую он и другие мальчишки с холма могли посещать. Здесь они получали образование и выбирали себе профессию: мошенничество, воровство, разбой. Для этих профессий не требовалось

---

<sup>1</sup> Фазенда — крупное земельное хозяйство, поместье.

большого образования. Можно было выбрать другое: рабство поденщика на плантациях или рабство у станка.

Антонио Балдуино слушал и запоминал.

\* \* \*

Однажды на холме Капа-Негро появился приезжий. Он остановился в доме доны Марии, толстой мулатки, разбогатевшей, как говорили, за счет клиентов Жубиабы. Приезжий хотел, чтобы макумбейро вылечил его: вот уже много лет он страдает от невыносимой боли в правой ноге. Врачи давно уже от него отказались после того, как ими было поставлено множество разнообразных диагнозов и выписана целая куча дорогих лекарств. Болезнь прогрессировала, с ногой было все хуже, и от постоянной боли он уже не мог больше работать.

И тогда он предпринял это путешествие к знахарю Жубиабе, который своим врачеванием излечивал все болезни на холме Капа-Негро.

Человек этот приехал из Ильеуса, богатейшей столицы какао, и его появление почти вытеснило из сердца Антонио Балдуино прежнего кумира Зе Кальмара.

В два приема Жубиаба почти вылечил приезжему ногу, и в воскресенье тот пришел к дому старой Луизы. Все обращались с ним уважительно: ясно было, что деньги у него водятся, — разбогател на юге, да и Жубиабе отвалил за лечение миллион рейсов. Одет был приезжий в дорогой кашемировый костюм, но когда ему принесли письмо, присланное синье Рикардине, и попросили прочесть, он сказал:

— Я не умею читать, дона...

Письмо было от ее брата, умиравшего с голоду на Амазонке. И человек из Ильеуса дал ей сто мильрейсов. Когда он подошел к собравшимся у дома Луизы, все почтительно смолкли.

— Не желаете ли присесть, сеу Жеремиас. — Луиза пододвинула ему соломенный стул с дырявым сиденьем.

— Премного благодарен, дона...

И поскольку никто не отваживался нарушить молчание, он спросил:

— Ну, о чем вы тут беседовали?

— По правде говоря, — ответил Луис-сапожник, — говорили мы здесь о вашем крае, где все само в руки плывет, где любой кучу деньжищ огрести может...

Человек опустил голову, и все в первый раз заметили, что его жесткие курчавые волосы сильно тронуты седью, а лицо все в глубоких морщинах:

— Ну, это не так... Работать там приходится много, а заработки плохие...

— Но ведь вы, сеньор, нажили немало...

— Ничего я не нажил. У меня крошечный клочок земли, а я в тех краях живу уж тридцать лет. Трижды в меня стреляли. Там никто не может быть спокоен за свою жизнь.

— Но там, верно, все храбрецы? — допытывался Антонио Балдуино.

— Взгляните на него, еще одному храбрецу не терпится туда уехать...

— Там ведь все смелые, да? — упорствовал Антонио.

Приезжий погладил курчавую голову мальчика и сказал, обращаясь ко всем:

— Дикая земля... Земля, где стреляют и убивают...

Антонио Балдуино не сводил с него глаз, вот сейчас он услышит удивительные вещи.

— Там убивают на спор. Спорят, куда упадет подстреленный: направо или налево. Бьются об заклад... А потом стреляют, чтобы узнать, кто выиграл...

Он обвел взглядом собравшихся, желая уловить произведенное впечатление, снова опустил голову и продолжал:

— Был там один негр, вытворял он черт знает что... Жозе Эстике... Таких отчаянных я в жизни своей не видел. Дальше уж, как говорится, ехать некуда... Но и злодей, однако, первостатейный. Настоящая чума в образе человеческом.

— Небось из банды жагунсо? <sup>1</sup>

— Никакой не жагунсо, а богач фазендейро. Земли у него под какао было — ног не хватит обойти. А покойников за ним числилось и того больше.

— И ни разу в тюрьму не угодил?

Рассказчик взглянул на спросившего с кривой усмешкой:

— В тюрьму? Этакий-то богач...

Его саркастическая ухмылка досказала остальное. Собравшиеся недоуменно смотрели на него. Затем, уяснив

---

<sup>1</sup> Жагунсо — здесь: наемный бандит из охраны богачей-фазендейро.

смысл сказанного, продолжали молча слушать человека из Ильеуса.

— Знаете, что он однажды выкинул? Приехал в Итабунас верхом и, завидев одного местного богача, спешился и говорит: а ну-ка, подставь мне свой карман, я туда помочусь... И что же? Тот подставил, как миленький... Знал, что Зе Эстике любого уберет с одного выстрела. А в другой раз приехал в Итабунас и встретил там белую девушку, дочку чиновника. И что вы думаете, он сделал? «Девушка, говорит, давай-ка расстегни мне штаны, я хочу помочиться...»

— Ну и что же, расстегнула она? — Зе Кальмар громко захохотал.

— А что ей было делать, бедняжке?

Тут уже вся мужская половина слушателей разразилась хохотом, ее симпатии были явно на стороне Зе Эстике. А каброши смущенно потупились.

— Убивал и увозил он девушек, насильничал над ними. Никого не боялся, вроде как помешанный.

— А погиб он как?

— А погиб от руки одного тамошнего хлюпика гринго...<sup>1</sup>

— И как это случилось?

— Этот гринго придумал обрезать ветки на какаовых деревьях. До него там этим никто не занимался. Разбогател, купил клочок земли, завел плантацию. А потом уехал к себе на родину, жениться. Привез жену, такую беленькую, ну прямо фарфоровая кукла. А плантация этого гринго была как раз бок о бок с владеньями Жозе Эстике. В один прекрасный день Эстике проходил мимо и увидел, как жена гринго расстилает на солнышке белье. Ну, он сразу глаз на нее положил и говорит Николау...

— Кто такой Николау?

— Да гринго того так звали... Вот он ему и говорит: пусть твоя куколка меня ожидает здесь ночью. Николау, понятно, до смерти перепугался и рассказал обо всем соседу. А тот ему говорит: «Либо надо жену отдать, либо к смерти готовиться — Зе Эстике дважды не повторяет. Раз он сказал, что придет за твоей женой, значит, так оно и будет». Бежать уже поздно, да и куда убежишь? От соседа гринго воротился сам не свой. Не мог он отдать свою

---

<sup>1</sup> Гринго — презрительное прозвище иностранцев, особенно англичан и североамериканцев.

красавицу жену, за которой ездил в родные края. Но тогда придется умереть, и его жена все равно достанется Зе Эстике...

— И что же он придумал? — Слушатели не могли сдерживать нетерпения, только Зе Кальмар улыбался, давая понять, что у него в запасе история похлеще этой.

— Зе Эстике пришел ночью, как обещал. Но вместо женщины его встретил гринго с топором и разнес ему череп пополам... Страшная смерть...

Одна из женщин отозвалась:

— Поделом ему... Молодец гринго!

Другая в испуге крестилась. А человек из Ильеуса перешел уже к другим историям про выстрелы и убийства, столь частые в тех краях. А когда он вылезился и уехал, Антонио Балдуино тосковал о нем, словно влюбленный о девушке. Вот так, в лунные вечера на холме Капа-Негро, маленький Антонио Балдуино слушал разговоры его обитателей, слушал и запоминал. Ему еще не исполнилось и десяти, когда он дал себе клятву, что добьется, чтобы и про него сочинили АВС, и тогда о его подвигах будут петь и слушать с восхищением другие люди, на других холмах.

\* \* \*

Жизнь на холме Капа-Негро была суровой и нелегкой. Люди с холма работали много и тяжело: кто в порту, на погрузке и разгрузке судов, кто носильщиком, кто на фабрике или в мастерской сапожника, портного, в парикмахерской. Женщины продавали на кривых улочках города сладкий рис, мунгунсу, сарапател<sup>1</sup>, акараже<sup>2</sup>, стирали белье или служили кухарками в богатых домах, расположенных в фешенебельных кварталах. И многие ребята тоже работали. Чистильщиками обуви, посыльными, разносчиками газет. Кое-кого брали на воспитание в зажиточные семьи. А остальные проводили дни на склонах холма в драках, беготне, играх. Они были еще малы, но они уже знали, что их ждет: они вырастут и пойдут работать в порт, где будут сгибаться в три погибели под тяжестью мешков с какао или им придется зарабатывать себе на жизнь на каком-нибудь гигантском заводе. И это

---

<sup>1</sup> Сарапател — блюдо из свиной и бараньей крови и ливера.

<sup>2</sup> Акараже — блюдо из мятой фасоли, поджаренной на пальмовом масле.



не вызывало в них протеста — ведь так уж повелось спокон веков: дети с красивых и зеленых улиц становились врачами, адвокатами, инженерами, коммерсантами, преуспевающими людьми. А дети с холма становились слугами этих людей. Именно для того они и существовали — и сам холм, и его обитатели. Это еще с детства понял и запомнил Антонио Балдуино, наблюдая каждодневную жизнь взрослых. В богатых семьях дети наследовали профессию дяди, отца или деда, знаменитого инженера, удачливого адвоката, дальновидного политика, а на холме, где жили негры и мулаты, их дети наследовали рабство у богатого белого господина. Таков был обычай, единственный обычай. Потому что обычай вольной жизни в африканских джунглях был забыт, и редко кто вспоминал о нем, а тех, кто вспоминал, высылали и преследовали. На холме один Жубиба был ему верен, но тогда еще Антонио этого не знал. Кто из живущих на холме мог назвать себя свободным: Жубиба, Зе Кальмар? Но и тот и другой подвергались преследованиям: один за то, что был макумбейро, другой за то, что был жуликом. Антонио Балдуино запомнил героические истории, услышанные им от обитателей холма и забыл про обычай рабства. Он решил войти в число свободных, тех, о ком складывают АВС и поют песни, тех, кто рано или поздно становится примером для всех черных и белых, погрязших в безнадежном рабстве. Еще там, на холме, Антонио Балдуино выбрал борьбу. И на все, что он впоследствии делал, его толкали эти истории, коих немало он наслушался лунными ночами у дверей теткиного дома. Эти истории, эти песни открывали людям радость борьбы. Но люди этого не понимали, или уж слишком глубоко укоренился в них обычай, рабский обычай. И все же кое-кто слушал и понимал. Антонио Балдуино был из тех, кто понял.

\* \* \*

На холме, неподалеку от дома старой Луизы, жила женщина по прозванию Аугуста Кружевница. Кружевницей прозвали ее потому, что целыми днями она плела кружева, а по субботам продавала их в городе. Но часто ее можно было застать сидящей неподвижно, с глазами, устремленными в небо: казалось, она хотела разглядеть там что-то, невидимое для других. Она всегда присутствовала

на макубах в доме Жубиабы и, не будучи негритянкой, пользовалась полным доверием макумбейро. Аугуста частенько одаривала Антонио Балдуино мелочью, которую тот, складываясь с другими мальчишками, тратил на леденцы и дешевые сигареты.

О Кружевнице рассказывали много всяких небылиц: никто не знал, откуда она пришла и куда держала путь. Она осталась на холме, но никому так и не удалось ничего от нее выведать. Однако ее рассеянный взгляд и грустная улыбка порождали среди обитателей холма слухи о несчастной любви и связанных с нею зловещих. Сама Аугуста, когда кто-нибудь докучал ей расспросами, отвечала одно:

— О, моя жизнь — это готовый роман... Остается только записать...

Продавая кружева (отмеряла она их простейшим способом: намотав на правую руку, которую она держала у подбородка, отматывала левой, вытягивая ее во всю длину), Аугуста нередко сбивалась со счета.

— Один... два... три... — Она запиналась в досаде и волнении, — двадцать... как двадцать... Кто это сказал двадцать? Я еще только три насчитала... — Растерянно глядя на покупательницу, она объясняла: — Вы не можете себе представить, сеньора, как он меня путает... Я считаю правильно, а он мне на ухо начинает считать быстро-быстро, прямо ужас берет... Я еще только до трех дойду, а он уже двадцать насчитал... Никак мне от него не отвязаться. — И тут она принималась умолять кого-то невидимого: — Сгинь, сгинь, дай мне отмерить кружева как положено... Сгинь...

— Кто вам мешает, синья Аугуста?

— Кто, кто... Кто же еще может быть? Все он, злодей, ни на шаг от меня не отходит. И после смерти своей в покое меня не оставляет.

В другой раз дух забавлялся тем, что связывал Аугусте ноги. Она останавливалась посредине улицы и начинала со стоическим терпением распутывать веревки, которыми якобы были связаны ее ноги.

— Вы что это делаете, синья Аугуста? — спрашивали ее прохожие.

— А вы что, не видите? Веревки распутываю, негодяй-то мой ноги мне связал, чтобы я не могла ходить продавать кружева... Он, видно, хочет, чтобы я с голоду умерла...

И она продолжала развязывать невидимые веревки. Но когда у нее начинали выпытывать, кто же все-таки такой этот дух, Аугуста замолкала. Взгляд ее устремлялся вдаль, на губах застывала печальная улыбка.

— Бедная Аугуста не в своем уме,— еще бы, она столько перенесла...

— Но что такое с нею приключилось?

— Молчи. Все знают, какая у нее была жизнь...

\* \* \*

Аугуста Кружевница была первой, кто повстречался на холме с оборотнем. Случилось это безлунной ночью, когда в грязных переулках холма царил густой мрак и только кое-где тускло светились окошки домов. В такие ночи выходят привидения, в такие ночи раздолье ворам и убийцам. Аугуста поднималась по склону холма, и вдруг из зарослей до нее донесся леденящий душу вой. Она взглянула в ту сторону и увидела метавшие огонь глаза оборотня. До сих пор Аугуста не очень-то верила в эти рассказы про оборотня и безголовую ослицу. И вот она увидела оборотня собственными глазами. Бросив корзину с кружевами, Аугуста обратилась в бегство. Добежав до Луизиного дома, она, трясаясь от ужаса, прерывающимся голосом поведала о своей встрече с оборотнем; от пережитого испуга у бедняжки глаза чуть на лоб не вылезли, а ноги подкашивались от непосильного бега.

— Глотни водички,— успокаивала ее Луиза.

— Спасибо, хоть немного страх меня отпустил,— благодарил Кружевница.

Антонио Балдуино, который все это слышал, обежал с этой новостью весь холм. Теперь только и разговоров было, что про оборотня, а на следующую ночь уже трое видели чудовище: кухарка, возвращавшаяся с работы, Рикардо-сапожник и Зе Кальмар, который метнул в оборотня нож, но тот только разразился зловещим хохотом и скрылся в зарослях. В последующие ночи все прочие жители холма тоже видели страшилище, которое с хохотом от них убегало. Холм был объят ужасом: все двери запирались наглухо, и по ночам никто не осмеливался выйти из дома. Зе Кальмар предложил устроить на оборотня облаву, однако смельчаков отыскалось немного. Кто встретил предложение Кальмара с восторгом — так это Антонио Балдуино,— он сразу набрал целую кучу острых

камней, чтобы было чем сражаться с чудищем. Слухи о нем все росли: Луиза заметила его тень, когда поздно вечером поднималась к себе домой, а Педро еле успел от него удрать. Все жили в тревоге, никто ни о чем не мог говорить, кроме как о чудовище. На холме появился репортер из газеты, делал какие-то снимки. Вечером в газете было напечатано его сообщение, что никакого оборотня не существует и что это выдумка обитателей холма Капа-Негро. Сеу Лоуренсо купил газету и всем показывал, но напечатанное никого не разуверило в существовании оборотня, поскольку все видели его собственными глазами, а кроме того — оборотни всегда были, есть и будут.

Мальчишки с холма, устав от беготни, тоже на все лады толковали о чудовище.

— Мне мать сказала, что из негодных ребят и выходят оборотни. Натворит малец всяких пакостей, а потом...

— А потом у него начинают на руках и на ногах расти ногти, и в полнолуние он превращается в оборотня. Антонио Балдуино возликовал.

— Давайте все станем оборотнями!

— Давай становись, коли тебе не терпится попасть в преисподнюю...

— Эх вы, жалкие трусы!

— Коли ты такой храбрый, чего ж ты ждешь?

— Ну и стану, и даже очень скоро. А что для этого надо?

Нашелся один мальчишка, который знал, как стать оборотнем, и он принялся обучать Антонио:

— Сперва отрасти ногти и волосы, про мытье забудь и думать, и каждую ночь ходи смотреть на луну. И тетке груби и делай все наперекор. Когда будешь глядеть на луну, стань на четвереньки...

— Эй, Антонио, ты мне покажешь, как это стоять на четырех лапах? — вмешался другой, желая подразнить будущего оборотня.

— Я вот тебе сейчас покажу... по роже... Пусть тебе мать твоя показывает...

Мальчишка в ярости вскочил. Антонио Балдуино процедил предостерегающе:

— Эй ты, рукам воли не давай!

— А вот и дам.— И он смазал Антонио по физиономии.

Они покатались по земле. Мальчишки следили за дракой. Противник Антонио был сильнее, однако Антонио Балдуино не зря считался лучшим учеником Зе Кальмара, — он стал одерживать верх. Но тут сеу Лоуренсо выскочил на улицу и разнял дерущихся, проворчав:

— Оно и видно, что безотцовщина!

Побежденный отошел в сторону, а Антонио Балдуино, заправляя в штаны разорванную рубашку, уже выспрашивал дальше знатока по части оборотней:

— И непременно надо ходить на четвереньках?

— Ага, чтобы привыкнуть...

— А потом?

— А потом начнешь превращаться... Весь покроешься волосами, станешь скакать словно лошадь и рыть землю ногами. И придет день, когда ты превратишься в настоящего оборотня. Будешь бегать по холму и пугать народ...

Антонио Балдуино оглянулся на дравшегося с ним мальчишку:

— Как только сделаюсь оборотнем, тебя первого сожру.

И он покинул компанию. Но с полдороги вернулся:

— Послушай, я забыл спросить: а как потом обратно превратиться в человека?

— Ну, этого я не знаю...

Вечером противник Антонио Балдуино сказал, подойдя к нему:

— Балдо, ты лучше начни с Жоакина, он про тебя сказал, что ты в футболе ни фига не смыслишь.

— Он так сказал?

— Ага.

— Побожись!

— Ей-богу!

— Ну, он мне за это заплатит.

Мальчишка угостил Антонио окурком, и они расстались друзьями.

Антонио Балдуино изо всех сил старался превратиться в оборотня. Он, чем мог, досаждал тетке, за что получил две хорошие головнойки, отрастил длиннющие ногти и нипочем не давал стричь свою буйную шевелюру. В лунные ночи, спрятавшись в укромном углу, он учился передвигаться на четвереньках. Но ничего не выходило. Он уже совсем было отчаялся и приходил в бешенство от нескончаемых насмешек своих приятелей, которые каждый день спрашивали, когда же он наконец станет обо-

ротнем? Но тут ему пришло в голову, что он просто еще не такой негодяй, чтобы стать оборотнем. И тогда он решил сотворить пакость пограндиознее. Несколько дней он размышлял, что бы такое выкинуть, и ничего не мог придумать, как вдруг однажды под вечер увидел Жоану, хорошенькую черную девчужку, игравшую в куклы. У нее было много кукол, — их приносил ей сеу Элеутерио, — тряпичные куклы, черные и белые, которым она давала имена всех, кто жил по соседству. Девочка шила им платья и целыми днями играла с ними около дома. Она устраивала кукольные свадьбы и крестины, и на эти праздники собиралась вся живущая на холме детвора.

До сих пор вспоминали бал, который Жоана устроила по поводу крестин Ирасемы, фарфоровой куклы, подаренной девочке на день рождения ее крестным отцом.

Антонио Балдуино подошел к Жоане, уже обдумав план действий. И ласково заговорил с нею:

— Ну, как поживают твои куклы, Жоана?

— Да вот эта влюбилась...

— Она красотка... А в кого влюбилась-то?

Возлюбленным куклы оказался полишинель с ватными ногами.

— Хочешь со мной играть? Ты будешь ее отец...

Антонио не хотел играть, ему нужно было отнять у нее полишинеля. Однако едва он попытался это сделать, Жоана разразилась громким плачем:

— Не трогай... Я маме скажу... Уходи давай...

Антонио, опутив глаза и притворно улыбаясь, принялся уламывать девочку:

— Ну, Жоана, дай мне его подержать...

— Не дам, ты его сломаешь. — И она крепко прижала полишинеля к груди.

Антонио с испугом посмотрел на нее, словно его застали на месте преступления. Как это она догадалась? Он уже готов был отказаться от своего намерения. Но тут девочка снова захлопала носом, готовясь пустить слезу, и Антонио не устоял. Словно в каком-то ослеплении, сам не понимая хорошенько, что он делает, он набросился на Жоаниных кукол и переломал их сколько мог. Жоана оцепенела от ужаса и плакала беззвучно. Слезы, капая, текли по ее лицу, попадая в раскрытый рот. Антонио Балдуино тоже замер, глядя на нее: с полными слез глазами Жоана была чертовски мила! Но вдруг девчужка взглянула на искалеченных кукол и заревела в голос. Антонио,

который уже был готов раскаяться в содеянном при виде хорошенькой заплаканной рожицы, разозлился, услыхав крики Жоаны. Он не тронулся с места, но теперь вопли девчонки заставляли его испытывать острое наслаждение. Он мог бы дать тягу и переждать бурю: гнев у старой Луизы стихал быстро, и если Антонио не попался до времени ей на глаза, то обходилось без трепки. Но он не трогался с места, злясь на девчонку и наслаждаясь ее отчаянным плачем. Тут нагрянула тетка и поволокла его домой, не уставая награждать тумачами. Однако в тот день Антонио даже не пытался увернуться от теткинх затрещин. У него перед глазами все еще маячила зареванная мордочка Жоаны и слезы, стекающие по щекам в ее раскрытый рот. В наказание он был привязан теткой к ножке кухонного стола, и распиравшее его торжество мало-помалу испарилось. Не зная, чем себя занять, Антонио принялся давить спящих по кухне муравьев. Со-сод, увидев это, пробормотал:

— У, пащенко... Ну, этот плохо кончит.

\* \* \*

Он так и не стал оборотнем. И ему пришлось подра-ться с двумя мальчишками и разбить голову третьему — только после этого его авторитет у ребят с холма обрел былую силу. Авторитет, серьезно поколебленный несо-стоявшимся превращением. А тот, другой оборотень тоже исчез после заклинания Жубиабы, совершенного им в полнолуние на вершине холма в присутствии всех его обитателей. Сначала Жубиаба потряс зеленой ветвью, заклиная чудовище удалиться, затем осенил этой ветвью заросли, где прятался оборотень, и тот, покинув холм, возвратился восвояси, оставив наконец в покое жителей холма Капа-Негро. С тех пор никто никогда не видел обо-ротня. Но до сего дня на холме поминают его, коль придет-ся к слову.

А Жубиаба, несший на своих плечах груз никому не ведомых лет, поселившийся на холме намного раньше его нынешних обитателей, рассказал всем историю этого обо-ротня:

— Он уже много раз здесь появлялся. И не однажды я изгонял его. Но он возвращается и будет возвращаться, покуда не искуплено злодейство, им здесь содеянное... Он еще много раз будет возвращаться...

— А кто он такой, отец Жубиаба?

— Вы о нем и не слышали... Это белый сеньор, владелец фазенды. Давно, еще в старые времена, когда негры были в рабстве, на этом месте, где мы теперь живем, стояла фазенда. Аккурат на этом самом месте. Вы знаете, почему наш холм прозван Капа-Негро<sup>1</sup>? Не знаете... А потому, что весь этот холм занимала фазенда этого сеньора. А он был из всех злодеев злодей. Забавлялся он тем, что спаривал негра с негрityнкой и ждал: родится мальчишка — одним рабом у хозяина больше, а ежели нет — беда тому негру: хозяин приказывал его оскопить. И много негров он так оскопил... Белый злодей... Вот почему наш холм прозван холмом Капа-Негро и на нем появляется оборотень. Оборотень этот — белый сеньор. Он не умер. Он был слишком большим злодеем и однажды ночью превратился в оборотня и стал бродить по свету, пугая народ. Теперь он ищет место, где был его дом, а его дом стоял здесь, на холме. Ему все нейдет, все хочется скопить негров...

— Спаси нас боже...

— Пускай он попробует меня оскопить, я ему покажу... — засмеялся Зе Кальмар.

— Среди его негров были наши деды и прадеды... Вот он и рыщет здесь, думает, что тут все еще живут его рабы...

— Негры больше не рабы...

— И негры — рабы, и белые — рабы, — оборвал говорившего изможденный человек, грузчик в порту. — Все бедняки — рабы. Рабство еще не кончилось.

И все собравшиеся — негры, мулаты, белые — опустили головы. Один Антонио Балдуино остался стоять с поднятой головой. Уж он-то ни за что не будет рабом.

\* \* \*

Никто на холме не пользовался столь печальной известностью, как этот негрityенок Антонио Балдуино. И не потому, что он и в самом деле был хуже всех. Вместе с другими ребятами он проказничал, играл в футбол мячом, сделанным из бычьего пузыря, подсматривал за негрityнками, бегавшими по нужде на песчаный пустырь за Байша-дос-Сапатеiros, таскал фрукты с лотков, баловался

---

<sup>1</sup> Капа-Негро — здесь: буквально «Холм кастратов».



куреньем, ругался непристойными словами. На холме его невзлюбили совсем не за это. А за то, что именно в его голове рождались все плутни, все хитроумные проделки, все нескончаемые шалости, которыми изводили мальчишки обитателей холма.

Разве не он придумал пойти всей ватагой на праздник в Бонфин? Они отправились в три часа дня, рассчитывая вернуться к ночи, но было уже три часа утра, когда их хватились на холме. Встревоженные матери забежали из дома в дом, у многих глаза уже были на мокром месте, отцы рыскали по всему холму в поисках пропавших ребят. А для них все это было чудесным приключением: они обежали почти весь город, видели весь праздник с начала до конца, валились с ног от усталости, но только когда стали засыпать на ходу, вспомнили, что пора бы и по домам. От них изрядно пострадали лотки со сладостями, они долго изводили щипками пышнозадую мулатку, не обошлось, разумеется, и без драки. Вернулись домой, когда уже рассветало, и, уstraшенные предстоящей взбучкой, старались выгородить себя:

— Это меня Балдуино подбил идти.

Но на этот раз старая Луиза не набросилась на Балдуино с тумаками. Она погладила его по голове, говоря:

— Все пошли потому, что ты этого захотел, разве не так, сынок?

И Жубиаба любил Антонио Балдуино. Он всегда разговаривал с ним, как со взрослым. И негритенок все больше и больше привязывался к старому макумбейро.

Он благоговел перед ним: Жубиаба все знал и всегда мог рассудить всех на холме. И он вылечивал все болезни, а его заклинания обладали чудодейственной силой. И он был свободным, над ним не было хозяина, он не проводил долгих часов в изнурительной работе.

\* \* \*

Однажды глубокой ночью отчаянные крики о помощи нарушили покой холма. Распахнулись двери домов, мужчины и женщины, протирая сонные глаза, выбежали на улицу. Крики неслись из дома Леополдо. Внезапно они смолкли и сменились слабыми стонами. Все ринулись туда. Дверь, сделанная из ящичных досок, была открыта, и на полу корчился в предсмертных судорогах Леополдо с

двумя ножевыми ранами в груди. Крови натекла уже целая лужа. Леополдо с трудом приподнялся и рухнул замертво. Кровь хлынула у него из горла струей. Кто-то вложил ему в руку зажженную свечу. Все говорили шепотом. Какая-то женщина начала читать заупокойную молитву. В лачугу протискивались вновь пришедшие.

Впервые обитатели холма попали в дом Леополдо. Он никого к себе не пускал. Человек он был необщительный, ни разу ни к кому не наведаясь. Только однажды он пришел к Жубиабе и провел в его доме много часов. Но никто не знал, о чем он говорил с макумбейро. Занимался он плотницким ремеслом и пил запоем. Напившись в заведении сеу Лоуренсо, он делался еще угрюмей и безо всякого повода начинал стучать кулаком по стойке. Антонио Балдуино боялся его. И теперь с еще большим испугом смотрел на него, мертвого, с двумя ножевыми ранами в груди. Никто не знал, чьих рук это дело. Впрочем, год спустя, когда Антонио Балдуино карабкался по склону, к нему подошел какой-то тип в рваных штанах и дырявой шляпе, с изможденным лицом и спросил:

— Эй, малый, живет здесь Леополдо, такой высокий хмурый негр?

— Знаю... Но он здесь больше не живет, сеньор...

— Он что, переехал?

— Нет. Он умер...

— Умер? От чего?

— От удара ножом...

— Убили его?

— Да, сеньор...— Антонио взглянул на незнакомца.— А вы что, ему родственником приходитесь?

— Может быть. Скажи-ка, как отсюда попасть в город?

— А вы не хотите подняться наверх и расспросить про Леополдо? Тетка Луиза могла бы вам кое-что рассказать... А я покажу вам дом, где жил Леополдо. Там теперь сеу Зека живет...

Незнакомец вытащил из рваных штанов пятьсот рейсов и протянул Балдуино:

— Держи, малец: если бы он уже не был мертвым, он умер бы сегодня...

И он стал спускаться по склону, не слушая, что говорит ему Антонио Балдуино. А тот бежал вслед за ним:

— Хотите, я покажу вам дорогу в город?

Но незнакомец даже не оглянулся.

Антонио Балдуино никому не обмолвился про эту встречу — так она его напугала. И незнакомец в рваных штанах и дырявой шляпе еще долго преследовал его в страшных снах. Он, как видно, пришел издалека и почти падал от усталости. Антонио Балдуино тогда подумал, что этот человек держит закрытым глаз милосердия.

\* \* \*

Так прошел один, и второй, и третий год жизни на холме. Обитатели его были все те же, и жизнь все та же. Ничего не менялось. Только голова у старой Луизы стала болеть все сильнее. И болела теперь почти каждый день, разбалывалась сразу, едва Луиза возвращалась из города, где она до поздней ночи торговала мунгунсой и мингау. От боли негритянка криком кричала, гнала прочь сочувствующих соседей, затем появлялся Жубиaba и с каждым разом задерживался все дольше, чтобы избавить Луизу от страшных болей. От них старуха делалась прямо не в себе: едва вступив на порог, она принималась браниться, орала на всех, колотила Балдуино за малейшую провинность, а когда боль ее наконец отпускала, она начинала приставать к племяннику с ласками, обнимала его за шею, искала в голове, тихонько всхлипывая, просила прощения.

Антонио Балдуино по малости лет и по глупости не очень над этим задумывался. Ему были непонятны теткинны внезапные переходы от колотушек к ласке. Но все же порой в разгар какой-нибудь очередной проделки он вдруг замирал, вспомнив старую Луизу и головную боль, которая ее убивала. Он чувствовал, что скоро лишится тетки, и это предчувствие заставляло сжиматься его маленькое сердце, наполненное до краев ненавистью и любовью.

\* \* \*

Вечер выдался пасмурный, черные тучи обложили небо. К ночи поднялся сильный удушливый ветер, он перехватывал дыхание и со свистом врывался в переулки. Ветер хозяйничал в городе, пока не зажглись вечерние огни, он гонялся за ребятами по склонам холма, задирали женские подола в Цветочном переулке и в переулке Марии-Пас, поднимал тучи пыли, вламывался в дома и разбивал в черепки глиняные кувшины. Но едва зажг-

лись огни, как хлынул страшный ливень и разразился ураган, какого не было уже давно. Дома погрузились в темноту и молчание. Лачуги на холме закрылись наглухо. Однако старая Луиза готовилась пойти со своим лотком в город. Антонио Балдуино, забившись в угол, от нечего делать давил муравьев. Тетка попросила его:

— Помоги-ка мне, Балдуино.

Он помог ей поставить жестянки на лоток, который тетка укрепила на голове. Она ласково провела рукой по лицу мальчика и направилась к двери. Но не дойдя до нее, Луиза внезапно швырнула лоток и жестянки на пол, лицо ее исказила ярость, и она закричала:

— Не пойду, больше не пойду!

Антонио остолбенел от ужаса.

— А... а... а! Больше не пойду, пусть идут, кому охота! А... а... а!

— Что с тобой, тетя Луиза, что с тобой?

Мунгунса растекалась по кирпичному полу. Луиза замолчала и, не отвечая племяннику, вдруг принялась рассказывать какую-то историю про женщину, у которой было три сына: плотник, каменщик и портовый грузчик. Потом женщина постриглась в монахини. Луиза стала рассказывать про ее сыновей. История эта не имела ни начала, ни конца. Антонио Балдуино не слушал и все хотел побежать позвать на помощь, но не решался оставить тетку. А она уже дошла до того места своей истории, когда плотник спрашивает у дьявола: «Где же твои рога?» И дьявол ему отвечает: «А я отдал их твоему отцу...»

Антонио двинулся было к двери, когда Луиза, дойдя до самого интересного места своей истории, вдруг увидела на полу жестянки с мунгунсой и мингау. Она засмеялась и пропела:

Никуда я не пойду,  
не пойду,  
не пойду...

Мальчик в страхе остановился и стал спрашивать тетку, не болит ли у нее голова. Но она посмотрела на него таким странным взглядом, что он в ужасе забился в угол.

— Ты кто такой? Ты хочешь украсть у меня мой товар, негодник? погоди, я тебя проучу!

Она хотела схватить Балдуино, но тот успел выскочить за дверь и помчался по улице, опомнившись только у дома Жубиабы. Жубиабу он застал за чтением старинной книги.

— Что случилось, Балдо?

— Ой, отец Жубиба, отец Жубиба...

Он не мог говорить. Еле отдышавшись, он заплакал.

— Что с тобой, сынок?

— Тетку Луизу опять схватило.

Снаружи неистовствовал ураган. Дождь лил как из ведра. Но Балдуино ничего не замечал, он слышал теткин голос: она спрашивала у него, кто он такой, он видел ее взгляд, непохожий на человеческий... Балдуино с Жубибой бежали к дому Луизы: бушевал ураган, лил дождь, завывал ветер. Бежали молча.

Когда они вошли в дом, там уже было полно соседей. Какая-то женщина говорила Аугусте Кружевнице:

— Это все от этих жестянок, которые она таскала на голове. Я знала одну женщину, так она тоже из-за этого помешалась...

При этих словах Антонио Балдуино снова залился слезами. Аугуста не соглашалась с говорившей:

— Да совсем она не помешалась, кума. Просто дух в нее вселился, да к тому же не злой, а добрый. Вот увидишь, Жубиба ее в один миг вылечит...

Луиза то пела во весь голос, то разражалась хохотом и цеплялась за Зе Кальмара, который, стараясь ее успокоить, поддакивал всем ее бессмыслицам. Жубиба приблизился к больной и начал бормотать свои заклинания. Антонио Балдуино отвели в дом к Аугусте. Но он всю ночь не сомкнул глаз, и в урагане, вое ветра и шуме ливня ему слышались крики и хохот тетки. И рыдания душили его.

\* \* \*

На следующий день приехала больничная карета, и двое санитаров стали сажать в нее старуху. Но Антонио Балдуино что есть силы вцепился в нее. Он не хотел, чтобы ее увезли. Он пытался втолковать санитарам:

— Не нужно ее в больницу. У нее просто голова опять разболелась. Но отец Жубиба ее вылечит. Не увозите ее...

Луиза громко пела, равнодушная ко всему происходящему. Мальчик впился зубами в руку одного из санитаров, и его еле от него оторвали. Аугуста увела Антонио к себе. Все были с ним очень ласковы. Приходил Зе Кальмар и обучал его капоэйре и игре на гитаре. Сеу Лоуренсо угощал его конфетами, синья Аугуста жалост-

ливо твердила: «Ах ты, мой бедненький!» Навещал его и Жубибаба, он повесил на шею Антонио амулет и сказал:

— Это чтоб ты вырос сильный и храбрый. Ты мне по сердцу, мальчуган.



В доме Аугусты он провел несколько дней. Однажды утром Кружевница его придела, взяла за руку и они вышли из дома. Мальчик спросил ее, куда они идут.

— Ты теперь будешь жить в одном очень красивом доме. Будешь жить у советника Перейры. Он берет тебя на воспитание.

Антонио Балдуино промолчал, но про себя решил, что непременно убежит оттуда. Когда они стали спускаться, встретили на склоне холма Жубиabu. Антонио поцеловал колдуну руку, и тот сказал:

— Когда вырастешь, возвращайся сюда. Когда станешь взрослым.

Все ребята высыпали на дорогу проводить Антонио. Он с грустью простился с ними. Спустились с холма.

Снизу еще была видна фигура Жубиабы, сидящего на вершине холма, в рубашке, раздуваемой ветром, с пучком травы в руке.

## ПЕРЕУЛОК ЗУМБИ-ДОС-ПАЛМАРЕС

Старая улица, грязные домишки, среди них облезлые, неопределенного цвета особняки. Улица вытянута в скучную прямую линию. Тротуары у домов — разного уровня: одни высокие, другие низкие, одни доходят почти до середины проезжей части, другие словно боятся отойти от дверей. Улица, скверно вымощенная разновеликими камнями, заросшая травой.

Сонный покой спускался и поднимался здесь отовсюду. Он исходил от моря и от гор, от неосвященных домов, от редких уличных фонарей, от самих жителей и спускался туманом, обволакивая улицу и ее обитателей. Похоже было, что здесь, на улице, именуемой переулком Зумбидос-Палмарес, ночь наступала раньше, чем на других улицах города.

Даже море, бьющееся вдали о камни, не пробуждало от спячки эту улицу, казавшуюся старой девой, которая

напрасно ждет своего жениха, давно отплывшего в далекие страны и затерявшегося в сутолоке чужих столиц. Улица была печальна. Она умирала. Ее покой походил на покой смерти. Все вокруг умирало: дома, холм, огни. Тишина была тяжелой, от нее заходило сердце. Переулок Зумби-дос-Палмарес умирал.

Как стары были здесь дома, какой шерботой выглядела мостовая!

Улица была стара, как старая негритянка, жившая в старом закопченном доме — она всегда по-матерински совала мальчишкам тостан<sup>1</sup>-другой на кокаду<sup>2</sup> и целыми днями курила глиняную трубку, бормоча себе под нос никому не понятные слова.

Улица все больше горбилась, а дома быстро ветшали. Тишина смерти. Она спускалась с холма и поднималась от камней.

Переулок Зумби-дос-Палмарес умирал!

Однажды какая-то новобрачная пара явилась сюда посмотреть сдававшийся дом. Дом был уютный и комфортабельный. Но молодая запротестовала:

— Нет, нет, я не хочу. Эта улица похожа на кладбище.

\* \* \*

На углу два особняка, один против другого. Остальная часть улицы сплошь застроена низкими мрачными домишками, и среди них еще один-другой облупленный, полуразвалившийся особняк, густо заселенный рабочим людом.

Два угловых особняка, тоже достаточно древние, сохраняли еще остатки былого великолепия. В особняке направо жила семья, которую постигло большое горе — утрата единственного сына, трагически погибшего. Они жили уединенно, никого из них никогда не видели у окна, да и окна всегда были закрыты. Все члены семьи носили траур. Если же случайно окно открывалось, можно было увидеть гостиную и в ней огромный портрет белокурого юноши в форме лейтенанта. На тонких губах юноши играла дерзкая улыбка, в белой руке он держал цветок. Особняк был с верандой, и на веранде часто появлялась белокурая девушка, вся в черном. Она читала книгу в жел-

---

<sup>1</sup> Т о с т а н — старая португальская и бразильская монета.

<sup>2</sup> К о к а д а — сладкое из кокосового ореха.

том переплете и, завидев Антонио Балдуино, бросала ему монетку.

Каждый вечер возле особняка появлялся красивый молодой человек и начинал медленно прохаживаться по улице. Он тихонько насвистывал, привлекая внимание девушки. Заметив его, она подходила к решетке веранды и улыбалась юноше. А тот, походив еще немного, приветствовал девушку жестом, улыбался, и, прежде чем уйти окончательно, вынимал из петлицы гвоздику, и, поцеловав ее, бросал на веранду. Девушка с проворством ловила ее, улыбаясь и прикрывая лицо рукой. Она прятала красную гвоздику в томик стихов и на прощание нежно махала юноше. Он уходил и назавтра возвращался снова. И снова девушка бросала монетку негритенку, который вертелся внизу и был единственным свидетелем этой любви.

Напротив стоял особняк командора. В цветущем саду расхаживали гуси, и аллея возле дома была обсажена манговыми деревьями. Командор не прогадал, купив еще в старое доброе время этот особняк, и задешево — «чистая выгода», как любил он повторять по воскресеньям, прогуливаясь по саду или отправляясь соснуть в глубине двора. Он поселился в нем много лет назад в ту пору, когда еще только начал богатеть, но и теперь продолжал любить этот старый дом, с целой анфиладой комнат в тихом, без уличного движения переулке.

Громадность этого дома устрошила Антонио Балдуино. Он сроду не видывал ничего подобного. На холме Капа-Негро домами именовались приземистые лачуги, сложенные из битого кирпича: дверьми служили крышки от ящиков, кровли крылись обрезками жести. Жилое помещение всегда разделялось всего на две половины: кухню, одновременно служившую столовой, и закуток для спанья. А командорский особняк — это совсем другое дело! Какой он был огромный, и сколько там было комнат, среди них и такие, что постоянно были закрыты; богато обставленная гостиная, готовая к приему гостей, которые никогда в ней не появляются, большие залы, великолепная кухня, а уборная лучше любого дома на холме!

\* \* \*

Когда Аугуста Кружевница с негритенком добралась до командорского дома, оба они сильно притомились: путь от холма Капа-Негро до переулка Зумби-дос-Палмарес



был неблизкий. В доме командора все сидели за столом. Пахло португальскими пряностями. Командор Перейра по-домашнему, в рубашке, возглавлял семейное священнодействие, именуемое завтраком. Войдя с Аугустой, державшей его за руку, в столовую, Антонио Балдуино поднял глаза и сразу увидел Линдиналву.

Во главе стола сидел сам командор, португалец с огромными усищами и невероятно толстым брюхом. Рядом с ним восседала его жена, в толщине не уступающая мужу. Эта пара и Линдиналва, сидевшая по правую руку от матери, худущая и веснушчатая, являли своим контрастом комичнейшую в мире картину. Но Антонио Балдуино, привыкший на холме к неумытым чернушкам, нашел, что Линдиналва — вылитый ангел, вроде тех, что нарисованы на открытках, которые сеу Лоуренсо раздавал своим посетителям на рождество.

Она была почти одного с ним роста, даром что на три года старше. Антонио Балдуино опустил глаза и принялся изучать замысловатые узоры натертого паркета.

Дона Мария, супруга командора, пригласила:

— Садитесь, синья Аугуста.

— Спасибо, я сыта, дона Мария.

— Вы уже завтракали?

— Еще нет, но...

— Тогда садитесь.

— Нет, нет, я потом поем на кухне... — Аугуста знала свое место и понимала, что ее приглашают только из вежливости.

Командор кончил пережевывать то, что было у него во рту, положил нож и вилку на опустевшую тарелку и закричал так, чтобы услышали на кухне:

— Неси сладкое, Амелия!

В ожидании сладкого он повернулся к Аугусте:

— Ну что, Аугуста?

— Я привела мальчика, я вам говорила о нем, сеньор...

Командор, его жена и дочка уставились на Антонио Балдуино.

— А, это он... Ну, подойти поближе, благословенный! — позвал его командор.

Антонио Балдуино приблизился, испуганный, уже прикидывая, как ему вырваться из рук толстяка. Но командор не собирался сделать ему ничего плохого. Он только спросил:

— Как тебя зовут?  
— Меня зовут Антонио Балдуино.  
— Ну, это слишком длинно. Впредь ты будешь называться Балдо...

— Но на холме меня все звали...

Линдиналва засмеялась:

— Балдо похоже на балду...

Аугуста обратилась к командору:

— Значит, сеньор, вы берете мальчика?

— Беру, беру.

— О сеньор, да благословит вас бог за такую милость... Сиротка он, без отца, без матери. Только и родных, что тетка, а она в уме помешалась, бедняжка.

— С чего это она помешалась?

— Я так думаю, что дух в нее вселился. Да такой настырный — не скоро от него избавишься. Уж мне ли об этих делах не знать...

Антонио Балдуино громко заплакал. Командор погладил его по жестким волосам и сказал:

— Ну чего ты реवेशь, не съедят тебя здесь.

Дона Мария между тем расспрашивала Аугусту:

— Ты говорила про духа, ну и что он?

— Ах, дона Мария, не знаю, что и делать. Не отстает он от меня, да и только. А теперь еще напивается и садится мне на плечи. И тяжеленный такой, того гляди задавит. Я уж чуть жива от него.

— Отчего ты не лечишься?

— Как не лечусь. Каждую субботу лечусь. Отец Жубиаба изгонит его, а он опять возвращается. Такой настырный.

— Я тебе про настоящее лечение говорю. Тебе нужно пойти к врачу. На Ладейре-Сан-Мигел хорошая больница.

— Ни к чему это, дона Мария. Коли уж отец Жубиаба с ним совладать не может, так кто с ним совладеет? Да все бы ничего — вот только смущает он меня больно. А теперь вот еще напивается. Неужели не видно? Я вот здесь с вами говорю, а сама чуть жива, вы не можете себе представить, сеньора, как он меня умаил. Вот сейчас вскарабкался мне на затылок, ужас какой тяжеленный... — И, обращаясь к командору, продолжала: — Бог вам воздаст за вашу доброту, сеу командор, за милосердие ваше к мальчику. Да ниспошлет господь здоровье всему вашему дому...

— Спасибо, синья Аугуста. А теперь отведи-ка парня на кухню и скажи Амелии, чтобы она дала ему поесть.

И командор принялся расправляться с блюдом кажу<sup>1</sup>. Дона Мария настаивала:

— И ты, Аугуста, съешь хоть что-нибудь.

\* \* \*

На кухне Амелия угостила их на славу. Они завтракали втроем, и Аугуста с волнением рассказывала кухарке историю Антонио Балдуино. Кухарка передником осушала слезы, а Антонио Балдуино, когда Аугуста дошла до рассказа о Луизинином помешательстве, перестал жевать и снова горько заплакал.

\* \* \*

Получив деньги за кружева, Аугуста простилась с Антонио Балдуино.

— Я буду приходить тебя навещать.

Только сейчас негритенок понял, что его навеки оторвали от холма, от мест, где он родился и рос, где чему только не научился и что его-то, самую что ни на есть вольницу среди мальчишек холма, захихнули в господский дом.

С этой минуты он больше не плакал. Он стал присматриваться к этому дому, из которого твердо решил убежать.

Но едва Линдиналва позвала его играть, как он забыл и думать о бегстве. Он построил ей шалаш для ангорского котенка, любимца Линдиналвы, побежал с нею во двор, показал ей, как ловко он умеет прыгать, и, наконец, залез на самую верхушку гуявы, чтобы Линдиналва могла полакомиться плодами. С этого дня они сделались друзьями.

Потом начались неприятности. От кухарки он получил взбучку за курение и был возмущен до глубины души. Одно дело схлопотать по шее от тетки, а от чужой кухарки он такого не потерпит. Когда с языка у него срывались непотребные слова, а срывались они постоянно, Амелия шлепала его по губам, и пребольно. Антонио возненавидел эту португалку с длинными волосами (она заплетала их в две косы и подолгу любовалась ими перед зеркалом) и за спиной показывал ей язык.

---

<sup>1</sup> К а ж у — бразильский фрукт.

Командор — тот был к нему добр. Он даже отдал его в городскую школу на площади Назаре, с ворчливой учительницей, всегда державшей линейку наготове. Он пробыл там год, неизменно возглавляя все безобразия, творимые школьниками. После чего его выгнали, как неисправимого.

Амелия не преминула сказать доне Марии:

— Негр годится только на то, чтобы быть рабом. Негр не рожден для учения.

Но Антонио Балдуино кое-чему научился. Он теперь легко мог читать АВС о знаменитых бандитах и отчеты о преступлениях, которые печатались в газетах. И когда у них с Амелией выдавались мирные дни, не кто другой, как Антонио, вычитывал ей из газет о разных преступлениях, совершаемых по всему свету.

Так и проходила его жизнь в играх с Линдиналвой, которая с каждым днем все больше ему нравилась, и стычках с Амелией, не пропускавшей дня, чтобы не пожаловаться доне Марии на «выходки этого грязного негра», и угощавшей его втихую жестокими тумакками.

\* \* \*

О жизни на холме он узнавал от Августы, она каждый месяц приносила кружева доне Марии. Антонио одолевала тоска по прежнему привольному житью, и он снова стал думать о побеге.

Однажды, в воскресный день, в доме командора появился Жубиаба, он о чем-то поговорил с хозяином, после чего Антонио было велено одеться в новый костюм.

Они с Жубиабой вышли из дома, сели в трамвай, и негритенок всю дорогу жадно всматривался в город, вдыхая запах улиц и наслаждаясь ощущением свободы. Он даже забыл спросить у Жубиабы, куда они едут. Да и что было спрашивать: мальчик беспредельно доверял макумбейро, который в этот воскресный день почему-то обрядился в старый фрак, а на голову напялил нелепую шляпу. Наконец они вышли из трамвая, пошли по длинной тенистой улице и оказались перед большими воротами, охраняемыми человеком в форменной одежде. Антонио Балдуино подумал, не собираются ли его определить в солдаты, и засмеялся. Он не прочь был стать солдатом, носить форму и гулять с мулатками в городском саду.

Но вскоре он понял, что это не казармы. Возле огромного серого дома с зарешеченными, тюремными окнами никаких солдат не было. Он увидел мужчин и женщин, одетых в одинаковую одежду, они прогуливались с отсутствующим видом, никого не замечая: одни разговаривали сами с собой, другие бурно жестикулировали. Жубиаба повел Антонио туда, где сидела старая Луиза, беспрерывно повторявшая слабым голосом:

Никуда я не пойду,  
не пойду,  
не пойду...

Антонио Балдуино с трудом ее узнал. Она страшно исхудала, и глаза ее казались огромными на обглоданном болезнью лице. Он припал к ее руке, но она смотрела мимо него, не узнавая.

— Тетя, это я — Балдуино...

— Знаю я вас, мальчишек, опять задумали стащить у меня мой товар. Опять пришли воровать, вот я вас. — Она начала сердиться.

Но сразу же успокоилась и снова затинула свою песенку:

Никуда я не пойду,  
не пойду,  
не пойду...

Жубиаба повел его к выходу. Антонио оглянулся на мрачный дом, похожий на тюрьму. В трамвае Жубиаба спросил у него, носит ли он подаренный ему амулет. Антонио никогда с ним не расставался.

— Это хорошо, сынок. Береги его. Увидишь, он принесет тебе счастье.

На прощанье он подарил Антонио десять тостанов.

В больницу Антонио ездил еще раз. А потом вместе с Жубиабой он поехал хоронить старую Луизу. Возле бедного, темного гроба он встретил почти всех, кого знал на холме. И все снова были с ним очень ласковы, обнимали его и гладили по голове. Многие плакали. Его взяли на кладбище и там дали ему в руки лопату, чтобы он бросил земли на гроб. А потом тело старой Луизы осталось на кладбище, и теперь уже один Антонио Балдуино с любовью хранил память о ней в своем маленьком сердце, уже до краев наполненном ненавистью...

После похорон, когда они возвращались с кладбища, Жубиаба, чтобы развлечь мальчика, рассказал ему историю Зумби из Палмареса <sup>1</sup>.

— Улица, где ты живешь, называется Зумби-дос-Палмарес?

— Да, сеньор...

— А ты знаешь, кто такой был Зумби?

— Нет. — Балдуино шел печальный, он все настойчивей думал о побеге и поначалу не очень прислушивался к тому, что рассказывал Жубиаба, хотя привык ловить каждое его слово.

— Это было давно... Во времена, когда негры были рабами...

Вот и Зумби был черный раб. А черных рабов на плантациях избивали за любую провинность. И Зумби тоже часто били. А на его земле, там где он родился, его никогда не били. Потому что там негры не были рабами, там они жили вольно в своих деревнях, работали, а после работы плясали.

— А зачем же он сюда приехал? — Балдуино стал проявлять интерес к рассказу.

— Его привезли сюда белые. Они обманули глухого негра, ведь там, у себя, он сроду не видывал белых и не знал еще, что от них добра не жди. У белых глаз милосердия давно закрылся. Они любят только деньги, и они обманывали негров и продавали их в рабство. Потом их привозили сюда и здесь били плеткой. Такая судьба выпала и Зумби из Палмареса. Но он был храбрый негр и понимал больше, чем другие. Однажды он убежал с плантации, собрал вокруг себя других беглых негров и снова стал свободен, как когда-то у себя на родине. Все больше негров бежало к нему, и скоро их собралось великое множество. И они сами стали нападать на белых. Тогда белые послали против них солдат и велели им стрелять в беглых негров. Но и солдаты ничего не смогли с ними сделать. Солдат было больше. Но негры побили солдат.

Антонио Балдуино слушал с широко открытыми глазами, дрожа от волнения за судьбу храброго Зумби.

---

<sup>1</sup> Палмарес — республика, созданная беглыми неграми-рабами на северо-востоке Бразилии (1630—1695 гг.).

— Но белые прислали еще солдат, их было уже видимо-невидимо, во много раз больше, чем негров. Но негры не хотели быть рабами, и когда Зумби увидел, что все пропало, он бросился вниз с высокого холма, чтобы не попасть в руки к белым, и за ним все негры тоже бросились вниз, и все они погибли... Зумби из Палмареса был хороший и храбрый негр. Если бы в те времена нашлось хотя бы двадцать таких отчаянных, как он, негры не стали бы рабами...

Так в тот день, когда Антонио Балдуино похоронил свою тетку, он нашел друга, который занял опустевшее место в его сердце: Зумби из Палмареса. С этой минуты тот стал его любимым героем.

\* \* \*

В его жизни, омрачаемой придирками Амелии, были и свои радости. Во-первых, Линдиналва: она любила играть с Антонио Балдуино, а он мог проводить целые часы в каком-то остоленении, не отрывая взгляда от лица девочки, казавшегося ему ликом святой. Потом кино — для него это было откровение. Но в противоположность мальчишкам, смотря ковбойские фильмы, он всегда болел не за хорошего белого, а за плохого индейца. Чувство принадлежности к угнетенной расе, родившееся в нем еще на холме, не угасало ни на минуту. Потом был еще Зе Кальмар — он теперь обучал игре на гитаре мальчишек, живших в старом особняке, в конце улицы, и продолжал давать уроки и Балдуино.

Обязанности Антонио в доме командора не были слишком обременительны. Он подавал на стол, мыл посуду, ходил на рынок, исполнял всякие поручения. Командор даже подумывал пристроить его на какую-нибудь должность в свой магазин:

— Из него определенно выйдет толк, из этого негр-тенка. Смышленный, чертенок...

Побой Амелии приучили Антонио к осторожности. Теперь он курил потихоньку, ругался шепотом, врал без зазрения совести.

Случилось так, что как раз желание командора устроить судьбу Антонио Балдуино, подыскав ему место в своем магазине и дав ему жалованье и возможность начать самостоятельную жизнь, и вынудило Антонио бежать. К этому времени ему исполнилось пятнадцать

лет, и три года уже Амелия преследовала его своей ненавистью.

И вот что послужило поводом к побегу: когда командор в один из воскресных дней объявил, что в следующем месяце Антонио начнет работать в магазине, Амелия пришла в ярость. Подумать только, с чего это хозяевам так полюбился этот негр, уж так они его опекают, все думают из него человека сделать!

— Негры — подлое племя, — ворчала она. — Никогда негр не будет человеком.

И она стала измышлять, как бы опорочить мальчишку перед хозяевами. Однажды она заметила, что Антонио Балдуино замер без движения на пороге кухни: мальчишка не отрывал молитвенного взора от Линдиналвы, сидевшей на веранде за шитьем. Амелия вытянула его кулаком по спине:

— Ах ты, бесстыжий негр! Так глазами ее и раздевает...

У Балдуино и в мыслях не было так смотреть на Линдиналву: в эти минуты он вспоминал то хорошее время, когда они оба были детьми и вместе играли в саду. Но он перепугался, как если бы в самом деле смотрел на Линдиналву нечистыми глазами.

Амелия не преминула доложить об этом командору. И все поверили ее наговору. Даже Линдиналва: теперь, когда глаза ее встречались со взглядом Антонио, он видел в них страх и отвращение.

Командор, от природы человек добрый, в гневе бывал страшен:

— Ах ты, гаденыш, я его воспитываю, как сына, забочусь о его будущем, а он что себе позволяет...

Амелия поспешила подлить масла в огонь:

— Этот черномазый совсем стыд потерял, просто ужас берет. Подумать только — когда дона Линдиналва моется в ванной, он подглядывает за ней в замочную скважину.

Линдиналва выбежала из комнаты со слезами на глазах. Балдуино хотел закричать, что Амелия врёт, но он увидел, что все ей поверили, и промолчал.

Его избили до полусмерти, — он не мог встать, все тело у него болело. И ладно бы только тело. У него разрывалось сердце при мысли о том, что никто, ни один человек ему не поверил. А ведь они были первые в его жизни белые, которых он успел полюбить. И он возненавидел их, а вместе с ними и всех других белых.



А ночью он увидел во сне Линдиналву. Он увидел ее обнаженной и проснулся. Он вспомнил, что рассказывали о своих похождениях мальчишки с холма, и почувствовал себя одиноким и потерянным. Но нет, он не будет одиноким! Он поскорее заснул, и во сне Линдиналва, словно сошедшая с рождественской открытки, улыбалась ему, и под его рукой содрогались ее белые узкие бедра и расцветали еще детские груди. И отныне и навсегда, с какой бы женщиной ни был близок Антонио Балдуино, это была Линдиналва, всегда только Линдиналва.

\* \* \*

На рассвете он покинул переулок Зумби-дос-Палмарес.

## НИЩИЙ

Теперь Антонио Балдуино ждала вольная жизнь в благочестивой Баие Всех Святых и Жреца Черных Богов Жубиабы. И жизнь эта была полна головокружительной свободы. Его домом стал весь город, и он занимался тем, что обследовал его улица за улицей. Город принадлежал ему, сыну убогого и нищего холма.

Город католиков, город завоевателей, город негров. Пышные, блестящие золотом церкви, дома, выложенные голубыми изразцами, древние особняки, где роскошь давно уже уступила место нищете, улицы, мощенные булыжником, улицы, лезущие в гору, старые крепости, исторические памятники и гавань, главное — гавань, — все это принадлежало негру Антонио Балдуино. Он был истинным хозяином города, потому что он знал его весь, целиком, знал все его тайны, все его закоулки, знал обо всех происшествиях и катастрофах, случавшихся на его улицах. Город принадлежал ему, и он хозяйским глазом следил за его жизнью. Это было его дело, его работа. Он видел все, что происходило в городе, ему были известны все городские знаменитости, он ходил на все городские празднества, встречал и провожал все пароходы. Он знал по имени всех лодочников и был в дружбе с владельцами каноев в Порто-да-Ленья. И он обедал в самых дорогих ресторанах, ездил в самых роскошных машинах, жил в

самых новых небоскребах. И мог все это менять каждый день. Ведь он был хозяином города, и ни обеды, ни квартиры, ни машины ничего ему не стоили.

Свободный, как воздух, он царил среди жилых громад большого города, он был его властелином. Но люди, проходившие мимо, об этом, разумеется, даже не подозревали. Никто не обращал внимания на негритенка, одетого в лохмотья, в кепке, налезавшей на глаза, с окурком в зубах. Элегантно одетые женщины, бросавшие ему монетку, старались не подходить к нему близко, боясь запачкаться.

И все же именно он, негр Антонио Балдуино, был императором этого негритянского города. Пятнадцатилетний император, весельчак и бродяга. Быть может, и сам Антонио Балдуино не подозревал об этом.

\* \* \*

Он подбирал окурки и носил кепку, налезавшую ему на глаза. И штаны из черного кашемира, рваные и все в пятнах, и огромный не по росту пиджак, видимо, с плеча какого-то великана, пиджак, служивший зимой и пальто и подушкой, — таково было одеяние «императора». А его окружение, его верноподданные, его гвардия: вместо гвардейской формы они были одеты в обноски и обуты в опорки, извлеченные из мусорных ящиков. Но в боевой отваге эта гвардия не уступила бы любой гвардии в мире.

\* \* \*

Антонио Балдуино, опережая прохожего, канючит:

— Подайте, Христа ради...

Дородный господин меряет негра с головы до ног взглядом расчетливого дельца, застегивает пиджак и иронически качает головой:

— Этакий детина и просит милостыню! Работать надо, а не бродяжничать... Бессовестный... Иди работай...

Антонио Балдуино оглядывается: толпы прохожих текут мимо. Тогда он затягивает снова:

— Я издалека, сеньор. В сертане засуха, сеньор, ни капли дождя. А здесь сразу работу разве найдешь... Подайте хоть на глоток кофе, сеньор, я вижу — вы человек душевный...

Он выдерживает паузу: подействовало или нет? Но господин не замедляет шага:

— Я уже не раз слышал эти басни... Иди-ка лучше работай...

— Клянусь вам светом этого солнца, я говорю правду. Там люди мрут от голода и жары... Может, у вас найдется для меня работа... Я работы не боюсь... Но я со вчерашнего дня ничего не ел... Я еле на ногах держусь... от голода. Вы добрый человек, сеньор...

Желая отвязаться, господин шарит в кармане и бросает Антонио монету.

— Вот, возьми... И отстань, ради бога...

Но Антонио тащится следом за дородным господином. У господина во рту сигара, и он уже выкурил ее больше чем наполовину. А Балдуино — страстный любитель сигарных окурков. Господин идет, размышляя о том, что услышал от негра. Все попрошайки в городе твердят одно и то же, но, может быть, это так и есть? Он вспоминает их злые, голодные лица, и его охватывает страх. Он бросает недокуренную сигару, снова застегивает пиджак и спешит в кафе выпить и собраться с духом. Антонио завладевает окурком и разжимает кулак с монетой. Два мильрейса серебром. Антонио весело подбрасывает монету, ловит ее и присоединяется к группе приятелей, — они спорят о футболе.

— А ну-ка, братцы, отгадайте, сколько нам перепало?

— Пятьсот рейсов?

Антонио Балдуино звонко хохочет:

— Доллар!

— Два мильрейса?

— Ключул, как миленький. — На лице Антонио презрительная гримаса. — Я уж ему напел...

И все хохочут до упаду. В глазах прохожих все они — черные, белые, мулаты — всего лишь нищие бродяги. Прохожие не знают, что перед ними — император в окружении императорской гвардии.

\* \* \*

Когда улицы начинали пестреть элегантно одетыми дамами в дорогих шелках, с ослепительными улыбками на подкрашенных лицах, Антонио Балдуино собирал свою гвардию условным свистом. Они выстраивались в шеренгу. Толстяка выталкивали вперед: у него был на редкость

жалобный голос — сразу верилось, что человек умирает с голоду. И физиономия — идиотски застывшая, с неподвижным взглядом. Толстяк прижимал руки к груди, делал скорбное лицо и направлялся к проходившим мимо дамам. Он останавливался прямо перед ними, не давая им пройти, остальные мальчишки окружали их плотным кольцом, и Толстяк затягивал:

Подайте слепым сиротинкам,  
нас семеро: мал мала меньше...  
Мы, старшие, ходим и просим,  
а младшие дома остались.  
Отец наш — калека убогий,  
а мать занедужила сильно...  
Подайте слепым сиротинкам,  
нас семеро, мал мала меньше,  
и все от рожденья слепые...

Стараясь разжалобить слушательниц, Толстяк сам едва не плакал, физиономия его морщилась, скорбный взгляд был неподвижен, как у слепого, настоящего слепого, с шестерыми слепыми братишками и сестренками, больной матерью, калекой-отцом, без крошки съестного в нищей лачуге. И он начинал сначала:

Подайте слепым сиротинкам,  
нас семеро: мал мала меньше...

Он тыкал пальцем в того, кто стоял ближе всех:

Мы, старшие, ходим и просим...

В конце он жестом пухлых рук обводил собравшихся мальчишек и зывал:

нас семеро, мал мала меньше,  
и все от рожденья слепые...

Мальчишки подхватывали:

и все от рожденья слепые...

Толстяк раскачивался всем своим жирным телом и протягивал грязную ладонь за подаванием, обычно очень обильным. Одни дамы жалели детей, голодающих в ужасных трущобах, другим хотелось поскорее вырваться из плотного кольца чумазных мальчишек, в чьих глазах им мерещилась угроза. Те, что были посмелее, пытались обратить все в шутку:

— Но как же так? Вы просите на семерых, а вас тут больше десятка... Говорите — сироты, а есть калека-отец

и больная мать... Все слепые, а вы все видите преотлично... Как же это получается...

В ответ парни только теснее сжимали кольцо, и Толстяк снова заводил жалобным голосом:

Подайте слепым сиротинкам...

Тут уже раскошеливались все, как одна. Кольцо становилось все плотнее, и немые уродливые физиономии парней неотвратно приближались к холеным, накрашенным дамским лицам. Парни устрашающе открывали рты, подхватывая последние слова певца. Толстяк, набрав воздуха, тут же начинал все сначала. Дамы поспешно открывали сумки, и монеты сыпались в протянутую ладонь Толстяка. Кольцо размыкалось, и Толстяк рассыпался в благодарностях:

— Дай вам бог, сеньора, красивого жениха, вот увидите, он приплывет к вам на корабле...

Многие дамы улыбались, но некоторые оставались задумчивыми. А на улицах и в переулках звучал мальчишеский смех, звонкий и счастливый. На полученные деньги покупались сигареты, хватало еще и по стакану вина на всех.

\* \* \*

В их ватаге был один мальчонка лет десяти, белокурый, с круглой ангельской мордашкой, вьющимися волосами, голубыми глазами, худыми детскими руками. Звали его Филипе, и он сразу же получил прозвище Филипе Красавчик. У него никогда не было ни дома, ни семьи: мать его кочевала по борделям Нижней улицы. Немолодая француженка, она в один прекрасный день влюбилась в студента. Родился Филипе. Студент, закончив курс, уехал на Амазонку, мать спилась, а сын затерялся на улицах города.

Он попал в их ватагу, и в первый же день из-за него произошла страшная драка. Они все, завернувшись для тепла в старые газеты, спали вповалку в парадном одного из небоскребов, и парень, по прозвищу «Беззубый», стал приставать к Филипе Красавчику. Беззубый был здоровенный шестнадцатилетний мулат. Он мастерски, с присвистом плевался щербатым ртом и мог доплюнуть куда угодно. Других талантов за ним не водилось. И вот

он-то полез к Филипе с объятиями и стал потихоньку стягивать с него штаны. Филипе забился у него в руках и закричал. Все вскочили. Антонио Балдуино, протирая глаза, спросил:

— Что за переполох?

— Вот он полез ко мне, верно, думал, что я из этих... А я не такой, нет... — Филипе чуть не плакал.

— Ты чего пристал к мальчишке?

— А это уж не твоя забота. Что хочу, то и делаю. Мальчишка аппетитный, что твоя конфетка.

— Послушай, Беззубый, оставь мальчишку в покое, не то будешь иметь дело со мной.

— Ах, ты хочешь слопать его один... Но это не по-товарищески...

Антонио Балдуино оглядел ватагу, увидел на лицах неуверенность.

— Вы же знаете, что я никого не собираюсь лопать. Меня интересуют женщины. Если бы мальчишка был из таких, тогда другое дело. Но тогда он бы не остался с нами — здесь нам это ни к чему. Мальчишка не такой — и пусть только кто-нибудь до него дотронется...

— Ну и дотронусь, что тогда?

— Попробуй...

Антонио встал.

Беззубый — тоже. Он надеялся победить Антонио Балдуино и стать главарем ватаги. Они молча смотрели друг на друга.

— Начнем, — сказал Беззубый.

Антонио Балдуино обрушил на него удар кулака. Беззубый пошатнулся, но удержался на ногах. Они бросились друг на друга, ватага следила за поединком. Антонио сбил Беззубого с ног, но тот, изловчившись, вскочил. Новый удар Антонио свалил Беззубого, и, снова поднявшись, мулат пошел на Антонио с ножом — лезвие блеснуло в темноте.

— Ах, подлая твоя душа! Не можешь драться по-человечески!

Беззубый шел на него с ножом, но Антонио Балдуино недаром брал уроки капоэйры у Зе Кальмара. Он подставил Беззубому подножку, и тот рухнул навзничь, выронив нож.

Антонио Балдуино повторил:

— Кто тронет мальчишку, будет иметь дело со мной... В другой раз я тоже возьму нож...

Беззубый уgomонился, прикорнув поодаль у самых дверей. Теперь Филипе Красавчик стал полноправным членом ватаги.

Он был специалистом по старухам. Усмотрев еще издали какую-нибудь старушенцию, Филипе поправлял узел на старом галстуке, с которым он никогда не расставался, выплевывал сигаретный окурок, прятал руки в рваные карманы, в одной из них по привычке был зажат ножик, и с невыразимо печальным лицом приближался к своей жертве. Говорил он проникновенным полупшепотом:

— Добрый день, сеньора... Вы видите перед собой брошенное дитя... Без отца, без матери... Ни одной родной души... Никто не покормит, не напоит, а я так голоден, так голоден...

И он начинал рыдать. У него был особый талант: он мог заплакать в любой момент. Слезы катились из голубых глаз, он тоненько всхлипывал:

— Я хочу есть... мамочка... у вас ведь тоже есть дети... ах, моя бедная мамочка...

Его круглая беленькая мордашка, залитая слезами, дрожащие губы производили неотразимое впечатление. Не было ни одной старушки, которая не принималась бы над ним причитать:

— Ах, бедняжка... Такой маленький... И уже без матери...

Подавали ему очень щедро. Не раз его хотели взять на воспитание богатые дамы, но Филипе предпочитал свободу улиц. Он был верен ватаге, и парни относились к нему чрезвычайно уважительно: еще бы, малец приносил больше всех. Даже Беззубый глядел на него с почтением, когда Филипе, обдурив очередную старушку, небрежно ронял:

— Пятерку отвалила...

Раскаты мальчишеского хохота разносились по улицам, склонам и переулкам Баии Всех Святых и Жреца Черных Богов Жубиабы.

\* \* \*

Самым странным из всей ватаги был Вириато, по прозвищу «Карлик». Прозвали его так за низкий рост — даже Филипе был выше его, хоть и на три года моложе. Приземистый и плотный, Карлик обладал неслыханной для своего возраста физической силой. Грязен он был неимо-

верно, и никакое купание не могло смыть с него эту грязь и запах нищеты. Он попрошайничал на улицах еще задолго до того, как образовалась ватага. Его приплюснутая голова внушала ужас. И для пушшего устрашения он ковылял скособочившись, что делало его еще более низкорослым и похожим на горбуна. Стоило большого труда вытянуть из него хоть словечко, и когда вся ватага заходила от хохота, Вириато лишь слабо улыбался.

Но он никогда ни на кого не злился, не ворчал, если дела у ватаги шли плохо, ел, что придется, и довольствовался окурками. Антонио Балдуино его любил, слушался его советов и считал его самым стоящим в своей ватаге.

Днем Вириато, он же Карлик, промышлял в одиночку. Он усаживался возле одного из домов на улице Чили, поджав под себя ноги, приплюснутая голова его свешивалась набок. Молча он протягивал шапку спешащим мимо прохожим. И казался архитектурной деталью парадного подъезда, возле которого он сидел, словно трагическая статуя, церковная химера. Выручал Карлик немало. Вечером он присоединялся к ватаге и высыпал на ладонь Антонио Балдуино все заработанное им за день. Затем, после подсчета и раздела общей выручки, Вириато получал свою долю, забивался в свой угол, ел, курил, спал. Остальное время он проводил вместе со всеми: бродил по улицам, гонялся за девчонками на пляже, дрался, плясал на карнавалах, но все это без особой охоты — проводил время и только. Единственный из всей их нищенствующей братии Карлик считал попрошайничество своим призванием.

\* \* \*

Каждый день, к вечеру, Антонио Балдуино, усевшись где-нибудь в закоулке и собрав вокруг себя всю ватагу, подсчитывал выручку. Ребята выворачивали карманы старых штанов, извлекали оттуда мелочь, а иногда и серебро, и отдавали вожаку.

— Ну, сколько у тебя, Толстяк?

Толстяк пересчитывал монеты:

— Пять тысяч восемьсот...

— А у тебя, Красавчик?



С чувством превосходства Филипе швырял свою добычу:

— Шестнадцать мильрейсов...

Вириато тоже спешил отдать заработанное:

— Двенадцать тысяч сто...

Подходили и остальные. Кепка Антонио быстро наполнялась мелочью и серебром. Под конец и Антонио очищал свои карманы, прибавляя к собранному свою выручку.

Он подсчитывал деньги с помощью пальцев. Потом вместе с Вириато производил дележку:

— Нас девять человек, значит, по шести тысяч шестьсот на каждого.— И он требовал подтверждения: — Как, братва, все верно?

Все было верно. Они по одному подходили к Балдуино, и он каждому выдавал, что положено. Иногда вдруг какой-то мелочи не хватало.

— Беззубый тебе дал пятьсот рейсов...

— Тот раз ты мне недодал три тостана...

После дележа вся ватага шла подзаправиться, а потом они допоздна шатались по городским улицам, или в компании мулаток забирались на пустынные пляжи, или отправлялись на далекие окраины и попадали там на бедные празднества, или пили кашасу в тавернах нижнего города.

Но однажды чрезвычайное событие нарушило привычную жизнь ватаги. Зе Корочка, отдавая Антонио дневную выручку, как-то загадочно улыбался.

— Три мильрейса,— подсчитал Антонио.

Зе Корочка продолжал улыбаться:

— И еще это...

И он бросил в кепку Антонио кольцо с ослепительно сверкающим камнем. Крупный камень, и вокруг него дюжина мелких. Антонио Балдуино посмотрел Зе Корочке в глаза и сказал:

— Ты кого это ограбил, Зе?

— Клянусь, никого я не грабил... Какая-то девушка подала мне милостыню, а когда она уже была далеко, я увидел на земле кольцо. Я бросился за ней, но разве догонишь...

— Брось заливать...

Ватага разглядывала кольцо, переходившее из рук в руки, не проявляя особого интереса к тому, что там плетет Зе Корочка в свое оправдание.

— Расскажи, как было дело, Зе...

— Я не вру, Балдо, клянусь, все так и было...

— И ты побежал за ней...

— Ну, тут я малость приврал, но все остальное — святая правда.

— Ну, пускай будет по-твоему... И что же, братцы, теперь с этим делать?

Филипе захохотал:

— Отдайте мне. Мне как раз не хватает такого кольца...

Все засмеялись, но Антонио Балдуино повторил:

— Ну так что же все-таки с ним делать?

Вириато, по прозвищу Карлик, пробормотал:

— Ломбард. За него отвалят кучу денег.

Филипе продолжал веселиться:

— Я сошью себе новый костюм...

— Обойдешься, лучше подыщи что-нибудь на помойке...

— Нет, с ломбардом не выгорит, Вириато. Кто поверит, что это наше кольцо. Вызовут полицию, и нас всех за решетку...

— Да, не выйдет...

— Отдайте мне, — приставал Филипе.

— Отстань...

— Пожалуй, верней всего, братцы, выждать малость. Пускай девушка забудет про кольцо, тогда и решим.

И Антонио Балдуино повесил кольцо себе на шею рядом с талисманом.

\* \* \*

Антонио Балдуино подошел к прохожему в летнем пальто. Ватага наблюдала за происходящим из-за угла.

— Подайте, Христа ради...

— Работать иди, бездельник...

Вокруг было пустынно. В переулке — ни души. Человек в летнем пальто прибавил шагу. В петлице пальто красовался красный цветок. Антонио подошел к нему вплотную, ватага окружила их.

— Дайте хоть сколько-нибудь...

— Я вот тебе сейчас дам по шее, парень...

Ватага преградила ему дорогу:

— Сеньор, видать, богатый. Может, и на серебро не поскупится...

Человек не отвечал, парни подступали к нему все ближе.

Антонио дышал ему в лицо. В руке его мелькнул нож.

— Гони монету...

— Ах вот вы кто, — грабители? Да? — отважился пробормотать прохожий.

— Нет, мы еще только учимся, у нас все впереди...

Антонио Балдуино засмеялся. Сверкнуло лезвие ножа. Парни сгрудились плотнее.

— Нате, разбойники...

— Смотри, как бы нам опять не повстречаться...

— Я обращусь в полицию...

Но парни привыкли к такого рода угрозам и не обращали на них внимания. Антонио схватил десять мильрейсов, спрятал нож, и ватага открыла прохожему путь, мигом рассыпавшись по соседним улицам и переулкам. Такие налеты они совершали обычно в преддверии карнавала или празднеств в Бонфине и Рио-Вермелью.

\* \* \*

Однажды заболел один из ватаги — Розендо. Его жестоко лихорадило, к вечеру начался бред, он ничего не ел. Поначалу Розендо крепился, даже смеялся и говорил:

— Ничего, ничего... пройдет...

И все тоже смеялись, стараясь его подбодрить. Но уже на вторую ночь ему стало хуже, он или бредил, или тихонько стонал. Мучимый страхом смерти, он твердил:

— Я умираю, позовите мать, мою мать...

Все смотрели на него, не зная, что делать, и всегда веселые мальчишеские глаза были омрачены испугом и печалью.

— А где твоя мать живет? — спросил Балдуино.

— А кто ее знает. Когда я сбежал, она жила в Порто-да-Ленья. Но она уже переехала оттуда. Разущи ее, Балдо... Разущи, я хочу с ней проститься...

— Я разущу ее, Розендо...

Ухаживал за больным Вириато. Он лечил его какими-то диковинными средствами, которые только ему и были известны. Где-то он раздобыл одеяло и устроил Розендо мягкую постель. Он развлекал больного, рассказывая ему разные истории и забавные случаи, забавные преимущественно потому, что рассказывал их Вириато Карлик, который почти всегда молчал и никогда не смеялся...

— А как зовут твою мать?

— Фикардина... Она живет с одним извозчиком. Она толстая такая негритянка, молодая еще...— И больной вновь заметался, призывая мать:— Я хочу, чтобы она пришла... Пусть придет, а то я так и умру и не увижу ее...

— Успокойся, завтра мы с Балдо ее приведем...

Филипе рыдал, и на этот раз его слезы были неподдельными. Толстяк молился, припоминая все известные ему молитвы, Антонио Балдуино изо всех сил сжимал амulet, висевший у него на шее.

\* \* \*

Утром Балдуино укрылся вместе с Розендо в темном углу под лестницей. Он решил поближе к вечеру сходить за Жубиабой. В полдень Вириато привел толстуху негритянку, мать Розендо. Больной бредил и в бреду никого не узнавал. Остановили машину, чтобы отвезти Розендо домой.

— А деньги-то у вас есть, дона?

— Есть немного, да с божьей помощью не пропадем.

Тут Антонио вспомнил о кольце, которое он носил на шее рядом с талисманом.

— Вот возьмите... это для Розендо. На лечение.

Ватага молча смотрела на них. Негритянка всплеснула руками:

— Вы это украли? Вы — воры? И мой сын заодно с вами?

— Да нет, это мы нашли на улице...

Негритянка спрятала кольцо. Антонио Балдуино предложил:

— Если хотите, сеньора, я приведу к вам Жубиабу, он непременно вылечит Розендо...

— Ты можешь привести Жубиабу?

— Да, он мой друг...

— Ах вот как! Приведи, мой дорогой, приведи...

В машине Розендо бился, звал мать и кричал, что умирает.

Они уехали, и Антонио Балдуино стал расспрашивать Вириато, как ему удалось разыскать мать Розендо.

— Это было нелегко: живет-то она уже не с извозчиком, а со столяром...

Он в задумчивости глядел на уличное столпотворение. Неожиданно у него вырвалось:

— А если вдруг я заболел? У меня ни отца, ни матери, никого...

Антонио Балдуино обнял Вириато Карлика за плечи. Толстяк расчувствовался.

\* \* \*

Жубиоба вылечил Розендо. Ярким солнечным утром вся ватага пришла навестить приятеля. Он уже сидел в кресле, которое для него смастерил отчим. Посмеялись, вспоминая разные проделки, и Розендо объявил, что с попрошайничеством для него покончено, теперь он возьмется за ум и станет работать по столярной части вместе с отчимом. Антонио Балдуино, слушая его, улыбался. Вириато Карлик, как всегда, был серьезен.

\* \* \*

Император обедал в лучших ресторанах, ездил в самых шикарных машинах, жил в самых роскошных небоскребах. И все это бесплатно. После полудня он закатывался с ватагой в ресторан и отзывал в сторонку официанта. Официанты знали, что ссориться с этими парнями небезопасно. И ватага получала остатки от обедов, завернутые в газету. Иногда еды было так много, что ватага, наевшись, выбрасывала оставшееся на помойку. И эти остатки остатков извлекали из помойки нищие старики.

Император всегда поджидал машину, которая была бы его достойна. Дешевые марки он презирал. И только когда подвертывалось нечто шикарное, он позволял себе, прицепившись сзади, проехаться по городу. Если по пути встречалась машина еще более роскошная, Антонио Балдуино немедленно пересаживался и продолжал прогулку по завоеванному им городу.

И он, и его гвардия ночевали в подъездах новых небоскребов, и привратники не осмеливались им в этом препятствовать: мальчишки могли пустить в ход и кулаки и ножи. Но порой они предпочитали ночевки на портовых пляжах, где стояли гигантские корабли, где с неба на них смотрели звезды и таинственно плескался зеленый океан.

Море было его давнишней страстью. Еще там, на холме Капа-Негро, следя за его изменчивой гладью, то синей, то светло- или темно-зеленой, Антонио Балдуино влюбился в него, он был захвачен его беспредельностью и тайной, которая, он знает, живет и в гигантских кораблях, отдыхающих в гавани, и в маленьких лодчонках, вздымаемых приливом. Море вливает в его сердце покой, которого ему не дает город. Но в городе он — хозяин, а море не принадлежит никому.

Он приходит к морю ночью почти всегда один и растягивается на чистом песке маленькой рыбацкой гавани. Здесь он спит и видит свои лучшие сны. Иногда он приводит с собой ватагу. Но тогда они отправляются в большую гавань, где стоят океанские пароходы. Они приходят наблюдать за посадкой пассажиров, отплывающих ночным рейсом, смотрят, как медленно поднимаются они по трапу на сказочный белый корабль, держа в руках пальто и пакеты, наблюдают за работой грузчиков. На погрузке трудятся негры: они снуют, как черные муравьи, под тяжестью громадных тюков, согнувшись в три погибели, словно вместо мешков с какао они несут на своих плечах всю непосильность своей злополучной судьбы. И подъемные краны, похожие на гигантские чудовища, насмехаясь над усилиями крошечных человечков, поднимают невероятные тяжести, балансируя ими в воздухе. Они скрипят, и вопят, и скрежещут по рельсам, управляемые людьми в комбинезонах: сидя в кабинах, люди поочередно нажимают кнопки в мозгу чудовищ.

Бывают ночи, которые Антонио Балдуино проводит не один, но и не в обществе своих дружков. Он приходит к морю с какой-нибудь негритяночкой, такой же юной, как он, или чуть постарше, чтобы спать с ней уже без снов на прибрежном песке. В эти ночи он не замечает ни тихого качания рыбацких лодчонок, ни таинственной жизни океанских пароходов и подъемных кранов. Он уводит свою подругу в известные только ему потаенные уголки, где видна лишь зеленая безбрежность моря. Антонио Балдуино хочет, чтобы море было свидетелем их любовных объятий, чтобы оно знало: в свои пятнадцать лет

он — мужчина; и Антонио опрокидывает девчонку на песок, мягкий, словно матрац.

Но, в одиночку или нет, он всегда глядит на море как на дорогу домой.

\* \* \*

Когда-нибудь, он в этом уверен, вместе с морем придет к нему что-то, что именно он и сам не знает, но ждет этого неотступно.

Чего же недостает черному парню Антонио Балдуино, пятнадцати лет от роду, императору Баии, города негров? Он не знает этого, и никто не знает. Но чего-то недостает, и, чтобы обрести это, нужно или переплыть океан, или ждать, что оно само приплывет к нему на океанском пароходе, или будет привезено в трюме, или даже выброшено на берег вместе с телом потерпевшего кораблекрушение.

\* \* \*

Однажды ночью работа в порту вдруг остановилась, и все бросились к причалу, о который с шумом разбивались морские волны. Сияла луна, и так сверкали звезды, что в этом свете совсем потерялся огонек таверны, носившей название «Фонарь утопленников». Кто-то заметил на причале старое брошенное пальто и рваную шапку, стали нырять и вытащили утопленника. Это был старый негр, один из немногих, кто дотянул здесь до седых волос. Он утопился. Антонио Балдуино подумал, что старик искал в море дорогу домой, что он тоже приходил сюда, в гавань, каждую ночь. Но один из грузчиков сказал ему:

— Это старый Салустиано, бедняга... Работал здесь в доках, попал под увольнение. — Грузчик оглянулся по сторонам и в ярости сплюнул. — Сказали, что он уже не окупает свое жалованье. Стар, мол. Старик голодал, никому до него не было дела. Бедняга...

Другой прибавил:

— И всегда так... убивают нас непосильной работой, а выдохся — катись на все четыре стороны. Тут тебе только и остается, что броситься в море.

Говоривший — худой, изможденный мулат — видно, думал о себе. Первый грузчик, мускулистый негр, подхватил:

— Едят наше мясо, а кости обглаживать не желают. Во времена рабства, тогда хоть ели вместе с костями...

Раздался гудок, и все вернулись к оставленным тюкам и подъемным кранам.

Но сначала кто-то прикрыл лицо утопленника старым пальто.

Потом пришли женщины и стали оплакивать покойника.

\* \* \*

И еще раз бросили работу в порту черные грузчики, но уже по другой причине. Эта ночь была безлунной и беззвездной. Из «Фонаря утопленников» доносились исполняемые слепым гитаристом песни рабов. Какой-то человек, взобравшись на большой ящик, держал речь. Вокруг столпились грузчики, со всех сторон подходили еще и еще, стараясь пробиться поближе к оратору. Антонио Балдуино и его ватага, пришедшие, по обыкновению, в порт на ночевку, услышали только самый конец речи, когда оратор выкрикивал «да здравствует!» и толпа подхватывала:

— Да здравствует!

Антонио Балдуино и его ватага тоже кричали изо всех сил:

— Да здравствует!

Он не знал, кто должен здравствовать, но ему самому нравилось жить и здравствовать. И он вместе со всеми смеялся, потому что ему нравилось смеяться.

Человек, говоривший речь, судя по акценту, испанец, бросил в толпу какие-то листки — их тут же расхватали. Антонио Балдуино поймал один из них и отдал знакомому грузчику Антонио Каросо. Вдруг кто-то крикнул:

— Полиция!

Нагрянули полицейские и забрали оратора. А он говорил о нищете, в которой живет рабочий люд, и о том, что нужно бороться за такое общество, где для каждого будет хлеб и работа. За это его арестовали, и все собравшиеся не могли понять, как можно хватать человека за одни лишь слова. И они, протестуя, кричали:

— Освободить! Освободить!

Антонио Балдуино тоже кричал «освободить!». И выкрикивать это слово ему нравилось больше всего. Все же полиция увезла испанца, но листки пошли по рукам: кто не успел подобрать, когда испанец их разбрасывал, те брали у товарищей. Грузчики резким жестом выбрасыва-



ли сомкнутые кулаки, скандируя выкрики протеста против полицейской расправы. Лица, черные, мужественные, и руки, словно разрывающие оковы. Из таверны «Фонарь утопленников» неслись песни, сложенные неграми-рабами.

Гудок, призывающий к работе, надрывался впустую. Какой-то краснолицый толстяк в плаще процедил: — Канальи!

\* \* \*

Кто знает, действительно ли море, выбросив старика утопленника, указало дорогу домой Антонио Балдуино? Или это сделал человек, говоривший о хлебе для всех и арестованный за свои речи полицией? Или руки грузчиков, словно разрывающие оковы?

\* \* \*

Это были прекрасные годы, вольные годы, когда ватага царила в городе, попрошайничала на улицах, дралась в переулках, ночевала в порту. Ватага была единым целым, и члены ее по-своему уважали друг друга. Правда, свои чувства они проявляли, награждая друг друга тычками и обзывая малоудобными для постороннего слуха словами. Ласково обматерить своего дружка — вот высшее проявление нежности, на которое были способны эти улыбчивые черные парни.

Они были едины, это верно. Когда дрался один, вступали в драку все. Все, что они добывали, делилось побратски. Они были самолюбивы и дорожили честью своей шайки. В один прекрасный день они разгромили конкурирующую с ними ватагу мальчишек-попрошаек.

Когда эта ватага только еще появилась на улицах города, предводительствуемая двенадцатилетним парнишкой-негром, Антонио Балдуино попытался сговориться с ними по-хорошему. В Террейро, где те обосновались, он послал для переговоров Филипе Красавчика, который был мастер улачивать. Но Красавчика там и слушать не стали. Его всячески поносили, издевались над ним, свистели ему вслед, и он вернулся, почти плача от ярости.

— Может быть, они разозлились, что ты им уж очень расписывал, как им выгодно с нами объединиться? — допрашивал Красавчика Антонио Балдуино.

— Да я даже не успел ничего толком сказать... Они сразу меня таким матом покрыли... Ну, я одному все-таки здорово рожу раскровенил...

Антонио Балдуино задумался:

— Придется послать туда Толстяка...

Но Беззубый запротестовал:

— Еще одного? С какой стати? Нужно нам всем туда отправиться и всыпать им как следует. Чтоб неповадно было... А то они у нас кусок изо рта вынимают, и мы же еще с ними хотим замирииться. И Красавчика нечего было туда посылать — только стыда не обобрались. Пошли-ка все туда...

Ватага поддержала Беззубого:

— Беззубый верно говорит... Надо их проучить.

Но Антонио Балдуино уперся:

— Это не дело. Надо послать Толстяка... Может, ребята оголодали... Если они будут промышлять в пределах Байша-дос-Сапатејрос, пусть себе промышляют на здоровье...

Беззубый засмеялся:

— Ты, никак, празднуешь труса, Балдо?

Рука Антонио потянулась к ножу, но он сдержался.

— Уж тебе-то, Беззубый, не след забывать, как ты и Сиси помирали с голоду в Палье... Ватага могла бы покончить с вами запросто, однако мы этого не сделали...

Беззубый опустил голову, тихонько насвистывая. Он больше не думал о ребятах с Террейро, и ему уже было все равно, как решит Антонио Балдуино: покончить с ними или оставить их в покое. Он вспоминал те голодные дни, когда безработный отец пропивал в кабаках деньги, которые мать зарабатывала стиркой белья. И как отец жестоко избил его за то, что он попытался защитить мать, у которой отец силой хотел отнять деньги. И как рыдала мать, а отец осыпал ее грязными ругательствами.

А потом бегство. Голодные дни на улицах города. Встреча с Антонио Балдуино и его ватагой. И теперешняя жизнь... Как-то там его мать? Нашел ли отец работу? Когда он работал, он не бил и не бил мать. Был добрый и приносил гостинцы. Но работа перепадала не часто, и тогда отец топил горе в бутылке кашасы. Беззубый вспоминал все это, и в горле у него вставал комок, и он страшной ненавистью ненавидел весь мир и всех людей.

Сопровождаемый ироническими усмешками Красавчика Толстяк отправился на переговоры с ребятами из Террейро.

— У меня не вышло, посмотрим, чего ты добьешься...

Вириато Карлик пробормотал:

— Ты поговори с ними напрямую, Толстяк. Так, мол, и так. Мы не хотим воевать с вами, но вы на наши улицы не суйтесь.

Ватага осталась ждать посланца на улице Тезоуро. Перекрестившись, Толстяк дальше пошел один.

Не возвращался он долго. Вириато Карлик забеспокоился:

— Мне это не нравится...

Красавчик смеялся:

— Он зашел в церковь помолиться.

Сиси предположил, что переговоры затянулись, но никому и в голову не приходило, что с Толстяком могло что-нибудь случиться. Однако случилось. Толстяк вернулся весь избитый, размазывая кулаками слезы:

— Они окружили меня и так отколошматили... И выбросили мой талисман...

— И ты не мог вырваться?

— Вырвешься, как же... Их полсотни, а я один...— И Толстяк рассказал все по порядку: — Я когда пришел, они все еще над Красавчиком потешались — как он от них драпал... А потом за меня принялись, стали меня поносить по-всякому, обзывать боровом: глядите-ка, какой боров к нам пожаловал!

— Ну, это еще что,— отозвался Филипе.— Меня-то они таким матом крыли...

— Сперва-то я терпел... Хотел с ними договориться... Но они мне и опомниться не дали... Схватили меня, хоть я им кричал, что мы хотим с ними жить в мире... вздули меня как миленького... Чуть не двадцать человек их на меня навалилось...

— Ну что ж, им охота подраться — будем драться, и сегодня же...

Все поднялись, как один, и со смехом, сжимая в руках ножи, перекидываясь шуточками, отправились в Террейро.

После драки конкуренты исчезли. Поодиночке, то один, то другой, еще попадались на улицах города, но с шайкой

было покончено. Победители вернулись довольные, только Толстяк никак не мог примириться с утратой талисмана, подаренного ему падре Силвио.

Толстяк был крепко верующий.

\* \* \*

И потому, когда однажды они с Антонио Балдуино встретили Линдиналву, Толстяк, задрожав, перекрестился, словно увидел ангела. Он сразу все понял, и хотя с Антонио об этой встрече у них и слова сказано не было, с этого дня негр стал ему еще ближе.

А вышло это так: на улице Чили, где они занимались промыслом, показалась какая-то парочка. Ребята двинулись ей навстречу: Толстяк впереди, остальные — за ним. Парочка явно смахивала на влюбленных, а влюбленные обычно не скупятся. Толстяк, прижимая руки к груди, уже затянул:

Подайте слепым сиротинкам...

Они уже преградили было парочке путь, как вдруг Антонио Балдуино узнал Линдиналву. С ней был молодой человек, на пальце у него красовалось кольцо с красным камнем<sup>1</sup>. Из кондитерской доносились звуки блюза. Линдиналва тоже узнала Антонио Балдуино: ужас и отвращение исказили ее лицо, и она прижалась к своему спутнику, словно ища у него защиты. Толстяк продолжал петь, никто ничего не заметил. Антонио крикнул:

— Кончай! Пошли отсюда!

И, повернувшись, побежал. Все остолбенели, не понимая, что происходит. Линдиналва закрыла глаза. Молодой человек был удивлен:

— Что случилось, дорогая?

Она решила солгать:

— Какие они страшные, эти мальчишки...

Молодой человек засмеялся с чувством превосходства:

— Ты просто трусиха, дорогая...

---

<sup>1</sup> По окончании университета дипломированные адвокаты, инженеры, врачи получали кольцо с эмблемой, свидетельствующей о высшем образовании.

Он бросил мальчишкам монету. Но они уже убежали следом за Антонио Балдуино и, догнав его, не могли понять, почему он стоит, закрывая лицо руками. Вириато Карлик тронул его за рукав:

— Что с тобой, Балдо?

— Ничего. Встретил знакомых.

Беззубый сбегал и подобрал брошенную молодым человеком монету. Только Толстяк все понял и тихонько крестился, а потом, чтобы развлечь Антонио Балдуино, принялся рассказывать историю про Педро Малазарте. Толстяк знал уйму всяких историй и был мастер рассказывать. Но даже самые веселые истории из уст Толстяка выходили печальными, и он не мог обойтись без того, чтобы не вставить в любую историю что-нибудь про ангелов и нечистую силу. Но рассказчик он был отменный: выдумывал и врал отчаянно и сам верил, что все это — святая правда.

\* \* \*

Так ватага прожила два года. Два вольных года они провели, шатаясь по улицам, болея футболом и боксом, пробираясь без билетов в кинотеатр «Олимпия», слушая истории Толстяка и не замечая, что все они уже выросли и что песенка про слепых сиротинков уже больше не может служить верой и правдой молодым здоровенным неграм, которые днем промышляют в городе, а ночи проводят с мулатками в порту. Их доходы стали катастрофически уменьшаться, и вскоре они были задержаны полицией за бродяжничество.

Какой-то мулат в соломенной шляпе и с папкой бумаг под мышкой, оказавшийся полицейским шпиком, вызвал полицейских, и всех их забрали.

Сначала их продержали в полицейском участке, где до них никому не было дела. Затем их привели в какой-то мрачный коридор, куда сквозь оконные решетки едва проникало солнце. Откуда-то доносилось пение — пели арестанты. Явились полицейские с резиновыми дубинками и стали избивать ребят, которые даже не могли толком понять — за что их бьют: ведь им никто не сказал ни слова. Отделали их на совесть. Красавчику всю физиономию разукрасили. Мулат, что их задержал, смотрел, как их бьют, улыбался и дымил сигаретой. Пение арестантов доносилось то снизу, то сверху — неизвестно откуда. Они пели о том, что там, за стенами тюрьмы, — свобода и соли-

це. А дубинка гуляла по мальчишечьим спинам. Беззубый орал и матерился, Антонио Балдуино лягал тюремщиков ногами, Вириато Карлик от злости кусал себе все губы. Толстяк — тот был верен себе: он громким голосом молился:

— Отче наш, иже еси на небесех...

А дубинка свистела вовсю. Пока не избili всех до крови, бить не перестали. Печально звучала арестантская песня.

\* \* \*

Они просидели в тюрьме восемь дней, потом их зарегистрировали и ясным солнечным утром выпустили на свободу. И они снова вернулись к жизни бездомных бродяг.

\* \* \*

Но ненадолго. Ватага распалась. Первым ушел Беззубый, он подался в шайку карманников. Иногда ребята его встречали: он приоделся, ходил в костюме и старых, но приличных ботинках, с повязанным на шее платком, как всегда, что-то насвистывая. Потом исчез Сиси, куда — никто не знал. Жезуино пошел работать на завод, женился, народил кучу ребятшек. Зе Каскинья нанялся на судно матросом.

А Филипе Красавчик погиб под колесами автомобиля. В то утро было ясно и солнечно, и Красавчик был хорош необыкновенно: хорошел он с каждым днем. Шрам на лице от полицейской дубинки не только не портил его, но, напротив, делал похожим на юного героя. В тот день Филипе, щеголявший в новом галстуке, праздновал свое тринадцатилетие. Все хохотали и дурачились. Вдруг ребята заметили, что на мостовой что-то блестит.

— Никак опять брильянт валяется, — пошутил Балдуино.

Красавчик взволновался:

— О! Сейчас я его подберу и буду носить на пальце: как раз мне подарок на день рождения... — И он выбежал на середину мостовой. Вириато едва успел крикнуть: — Машина! — Филипе обернулся, улыбаясь, и эта улыбка была последней... Через секунду он превратился в кровавое месиво. Но на губах умершего застыла улыбка: он как бы благодарил Вириато за предупреждение. Лицо его не пострадало и было таким же прекрасным, сияющим

лицом юного принца. Тело перевезли в морг. В морге ватага увидела раскрашенную старуху, которая повторяла сквозь рыдания:

— Mon chéri... Mon chéri...<sup>1</sup> — И целовала мертвое прекрасное лицо.

Но Филипе уже ничего не чувствовал и не знал, что его мать пришла к нему. Не знал он и того, что на его похороны собралась вся ватага. Пришли и Беззубый и Жезуино, и Сиси появился неизвестно откуда. Не было только Зе Каскиньи: он плавал где-то далеко. Мать Филипе и ее товарки с Нижней улицы принесли цветы. А мальчишки одели останки Красавчика в кашемировый костюм, купленный у торговца в рассрочку.

\* \* \*

Из всей ватаги только Вирiato Карлик, горбившийся все сильнее и словно с каждым днем уменьшавшийся в росте, продолжал промышлять попрошайничеством. Остальные пристроились кто куда: кто перебивался случайными заработками, кто пошел рабочим на завод, кто на уборку улиц, кто грузчиком в порт. Толстяк подался в разносчики газет — голос у него был больно подходящий — зазывный. Антонио Балдуино вернулся к себе на холм Капа-Негро и теперь бродяжничал на пару с Зе Кальмаром: обучал приемам капоэйры, зарабатывал игрой на гитаре во время праздников, ходил на макумбы Жубиабы.

Но каждую ночь он спускался в гавань и долго смотрел на море, отыскивая дорогу домой.

### «ФОНАРЬ УТОПЛЕННИКОВ»

Когда сеу Антонио купил «Фонарь утопленников» у вдовы моряка, основавшего это заведение, оно уже было известно под этим названием и над его дверью красовалась грубо намалеванная вывеска, на которой была изображена русалка, спасающая утопленника. Бывший владелец таверны, моряк, приплыл сюда однажды на грузовом судне и бросил якорь здесь, в этом темном старом зале особняка, уцелевшего от колониальных времен.

---

<sup>1</sup> Мой дорогой.. Мой дорогой.. (франц.)

Он завел любовницу-мулатку: она готовила сладкий рис для посетителей таверны и кормила обедами портовых грузчиков. Никто не знал, почему таверна получила такое название — «Фонарь утопленников». Знали только, что хозяин ее трижды терпел кораблекрушение и бывал во всех портах. Перед смертью моряк женился на своей мулатке,— таверна процветала, и ее владелец не хотел, чтобы она попала в чужие руки. Однако вдова продала таверну сеу Антонию, тот давно уже на нее зарился,— заведение приносило хороший доход. Вот только название таверны было не по душе новому хозяину. Ничем он не мог оправдать его нелепость и странность. И едва купчая была оформлена, как старая вывеска исчезла, замененная новой. На новой плыла по волнам аляповатая каравелла — на таких португальцы пересекали океан в эпоху великих открытий, а под ней было начертано: Кафе «Васко да Гама».

Но тут случилось непредвиденное: завсегдатаи, с удивлением глазевшие на новую вывеску, в таверну зайти не решались. Новое название и чистота, наведенная в зале, отпугивали их: они не узнавали свою привычно грязную гавань отдохновения, где за бутылкой кашасы в некончаемых разговорах проходили их портовые ночи.

Сеу Антонию был человеком суеверным. На другой же день он разыскал среди домашнего хлама старую вывеску и водворил ее на место. А новую, с изображением португальской каравеллы, припрятал для будущего кафе, которое он когда-нибудь купит в центре города. Вместе со старой вывеской «Фонарь утопленников» в таверну была возвращена и мулатка, вдова моряка. Она снова стала готовить сладкий рис для посетителей и кормить обедами портовых грузчиков. И спала она на своей прежней постели — только теперь уже не с молчаливым моряком, а с разговорчивым португальцем. Сеу Антонию собирался обзавестись кафе в центре города и дать ему название «Васко да Гама», украсив вывеской с португальской каравеллой. Тогда мулатка осталась бы хозяйничать в «Фонаре утопленников», готовя сладкий рис для посетителей, обеда для грузчиков и деля свое прежнее ложе с новым сожителем.

«Фонарь утопленников» снова был полон. Там снова спорили и шумели, вспоминая о своих плаваниях, матросы. Владельцы рыбацких шхун говорили об окрестных ярмарках,— туда они поведут свои суда, груженные фрук-



тами. Звездными ночами здесь играли на гитаре, пели самбы, рассказывали страшные истории. И женщины с Ладейра-до-Табоан стекались к «Фонарю утопленников».

Антонио Балдуино, Зе Кальмар и Толстяк вечно торчали в таверне. Случалось, что там появлялся и Жубибаба.

\* \* \*

Если в искусстве капоэйры Антонио Балдуино оставался пусть лучшим, но все же учеником Зе Кальмара, то в игре на гитаре он вскоре превзошел своего наставника и заслуженно делил с ним славу.

Сколько раз, в своих странствиях по городским улицам, он вдруг принимался выстукивать на соломенной шляпе родившуюся в его голове мелодию и тут же придумывал к ней слова. А потом пел своим друзьям с холма новую самбу:

Я негр — нищий, но веселый,  
и веселюсь я день-деньской,  
ног не жалею на террейро<sup>1</sup>,  
и пляшут все друзья со мной.

Особенным успехом пользовался куплет:

Какого мне просить святого,  
чтоб он помог мне ворожкой?  
Зачем, коварная мулатка,  
навек загублен я тобой?..

Однажды вечером на холме появился богато одетый господин и спросил, нельзя ли ему поговорить с Антонио Балдуино. Ему показали Антонио — тот как раз стоял неподалеку, окруженный толпою слушателей. Бороздя землю тростью, господин подошел к нему:

— Это ты — Антонио Балдуино?

Балдуино подумал, что это мог быть кто-нибудь из полиции.

— Что вам от меня надо?

— Это ты сочиняешь самбы? — Господин слегка коснулся его тростью.

— Сочиняю помаленьку...

---

<sup>1</sup> Террейро — здесь: место проведения ритуальных церемоний (макумбы, кандомбле), сопровождаемых ритуальными плясками.

— Может, споешь, а я послушаю?

— А вы мне сперва скажите, зачем вам это нужно?

— Может быть, я их у тебя куплю.

Получить деньги было бы не худо: Антонио присмотрел себе на ярмарке новые ботинки. Он сбегал за гитарой и тут же спел все, что насочинял. Две самбы понравились господину.

— Продай-ка мне вот эти две...

— А зачем они вам?

— Они мне понравились...

— Ну, покупайте.

— Я заплачу тебе двадцать мильрейсов за обе...

— Что ж, цена хорошая. Захотите еще купить, приходите...

Потом господин попросил Антонио насвистеть ему мелодии и записал их какими-то значками на густо линованной бумаге. И слова записал.

— Я еще приду, за новыми...

И он стал спускаться по склону, волоча за собой трость. Обитатели холма смотрели ему вслед. Антонио Балдуино растянулся у дверей лавки и положил два банкнота, по десять мильрейсов каждый, себе на голый живот. Он думал о новых ботинках и о том, что денег хватит и на отрез ситца для Жоаны.

А господин с тростью, купивший самбы, сидя вечером в шикарном кафе в центре города, хвастался перед друзьями:

— Я сочинил две сногшибательные самбы...

И он спел их, отбивая ритм косточками пальцев по столу.

Эти самбы потом были записаны на пластинку, исполнялись по радио, на концертах. Газеты писали: «Наибольшим успехом на этом карнавале пользовались самбы поэта Анисио Перейры — они буквально свели всех с ума».

Антонио Балдуино не читал газет, не слушал радио, не играл на рояле. И он продавал свои самбы поэту Анисио Перейре.

\* \* \*

Волосы у Жоаны рассыпались по плечам: она их тщательно расчесывала и душила чем-то одуряющим — от этого запаха у Антонио Балдуино кружилась голова. Он прижимался носом к ее затылку, раздвигал пряди волос и замирал, вдыхая их аромат. Она смеялась:

— А ну-ка убери хобот с моей шеи...

И он тоже смеялся:

— Ух ты, как приятно воняет...

И опрокидывал девчонку на постель.

Ее голос доходил до него издалека:

— Ах ты, мой песик...

\* \* \*

В тот день, когда он заявился к ней в новых ботинках с отрезом ситца под мышкой, он услышал, как Жоана напевает одну из тех двух самб, которые он продал господину с тростью. Антонио Балдуино прервал ее:

— А знаешь что, Жоана?

— Что?

— Я ведь продал эту самбу.

— Как это продал? — Она понятия не имела, что самбы продаются.

— Один господинчик разыскал меня на холме и купил две мои самбы за двадцать мильрейсов. Неплохо, да?

— На кой они ему сдались, твои самбы?

— А я почему знаю... Может, у него не все дома.

Жоана задумалась. Но Антонио развернул подарок:

— На эти деньги смотри, что я тебе купил...

— Ух ты, какая красота!

— А теперь погляди на мои новые ботинки — шикарные, да?

Жоана посмотрела и бросилась Антонио на шею. Антонио громко смеялся, довольный жизнью и выгодно обделанным дельцем. Он уткнулся в затылок Жоане, а она снова запела его самбу. Жоана была единственной, кто пел эту самбу, зная ее истинного создателя.

— Сегодня мы пойдем на макумбу к Жубиabe, — предупредил Жоану Антонио. — Сегодня ведь твои именины, моя радость.

И они пошли на макумбу, а потом лежали на песчаном пляже и безудержно любили друг друга. И в теле Жоаны Антонио как всегда искал тело Линдиналвы.

\* \* \*

Нередко они заходили в «Фонарь утопленников», хотя Жоана не очень-то любила бывать там.

— В этой таверне всегда полно всякого сброда... Подумают, что я тоже из таких...

Жоана работала официанткой и жила в квартале Кинтас. Ей больше нравилось заниматься любовью на пляже, и в таверну она ходила, только чтобы угодить Антонио. Там они садились вдвоем за отдельный столик и пили пиво, отвечая улыбками на прищипывания знакомых. Проявившись всем свою возлюбленную, Антонио увел ее, выразительно ей подмигивая,— это означало, что теперь-то они наконец доберутся до пляжа.

Дни Антонио Балдуино обычно проводил в компании Толстяка, Жоакина, Зе Кальмара. Они пили кашасу, обменивались разными историями, смеялись так, как умеют смеяться только негры. Однажды вечером, когда они праздновали день рождения Толстяка, вдруг появился Вириато Карлик. Он очень изменился за те годы, что они не виделись. Но выше ростом не стал, и сил у него не прибавилось. Одежду ему заменяли какие-то лохмотья, и он тяжело опирался на сучковатую палку.

— Я пришел выпить за твоё здоровье, Толстяк...

Толстяк велел принести кашасы. Антонио Балдуино смотрел на Карлика:

— Как идут дела, Вириато?

— Да так, ничего...

— Ты, видать, болен?

— Да нет. Просто такому больше подают.— И он улыбнулся своей бледной улыбкой.

— А чего ты никогда не приходишь?

— Сюда? Времени нету, да и не хочется...

— Мне говорили, что ты сильно болел.

— Я и теперь болею — лихорадка ко мне привязалась. «Скорая» меня подобрала. Попал к черту в лапы. Лучше уж на улице помереть...

Вириато взял протянутую Жоакином сигарету.

— Валялся я там, и никому до меня не было никакого дела. Знаете, как в больницах?

Толстяк сам в больнице не лежал, но слушал о ней с ужасом.

— Ночью как начнет меня трепать лихорадка. Ну, думаю, смерть моя пришла... И как вспомню, что никого... Никого-то у меня нет, кто бы посидел у моей постели...— Голос его прервался.

— Но теперь-то ты здоров,— нарушил молчание Балдуино.

— Здоров? Да нет. Лихорадка вернется. И я помру прямо на улице, как собака.

Своей черной ручищей Толстяк через стол коснулся Вириато.

— Зачем тебе умирать, друг?

Жоакин натужно рассмеялся:

— Гнилое дерево два века живет...

Но Вириато продолжал:

— Антонио, ты ведь помнишь Розендо? У него была мать, и когда он заболел, мы ее нашли, и она выходила его. Я же ее и разыскал тогда... А Филипе Красавчик, он погиб, но все-таки и у него нашлась мать,— хоть на кладбище его проводила. И цветы принесла, и товаров своих привела на похороны...

— Ух, одна была бедрастая! — не смог удержаться Жоакин.

— У всех кто-нибудь да отыщется: отец, либо мать, либо кто другой. Только у меня никого.

Он швырнул в угол окурок, попросил еще стаканчик.

— Разве наша жизнь чего-нибудь стоит? Помнишь, как всех нас схватили и поволокли, как паршивых щенков, в полицию? Избили чуть не до полусмерти, а за что? Ни черта наша жизнь не стоит, и никому мы не нужны...

Толстяка била дрожь. Антонио Балдуино не отрываясь смотрел на свой стакан с кашасой. Вириато Карлик встал:

— Надоел я вам... Но я все один и все думаю, думаю...

— Ты уже уходишь? — спросил Жоакин.

— Пойду у кино постою, может, что промыслю.

Он направился к двери, тяжело опираясь на палку, скособоченный, одетый в грязные лохмотья.

— Он уже привык ходить так скрючившись,— заметил Жоакин.

— И всегда он такую тоску нагонит.— Толстяк не слишком вникал в рассуждения Вириато, но жалел Карлика: у Толстяка было доброе сердце.

— Он в жизни больше нас понимает.— В ушах Антонио все еще звучали слова Вириато.

За соседним столом мулат с густой шевелюрой растолковывал негру:

— Моисей приказал морю расступиться и прошел среди моря по суше вместе со своим народом.

— Уж если разговаривать, так только про веселое,— сказал Жоакин.

— И зачем это ему понадобилось испортить мне день рождения,— огорчился Толстяк.

— Ну чем он его испортил?

— Наговорил тут... Теперь какое уж веселье...

— Ничего. Давайте-ка продолжим праздник у Зе Кальмара. И девчонок прихватим,— предложил Антонио Балдуино.

Толстяк расплатился за всех. За соседним столом мулат рассказывал про царя Соломона:

— У него было шестьсот мулаток...

— Во бугай был,— расхохотался Антонио.

Праздник продолжался, кашасы было вволю, и хорошенькие каброши не заставляли себя долго просить, но веселья так и не получилось: все вспоминался Вириато Карлик,— подумать только, ему даже некому было рассказать про свою болезнь!

\* \* \*

Жоана не раз устраивала Антонио сцены ревности из-за мулаток, с которыми он путался. Не успевала какая-нибудь из них попасться ему на глаза,— глядишь, он уже с нею переспал. В расцвете своей восемнадцатилетней возмужалости и свободы он пользовался неслыханным успехом у городских девчонок: работниц, прачек, лоточниц, продающих акараже и абара<sup>1</sup>. Антонио с ними заговаривал, и все разговоры кончались тем, что он увлекал девчонку на пляж, где они извивались на песке, не чувствуя, как песок набивается в их жесткие курчавые волосы.

После этого он больше с ней не встречался. Все эти девчонки проходили до его жизни, словно проходящие по небу тучки,— кстати, они-то частенько и служили ему приманкой для уловления очередной каброши.

— Ах, что за глазки,— ну точь-в-точь как эта черная тучка...

— И сейчас пойдет дождь...

— А мы найдем где спрятаться... Я знаю одно такое местечко — никакой дождь не страшен.

И все же он возвращался к Жоане вдыхать дурманящий запах ее затылка. А она изводила его ревностью и лезла в драку, когда узнавала, что он опять валялся на пляже с девчонкой,— она готова была на все — лишь бы

---

<sup>1</sup> А бара — блюдо из вареной фасоли, приправленной перцем на пальмовом масле.

удержать Антонио, и, как говорят, прибежала даже к колдовству. Так, она привязала к старым штанам своего возлюбленного перья черной курицы и кулек с маниокой, поджаренной на пальмовом масле; в маниоке было спрятано пять медных монет. И в полнолуние, пока он спал, спрятала у дверей его дома.

На вечеринке у Арлиндо Жоана закатила Антонио бешеную сцену только из-за того, что он несколько раз подряд танцевал с мулаткой Делфиной. Она бросилась на соперницу с туфлей в руке, — а предмет раздора помирал со смеху, глядя на дерущихся женщин.

Дома Жоана спросила его:

— Ну что ты в ней нашел, в этой заразе?

— А ты ревнуешь?

— Я? Да у нее кожа, как на старом чемодане, — вся потрескалась. Не понимаю, чем только она тебя преlestила.

— Тебе и не понять. У всякой свои секреты...

И Антонио Балдуино смеялся и опрокидывал Жоану на постель, жадно втягивая ноздрями аромат ее волос.

Он вспоминал, как они познакомились. На празднике в Рио-Вермелье Антонио играл на гитаре. Там он еще издали заметил Жоану и, как говорится, положил на нее глаз. Девчонка сразу в него влюбилась. На другой день, в воскресенье, они пошли на утренний сеанс в «Олимпию». И тут она ему привялась плести какую-то длинную историю и все только затем, чтобы уверить его в своей невинности. Антонио ей поверил, но это его только разочаровало. И на следующее свидание он пошел просто от нечего делать. Они гуляли по Кампо-Гранде, и он молчал, потому что невинные барышни его не интересовали. Но когда Жоане уже нужно было спешить на работу, она вдруг созналась, что обманула его:

— Ты такой добрый, ты не будешь меня презирать... Я тебе хочу сказать правду: я не девушка...

— Вот как!

— Меня совратил мой дядя, он жил у нас в доме. Три года тому назад. Я была одна, мать ушла на работу...

— А твой отец?

— Я его никогда не видела... А дядя воспользовался случаем, что дома никого, набросился на меня и взял силой...

— Вот негодяй! — В глубине души Антонио не слишком осуждал дядю.

— Больше у меня за все эти три года никого не было... Теперь я хочу быть твоей...

На сей раз Антонио разгадал, что история с дядей была тоже сплошным враньем, но он не стал уличать Жоану. Работа была забыта, и поскольку другого прибежища у них не было, он повел ее на портовый пляж, где стояли корабли и били о берег волны.

А потом они сняли эту комнатуху в Кинтас, где Жоана каждый божий день рассказывала ему о себе очередные небылицы или упрекала его в изменах.

Антонио больше не верил ее рассказам, и все это уже начинало ему надоедать.

\* \* \*

В один из непогожих бурных вечеров Антонио сидел в «Фонаре утопленников», беседуя с Жоакином. Завидев только что вошедшего, непривычно мрачного Толстяка, Жоакин закричал:

— А вот и Толстяк!

— Вы знаете, что случилось?

— Знаем — грузчики выудили очередного утопленника...

Утопленники в порту были не редкость, и все уже к этому привыкли. Но Толстяк закричал:

— Но это Вириато!

— Кто?

— Вириато, Карлик.

Они выскочили из таверны и бегом бросились к пристани. Возле утопленника толпился народ. Должно быть, тело пробыло в воде не меньше трех дней — так оно распухло и почернело. Широко открытые глаза, казалось, пристально смотрели на собравшихся. Нос был уже наполовину отъеден рыбами, а внутри трупя хозяйничали рачки, производившие странный шум.

Тело подняли и понесли в таверну. Там сдвинули два стола и на них положили мертвеца. Слышно было, как в мертвом теле возятся рачки: звук этот напоминал позвякивание колокольчиков. Сеу Антонио взял с прилавка свечу, но не решался вложить ее в распухшую руку утопленника. Жоакин сказал:

— Чтобы вырасти, ему нужно было утонуть...

Толстяк шептал заупокойную.

— Бедняга! Никого-то у него не было...



Посетители подходили посмотреть на мертвеца. Женщины, едва взглянув, отшатывались в ужасе. Сеу Антонио так и стоял со свечой: никто не отваживался дотронуться до трупа. Тогда Антонио Балдуино взял свечу и подошел к телу товарища. С трудом раздвинув его разбухшие пальцы, он вложил в них свечу и обвел взглядом столпившихся людей.

— Он был один, как перст. Он все хотел отыскать дорогу домой, вот и бросился в море.

Никто не понял слов Антонио. Кто-то поинтересовался, где жил Вириато.

В таверну вошел Жубиаба.

— Доброго вечера всем. Что тут у вас приключилось?

— Он все искал глаз милосердия, но так его и не нашел. И тогда он себя убил. У него не было ни отца, ни матери, не было никого, кто хоть раз бы о нем позаботился. Он умер, потому что так и не увидел глаз милосердия...

Жубиаба заговорил на языке наго, и как всегда непонятное это бормотание заставило всех содрогнуться.

Толстяк подробно, со слезами в голосе рассказывал историю Вириато Карлика одному из посетителей. Однажды, если верить его рассказу, Карлику явилась женщина в лиловых одеждах в окружении трех ангелов... Это была его покойная мать, и она звала его к себе на небеса.

— Вот он и бросился в воду.

Антонио Балдуино смотрел на погибшего, и вдруг ему почудилось, что все, кто был в таверне, исчезли и он остался один на один с мертвым телом. Ужас охватил его. Нечеловеческий ужас. Он весь похолодел, зубы у него стучали. Перед его глазами проходили все: сошедшая с ума старая Луиза, зарезанный Леополдо, Розендо, звавший мать в бреду, Филипе Красавчик под колесами автомобиля, безработный Салустиано, утопившийся здесь же в порту, и вот теперь Вириато Карлик, его тело, в котором звенят, словно погремушки, прожорливые рачки.

И он подумал, что все они так несчастны — живые и мертвые. И те, что только еще должны родиться. И он не знал, почему они так несчастны.

Штормовой ветер, налетев, погрузил во тьму «Фонарь утопленников».

Заклинания Жубиабы отогнали Эшу:<sup>1</sup> теперь он не посмеет нарушить праздничное веселье. Ему пришлось уйти далеко отсюда,— может, в Пернамбуко, а может, и в Африку.

Ночь опустилась на крыши домов, торжественная священная ночь сошла на город Всех Святых. Из дома Жубиабы доносились звуки барабана, агого, погремушек, кабасы<sup>2</sup> — таинственные звуки макумбы, растворявшиеся в мерцании звезд, в безмолвии ночного города. У входа негритянки продавали акараже и абара.

Изгнанный с холма Эшу отправился строить свои козни в другие места: на хлопковые плантации Вирджинии или на кандомбле на холме Фавелы.

В углу, в глубине большой комнаты с обмазанными глиной стенами, играли музыканты. Музыка заполняла все помещение, ритмически настойчиво отдаваясь в головах собравшихся. Музыка будоражащая, тоскливая, музыка древняя, как сама создавшая ее раса, рождалась в барабанах, агого, кабасах, погремушках.

Присутствующие теснились вдоль стен и не сводили глаз с ога<sup>3</sup>, которые сидели в центре комнаты. Вокруг них кружились иаво<sup>4</sup>.

Антонио Балдуино был ога, и Жоакин тоже, а Толстяк пока стоял в толпе возле какого-то белого, худого и с лысиной, — он внимательно следил за всем происходящим и в такт музыке похлопывал себя по коленям. Рядом с ним молодой негр в голубой рубашке, замороженный музыкой и пением гимнов, слушал, закрыв глаза, забывая о зрелище. Остальная публика — негры, мулаты жались поближе к толстым негритянкам в пестрых юбках, кофтах с большим вырезом и ожерельями на шее. Жрицы медленно кружились, сотрясаясь всем телом.

Внезапно старая негритянка, притиснутая к стене ря-

<sup>1</sup> Эшу — негритянское языческое божество, олицетворяющее враждебные человеку силы.

<sup>2</sup> Агого, кабаса — африканские музыкальные инструменты.

<sup>3</sup> Ога — член языческой секты; он помогает старшему жрецу или старшей жрице в ритуальной церемонии.

<sup>4</sup> Иаво — жрицы, которые во время ритуальной церемонии впадают в транс, после чего «перевоплощаются» в различные женские божества.

дом с лысым человеком и охваченная первной дрожью, вызванной музыкой и пением, впала в транс, почувствовав приближение оришалы<sup>1</sup>. Ее увели в соседнюю с комнатой спальню. Но поскольку она не была жрицей, ее просто оставили там, чтобы дать ей прийти в себя, а оришала тем временем остановил свой выбор на молоденькой негритянке, и ее тоже увели в отведенную для жриц комнату.

Оришалою был Шанго — бог молнии и грома; на сей раз его выбор пал на иаво, и негритяночка вышла из спальни в священном одеянии — вся в белом, только четки белые, но с красными, словно капли крови, крапинками, в руке она держала небольшой жезл.

Старшая жрица запела, приветствуя оришалу:

— Эду ро демин лонан е йе!

И все присутствовавшие подхватили хором:

— А умбо ко ва жо!

Старшая жрица продолжала песнопение на языке иаво:

Пусть в пляске вырастут  
крылья у нас...

Иаво кружились вокруг ога, и все благоговейно склонялись перед оришалою, протягивая к нему руки, согнутые в локте под углом, с ладонями, обращенными в сторону оришалы.

— Оке!

И все кричали:

— Оке! Оке!

Негры, негритянки, мулаты, лысый мужчина, Толстяк, студент, все участники макумбы воодушевляли оришалу:

— Оке! Оке!

Оришала смешался с пляшущими иаво и тоже закружился в танце. На его белом одеянии выделялись, словно капли крови, красные крапинки на четках. Увидев среди ога Жубиабу, Шанго приветствовал самого старого макумбейро. Затем он, продолжая танцевать, снова сделал круг и почтил своих: приветствием белого лысого мужчину, находившегося здесь по приглашению Жубиабы. Оришала трижды склонялся перед ними, потом обнимал и, держа

---

<sup>1</sup> Оришала — верховное божество среди второстепенных божеств афро-бразильского языческого культа.

за плечи, прикладывался лицом то к одной, то к другой щеке приветствуемого.

Старшая жрица пела:

— Ййа ри де жве о...

Она пела:

Мать в драгоценном уборе.  
На шеях детей ожерелья.  
И новые ожерелья она на детей  
надевает...

А она и все присутствовавшие хором подражали треску четок, которые трещали все разом:

— Омиро вонрон вонрон вонрон омиро!

Под этот припев Жоана, во время танца впавшая в транс и уведенная в спальню, вышла оттуда богиней Омолу — богиней черной оспы.

В ее пестром одеянии преобладал яркий красный цвет, из-под юбки выглядывало нечто вроде панталон. Выше пояса она была обнажена, только грудь прикрывал кусок белой материи. Твердые остроконечные груди Жоаны едва не прорывали ткань, которая лишь подчеркивала безупречную красоту девичьего торса. И все же сейчас негритяночка Жоана была для всех присутствующих богиней. Даже Антонио не видел в ней свою возлюбленную, с которой столько ночей он провел без сна на песке портового пляжа. Та, что выступает здесь перед всеми полубнаженной, — богиня Омолу, страшная богиня черной оспы. Вновь зазвучал монотонный голос старшей жрицы, возглашая появление оришалы:

— Эду ро демин лонан е йе!

Звуки барабана, агого, кабасы, погремушек. Музыка однообразная, без конца повторяющая одно и то же и вместе с тем возбуждающая до безумия. И хор всех присутствующих:

— А умбо ко ва жо!

Приветствия святому:

— Оке! Оке!

Омолу, танцевавшая в окружении иаво, увидела Антонио Балдуино и подошла к нему с приветствием. Удостоились ее приветствия и все те, кого вместили стены капища. И Толстяк, и негр-студент, вызывавший у всех живую симпатию, и лысый мужчина, и Роке, и многие другие.

Все уже были возбуждены и рвались танцевать. Омолу подходила к женщинам и вводила их в круг танцую-

щих. Антонио Балдуино раскачивался всем туловищем, словно сидел на веслах. Все простирали руки к оришале. Тайнство экстаза овладевало всеми — оно исходило отовсюду: от оришалы, от музыки, от песнопений и в особенности от Жубиабы, столетнего тщедушного старца.

Все пели хором:

— Золо бири о бажа гва ко а пейнда... — что означало «собака, идущая по следу, вытягивает хвост». И на макумбе в доме Жубиабы появился Ошосси, бог охоты. К белому и зеленому цветам в его одежде было добавлено немного красного, на поясе с одной стороны — лук с натянутой тетивой, с другой — колчан со стрелами. На голове шлем из проволоки, обтянутой зеленой материей, с прикрепленным к нему султаном — пучком толстой проволоки. Султан — это было нечто новое: до сих пор Ошосси, бог охоты, великий охотник, не носил султана из толстой проволоки.

Босые ноги пляшущих женщин отбивали ритм на земляном полу. Они извивались всем телом, как того требовал обрядовый танец, и от их движений исходила та же чувственная напряженность, что и от их разгоряченных тел и от завораживающей музыки. Пот катился со всех ручьями, все отдались бешеному ритму пляски. Толстяк изнемогал от напряжения, все сливалось у него перед глазами: яво, ога, загадочные боги из далеких лесов. Белый мужчина плясал, не жалея подметок, и, задыхаясь, говорил студенту:

— Сейчас упаду...

Оришала снова приветствовал Жубиабу. Согнутые под углом в локте руки приветствовали Ошосси, бога охоты. Возбуждение уже прижимало губы к губам, дрожащие руки искали ответного пожатия, соприкасались тела в неистовых содроганиях священной пляски. И тогда среди охваченной экстазом танцующей толпы внезапно появился Ошала<sup>1</sup>, самый главный из богов, выступающий в двойном облике — юноши Эподиана и старца Ошолуфана. Он появился и поверг на землю Марию дос Рейс, пятнадцатилетнюю негрityночку, свеженькую и пухленькую. На сей раз Ошала предстал перед всеми старцем Ошолуфаном: сторбленным, опирающимся на украшенный металлическими бляхами посох. Одетый во все

---

<sup>1</sup> Ошала — высшее божество афро-бразильского языческого культа.

белое, он принимал приветствия всех присутствующих, согнувшихся перед ним в низком поклоне:

— Оке! Оке!

И тогда старшая жрица запела:

— Э инун ожа ла о жо, инун ли а о ло.

Что означало:

— Люди, готовьтесь! Праздник начинается.

И все подхватили хором:

— Эро ожа е пара мон, е инун ожа ли а о ло.

— Приготовьтесь, люди, мы начинаем праздник.

Да, праздник мог начаться, ведь теперь с ними был Ошала, самый главный из богов.

Ошолуфан — воплощение Ошала в обличье старца — приветствовал только одного Жубиабу. После чего он закружился в пляске вместе с иаво и плясал, все убыстряя темп, до тех пор, пока Мария дос Рейс не рухнула на земляной пол, содрогаясь в конвульсиях, повторявших движения танца, с выступившей на губах пеной.

В переполненном помещении все, словно обезумев, плясали под все нарастающий гром барабанов, агого, погремушек и кабас. И боги тоже плясали под звуки древней африканской музыки, плясали все четверо вместе с иаво вокруг ога. Ошосси — бог охоты, Шанго — бог молнии и грома, Омолу — богиня черной оспы и Ошала — самый главный из богов, и он наконец рухнул на пол и тоже забился в конвульсиях.

\* \* \*

На католическом алтаре в углу капища Ошосси предстал в обличье святого Георгия; Шанго — святого Иеронима; Омолу — святого Роха и Ошала — в обличье Христа Спасителя из Бонфина, самого чудотворного из всех святых негритянского города Баия Всех Святых и Жреца Черных Богов Жубиабы. В доме Жубиабы празднества были всегда отменными, потому как он-то уж понимал, что такое кандомбле или макумба.

Собравшихся в зале угощали жареной кукурузой, а в соседнем помещении был приготовлен шиншин<sup>1</sup> из козлятины и баранины с рисом. В ночь макумбы возле дома Жубиабы собирались негры со всего города и толковали

---

<sup>1</sup> Ш и н ш и н — жаркое с протертыми овощами, приправленное луком и чесноком.

про разные разности. Толковали всю ночь напролет, пока не обсудят все, что где за это время приключилось. Но этой ночью всех смущало присутствие белого гостя, прибывшего издалека на макумбу Жубиабы. Гость здорово навалился на шиншин и облизывал губы, насладившись пловом с креветками. Антонио Балдуино потом узнал, что этот тип сочиняет АВС и много странствовал по свету. Поначалу Антонио даже принял его за моряка. Толстяк уверял, что сочинитель АВС ездит курьером. Белого гостя привел поэт, покупавший у Антонио его самбы. Его приятель во что бы то ни стало хотел увидеть макумбу, и поэт познакомил его с Антонио, уверяя, что никто, кроме Балдуино, не может добыть для него позволения Жубиабы присутствовать на макумбе. Но льстивые заверения поэта не слишком подействовали на Антонио, и он не спешил хлопотать перед Жубиабой за приятеля. Приводить на макумбу белых, да еще неизвестных, было рискованно. Белый мог жазаться из полиции, и тогда накрыли бы всех разом. Однажды уже так было, и тогда Жубиабе пришлось просидеть всю ночь под замком, а из капища полицейские унесли статую Эшу. Спасибо Зе Кальмару: только такой ловкач, как он, отважился выкрасть Эшу обратно, и откуда — из кабинета самого начальника полиции, куда он ухитрился проникнуть под носом у охраны. Когда Зе Кальмар принес спасенного Эшу, спрятав его под пиджаком, как раз был праздник. И всю ночь продолжалась макумба, чтобы умиловить разгневанного Эшу, — ведь в его власти было испортить всем не только этот, но и все последующие праздники.

Вот потому-то Антонио Балдуино не хотел приводить белого. И только когда студент-негр, оказавшийся в большой дружбе с приятелем поэта, поручился за своего друга, как за себя самого, Антонио обратился к Жубиабе за позволением.

Но сперва он еще порасспросил студента — что за человек этот его белый приятель. И когда узнал, что тот исколесил едва ли не весь свет и все на свете перевидал, очень обрадовался. Как знать, не напишет ли этот сочинитель когда-нибудь АВС и о нем, знаменитом негре Антонио Балдуино?

Макумба закончилась, и белый, попроцавшись, ушел. Перед уходом он благодарил Жубиабу и говорил, что за всю свою жизнь не видывал зрелища великолепнее ма-

кумбы. Студент ушел вместе с ним, и все оставшиеся вздохнули как-то свободнее. Теперь можно было обсудить свои дела, всласть поболтать о разных происшествиях, потешить слушателей тут же выдуманными историями.

Розадо заговорил с Антонио Балдуино:

— Я тебе показывал свою новую татуировку?

— Нет.

Розадо был матрос, время от времени появлявшийся в Баие. Однажды он привез известие о Зе Каскинье, — тот плавал на дальних рейсах. Розадо умел говорить на языке гринго, а вся спина у него была покрыта татуировкой, изображающей вазу с цветами, кортик и плеть в окружении многочисленных женских имен.

Антонио Балдуино с нескрываемой завистью разглядывал спину Розадо:

— Красота-а!

— У нас на судне есть один матрос — американец, так у него на спине вся карта географическая наколота. Вот это действительно красота, парень...

Антонио Балдуино вспомнил о белом госте. Вот кто оценил бы татуировку Розадо! Но тот уже поспешил уйти: видно, ему самому было неловко оттого, что все его стеснялись.

Антонио Балдуино тоже подумывал насчет татуировки. Но все никак не мог выбрать, что бы ему такое изобразить. Лучше бы всего море и еще портрет Зумби из Палмареса. В порту он видел одного негра, у того крупными буквами во всю спину было вытатуировано имя Зумби.

Дамиан, старик негр, улыбнулся:

— Хочешь, я тебе покажу разрисованную спину?

Жубиаба жестом показал, чтобы старик не делал этого, но тот уже стянул рубаху и обнажил спину. Голова у старика была совсем белая, а на спине виднелись рубцы от ударов плетью. Во времена рабства он ходил в колдовках, и плеть частенько гуляла по его спине. Вдруг Антонио Балдуино разглядел пониже рубцов от плети след от ожога.

— А это у вас что, дядюшка?

Но как только Дамиан понял, что Антонио спрашивает его про ожог, он ужасно засмутился и быстро накинул рубаху. Не отвечая, старик стоял и смотрел на горд, сверкающий внизу огнями. Мария дос Рейс улыбну-



лась Антонио: у стариков, которые когда-то были рабами, могут быть свои тайны.

Жоана между тем ушла с праздника одна, мучимая подозрениями и ревностью. Мария дос Рейс тоже отправилась домой, и потому Антонио Балдуино спускался с холма в обществе Толстяка и Жоакина. В руках он держал гитару: предполагалось, что они еще куда-нибудь закатятся.

Но Толстяк отказался: ему было далеко добираться до дому, где он жил со своей бабушкой, бородатой восьмидесятилетней старухой, давно утратившей всякое ощущение реальной жизни и живущей в полной отрешенности от всего, что происходило вокруг. Все время она проводила, бормоча какие-то истории, путая их с другими, смешивая людей и события и не доводя ни одну из них до конца. На самом деле эта старуха вовсе не приходилась Толстяку бабушкой. Толстяк выдумал это, стыдясь признаться, что он заботится об одинокой старухе, подобранной им на улице. Заботился он о ней и вправду как о родной бабушке, приносил ей еду, часами беседовал с ней, возвращаясь домой как можно раньше, чтобы старуха не чувствовала себя брошенной. Порой кто-нибудь из приятелей, встретив Толстяка, замечал у того в руках кусок материи — не иначе подарок какой-нибудь каброше-франтихе.

— Да нет, это для моей бабушки... Она, бедняга, укладывается прямо на грязную землю, одежды на нее не напасешься. Больно уж старая она у меня.

— А она тебе, Толстяк, бабушкой-то приходится по отцу или по матери?

Толстяк сроду не знал ни матери, ни отца. Но у него была бабушка, и многие из его друзей ему завидовали.

\* \* \*

Простившись с Толстяком, Антонио с Жоакином спустились по Ладейра-да-Монтанья, насвистывая самбу. Улица была пустынна и тиха. Только в одном тускло освещенном окошке женщина развешивала пеленки новорожденного, а в глубине комнаты мужской голос уговаривал:

— Сыночек... сыночек...

Жоакин кивнул головой в сторону окна:

— Этот завтра заснет на работе. Нячтит по ночам ребятенка...

Антонио Балдуино не отозвался. Жоакин продолжал:

— Ничего не меняется. Да и зачем?

— Ты про что?

— Не меняется...

Антонио, думавший про свое, спросил:

— А ты заметил, какой славный парень наш Толстяк?

— Славный? — Жоакин не находил в Толстяке ничего особенного.

— Да, он добрый. Он хороший человек. Он держит открытым глаз милосердия.

Теперь промолчал Жоакин. А потом вдруг расхохотался.

— Чего ты ржешь?

— Да так. И я теперь уразумел, что наш Толстяк — отличный парень.

Какое-то время они спускались молча. Антонио Балдуино вспоминал макумбу, лысого белого человека, который объехал весь мир. Он так торопился уйти, уходил чуть ли не бегом. Антонио Балдуино представил себе, что этот человек — Педро Малазарте. Ведь он так гопспешно ушел, почти убежал, потому что заметил, что негры его стесняются. Потом Антонио вспомнил про Зумби из Палмареса. Если бы нашелся тогда еще один такой Зумби, старика негра не посмели бы избивать плетью. Он, Антонио, будет бороться. И нечего стыдиться белых. Человек тогда человек, когда он со всеми вместе. И может так случиться, что этот белый в один прекрасный день напишет куплеты о нем, Антонио Балдуино, героические куплеты, в которых будут воспеваться приключения негра — свободного, веселого, дерзкого и храброго, как семеро храбрецов.

Подумав об этом, Антонио Балдуино развеселился и со смехом сказал Жоакину:

— Знаешь что, Жоакин? Не я буду, коль эта негрятючка моей не станет...

— Какая негрятючка? — живо заинтересовался Жоакин.

— Мария дос Рейс... Она тоже давно уж на меня поглядывает...

— Какая же это Мария?

— Да та, которую выбрал Опала. Она в первый раз на макумбе.

— Смотри, Балдо, осторожней. У нее ведь есть жених-солдат. Не зарывайся.

— Подумаешь... А ежели мне самому охота... Буду я еще об ее солдате беспокоиться. С негрятючкой мы поладим, это точно... А солдат — пусть наперед не зевает...

Жоакин и без того был уверен, что Антонио Балдуино захоронит мулаточку, наплевав на солдата, но его тревожила возможность стычки с военным, и он еще раз предостерег:

— Оставь-ка ее лучше в покое, Балдо...

Он забыл, что жизнь Антонио Балдуино должна быть воспета после его смерти в куплетах АВС, а все герои подобных куплетов всегда любят юных девушек, с которыми они встречаются под покровом ночи, и ради них готовы драться даже с солдатами.

\* \* \*

Они шли по нижнему городу. Город спал. Ни одной живой души — даже подраться не с кем. «Фонарь утопленников» был на замке. Улицы словно вымерли: хоть бы каброша какая-нибудь попалась — позабавиться на пляже... Все закрыто — негде горло промочить. Приятели уже притомились, Жоакин зевал во весь рот. Они свернули в переулок и наконец увидели парочку — похоже было, что эти двое тоже только что повстречались. Жоакин толкнул Антонио в бок:

— Этому повезло...

— Не робей: была ваша — будет наша...

— Да они уж сговорились, Балдо...

— Не беда — сейчас мы его обставим...

Одним прыжком Антонио Балдуино приблизился к мулатке и дал ей с размаху такого тумака, что та упала.

— Ах ты, сука... Я надрываюсь, вкалываю, а она тут с кобелем снюхалась... Тварь бесстыжая, ну погоди, ты у меня еще получишь...

И он повернулся к мулату. Но прежде чем Антонио заговорил с ним, тот сказал:

— Так она твоя сожительница? Я ведь не знал...

— Сожительница? Она моя жена, нас с ней священник венчал, слышишь, священник...

Говоря это, Антонио все ближе подступал к парню.

— Да я же не знал... Ты не злись... Она мне ничего не сказала...

И парень поспешил исчезнуть в первом же проулке. Антонио хохотал до упаду. Жоакин, не принимавший в этой сцене никакого участия,— двое на одного было бы не по правилам,— подошел к приятелю:

— А он и вправду поверил...

Теперь они вдвоем заливались веселым смехом, пробуждая спящий город. Вдруг они услышали еще чей-то смех. Это смеялась мулатка, поднимаясь с земли. Беззубая, неказистая, она вряд ли стоила затраченных ради нее усилий. Но никакой другой не предвиделось, и потому пришлось вести на пляж беззубую. Первый с ней пошел Антонио Балдуино, потом Жоакин.

— Зубов у нее нет, но вообще-то она не хуже других.— Жоакин был доволен.

— Да нет, зря я спугнул мулатика,— отозвался Балдуино.

Он растянулся на песке, взял гитару и принялся что-то наигрывать. Женщина, оправив на себе платье, подошла к ним и, прислушавшись к мелодии, стала напевать ее, сначала тихонько, а потом в полный голос. Голос у нее оказался красивый, редкий по звучанию, низкий, как у мужчины. Он заполнил собой всю гавань, разбудил лодочников и матросов на судах, и над морем занялся новый день.

\* \* \*

Едва рассвело, в жалком домишке на Ладейра-да-Моптанья, где в окне сушились пеленки, женщина разбудила мужа. Завод, где он работал, был далеко, и вставать ему приходилось рано.

Он ворчал, показывая на ребенка:

— Из-за этого пискуна я всю ночь глаз не сомкнул... Спать хочу до смерти.

Плеснул водой в лицо, взглянул на занявшееся утро, выпил жидкий кофе.

— Хлеба нет, все деньги ушли на молоко для малыша,— сказала жена.

Муж покорно промолчал, поцеловал ребенка, потрепал по плечу жену, закурил на дорожку:

— Пришли мне в обед что-нибудь поесть...

Спускаясь в голубой дымке раннего утра по Ладейра-да-Моптанья, мужчина столкнулся с Антонио Балдуино и Жоакином — за ними плелась беззубая. Балдуино закричал:

— Жезуино, ты ли это?

Да, это был Жезуино, который когда-то был такой же пиций мальчишка, как и они все. Его трудно было узнать — так он исхудал.

Жоакин засмеялся:

— Экий ты скелет, дружище...

— У меня сынок родился, Балдо. Я хочу, чтоб ты был крестным отцом. Я тебя познакомлю с моей хозяйкой...

И он пошел дальше, на завод, который находился в Итажипе. Он должен был добираться туда пешком, чтобы сберечь деньги на молоко для ребенка. А его жена тем временем развешивала в окне пеленки, такая же худая и бледная, как и ее муж. Для нее уже не осталось ни хлеба, ни кофе.

## БОРЕЦ

Дом Жубиабы был небольшой, но красивый. Стоял он в самом центре холма Капа-Негро, перед домом — большая площадка: террейро. Большую часть дома занимал зал: в зале — стол с двумя скамейками по бокам — для трапез Жубиабы и его посетителей, и возле самой двери, ведущей в спальню, — кресло-качалка. На скамьях у стола неторопливо вели разговор посетители — негры и негритянки. Было еще двое испанцев и один араб. По стенам развешаны бесчисленные портреты в рамках из белых и розовых ракушек — родственники и друзья Жубиабы. В нише братски объединены языческая статуя и изображение Христа Спасителя. Христос был изображен спасающим судно от кораблекрушения. Однако языческая статуя была намного выразительнее: прекрасная телом негритянка одной рукой поддерживала свои крепкие выточенные груди, щедрым жестом даря всем свою красоту. Это была Янсан — богиня вод, белые окрестили ее Святой Барбарой.

Жубиаба вышел из соседней комнаты в льняной рубахе, вышитой на груди. Все его одеяние состояло из этой длинной, до пят, рубахи. Один из сидящих за столом негров поднялся ему навстречу и помог сесть.

Негры подходили и прикладывались к руке макумбейро. Испанцы и араб — тоже. Один из испанцев с распухшей подвязанной щекой, приблизившись к Жубиабе, стал жаловаться:

— Отец Жубиаба! Что мне делать с этим проклятым зубом, черт бы его побрал! Ни работать, ни жить он мне не дает, дьявол его заberi! Я уж уйму денег переплатил зубному врачу — и ничего! Ума не приложу, что мне с ним делать!

Он снял повязку: опухоль была чудовищной. Жубиаба назначил лечение:

— Прикладывай настой из мальвы и при этом читай молитву:

Святой Никодим, ты мне зуб исцели!  
Никодим, ты мне зуб исцели!  
ты мне зуб исцели!  
зуб исцели!  
исцели!

И добавил:

— Молитву надо читать на пляже. Напиши ее на песке и каждый раз зачеркивай по одному слову, понятно? А потом иди домой и прикладывай настой из мальвы. Но без молитвы он не поможет...

Испанец оставил пять мильрейсов и отправился лечиться указанным средством.

Потом подошла очередь негра, решившего прибегнуть к колдовству. Он излагал свою просьбу шепотом, шепча Жубиабе прямо в ухо. Макумбейро поднялся со своего места и, поддерживаемый негром, прошел в соседнюю комнату. Через несколько минут они вернулись, а на следующий день к дверям дома, где жил Энрике Падейро, было подложено колдовское снадобье неслыханной силы: мука, перемешанная с пальмовым маслом, четыре мильрейса серебряными монетами по десять тостанов, две старые медные монеты по двадцать рейсов и полудохлый птенец урубубу. После чего Энрике Падейро заболел какой-то непонятной болезнью и в скором времени умер. Одна из негритянок также просила пособить ей колдовством, но она не таилась, говорила вслух и не уходила с Жубиабой в другую комнату.

— Эта бесстыжая Марта отбила у меня мужа. Я хочу, чтобы он вернулся домой.— Негритянка вся кипела.— У меня дети, а у нее нет детей.

— Ты добудь от нее несколько волосков и принеси мне, тогда я тебе помогу.

Все пришедшие за помощью по очереди обращались к Жубиабе. Некоторые молились, держа в руках ветки крес-

са. А наутро на улицах города появлялись разные подозрительные предметы: прохожие со страхом старались их обойти подальше. К Жубиаве навевывались и клиенты побогаче: и образованные с кольцом, и настоящие богачи, приезжавшие в шикарных машинах.

\* \* \*

Когда Антонио Балдуино вошел в зал, где Жубиаву принимал посетителей, тот беседовал с каким-то солдатом. Солдат пытался говорить тихо, но волнение заставляло его то и дело повышать голос.

— Я вроде ей больше не по душе... Она и не слышит, что я говорю. Верно, она в кого-нибудь другого влюбилась... а я ее так люблю, отец, я хочу, чтоб она была со мной, я прямо с ума по ней схожу...

В голосе солдата слышались слезы. Жубиаву что-то у него спросил, и солдат ответил:

— Мария дос Рейс.

Антонио Балдуино вздрогнул, потом усмехнулся. И стал прислушиваться к разговору. Но Жубиаву уже прощалься с солдатом, говоря ему:

— Ты принеси мне волосок из ее подмышки и свои старые брюки. Увидишь, я так сделаю, что никуда она от тебя не денется. Будет ходить за тобой, как собачонка.

Солдат вышел с опущенной головой, ни на кого не глядя, изо всех сил стараясь не привлекать к себе внимания.

Антонио Балдуино подошел к Жубиаве и сел возле него на земляном полу.

— Что, он тоже по ней сохнет?

— А ты что, ее знаешь, Балдо?

— Эта та, которую Ошала выбрал на празднике.

— Солдат ее любит, он просил меня ему помочь, так что берегись, Балдо...

— Да не боюсь я его....

— Он ее любит.

— Ну и пусть любит...

Антонио сидел и ковырял пол щепкой. Ему еще не было восемнадцати, но на вид он казался двадцатипятилетним. Он был крепок и строен, словно молодое дерево, свободен, как зверь на воле, и никто во всем городе не смеялся звонче его.

Он дал отставку Жоане, ни разу больше не выдал беззубую мулатку с мужским голосом, которая пела его самбы, и не встречался с каброшами на пляже.

Сопровождаемый Толстяком, он кружил возле дома Марии дос Рейс. Он сочинил для нее самбу, и в ней были такие слова:

Тоскую о тебе, Мария,  
я ночью и при свете дня...  
Я был бродягою в Баие —  
теперь терзаешь ты меня...

Эту самбу он не согласился продать. Он сам спел ее на празднике, где Мария тоже была, и, когда он пел, она смотрела на него не отрываясь. Солдат мучился ревнивыми подозрениями: ему так и не удалось выпросить у невесты волосок из-под мышки для Жубиобы. Мария отделялась улыбками: ей было жаль солдата. Она знала, что он ее любит и ради нее готов на все. Она вспоминала о письме, написанном им ее крестной, доне Бранке Коста, в котором он просил руки Марии. Мария хранила это письмо дома на дне чемодана. Письмо гласило:

*«Высокачтимая сеньора дона Бранка.*

*Премите мои сирдечные приветы. Севодня я как никада даселе перенеся в тот рай куда вликут меня мои мечты и рукавадимый ими я должен чистасирдечно признаца Вашей Миласти што я люблю чистой и светой любовью Вашу Марию каторую почетаю безмерно.*

*Любовь каторая никагда не погаснит скокобы не прашло времени. Вы Вашей добротой можете удвоить навек и сделать залогом нашево счастья. Рукавадимый сим заветным желаньем я пользуюсь счастливым случаем просить руки Вашей благародной и очароватильной Марии.*

*Владеть этим даром Вашево благасклоново сердца — для меня самое великое на свете счастье и я ни пажалею сил моих штобы даказать Вашей Миласти а также всему Вашему высокоачтимому семейству што я достоен этово счастья.*

*Смея надеяца што Ваша Миласть ни откажит в моей прозбе я пребываю в ажданнии благоприятново ответа. Премите увирения в савершеннейшем пачтении Глубока-уважаимая Сеньора.*

*Оворио, солдат 19 полка».*



Крестная и слышать не хотела про солдата, но Мария настояла на помолвке, пригрозив, что иначе уйдет из дома. Свадьба была назначена на август, — сразу как только жених получит капральские нашивки, уже обещанные ему капитаном. Но тут на макумбе в доме Жубиабы Мария дос Рейс познакомилась с негром Антонио Балдуино, бродягой и сочинителем самб. Он не посылал ей писем и не говорил, что хочет на ней жениться.

На вечеринке у Рибейриньо, когда все направились в комнату, где было приготовлено угощение, Антонио сунул Марии карточку, где говорилось:

Чтобы ответить «да»,  
нужно загнуть этот уголок

Чтобы ответить «нет»,  
нужно загнуть этот уголок

**МОЯ ДУША ЖАЖДЕТ «ДА»**

и будет счастлива, если сеньорита примет  
уверения в моей любви.

---

Если вы не хотите лишить надежды, то  
верните карточку как она есть.

Мария спрятала карточку на груди и убежала в комнату жены Рибейриньо, где мужчины оставили свои шляпы, а Антонио Балдуино — гитару. Кандида вошла вслед за ней и увидела карточку:

— От кого это?

— Угадай...

— Ну откуда я знаю... Погоди, сейчас скажу... — Она задумалась. — Нет, не знаю.

— От Антонио Балдуино...

— Ха! От этого проходимца... Он же грязный тип... Ни одной юбки не пропускает... Берегись, Мария...

— Чего мне бояться?

— А как же Озорио?

Тут только Мария вспомнила про своего жениха. Пожалела его и вместо того, чтобы загнуть уголок, означавший «да», она возвратила Антонио Балдуино карточку в прежнем виде. Но для него это было все равно, как если бы она сказала «да».

Теперь Антонио Балдуино приходил к дверям Мариного дома в те дни, когда там не появлялся солдат. Солдат появлялся по четвергам, субботам и воскресеньям. Весь остаток недели принадлежал Антонио Балдуино, чьи руки уже не раз ощущали сквозь платье теплоту и гибкость ее тела. В один из вторников Мария с подругами отправилась на городскую ярмарку, и на площади им встретился Антонио Балдуино. На нем были красные ботинки и красная рубашка, во рту — дешевая сигара. Остановились поболтать. В одной из палаток Антонио купил для Марии билет с предсказанием судьбы. Выпал сорок первый номер. Хозяин палатки, тучный испанец, объявил:

— Этот номер выиграл коробку рисовой пудры.

К пудре был приложен листочек с предсказанием судьбы:

Немало слез пролить придется  
тебе из-за любви своей.  
Любовь печалью обернется —  
погубит он тебя, злодей...

Антонио засмеялся, а Мария встревожилась:

— А вдруг нас увидит Озорио?

Не успела она договорить, как навстречу им и вправду Озорио, в солдатской форме. Он подошел к Марии:

— Я давно уж догадывался. Да все не хотел поверить. Никак я не думал, что ты со мной так поступишь, Мария...

Его голос звучал тоскливо, как у псаломщика. Мария дос Рейс закрыла лицо руками. Ее подруги встревоженно уговаривали солдата:

— Сеу Озорио, не надо, сеу Озорио...

— Чего не надо, давай... — пожал плечами Балдуино.

Солдат нацелился кулаком в лицо Антонио, но тот увернулся и ударил Озорио ногой по коленкам. Солдат упал, но сразу вскочил и обнажил саблю. Антонио Балдуино выхватил из-за пояса нож:

— Лучше не подходи!

— Я тебя, кобеля, не боюсь!

Мария дос Рейс кричала:

— Балдо, ради бога, Балдо!

Подруги повторяли:

— Сеу Озорио... сеу Озорио...

— Плевать я хотел на твою форму.— И Антонио Балдуино вырвал у солдата саблю. Лицо Озорио было залито кровью — Антонио задел солдата ножом.

Обезоружив его, негр ждал, что будет дальше. На крики уже сбегался народ, появились полицейские и солдаты. Озорио бросился на Балдуино и... очутился на земле, отброшенный тяжелым кулаком негра. Какой-то гринго, следивший за поединком, потянул Антонио Балдуино за рукав:

— Эй, парень, вали отсюда, видишь, сколько солдат понабежало... Удар был что надо. Мы еще с тобой потолкуем...

Негр поднял нож и скрылся в доме Марии дос Рейс. И вовремя: к месту драки со всех сторон спешили солдаты. Увидев, что товарищ их ранен, они заработали кулаками, и началось всеобщее побоище.

Мария дос Рейс провела Антонио Балдуино в свою комнату, стараясь не разбудить крестную. И когда на рассвете негр покинул их дом, тело Марии, гибкое и горячее, уже не было девственным. Даже Опала, самый великий из богов, не мог сравниться в любви с негром Антонио Балдуино.

\* \* \*

Несколько дней спустя в «Фонаре утопленников» Антонио Балдуино встретил того гринго, который посоветовал ему бежать после драки с солдатом. Антонио пришел в «Фонарь» с Толстяком и вдруг услышал: «Эй, парень!» — и увидел своего знакомого.

— А я тебя уже давно разыскиваю. С того самого дня. Весь город обегал. Ты где скрывался?

Он принес стулья, угостил парней сигаретами. Они сели. Антонио благодарил своего спасителя:

— Не окажись вы там в тот день, сеньор, мне бы от солдат здорово досталось...

— Удар был что надо... Отменный удар...

Толстяк, не видевший поединка Антонио с солдатом, заинтересовался:

— Какой удар?

— Да тот, которым твой приятель сбил с ног этого солдата... Клянусь мадонной, великолепный был удар...

Он заказал пива на всех.

— Ты занимался боксом?

— Нет. Только капоэйрой.

— Если бы ты захотел, ты мог бы стать чемпионом...

— Чемпионом?

— Да, клянусь мадонной... Такой удар... Сокрушительный удар.

Гринго не отрывал глаз от огромных кулаков негра. Он щупал его плечи и бицепсы, повторяя:

— Чемпион... чемпион...

В его бормотанье слышалась тоска по лучшим временам.

— Стоит только захотеть...

Антонио Балдуино хотел.

— Но как?

— Потом ты смог бы выступить в Рио, а то и в Америке...

Гринго влил в себя еще стакан пива.

— Я был когда-то тренером, давно. Среди чемпионов мира есть мои ученики. Но ни один из них не выдержал бы такого удара. Красиво ты его уложил...

Когда они вышли из «Фонаря утопленников», у Антонио уже был подписан контракт с Луиджи, тренером; Толстяка взяли в секунданты. Все трое были слегка навеселе. Назавтра Антонио Балдуино объявил Марии:

— Ну вот, теперь я больше не бродяга... Я буду боксером. Стану чемпионом... Потом поеду в Рио, а потом — в Америку...

— Ты уедешь?

— Я возьму тебя с собой, моя радость...

Даже Ошала, самый великий из богов, не мог с ним сравниться.

\* \* \*

Прошло несколько месяцев, и газеты объявили о первом матче негра Балдо. Луиджи давал интервью, и одна газета даже поместила портрет Антонио Балдуино, где он одной рукой наносил удар, а другой прикрывался. Мария дос Рейс вырезала портрет и приколотла его на стенку.

Противником Антонио был Жентил, торжественно именуемый чемпионом военно-морских сил в тяжелом весе. На самом-то деле он был портовым грузчиком.

На Соборной площади собрались все любители бокса, завсегдатаи «Фонаря утопленников», возглавляемые его владельцем сеу Антонио, обитатели холма Капа-Негро и все друзья Антонио Балдуино. Первым на помост влез судья, сержант, одетый в штатское.

— Драка будет на славу. Просим публику соблюдать порядок и не жалеть аплодисментов.

Появился Толстяк с ведром и бутылкой, а на другом конце помоста, с теми же предметами — какой-то бледнолицый тип. Затем на помост взошел Антонио Балдуино в сопровождении Луиджи. Жители холма, завсегдатаи «Фонаря утопленников», рыбаки и портовые грузчики закричали:

— Антонио Балдуино! Антонио Балдуино!

Судья представил его:

— Балдо, негр.

Затем на помосте появился противник Антонио. Ему тоже похлопали.

— Жентил — абсолютный чемпион, представитель нашего славного флота, — провозгласил судья.

Зрители снова захлопали и закричали. Но те, что были с холма или из «Фонаря утопленников», глядели на противника Антонио, мулата, с презрением.

— Ну, Балдо его отделает...

Антонио Балдуино тоже смотрел на мулата, улыбаясь. Луиджи давал последние наставления:

— Бей что есть силы. Меть в челюсть или в глаз. И как можно сильнее.

Толстяк в волнении молился всем святым, прося победы для Балдо. Но вдруг он вспомнил, что бокс — занятие греховное, и в страхе прервал себя на полуслове.

Прозвучал гонг, и противники двинулись навстречу друг другу. Толпа взревела.

Негр Антонио Балдуино был дисквалифицирован за применение в разгар боя приема капоэйры, и матч был прекращен. Однако Антонио успел продемонстрировать все свои мощные боксерские способности. Публика требовала продолжения и освистала судью, который вынужден был прибегнуть к помощи полиции.

И снова в газетах появился портрет Антонио Балдуино, а в одной из них даже была напечатана история его жизни, и эту газету раскупали нарасхват. Нашлись дошлые репортеры, дознавшиеся, что самбы, якобы сочиненные поэтом Анисио Перейра, на самом деле принадлежат Антонио Балдуино, и городское общество, особенно его литературные круги, было крайне скандализовано этим открытием.

\* \* \*

Под натиском общественного мнения был объявлен матч-реванш. Он собрал неслыханное множество болельщиков, и когда судья объявил: «Балдо, негр!» — то бурными аплодисментами разразились не только жители холма, рыбаки и завсегдатаи «Фонаря утопленников» (сеу Антонио побился об заклад на двадцать тысяч, что победит негр). Все зрители долго не смолкавшими криками приветствовали Антонио Балдуино.

На пятом раунде мулат Жентил перестал быть чемпионом. Он лежал без движения, распростертый на помосте. С Антонио Балдуино пот лил градом, и Толстяк обтирал его полотенцем. Потом все отправились в «Фонарь утопленников» пропивать выигранные сеу Антонио двадцать тысяч.

\* \* \*

Неожиданно уехала Мария дос Рейс. Семья ее крестной состояла из сына и мужа, государственного служащего, которого как раз в это время перевели в Мараньян. И Мария уехала с ними. Антонио Балдуино очень тосковал о ней: она единственная никогда не вызывала в его памяти Линдиналву, бледную и веснушчатую.

В ту ночь он напился и, видя, как пароход увозит его возлюбленную, едва сам не нанялся в матросы, чтобы уплыть следом за ней. Мария взяла с собой портрет Антонио, где он одной рукой наносил удар, а рот и глаза его сияли улыбкой.

\* \* \*

Он победил всех своих противников, и теперь его ждал бой с чемпионом Баии, боксером Висенте, который давно уже не выступал на ринге, поскольку ему не с кем было

драться. Впрочем, когда Висенте увидел Антонио и убедился, что тот одерживает одну победу за другой, он стал усердно тренироваться: негр представлял серьезную угрозу его чемпионскому титулу.

За неделю до их встречи на ринге город заперстрел афишами, на которых были изображены двое в боксерской схватке.

## ВИСЕНТЕ

### АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН БАИИ

## БАЛДО-НЕГР

### ОСПАРИВАЮТ ТИТУЛ ЧЕМПИОНА НА СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ — В ВОСКРЕСЕНЬЕ

Висенте в беседе с газетными репортерами объявил, что он одержит победу на шестом раунде. В ответ на это Антонио Балдуино заверил публику, что на шестом раунде абсолютный чемпион Баии уже убаюкается, лежа на помосте. Взаимные выпады противников еще больше раззадорили публику. Заключались многочисленные пари, и большинство ставило на Балдуино.

Висенте и в самом деле остался лежать на помосте, даже не дотянув до шестого раунда, и Балдо, негр, стал абсолютным чемпионом Баии.

Он предложил Висенте матч-реванш и снова победил. Луиджи прямо чуть не помешался от радости и беспрестанно повторял, что пора ехать в Рио. Не теряя времени, он стал вести переговоры со столичными импрессарио. А чемпион Антонио Балдуино занимался любовью с мулатками на пляже, пил с друзьями в «Фонаре утопленников», ходил на макумбы к Жубиабе, и его звонкий смех, не умолкая, звучал на городских улицах.

\* \* \*

Приезд в Баию чемпиона Рио по боксу поверг баиянцев в невероятное возбуждение. Весь город жил предстоящей встречей двух чемпионов.

Накануне матча Антонио Балдуино сидел с друзьями в «Фонаре утопленников», там его и разыскал импрессарио столичного чемпиона.

— Добрый вечер...

— Добрый вечер...

Антонио Балдуино предложил гостю пива.

— Я хотел бы поговорить с тобой с глазу на глаз.

Толстяк с Жоакином пересели за другой стол.

— Вот какое дело... Клаудио не может потерпеть поражение...

— Не может?

— Да, и вот почему. Он мне должен кучу денег... Если он будет побежден, он больше не сможет выступить на ринге. Не так ли?

— Ну, так.

— А если он победит, он будет драться с другими...

А ты получишь отступное.

— И сколько?

— Я дам сто мильрейсов, если ты дашь себя побить.

А потом ты будешь иметь право на реванш.

Антонио Балдуино поднял было руку, чтобы двинуть этого наглеца хорошенько, но, подумав, опустил ее на стол.

— Вы уже говорили с Луиджи?

— А... Луиджи — старый мошенник. Он ничего не должен знать.

И он заулыбался.

— А потом, когда все разойдутся, вы сможете подражаться по настоящему... Ну, по рукам?

— Деньги при вас?

— Деньги ты получишь после матча.

— Нет. Так не пойдет. Деньги на бочку.

— А если ты потом не дашь себя побить?

— А если я дам себя побить, а вы потом меня надуете?

Антонио Балдуино встал из-за стола. Толстяк и Жоакин следили за ними издали.

— Не будем ссориться, — забормотал импрессарио. — Сядь.

Он посмотрел, как негр опрокидывает очередную порцию кашасы.

— Я тебе верю... Возьми деньги — я тебе их передам под столом...

Антонио Балдуино взял деньги, поглядел — пятьдесят мильрейсов:

— Вы же обещали сто!

— Остальные пятьдесят после...

— Тогда я отказываюсь...

— Но клянусь, у меня больше нет с собой денег...

— А мне нужно сейчас.



Антонио получил остальные пятьдесят и пересел за столик к Толстяку. Едва импрессарио покинул «Фонарь», Антонио захохотал и хохотал, пока у него не заболел живот.

На следующий день после матча, окончившегося позорным поражением чемпиона Рио, его импрессарио ворвался в «Фонарь утопленников» с перекошенным от ярости лицом:

— Ты — гнусный мошенник!

Антонио Балдуино рассмеялся.

— Верни мне мои деньги...

— Украсть у вора — нет позора.

— Я обращаюсь в газеты, в полицию...

— Давай, давай...

— Ты вор, вор...

Антонио одним ударом свалил импрессарио с ног. Посетители «Фонаря», не ожидавшие нового бокса, разразились аплодисментами.

— Подумайте, он хотел меня купить, друзья... Он дал мне сто мильрейсов, чтобы я поддался этому рахитику... Я ему, конечно, пообещал, чтоб в другой раз nepовaдно ему было покупать таких, как я. Я продаюсь только за дружбу... А теперь давайте пропьем его денежки...

«Фонарь утопленников» встретил речь негра одобрительным смехом. Антонио Балдуино вышел из бара и отправился к Зэффе, каброше, — она недавно приехала из Мараньяна и привезла от Марии дос Рейс нежный поцелуй ее возлюбленному (посредница не ограничилась передачей одного поцелуя и продолжала и по сей день передавать их Антонио Балдуино). На деньги импрессарио Антонио купил для Зэффы ожерелье из красного бисера.

Луиджи теперь уже всерьез заговорил о столице.

\* \* \*

Боксерская карьера Антонио Балдуино оборвалась в тот день, когда он узнал, что Линдиналва выходит замуж. В газетах, оповещавших о его встрече с перуанцем Мигезом, Антонио Балдуино прочел объявление о свадьбе «Линдиналвы Перейры, дочери предпринимателя командора Перейры, члена торговой корпорации, с молодым адвокатом Густаво Баррейрасом, славным отпрыском одной из самых известных баиянских фамилий, блестящим поэтом и превосходным оратором».

Антонио Балдуино вышел на ринг пьяный и был нокаутирован на третьем раунде: он не мог драться и даже не защищался от ударов, которыми осыпал его перуанец. Пошли слухи, что негра подкупили. А сам Антонио Балдуино никому не захотел объяснить причину своего поражения. Даже своему тренеру, Луиджи, который в эту ночь рыдал навзрыд, рвал на себе волосы и проклинал всех и вся на свете. Даже Толстяку, смотревшему на него покорным взглядом человека, живущего в постоянном ожидании несчастья. На ринг Антонио Балдуино больше не вернулся.

\* \* \*

Холодной ночью, после своего поражения, Антонио Балдуино не пошел в «Фонарь утопленников». Вдвоем с Толстяком они отправились в бар «Баия» и заняли там столик в глубине зала. Антонио Балдуино молча пил, когда какой-то оборванец подошел к ним и стал кланяться на выпивку.

Балдуино поднял на него глаза:

— Я знаю этого типа. Не помню откуда, но знаю...

Оборванец смотрел на него остекленевшим взглядом, облизывая пересохшие губы:

— Хоть на глоток не пожалей, друг...

В эту минуту Антонио Балдуино увидел на лице оборванца шрам:

— Моя работа...

Он напряг свою память и вдруг хлопнул себя по лбу:

— Послушай, тебя не Озорио зовут?

Толстяк тоже его признал:

— Ну да, это тот самый солдатик...

— Я уже был произведен в сержанты...

Бывший солдат придвинул стул и сел за их столик.

— Я был сержантом,— повторил он, облизывая губы,— хоть на глоток не пожалейте...

Балдуино улыбался, а Толстяк смотрел на солдата с состраданием.

— Потом я встретил девушку, слышите, девушку, красивую... Ух, какую красивую... Мы с ней обручились... И должны были пожениться, как только меня произведут в капралы...

— Но ты же уже был сержантом?

— Все равно.. я не помню... Нет, меня должны были произвести в капитаны. Капитан мне обещал, слышите... Капитан... Еще од-н глоточек? Любезный, принеси-ка еще стаканчик, мой друг платит... Уже была назначена свадьба... И сыграли б мы ее на славу... Моя невеста была такая красивая, такая красивая... Но она мне изменила...

— А этот шрам?

— А это мне один тип... Ну, я ему тоже выпустил кишки наружу... Она была красавица... красавица...

— Это верно...

— Вы ее знаете?

— А то как же... Ты что, меня не признал?

Они пили вместе всю ночь и вышли из бара в обнимку, заливаясь смехом, забыв про Марию дос Рейс и про самих себя — бывшего солдата и бывшего боксера.

Правда, очнувшись на секунду от пьяного забытья, Озорио вдруг вроде припомнил:

— Но ты, какой ты... — И он оттолкнул от себя Антонио Балдуино.

— Но я ведь тоже все потерял...

И они, снова в обнимку, пошли, патаясь, по улице.

— Она была такая нежная...

В пьяном бреду Антонио Балдуино путал черную Марию дос Рейс с белой Линдиналвой.

## ГАВАНЬ

Баркасы застыли на зеркальной воде.

На баркасах с зарифленными парусами спали в темноте лодочники. Обычно они наперебой зазывали совершить прогулку по маленьким гаваням залива, посетить знаменитые прибрежные ярмарки. Но сейчас лодочники спали, и спали их суда с начертанными на бортах красочными названиями: «Крылатый», «Скиталец», «Утренняя звезда», «Отшельник». На рассвете они снова понесутся, подхваченные ветром, распустив паруса, взрезая гладь залива.

Они отправятся за грузом: зеленью, фруктами, кирпичом или черепицей. Обьедут все прибрежные ярмарки. И возвратятся заваленные ароматными ананасами. Самое быстроходное из всех — судно, на борту которого выведено большими буквами: «Скиталец». Его хозяин, Мануэл,

спит на носу баркаса. Мануэл — старый мулат, из тех, что рождаются и умирают на воде.

Антонио Балдуино всех здесь знает. Еще мальчишкой любил он прийти сюда и растянуться на песчаном пляже: ноги — в воде, под головой — подушка из песка. В эти ночные часы — вода теплая, ласковая. Иногда он молча удил, расплываясь в улыбке, когда что-нибудь попадалось. Но чаще, почти всегда, он просто смотрел на море, на корабли, на спящий мертвым сном город.

Антонио Балдуино хочется уплыть и плавать по незнакомым морям, приставать к незнакомым берегам и любить на незнакомых пляжах незнакомых женщин. Мигез приехал из Перу, и на нем кончилась боксерская карьера Антонио Балдуино.

Корабль гудит, огибая мол. Весь в огнях, он выходит в ночное море. Шведский корабль. Еще вчера шведские моряки бродили по городу, сидели в барах, обнимались с мулатками. И вот они уже в ночном море, а назавтра, глядишь, где-то в другом, далеком порту с белыми или желтыми женщинами. Когда-нибудь Антонио Балдуино тоже наймется на корабль и объедет весь мир. Он всегда мечтает об этом. И во сне, и когда, растянувшись на песке, смотрит на баркасы и звезды.

\* \* \*

Город простирал к небу башни церквей. Из гавани Антонио Балдуино видны были склоны холмов и огромные старые здания. Сверкали звезды, и белые облака бежали по небу, словно стада барашков. Еще эти облака напоминали ему белозубую улыбку Жоаны. Впрочем, Антонио всем каброшам, которых он обхаживал, говорил: — Твои зубки похожи на эти белые облачка...

Но теперь, когда его побили, когда он побежден, ни одна из каброшей и глядеть-то на него не захочет. Они все думают, что его купили.

Его взгляд заблудился в темных громадах городских зданий. Над ним сияла звезда — прямо над самой головой. Антонио не знал, что это за звезда — такая большая, красивая, — она мерцала, вся искрясь. Никогда раньше он ее не видел. Взошла луна, круглая и огромная, и причудливый ее свет обрушился на город, изменив его до неузнаваемости. И Антонио Балдуино почудилось, что он — моряк и его судно стоит в каком-то чужом порту, одном

из тех далеких портов, которые он каждую ночь видит во сне. Каждую ночь Антонио Балдуино видит во сне, как он сходит на берег в чужих далеких портах... Облака бегут по небу. Белые барашки. Город пустынен. Первый раз он так замечтался. Даже Батя вроде не Баия, и он сам не Антонио Балдуино, Балдо, боксер, плясавший на макумбах Жубиабы и побежденный перуанцем Мигезом. Что это за город и кто такой — он сам? Куда ушли все те, кого он знал? Он посмотрел в сторону причала и увидел готовый к отплытию корабль. Ну да, уже время, его ждут на борту.

Антонио видит себя в матросской форме и кричит:

— Я сейчас поднимусь на борт.

Оттуда кто-то отзывается:

— А?

Но Антонио уже не слышит, он снова не отрывает глаз от города, залитого мертвенно-белым лунным светом. Он вспоминает себя на ринге.

Внезапно сверху, с холма, доносятся звуки тамтама.

Темная туча набежала на луну. Антонио ощущает себя: матросская форма исчезла, он в белых штанах и красной полосатой рубашке.

Звуки тамтамов все слышнее. В них — жалоба, тоскливый вопль, мольба. И снова Баия становится Баией, ничем другим, только Баией, где все такое знакомое и родное: улицы, холмы, переулки. Он снова вернулся в Баию из далекого порта с островов, затерявшихся в беспредельном пространстве океана. Он вернулся в Баию, где его победил перуанец Мигез. Он больше не смотрел ни на звезды, ни на тучи. И не различал больше на небе белых барашков. Куда уплыли баркасы, скрывшиеся из глаз Антонио Балдуино?

Теперь он слушал.

Со всех холмов неслись звуки барабанов, звуки, по ту сторону океана звучавшие воинственно, — там они призывали к сражению или созывали на охоту. Здесь они звучали мольбой, в них слышались голоса рабов, просящих о помощи, и перед глазами возникали легионы черных невольников с простертыми к небу руками. Кто-то из них, кому удалось дожить до седых волос, может и сейчас показать рубцы на спине от ударов плетью. Теперь только на макумбах и кандомбле звучат барабаны.

Они звучат как призыв ко всем неграм: и к неграм в Африке, там, где барабаны все еще зовут к сражению

или созывают на охоту; и к неграм, все еще стонущим под плетью белых. Звуки барабанов неслись с холма. Тоскующие, тревожные, экзотические, воинственные, безысходные — они обрушились на Антонио Балдуино, забывшегося на песчаном пляже. Они ворвались в него и разбудили в его душе дремавшую в ней ненависть.

Антонио Балдуино в отчаянии катался по песку. Тоска, какой он ни разу еще не испытывал, душила его. Все в нем клокотало от ненависти. Ему мерещились вереницы черных рабов, он вспоминал рубцы на спине старика, встреченного им в доме Жубиабы. Он видел мозолистые руки, обрабатывающие землю белых, и видел негритянок, рожающих сыновей-рабов от своего белого господина. Он слышал, как звучат барабаны, призывая к бою уже не рабов, а повстанцев Зумби из Палмареса. Он слышал, как Жубиаба, суровый и мудрый, рассказывает про восставших негров. Он видит самого себя, негра Антонио Балдуино, как он дерется на ринге с белым... Но теперь все кончено для него, он — побежденный.

Туча прошла, и вновь луна залила все беспокойно-ярким светом, а звуки барабанов постепенно замирали в лабиринте темных переулков и вымощенных булыжником улиц.

Они еще не успели замереть, когда в головокружительном лунном сиянии Антонио увидел перед собой веснушчатое и бледное лицо Линдиналвы.

Она улыбалась. И от ее улыбки умолк барабан и растопилась ненависть.

Антонио Балдуино провел рукой по глазам, прогоняя призрак, но он снова появился перед ним с другой стороны. Антонио ясно различал огни баркасов и Мануэла, гуляющего по причалу. Но среди огней кружилась в танце Линдиналва. Она торжествовала: ведь он был побежден.

Антонио закрыл глаза, и, когда он снова открыл их, он увидел лишь печальный тусклый свет «Фонаря утопленников».

## ПЕЧАЛЬНАЯ ПЕСНЯ МОРЯ

Огонек «Фонаря утопленников» приглашал зайти посидеть. Антонио Балдуино поднялся с ласкового мягкого песка и большими шагами направился в таверну. Крохотная лампочка едва освещала вывеску, на которой была

изображена красotka с рыбьим хвостом и тугой грудью. Над сиреной была нарисована красной краской звезда. От нее на сирену исходило сияние, придававшее грубо намалеванной красавице нечто таинственное и трогательное. Сирена тащила из воды утопленника. А внизу было написано:

«ФОНАРЬ УТОПЛЕННИКОВ»

Из таверны донесся возглас:

— Это ты, Балдо?

— Я самый, Жоакин!

За грязным столиком сидели Толстяк и Жоакин, и Жоакин окликнул Антонио, приложив ладонь козырьком к глазам, чтобы лучше разглядеть вошедшего в колеблющемся свете висячей лампочки.

— Входи. Здесь Жубиаба.

В маленьком, едва освещенном зале пять или шесть столиков, за ними сидят лодочники, хозяева баркасов, матросы. Толстые стаканы наполнены кашасой. Слепой играет на гитаре, но никто его не слушает. За одним из столиков сидят белокожие, белокурые матросы-немцы с грузового судна, стоящего на погрузке в порту. Они пьют пиво и, захмелев, затягивают песню. Две или три женщины, спустившиеся этой ночью с Ладейра-до-Табоан в «Фонарь утопленников», сидят с немцами. Женщины громко смеются, но вид у них растерянный: они не понимают, о чем поют немцы. А те обнимают женщин, тискают их. Под их столом груда пустых пивных бутылок. Проходя мимо, Антонио Балдуино сплевывает. Один из матросов хватается за тяжелый стакан, Антонио замахивается... В углу стонет гитара слепого, ее никто не слушает. Но Антонио вспоминает, что здесь Жубиаба, и проходит мимо немца к столику, где сидят Толстяк и Жоакин.

— А где Жубиаба?

— А он у сеу Антонио, лечит его сожительницу.

Сеу Антонио, старый португалец, жил с рябой мулаткой. Бледный мальчишка бегом обслуживал посетителей. Он поздоровался с Антонио Балдуино:

— Добрый вечер, сеу Балдо.

— Принеси-ка вина...

Толстяк прислушивается к пению немцев.

— Хорошо поют...

— А ты что, понимаешь, о чем они поют?

— Нет, но за сердце щиплет.

— За сердце? — Жоакин недоумеваает.

Но Антонио Балдуино понимает, о чем говорит Толстяк, и ему уже не хочется драться с немцами. Лучше петь вместе с ними и смеяться вместе с их женщинами. Он выстукивает ритм песни на столе и насвистывает ее мелодию. Матросы все больше пьянеют, и один из них уже не поет. Он роняет голову на стол. Слепой играет на гитаре в углу зала. Никто его не слушает, разве только бледный мальчик-официант. Бегом разнося стаканы с кашасой, он бросает на гитариста восхищенные взгляды. И улыбается.

Откуда-то издалека, из темноты океана доносится поющий голос. Ночь звездная, но все равно невозможно разглядеть, кто поет и откуда слышна песня: то ли поет кто-то из лодочников, то ли она доносится из старого форта. Печальная мелодия словно выходит из моря. Сильный, протяжный голос.

Антонио Балдуино смотрит вдаль. Кругом все черно. Светятся только звезды да трубка Мануэла. Матросы больше не поют, женщины не смеются, гитара слепого перестала жаловаться, и больше не улыбается бледный мальчик-официант.

Жубиаба возвращается в зал и садится за столик, сеу Антонио занимает свое место за стойкой. Ветер, ласково обвевающий захмелевших посетителей, приносит с собой тоску протяжного голоса. Откуда доносится эта песня? Море так безбрежно и полно тайн, и кто знает, откуда слышится этот старый, грустный вальс... Ясно только, что поет негр. Только негры могут петь так... Но это поет не Мануэл. Мануэл молчит. Он, верно, думает о том, как завтра его баркас будет грузить сапоты<sup>1</sup> в Итапарике? Нет. Мануэл слушает песню. Он смотрит в ту сторону, откуда, как ему кажется, доносится мелодия, наполненная тайнами моря. Толстяк глядит на всех отсутствующими глазами. Этот вальс берedit ему душу. Да и все повернулись к морю, смотрят: откуда льется этот тоскующий голос.

О боже, укрой  
боль мою тьмой...

---

<sup>1</sup> Сапоты — бразильский фрукт.



Быть может, это в старой крепости поет какой-нибудь старый солдат? Или деревенский парень везет в своей лодке апельсины на ярмарку и поет? Или лодочник в Порто-да-Ленья? Или на рыболовном судне поет негр-матрос, оставивший любимую в далеком порту?

О боже, укрой  
боль мою тьмой..  
Любимой моей  
нет больше со мной..

Откуда льется эта печальная песня, несущаяся над лодками, баркасами, молом, гаванью, «Фонарем утопленников», над всем заливом и замирающая на городских холмах?

Толстяк видит: Антонио Балдуино весь захвачен этой песней. Не иначе вспоминает Линдиналву и уверен, что где-то негр поет только для него, для Антонио Балдуино, который совсем один на свете... Но негр поет для всех, а не для одного Антонио Балдуино. Он поет и для Толстяка, и для Мануэла, и для немецких матросов, для всех негров-лодочников, крестьян и рыбаков, и для белых матросов на шведском корабле, и для всего океана.

Сверкают, переливаясь, городские огни. Уже еле слышно долетают с холмов отзвуки макумб и кандомбле. Но блеск звезд ярче, и кажется, что звезды гораздо ближе, чем фонари на городских улицах. Антонио Балдуино видит, как попыхивает своей трубкой Мануэл. Голос негра словно проходит сквозь Мануэла, потом, внезапно удаляясь, бежит назад, в море. И его печаль обволакивает все вокруг.

От боли умру я,  
тоскуя,  
тоскуя...

Все молчат. Немецкие матросы слушают вместе со всеми. Жубиаба сидит, положив руки на стол. Толстяк растроган, а Антонио Балдуино видит перед собой Линдиналву — белокурую, бледную, веснушчатую, он видит ее в воде, на звездном небе, в облаках, в стакане с кашасой, в глазах чахоточного мальчишки-официанта.

Желтая луна снова повисает прямо над «Фонарем утопленников». С ветром долетает до «Фонаря» глухо звучащий голос. Толстяк грустит, Мануэл поныхивает трубкой. Голос на миг врывается в таверну и снова уходит в море.

Свой взор на меня,  
господь, обрати,  
любовью святой  
меня защити...

Печальная мелодия замирает вдали. Слепой провожает ее невидящим взглядом.

Жубибаба что-то бормочет, но его никто не слышит. Жоакин просит:

— Дай закурить...

И курит, сильно затягиваясь. Матросы пьют пиво. Женщины не отрывают глаз от моря. Жубибаба вытягивает под столом худые ноги и смотрит в темноту. Лунный свет серебрит море и небо. И снова возвращается старый вальс. И голос негра — все ближе и ближе:

Любимой моей  
нет больше со мной...

Голос все приближается. Трубка Мануэла вспыхивает подобно звезде. Какой-то баркас виден далеко в море. Он плывет медленно, словно прислушиваясь к печальной мелодии, доносящей до него ветром.

Антонио Балдуино хотел было сказать: «В добрый путь, друзья...» — но промолчал, заслушавшись.

Голос снова удаляется, увлекаемый ветром, и возвращается, еле слышный:

...нет больше со мной...

Луна заглядывает в таверну. Немецкие матросы слушают песню негра, и им кажется, что он поет на их родном языке. Женщины повторяют про себя слова песни и больше не смеются.

Жоакин не выдерживает:

— Завел одно и то же...

Толстяк пугается:

— Что ты говоришь?

Антонио Балдуино обращается к Жубибабе:

— Отец Жубибаба, мне сегодня такой чудной сон приснился там на пляже...

— И что же тебе приснилось?

За столиком таверны Жубибаба выглядит совсем хилым и маленьким. Толстяк старается угадать, сколько ему может быть лет. Сто или больше? Рядом с Жубиабой Антонио Балдуино — великан. Он вспоминает то, что видел не во сне, а наяву — в доме Жубибабы:

— Я видел того старика негра, у которого вся спина в рубцах...

Печальный вальс заполняет всю таверну:

От боли умру я,  
тоскуя,  
тоскуя...

Антонио Балдуино продолжает:

— ... от боли, да, отец, от боли...— стонал этот негр, избитый плетью. Я видел его сегодня во сне... Он был такой страшный. Мне захотелось избить этих белых матросов...

Толстяк по привычке пугается:

— Зачем?

— А зачем они били этого негра, зачем?

Жубибаба поднимается со своего стула. Его морщинистое лицо гневно. Все смотрят на него:

— Это было давно, Балдо...

— Что было давно?

— То, про что я сейчас расскажу... Эта история не про отцов ваших, а про дедов... На плантации одного богатого белого сеньора в Корта-Мао...

Печальная мелодия старого вальса, льющаяся неизвестно откуда, заглушает его слова:

О боже, укрой  
боль мою тьмой...

Жубибаба продолжает свой рассказ:

— На плантации у него работало негров тьма-тьмущая. Их всех привезли сюда на корабле, и здешнего языка они не знали. Давно это было... В Корта-Мао...

— Ну и что было дальше?

— Этот сеньор — звали его Леал — не держал надсмотрщиков. Зато у него была пара горилл — самец и самка — на длинной цепи. Самца сеньор называл Катито, а самку — Катита. Вот самец-то и был надсмотрщиком... Приучен был ходить всегда с плетью...

Что случилось с печальной мелодией?

Она больше не наполняет собой сердца негров, оставив их наедине с тем, что рассказывает Жубибаба. Куда исчез голос? Только гитара слепого опять жалуется в углу. Бледный мальчик-официант обходит посетителей с тарелкой, собирая плату для гитариста — своего отца. Какой-то матрос упрямится:

— Не стану я ничего давать. Он и играть-то не умеет...

Но все смотрят на него такими глазами, что он поспешно кидает монету в протянутую мальчигом тарелку:

— Я пошутил, дорогой...

Жубиаба продолжает:

— Катита охотилась за курами, лазала по домам. А самец с плетью садился на пень и наблюдал за работой негров. Стоило негру хоть на миг бросить работу, самец вытягивал его плетью. Часто он пускал в ход плетть без всякого повода. Однажды он так забил одного негра до смерти...

Висячая лампа в баре раскачивается от ветра. Слепой наигрывает на гитаре плясовые ритмы.

— Сеньору Леалу нравилось еще спускать Катито на негрityнок, а тот их душил в своих объятиях... Однажды сеньор надумал спарить Катито с молодой негрityнкой — ее привезли на плантацию вместе с мужем, молодым и сильным негром. Хозяин привел с собой гостей...

Толстяк весь дрожит. Издалека снова слышится печальная мелодия... Гитара умолкла, слепой подсчитывает серебряные монеты.

— Но едва Катито прыгнул на негрityнку, муж ее, негр, прыгнул на самца...

Жубиаба смотрит в ночную даль. На небе желтеет луна.

— Сеньор Леал выстрелил в негра, но тот успел дважды всадить нож в обезьяну... Жену свою он не спас... Гости веселились, но одна из приглашенных — белая барышня — той же ночью сошла с ума...

Печальный старый вальс снова звучит где-то совсем близко.

— В ту же ночь брат убитого негра зарезал сеньора Леала. Брата этого я знал. Он мне и рассказал всю историю...

Толстяк во все глаза глядит на Жубиабу. Трубка Мануэла вспыхивает подобно звезде. В темном море чей-то голос поет:

Любимой моей  
нет больше со мной...

Голос поет: высокий, звучный, тоскующий...

Жубиаба повторяет:

— Я знал брата этого негра...

Антонио Балдуино держит нож у сердца.

Жубибаба говорил:

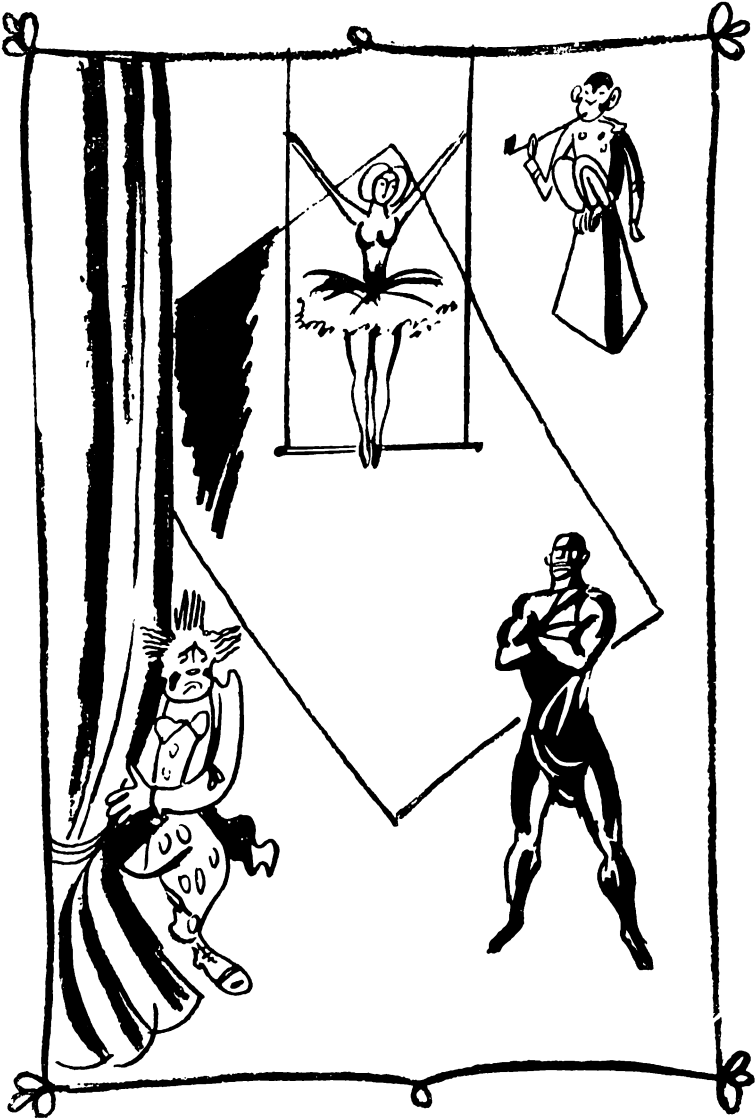
— Ожу анун фотиикалиоку...

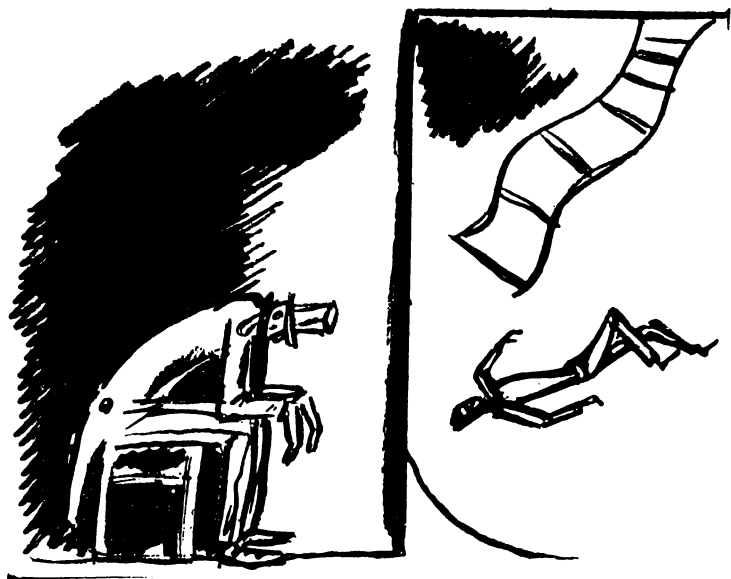
Да, Антонио Балдуино знал теперь, что глаз милосердия выколот и что остался только злой глаз. В ту таинственную, полную музыки ночь в порту он хотел было рассмеяться — громким и беспечным смехом, который был для него словно клич свободы... И не смог. Он потерял себя, пал духом. Он больше не царил в этом городе, он перестал быть боксером Балдо. Теперь город давил его, как веревка на шее самоубийцы. Все поверили, что он был подкуплен. И море, бьющееся о берег, уходящие в океан ночные, в огнях, корабли и баркасы с мигающим фонарем и звуками гитары — все звучало для него неодолимым призывом. Там лежала дорога домой. По ней ушли Вириато Карлик, старый Салустиано и еще другие тоже. На груди у Антонио Балдуино было вытатуировано сердце, огромная буква «Л» и корабль.

Захватив Толстяка, он ушел на баркасе в море. Ушел искать на прибрежных ярмарках, в маленьких городках, на суше и на воде свой потерянный смех, свою дорогу домой.

# БЕГСТВО







## БАРКАС

«Скиталец» взрезает темную воду, колыша отражение звезд. Он целиком выкрашен в красный цвет, а его желтый фонарь соперничает с луной, только что вылезшей из-за тучи. С другого баркаса, пересекающего бухту, окликают:

— Эй, кто там, на баркасе?

— Счастливого плавания, счастливого плавания!

Просторна морская дорога. Плещет за бортом вода. На свет фонаря выскакивает из воды какая-то рыба. Мануэл стоит у руля. Толстяк ходит по палубе. Антонио Балдуино



лежа любитесь ночным морем. Из трюма пахнет спелыми ананасами.

Проносится легкий ветерок, и новая яркая звезда загорается на небе. В голове негра Антонио Балдуино вертится новая самба: он сочиняет ее, отбивая ритм ладонями по коленям. Потом он принимается насвистывать — еще немного, и он снова обретет свой потерянный смех... Самба готова: в ней поется о женщине, о бродягах, о вольном, как ветер, негре, о звездах и о просторной морской дороге.

Самба спрашивает:

Куда держу я путь, Мария?

И отвечает:

По звездам глаз твоих на небе,  
по волнам смеха на воде  
ищу я путь к тебе, Мария...

Так поет самба. Она поет еще о том, что негр Антонио Балдуино любит бродяжничать и любит Марию. На его языке бродяга — значит свободный. А Мария — значит самая красивая из мулаток.

Куда мы держим путь? Для рулевого Мануэла, бывшего моряка, все здесь знакомо.

— Вот здесь, — поясняет он, — в море впадает река...

Баркас входит в реку Парагуасу. По берегам старые крепости, полуразвалившиеся здания сахарных заводов — призраки давно растраченных богатств — отбрасывают чудовищно-бесформенные тени...

— Похоже на заколдованную ослицу, — замечает Толстяк.

В шуме воды за бортом слышится теперь нежность моря, принимающего в себя воды реки. А в шуме прибрежных зарослей можно различить голос несчастной девушки, за сожительство со священником превращенной в безголовую ослицу: так и бродит она в этих дремучих зарослях, скрывающих бесчисленные могилы черных рабов.

Баркас мягко скользит по речной податливой глади. Мануэл, стоя у руля, курит трубку. Зорко следит за каменными отмелями. Для него на этом пути нет ничего таинственного. Антонио Балдуино поет Толстяку свою новую самбу, которую тот уже знает наизусть. Толстяку она нравится больше всех прежних — еще бы, ведь в ней говорится о женщине, о бродягах, о звездах. Он просит:

— Ты не продавай свои самбы, Балдо.

Негр смеется. Баркас стремительно скользит по реке.

— Никто за ним не угонится, — говорит Мануэл, гладя руль ласково, словно женщину.

Поднявшийся ветер надувает паруса и приносит прохладу. Из трюма доносится аромат спелых ананасов.

\* \* \*

Давным-давно плавает Мануэл на своем баркасе. Еще мальчонкой Антонио Балдуино познакомился с ним и его «Скитальцем». А задолго до их знакомства Мануэл уже плавал на «Скитальце» по всем портам бухты, развозя по ярмаркам фрукты или доставляя кирпич и черепицу для новостроек.

На вид Мануэлу можно дать лет тридцать, и никто никогда не дал бы ему пятидесяти — а ему уже стукнуло пятьдесят. Весь темно-бронзовый — поди разбери, кто он такой: белый, негр или мулат. Кожу Мануэла покрывает морской загар; Мануэл — настоящий моряк, неразговорчивый, как истые моряки, и уважаемый во всех портах бухты и во всех портовых кабаках. Толстяк спрашивает Мануэла:

— Вам, верно, не раз приходилось спасать утопающих?

Мануэл вынимает изо рта трубку, садится, вытянув ноги.

— Однажды в шторм у входа в бухту перевернулся баркас. А до того на нем ветром фонарь задуло. На море такое творилось — прямо светопреставление...

Толстяк тут же вставляет, что, слава богу, на сей раз шторма можно не опасаться: ночь ясная и тихая.

— Я в ту ночь тоже был в море, однако уцелел. Фонарь мой, правда, тоже погас, и болтался я в крошечной тьме — ни зги было не видно.

Антонио Балдуино улыбается. По душе ему жизнь морского волка. Но Мануэл-то знает все это не по рассказам.

— С того баркаса, должно быть, уже виден был город, но они так и не смогли войти в бухту. Море страшно разбушевалось, знать, повздорило с рекой...

Мануэл мрачнеет:

— Хуже нет, когда море повздорит с рекой... Уж так бушует...

— Ну, а баркас?

Мануэл вроде уже забыл про баркас.

— Да, на баркасе этом семья одна возвращалась домой, в Баию. Они хотели поскорей вернуться и не стали ждать парохода, который отплывал только на следующий день... В газетах так писали.

Он еще раз затягивается:

— Вот и поспешили — прямо на дно морское. Потом тела их выловили, а двоих так и не нашли.

«Скиталец» шел быстро, накренившись на один борт, следуя течению реки, а она извивалась, то разливаясь широким бассейном, то сужаясь в еле проходимый канал.

— Никак я не могу забыть, как вода плюхала о перевернутый баркас: глю-глю... глю-глю...

И Мануэл показал, как делала вода.

— Глю-глю, словно она что-то заглатывала...

— А разве там не было девушки-невесты, которая звала своего жениха? И ангел-хранитель ее спас? — прервал Мануэла Толстяк.

— Они уже все были мертвые, пока мы добрались до баркаса.

— Утопи вместе с ангелом-хранителем, — засмеялся Балдуино.

— У тонущих нет ангела-хранителя... Богиня Вод берет себе всех, кто только ей приглянется...

Толстяк все выдумал: и про девушку-невесту, и про ангела, но тут же стал уверять, что сам читал про это в газетах.

— Да тебя, парень, в то время еще на свете-то не было...

— Значит, это не про тот раз писали... Вы, верно, не знаете...

Но тут внимание Толстяка привлекает какая-то совсем новая звезда — такая огромная и яркая. И он кричит с восторгом первооткрывателя:

— Смотрите, новая звезда, и какая красивая... Это моя, моя... — Толстяк в страхе, как бы кто-нибудь не присвоил себе его находку.

Все смотрят на звезду. Мануэл смеется:

— Это вовсе и не звезда. Это плышет «Крылатый». Он стоял в Итапарике, когда мы шли мимо, брал пассажиров. А теперь он хочет нас обогнать. — Последние слова Мануэла относятся уже к «Скитальцу», и, говоря их, Мануэл нежно поглаживает руль.

Он смотрит на Толстяка и Балдуино:

— «Крылатый» идет полным ходом, Гума рулевой что падо, но с нами им не тягаться, вот увидите...

Толстяк горюет: была звезда и нет звезды. Антонио Балдуино удивляется:

— А как вы, дядюшка Мануэл, угадали, что это «Крылатый?»

— А по свету фонаря...

Но ведь у всех баркасных фонарей свет одинаковый, и Антонио Балдуино, хоть и не мог спутать, как Толстяк, фонарь со звездой, поскольку свет фонаря все время движется, но все же откуда Мануэлу известно, что это именно «Крылатый»? А может, это один из портовых катеров? Антонио ждет. Толстяк высматривает на небе еще какую-нибудь новую звезду взамен утраченной. Но все звезды уже знакомые, и у всех есть хозяева. Баркас приближается. Мануэл замедляет ход.

И точно — «Крылатый». Гума кричит:

— Ну, что, Мануэл, потягаемся?

— А ты куда спешишь-то?

— В Марагожипе...

— Мне-то самому надо в Капоэйру, да вот ребята тоже торопятся в Марагожипе... Ну что ж, потягаемся...

— Потягаемся...

Антонио Балдуино тут же бьется об заклад, что Мануэл обгонит. Гума берется за руль:

— Ну, давай...

Поначалу баркасы идут бок о бок, но неожиданно «Крылатый» вырывается вперед. Балдуино сокрушается:

— Ох, Мануэл, погорят мои десять тысяч...

Но Мануэл спокоен:

— Далеко не убежит...— И вдруг зовет: — Мария Клара!

Из каюты появляется разбуженная Мануэлом женщина. Он представляет ее своим пассажирам:

— Моя хозяйка...

Пассажиры от удивления лишаются языка. Женщина тоже молчит. Будь она даже уродливой, она все равно показалась бы им красавицей, стоя вот так, твердо и смело, на кренящейся палубе, в облепившем ее на ветру платье, с развевающимися волосами. Запах моря смешивается с ароматом ананасов. «Ее затылок, ее губы, — думает Антонио Балдуино, — должны пахнуть морем, соленой морской водой». И внезапно его охватывает желание. А Толстяк

думает, что перед ним ангел-хранитель, и уже готов на нее молиться. Но она не ангел, она жена Мануэла, и Мануэл говорит ей:

— Гума нас обгоняет... Давай-ка помоги нам, спой...

Песня помогает ветру и морю. Есть тайны, известные только старым морякам, они познаются в долгой, нераздельной с морем жизни.

— Я спою самбу — парень этот все ее пел.

Все так и впиваются в нее глазами. Никто не понимает даже, красивая она или уродливая, но все влюблены в нее в эту минуту. Она — сама музыка, и море покоряется ей, подкупленное ее голосом. Она стоит на палубе, и волосы ее развеваются на ветру. Она поет:

Куда держу я путь, Мария..

«Скиталец» убыстряет свой бег. Вода бурлит за кормой. Вот уже снова виден «Крылатый» — святящаяся в темноте точка.

По звездам глаз твоих на небе...

Вот уже белеет парус «Крылатого». «Скиталец» догоняет его.

По волнам смеха на воде...

Куда несутся они, словно обезумевшие? А что, если они разобьются о подводные камни и заснут вечным сном на морском дне? Мануэл крепко держит руль. Антонио Балдуино дрожит от голоса женщины. А Толстяк смотрит на нее, как на ангела, и губы его шепчут молитву.

Ищу я путь к тебе, Мария...

«Крылатый» отстает. Гума бросает с борта своего баркаса на палубу «Скитальца» пакет с выигрышем. Пятнадцать мильрейсов. Мануэл прячет пять мильрейсов в карман и кричит:

— Добрый путь, Гума! Добрый путь!

— Добрый путь, — отзывается уже издали голос Гумы.

Антонио Балдуино получает свою долю — десять мильрейсов и протягивает их Мануэлу обратно:

— Купи своей жене новое платье, Мануэл. Ведь это она их выиграла...

Но как он долог, этот путь...

Антонио Балдуино вспоминает того белого с лысиной, что приходил на макумбу к Жубиабе. Где-то он теперь,

этот непохожий на других человек, которого Антонио Балдуино принял за Педро Малазарте, отважного искателя приключений? Нужно, чтобы он и это путешествие на баркасе описал, когда будет сочинять АВС о негре Антонио Балдуино, смельчаке и задире, влюбленном в свободу и море.

\* \* \*

Мануэл оставил за рулем Антонио Балдуино: река в этом месте была широкой и безопасной. А сам ушел с женой подальше на корму. Они укрылись за каютой, но до Антонио Балдуино доносились оттуда любовные вздохи и стоны, звуки поцелуев. Неожиданная волна окатила любовников, и они залились веселым смехом. Вода освежила их, и теперь они предавались любви с удвоенной страстью.

Стоя у руля, Антонио Балдуино рисует себе страшную картину: баркас налетает на каменистую отмель и все погибает. Крики ужаса и звуки поцелуев замирают в пучине... Толстяк, за одну ночь потерявший и звезду и ангела, шепчет:

— Он не должен был это делать...

## СЛАДКИЙ ЗАПАХ ТАБАКА

Сладкий запах табака! Сладкий запах табака! Он лез Толстяку в широкие ноздри и доводил его до головокружения. Баркас простоял в порту всего два дня, пока в близлежащих городках — Кашоэйре и Сан-Фелисе была ярмарка. А потом он отправился дальше — в другие небольшие порты: Маражожипе, Санто-Амаро, Назаре-дас-Фарильяс, Итапарику, увозя Мануэла и его жену, которая пела всю ночь и от которой пахло морем. Баркас распустил паруса и отплыл поутру. Это было печальное утро, ведь расстаться всегда невесело.

Антонио Балдуино и Толстяк остались в старом городке Кашоэйре и в поисках работы исходили его вдоль и поперек. Городок весь был пропитан сладковатым табачным ароматом, идущим из Сан-Фелиса, расположенного на другом берегу реки Парагуасу. В Сан-Фелисе — огромные табачные фабрики, они занимают целые кварталы и приносят неслыханные доходы своим белым владельцам.

Запах табака опьянял, в голове все путалось, а Толстяк, возбуждаясь, выдумывал всякие небылицы или вспоминал выдуманные раньше. На табачных фабриках для них не было работы. Там работали одни женщины — бледные, худые, со слезящимися глазами, они вручную изготовляли дорогие сигары для министерских банкетов. Мужчины здесь негодились: их руки были слишком грубыми и неловкими для этой работы, работы изнурительной и отупляющей.

В тот дождливый день, когда баркас приплыл в Кашо-эйру, они на лодке поехали в Сан-Фелис. Толстяк принялся рассказывать очередную историю: Толстяк несомненно был рожден поэтом, и, умея он читать и писать, он мог бы с легкостью зарабатывать себе на жизнь сочинением куплетов АВС и разных историй. Но Толстяк ни одного дня не ходил в школу, и потому он просто рассказывал своим низким и звучным голосом обо всем, что он где-нибудь услышал, или пересказывал старые легенды, забывшиеся ему с детства, или сочинял разные истории, что выходило у него особенно хорошо, когда он был в подпитии. И если бы не его манья вечно приплетать ко всему ангелов, то и вовсе бы ему цены не было. Но Толстяк отличался непомерной набожностью.

Лодка маневрировала между обнажившимися отмелями. Река обмелела, и жители, закатав штаны и сняв рубашки, ловили рыбу прямо посреди реки. Толстяк продолжал рассказывать:

— И тогда Педро Малазарте, хитрая bestия, и говорит хозяину горшка: «Видишь, какое стадо свиней... здесь их больше полтыщи, да что там полтыщи, больше тыщи, нет, больше двух, трех тыщ,— да их здесь столько — я уж и со счета сбился...» А хозяин горшка видит только, что из песка торчат свинячьи хвостики и нет им конца-краю. Ветер их шевелит, и похоже, что и вправду живые свинки ушли в песок, а оттуда выставили свои хвостики и помахивают ими. Тут Педро Малазарте еще больше его раззадоривает: «Все эти свиньи, говорит, заколдованные, вместо дерьма из них деньги сыплются... Каждый раз не меньше пяти мильрейсов. А подрастут — уже по десять мильрейсов, и так до тыщи потом накладывают, когда уж на возрасте сделаются. И все это я тебе отдам в обмен на горшок».

— И тот ему поверил? — прервал рассказчика лодочник.

— Да у него, дурака, глаза разгорелись от жадности. И отдал он горшок с фейжоадой<sup>1</sup> Педро Малазарте, а в обмен получил стадо свиней. Педро Малазарте наказал ему: до утра свиней не откапывать. Утром они сами выйдут и начнут гадить деньгами. Хозяин горшка остался ждать, пока свиньи сами из песка выйдут. Прошел вечер, прошла ночь, и снова настало утро, и так вот по сей день сидит он и ждет... Не верите, можете сами пойти посмотреть...

Лодочник хохотал, Антонио Балдуино ждал продолжения истории с горшком. Он любил слушать про Педро Малазарте, ловкача и пройдоху, который любого мог надуть и жил-поживал в свое удовольствие. Антонио Балдуино видел его, как живого, как он странствует по свету, и в любой стране он как у себя дома, и даже в царство небесное проникает он, чтоб отнести деньги богатой вдовы ее покойному мужу, а то он, бедняга, хоть и попал в рай, но там ведь без денег тоже несладко. И Антонио Балдуино верит, что тот лысый человек, которого он видел на макумбе у Жубиабы, был не кто иной, как сам Педро Малазарте. Разве не объехал он весь свет и не повидал все на свете?

— Я вот думаю, что тот лысый тип, что приходил на макумбу к Жубиабе, был Педро Малазарте...

— Какой тип? — Толстяк не мог вспомнить.

— А в тот день, когда Ошала выбрал Марию...

— Ах, тот... Помню... Да нет, тот белый ездит курьером, и еще он сочиняет АВС. Я знаю его историю... У него отец был коннозаводчик, и однажды тот белый удрал с фазенды на лучшем гнедом скакуне и объехал на нем весь мир. Встречал он в своих странствиях отважных мужчин и коварных женщин и о всех сочинял куплеты...

— Он про меня тоже напишет...

— Про тебя?

— Да, про меня, негра Антонио Балдуино, про самого храброго из всех, кого он встречал... про самого храброго в драке и неутомимого в любви... Так он про меня напишет, он мне сам сказал...

Толстяк восхищенно воззрился на друга. А тот горделиво стоял, упершись в бока руками. Лодка пришвартовалась у грязного причала.

---

<sup>1</sup> Фейжоада — блюдо из фасоли и вяленого мяса.



Одуряющий сладкий дух шел от табачных фабрик. Удильщики собирали свой скудный улов. Высокий протяжный гудок возвестил о конце рабочего дня на фабрике. Антонио Балдуино стоял на углу, смеялся своим звонким смехом, слушая рассказы Толстяка, и поджидал табачниц. Сейчас он захороводит какую-нибудь мулаточку, чтобы позабавиться с ней на пляже — не все же ей сидеть за своими сигарами.

Но вот они появились: такие бледные и усталые, отравленные этим сладким табачным запахом, вѣвшимся в их руки, платья, тела. Они идут, подавленные, молча, огромной толпой, и все — словно больные. Многие курят дешевые сигары — после того как целый день делали сигары самых дорогих сортов. Сильно затягиваются. Какой-то белый парень разговаривает с мулаточкой, еще не успевшей побледнеть и исхудать, как ее товарки. Она смеется, а он шепчет ей:

— Я тебя поставлю на выгодную работу...

Антонио Балдуино говорит Толстяку:

— Вот эта одна еще годится, так к ней уже мастер подъезжает...

Женщины проходят мимо, опьяневшие от табачного запаха, и разбредаются по узким, уже сумеречным улочкам и неосвещенным переулкам города. Разговоров почти не слышно, а если говорят, то шепотом, приученные штрафами за разговоры на фабрике. Вот идет беременная, с огромным животом, останавливается и целует встречающего ее мужа. Он несет домой скудный улов. Теперь они идут рядом, он поддерживает жену под руку, и она жалуется ему, что нарвалась на штраф, а за что? За то, что на минуту бросила работу — такие были боли, думала, что схватки начались.

— А сколько дней потеряю из-за ребенка, — вдруг говорит женщина... — Сколько дней...

Голос ее жалобно дрожит. Ее муж идет, оцупив голову и сжав кулаки. Антонио Балдуино слушает все это и, не выдержав, яростно сплевывает.

Толстяк шепчет молитву. А мимо все идут и идут женщины с табачной фабрики. А вокруг рекламные плакаты и на них: «Лучшие в мире сигары... Украшение банкетов, званых обедов, деловых завтраков...» Идут женщины — их руками делаются эти сигары... Женщины так печальны:

невозможно поверить, что они возвращаются домой, к мужьям, детям. Толстяк вздыхает:

— Господи, точно хоронят кого...

Хорошенькая мулаточка уходит с мастером-немцем. А беременная горько плачет, припав к мужнину плечу.

\* \* \*

В ресторане отеля, оборудованном весьма пышно для такого небольшого городка, как Кашоэйра, юные немцы пьют виски и едят специально для них приготовленные блюда. Из Баии сюда приезжают женщины, чтобы спать с этими белокурými и красивыми парнями. Белокурые, красивые парни — сыновья и наследники нынешних хозяев и сами будущие хозяева табачных фабрик. Они пьют и разглагольствуют о Гитлере и о великой Германии, которая, несомненно, победит в ближайшей мировой войне. А когда виски ударяет им в головы, они начинают петь свои воинственные песни. Девочка-нищенка прерывает их пир словами:

— Подайте, Христа ради, мать у меня помирает...

\* \* \*

Белокурые немцы, сидевшие за ужином в ресторане, не видели луну, которая вышла из-за холмов и повисла над рекой. На берегу реки собрались работницы с мужьями и детьми. Мужчины играли на гитаре, а женщины показывали луне своих отпрысков:

Взгляни на детей, крестная мать,  
нам помоги  
их воспитать...

Дождь все моросил. Лодочник, переправлявший Антонио Балдуино и Толстяка через Парагуасу, подошел к ним:

— Ну что, ребята, надо бы подзаправиться...

— Да сейчас идем...

— Может, пойдем ко мне... У нас, правда, кроме рыбы, ничего нет, но зато от всей души...

Он повернулся к Толстяку:

— Ты уж расскажи что-нибудь, чтобы и моя старуха послушала. Она должна с фабрики вернуться. У нас семеро: пять дочек и два сына.

Улыбаясь, лодочник ждал, согласятся ли друзья. Втроем они сворачивают в переулок, затем оказываются на грязной улице, при виде которой Антонио Балдуино сразу же вспоминает свой родной холм. Перед тускло освещенными хибарами дети лепят из черной глины человечков и животных.

— Сюда, — говорит лодочник.

Черные от копоти стены. Изображение Иисуса Христа из Бонфина. Гитара. В кроватке, сколоченной из ящичков, спит младенец. Ему месяца три, не больше. Отец целует его, и малыш просыпается и тянет к нему ручонки, улыбаясь беззубым ртом. Другой еще только начал ходить и цепляется за материны юбки. Живот у него уже вздутый, как и у тех детей, что лепят на улице человечков из глины.

Лодочник знакомит Антонио Балдуино и Толстяка со своей женой:

— Вот тебе два друга. Этот, — он показывает на Толстяка, — такие истории рассказывает — заслушаешься...

Женщина продолжает молча жевать табак. У нее толстые губы и желтое нездоровое лицо. Она берет у мужа рыбу и уходит в кухню. Оттуда доносится ее голос, зовущий детей.

Антонио Балдуино снимает со стены гитару. Толстяк спрашивает лодочника:

— Здесь, видать, жизнь нелегкая...

— Работа тяжелая... да и работают только женщины, а мужчины рыбу ловят да подрабатывают перевозом.

— Ну, а женщинам-то хорошо платят?

— Какое там хорошо... А еще штрафы, да то ребенок родился, то приболела — за все высчитают. А потом чуть состарилась — вон... Жизнь здесь короткая...

— Да... невесело все это...

— Невесело? — Лодочник горько смеется. — А ведь подумать, что есть люди — нарочно себя голодом морят, ради красоты... А здесь, если уж с одной фабрики уволят, на другую — не возьмут. Сговорились хозяева между собой. И рыбу-то не каждый день едим.

В дверях молча остановился молодой негр и кивает головой в знак согласия с лодочником. Толстяк чувствует себя неловко, что завел такой тягостный разговор:

— Бог поможет...

— Как бы не так — разве еще какую болячку подцепишь... Хозяйка моя молится вот, — он кивнул в сторону

висящего на стене Христа,— а я уж разуверился... Такую нужду терпим — мочи нет. Бывало, что даже меньшей, вот ей,— лодочник показал на девочку лет пяти,— тогда мальчишки еще не народились,— и ей в рот положить нечего... Бог забыл бедняков...

Его жена выходит из кухни и сплевывает черной слюной:

— Не кощунствуй... Бог тебя накажет...

Парень у дверей не выдерживает:

— А я в душе тоже в него не верю... Молюсь, а не верю... А как в него верить-то? Разложит ведь немец-мастер Мариинью, как пить дать. Он уж наобещал ей, что даст работу повыгодней...

Толстяк молится про себя. Он просит бога, чтобы тот не позволил немцу обмануть Мариинью и чтобы всегда было что поесть в доме лодочника. Антонио Балдуино понимает по виду Толстяка, что тот молится, и понимает, что все это зря.

— Я скажу вам, что думаю, а вы не пугайтесь. Правильней бы всего расправиться с этими белыми — и все тут...

Рыба уже на столе. Молодой негр исчезает, а пройдет несколько месяцев, и он получит тридцать лет тюрьмы за убийство мастера-немца, который оставил Мариинью с ребенком и без работы.

На всех еды мало, и голодные малыши просят еще. В тусклом свете тени сидящих за столом кажутся чудовищно-огромными.

\* \* \*

Толстяк рассказал историю про горшок с фэйжовдой, и дети уснули. Одна из девочек спала, зажав в черной ручонке глиняную куклку, и в ее снах помятая черная кукла превратилась в роскошную фарфоровую куклу с белокурыми волосами; кукла говорила «мама», и, когда ее укладывали спать, глаза у нее закрывались. После ужина мужчины снова пошли к реке. Там они снова играли на гитаре и пели, а луна смотрела на них во все глаза. Женщины в латаных-перелатаных платьях прохаживались по набережной. Река текла и исчезала под мостом.

Толстяк запеваает «Песню о Вилэле», Антонио Балдуино аккомпанирует ему на гитаре. Все, раскрыв рот, слушают про то, как сражался жагунсо Вилэла с капитаном

невольничьего корабля... Песня героическая, капитан был не робкого десятка, а Вилэла — храбрец из храбрецов:

    Был капитан — отважный малый:  
    не сдался в плен врагам своим,  
    а наш Вилэла был храбрее  
    и после смерти стал святым...

— Здорово, — восхищается кто-то из слушателей.

— Что-то я не слыхала о святых разбойниках, — грубо обрывает его восторги одна из женщин, низкорослая и тощая.

— А вот есть такие, и их бы при жизни не худо в святые зачислить. — Защитник Вилэлы, говоря, постукивает в такт песне по парапету. — Разве жагунсо грабят бедняков? Они сами такие же бедняки, как и все мы... Я бы тоже хотел быть жагунсо...

— А будь ты проклят со своими бандитами. Ты что, не видел, что они сделали с полковником Анастасио?.. Уши ему отрезали, нос отрезали, и даже...

Но слова женщины не вызывают у слушателей сострадания к полковнику. А защитник Вилэлы говорит:

— А ты вспомни-ка, как твой полковник надругался над дочками Симана Безрукого? Четыре дочки были у Симана, так тот хоть бы одну не тронул, нет, всех четырех слопал... Безрукий, бедняга, в уме тронулся... А полковнику что?.. Были бы у Симана еще дочки, он и их бы не пожалел... Так что по заслугам с ним расправились...

— Давай-ка другую, — просит он Толстяка.

Но теперь черед Антонио Балдуино, и он поет самбы и разные песенки, от которых слушающие их женщины делаются еще печальнее.

Церковный колокол отбивает девять часов.

— Пошли к Фабрисо, потанцуем, — приглашает крепыш негр.

Антонио Балдуино, Толстяк и кое-кто еще уходят вместе с негром. Остальные разбредаются кто куда: по домам, в кино или просто пройтись под луной по набережной, откуда видны река и мост...

\* \* \*

Фабрисо встретил гостей, держа в руке большой стакан с кашасой:

— Ну, кому охота горло промочить?

Промочить горло захотели все, и стакан пошел по кругу, — хозяином он был предусмотрительно наполнен до краев.

Лодочник показал Фабрисо на своих новых знакомых:

— Вот привел к тебе хороших парней.

— Входите, входите, будьте как дома. — Хозяин поочередно обнялся с Толстяком и Балдуино.

Все вошли в большую комнату. Танцы уже были в разгаре: пары кружились под аккордеон, который ходуном ходил в руках мулата с усиками. Но даже здесь, в отдаленном от фабрик предместье, царил сладкий табачный дух: он забивал собой запах разгоряченных танцами тел. Пары кружились все неистовей, аккордеонист подбавлял жару, то вставая, то садясь вместе с летающим в его руках аккордеоном, и, все больше возбуждаясь, он притопывал и пританцовывал, задевая тех, кто оказывался возле него.

Когда наконец аккордеонист кончил танец, лодочник объявил:

— Другья, я привел гитариста — играет он, как бог, а его приятель, вот этот толстячок, знает уйму забавных историй...

Антонио Балдуино шепнул Толстяку:

— Здесь, пожалуй, можно раздобыть девчонку...

Хозяин позвал Антонио Балдуино пропустить с ним еще стаканчик, а когда они вернулись, Антонио взял гитару и спел с Толстяком все самые лучшие свои самбы. Аккордеонист был обижен, что какие-то пришлые завладели вниманием собравшихся, но молчал. Когда все самбы были перепеты, Антонио предложил аккордеонисту:

— Пойдем выпьем, дружище, ты здорово играешь...

— Да уж как умею... Вот ты поешь, это да...

Он показал Антонио Балдуино на двух мулаток:

— Вон с той можно сговориться... Это — моя девчонка, а та ее подружка, хочешь, можешь с ней пойти...

Аккордеонист взял аккордеон, и все снова завертелось в танце. Ногн что есть силы шлепали об пол, тела жарко касались друг друга, все были пьяны: кто от кашасы, кто от музыки. Танцующие в такт музыке хлопали в ладоши, тела сплетались, расплетались, кружились в одиночку, затем вновь сходились грудь с грудью, живот к животу, бедра к бедрам...

— Ах ты, моя радость...

Ритм все учащался, аккордеонист танцевал вместе со всеми, комната кружилась, потолок вдруг оказывался полом, потом стеной, потом возвращался на место, а потом вдруг все исчезало и все словно висели вниз головой. Коптилки прогорели, и на стенах комнаты танцевали тени, исполинские, устрашающие. Пол уже уходил у танцоров из-под ног, а тела, касаясь друг друга, вспыхивали желанием. Взлетали юбки, неистово раскачивались бедра, и ягодицы двигались так, словно существовали независимо от тела. В танце кружилось все: мужчины, женщины, тени, свет коптилок. Все растворилось в этом кружении — комната, люди, и в почти полной темноте безраздельно царили ритм, сладкий запах табака и горячие прикосновения. Но желание исчезло, исчезло все, осталась только чистая радость танца.

\* \* \*

Антонио Балдуино написал на песке: Режина. Женщина рядом с ним, очнувшись от послелюбовного изнеможения, улыбнулась и поцеловала негра. Но волна, накатив, смыла имя женщины, которое негр начертил острием ножа. Антонио Балдуино разразился звонким неудержимым смехом. Женщине стало обидно, и она заплакала.

## РУКА

Табачная плантация шла вверх по холму и казалась бесконечной. Начало ее лежало на равнине, а потом она взбиралась на холм и оттуда спускалась вниз — зеленая, нескончаемая; по ней рядами тянулись низкорослые растения с крупными широкими листьями.

Ветер трепал листья, и, если бы не защитные мешочки, он развеял бы семена табака по всей плантации.

На поле заканчивали работу две женщины: одна — старая, морщинистая, другая — молодая, здоровая баба, покуривавшая между делом пятидесятирейсовую сигару. Согнувшись в три погибели, они устало-заученными движениями обрывали табачные листья, потом выпрямились, обеспокоенные: на поле остались они одни. Мужчины уже уходили — впереди маячили их горбатые силуэты. Они несли на спинах горы табачных листьев, которые будут развешаны перед их жилищами под навесом, предохраняю-

щим листья от слишком яркого солнца и ливней. Высушенные листья уступали место только что собранным, и занавес из табачных листьев был неотъемлемой частью рабочих барачков.

Четыре барака образовывали замкнутый четырехугольник с внутренним двором: там сборщики табака собирались после работы поболтать и послушать гитару. Старуха пошла в свой барак, где ее муж уже с нетерпением ждал ужина. Молодая остановилась поболтать на террейро — так именовали свой двор барачные жители.

Толстяк посмотрел вслед старухе сборщице и затосковал о своей бабке, оставленной им в Баие:

— Совсем одна осталась, спаси ее боже... — проговорил он. — Кто ее, бедную, накормит?

— Да брось ты, не останется она голодная...

— Да я не про эту говорю. — Толстяк засмутился. — Я говорю...

Молодая батрачка уперлась руками в бока, приготовившись слушать очередную историю.

— Про кого ты толкуешь-то?

— Да я про свою старуху... Старая она уже совсем. Ест только, что ей в рот положишь...

Женщина захохотала, а мужчины пошли отпускать малопристойные шутки.

— Это ты так мулатку свою ублажаешь? Все в ротик ей кладешь? А что, она — милашка?

— Да, ей-богу, это я о своей бабке, ей-богу... Ни одного зуба у нее нет, и ходит она еле-еле...

Двор постепенно заполнялся. Антонио Балдуино разлегся посреди террейро голым животом кверху.

— Ну и умаялся я, братцы...

Толстяк призвал Антонио в свидетели.

— Скажи им, ведь правда у меня есть бабка? И она сама не может есть...

Все снова захохотали. А молодая батрачка продолжала подшучивать:

— У тебя что, парень, жена такая старая, что ты ее бабкой зовешь?

Смех не прекращался, и Толстяк не знал, куда ему деваться.

— Клянусь вам, клянусь, — только и мог повторять он, целуя сложенные крестом пальцы.

— Давай ее сюда, Толстяк. Я на ней женюсь и сам буду ее кормить...



— Да клянусь вам, что это моя бабка...

— Ну так что же... Бывает, что старуха лучше молодухи...

Антонио Балдуино вскочил.

— Клянусь, братцы, — сказал он, — все вы грязные животные. У Толстяка вправду есть бабка. У него еще есть ангел-хранитель. И у него есть еще кое-что, о чем у вас и понятия-то нет... Толстяк — добрый, вы даже не знаете, какой он добрый...

Толстяк совсем смутился. Все замолчали, а женщины смотрели на Толстяка с каким-то испугом.

— Толстяк — добрый, а вы все — злые. Толстяк...

Антонио смолк и устремил взгляд на бескрайние табачные поля.

Рикардо пробормотал:

— Подумаешь, я тоже кормил свою бабку...

Но женщина, прежде чем уйти к себе в барак, подошла к Толстяку и попросила:

— Помолись за меня... И уговори Антонио собрать доньги, чтоб тем, кого здесь на работу не берут, добраться до какаовых плантаций. — Она посмотрела на табачные листья. — Огребут нынче хозяева деньжищ — страшно подумать...

Рикардо подхватывает:

— Работы нынче по горло. Табак уродился, а сеу Зекинья не хочет больше никого нанимать. Не знаю, как это он вас двоих еще взял...

— В Кашоэйре народ с голоду умирает... Вот и идут сюда...

— Гнуть спину за десять тостанов в день...

Где-то неподалеку заревел осел. Антонио Балдуино окликнул мужа старухи сборщицы, тот вышел во двор, дожывая ужин:

— Слышишь, твой отец тебя требует...

— А может, это тебя зовет твой дедушка?

Все засмеялись. Антонио Балдуино понизил голос:

— Не обижайся. Я о другом: ведь правда, синья Тонья — аппетитная штучка?

— А ты попробуй — тогда узнаешь... У ее мужа четверо покойников на совести. Он шутить не любит, бьет без промаха.

— На все пойдешь, коль два месяца без бабы...

Старик засмеялся. Рикардо вскинулся на него:

— Тебе, женатому, хорошо смеяться... Хоть и старая и рожа, а все-таки баба... А я здесь уже год торчу, хоть кобылу себе в постель тащи...

— Да я вовсе не над этим смеюсь... Я когда сюда попал, на табачные плантации, здесь уж так повелось. Хватил я лиха, пока не заполучил Селесту, — она жила здесь и была совсем еще девчонка. Теперь-то она рожа, а в то время поискал бы еще такую красотку... До нее бы уж давно кто-нибудь из батраков добрался — сам знаешь, здесь на женщин все, как птица урубу на падаль, кидаются. Но все отца ее боялись: тот пригрозил, что убьет любого, кто сунется к его дочке. Но я тогда уж два года женского запаха не чуял и внушал себе, что пикто со мной ничего не сделает: каждый умрет, как ему на роду написано. И однажды дождливой ночью позвал я Селесту погулять. Отец ее дома был, ружье свое чистил. Он даже о чем-то со мной говорил и смеялся... А я прямо весь трясся от страха... Но, когда Селеста ко мне вышла, я уж ничего не смог с собой поделывать... И тут же в кустах, неподалеку от ее дома, повалил ее, и все...

Все слушали старика, опустив глаза. Антонио Балдуино чертил что-то на земле ножом. Рикардо в нетерпении потирал руки...

Старик продолжал:

— Два года я жил без женщины... Все платье на Селесте было разорвано... В страхе я побежал, сам не зная куда, — все ждал, что старик меня убьет.

— А потом...

— Ну куда здесь убежишь? Наутро набрался я храбрости и пошел к Селестиному отцу. Он сидел дома и опять ружье чистил. Увидел меня и сразу ружье ко мне дулом... Ну, думаю, сейчас он меня прикончит, — а сам, дай мне волю, опять бы на Селесту накинулся... Собрался я с духом, и открыл я ему все, как было. И сказал, что хочу жениться на его дочке, а человек, мол, я верный и работающий. Старик лицо руками закрыл и молчит, а я к смерти готовлюсь. Однако смотрю, вроде убивать он меня не собирается. Помолчал и говорит: «Этого надо было ждать. Мужчине нужна женщина, а здесь женщин наперечет. Забирай ее к себе, но женись, как обещал». Я прямо ушам своим не поверил, а старый Жоан добавил: «Прощаю тебя, потому как повинился ты мне во всем. Как мужчина поступил, не испугался».

Потом он позвал Селесту и велел ей идти со мной. А сам снова принялся чистить ружье. Но когда мы уходили, клянусь вам, старик плакал...

Все молчали. Ветер шевелил табачные листья. Рикардо тяжело вздохнул и сказал:

— Вот и обходись, как знаешь, когда здесь всего две бабы, да и те замужние...

— А дочка синьи Лауры?

— Захоти она, я бы на ней женился,— выпалил Рикардо.

Антонио Балдуино с размаху воткнул нож в землю. Высокий негр сказал:

— Когда-нибудь я до нее доберусь, хоть силком, хоть по доброй воле...

— Но ведь ей еще и двенадцати нет,— ужаснулся Толстяк.

\* \* \*

На горизонте, в тумане, горы. Уходит вдаль железная дорога, по ней отправляются поезда, увозя мужчин и женщин, на ходу выкрикивающих слова прощания. По этой дороге везут на ярмарки мешки с фруктами, нагруженных ослов, быков на продажу. Одни тащат на потных спинах громадные мешки, другие погоняют ослов, ведут быков. Переправляются целые стада, и пастухи тоскливо тянут:

— Эйийиййй...

Руки опускаются к земле, большие натруженные руки — они рвут и рвут остро пахнущие табачные листья. Руки опускаются и поднимаются заученно-размеренным, однообразным движением, словно руки молящихся. Спины разламываются от боли, пронзительной и непроходящей, она не дает спать по ночам. Зекинья ходит, следя за работой, отдает распоряжения, покрикивает на нерадивых. Горы табачных листьев все растут, и к вечеру натруженные, все в мозолях руки зарабатывают десять тостанов, которых, однако, сборщики никогда не видят: ведь все они уже задолжали хозяину больше, чем заработали.

Мозолистыми, изуродованными работой руками они машут проходящим мимо поездам.

\* \* \*

Антонио Балдуино и Толстяк жили в одном бараке с неграми Рикардо и Филомено. Филомено большей частью молчал и слушал, а если говорил, то все про выстрелы и

убитых. У Рикардо над его топчаном был наклеен на стенку портрет киноактрисы: раздетая догола, она кокетливо прикрывалась веером. Рикардо ревниво оберегал портрет, подаренный ему несколько лет назад хозяйским сыном. Коптилку он поставил так, что в ее желтом свете актриса выглядела как живая и нагота ее рождала вожделение. Над постелью Толстяка висело изображение святого, купленное им в Бонфине за пятьдесят рейсов. Антонио Балдуино над своим топчаном повесил талисман, подаренный ему Жубиабой, и ножи, которые он обычно носил за поясом. Только у Филомено ничего на стенке не висело.

После ужина все собирались на террейро, и поскольку у них не было ни кино, ни театра, ни кабаре, они играли на гитаре и пели песни. Огрубевшие пальцы перебирали струны, и возникающие мелодии наполняли то радостью, то печалью сердца батраков с табачных плантаций. Звучали скорбные напевы и веселые самбы, а Рикардо был непревзойденный мастак по части куплетов. Его пальцы так и бегали по гитарным струнам: грубые, мозолистые батрацкие руки на глазах у всех становились руками артиста — быстрыми и ловкими, и они завораживали слушателей любовными и героическими историями. Руки, днем добывавшие насущный хлеб, вечером дарили мужчинам радость на этой земле, лишенной женщин.

И ночь отступала, одна песня сменяла другую, и в них было все, что ищут люди в кино, театрах, кабаре... Быстрые пальцы летали по струнам, и музыка лилась над табачными плантациями, освещенными яркой луной.

\* \* \*

Глубокой ночью, когда гитара умолкала и везде воцарялась тишина, а батраки спали крепким сном на своих топчанах, погасив коптилки, Рикардо приковывался взглядом к портрету голой актрисы. Он смотрел и смотрел на нее не отрываясь, пока она не оживала. И вот он видит ее, уже одетую, и не здесь, в этом темном бараке, нет, она и Рикардо уже далеко отсюда, в большом городе, — городе, в котором Рикардо никогда не был, с яркими огнями, потоком автомобилей, городе, который больше, чем Кашоэйра и Сан-Фелис, вместе взятые. Может быть, в Баие, а то и в самом Рио-де-Жанейро. По улицам идут женщины, белые и мулатки, и все улыбаются Рикардо. На нем новый каше-

мировый костюм, на ногах — желтые ботинки, — он видел такие на ярмарке в Санта-Ана. Женщины призывно хохочут, завлекая Рикардо, но с ним она, актриса, он познакомился с ней в театре, и вот теперь она идет с ним под руку, и он чувствует, как ее грудь прижимается к его груди. Они будут ужинать в шикарном ресторане, где на женщинах вечерние туалеты и где подают самые дорогие вина. Он уже много раз целовал актрису, и она наверняка в него влюблена, раз позволяет тискать себе грудь и задирает ей под столом платье. Но тут актриса неожиданно снова возвращается на стенку, прикрываясь веером: Антонио Балдуино заворочался на своем топчане и что-то забормотал спросонья. Рикардо в бешенстве ждет, пока все стихнет снова. Он до подбородка натягивает на себя рваное одеяло. Он возвращается с актрисой в ресторан, чтобы потом на машине отправиться к ней домой, в благоухающую духами постель. Там он медленно раздевает ее, любуясь ее прелестями. Теперь уж ему наплевать, что Антонио Балдуино ворочается и что-то бормочет во сне. Он весь там, с актрисой, его мозолистая рука отбрасывает веер, и белокурая актриса, лишенная последнего прикрытия, отдается Рикардо, батраку с табачной плантации. И пусть проснется хоть весь барак, ему наплевать: у этой женщины округлый живот и твердые груди, и она отдается ему, батраку с табачной плантации...

Актриса возвращается на свое место, прикрываясь веером. Уже кое-где зажигаются огоньки коптилок. Рикардо роняет голову на топчан и засыпает.

\* \* \*

Однажды в воскресенье Рикардо надумал отправиться на реку. Он купил динамитную пашку — глушить рыбу — и звал с собой соседей по бараку. Пошел один Толстяк. По дороге потолковали о том, о сем. На берегу Рикардо снял рубашку, а Толстяк растянулся на траве. Кругом лежали табачные поля. Прошел поезд. Рикардо приготовил пашку и поджег запал. Улыбаясь, он взял пашку в руки, но она взорвалась раньше, чем он успел швырнуть ее в воду. Взрывом ему оторвало обе руки, и вода в реке сделалась красной от крови. Теряя сознание, Рикардо увидел свои кровавые культипки: то, что с ним случилось, было хуже смерти.

## БДЕНИЕ

Арминда, дочка синьи Лауры, раньше всегда, возвращаясь с работы, бежала вприпрыжку, как и положено двенадцатилетней девчонке. Но теперь она больше не резвится и лицо у нее печальное. Однажды она даже отпросилась у Зекиньи с работы домой. Вот уже больше недели синья Лаура лежит пластом, прикованная к постели непонятной болезнью. Раньше Арминда была веселой и часто ходила купаться на речку, — плавает она как рыба, там батраки не раз подглядывали за ней, возбуждаясь при виде ее еще полудетского тела. Теперь она работает с утра до ночи, — ведь если ее выгонят, ей останется только умереть с голоду.

Однако во вторник она на работу не вышла. Тотонья пошла проведать больную и вернулась с известием:

— Старуха протянула ноги...

На миг работа приостановилась. Кто-то сказал:

— Ну она уже старая была...

— Перед смертью раздуло ее, ну прямо как тушу, смотреть жутко...

— Болезнь такая чудная...

— А я так думаю, что это злой дух в нее вселился...

Подошел Зекинья, и все снова согнулись над табачными листьями. Тотонья сказала надсмотрщику о смерти Лауры и предупредила:

— Пойду побуду с девочкой. Ночью устроим бдение.

Филомено шепнул Антонио Балдуино:

— Хорошо бы меня отрядили. Остались бы мы с Арминдой вдвоем, тут уж я с божьей помощью с ней бы поладил...

Толстяк глотнул для храбрости кашасы — он ужасно боялся покойников. В обед только и разговоров было что о разных болезнях и смертях. Филомено молчал. Он думал, как он останется с Арминдой, теперь после смерти матери девчонке деваться некуда...

\* \* \*

К дому покойницы со всех сторон стекались огоньки. Казалось, они двигались сами по себе. Людей не было видно, только эти красноватые огоньки мерцали и маячили, как души неприкаянных... У дверей Тотонья встречала пришедших на бдение. Она обнималась со всеми и принимала их соболезнования, как если бы приходилась покой-

нице близкой родней. Глаза у нее то и дело наполнялись слезами, и она подробно описывала всем страдания покойной:

— Бедняжка на крик кричала... И что это за болезнь такая проклятущая...

— Не иначе как злой дух в нее вселился...

— Потому ее и раздуло так, живот что твоя гора...

— Отмучилась, слава богу...

Женщина перекрестилась. Филомено спросил:

— А где Арминда?

— Да вон она сидит, плачет... Осталась, бедная, одна-одинешенька на всем белом свете...

Всем предложили выпить кашасы, и все выпили.

В комнате у стены были поставлены две скамейки. Мужчины и женщины, босые, с непокрытыми головами, сидели возле покойницы. В другом углу на дырявом стуле сидела Арминда и горестно всхлипывала, закрыв глаза красным платком. Вновь пришедшие подходили к ней и брали ее за руку, но она не шевелилась. Все молчали.

Посреди комнаты, на столе, который в обычные дни служил одновременно и обеденным столом и постелью, лежала покойница, чудовищно огромная: казалось, она вот-вот лопнет. Она была покрыта узорчатым ситцем в желтых и зеленых цветах. Было видно только лицо с перекошенным ртом и опухшие разбитые ноги с растопыренными пальцами. Мужчины, проходя мимо, всматривались в лицо покойной, женщины крестились. В головах у покойницы горела свеча, отбрасывая свет на застывшее лицо, искаженное предсмертными муками. Неподвижный взгляд ее глаз, казалось, не отрывался от присутствующих, шептавшихся на скамейках. Бутылка кашасы переходила из рук в руки. Пили прямо из горлышка, большими глотками. Двое вышли во двор покурить. Зекинья, подойдя к плачущей Арминде, погладил ее по голове. Толстяк затынул заупокойную:

Упокой, господи, душу ее...

Все подхватили:

Господу богу помолимся...

Бутылка кашасы пошла по кругу. Все пили прямо из горлышка. Свеча освещала лицо покойницы — за это время его разнесло еще больше.

Господу богу помолимся...

Антонио Балдуино искал глазами Арминду. Она все так же всхлипывала, сидя на стуле в противоположном углу комнаты. Но раздувшееся лицо покойницы мешало Антонио разглядеть Арминду как следует.

Негр Филомено тоже уставился на сироту. Антонио Балдуино видит, что он не отрывает глаз от ее еще детских грудей, сотрясаемых плачем. Это бесит Антонио Балдуино, и он шепчет соседу:

— Подлый негр, хоть бы покойницы постыдился...

Но он и сам смотрит, как вздрагивают под платьем груди Арминды. Вдруг Филомено поспешно отводит глаза и диким взглядом окидывает собравшихся. На лице его написан ужас. «Чего это он так перепугался», — думает Антонио Балдуино. И, улыбаясь про себя, следит за тем, как свет коптилки падает на вырез Арминдиного платья, высвечивая ложбинку между грудями. Хочет туда забраться... Да, свет коптилки тоже хочет касаться грудей Арминды, как и его руки... Вот уже касается... Антонио Балдуино следит за движением света, глаза у него блестят... Свет забрался девчонке за вырез и теперь гладит ее сотрясаемые плачем груди. Антонио Балдуино бормочет, пряча улыбку:

— Добился-таки своего, нахал...

Но вдруг он тоже отводит взгляд и содрогается от ужаса: прямо на него с ненавистью устремлены глаза покойницы... Антонио Балдуино смотрит в пол, потом начинает разглядывать свои руки и неотступно чувствует на себе гневный взгляд покойницы. «Какого черта старуха уставилась на меня? Смотрела бы лучше за Филомено, пока он, зараза, не слопал ее девчонку...» — думает Антонио Балдуино, но тут же вспоминает, какими глазами он сам глядел на Арминду, и спешит отвернуться, чтобы не видеть покойницу. Теперь он смотрит на Толстяка, старательно выводящего заупокойную.

В открывающийся рот Толстяка старается залететь муха. Антонио Балдуино делает вид, что следит за ней, но краем глаза видит, что покойница все еще смотрит на него, а Филомено снова таращится на Арминдины груди.

— Что за черт, старуха пялится как живая... И после смерти дочку бережет...

— Ты что там бормочешь, — окликает Антонио сосед.

— Да так, ничего...

Толстяк продолжает молитву, Антонио Балдуино подхватывает со всеми:

Господу богу помолимся...



А муха вот-вот влетит Толстяку в рот. Но рот закрывается. Тогда муха усаживается ему на нос и ждет, пока Толстяк запоет снова. Но когда его рот уже готов открыться, муха вдруг покидает свой пост и летит к Арминде. Филомено ерзает на стуле. Платье обтягивает Арминду, и видно, что груди у нее уже большие, округлые, с развитыми сосками. Муха садится Арминде на грудь, вернее, на одну из грудей — на левую. Лифчика Арминда явно не носит... И, должно быть, груди у нее крепкие и упругие... «Что это она все плачет?» — думает Антонио Балдуино. Глаза у Арминды огромные, с длинными ресницами. Рыдания не перестают сотрясать ее тело, и при каждом новом приступе в вырезе платья видны ее прыгающие груди. Муха, испугавшись, улетает и садится на лицо покойницы. Его раздуло до неузнаваемости. Кожа на лице позеленела, глаза вылезли из орбит. И почему она все смотрит на Антонио Балдуино? И вроде что-то говорит ему? Ведь он уже больше не глядит на Арминду, это Филомено не спускает с нее глаз... Чего же старуха к нему-то прицепилась, чего она не оставит его в покое и почему бы ему не глядеть туда, куда он хочет? Господи, какая она распухшая, уродливая. Муха села ей на нос. А что это у нее на лице? Никак, пот выступил? Она просит, чтоб за нее помолились. А он вместо молитвы глазеет на ее дочку. И Антонио Балдуино присоединяется к молящимся:

Господу богу помолимся...

Его голос звучит так громко, что Филомено, очнувшись, с запозданием повторяет:

Господу богу помолимся...

Было около часа ночи. Толстяк, окончив молитву, что-то рассказывал. Бутылка снова пошла по кругу. Антонио Балдуино глотнул побольше и попробовал взглянуть на Арминду. Но покойница опять помешала. Она раздулась так, что теперь из-за ее головы Антонио была видна только верхняя половина лица Арминды. А покойница ни на миг не спускала с него ненавидящих глаз. А что, если она догадалась, что Антонио хотел попросить у Арминды воды и выйти с ней во двор, а там схватить ее, повалить — и все тут?.. Но мертвым все известно. Старуха уже обо всем догадалась, вот теперь и не спускает с него глаз. Антонио смотрит на страшное лицо покойницы. Сроду он не видел такого лица. У Арминды лицо веселое. Оно у нее весе-

лое, даже когда она плачет. Почему такое случается с людьми? У покойницы лицо зеленое, все в каплях пота. Не иначе заразу какую подцепила. Антонио Балдуино закрыл глаза, сиюсь избавитья от наваждения. Потом стал смотреть в потолок. Но он по-грёжному чувствовал на себе взгляд мертвой старухи. Тогда Антонио принялся, не торопясь, обследовать черные потолочные балки и обследовал их долго, а потом, внезапно оторвавшись от потолка, его глаза приковались к груди Арминды. Он улыбнулся, довольный, — ему удалось обмануть старуху. Но вышло хуже, намного хуже: у покойницы рот еще больше перекопился от ярости, а глаза совсем вылезли из орбит. По черным запекшимся губам ползает муха. Антонио Балдуино присоединяется к молящимся. Он думает, что старуха больше не следит за ним, и уже открывает рот, чтобы попросить у Арминды воды. Но тут же его взгляд сталкивается с ужасным взглядом покойницы. Он снова молится. Пьет кашасу. Который раз он уже прикладываетя к бутылке? И которую уж это открывают? На бдениях всегда много выходит кашасы... И когда наконец старуха перестанет на него пялиться? Антонио Балдуино тихонько встает, обходит стол, на котором лежит покойница, и, подойдя к Арминде, трогает ее за плечо:

— Пойдем, дашь мне глотнуть водички.

Она поднимается со стула и идет с ним во двор, где стоит бочка с водой и кружка. Арминда наклоняется, чтобы зачерпнуть кружкой воды, и в отставшем вырезе платья Антонио Балдуино видит ее груди. Он хватает ее за плечи и рывком поворачивает к себе, перепуганную и дрожащую. Но Антонио не видит ее испуганных глаз, он видит только ее рот, ее груди — совсем близко от своих губ и рук. Он стискивает ее еще крепче и тянется ртом к губам ничего не понимающей Арминды, как вдруг между ними встает покойница! Она пришла сюда, чтобы спасти свою дочку. Мертвым все известно, и старая Лаура знала, зачем Антонио Балдуино позвал Арминду. И она встала между ними, вперив застывший взгляд прямо в глаза негру. Он выпустил Арминду, опрокинул кружку с водой и, закрыв лицо руками, словно слепой, побрел обратно в комнату. Покойница лежала на столе, огромная, как гора.

Филомено улыбается: он понял, зачем Антонио Балдуино просил у Арминды напитокя. Он сделает то же самое. «Вот скотина, — думает Антонио, — небось надеется, что ему повезет. Как бы не так — покойница не допустит.

Она все знает, обо всем догадывается. Но почему-то она не следит за Филомено. А что, если она не вмешается и Филомено добьется-таки своего?» Филомено встает и просит у Арминды напиться, а старухе вроде все равно. Антонио Балдуино в ярости бормочет:

— Вставай же, вставай!.. Ты видишь, он ее увел, он увел ее, он ее не пожалеет...

Но старухе хоть бы хны. Похоже, что она даже злорадно улыбается. Во дворе слышится какая-то возня, а потом Арминда возвращается в комнату и снова плачет, но уже совсем по-другому. Платье у нее разорвано на груди. Филомено входит, улыбаясь. Антонио Балдуино в ярости ломает руки, потом не выдерживает и громко кричит Толстяку:

— Разве ты не говорил, что она еще девчонка, что ей еще нет и двенадцати? Чего ж ты смотришь? И чего смотри покойница, почему она за нее не заступится?

Зекинья оборвал его:

— Ты пьян, иди проспись...

Кто-то закрыл покойнице глаза.

## ПОБЕГ

У Антонио Балдуино под курткой, за поясом, два ножа. Взмахнув серпом, Зекинья бросился на него. Враги сцепились, рухнули в засохшую дорожную грязь. Падая, Зекинья не удержал серп, тот отлетел далеко в сторону. Поднявшись, надсмотрщик снова бросился к Антонио Балдуино, но в руке у негра сверкнул нож. Зекинья помедлил в нерешительности, напрягся и прыгнул на соперника. Негр отступил на шаг, пальцы его разжались, нож выпал. У Зекиньи загорелись глаза. Проворно, по-кошачьи нагнувшись, он потянулся за ножом. Но Антонио Балдуино выхватил из-за пояса второй нож и всадил Зекинье в спину. У Антонио Балдуино всегда два ножа под курткой, за поясом... Смех Антонио Балдуино страшней, чем удар ножа, страшней, чем пролившаяся кровь.

Негру повезло — ночь стояла безлунная, и он укрылся в зарослях.

Он пробирается сквозь лианы, огибает деревья, которые встают на его пути. Добрых три часа он бежит, будто собака, за которой гонятся злые мальчишки.

В лесной тишине стрекочут цикады. Негр бежит сквозь лес куда глаза глядят, очертя голову. Ноги его разбиты в кровь, тело изранено. Он не замечает, что штаны на нем разодраны, не помнит, за что зацепился. А перед ним — все лес и лес. Темно, хоть глаз выколи. Вдруг затрещали сучья. Антонио Балдуино остановился. Что это? Погоня? Негр прислушался, сжимая нож, последнее свое оружие. Спрятался за ствол, слился с ним в темноте. Его рот кривится в улыбке, — первому из преследователей придется уснуть вечным сном. В руке у Антонио Балдуино открытый нож. Неужовимо, как призрак, проскальзывает мимо негра лесная тварь, не успев и разглядеть какая. Посмеялся негр над своим страхом, продолжает путь, руками раздвигая заросли. По лицу его течет кровь. Лес безжалостен к своим насильникам. Лицо Антонио Балдуино разодрано острым шипом, но он не замечает, не чувствует боли. Он помнит одно — на табачной плантации лежит убитый им человек. И в спине у человека нож, нож Антонио Балдуино. Негр не раскаивается. Зекинья сам виноват во всем, сам первый полез в драку. Он вечно придирался к Антонио Балдуино. Стычки было не миновать. И, не окажись в руке у Зекиньи серпа, негр не выхватил бы ножа.

Лес поредел. Сквозь листву видны мерцающие звезды. По ясному ночному небу плывут белые облака. Эх, мулатку бы сюда! Антонио Балдуино сказал бы ей, что ее зубы белей облаков... Выйдя на лесную поляну, негр садится на землю, любуется звездным небом. О драке он больше не думает. Сюда бы мулатку Марию... Но тетка увезла ее в Мараньян, уплыла Мария на огромном черном пароходе, осыпанном сверкающими огнями. Будь она здесь, они любили бы друг друга в молчании ночного леса. Антонио Балдуино вглядывается в звезды. Кто знает? Может, и Мария смотрит сейчас на эти же звезды? Звезды есть всюду. Вот только такие же или нет, думает Антонио Балдуино. Мулатка Мария смотрит на эти же звезды, и Линдиналва... При мысли о Линдиналве тяжело становится на душе. К чему вспоминать о ней? Линдиналва веснупчатая, бледная... не придаст она мужества такому негру, как он. Лучше уж думать о Зекинье, лежащем в грязи с ножом в спине. Линдиналва ненавидит негра Антонио Балдуино. Знай она, что он бежал и скрывается в этих зарослях, — сама бы донесла в полицию. Мария — та спрятала бы его, Линдиналва — никогда. Толстые губы Антонио Балдуино раздвигаются в улыбке. Линдиналва не знает, где он, не донесет. Негр сер-

дит на звезды, зачем они заставили его вспомнить о Линдиналве. Карлик Вириато, тот ненавидел звезды. Он говорил об этом... когда? Антонио Балдуино не помнит. Вириато не мог говорить ни о чем, кроме своего одиночества. И однажды он бросился в океан, ушел, как и старик, чье тело вытащили из воды темной ночью, когда грузили шведский корабль. Нашел ли Вириато успокоение? Толстяк говорит — самоубийцы отправляются прямехонько в ад. Но Толстяк, он немного тронутый, болтает невзвешенно. О Толстяке Антонио Балдуино думает с нежностью. Толстяк тоже не знает, что его дружок убил Зекинью ударом ножа. Вот уже две недели как Толстяк вернулся в Баию — соскучился по бабке, которую без него некому кормить с ложки. Толстяк добрый, он просто не может ударить человека ножом. Никогда Толстяк не умел драться. Антонио Балдуино помнит, как мальчишками они с Толстяком побирались в Баие. Толстяк милостыню умел выпрашивать, как никто. Но в драке от него было мало толку. Филипе Красавчик посмеивался над Толстяком. Хорош был собой Филипе Красавчик! Как все плакали, когда Красавчика задавила машина в день его рождения... Похороны были шикарные, будто у богатого мальчика. Женщины с Нижней улицы несли цветы. Рыдала старая француженка, мать Филипе. Его одели в новый кашемировый костюм, повязали нарядный галстук. Красавчику бы понравилось. Франтом был, любил яркие галстуки... Как-то Антонио Балдуино подрался из-за Красавчика с одним парнем. Негр улыбается. Здорово он тогда отделал Беззубого, хотя Беззубый бросился на него с ножом, а у Антонио Балдуино ножа не было. На Зекинью-то он вышел с двумя ножами, Зекинья всегда был ему противен, он сразу его невзлюбил, с первого взгляда. Все одно: не он, так другой прикончил бы надсмотрщика. У негра Филомено тоже был зуб на Зекинью. Все из-за этой девчонки, из-за Арминды. Зачем Зекинья связался с ней? Они ведь пришли первыми. В ночь бдения Антонио Балдуино не увел ее только потому, что покойница не спускала с него выпученных глаз. Филомено обнимал девчонку, тискал ей грудь. Нечего было Зекинье ввязываться, брать девчонку себе. Ей было двенадцать. Толстяк говорил. Двенадцатилетняя девочка. Дитё. Толстяк говорил, что она еще маленькая, и поступать с ней так — свинство. А Зекинье плевать на это. Заслужил он, чтобы его ножом... Эх, да что там греха таить — не надсмотрщик, так негр Филомено, а то и сам Антонио Балдуино сделали

бы то же самое. Двенадцатилетняя девочка... Нет, не из жалости к девочке прикончил Антонио Балдуино надсмотрщика. Он потому убил, что Зекинья взял Арминду себе, а негр сам хотел любить ее на нарах в своем бараке. Ничего, что ей двенадцать, она уже настоящая женщина... А вдруг нет? Вдруг прав Толстяк? С ребенком так поступать свинство. Теперь-то уж Зекинья ее и пальцем не тронет. Валяется падаль в грязи с ножом в спине. А что толку? Негр Филомено, наверное, уже увел ее в свой барак. Таков закон табачных плантаций. Женщин там — раз-два и обчелся. Одинокую девочку живо кто-нибудь сцапает. Разве что придет ей в недобрый час мысль податься на улицу гулящих женщин. В Кашоэйру, или Сан-Фелис, или в Фейра-де-Санта-Ана. Вот где свинство так свинство. Двенадцатилетняя девочка будет там нарасхват. А через пару лет станет она страшной старухой с дряблым телом и сальными волосами, пристрастится к кашасе, сгниет от дурной болезни. В пятнадцать лет будет выглядеть старой развалиной. Отравится, может быть. Некоторые в реке топятся, когда ночь потемней. Нет уж. Жила бы лучше с Зекиньей, собирала табак на плантациях. Но Зекинья лежит зарезанный.

Антонио Балдуино слышит в зарослях голоса. Подходит к тропе, вслушивается. Неясные какие-то звуки. Кто-то идет по дороге? Но дорога далеко, совсем в другой стороне. Тут — еле протоптанная тропинка. Теперь ясно слышатся голоса людей. Они совсем близко. Узкая полоска зарослей отделяет их от сбежавшего негра. Это — батраки с плантации. Они с винтовками, сели на тропе покурить. Ищут негра Антонио Балдуино, убийцу надсмотрщика. И не ведают они, что беглец тут, рядом, давится от беззвучного смеха. Но, услышав, что они говорят, негр испугался. Он окружен, и у него нет выхода. Или с голоду сохнет, или его возьмут. Антонио Балдуино крадучись отступает от тропы, скрывается в чаще. По другую сторону зарослей — дорога, там, наверное, тоже люди. Все оцеплено. Его окружили, загнали, словно бешеную собаку. Сдохнуть с голоду или сдать. Стрекот цикад выводит его из себя. В доме Зекиньи бдят, верно, сейчас над покойником. А Филомено, негр Филомено или здесь с ружьем караулит, или сидит возле Зекиньи и ест глазами Арминду. Прикидывает, как увести ее в свой барак. Зарезать бы этого Филомено. Но Антонио Балдуино в лесу, окружен, загнан, словно бешеная собака. Полумертвый от жажды, от голода.

Болят сбитые в кровь ноги. Зекиню надо было отлупить хорошенько и все. Разве он не Балдо-боксер? Сколько силачей одолел в Баие, на Соборной площади... Мог бы нокаутировать и Зекиню. Но у того в руке был серп. В драку с серпом. Не по совести это. А поступил не по совести — так пеняй на себя... Антонио Балдуино нарочно уронил нож, чтобы всадить другой Зекинье в спину. А выиграл на этом негр Филомено. Сидит сейчас в доме убитого, пялится на Арминду. Эх, зарезать бы этого Филомено. Да не может Антонио Балдуино войти в дом Зекиньи. Покойник, верно, лежит на топчане. В спине у него рана... А кинжал Антонио Балдуино негр Филомено небось заткнул себе за пояс. И уведет он Арминду к себе в барак... Негра этого, Филомено, — вот кого надо было убить. А сам он, Антонио Балдуино, сидит в ловушке, загнанный, окруженный со всех сторон. И умирает от жажды. Горло пересохло. Ноги сбиты в кровь, лицо тоже в крови, штаны и рубаха в клочья разодраны — это бы ничего. А вот внутри все пылает от жажды. И в желудке пусто. Но в этих зарослях ничего съестного не сыщешь. На гуаявах плодов нет еще и в помине. Рядом, шипя, проползает змея. Нестерпимо стрекочут цикады. Звезд не видно, их скрывают глухие заросли. Пить хочется, мочи нет. Антонио Балдуино закуривает. К счастью, сигареты и спички у него с собой, в кармане штанов. Поздно уж, наверное... Антонио Балдуино потерял счет времени. Может, полночь сейчас, а может, и за полночь. Закурив, он ненадолго забывает про голод и жажду. Когда Антонио Балдуино начал курить? И не вспомнить. На холме Капа-Негро он уже курил. За это ему здорово влетало от тети Луизы. Была бы она жива — что бы она сейчас сказала? Тетя Луиза любила его, хоть и бивала за всякие там проделки. Тронулась, бедная, таская на голове тяжелые корзины с африканскими сладостями. Тетя Луиза продавала на площади мунгунсу, мингау. У ее домика на холме собирались негры потолковать о том, о сем. Однажды пришел этот тип из Ильеуса, рассказал о храбрых буштарях — жагунсо. Увидал бы его человек из Ильеуса — залюбовался бы, стал бы долгими вечерами рассказывать о его подвигах. Хочется Антонио Балдуино, чтобы сложили о нем АВС. Может быть, тот лысый, что появился как-то на макумбе Жубиабы, сочинит АВС про Антонио Балдуино. Лысый всю жизнь только и делал, что писал АВС о са-

мых храбрых. Объехал весь свет на гнедом коне, разыскивая храбрецов. Так говорит Толстяк. А вдруг он, Антонио Балдуино, не достоин еще АВС? Достоин, достоин. Когда-нибудь человек из Ильеуса расскажет взрослым и детям о подвигах Антонио Балдуино, и все удивятся и захотят стать на него похожими. Вот вырвется он из ловушки, пробьется сквозь окружение — значит, заслужил АВС. Сколько их, преследователей? На плантации батраков человек тридцать, но ловят его, верно, не все. Негр Филомено, ясное дело, остался с Арминдой, наплел, наобещал ей с три короба. Знает он этого негра... Молчаливый негр — дрянной негр. Антонио Балдуино хватается за нож. С одним этим ножом он бросился бы на Филомено, пусть у того ружье. И об этом тоже расскажут в его АВС. С одним ножом вышел против жагунсо, вооруженного меткой винтовкой, и уложил его... Негр отбрасывает потухшую сигарету. Горит пересохшее горло. От голода становится тошно. Лицо сводит от боли. Он осторожно ощупывает порез. Кровь унялась, но рана ноет — мочи нет. Рана глубокая, большая, через всю щеку. Ноги и руки изодраны в кровь. Смертельная жажда. Выхода нет. Цикады стрекочут, задавил бы их всех. Лес поредел, Антонио Балдуино вновь видит звезды. Если бы воды... если бы пошел дождь... Но на небе не видно черных дождевых туч. Ветер гонит одни белые облака. Взошла луна, огромная, сияющая, — никогда в жизни не видал Антонио Балдуино такой луны. Перенестись бы сейчас в Баию, на набережную, к той женщине, у которой звучный, такой низкий голос. И пела бы она что-нибудь старинное, про любовь, какой-нибудь вальс. Потом их тела сплелись бы на прибрежном песке... Было бы здорово! Вон та звезда похожа на огонек «Фонаря утопленников». Эх, выпить бы теперь в «Фонаре утопленников», послушать слепца гитариста, поболтать с Толстяком, с Жоакином. Может, и сам Жубиаба пожаловал бы. Антонио Балдуино попросил бы у него благословения. Жубиаба не знает, что Антонио Балдуино в ловушке. Что он зарезал Зекинью. Но старый Жубиаба все бы понял, погладил бы негра по волосам, заговорил бы на языке наго. Нет, Жубиаба не скажет, что у Антонио Балдуино закрылся глаз милосердия. Что у него остался только злой глаз. Нет. Этого Жубиаба не скажет. У Антонио Балдуино глаз милосердия широко открыт. Да, он убил надсмотрщика, убил... но Зекинья хотел изнасиловать двенадцатилетнюю девочку... ребенка. Вот Толстяка спросите. Арминда маленькая еще,



ее мать, пока была жива, за ней смотрела... Хватит. Старцу Жубиабе врать бесполезно. Он — всезнающий. Он — жрец макумбы, он всемогущ, как Ошала... Жубиаба все знает... Покойница, мать Арминды, тоже знала... Не к чему душой кривить. Антонио Балдуино убил, потому что хотел Арминду. Ей двенадцать, но она уже женщина. Толстяк в этом не разбирается, знает одни молитвы. А потом Толстяк добрый, у него злого глаза совсем нет. Пусть Жубиаба найдет порчу на Филомено. Филомено дрянной негр, вот у кого закрылся глаз милосердия. Пусть погубят его злые чары, пусть Жубиаба зашьет в ладанку волосы из женской подмышки и перья стөрвятника урубуну... Почему качает головой старец Жубиаба? На языке наго жрец говорит, что у Антонио Балдуина закрылся глаз милосердия... Он сказал это? Антонио Балдуино хватается за нож, его горло пылает от жажды. А ну повтори... повтори! Скажет такое Жубиаба — он и его прикончит. А потом и себе пережежет глотку. На синем небе сияет луна. Это не луна, нет. Это Жубиаба, верховный жрец. Он повторил! Повторил! Антонио Балдуино бросается вперед с ножом в руке... Он чуть не налетел на своих преследователей — сидят на дороге, беседуют. Жубиаба исчез. Негр умирает от жажды. Он повернулся и ринулся назад в чащу, туда, где не видно луны, где нет ни звезд, ни набережной Баи, ни «Фонаря утопленников». Негр падает на землю, протягивает к дороге сжатые кулаки.

— Завтра я вам покажу, что такое храбрец... что такое настоящий мужчина...

Лицо нестерпимо болит. Адски хочется пить. Но, едва закрыв глаза, Антонио Балдуино погружается в сон без сновидений.

\* \* \*

Его разбудил птичий щебет. В первое мгновение Антонио Балдуино не понял, почему он здесь, а не на нарах, на табачной плантации. Но жажда, судорогой сводившая горло, и располосованное лицо живо напомнили о вчерашнем. Он убил человека. Он в лесу. Его ищут. Пить... Хотя бы глоток воды... За ночь лицо его чудовищно распухло. Негр осторожно ощупывает рану:

— Колючка-то была ядовитая, сволочь...

Антонио Балдуино садится на корточки, думает. Может, днем стеречь его не все остались. Он тихонько про-

бирается сквозь чащу, стараясь не напороться на шипы, стараясь не шуметь. Теперь светло, легче ориентироваться. Дорога от него по правую руку. Но он идет к тропе — там, наверное, врагов поменьше. Если бы не жажда... Голода он уже почти не чувствует. Живот подвело, но терпеть можно. Жажда — вот что страшно, горло будто веревкой стянуто. Надо выходить. Схватят так схватят. Будет драться, пока его не пристрелят. Смешно. Зекинью батраки ненавидели, а его, негра Антонио Балдуино, любили. Но хозяин приказал: не пойдешь ловить негра — убирайся с плантации. Если на тропе люди — быть беде... Он дорого продаст свою жизнь. По крайней мере, один умрет вместе с Антонио Балдуино.

— Одного прихватчу на тот свет...

Он смеется так громко, словно ему весело. Ему и вправду весело — разом со всем покончит. Славная будет драка, он дорого продаст свою жизнь. Больше всего негр Антонио Балдуино любит драться. Только сейчас он это по-настоящему понял. Ему на роду написано сражаться, убивать, быть убитым. Пуля в спину... Удар кинжалом в грудь... А живые расскажут, что он погиб, как настоящий мужчина, не выпуская ножа. Как знать? Долгими вечерами будут рассказывать негры друзьям и детям про Антонио Балдуино, боксера и нищего, забияку и сочинителя самб. Он убил человека, заступившись за девочку, и погиб, выйдя один против двадцати, дорого продав свою жизнь. Как знать...

Впереди блеснула какая-то лужа. Негр бросился на землю и, захлебываясь, пил, пил, пил... Потом промыл порез на лице.

\* \* \*

Вода! Почему он никогда раньше не замечал, какой у нее поразительный вкус! Она лучше вина, лучше пива, лучше самой кашасы. Пусть его теперь преследуют, пусть ловят, будто бешеную собаку. Плевать! У него есть вода. Он может пить, может промывать рану. Лицо болит, распухло. Негр растягивается на земле у самой воды, отдыхает. Он снова верит в себя, он снова счастлив, он улыбается. Ночью, в темноте, он просто не замечал луж. Их много. Вода в них мутная, застоявшаяся, но замечательно вкусная. Он долго лежит, думает. Вырвется на свободу —

куда ему идти? Может, в сертан податься, поступить батраком на какую-нибудь фазенду, пасти быков. На этих фазендах столько убийц приютилось... А не оставят его в покое — бандитом станет, будет жить жизнью, о которой всегда мечтал. Хуже всего, что теперь захотелось есть. Не найдется ли здесь еды — вода же нашлась. Он снова идет по лесу, внимательно осматривая деревья. Пусто. Вдруг он нападет на какую-нибудь живность. Спички у него с собой, разведет огонь... Нет. Нельзя. Заметят враги, оцепившие лес. Посмотреть бы, много ли их осталось. Лицо болит все сильнее. Антонио Балдуино щупает рану. Верно, колючка была ядовитая, сволочь.

Жубиаба знает чудодейственные лекарства от таких ран — разные лесные растения, травы, листья. Здесь они тоже есть. Но не узнает их Антонио Балдуино. Жубиаба сразу бы их нашел. Жубиаба все знает... Антонио Балдуино подошел совсем близко к тропе, осторожно выглянул. Вот они, преследователи. Все, как один человек. Сегодня никто не пошел работать. Видать, хозяин всерьез решил покончить с негром Антонио Балдуино. Сегодня у батраков праздник. Сидят, закусывают вяленным мясом, беседуют. Антонио Балдуино медленно возвращается в лес. Нож он снова заткнул за пояс. Бредет, задумавшись, и вдруг начинает смеяться:

— Со мной шутки плохи...

Хуже всего, что голоден. А потом, придется одному просидеть в лесу всю ночь. Никогда раньше не боялся он одиночества. Но сегодня негру не по себе. Мысли путаются. Антонио Балдуино видит места, по которым прошел в жизни. Видит и Линдиналву. Лучше думать о девчонке Арминде, которая, верно, уже спит с Филомено. Нет, не виноват Филомено. Не он, так другой увел бы девчонку. Мало женщин на табачных плантациях. Мулат Рикардо метался по ночам, нары ходуном ходили. Что-то он теперь делает, калека безрукий? Живет где-нибудь в Кашозэyre, просит Христа ради. А женщина у него есть? Кто знает... Вдруг сжалилась какая-нибудь... Его стоит пожалеть, он добрый мулат, хороший товарищ... А вот будь он сейчас на плантации — тоже бы пошел ловить Антонио Балдуино? У негра темнеет в глазах. Говорят, это от голода. Он снова пускается в отчаянные поиски еды.

Когда пришла ночь, он докурил последнюю сигарету. Он почти ничего не видел. Боль в распухшей щеке сводила с ума.

\* \* \*

Он идет к болоту, шатаясь, как пьяный. Вчера он ел только утром, пообедать не успел, пришлось бежать. Он идет, шатаясь, и призраки идут вместе с ним. Вот этот, тощий — откуда он? Тощий орет:

— Где Балдо, победитель белых?

Орет, да еще хохочет, издевается... Где же Антонио Балдуино с ним встречался? Вспомнил... В Баие, когда побил немецкого чемпиона. Негр улыбнулся. Тощий орал, а он, Антонио Балдуино, уложил-таки немца на ринге. И теперь тоже — вырвется, станет свободным. С ним шутки плохи. Чего это Толстяк читает отходную? Антонио Балдуино жив! А призраки тянут:

— Помолимся...

Не понимают они, что ли, как противно их слушать? Он подыхает от голода, рана кровоточит, москиты ее облепили... А тут еще призраки отпевают его. Негр ложится у лужи. Пьет. Оглядывается — призраки. Он протягивает к ним руки, умоляет. Уйдите, дайте умереть спокойно.

— Прочь! Прочь!

Они не уходят. Вот старая Лаура, мать Арминды. Глаза у нее распухли, она вся распухла, язык вылез наружу. Смеется старая над Антонио Балдуино.

— Убирайся в ад! Проваливай!

Негр поднимается, хочет уйти от призраков. Но тени не отступают. Даже Толстяк с ними, лучший друг Антонио Балдуино. И старец Жубиаба! Он говорит, что у Антонио Балдуино закрылся глаз милосердия. Ладно! Закрылся. Но пусть его оставят в покое. Ведь он умирает. Хоть бы умереть дали по-человечески. Не может он так, не может...

Призраки читают отходную. Негр натывается на какой-то корень и падает.

\* \* \*

Антонио Балдуино лежал недолго. А поднялся — в глазах светилась решимость.

Дорога от него по правую руку. Он идет твердым шагом. Будто и не голодал, и привидений не видел, и не просидел в лесу двое суток. В руке у Антонио Балдуино нож.

— Одного прихватчу на тот свет...

Его внезапное появление опарашило людей на дороге. Он сбивает с ног первого, кто стоит у него на пути. Он идет сквозь толпу, нож сверкает в его руке.

Он исчезает во мгле. Слышны случайные выстрелы.

— Черви уж завелись.

Старик лечит язву на лице Антонио Балдуино. Лицо распухло, стало бесформенным, красным, как помидор. Старик прикладывает к ране какие-то травы, смешанные с землей. Жубиаба сделал бы то же самое.

— Спасибо, дед... Добрый ты человек...

— Теперь заживет. Травка эта святая, чудодейственная.

Негр, бежавший с плантаций, добрался сюда, еле живой, скитаясь по лесу, что раскинулся по сторонам шоссе. Старик жил в маленькой, удивительно грязной хижине, затерянной в чаще. Перед хижинной — кусты маниоки. Старик приютил негра, накормил, возился с его раной. Рассказал, что Зекинья выжил, но хозяин приказал схватить и высечь Антонио Балдуино, чтобы другим было неповадно.

Антонио Балдуино расхохотался.

— Со мной, дед, шутки плохи. Я заговоренный... — Он залпом выпил ковш воды. — Ну, я пошел... Смогу — заплачу когда-нибудь...

— Ты что? Рана так не закроется, парень... хуже станет... Оставайся. Здесь тебя искать не будут, я человек мирный...

Негр прожил у старика три дня, пока не закрылась рана. Ел старикову пищу, пил его воду, спал на его койке.

\* \* \*

Антонио Балдуино простился со стариком:

— Хороший ты человек...

И отправился в путь по шпалам. Дойдет до городишка Фейра-де-Санта-Ана и махнет на попутном грузовике в Баию. Хорошо на душе у Антонио Балдуино, весело. В такой побывал переделке, из ловушки вырвался... Нельзя его победить. Он в этих краях первый храбрец. В небе горят звезды. Звезды видели, как он дрался. И не одурей от изумления его враги — прихватил бы он одного из них с собой в бездонное синее небо, к звездам. Сверкал бы Антонио Балдуино теперь на небе, сверкал бы нож в его руке... И смотрели бы на него мулатка Мария, и женщина с низким голосом, и Линдиналва. И вдруг Толстяк заметил бы новую звезду в небе... Толстяк всю жизнь мечтал открыть свою собственную звезду. Мануэл принял бы новую звезду за фонарь парусника, бегущего наперегонки с его «Ски-

тальцем»... Марья Клара пела бы самбы, сложенные Антонио Балдуино. Быть ему теперь звездой, если бы не очумели от его дерзости батраки, когда он вдруг возник на дороге, — на лице кровавая рана, открытый нож в руке. Не растеряйся они — кого-нибудь прихватил бы Антонио Балдуино на тот свет... Упал бы Антонио Балдуино, изрешеченный пулями... Тот, кто умирает, сражаясь, да еще прихватывает с собой одного из врагов, становится звездой на небе, а на земле слагают о нем АВС... Антонио Балдуино стал бы красной звездой, его нож сверкал бы красным светом. Это Жубиаба говорит, что храбрецы становятся звездами... Звонкий хохот Антонио Балдуино перекрывает пение цикад, вспугивает лесных зверей, забившихся в норы. В ночной тишине потянуло свежим запахом листьев. Налетел ветерок — предвестник дождя. Листья зашевелились, воздух наполнился ароматом леса. Впереди на рельсах показалось что-то большое, черное, с огнями. Послышались спорящие голоса. Это остановился поезд. Везет, наверное, в Фейра-де-Санта-Ана пассажиров, прибывших сегодня в Кашоэйру из Баии.

Люди осматривают паровозное колесо. Антонио Балдуино обходит состав с другой стороны, останавливается перед багажным вагоном. Если дверь не заперта — он уедет на этом поезде. Негр изо всех сил наваливается на широкую дверь, и она поддается. Не заперта, значит. Негр по-звериному, бесшумно и ловко, прыгает в вагон, изнутри закрывает дверь и тут только видит, что напугал каких-то людей, притаившихся в глубине за мешками с табаком.

— Эй, друзья... Я человек мирный... Мне тоже за билет платить неохота...

Он смеется.

\* \* \*

Негр сразу понял, что женщина ждет ребенка, хоть живот у нее не совсем еще вздулся. Мужчин было двое. Старик дремал, покуривая. В руках у него был посох. Когда в темноте вагона вспыхивал огонек самокрутки, посох казался змеей, готовой к прыжку. На молодом красовались брюки военного образца и поношенный кашемировый пиджак. Борода у него еще не росла, над верхней губой едва пробивались редкие волосики, которыми он, видно, гордился. Разговаривая, парень то и дело поглаживал воображаемые усы. «Молокосос», — решил Антонио Балдуино.

Поезд стоял, и безбилетные пассажиры молчали. Случилась поломка, обычная на этой линии, и в ожидании, что

поезд тронется, они уже полчаса сидели молча. Снаружи могли услышать их голоса, начальник поезда взялся бы за безбилетников. Поэтому старик приоткрыл один глаз и сказал Антонио Балдуино:

— Потише, негр, если хочешь ехать... не то выкинут нас отсюда... — И указал глазами на беременную.

Антонио Балдуино попробовал догадаться, кто ей старик — отец или муж? По возрасту — отец, но и мужем может быть. Да, с таким брюхом пешком до Фейра-де-Санта-Ана ей не дойти. Глядишь, родит по дороге. Негр беззвучно смеется. Парень в солдатских штанах смотрит на него, поглаживая усы. Ему, видно, не очень понравилось появление Антонио Балдуино. Вдруг послышались приближающиеся голоса. Начальник поезда объяснял пассажирам первого класса причину задержки.

— Пустяковая неисправность... Сейчас тронемся...

— Мы потеряли тут почти час...

— Такое бывает на любой железной дороге...

— Но у вас тут — сплошное безобразие...

Протяжный, тонкий, тоскливый свисток известил об отправлении поезда. Притаившись в темном вагоне, Антонио Балдуино пробормотал прощальный привет.

— Скучать по ком-нибудь будешь? — спросил старик.

— По змеям разве что. — Негр рассмеялся. Потом он опустил голову и сказал, ни на кого не глядя: — Девчонка одна... совсем ребенок...

— Красива? — спросил паренек, подкручивая усы.

— Красивая... на городскую похожа...

— И ты бросил?

— Жила с другим... Он так и не умер...

— Я знал одного, так тот украл женщину, — сказал старик.

— Я знаю такого, который человека пырнул ножом из-за такой вот девки... сидел потом два дня в лесу, подышал от голода... — Антонио Балдуино рассказывал свою собственную историю.

— И не боялся?

— Молчи, парень... Ты еще ничего не знаешь. Его со всех сторон окружили... Тебе интересно, трус он или нет? Тогда бросай мне вызов...

— Значит... это вы? — Солдат с уважением поглядел на Антонио Балдуино.

Женщина, сидевшая молча, вдруг застонала. Старик сказал:

— Правы те господа, пассажиры первого класса. Поезд этот — чистое безобразие... Если в первом классе трясет, что ж о нас говорить, едем в товарном вагоне, зайцами.

— Я два мильрейса дала носильщику, чтобы сюда забраться, — простионала женщина.

— Когда я солдатом был, в первом классе ездил, — похвастался парень. — На казенный счет...

— В первом? — не поверил Антонио Балдуино.

— В первом, сеньор. Вы что, не знаете, какие у солдат привилегии?.. Живете тут в этой дыре, у черта на куличках... темнота...

— А я не здешний... Я тут, приятель, проездом... Я-то сам из Баии... Ты слыхал про такого боксера — Балдо? Это я и есть...

— Вы! Я видел, как вы победили Шько Мозлу...

— Здорово я его отделал... верно? — Негр улыбнулся.

— Здорово. Я там был по даровому билету. Солдатская привилегия...

— Чего же ты службу бросил?

— Срок мне вышел... а тут еще...

Старик приоткрыл глаз:

— Что?

— Капрал один... Думает, раз у него погоны... Капрал и дерьмо — один черт... Он-то считал иначе...

— Он к тебе прицепился? — Старик оперся о посох.

— Точно... все равно, мулатка эта меня любила. Капрал ко мне придирался, я у него с «губы» не вылезал... чтобы в отпуск меня не пускать... у самого-то рожа...

— Ты, парень, мне нравишься. Сколько лет-то тебе?

— Девятнадцать...

— Ты жизни и не видал еще... А уж я-то от нее натерпелся — устал... — пожаловался старик.

— От чего устал, папаша? — поинтересовался Антонио Балдуино.

— Чего я только не испытал, парень, где только не побывал... Кто в наших краях не знает Аугусто Битого... Это из-за одной драки меня так называли... И что же осталось на старости лет?.. Одни болезни...

Бывший солдат угостил сигаретами. Антонио Балдуино закурил. При свете спички он разглядел лицо женщины: она не отрывала глаз от полоски неба, видимой в щель над дверью. У женщины лицо было усталое, видно, хлебнула горя.



Старик продолжал:

— В прежние времена скота у меня было не счесть... Гонял его на продажу в Фейра-де-Санта-Ана... Плантация табачная была, пока немцы сюда не сунулись... земля была... Много чего было...

Старик замолчал. Казалось, заснул, но вдруг он проговорил сдавленным голосом:

— Семья была... Не веришь?.. Две дочери были, я их даже в гимназию отдал... Наглядеться на них не мог... И все прахом пошло... скотина и прочее... одну девчонку белый какой-то околдовал, увез невесту куда... Другая тут живет, в Кашоэйре... волосы остригла, будто помешанная... продажной стала. Ладно, я хоть знаю, где она... А другая?

Женщина отвела взгляд от двери:

— Вы, видать, продажных не любите...

— Пропашпе они... лохматые, крашенные...

— Не знаете вы, каково им приходится... Ничего вы не знаете... ничего...

Старик растерянно замолчал. Заговорил бывший солдат:

— У меня любовница была такая... до полуночи клиентов принимала, а потом я к ней шел, до утра оставался... Хорошее было время...

— Чего же вы тогда говорите?

— Я ничего и не говорю...

— Ничего не знает, — гневно сказала женщина, — а туда же... Я вот от такой жизни с голоду чуть не подохла... господь избавил — сжалился...

Антонио Балдуино удивился. У таких детей не бывает. Но промолчал.

Старик приоткрыл один глаз:

— Я ничего такого не говорю, упаси господи... Если бы не дочь, на что бы я жил? Жив ее помощью... И уважает меня, ничего не скажешь... Как приду, сейчас всех мужчин вон выставит. Только вот стриженная.

Женщина рассмеялась. Антонио Балдуино изрек:

— Жизнь бедняка — мука мученическая... Бедняк все равно что раб...

Бывший солдат поддакнул:

— Знал я одного капрала — он то же самое говорил.

— Это тот, который красотку у тебя увел?

— Другой. Между прочим, Роман ее не увел... Она меня любила...

— А жила с ним, — захохотал Антонио Балдуино.

— Ты же ее не знаешь, такая красавица... С ней ни одна женщина не сравнится.

Поезд подошел к какой-то станции. Безбилетные пассажиры притихли. Очень близко по линии ходили люди. Чей-то голос сказал: «Прощай, прощай...» Еще послышалось: «Привет Жозефине». Совсем рядом раздался шепот.

— Ты забудешь меня...

Голос был женский, грустный. Мужской голос ответил, что не забудет.

— Пиши...

Послышался поцелуй — и звук его слился со свистком, оборвавшим проводы. Колеса застучали по рельсам. Бывший солдат объяснил:

— Паровоз говорит: «Еду с богом, еду с чертом». Точно?

— Вроде.

— Это мне мать так сказала, когда я и ходить-то еще не умел. Другой паровоз, большой, который много вагонов тащит, тот говорит иначе: «Кофе с молоком, хлеб с маслом». Точно? — Солдат задумался.

— У тебя есть мать? — спросила женщина.

— Еду к ней... плакала, когда я в армию уходил... Женщины все такие... Думает, я все маленький. — Он покручивал несуществующий ус.

— Все мы одинаковые, — сказала женщина. — Слышали, — она обращалась к Антонию Балдуино — ту, на станции? Просила, чтоб он ей писал...

— Слышал...

— Никогда больше она его не увидит... Я тоже. — Она замолчала.

— Что? — Старик открыл оба глаза.

— Да так, ничего особенного... — Она стала что-то на свистывать.

— Этот мир гнусно устроен. — Старик зло сплюнул. — На муку рождаемся...

— Нет, папаша, жизнь штука неплохая... вам просто не повезло. — Бывший солдат улыбается.

— Неплохая, коли есть деньги, — отрезала женщина.

— Значит, мать у тебя? — спросил Антонию Балдуино, оборачиваясь к солдату. — Я своей матери никогда не видал. А тетка моя рехнулась... Вот у Толстяка есть бабушка...

— У какого еще Толстяка?

— Есть такой, ты не знаешь... добрый...

— Добрый? — едко переспрашивает старик. — Чуть...  
Добрых не бывает...

— А Толстяк вот — добрый...

Старик опять задремал. Негру ответила женщина:

— Есть добрые... бедняк рождается на горе горькое...  
Бедность делает человека злым.

Поезд идет быстро. Бывший солдат растянулся на мешках с табаком. Негр разглядывает женщину. Лицо в морщинах, и до чего же страшный живот. И все-таки Антонио Балдуино замечает, что глаза ее улыбаются. Она смотрит в небо сквозь щель над дверью.

— Всё от бедности, знаете? Вот я на него и не сержусь... Бросил меня с брюхом...

— Ваш муж? — вежливо спрашивает солдат.

— Я проститутка... замужем никогда не была...

— Я так и думал...

— Что ему было делать? Денег — ни гроша... Где уж тут сына вырастить... Ночью убежал, будто вор... Все свое барахло оставил... Я знаю — меня-то он любит...

— Убежал, как увидел, что будет маленький?

— Да... я клиентов бросила, ушла к нему... Стирала, жили, будто венчанные... Добрый он был, такой добрый, прямо святой... хоть на алтарь ставь...

— Сильно вы его любите...

— Чистая правда... прямо святой... Однажды я говорю ему радостно так — у нас будет маленький... У него такое лицо сделалось... смеялся он, целовал меня... так хорошо было...

— А меня дома невеста ждет, — сказал солдат. — Хорошенькая... Вернусь — поженемся.

Странное было лицо у парня, когда он говорил это. Ни дать ни взять — покойник. Глаза закрыты, на губах улыбка, круглое лицо безмятежно счастливо... У живых так не бывает.

Женщина покачала головой. Видать, много пережила — уж очень усталое выражение на ее нестаром еще лице. Жаль ей солдатика. Такой славный и жил-то еще совсем мало — и на тебе, собрался жениться... Но Антонио Балдуино спрашивает:

— А потом что?

И женщина продолжает:

— Все нужда проклятая... Жили в дыре, впроголодь... Он работал, я белье чужое стирала — денег все равно не было. Потому и ушел.

Жаль ей солдатика. Тот приподнялся на локте, жадно вслушивается.

— Ночью ушел: Я и не заметила... Все свое барахло оставил... Я потом догадалась — сбежал, чтоб не видеть, как малыш голодает... Говорят, работает он теперь в Фейра-де-Санта-Ана... Я к нему еду...

Солдат помрачнел. Теперь он думает, как раздобыть денег, чтобы кормить жену, а потом и детей.

— Уж очень она хорошенькая... И потом, я ведь буду работать... Работы я не боюсь...

Женщина подбадривает его:

— Конечно...

Но парня одолели сомнения — сразу видно. Антонио Балдуино говорит женщине:

— Буду вашему сынишке крестным...

— Я ему чепчик сшила... Одна старушка дала мне пару пеленок... Больше у него ничего нет... нищим рождается...

Бывший солдат сказал:

— Нет, не женюсь... А хорошенькая...

Поезд прибыл на станцию Сан-Гонсало. Сошло несколько пассажиров. Городок спит, спрятавшись в густых садах. Шум поезда разбудил ребенка где-то поблизости. Послышался детский плач. Женщина счастливо улыбнулась.

— Туго вам придется, — говорит Антонио Балдуино. — Будет у вас малыш по ночам реветь...

— Хочу мальчика...

Свисток отходящего поезда разбудил старика.

— Солгал я... Есть хорошие люди... Вот — дочка моя, Мария... Зэфа, та — дрянь... Будто в воду канула... померла, может? А Мария — добрая, деньги мне дает... ругается, как напьюсь... А я из-за Зэфы пью... Мария-то добрая...

Голова старика опустилась на грудь, он опять дремлет.

Бывший солдат говорит женщине:

— Вот какие дела... Мальчика, значит, хотите? У меня тоже сын будет, как женюсь... Говорят, некоторые мужья от боли корчатся, когда жена рожает...

Он снова счастлив. Он смотрит на женщину без тени желания. Его сердце чисто, он с бесконечной нежностью думает о Марии дас Дорес, которая ждет его в Лане. Он улыбается: девчонка не знает, что он едет, то-то удивится... Жалко, усы мало выросли... Она его и не узнает поначалу-то...

— А вдруг она меня не узнает?

— Кто? — удивляется Антонио Балдуино.

— Никто. Так просто...

Старик проснулся. Он трясется от холода. Снова поднялся ветер, предвещающий непогоду. Под натиском ураганного ветра поезд вздрагивает на рельсах.

— Опрокинется еще, развалина, людей передавит, — говорит Антонио Балдуино.

— Бедняку — страдание вечное... Одни на счастье рождаются — богатые это... Другие на муку — бедняки... Так заведено с сотворения мира.

Бывший солдат сладко спит, негромко похрапывая. Он не слышит свистящего воя ветра.

— Ливень будет, потоп... — Старик дотащился до двери, смотрит сквозь щель наружу.

— Я в таких местах побывал, папаша, где уж очень людям худо приходится... Десяти сентаво в день не зарабатывают...

— На табачных плантациях?

— Там, старик...

— Ты и не ведаешь, негр... Я здесь состарился... Я такое видал — волосы дыбом встанут... Сказать? — Его глаза блестят странным блеском, он отбрасывает посох, встает. — Бедняку такое невезение на роду написано, что, если за дерьмо будут деньги платить, у бедняка замок делается...

Негр хохочет. Старик теряет равновесие, опрокидывается на мешки с табаком. К нему бросается женщина:

— Ушиблись?

Солдат похрапывает. Женщина, оказавшись рядом с Антонио Балдуино, шепчет:

— Я не сказала, чтобы его не расстраивать. — Она кивает в сторону парня. — Если правду говорить, я не знаю, почему меня Ромуалдо бросил. Думаю, от нищеты сбежал... А соседка говорит, ушел он к Дулсе... была там такая... Кто знает? — Голос ее срывается. — Нет, не поверю... Он бы меня так не бросил...

Солдат спит, счастливый, будто он уже покончил счеты с жизнью.

— Так вот... с ребенком в брюхе... Ну почему, почему он ушел?

Антонио Балдуино чиркает спичкой и видит, что женщина плачет, плечи у нее вздрагивают. Негр смущен, не знает, что сказать, бормочет:

— Не горюйте... обязательно будет мальчик...

# ДОСТОПОЧТЕННАЯ ПУБЛИКА

В БЛИЖАЙШИЙ ЧЕТВЕРГ

18

в 8 часов

в 8 часов

## БОЛЬШОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦИРК

огромный успех во всех столицах  
ЕВРОПЫ и в БАИЕ.

Предлагает вниманию distinguished публики  
из Фейра-де-Санта-Ана

четверг

18

в 8 часов вечера

*Неподражаемый паяц Пузырь. Смех! Смех! Смех!*

*Макака-пьяница, медведь-борец, африканский лев, знаменитая  
воздушная гимнастка Фифи.*

*Человек-Змея, Жужу и дрессированный конь,*

*Глотатель огня, великий эквилибрист Роберт*

и

**НЕПОВТОРИМАЯ РОЗЕНДА РОЗЕДА**

Победно является публике  
В вихре чувственной бури,  
Вступая в золотые врата  
Своей театральной славы.

ВСЕМИРНЫЙ чемпион свободной борьбы, бокса и капоэйры

БАЛДО, «ЧЕРНЫЙ ГИГАНТ»,

приглашает померяться силами любого жителя Фейра-де-Санта-Ана во время кратких, но блестящих гастролей цирка в вашем героическом городе.

**5 ТЫСЯЧ**

**ПРЕМИЯ ПОБЕДИТЕЛЮ**

**5 ТЫСЯЧ**

В ближайший четверг 18 БИЛЕТЫ ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ.

**ВСЕ В БОЛЬШОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦИРК**

## ЦИРК

С Луиджи он встретился совершенно случайно. Антонио Балдуино провел остаток ночи, шатаясь по городу. Бывший солдат сразу уехал в Лапу. Старикуну было где остановиться. Женщина пошла к подруге. Наутро Антонио Балдуино решил найти попутный грузовик и бесплатно вернуться в Баию. Он как бы невзначай подошел к одной машине — ее как раз грузили — и спросил у шофера, будто просто так:

— Ты, брат, не в Баию?

— В Баию, — ответил веселый ладный мулат, шофер. — А тебе что — посылку отправить?

— Посылку, да еще какую! Вот этого негра! — Антонио Балдуино, смеясь, ткнул себя в грудь.

— Ишь ты! В Баие теперь праздник... Весело там, парень...

Антонио Балдуино присел на корточки рядом с шофером, тот угостил его сигаретой.

— Зверски, брат, домой хочется... Вот уж год почти, как ушел...

Шофер пропел:

Баия, мой прекрасный город,  
зачем покинул я тебя?

— И не говори... верно, хороша Баия... До смерти туда хочется...

— Поедешь со мной на грузовике? Я после обеда отваливаю...

— У меня, приятель, ни гроша...

— Истратился на красоток, — захохотал шофер.

Антонио Балдуино подмигнул:

— Может, и так...

— Ладно. У меня помощника нет. Ты за него поедешь...

— Спасибо...

— Придется эту развалину где подтолкнуть — пособишь...

— Ты когда снимаешься?

— После обеда... час, полвторого...

— Ну, я пошел...

— Куда?

— Прощусь с друзьями.

— Так ровно в час...

— Ладно...

Антонио Балдуино пошел бродить по городу. Никаких друзей у него не было, но не хотелось, чтобы шофер знал, что он не евши, голодный поедет. Ничего, поужинает в Баие с Толстяком или Жоакином. А то с самим Жубиабой. Об этом думал Антонио Балдуино, и еще — где бы добыть сигарету. Вдруг за его спиной крикнули:

— Святая мадонна! Балдо!

Он обернулся. Перед ним стоял Луиджи, сам Луиджи, собственной персоной. Негру бросились в глаза его поредевшие волосы, потертый костюм.

— Луиджи...

Итальянец схватил его за плечи, оглядел, повертел во все стороны и весело произнес:

— Великолепно...

— Как тебя сюда занесло, Луиджи?

— Враждебный ветер, мой мальчик, враждебный ветер...

— При чем тут ветер, черт возьми!

— С тех пор как ты ушел с ринга, Балдо, удача повернулась ко мне задом...

Луиджи грустно посмотрел на негра:

— Тебя ждала головокругительная карьера... Какая обида... взял и сбежал, ничего не сказав...

— Очень уж меня эта потасовка расстроила...

— Пустяки... пустяки... Что это за боксер, которого хоть раз в жизни не нокаутировали? Да и пьян ты был, как свинья.

— А какого дьявола ты сейчас здесь, Луиджи? Ты что, нового боксера завел?

— Какого боксера... такого, как ты, мне больше не встретилось.

Антонио Балдуино захохотал, довольный. Ткнул итальянца в грудь.

— Да, такого больше не встретилось... Теперь я тут с одним цирком.

— Цирком?

— Гнусное предприятие... И не спрашивай...

Они зашли в ресторанчик. Луиджи заказал кофе. Антонио Балдуино признался:

— Возьми мне сигарет, Луиджи... Я на мели...

Он знал — с Луиджи можно говорить откровенно. Вдруг он о чем-то вспомнил, пробормотал:



— Тебя одного там не было... когда я в ловушке сидел, в лесу, помирал с голоду...

— Я не знал, мой мальчик... как же это случилось?

— Да нет, ничего... Я голодный был, думал — конец... И, знаешь, привиделось мне, будто все, кого я знал в жизни, бегут за мной, отпевают меня, как покойника... Тебя одного там не было...

Луиджи все еще не понимал толком. Пришлось рассказать ему о драке с Зекиней и бегстве в лес, о призраках. Говорил Антонио Балдуино нехотя, хмуро и наспех — не терпелось узнать, что это у Луиджи за цирк.

— Так что же ты теперь делаешь?

Луиджи невесело покачал головой.

— Паршивое предприятие... Когда ты сбежал, я не у дел остался...

— До ручки, как говорят, дошел?

— Вот именно... Тут-то и подкатил этот цирк... Большой международный цирк, видишь ли... Хозяин тоже итальянец, некий Джузеппе. В Баие они неплохо зарабатывали, да у Джузеппе дела были запутаны, вся выручка пошла кредиторам, еще долги остались. Я своих денег внес, сколько недоставало, стал пайщиком... Пайщиком-неудачником... По каким только захолустьям нас не носило, святая мадонна! Доходов никаких, расходы бешеные. Считаю, что мы банкроты. На краю гибели.

Луиджи махнул рукой и пустился в подробности. Антонио Балдуино бросил:

— Черт знает что...

Вдруг Луиджи посмотрел на него и сказал:

— Знаешь? Пришла мне в голову одна мысль... Все еще можно поправить. Мне нужен ты.

— Я? Я еще циркачом не бывал...

— Ты и боксером не был, а я тебя сделал...

Они, улыбаясь, принялись вспоминать прошлое, а когда поднялись из-за столика — Антонио Балдуино состоял в труппе Большого международного цирка как борец. Негр нашел шофера, предупредил его:

— Раздумал в Баию ехать, приятель...

— Бабы не пускают, — расхохотался шофер.

— Может, и так. — Негр подмигнул.

Устный контракт, заключенный с Луиджи, гласил, что у Антонио Балдуино будет жилье, еда и деньги, если в цирке появятся деньги. Но за деньгами негр Антонио Балдуино не гнался.

Афиша все еще лежала на земле. На ней было написано синими буквами: «Большой международный цирк». Около афиши растянулся спящий Джузеппе. Луиджи объяснил:

— Нализался... вечно он так...

И пнул соотечественника ногой. Тот бессвязно забормотал:

— Прошу внимания... сейчас он сделает сальто-мортакле... одно слово — и великий гимнаст у-бьется...

Люди копали ямы, сооружали скамьи. Работали все, артисты, служители, администрация. Луиджи провел Антонио Балдуино в свой барак. И первое, что бросилось в глаза негру, был собственный его портрет, фотография Антонио Балдуино в позе борца — так его сняли когда-то для одной баиянской газеты.

Луиджи растянулся на кровати (точнее, кушетке, которую выносили на арену для номера Человека-Змеи) и продолжал свои объяснения:

— Кто победит, получит пять тысяч... Вот увидишь, никто не захочет с тобой бороться...

— Но бороться-то надо, иначе зрители взбесятся...

— А кто сказал, что не надо? Найдем кого-нибудь за двадцать мильрейсов. Желающие найдутся. Ты красиво положишь его на обе лопатки.

— А если объявится мерзавец, которому охота подраться по-настоящему?

— Не объявится...

— А вдруг?

Луиджи указал на портрет:

— Ты же боксер, мальчик.

Антонио Балдуино кивнул и, насвистывая, погладил портрет.

Луиджи заметил:

— О былом жалеешь? Состарился?

— Тогда у меня на роже шрама не было.

— Со шрамом лучше, это усиливает впечатление.

В дверь постучали. Луиджи открыл. Вошла маленькая женщина и стала требовать, чтобы ей заплатили жалованье — задерживают уже полтора месяца.

— Я так работать не буду... завтра на меня не рассчитывайте.

— Моя дорогая, завтра вы все получите...

— Завтра получите... всегда у вас так... Вот уж два месяца завтраками кормите. Хватит. Завтра я не работаю.

— Но завтра у нас обязательно будут деньги... Вы еще не знаете...— Луиджи обернулся к Антонио Балдуино.— Это Фифи, воздушная гимнастка... Она немного нервничает...

Маленькая женщина посмотрела на негра. Луиджи представил:

— Знаменитый Балдо... Вы о нем, конечно, слышали...

Женщина кивнула, хотя никогда не слышала этого имени. Луиджи говорил быстро, чтобы не дать ей опомниться:

— Так вот... первый борец Бразилии... В Рио не нашлось силача, способного с ним справиться... Балдо только что из Баии — я посылая за ним подписать контракт... Он сел в автомобиль и примчался к нам...

Женщина сомневалась:

— На какие же деньги вы наняли эту знаменитость, Луиджи? Тут что-то не так... Я, кажется, видела этого негра в кабине грузовика... Слушайте, молодой человек... если вы бросили шоферское место и думаете у нас заработать — вы жестоко разочаруетесь... Денег здесь не водится...

Она круто повернулась и пошла к двери. Но Антонио Балдуино преградил ей путь, сердито схватил за руку:

— Тихе, дона... Я вправду борец... Был абсолютным чемпионом Баии. Видите портрет на стене? Это я...

Женщина взгляделась, поверила:

— Хорошо... Но как вы тут очутились? Денег у нас нет...

— Приехал выручить друга...— Негр потрепал Луиджи по плечу.— Верного друга...

— Ах! Разве что так...

— Завтра у нас будет куча денег...

Женщина смутилась, стала оправдываться:

— Тут есть такой шофер — вы с ним как две капли воды похожи...— В дверях она обернулась с любезной улыбкой. Антонио Балдуино переглянулся с Луиджи.

— История с Рио не прошла, дружище...

Луиджи сел сочинять афишу, которую должны были вывесить на следующий день. Негр читал через его плечо.

— Пусть мое имя будет написано самыми большими буквами. Вот такими...— Он широко развел руки.

Проспавшись, Джузеппе становился решительным и активным. Казалось, будто он способен спасти положение, вывести цирк из тупика, заплатить жалованье артистам и служителям. Но его активность ограничивалась жестами и словами, на которые он был очень щедр.

— Эй, ребята! Работа совсем не идет! Этот курятник давно уже должен стоять! Я один надрываюсь! Без меня ничего не делается!

Если кто-нибудь из артистов возражал ему, Джузеппе взрывался:

— Вы только деньги просить умеете! А на искусство вам что — плевать? В мое время мы ради искусства работали, ради аплодисментов, цветов. Ради цветов, слышали? Цветы... девушки бросали на арену цветы... вышитые платочки... если бы я захотел, собрал бы коллекцию... Но я к этому равнодушен. Я жил тогда только искусством. В мое время воздушный гимнаст был прежде всего воздушным гимнастом... — В этом месте Джузеппе оборачивался к Фифи: — А воздушная гимнастка — прежде всего воздушной гимнасткой!

Фифи возмущалась, Джузеппе продолжал:

— А теперь? Вот вы, Фифи, неплохая артистка, думаете только о деньгах. Аплодисменты для вас — ничто.

— Аплодисментами сыт не будешь...

— А слава? Не хлебом единым... Иисус Христос сказал.

— Христос не был воздушным гимнастом...

— Да... В мое время было иначе... Овации, цветы, платочки — все это мы ценили... Теперешним подавай деньги... Ладно, завтра вы получите свои деньги... Все, до последнего гроша, заплачу... все...

Но в конце Джузеппе всегда просил:

— Вы же знаете, Фифи, дела идут плохо... Что я могу поделать... Я старый циркач, я всю Европу объездил... У меня альбом, могу показать... А теперь я здесь, и я с этим смирился... Вы думаете, у меня есть деньги? Одни долги... Потерпите, Фифи, вы — добрая девочка...

— Но, Джузеппе, мне нужен костюм. Мое зеленое трико чиненое-перечиненое, в нем выступать-то неудобно...

— Фифи, поверьте: получим деньги — вам первой заплачу...

И он уходил, отдавая пустые приказания, браня за медленную работу, охаявая все, что с таким трудом сделал Луиджи. В конце концов он попадал в кабак и рассказывал незнакомым людям, угощавшим его кашасой, о своей былой славе воздушного гимнаста.

В этот вечер Джузеппе, возвращаясь домой, пометил углем лбы нескольких мальчишек, чтобы их пропустили на представление без билетов. У входа в свой барак он столкнулся с Антонио Балдуино. Негр притворился, будто любит звезды. На самом деле он подглядывал в щель барака, где помещалась Розенда Розеда, черная танцовщица, главная приманка Большого международного цирка. Розенда переодевалась при свете свечи, и негру удалось разглядеть ее бархатную спину. Антонио Балдуино напевал одну из своих самых удачных самб:

У негритянки — кожа бархат...  
Как тронешь — так и кинет в дрожь.

Заметив Джузеппе, он сделал вид, будто смотрит на звезды. Интересно, какая из них — Лукас-да-Фейра? Когда-то ему показывали звезду, в которую превратился Зумби из Палмареса. Но здесь этой звезды нет. Она сверкает только в Баие, ночами, когда гремит макумба, когда негры славят великого Ошосси, бога охоты. Звезда Зумби из Палмареса оберегает негров, горит, когда им весело, гаснет, когда у них горе. Кто сказал ему это? Толстяк? Нет, сам Жубиаба, однажды ночью, на берегу океана. Толстяк непременно приплел бы ангела к истории о Зумби. Старец Жубиаба хорошо знал подвиги Зумби из Палмареса и других знаменитых и храбрых негров. Впрочем, можно снова заглянуть в щель — Джузеппе идет медленно, пошатываясь, здесь он будет не скоро. Но Розенды больше не видно — она погасила свечку. Если бы не Джузеппе — несчастный пьяница! — он бы увидел Розенду обнаженной.

Вот это женщина... Пусть в цирке вовсе не будет денег, — пока в нем Розенда Розеда, Антонио Балдуино никуда не уйдет. Африканская красавица... В «Фонаре утопленников» все бы рты пооткрывали, с ума от нее походили бы.

Подожел Джузеппе. Хотел пожать Антонио Балдуино руку, но, потеряв равновесие, чуть не грохнулся.

— Устал, как собака... Тружусь, будто проклятый...

— Оно и видно...

Джузеппе понадобилось полчаса, чтобы добраться до своей двери.

«Чего доброго, пожар устроит, как будет чиркать спички»,— подумал Антонио Балдуино и на всякий случай подошел поближе. Но Джузеппе уже зажег свечу, сел за колченогий столик. На столике лежат какие-то большие, нарядные, потертые от времени книги. Негра мучает любопытство, он, словно вор, подглядывает за Джузеппе. Почему Джузеппе с такой нежностью гладит корешки больших книг? Осторожно, медленно, сладострастно — так негр Антонио Балдуино ласкает своих любовниц. Но вот Джузеппе обернулся — негр видит его глаза.

Бывают такие типы — напьются, и заберет их тоска. Другие радуются, поют, хохочут... А эти мрачнеют, а то и плачут. Джузеппе из тех, кого тоска берет. Антонио Балдуино не выдержал — вошел в барак. Джузеппе выпил сверх меры, затосковал.

\* \* \*

Это было весной, в Италии. В альбоме фотография господина с пышными усами — это отец Джузеппе. В роду Джузеппе все циркачи, у всех у них был свой цирк. На пожелтевшей от времени карточке — дедушка Джузеппе в шикарной форме. Нет, не генерал — хозяин цирка. Большого международного цирка... Но в те времена это был настоящий цирк... Одних только львов держали более тридцати. Двадцать два слона было... тигры... и еще всякие звери...

— Я немного выпил, но я не вру...

Антонио Балдуино верит.

Отцовские усищи внушали почтение. Джузеппе был совсем маленьким, но он хорошо все помнит. Когда отец поднимался на трапецию, цирк готов был рухнуть от грома аплодисментов. Зрители безумствовали! А когда он прыгал с трапеции на трапецию и выполнял в воздухе тройное сальто-мортале, — у публики замирало сердце. Мать Джузеппе ходила по проволоке. Вся в голубом, она казалась прекрасной феей... Она ловила равновесие японским зонтиком... Да, Джузеппе — из семьи потомственных циркачей. После смерти отца он сам стал хозяином цирка. Все досталось ему в наследство. Одних львов

было... И ученые лошади. Артисты получали огромные деньги. Лучшие циркачи Европы...

— И по субботам все получали жалованье... Без всякой задержки...

Однажды король — сам король! — пожаловал в его цирк. Господи, что это был за день... Антонио Балдуино, может, не верит Джузеппе — теперь он пьян, бедно одет... Но ему аплодировал сам король... и не только король. Вся королевская семья, сидевшая в самой роскошной ложе. Это было весной, в Риме. Джузеппе вышел на арену, зрители обезумели. Буря аплодисментов!

— Я думал, этому не будет конца...

Вот в альбоме портрет Джузеппе тех времен. Да, в смокинге. На арену он всегда выходил в смокинге. Потом он снимал одежду — смокинг, брюки, накрахмаленную манишку. Оставался в трико, как на другом снимке. Был он тогда красавец — не то что сейчас... Теперь он — скелет. А в молодости женщины теряли голову. Даже одна графиня... блондинка. Вся в драгоценностях. Графиня назначила ему свидание.

— И вы?

— Настоящий кавалеро не рассказывает о таких вещах.

Король сидел в своей роскошной ложе, и с ним вся королевская семья. Джузеппе сделал двойное сальто-мортале, и — хотите верьте, хотите не верьте — король не удержался, встал. Король аплодировал ему стоя! Что это была за ночь... Ризолетта, прелестная, как никогда, перелетела к нему на трапецию, цирк ахнул... Потом Ризолетта продавала зрителям их общий портрет — вот он, в самой середине альбома. Женщина была снята в позе, в которой обычно благодарят за аплодисменты. Ее держал за руку мужчина, одетый во что-то вроде купального костюма. Приглядевшись, в мужчине можно было узнать Джузеппе.

— Хороша... — сказал Антонио Балдуино.

— Она была моей женой...

Ризолетта продавала портрет зрителям — и не было человека, который бы отказался его купить. Ведь стояла весна, а Ризолетта была прелестна, словно весенний цветок. Она была весенним цветком, и каждому римлянину хотелось сохранить что-нибудь на память об уходящей весне. И римляне покупали портрет Ризолетты. А вот еще фотография. Ризолетта стоит на лошади, на одной ножке,

в балетной позе. Коня звали Юпитер, он стоял хороших денег. Потом его забрал за долги один датский кредитор во время гастролей в Дании. Эта фотография — Ризолетта на коне — была сделана за несколько дней до гибели воздушной гимнастки. Той далекой весной Ризолетта казалась такой обворожительной, такой юной, что никому, в том числе и Джузеппе, и в голову не могло прийти, что все так страшно кончится. Что Ризолетта погибнет. Но она погибла. В тот вечер цирк был переполнен — море людей. Джузеппе и Ризолетта были героями сезона, гвоздем программы. Все говорили о «Дьяволах», «I. Diavoli» — так назывался их номер. Когда Ризолетта появлялась на улице, женщины останавливались, смотрели ей вслед. Ей подражали в одежде, в манере держаться — Ризолетта умела быть элегантною, была красива не только в цирке, летая с трапеции на трапецию. Мужчины сходили по ней с ума. Джузеппе и Ризолетта завоевали сердца римской публики этой цветущей весной.

В тот вечер цирк был переполнен. Вот портрет Ризолетты в костюме воздушной гимнастки. Джузеппе долго смотрит на фотографию, потом подходит к постели, вытаскивает бутылку кашасы.

— Питье святого Амаро, — смеется Антонио Балдуино.

Вот почему Джузеппе пьет. Старый циркач смотрит не отрываясь на портрет Ризолетты. Теперь Антонио Балдуино видит — у нее было горестное лицо пленницы. Джузеппе знал, что его жене не нравился цирк. Ей хотелось вести светскую жизнь, изысканно одеваться, покорять сердца. Но кто бы мог подумать, что она сорвется именно тем вечером? В тот день они зеркала не разбили... Они вышли на арену, их встретила буря аплодисментов. Ризолетта, улыбаясь, поблагодарила публику, и они поднялись на трапеции. Вначале все шло хорошо. Но в момент салто-мортале... Такого никогда еще не случалось... Дуга, описанная раскачавшейся трапецией, оказалась короче, чем надо. Ризолетта не смогла ухватиться за ноги Джузеппе. И вот на арене окровавленный кусок мяса. Когда лев Рез растерзал укротителя, труп все-таки не был таким страшным. Ризолетта превратилась в кусок кровавого мяса — ни лица, ни рук, ничего. Джузеппе не понимает, как он сам не бросился вслед за ней на арену, как у него хватило сил спуститься. Была весна, по улицам гуляли влюбленные. Потом один клоун выдумал, будто Джузеппе убил ее нарочно, узнав, что у нее есть любовник. Начали



судебное дело, но следствие прекратили за отсутствием доказательств... Со дня гибели Ризолетты начался упадок Большого международного цирка.

— Настоящий роман,— сказал Антонио Балдуино,— прямо садись и пиши... Расскажу Толстяку.

— Как вы думаете — мог у нее быть любовник?

Ему даже показывали любовника Ризолетты, показывали его письма, найденные в ее вещах...

— Но ведь это была ложь, правда? Циркачи — такие мерзавцы... Не верьте никогда циркачам. Завистники... Да разве у нее мог быть любовник! Все эти люди завидовали их успеху. А вдруг был? Это сводит меня с ума. Из-за этого и напиваюсь. Письма-то ведь нашли. Нет! Ризолетта, такая добрая... Цирк ей не нравился, верно. Но не такая она была женщина, чтоб завести любовника. А письма... И потом, она говорила о каких-то встречах... Боже, хоть бы она ожила на мгновение, сказала бы мне, что все это ложь, зависть. Потому что это ложь, правда? — Джузеппе схватился за голову, закрыл глаза.

Неужели он сейчас заплачет? Антонио Балдуино берет бутылку с кашасой, отпивает большой глоток. Сейчас тоже — весенняя ночь.

\* \* \*

— А клоун у нас кто?

— Кто бабам проходу не дает.

— Ну и негритянка у окна.

— Рожа, будто сковорода.

Клоун Пузырь едет задом наперед на осле. Над городишком высится купол цирка. Над куполом развевается флаг, по бокам у входа — две огромные афиши. Вечером тут будет играть музыка, придут негритянки продавать сладости из кокосовых орехов.

В городе говорят только о цирке, об артистах, о негритянке, которая танцует почти обнаженной, но больше всего о Черном Гиганте Балдо, бросившем вызов жителям Фейра-де-Санта-Ана. Об этом толкуют мужчины, собравшиеся на Большую ярмарку. Луиджи отложил премьеру до понедельника. Это день продажи скота, приходят крестьяне со всей округи. Клоун пересекает ярмарочную площадь.

— Будет сегодня представление?

— Будет, сеньор...

Деревенские мальчишки, пришедшие с близлежащих фазенд продавать творог и неочищенный тростниковый сахар, с завистью смотрят на городских озорников, которые бегут за клоуном и даром попадут в цирк. Один из них говорит другому:

— Я смерть как хочу в цирк.

— Я, парень, был уже как-то в цирке. Назывался он «Европейский». Здорово...

— Этот, говорят, хорош...

— Что большой, это верно... Клоун был бы стоящий.

— Я здесь заночую. Охота посмотреть представление.

— Говорят, свободных мест нету. Все продано.

Мальчишки сговариваются пролезть в цирк, незаметно приподняв парусину стен. Клоун продолжает триумфальное шествие по базарной площади. Из лавок выглядывают приказчики. На середине площади клоун останавливает осла, чтобы произнести речь.

— Достопочтенная публика! Прославленный Балдо, всемирный чемпион свободной борьбы, бокса и капоэйры, прибыл из Рио исключительно для того (он сделал ударение на слове «исключительно»), чтобы выступить в Большом международном цирке! Балдо получает в месяц три тысячи деньгами, стол, квартиру, белье...

— Ого, — пробурчал какой-то крестьянин.

— Сегодня вечером и на всех остальных представлениях нашего цирка Балдо вызывает на бой любого желающего! Любого жителя героической Фейры-де-Санта-Ана! Герой, победивший Балдо, получит от администрации цирка пять тысяч! Пять тысяч! — выкрикнул Пузырь еще раз. — Лично от себя Балдо ставит тысячу в знак того, что он непобедим. Пользуйтесь случаем! Имею честь объявить достопочтенной публике, что вызов принят! Двое смельчаков уже записались в конторе цирка. Жаждают сразиться с чемпионом Балдо! Желающие бороться могут прийти в Большой международный цирк сегодня вечером! Борьба закончится только смертью одного из противников. Только смертью!

Длинная речь несколько не утомила клоуна, он продолжал свое шествие по городу, сидя задом наперед на осле. Время от времени осел спотыкался, Пузырь делал вид, что падает, хватался за ослиный хвост. Город помирал от хохота. В людных местах клоун повторял свою речь.

Все говорили о предстоящей борьбе, которая кончится только смертью. Стало известно, что вызов Черного Гиганта Балдо приняли уже трое — шофер, торговый служащий и огромный крестьянин. Трое желают драться за приз в пять тысяч. Город с нетерпением ждал вечера.

\* \* \*

Когда огромный крестьянин вошел в цирк, какой-то остряк крикнул с галерки:

— Эй, Жозе! Ты пару горилл заказывал? Самец уже тут.

Цирк взорвался от хохота. Крестьянин хотел было обидеться, но и его разобрал смех. Дитина в самодельных сандалиях, с дубиной в руке казался настоящим великаном. Ему было весело — он думал о пяти тысячах, которые он получит, победив какого-то там Балдо. У себя в деревне он валил вековое дерево несколькими ударами топора, на себе таскал из лесу гигантские бревна. Парень сел, на его губах играла победная улыбка, хотя по натуре он был робким и недоверчивым.

Слуги-негры вносили стулья для семейств, заказавших ложи. В цирке стульев не было, зрители приходили со своими.

— Поэтому я хожу на галерку. Дешевле, и тащить ничего не надо. Только себя.

— Вон слуга судьи...

Негр вошел, поставил в ложе несколько стульев и вышел, чтобы принести еще. Сам примостился на краю скамьи.

Какому-то типу, вошедшему в ложу, кричали:

— Эй! Шико Пейшейро! Как ты попал в ложу? Дело нечисто...

У входа в цирк было очень красиво — огни, яркие афиши. Вывеска Большого международного цирка переливалась голубым, зеленым, желтым, мигали разноцветные лампочки, негритянки в пышных цветастых юбках, в сверкающих ожерельях продавали африканские сласти — жареную кукурузу, акараже, мингау, мунгунсу. Цирковые огни освещали всю площадь. Уличные мальчишки шмыгали вокруг, высматривая, как бы бесплатно пролезть в цирк. Мужчина торговал соком сахарного тростника. Негр-мороженщик из кожи лез вон, чтобы поскорее распродать мороженое и забраться на галерку. Он зарази-

тельно хохотал, предвкушая выходки клоуна — ну и шутник! Люди теснились у билетной кассы. Лунджи потирал руки от удовольствия. Городские старухи возмущались — такой шум в их тихом городе, где в девять часов вечера обычно все уже спят. Цирк все перевернул вверх дном. Цирк... Это что-то необыкновенное, новое, манящее. Это далекие путешествия, приключения, заморские звери. Негры сочиняют разные истории про артистов.

Идет оркестр. Он уже свернул на Главную улицу — слышны звуки карнавального марша. Зрители встали. Люди с самых высоких скамеек амфитеатра пытаются заглянуть поверх занавеса. Мальчишки, торчавшие у входа в цирк, бегут встречать «Эвтерпу имени 7 сентября»<sup>1</sup>. Шикарные музыканты в сине-зеленой форме вышагивают по-военному. Сеу Родриго, аптекарь, играет на трубе, как бог. Захватывающие вибрирующие звуки ударяют в голову Антонио Балдуино, он выскакивает из барака посмотреть на оркестр. Вот это да... нарядные, дьяволы! Дирижер шагает спиной вперед. С каким бы наслаждением променял Антонио Балдуино свою роль борца на место щуплого человечка, который, пятясь, управляет «Эвтерпой»! Он и собой хорош, думает Антонио Балдуино. На него глядят все мулатки! И вообще все. Вот кто настоящий герой, слава города Фейра-де-Санта-Ана. Дирижер, а еще трубач. Их все знают, их все приветствуют. Перед ними снимает шляпу сам судья. А банковские служащие приглашают трубача на свои вечеринки, угощают его, обращаются с ним как с равным, лишь бы он согласился играть. Но Джузеппе отрывает Антонио Балдуино от созерцания оркестра. Негр уходит в барак. Как ему хочется дирижировать «Эвтерпой имени 7 сентября». Музыканты выходят на цирковую площадь, окруженные важными надменными господами. У входа в Большой международный цирк дирижер отдает команду, оркестр останавливается. Галерка, партер, ложи, артисты в своих бараках слушают знаменитый военный марш, гвоздь программы «Эвтерпы имени 7 сентября». Божественно! Фейра-де-Санта-Ана, разумеется, обладает лучшим любительским оркестром Бразилии. Закончив марш, музыканты входят в помещение цирка и устраиваются над входом, на по-

---

<sup>1</sup> Эвтерпа — одна из девяти муз, покровительница лирической поэзии. 7 сентября 1822 г. была провозглашена независимость Бразилии.

мосте, воздвигнутом специально для них. Теперь, когда прибыла музыка, зрители требуют, чтоб начинали. Почему представление задерживается?

— Клоуна! Клоуна!

Кричат все — дети, взрослые. Даже судья посмотрел на часы и сказал супруге:

— Опаздывают на пять минут. Точность — весьма похвальная добродетель!

Супруга молчит, она давно устала от поучений мужа. В соседней ложе приказчики, сообщая заключившие пари против Балдо, обсуждают условия предстоящей борьбы.

— Драться и вправду нужно до смерти?

— Полиция не позволит.

— Агрипино говорит, этот негр — прямо зверь. Он видел его в Баие, на встрече с немцем. Сила, как у быка...

Галерка топает. Дикари. Вести себя не умеют — думают приказчики. Где это видано, чтобы спектакль начинали вовремя? Зрители на галерке вести себя не умеют, нет слов. Но топаят они не поэтому. Приказчикам не понять. Галерка топает, орет и требует начинать, потому что так веселее. На что нужен цирк, в котором не летят с галерки острые шутки, выкрики, не слышно шума и топота. В этом самый смак цирка. Охрипнуть от крика, отбить ноги, топая. Какая-то негритянка огрызается:

— Эй, ты свою мамашу щипли за задницу...

Назревает скандал. Когда пристают к замужней, всегда этим кончается. Незадачливого ухажера выбрасывают прямо в партер. Он поднимается и бежит на свое место под вой и улюлюканье всего цирка. На арену выходит Луиджи, облаченный в блестящую парадную форму Джузеппе. Цирк замер.

— Достопочтенная публика! Большой международный цирк благодарит всех, почтивших своим присутствием нашу премьеру! Надеемся, что наши прославленные артисты удостоятся ваших благосклонных аплодисментов!

Луиджи нарочно усиливает свой итальянский акцент. Так выходит эффектнее. Появились служители, растянули по всей арене издававший виды дырявый ковер, и началось феерическое зрелище — парад трупы. Первым вышел Луиджи, ведя под уздцы коня Урагана в сверкающей сбруе. За ними выбежала воздушная гимнастка Фифи — аплодисменты удвоились. Фифи в короткой зеленой юбочке выставляла обнаженные ноги, на них жадно

глядели негры, приказчики, сеньор судья. Гимнастка сделала реверанс, приподняв юбочку еще на вершок. Галерка чуть не рухнула от грома аплодисментов. На арену, кривляясь, выскочил клоун Пузырь.

— Уважаемая публичка! Приятного развлечения!

Цирк гроыхает хохотом. На клоуне голубые шаровары с желтыми звездами, огненная луна на заду.

— На мне костюм небесный со всеми звездами вместе. Волшебница подарила...

Клоун хоть куда! Человек-Змея кажется настоящей змеей в узком трико, усыпанном блестками. Трико плотно обтягивает его тело, и не понять, кто он — подросток или женщина? Мужчины двусмысленно шутят. Но вокруг на них шикают, и они умолкают. У пожирателя огня огненно-рыжие волосы. Великий эксцентрик Роберт покоряет зрителей своим фраком, хоть фрак изрядно поношен. По фамилии он француз, и волосы у него французские — гладкие, разделенные безукоризненным пробором. С ума сойти. Роберт посылает воздушные поцелуи, разящие мечтательных девиц прямо в сердце. Какая-то старая дева вздыхает. С галерки слышится: «Видный парень». Жужу проходит почти незамеченной. Все глазект на медведя и обезьяну. Лев сидит в клетке в глубине цирка и не переставая рычит, надрывно и яростно. Какая-то зрительница жалуется соседке, что ей страшно ходить в цирк — вдруг лев вырвется... Жужу, можно сказать, старуха, краска не в силах замазать морщины на ее лице, но у нее пышная соблазнительная фигура. Розенда Розеда одета в костюм бааянки:

— Добрый вечер, дорогие друзья...

Розенда пробегает по краю арены, подпрыгивает, кружится, ее широкая юбка взлетает, надуваясь, словно цирковой купол. Зрители забыли Жужу, Фифи, великого эксцентрика Роберта, медведя, льва, даже клоуна. Все взгляды прикованы к черной танцовщице, почти обнаженной в костюме бааянки. Розенда бешено крутит бедрами. Глаза мужчин загораются сладострастным блеском. Приказчики свесились из своей ложи — того и гляди, свалятся в партер. Судья надевает очки. Супруга судьи негодует. Это безнравственно. Негры на галерке охрипли от восторженных криков. Розенда Розеда покорила всех.

Балдо — Черный Гигант, не участвует в параде группы. Он за кулисами держит пьяного Джузешпе, который цвет-

ся на арену лично приветствовать публику. Зрители требуют, чтобы негр вышел.

— Борца! Борца!

— Чего прячется!

Луиджи объясняет, что Балдо — Черный Гигант, великий борец, всемирный чемпион бокса, свободной борьбы и капоэйры, еще не закончил тренировку и появится только в момент встречи с чемпионом героического города Фейра-де-Санта-Ана. Парад окончен, представление начинается наездница Жужу. Ураган галопом несется по арене. В руках у Жужу хлыст, она в облегающем жокейском костюме. Ее огромная грудь плотно обтянута курткой. Жужу прыгает на коня и скачет на нем стоя. Ей это все равно, что ехать в автомобиле. Жужу взвизгивает над Ураганом в головокружительном прыжке. Зрители хлопают. Наездница делает несколько пируэтов и удаляется под аплодисменты.

— Я видал работу получше, — говорит свысока тип, на которого смотрят с уважением, потому что он много ездил. По его словам, бывал и в Баие и в Рио.

— Халтура.

Собравшиеся аплодировать замешкались было, но не удержались — дружно захопали. Оркестр заиграл самбу, и на арену, кувыряясь, выкатился клоун Пузырь. Пузырь повздорил с Луиджи, потом схватил плохо закрытый чемодан (из которого свисали кальсоны) и сделал вид, что уходит. Потом показывал фокусы. Луиджи спросил:

— Ты, Пузырь, в школу-то ходил?

— А то как же... потом десять лет на ослофакультете учился... Я осел дипломированный... понятно? — Цирк помирал от хохота.

— Тогда скажи: во сколько дней господь сотворил мир?

— Думаешь, я не знаю?

— Ты скажи.

— Знаю, да не скажу...

— Не знаешь ты...

— Еще чего... Кто это на меня наговорил? Вот я ему задам...

Изооряясь в подобных шутках, клоун Пузырь сделал счастливыми всех, собравшихся этим вечером на цирковую премьеру. Хохотали приказчики, смеялся судья, ревели от восторга галерка. Только один зритель — тот, что

повидал мир,— считал зрелище скучным и жалел о копейках, истраченных на билет. Он избаловался, пока жил в больших городах. Был он тогда студентом. После смерти отца пришлось ему поступить приказчиком в отдел тканей в магазин сеньора Абдуллы.

Обезьяна плясала. Медведь пил пиво. Человек-Змея выкручивался так, что страшно было смотреть. Он просовывал голову между ногами, изворачивался и прижимал пятки ко рту, он выгибался, опираясь женственным животом о маленький ящик, закинув за спину ноги и голову. Человек-Змея знал свое дело, но мужчины раздражала его бесполость. Они не могли взять в толк, любоваться ли им, как женщиной, или хлопать ему, как хлопают мужчине за хорошую работу. Только в глазах повидавшего мир светился странный, подозрительный огонек. Человек-Змея с ангельским видом благодарил публику. Он посылал воздушные поцелуи, как великий эксцентрик Роберт. Он приседал в реверансе, как Фифи, прославленная воздушная гимнастка. Зрительницы приняли на свой счет воздушные поцелуи, зрители — реверанс. Повидавший мир встал со своего места — спектакль для него кончился. Он ушел, в его взгляде и сердце таились порочные мысли. Эту ночь он проведет без сна.

Великий эксцентрик Роберт сегодня не выступает. Дамы разочарованы. Зато неповторимая Розенда Розеда здесь.

Неповторимая Розенда Розеда  
победно является публике  
в вихре чувственной бури,  
вступая в золотые врата  
своей театральной славы.

Чувственная буря — это пламенный танец машише<sup>1</sup>. Неужели под широкой баианской юбкой на Розенде ничего нет? Видимо, ничего. Юбка взлетает, на белье нет и намека. Обнаженная грудь негритянки полускрыта разноцветными ожерельями. Танцовщица высоко задирает ноги. Супруга судьбы находит это безнравственным. Запретить! Куда смотрит полиция! Судья возражает, цитирует бразильскую конституцию и уголовный кодекс. Отсталая женщина его жена. Впрочем, ему не до разговоров. Пусть ему не мешают любоваться ногами неповторимой Розенды. Сейчас она особенно пикантна. Розенда

---

<sup>1</sup> Машише — быстрый бразильский танец.



кружится, ее сверкающие черные бедра заполняют цирк от купола до арены. Все остальное исчезло. Розенда Розеда танцует макумбу, исступленную, как всякий ритуальный танец, жуткую, как пляска африканских лесов. Теперь обнажено все ее тело, но его тайны продолжают быть недоступными для мужских взглядов. Юбка молниеносно взлетает и падает. Мужчины возбуждены, они смотрят не отрываясь. Напрасно. Танец слишком стремителен, фанатически опьяняющ. Негры захвачены, околдованы. Белые, те продолжают разглядывать обнаженные бедра, живот, ягодицы Розенды. Негры — нет. Негры одурманены головокружительным ритмом священной макумбы, неистового машише. Негры верят — в Розенду вселился дух. Танец кончился. Розенда вступает в золотые ворота своей театральной славы. Грохочет овация, все вскакивают. Не слышно военного марша, гвоздя программы «Эвтерпы имени 7 сентября». И Розенда снова танцует «Чувственную трагедию», страстный машише, священный танец негров, огненную макумбу. Розенда пляской заклинает богов, помогающих охотникам, и богов, насылающих мор. Широкая юбка взлетает и падает, грудь вздрагивает под яркими ожерельями на радость жадным глазам сеньора судьи. Ноги негров пляшут в такт — галерка вот-вот обвалится. Розенда вступает в золотые ворота своей театральной славы. Судья встает и аплодирует стоя — точно король из рассказов Джузеппе. Розенда достает из-под юбки цветы, розы, осыпает красными лепестками судейскую лысину (идея Луиджи). Все в восторге. Розенда вступает в золотые ворота своей театральной славы. Когда представление кончится, на арену придет негр в грубых сандалиях и подберет лепесток, хранящий острый запах тела Розенды. Негр спрячет его на груди, у самого сердца, и увезет на далекие табачные плантации.

Появляется клоун, зрители хохочут и успокаиваются. Потом выходит Луиджи. Он объявляет:

— Достопочтенная публика! Балдо — Черный Гигант вызывает любого жителя вашего героического города на борьбу, которая закончится только смертью одного из соперников. Администрация цирка выплатит победителю премию — шесть тысяч. Балдо от себя ставит еще тысячу.

Шум прошел по рядам зрителей. Луиджи вышел и тотчас вернулся с негром Антонио Балдуино. На мускулистом черном теле не было ничего, кроме шкуры ягуа-

ра. Короткая, узкая шкура стесняла движения. Негр скрестил на груди руки, вызывающе посмотрел в публику. Он знает, Розенда Розеда следит за ним сейчас из-за кулис, и ему хочется, чтобы кто-нибудь вызвался драться по-настоящему. Розенда продавала свои портреты, потом в бараче считала никели. Потом сказала ему, что хочет посмотреть на борьбу. И вот никто не решается принять его вызов. Луиджи объясняет достопочтенной публике, что двое, записавшиеся в конторе цирка, не явились. Если никто не примет вызова, Балдо будет бороться с медведем. Но не успел Луиджи кончить, как встал огромный гориллоподобный крестьянин и неуклюже двинулся к арене.

— Про пять тысяч — правда?

— Истинная правда, — сказал струхнувший Луиджи.

Крестьянин сбросил самодельные сандалии, стянул рубаху, остался в одних штанах. Луиджи посмотрел на Антонио Балдуино, тот улыбнулся — все в порядке. На середине арены разложили мат, Антонио Балдуино снял шкуру ягуара и остался в одной набедренной повязке. Шрам на его лице блестел в свете ламп. Зрители аплодировали крестьянину. Луиджи снова обратился к достопочтенной публике, прося кого-нибудь, кто понимает в борьбе, быть вторым судьей. Вышел один из приказчиков, договорился с Луиджи об условиях. Итальянец уточнил:

— Борьба закончится только в том случае, если один из противников будет убит или попросит пощады.

Он представил борцов:

— Балдо — Черный Гигант, всемирный чемпион бокса, свободной борьбы и капоэйры.

Потом спросил что-то у крестьянина.

— Вызов принимает Тотоньо Розинья.

Антонио Балдуино хотел пожать сопернику руку, но тот не понял, подумал, что это уже начало, набросился с кулаками на негра. Ему растолковали, что к чему, и порядок был восстановлен.

Противники стояли друг против друга по обе стороны мата. Розенда Розеда смотрит из-за кулис. В цирке нет никаких пяти тысяч, нет даже жалованья. Но есть горячее тело неповторимой Розенды. И Антонио Балдуино чувствует, что он счастлив. Вот бы еще стать дирижером «Эвтерпы...», счастье было бы полным. Приказчик считает:

— Раз... два... три...

Парень бросился на Антонио Балдуино. Негр побежал вокруг мата. Зрители взвыли. Розенда сморщилась. Негр неожиданно обернулся, дал парню кулаком в лицо. Но тот как будто ничего и не почувствовал и снова бросился на Антонио Балдуино. Негр подставил подножку, мелькнула мысль: «Без капоэйры не обойтись». Антонио Балдуино повалился на упавшего парня, стал молотить его по лицу. Но Тотоньо ногами обхватил туловище негра, перевернулся. Теперь он был сверху. И тут Антонио Балдуино понял, что противник его — простака, и ударить-то не умеет по-настоящему. Одна медвежья сила. Встав на ноги, негр нанес парню пару таких ударов, от которых Тотоньо не сумел защититься. Противники опять побежали вокруг мата, парень обхватил негра поперек туловища, поднял и с размаху швырнул на землю. Балдо ушибся и рассвирепел. До сих пор он шутил, теперь стал драться по-настоящему. Убийственным приемом капоэйры он сбил крестьянина с ног, прижал к земле, стал выворачивать ему руку. Парень заорал страшным голосом, попросил пощады, отказался от пяти тысяч. С арены он ушел под улюлюканье зрителей, осторожно неся руку, будто она сломана. Антонио Балдуино поклонился и под аплодисменты покинул арену.

— Негр вправду стоящий...

За кулисами Антонио Балдуино спросил Розенду:

— Понравилось?

Глаза танцовщицы были влажными от счастья. На арену вышел служитель. Он нес плакат с надписью:

#### АНТРАКТ

Зрители вышли на площадь выпить тростникового сока. Оркестр играл военные марши.

\* \* \*

Первого сержанта играл Роберт, второго Антонио Балдуино. Великий эксцентрик великолепно выглядел в форме французского сержанта. Антонио Балдуино был явно тесен костюм, сшитый для глотателя шпага, ушедшего из цирка в позапрошлом году. Форма врезалась в тело со всех сторон, сабля выглядела до смешного маленькой. Но это еще полбеда. Настоящая беда была в том, что Фифи во что бы то ни стало хотела получить свое жалованье

именно сейчас, до начала второго действия, до начала знаменитой пантомимы «Три сержанта». Луиджи не подсчитал еще самых неотложных расходов, он собирался платить артистам только завтра. Фифи стояла на своем.

— Платите, или не буду играть.

Фифи изображала третьего сержанта и была очень эффектна в военной форме. Раскрасневшись от гнева, она кричала, грозила, наступала на несчастного Луиджи. Тот не удержался — захохотал:

— Форма-то на тебя подействовала... Сержант, да и только...

— Не хамите!

Явился пьяный Джузеппе, стал говорить об искусстве, овациях и заплакал. Луиджи умолял Фифи подождать — он все подсчитает и заплатит этой же ночью. Не надо задерживать второе действие. Публика уже нервничает, вызывает актеров, топает. Луиджи в отчаянии схватился за свои жидкие волосы. Розенда Розеда приходит ему на помощь:

— Не будь ведьмой, деточка. Все шло так хорошо...

Фифи и сама это знает. Ей тоже не хочется быть ведьмой. Да, спектакль начался хорошо, публика не скупилась на аплодисменты, цирк был переполнен. Все довольны, она сама первая. Но у нее на груди спрятано письмо от начальницы гимназии-интерната. И Фифи должна быть сильной, должна бороться. Вот уже два месяца она не вносит плату. Через десять дней начальница вернет ей девочку. А ее дочери нечего делать в цирке. Только не это. Нужно бороться, нужно бороться. А глаза Луиджи умоляют ее. Луиджи всегда был к ней так добр, помогал. Но если сейчас она не настоит на своем, Луиджи отложит расчет на завтра, а там навалятся неотложные платежи. И девочку пришлют в цирк. А тогда — прощай все ее надежды, прощай мечты, которые она лелеет вот уже четыре года, с таким трудом платя за учение Эльвиры. Когда у Фифи родилась дочь, она читала роман «Эльвира, умершая девственницей». Теперь у Фифи нет денег на романы. Она отдает начальнице все, и этого едва хватает. Ждать больше нельзя. Если сейчас Фифи уступит, если не настоит на своем, рухнет воздушный замок, возведенный ценою огромных жертв.

Маленький провинциальный город — еще гораздо меньше, чем Фейра-де-Санта-Ана. Место учительницы младших классов получить нелегко, но в таких городишках домик стоит недорого. Перед домишком будет маленький сад, Фифи разведет в нем цветы, гвоздику, которую она так любит. Поставит скамейку, чтобы читать старые романы в пожелтевших обложках. Школу откроют тут же, в доме. Эльвира будет учить детей, Фифи — вести хозяйство, готовить обед, убирать, украшать цветами, огненными гвоздиками стол учительницы. Самым маленьким ученикам Фифи будет как бабушка. Перезнакомится со всеми в городе. И никто никогда не узнает, что была она когда-то циркачкой, певичкой в бродячей труппе, уличной девкой, если дела шли плохо. Седые волосы придадут ей благородный вид доброй и бедной дамы. Наступит счастливая старость. Фифи будет плести кружева, если она не забыла еще, как это делается, на платья самым маленьким девочкам. Когда придет глубокая старость, Эльвира станет за ней ухаживать. Будет гладить ей волосы, как ребенку. Домик, а перед домиком — сад с огненными гвоздиками. Поэтому нужно бороться, нужно быть сильной, быть ведьмой, выстоять. Красная от стыда, Фифи открыла им свою тайну, показала письмо начальницы. Луиджи растрогался, обнял ее, поклялся:

— Я заплачу вам сразу после спектакля, Фифи. Даже если не хватит денег на корм для льва.

Зрители свистели, орали, смотрели на часы, ругали служителей. Началась пантомима. Там было такое место, где Антонио Балдуино целует Розенду. Негр плохо знал, что ему делать, он терпеть не мог заучивать, но про поцелуй помнил крепко. Он то и дело улыбался, подмигивал Розенде — та делала вид, будто не понимает его намеков. В нужный момент негр крепко поцеловал танцовщицу в щеку и сказал ей на ухо:

— В губы — слаще...

Пантомима имела невероятный успех.

Джузеппе сидит, наверное, в своем бараке, смотрит альбом с фотографиями. Роберт пошел в местное кабаре — надеется соблазнить какую-нибудь женщину своей

гладкой прической. Фифи пишет начальнице, извиняется за опоздание, шлет плату за два месяца. В далеком бараке горит свеча. Антонио Балдуино представляет себе, как Луиджи сидит, считает. Жаль его, совсем запутался с этим цирком. Никакой успех уже не поможет.

Что это Розенда так долго переодевается? Негр ждет ее, прислонившись к дверям цирка под потухшей вывеской. Рычит лев. Голодный, наверное. Исхудал бедняга, кожа да кости. Медведю лучше, на каждом представлении выпивает бутылку пива. Как-то Луиджи додумался налить воды вместо пива. Не тут-то было. Публику он обманул, медведя — нет. Не стал медведь воду пить. Вышел конфуз. Ну, и смеялся Антонио Балдуино, когда Розенда рассказала ему этот случай. Долго она одевается. Розенда Розеда — какое необыкновенное имя... Ее по-настоящему зовут Розенда. А Розеда — изобретение Луиджи.

Ну и красотка, с такой держи ухо востро. Говорит — не все поймешь. Рассказывает про столичную жизнь, про окраины Рио — трущобы, Салгейро, расписывает праздники тамошних клубов, названия одни чего стоят... «Жасминный Сад», «Лилия Любви», «Капризы Красавиц». У Розенды танцующая, вызывающая походка. Наверное, вправду жила в Рио. Околдовала Антонио Балдуино черная красавица. Хоть и воображает она и голова у нее черт знает чем забита. Хоть и ускользает в тот самый миг, как негр думает: теперь-то она у меня в руках... Околдовала — и все тут. Да кончит ли она одеваться? Почему погасила свечу и задернула занавеску, которая служит дверью? Наконец Розенда выходит на лунный свет.

— Я тебя жду...

— Меня? Вот уж никак не думала...

Они идут гулять. Негр рассказывает о своих приключениях, Розенда внимательно слушает. Антонио Балдуино возбуждается, вспоминая, как убежал в лес, как вырвался из ловушки, как поразились преследователи, когда он выскочил на них с ножом в руке. Розенда Розеда прижимается к негру. Ее грудь касается его локтя.

— Хороша ночка!.. — говорит он.

— Звезд сколько...

— Храбрый негр, как умрет — станет звездой небесной...

— Мечтаю танцевать в настоящем театре, в Рио...

— Зачем?

— Обожаю театр. Когда была маленькой, собирала портреты артистов. Мой папа — португалец, у нас своя лавка была, вот.

У Розенды прямые волосы — верно, тщательно распрямляет их раскаленными щипцами. Волосы, как у белой, даже еще прямее. «Дуреха», — думает Антонио Балдуино. Но он ощущает прикосновение ее груди и вслух говорит, что танцует она здорово.

— Все прямо взбесились... как хлопали...

Розенда теснее прижимается к негру. Антонио Балдуино заговаривает ей зубы:

— Когда хорошо танцуют, это по мне...

— Я чуть не поступила в настоящий театр. У одного нашего соседа был знакомый, швейцар из «Рекрей». Папа не разрешил. Папа хотел, чтобы я вышла замуж за приказчика... такого неинтересного...

— Не выгорело дело?

— Нашли дурочку! Он мне несколько не нравился... противный португалец...

Она еще что-то хотела сказать, но Антонио Балдуино спросил:

— А дальше что?

— Потом я познакомилась с Эмануэлом. Папа говорил, бродяга он, денег ни гроша нет. И верно. Ему и жить-то было не на что. Как и тебе, разбойник... Сначала он за мной так ухаживал. Ходили мы с ним на танцы в «Жасминный»... дальше известно что... папа ужасно рассердился, все попрекал меня тем приказчиком, португальцем... Проклял меня, выгнал на улицу.

— Куда же ты делась?

— К Эмануэлу пошла. В трущобу. Но он как напьется, так бить меня. Собрала я мои вещички, ушла. Трудно мне было. И кухаркой работала, и официанткой, и нянькой. Клоун один из Рио привел меня в цирк. Мы друг другу понравились, стали жить вместе. Как-то сбегала испанка, танцовщица с кастаньетами, меня приняли на ее место. Я имела потрясающий успех, ты бы видел! Клоун мне надоел, мы поругались, я перешла в другой цирк. Потом попала сюда. Вот и все.

Антонио Балдуино только и придумал что сказать:

— Да уж...

— Когда-нибудь поступлю в настоящий театр. Ничего, что черная. Подумаешь... В Европе есть негрятенка,

за ней белые еще как бегают... мне одна моя хозяйка рассказывала...

— Слышал...

— Поступлю обязательно. Буду знаменитой артисткой, не думай...

Негр ухмыльнулся:

— Странная ты! Как луна!

— Придумал!

— Кажется — совсем близко. А не достанешь... далеко...

— К тебе-то я близко...

Негр крепко обнял ее за талию, но Розенда Розеда вырвалась, убежала в барак.

\* \* \*

Он пошел в городской бар. Бар унылый, хотя сегодня здесь немного оживленнее из-за цирка. Не будь представления, все отправилось бы по домам спать, едва соборные часы пробьют девять. За столиком сидит тщательно одетый Роберт и ест глазами одну из танцующих. Негр подсаживается к нему. Роберт спрашивает:

— Тоже женщину ищешь?

— Нет. Выпить пришел.

Женщин мало, все они — старые. Та, на которую смотрит Роберт, — просто раскрашенная старуха. Женщины сидят за столиками, улыбками завлекают мужчин.

— Почему ты не пригласишь ее?

— Сию минуту.

В углу сидит девушка. Почему Антонио Балдуино думает, что она — девушка? Он выпил, правда, но от двух рюмок кашасы ему не опьянеть. Почему же он так уверен, что женщина с бледным лицом и гладкой прической — девушка? Она сидит в углу и ничего не видит, ни на кого не смотрит, она так далеко от этого бара, от окружающих, от стакана с выпивкой, что стоит перед ней на столе. Был бы здесь Толстяк — Антонио Балдуино попросил бы его сочинить историю о бедной брошенной девочке, у которой нет ангела хранителя, у которой никого нет на этом свете. А был бы здесь Жубиаба — Антонио Балдуино попросил бы его наслать порчу на подлеца хозяина этой девушки, который заставляет ее ходить в бар и пить водку. Антонио Балдуино смотрит на Роберта — тот перемигивается с раскрашенной старухой. Мо-



жет быть, она и не девушка... Нет, сразу видно — девушка, и подлец хозяин хочет продать ее. Она сидит в углу, в баре, за столиком, но глаза у нее — отсутствующие, невидящие. Она невидящим взглядом смотрит в окно. Думает, наверное, о своих маленьких голодных братишках, о больной матери. Отец у них умер. Поэтому она здесь.

Сегодня ночью она продаст свое тело и купит лекарства. Ведь мама ее больна, ей совсем плохо, а позвать доктора, пойти в аптеку — денег нет. Антонио Балдуино хочет подойти к ней, предложить помощь. У него, правда, нет ни гроша, да ничего, стащит у Луиджи. Какой-то приказчик пригласил ее танцевать танго. Она продаст себя тому, кто больше заплатит. Но что она понимает в деньгах? Она, может, ничего и не получит, и ее мать умрет.

Все напрасно. Ее мать погибнет, братишки тоже — у них огромные вздутые животы и землистые личики. Найдется какой-нибудь мужчина — тот же эквилибрист Роберт — и станет торговать ее девственным юным телом. Будет продавать ее всем — батракам, шоферам... А она полюбит флейтиста, и Роберт будет избивать ее, и она умрет от туберкулеза, как ее мать. У нее даже не будет дочери, которая могла бы стать проституткой, купить лекарств. Она, кажется, уходит с приказчиком? Нет, Антонио Балдуино этого не допустит. Он ограбит Луиджи, он похитит деньги, отложенные на корм для льва, но он не позволит этой девушке потерять невинность. Антонио Балдуино быстро проходит вперед, кладет руку на плечо молодого человека:

— Пусти ее.

— Не лезь.

Женщина смотрит на них отсутствующим взглядом.

— Она девушка, ты что, не видишь? Она хочет спасти свою мать... но напрасно...

Приказчик отталкивает Антонио Балдуино. Вдребезги пьяный негр валится на ближайший столик. Он плачет, как маленький. Приказчик уводит женщину. На улице она говорит:

— До чего упился — вообразил, что я девушка...

Почему ее спутник расхохотался? Она тоже хочет смеяться, до упаду смеяться над пьяным негром, и не может, у нее вдруг сжимается горло. Ее охватывает тоска. Такая тоска, что она, не говоря ни слова, бросает мужчину, который все еще хохочет, ничего не поняв, и

одна идет в свою комнату. Она засыпает сном девственницы, который будет длиться вечно, потому что она приняла цианистый калий.

В баре, невероятно пьяный, поет Антонио Балдуино. Ему аплодируют. Он отбил у Роберта-эквилибриста его старуху. Они повздорили с хозяином бара, потому что им нечем заплатить за выпивку. Вернувшись в цирк, негр идет прямо в барак Розенды. Для этого он и напился.

\* \* \*

Луиджи не расстается с карандашом, считает, считает.

Лев дико рычит в своей клетке, но совсем не потому, что он кровожаден. Он такой же смиренный, как конь Ураган. Лев рычит от голода. Кормить его не на что.

Расчеты не помогают Луиджи. Вот уже двое суток Джузеппе не пьет — нет денег и на каплю спиртного. В кредит больше никто не дает. Жизнь Джузеппе невыносима без выпивки. Выпивка возвращает его в прошлое, к тем, кого он любил, кого уже нет в живых. Когда Джузеппе трезв, он должен думать о делах цирка, о том, что нечем платить артистам и они становятся грубыми и ленивыми. Ни разу больше представление не дало такого сбора, как в день премьеры. Две недели в Фейра-де-Санта-Ана прошли неудачно. За два спектакля цирк показал все свои номера, за два спектакля в нем побывало все население города. Только в прошлый понедельник пришли еще какие-то зрители, крестьяне, заночевавшие с воскресенья. Но их было мало. Публику привлекла бы только борьба, а борьбы не было. Никто больше не рисковал драться с Антонио Балдуино. Напрасно администрация увеличила награду до десяти тысяч, напрасно боксер Балдо ставил две тысячи за свою победу. Слава Черного Гиганта гремела по всей округе, и никто не хотел опозориться, быть публично избитым. На малолюдных спектаклях Антонио Балдуино делал что придется, боролся с медведем, победа над которым давалась слишком легко, играл на гитаре, когда танцевала Розенда. Негра мало беспокоило отсутствие денег. У него была Розенда Розенда, ни о чем другом он не думал. Ночи, проведенные с черной танцовщицей, с лихвой вознаграждали за все. Негр равнодушно переносил и пьянство Джузеппе, и молчание Роберта, и бесконечные жалобы Пузыря.

Пузырь был вынужден уйти из университета со второго курса, хотя у него были отличные оценки по всем предметам, кроме гражданского права, потому что к нему придирался преподаватель. Папаша слыл богачом, швырял деньги направо и налево. Жили в шикарном доме, сестренку учили музыке, французскому, английскому. Мечтали съездить в Европу. У старика было большое сердце, но об этом никто не знал. Скончался он скоропостижно, переходя улицу. И что бы вы думали? Оставил одни долги. Пришлось Пузырю взять прозвище, полученное еще в школе, и надеть голубой костюм, расшитый желтыми звездами, да еще с луной на зад. Клоун рассказывал эту историю и всегда кончал ее так:

— Я бы мог стать бакалавром прав. Я бы занялся политикой, у меня большие способности к политике. Сейчас я был бы депутатом парламента.

Фифи мрачно изрекала, что все в руках божьих. Антонио Балдуино незаметно проскальзывал в барак Розенды и моментально забывал и Пузыря, и Фифи, мечтавшую о счастливой старости, и Джузеппе, ждавшего смерти, и вечно погруженного в расчеты Луиджи, и Роберта, который молчал и даже не требовал жалованья.

\* \* \*

Чтобы перебраться в Санто-Амаро, продали коня Урагана и часть скамеек. Луиджи непрерывно считал. Никто не покупал льва, а лев съедал так много. Однажды ночью бесследно исчез Роберт. Луиджи испугался, что Роберт украл деньги, отложенные на самое необходимое, но все было цело. Наверное, эксцентрик зайцем сел на корабль, отходивший ночью в Баию. Нашелся человек, пожелавший сразиться с Антонио Балдуино, но не выдержал и первого раунда. Благодаря этой победе цирк смог переехать в городок Кашозэйру. Путь лежал через Фейра-де-Санта-Ана. Ехали на двух грузовиках. В свое время прибыли на семи, да и то лишь из-за скаредности Луиджи. Машины были страшно перегружены. Теперь вся трупна и все имущество цирка свободно поместилось на двух. Джузеппе рассказывал, что, когда Большой международный цирк переправлялся из Италии во Францию, фрахтовали два парохода, да еще сухопутным путем шел обоз из тридцати четырех огромных фургонов. Джузеппе был выпивши и всю дорогу разглагольствовал о великом про-

плом своего цирка. Луиджи мечтал поправить дела в Кашоэйре и Сан-Фелисе. Оба городка совсем рядом, в Сан-Фелисе две табачных фабрики. Может быть, лучше поставить цирк именно там. Фифи прерывает размышления Луиджи. Она спрашивает, как ей в этом месяце послать плату в гимназию-интернат. Луиджи пожимает плечами:

— Хватило бы на еду...

Пузырь снова рассказывает Человеку-Змее свою жизнь. Тот слушает с безразличным видом. На другом грузовике до упаду хохочут Розенда Розеда и Антонио Балдуино. Негр берет гитару и запекает только что сочиненную самбу:

Жизнь хороша, моя мулатка...

Фифи думает иначе, Пузырь — тоже. Джузеппе плачет. Луиджи выходит из себя. Человек-Змея слушает с безразличным видом.

\* \* \*

Цирк обосновался в Сан-Фелисе. Цирк — радость бедняков, а Сан-Фелис — город рабочих. Нашелся охотник бороться с Антонио Балдуино — негр, бывший моряк. Борьбу широко разрекламировали. Луиджи, довольный, потирал руки, его уже не раздражали самбы Антонио Балдуино. Клоун проехал по городу, мужчины острили, женщины смеялись. В вечер премьеры площадь перед цирком сверкала огнями, пришел оркестр, прибежали мальчишки, у входа негритянки продавали африканские сладости. Для важных господ слуги принесли кресла. Было много народу из Кашоэйры. Программу открывала Фифи. Без Роберта и Урагана труппа стала совсем маленькой, и Луиджи не представлял артистов. Фифи ходила по проволоке. Потом публику развлекал клоун. Танцевала Розенда Розеда. Но Антонио Балдуино не сопровождал её на гитаре. Сегодня он — Балдо, Черный Гигант. Жужу выступила с медведем и обезьяной. Под куполом висели трапеции. Фифи должна была работать еще раз, чтобы заполнить программу. Служители готовили трапеции, те раскачивались из стороны в сторону. Все смотрели вверх. Вышла Фифи в зеленой юбочке, поклонилась публике, поднялась по трапеции. Вдруг на арену выскочил человек в потертом будничном костюме. Он шатался, как пьяный. Это был Джузеппе. Луиджи бросился

было за ним, но зрители зааплодировали — подумали, это второй клоун. Джузеппе бежал по арене, крича:

— Опа упадет! Она сейчас упадет!

Зрители хохотали. Они захохотали еще громче, когда Джузеппе сказал:

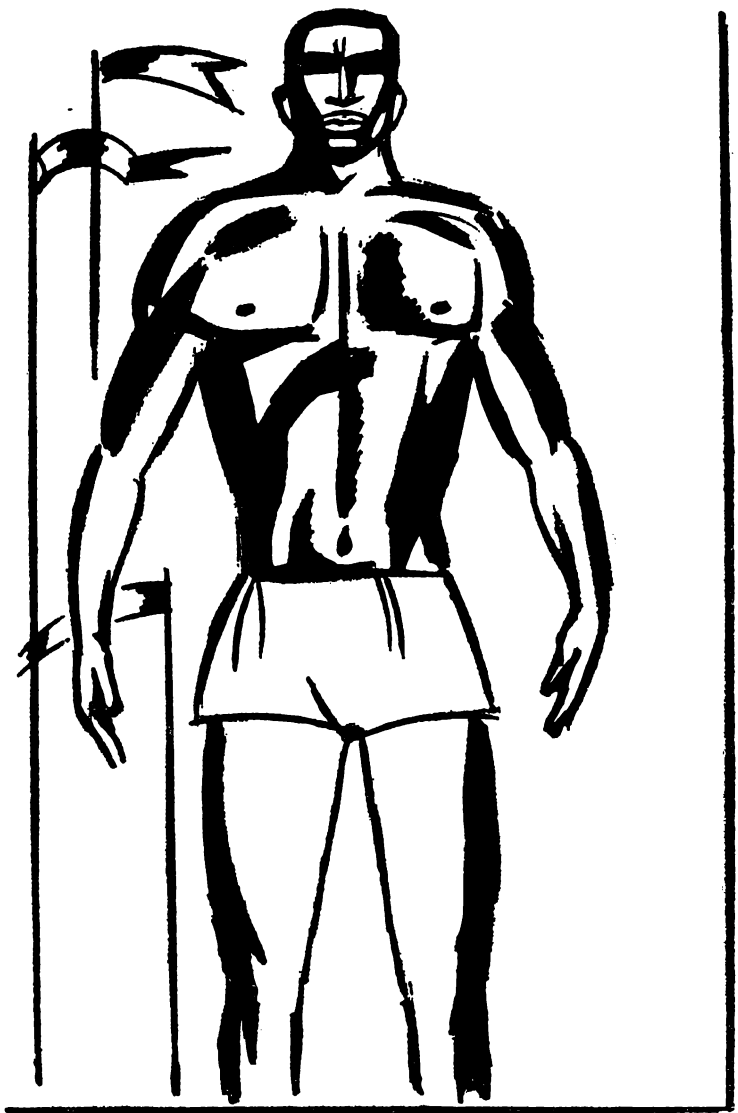
— Полезу, спасу бедняжку!

Его не удалось удержать. Он взобрался под самый купол с ловкостью, которой от него никто не ожидал, и принялся раскачивать вторую трапецию. Зрители ничего не понимали. Фифи застыла, пораженная, не зная, что делать. Луиджи и двое служителей полезли вверх. Джузеппе подпустил их совсем близко, потом качнулся вперед, отпустил трапецию и сделал лучшее в своей жизни сальто-мортале. Но до второй трапеции он не достал, грохнулся на арену. Его руки, судорожно протянутые к трапеции, казалось, застыли в прощальном взмахе. Женщины попадали в обморок. Часть зрителей бросилась к выходу, другие столпились у тела. Его руки застыли в прощальном взмахе.

ABC

АНТОНИО БАЛДУИНО







## ЗИМА

Зимние дожди смыли все. Смыли и кровь на том месте, где была арена Большого международного цирка. Луиджи продал скамьи, обезьяну и парусиновый купол фабриканту-немцу, разделил деньги между актерами и объявил, что цирк распущен. Жужку подалась в Бон-фин, там гастролировал другой цирк... Уезжая, она сказала:

— Никогда не видела такого нищего цирка... И все-таки хорошо было с вами.



Луиджи забрал Фифи и льва, отправился странствовать по захолустным городишкам. Они показывали представление за гроши, в наскоро сооруженном балагане. Человек-Змея устроил себе бенефис в местном театре и исчез неизвестно куда. Антонио Балдуино подумал, что на табачных плантациях его приняли бы за женщину. Странным он был, Человек-Змея. Не то подросток, не то девушка. Негр не заметил, что мужчина, ушедший с первого представления в Фейра-де-Санта-Ана, был теперь тут, в Кашоэйре. Тип этот немало поездил, бывал в Баие и в Рио. Он ушел сразу после номера Человека-Змеи. Скрылся. Укатил на автомобиле. Потом выяснилось, что путешественника разыскивает полиция,— он украл все деньги из магазина, в котором работал.

При дележке циркового имущества Антонио Балдуино и Розенда Розеда получили медведя. Не знала Розенда, что негр заранее договорился об этом с Луиджи. Антонио Балдуино сказал танцовщице:

— Медведя надвое не разрежешь... А продать, так за него гроша ломаного не дадут.

— А нам-то он на что?

— Возьмем с собой в Баию. Будем показывать на ярмарке Агуа-дос-Менинос.

— Или в театре...— неуверенно добавила Розенда Розеда.

— Можно.— Негру не хотелось спорить.

На пристани им сказали, что баркас Мануэла должен прийти через два дня.

И они стали ждать «Скитальца».

Зимой река вздулась. Нескончаемые дожди смывали в нее всякую всячину. Мутный поток нес с корнями вырванные деревья, трупы животных. Плыла даже дверь, похищенная рекой у какого-то дома. Рифы исчезли под водой, никто не отваживался выходить на рыбную ловлю. Река стала коварной, опасной, ревела, как дикий зверь. Зеваки собирались на мосту и смотрели вниз, туда, где змеями ползли, извиваясь, мутные струи. В воздухе стоял сладковатый табачный запах. Этой зимой река проглотила уже два баркаса. На табачной фабрике появились работницы в трауре.

Вечер. Потоки воды низвергаются с неба на землю. Ох, уж эта Розенда... Совсем ей было незачем уходить из пансиона доны Раймунды... выдумала, будто идет гулять... Она, конечно, побежала в Кашоэйру. Оставила его, как

дурака, сидеть с медведем. Медведь беспокоится, вздрагивает. Раздражает его стук дождя по крыше, и шум реки, и табачный запах. Медведя одного в мебелированных комнатах не оставишь. Куда это ушла Розенда на ночь глядя? Негр Антонио Балдуино ударяет кулаком по столу. Ошибается Розенда. Он не осел, он прекрасно понял, что это за прогулка... Она думает, он не видел, как за ними увязался немец в ту ночь, когда разбился Джузеппе. С тех пор не отстаёт, ходит, как привязанный. Не раз уж хотел Антонио Балдуино поговорить с немцем, как мужчина с женщиной, выяснить, чего тому надо. Вот и сегодня сказал Розенде:

— Спрошу-ка я у этого гринго, за кого он меня принимает...

Да отговорила Розенда. Глупо, видите ли, ни с того ни с сего ссориться с человеком. Гринго на нее и не смотрит... Эх, женщина... легко же она обвела вокруг пальца Антонио Балдуино. Поверил, как дурак. Теперь-то он наконец прозрел. Ясное дело, побежала к немцу. В эту самую минуту наставляет с ним рога Антонио Балдуино! Бесстыжая тварь! Ничего не скажешь, любить ее сладко. Но с ним, с Антонио Балдуино, шутки плохи. Он сам бросает своих любовниц. Розенда играет с огнем. Где она сейчас? В гостинице, с немцем? У немца, видимо, есть деньги. Ничего, Антонио Балдуино их проучит... уж он их проучит. Дождь барабанит по крыше. Пойти, накрыть их? Или самому запереться изнутри в комнате? Пусть черная торчит всю ночь на улице, под дождем. Нет. Как ему не хватает горячего гибкого тела Розенды! Розенда Розеда отдается, будто танцует. Никто с ней не сравнится в любви! Негр улыбается. Ночь холодная, дождь льет как из ведра. В ногах у Антонио Балдуино примостился кот, греется. Кровать старинная, удобная Тюфяк мягкий. Такая постель редко бывает в мебелированных комнатах. Любопытно, в какой постели лежит Розенда со своим гринго? Пусть будет у них дрянная, жесткая койка. Отлупить надо черную дуру, и все тут. Не стоит убивать человека из-за такой потаскухи. Ладно, пырнул ножом Зекиню, но Арминде двенадцать лет было. И жизни-то еще не видала. Дитё. Тот негр, которому восемнадцать лет тюрьмы дали, убил гринго. Но Мариинья была девушкой и невестой негра. Надо задать немцу хорошую трепку, а Розенду бросить. Холодно, черт побери. Антонио Балдуино гладит кота. Тот доволен, трется головой о его

ноги. Нет, не пойдет он разыскивать Розенду и гринго. Медведь вздрагивает. Дождя, что ли, боится или вспомнил кого-нибудь? Может ли медведь тосковать? Бедняга... сколько уж лет живет без медведицы. Сам Антонио Балдуино без женщины и недели не выдержит. Негр самодовольно ухмыляется. А может, медведь холощенный? Антонио Балдуино решил проверить. Зверь недовольно съежился. Вот те на. Да это медведица. Что же он будет делать с ней в Баие? Разве выпустить ее на холме Кана-Негро. То-то все перетрусят, подумают — оборотень. Дождь перестал. Антонио Балдуино встает с постели, спихивает кота. Пойдет все-таки искать Розенду. Но дверь открывается, и Розенда Розеда входит в комнату, ослепительно улыбаясь. Заметив мрачное лицо негра, смеется, подходит к нему:

— Ты сердисься, любовь моя? Устал сидеть с мишкой?

— Думаешь, я дурак? Думаешь, не знаю, что ты ходила к этому гринго?

— Какой еще гринго, господи?

Ишь как удивилась — будто вправду не понимает, какой гринго... Но его, Антонио Балдуино, не проведешь. Он знает — женщина тварь лживая, вероломная. Всякий раз, как негр думает о женской подлости, он вспоминает Амелию, служанку португальца-командора. Вот уж врала без зазрения совести, а лицо при этом делала невинное, ангельское. Может, и Розенда лжет ему сейчас с невинным лицом.

— Где ты была?

— Уж и к соседке нельзя пойти?

— К соседке...

— Можешь спросить супругу сеньора Зуки... Я у них была... Она знает моих родственников, которые здесь жили...

Медведь беспокоится, бродит по комнате. Антонио Балдуино не очень-то хочется спорить. Он готов принять все ее оправдания. Ему хочется одного: улечься в мягкую постель, обнять горячее тело Розенды. Дождь усилился, потоки воды стекают по черепице. Крыша протекла, посреди комнаты вода размывает глинобитный пол. Медведь тревожится, ходит вокруг лужи. Розенда ласкает его, гладит медвежьей шерстью. Напрасно: медведь не успокаивается. Негр растянулся на кровати, думает, как бы заключить мир. Он хочет, чтобы Розенда Розеда была ря-

дом, хочет обнять ее гибкое танцующее тело. Завтра, может быть, он изобьет ее, бросит. Но не сейчас. Сейчас ему нужно тело Розенды, тепло Розенды. Но он ее обидел, теперь с ней так просто не помиришься. Розенда надулась, возится с мишкой. Не знает негр, как к ней подступиться. Он закрывает глаза, но Розенда не подходит к кровати. На улице льет дождь, воеет ветер, врываясь в щели. Неужели Розенда не чувствует его призыва? Сердится на него. А вдруг она не лжет? Вдруг и вправду болтала с вездесущей соседкой, женой Зуки? Розенда снимает платье. Оно сухое. Бегала бы под дождем к немцу — насквозь бы промокла. Просто он остался один, вот всякая чушь и полезла в голову. Кот прижался к ногам Антонио Балдуино, тепло от него. Но только ногам тепло. А самому холодно. Дождь барабанит по крыше. Антонио Балдуино пытается вспомнить стихи, слышанные от Толстяка. Стихи о дожде, стучащем по крыше, и о женщине, которая пришла на рассвете. Антонио Балдуино не помнит, она пешком пришла или прискакала на коне. Розенда Розеда сбросила сорочку. Ее обнаженная грудь заполнила комнату, затмила свет перед глазами Антонио Балдуино. Мало у какой девушки такая красивая грудь, тугая, высокая. Антонио Балдуино кидает сигарету на пол, делает нечеловеческое усилие, говорит:

— Медведь-то наш — баба...

— Что?

— Медведица это...

Розенда Розеда склоняется к Антонио Балдуино. Под шум дождя, под вой холодного ветра Розенда Розеда танцует для Антонио Балдуино. Он поддает кота ногой, тот с мяуканьем удирает.

\* \* \*

«Скиталец» подошел к пристани под дождем. Мария Клара сварила кофе для Антонио Балдуино и Розенды. В обратный рейс хотели идти той же ночью, сразу после погрузки. Медведя привязали в трюме. Моряк Мануэл рассказывал про Толстяка — похоронил бабушку, опять продает газеты. Жубшаба жив, колдует, по-прежнему устраивает макумбы. Жоакин целыми днями просиживает в «Фонаре утопленников», с ним — Зе Кальмар. Антонио Балдуино хочет знать все обо всех знакомых, о нижнем городе, о судах, которые прибывают и отправляются. Ан-

тонио Балдуино вновь приобщается к тайнам моря. Когда он сбежал, побитый перуанцем Мигезом, он разучился смеяться. Он был потрясен, подавлен позором поражения, провалом своей боксерской карьеры, вестью о близкой свадьбе Линдиналвы. Голова шла кругом от притч Жубиабы. Теперь он снова умеет смеяться, он снова с удовольствием будет слушать страшные рассказы Жубиабы. Потому что за два года скитаний он повидал много людского горя. В его хохоте появилось что-то безжалостное. На лице у него шрам — память о ядовитом шипе, об охоте за ним, Антонио Балдуино, в ночь облавы. Мануэл просит рассказать, откуда у Антонио Балдуино шрам.

Мария Клара смотрит из глубины каюты. Негр рассказывает и думает об океане, о подъемных кранах на набережной, о черных кораблях, ночью покидающих порт.

\* \* \*

Вириато ушел дорогой моря в такую же штормовую ночь. Крабы-сири, щелкая клешнями, впились в его тело. Старик Салустиано тоже искал в океане путь домой. И женщина, бросившаяся в волны с камнем на шее... Парусник пляшет над затопленными верхушками рифов. Рифов не видно, вода скрыла все. Сегодня Мануэл никому не уступит руль.

Все произойдет очень быстро. Парусник налетит на риф. Оборвется разговор Розенды с Марией Кларой. (Ветер треплет волосы Марии Клары, пропитанные запахом моря. Может быть, она никогда не жила в настоящем доме, может быть, она сама — порождение океана.) Погаснет трубка Мануэла. Все исчезнет в пучине — река вздулась и волнуется, словно море. Мануэл никому не уступит руль. Ветер низко нагибает деревья на берегу. Далеко-далеко светит фонарь другого парусника. Кое-где во мраке прибрежных зарослей мерцают огоньки светляков. Подхваченный свежим ветром, парусник мчится, словно моторная лодка. Смерть совсем рядом с ними в эту штормовую ночь. Малейшее отклонение руля — и они врежутся в риф, не видимый под водой. Антонио Балдуино лежит на спине и думает. На небе ни звездочки, черные рваные тучи проносятся, гонимые ветром. От Марии Клары исходит неповторимый аромат моря. Оно уже совсем близко. Мол появляется и уходит назад. Речные

берега раздвигаются, исчезают спящие поселки, погруженные в темноту. Антонио Балдуино думает — жизнь нелепа, жить не стоит. Карлик Вирриато знал это. Путь моря необозрим. Сегодня оно необозримо, мрачно. Зеленый хребет моря вздыбился волнами. Может быть, море призывает его? Антонио Балдуино, негр, не знающий страха, с детства мечтает, чтобы сложили о нем АВС. АВС поведает черным людям о жизни Антонио Балдуино, полной подвигов. Но если сейчас его поглотит пучина, сказать о нем будет нечего. Негр, не знающий страха, убивает себя, только чтобы не сдать полицию. В двадцать шесть лет нужно еще жить и бороться, чтобы о тебе сложили АВС. А море призывает его. Море — это путь домой. От Марии Клары веет морским ветром. Она говорит о море, о морях, о парусниках, о кораблекрушениях, о погибших. Говорит об отце, который был рыбаком и исчез вместе со своей жангадой<sup>1</sup> во время шторма. От Марии Клары пахнет морским ветром. Она и море неразделимы, оно ей и друг и враг. Море вошло в ее плоть и кровь. А в плоть Антонио Балдуино ничто еще не вошло. В его жизни было все и ничего не было. Он знает только, что он борется и будет еще бороться. Но у него нет ясной цели. Его борьба — зря. Это мучительно, все равно как бить кулаком в пустоту. Сейчас море зовет его к смерти, а голос Марии Клары — к жизни. Мануэл указывает рукой вперед — на горизонте появились огни Баии. Ветер проносится над их головами. В ветре — аромат моря, которым пропитано тело Марии Клары. Огни Баии обещают спасение.

\* \* \*

Розенда устроилась у Толстяка. Вечером пришел старец Жубибаба, все поцеловали ему руку. Старый негр опустился в углу на корточки. Отсвет керосиновой лампы падает на его морщинистое лицо. В лачуге Толстяка нет электричества. Толстяк улыбается, рад возвращению друга. Все слушают рассказ Антонио Балдуино. Медведь спит в углу. Завтра они пойдут на ярмарку Агуа-дос-Менинос, будут показывать медведя за деньги. А пока что отправляются в «Фонарь утопленников», выпивают. Потом Антонио Балдуино ведет Розенду на берег и любит ее у самого моря. Розенда Розеда ворчит: жестко, и песчинки

---

<sup>1</sup> Жангада — парусный рыбацкий плот.

набились ей в волосы, тщательно расправленные раскаленными щипцами. Негр добродушно хохочет. В порту — черные силуэты подъемных кранов.

Ярмарка Агуа-дос-Менинос начинается в субботу вечером и кончается в воскресенье, в обед. Лучше всего здесь в субботу вечером. Лодочники привязывают лодки в Дровяном порту, хозяева парусников ставят их у причала, мужчины несут на продажу разную живность, негритянки торгуют мингау и сладким рисом. Подходят набитые битком трамваи. Все спешат на ярмарку Агуа-дос-Менинос. Кто закупить продуктов на неделю, кто погулять, повеселиться, полакомиться сарапателем, поиграть на гитаре, соблазнить женщину. Ярмарка Агуа-дос-Менинос — праздник. Негритянский праздник с гитарой, смехом, драками. Палатки выстраиваются рядами. Но большая часть товаров — тут же, на улице, в огромных овальных корзинах, в ящиках. Крестьяне в широкополых соломенных шляпах сидят на корточках, бойко пререкаются с покупателями. Горы батата и сладкого маниока, арбузов, ананасов, бананов. Каких только бананов не найдешь на ярмарке Агуа-дос-Менинос! И чего только вообще здесь нет! Вот предсказатель судьбы. Попугай вытаскивает билетки. Судьба стоит всего два рейса. Розенда покупает билетик. В нем написано:

### С У Д Ь Б А

*Не верь лстящим тебе, ибо они лгут. Ты простодушна и по себе судишь о людях. У тебя доброе сердце, и ты думаешь, что все добрые. Но это не страшно, потому что ты родилась под счастливой звездой. Твои юные годы пройдут среди увлечений, которые принесут тебе много горя. Ты выйдешь замуж за молодого человека, на которого сначала не обратишь внимания, а потом он станет хозяином твоего сердца и будет единственным, кого ты полюбишь по-настоящему, на всю жизнь. Ты произведешь на свет трех прелестных малюток и вырастишь их с нежной заботой, и они принесут великий мир твоей душе. Ты будешь жить 80 лет. Тебя ждет лотерейный выигрыш по билету № 04554.*

Розенда рассмеялась, Антонио Балдуино сказал:

— Три раза рожать будешь.

— Одна цыганка нагадала мне восьмерых. И дальнюю дорогу. Дорога сбылась — приехала из Рио в Баию. Не соврала цыганка.

Антонио Балдуино думает о том месте «Судьбы», где говорится: «Твои юные годы...» Черт побори, неужели он серьезно влюбился. Уж не выпросила ли она приворотное зелье у старца Жубиабы. Жубиаба еще не пришел на ярмарку. Ему еще рано. Сегодня суббота, сегодня у него много народа. К нему идут все, кому нужна помощь. Тем, кто жаждет излечения от недугов телесных — чахотки, язв, проказы, дурной болезни, — Жубиаба раздает молитвы и травы. Тем, кто страдает от ран сердечных, кого бросила женщина, кто влюблен и робеет, Жубиаба раздает страшные приворотные зелья, мандинги<sup>1</sup>, колдовские приманки. Воскресным утром на улицах Баии полно свертков с мандингами. Жубиаба вызывает любовь, отводит любовь, убивает в мужчине страсть к женщине, заставляет женщину мечтать о мужчине. Жубиабе известны тайны богатых, знакома жизнь бедняков. Он знает все, сидя в своей лачуге на холме Капа-Негро. Жубиаба придет на ярмарку позже, опираясь о посох. Придет, многим уже облегчив страдания, многих вылечив. Жубиаба придет сюда, к ним. Толстяк уже привел медведя. Сколько Толстяку хлопот из-за Антонио Балдуино! Жил себе тихо, продавал газеты — и на тебе, появился Антонио Балдуино, и прощай спокойная жизнь. Толстяк оставляет газеты, идет за другом. Но Антонио Балдуино исчезнет, и Толстяк снова будет выкрикивать названия газет своим звучным печальным голосом. Теперь Антонио Балдуино притащил медведя... Вначале Толстяк его побаивался. Потом ничего, привык. Медведь заменил ему покойную бабку. Толстяк сам не поест, а мишка будет сыт до отвала. Медведя ведут на цепи, прикрепленной к кольцу, продетому в нос. Представление начинается. Крестьяне сгрудились вокруг. Толстяк пытается сочинить трогательную историю, да только не знает, бывает ли у медведей ангел-хранитель. Что-то не слышал. А без ангела-хранителя неинтересно. Толстяк окончательно решил подарить медведю ангела, но тут подоспел Антонио Бал-

---

<sup>1</sup> Мандинга — сверток с предметами, которым приписывается колдовская сила.



дуино и стал повторять то, что в цирке Луиджи говорил про льва:

— Достопочтенная публика! Чудовище, которое находится у вас перед глазами, поймано в делях Африки. Перед вами трижды человекоубийца. Растерзал уже троих укротителей. (Негр напрягает память, хочет слово в слово повторить то, что каждый вечер говорил Луиджи.) Человекоубийца... сейчас мы начнем представление, но умоляю вас: будьте осторожны. Не забывайте: трое уже погибли.

Толстяк всматривается в медвежью морду. Глаза нежные, совсем детские. Страшная несправедливость — называть такого убийцей. Медведь ходит вниз головой. Толпа растет. Розенда Розеда гадает по линиям руки. Мужчины довольны — Розенда щекочет их, приятная дрожь пробегает по телу. Умеет Розенда зарабатывать деньги. Просто-ватуму мулату она говорит:

— Сохнет по тебе одна девчонка...

Мулат ухмыляется. Может, она сама и есть эта девчонка. Розенда прячет никелевые круадо. Толстяк собирает в соломенную шляпу монетки — плату за медвежье представление. Антонио Балдуино, невероятно нарядный, в красных туфлях и красной рубахе, на все лады расхваливает медведя. Вокруг бушует ярмарка.

\* \* \*

Посреди улицы остановился автомобиль. Мотор заглох. Шофер лезет под машину узнать, в чем дело. Какой-то дядька принимается разглагольствовать:

— Машина — тьфу. Верно я говорю? А вот вы видали, чтобы у лошади мотор заглох? У коня Огня небось мотор не портился.

Он только что рассказывал про коня, который был у его шурина. Дядька — ярый противник лошадиных сил, заключенных в моторе. Он до неба превозносит всяческую скотину — лошадей, волов. Цитирует Писание. Жубиба сидит молча, слушает. Остальные поддакивают. Когда пришел Жубиба, друзья подсчитали выручку — оказалось пятьдесят девять мильрейсов, целое богатство. Решили покутить на разгулявшейся ярмарке. Медведя взяли с собой. Остановились у палатки, в которой пил Жоакин, да и заслушались историей про коня Огня.

— Во времена, когда напасти этой не было,— рассказчик указывает на осрамившийся автомобиль,— люди жили многие годы. Мафусаил девятьсот лет прожил... В Писании сказано...

— Верно,— кивает старик мулат.

— По двести, по триста лет жили. Сто лет — раз плюнуть. В Писании...

— Говорят, и попугай больше ста лет живет...

Дядька разгневанно оборачивается, но, увидев Розенду, расплывается в любезной улыбке.

— Подолгу жили. Ной прожил, и не помню, сколько. Тогда люди на волах ездили.

Дядька глотнул вина. Старый мулат поддакнул:

— Жили люди.

Хотел показать, что и он кое в чем разбирается. Какой-то негр кивнул, с уважением глядя на человека, читавшего Священное писание.

— Выезжали из дому на арбе, на волах, приезжали куда надо. Теперь поедут на такой вот уродине,— он ткнул в сторону злосчастного автомобиля,— и застрянут посередине дороги... Бензин, видишь ли, кончился. У волов небось бензин не кончался. Потому сейчас столько людей в младенчестве помирает. Машина не божье дело. Дьявольское измышление...

Старый мулат поддакнул. Знаток Библии продолжал:

— В те времена жены и в сто лет рожали...

— Ну нет. Чтоб столетняя старуха родила — не верю... — заявил Антонио Балдуино.

Все засмеялись, кроме мулата.

— В Писании сказано,— возразил защитник езды на лошадях и волах.

Нет, в такое Антонио Балдуино никогда не поверит: «Чтоб столетняя родила? Чуть. Дядька принимает нас за болванов». Негр открыл рот, чтобы сказать это вслух, но заговорил Жубиаба:

— Во времена, когда ездили на арбах, запряженных волами, негры голодали, как и сейчас... Неграм во все времена мучение.

— Правильно! — подхватил старый мулат.— Беднякам во все времена мучение...

Ярмарка вокруг живет своей жизнью. Пока Жубиаба беседует с врагом автомобилей (теперь он говорит о недуге, гложущем его уже много лет), друзья прохажива-

ются между бараками, останавливаются, переговариваются с крестьянами, лакомятся сладостями. Какой-то пьяница, увидел Розенду, ахнул:

— Хороша стерва...

Антонио Балдуино полез в ссору, но Розенда удержала его:

— Ты что, не видишь — он пьян...

— А он не видит, что ты с женщиной?

Но тот ничего не видит. Он пил подряд во всех бараках, где торгуют кашасой. Но он сумел разглядеть Розенду, оценить ее красоту. Антонио Балдуино хочет вернуться, проучить нахала.

Вдруг на ярмарке поднялся какой-то шум. Жубиаба уходит домой. С ним автомобиленавистник. Он лелеет надежду излечиться благодаря заклинаниям старца. Шум растет, скандал разгорается. Антонио Балдуино замечает, что с ними нет Толстяка:

— Куда он запропастился?

— С медведем ушел, наверное...

Жоакин не отрывает глаз от Розенды. Не будь она подружкой Антонио Балдуино, уж он бы ее не упустил. На Толстяка ему наплевать.

— С Толстяком что-то стряслось, — говорит Антонио Балдуино и идет в ту сторону, откуда доносится шум.

— С Толстяком... — пугается Розенда Розеда.

Антонио Балдуино и Жоакин бегут на помощь. Розенда ускоряет шаг. Толстяк отбивается от мужчины, который пытается вырвать у него цепь медведя.

Вокруг кричат:

— Пусти! Дай посмотреть!

Антонио Балдуино расталкивает толпу, обнимает Толстяка за плечи.

— Чего ему надо?

— Хочет воткнуть сигару медведю в нос.

— Интересно, что мишка сделает, — смеется мужчина, показывая горящую сигару. На подбородке у незнакомца — шрам, над верхней губой — редкие усики. — Такая морда у него забавная. А ну, дай попробую...

Вокруг хохочут. Антонио Балдуино кусает руку. Жоакин стал за спиной мужчины, того уговаривают двое мулатов. Человек с сигарой отмахивается:

— Пустяки... подумаешь... а ну, дай попробую...

— Валяй, — говорит Антонио Балдуино.

Мужчина подходит к медведю. Поднимает сигару. Медведь пятится. Сигара у самого медвежьего носа. Толстяк вскрикивает. Мужчина летит кувырком, сбитый ударом боксера Балдо. Мулаты, гришедшие с незнакомцем, набрасываются на негра. Но первого перехватывает Жоакин, второго Антонио Балдуино пинает ногой в живот. Толстяк хотел влепить оплеуху обидчику мишки, но промахнулся и угодил в физиономию какого-то негра, который глазел на драку. Тот звереет. Брат негра бросается на подмогу. Подбегает Мануэл, бросив ананасы, которые привез на продажу. С моряком еще трое. Бой разгорается. Несколько человек бросились разнимать, но сами начали драться. Свалка стала всеобщей. Отовсюду подбегают люди. Солдат выхватывает саблю. Что сабля, когда сверкает столько ножей? На улице напрасно свистит полицейский. Антонио Балдуино по всем правилам нокаутирует типа, не имевшего ни малейшего отношения к ссоре. Тот просто хотел разнять. Человек с сигарой тузит своего дружка. Толстяк отошел в сторону вместе с медведем и издали наблюдает за дракой. Розенда Розеда кусает врагов Антонио Балдуино, размахивает ножом, выхваченным из чулка. Платье на ней разорвано. Ярмарка Агуалос-Менинос ходит ходуном. Люди дерутся в свое удовольствие, не важно с кем, не важно за что. Схватываются, валятся, катаются по песку, молотя кулаками друг друга в веселом азарте боя. Негры забыли все. Забыли батат, горы золотых мандаринов, ананасов, бейжу. Они хотят одного — драться. Драться — это здорово, это все равно что петь, слушать захватывающую историю, врать, любоваться ночным морем.

Толстяк стащил для медведя бутылку пива.

Кто-то орет:

— Полиция! Конная!

Все прекратилось мгновенно, как началось. Негры вернулись к своим баракам, горам фруктов, бейжу. Ножи исчезли. Конная полиция обнаружила только немного крови на месте схватки. Кто-то закрывает платком порез на лице. Негры довольны, смеются. Не зря прошел вечер, вволю повеселились.

Человек с сигарой говорит Антонио Балдуино:

— Власть подрались.

Он угощает всех пивом, гладит мишку по голове. Начавшийся дождь поливает негров.

## НЕГРИТЯНСКИЙ КЛУБ

Клуб «Свобода Баии» приютился в старом доме на улице Кабеса, в третьем этаже. Узкая лестница ведет в большой зал. В зале — эстрада для джаза, по стенкам — стулья для дам. Выпивать в танцзале строго запрещено, столики стоят в зацементированном дворе. Неподалеку — уборная. При зале есть еще комнатуха с зеркалом во всю стену — перед ним дамы поправляют прически. На табуретке перед зеркалом — банка брильянтина, гребень. В дни особо торжественных балов, перед карнавалом, на празднике Бонфина<sup>1</sup> зал украшают пестрыми бумажными цветами, лентами. Сейчас, в иванов вечер, к потолку подвешено бесчисленное множество ярких воздушных шариков. Бал будет на славу. У «Свободы Баии» солидные традиции. На июньский бал сюда приходят все слуги из богатых домов, все мулатки — продавщицы сластей на улицах, все солдаты девятнадцатого полка, вообще все негры, сколько их есть в городе. В Баие не так уж много негритянских клубов. Негры предпочитают ритуальные пляски, макумбу. В танцзал ходят только по большим праздникам. Но «Свобода Баии» — особый клуб. Сам старец Жубиаба покровительствует «Свободе Баии». Жубиаба — почетный председатель клуба. Вот почему процветает «Свобода Баии». А еще — в ней играет знаменитый шумовой джаз «Семь канареек». Джаз возник в «Свободе Баии», но теперь без него не обходится ни один праздник в городе. Даже в богатых домах без «Семи канареек» веселье не веселье. Джазисты обзавелись смокингами. Но нигде «Канарейки» не играют с таким огнем, с таким подъемом, как в родной «Свободе Баии». Если в негритянском клубе бал, джаз ни за какие деньги не пойдет в другое место. В «Свободе Баии» джазисты — дома, здесь они одеваются во что хотят, танцуют, болтают с приятелями. «Свобода Баии» — в зените славы, и традиции у нее почтенные. Готовится большой июньский бал.

Всякий раз, как Антонио Балдуино слышит джаз «Семи канареек», ему безумно хочется дирижировать. Даже лучше не джазом, а духовым оркестром — там музыканты в красивой форме, а дирижер идет перед ними спиной впе-

---

<sup>1</sup> Праздник Бонфина.— Имеется в виду полуязыческий праздник, ежегодно устраиваемый баиянскими неграми у церкви, стоящей на холме Бонфин.

ред, взмахивая палочкой. Антонио Балдуино любит все яркое, блестящее, по душе ему нарядная дирижерская форма. Джазисты одеваются кто во что горазд, а если идут играть в богатый дом, облачаются в смокинг. Негру это не улыбается. Но на худой конец можно в джаз, солистом, тем, кто поет и отплясывает чечекку.

Уже целую вечность Антонио Балдуино не сочинял самб. На табачных плантациях на это просто времени не было. А тут, вернувшись в Баию, сочинил сразу две, их даже по радио передавали. А еще сочинил Антонио Балдуино поэму — АВС о Зумби из Палмареса, до неба превознес негр подвиги любимого своего героя. В поэме Зумби из Палмареса родился в Африке, охотился на львов, тигров, но однажды, обманутый белыми, ступил на палубу невольничьего корабля... И попал Зумби на табачные плантации. Но не мог он примириться с побоями, убежал, собрал войско негров, перебил множество белых солдат, а как попал в ловушку, предпочел смерть плену. Бросился со скалы:

О Африка, где я родился!  
Я в сердце тебя сохранил,  
там ел я кускуз<sup>1</sup> и бананы,  
отважным охотником слыл.

. . . . .  
- . . . .  
. . . . .

Палмарес, где на смерть я бился,  
чтоб вольными стать мы могли.  
Нагнали туда полицейских,  
но все они там полегли.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

С обрыва, врагам чтоб не сдаться,  
он бросился вниз головой  
и крикнул: умру я свободным!  
Так умер наш Зумби-герой.

Толстяк наизусть выучил АВС, поет его на праздниках под гитару.

Антонио Балдуино снес АВС поэту, который покупал у него самбы. Но поэт купил обе самбы, а про АВС сказал — оно яйца выеденного не стоит. И размер там не

---

<sup>1</sup> К у с к у з — кусочки теста из рисовой или кукурузной муки, сваренные на пару.

соблюден, и много еще чего, Антонио Балдуино не понял. Рассердился негр — он-то считал АВС очень удачным — и, получив за самбы тридцать мильрейсов, сказал поэту пару ласковых слов. Облегчив душу, ушел Антонио Балдуино, дома спел свой АВС Жубиабе и Розенде. Они пришли в восторг. Жубиаба договорился с сеньором Жеронимо, чтобы АВС напечатали в «Народной библиотеке», в которой издавали куплеты, песни, заговоры, сказки, анекдоты, молитвы, рецепты по двести рейсов за книжку. АВС Антонио Балдуино попал в одну книжку с «Историей заколдованного быка» и «Метисом и младенцем». Вскоре его распевали докеры и моряки, от моряков он перешел к слепым музыкантам в маленьких портовых городишках по всей бухте Баии. Все бродяги, все негры пели АВС о Зумби из Палмареса. Теперь у Антонио Балдуино одна мечта — вступить в джаз «Семи канареек».

\* \* \*

Антонио Балдуино был членом «Свободы Баии», но ходил туда редко. Веселья вокруг — хоть отбавляй, а в клубе надо платить за выпивку. А денег у Антонио Балдуино не водилось. Лишь изредка заглядывал он в клуб поухаживать за одной мулаткой. Распорядитель, тучный негр сеу Жувенсио, всегда встречал Антонио Балдуино словами:

— В кои веки почтили наш клуб, сеу Балдуино. Брезгуете нами...

Антонио Балдуино не брезговал. Но в «Свободе Баии» строго запрещено прижиматься к даме, когда танцуешь. Строго запрещено разговаривать с дамой посреди зала. Строго запрещено приходить в нетрезвом виде. Не нравилось это негру, не любил он себя сдерживать. Он крепко обнимал партнерш, частенько бывал пьян. Антонио Балдуино хорошо помнит, как он впервые пришел в «Свободу Баии». Не успел войти, как на него налетел сеу Жувенсио. Джаз гремел в безумном экстазе. Да это — собственная его самба, одна из первых, проданных поэту. Антонио Балдуино пригласил мулатку Изолину, за которой тогда ухаживал. Пошли танцевать, негр облапил мулатку. Тут и подскочил Жувенсио:

— Так не положено... — Сеу Жувенсио был строгим распорядителем.

— Что не положено?

- Лишнее себе позволяете...
- Кто?
- Вы со своей дамой.

Антонио Балдуино дал распорядителю по морде. Сцепились было, да вмешался Жубиаба, и их разняли. Сеу Жувенсио объяснил, что это его обязанность — следить за нравственностью в танцзале. Если на такие вещи смотреть сквозь пальцы, сюда перестанут пускать порядочных девушек. Потеряет доверие «Свобода Баии». Что тогда делать? Пожалуйста, обнимайтесь, сколько угодно. Сеу Жувенсио в чужую жизнь не лезет. Но не здесь. Здесь чтоб был порядок. У нас не веселый дом. У нас — танцзал, клуб. Высокая нравствленность. Антонио Балдуино внял, и они помирились. Негр продолжал развлекаться, танцевать, пить. Пришел Толстяк, совершенно случайно. Все шло прекрасно. Но около часу ночи какой-то сержант принялся развязно таяцевать с белой дамой. Сеу Жувенсио предупредил, сержант и ухом не повел. Сеу Жувенсио предупредил во второй раз, а в третий потребовал, чтобы прекратили танец. Сержант грубо отпихнул распорядителя. Антонио Балдуино вступился за Жувенсио, сбил сержанта с ног. Тот ушел, опозоренный. Антонио Балдуино с распорядителем пошли выпить, но сержант вернулся с целым взводом солдат. Что тут только было! Солдаты стреляли. Кто-то со страху в уборной заперся. Кончилось дело пробитыми головами, арестами. Негру удалось скрыться. С того вечера он — видная фигура в «Свободе Баии». Сеу Жувенсио встречает его с распростертыми объятиями, угощает пивом. Но больше всего любит Антонио Балдуино праздники на холме Капа-Негро, в Итапажипе, в Рио-Вермелье. Только во время карнавала хорошо в клубе. Антонио Балдуино приходит, наряженный индейцем, в зеленых и красных перьях. Поет обрядовые песни. В дни карнавала тут здорово. Но сейчас, в иванову ночь, куда веселее на вечеринке у Жоана Франсиско, в Рио-Вермелье. Там зажгут перед домом огромный костер, будут пускать огненные шары, ракеты. Там вдоволь будет и канжики, сладкой каши из маисовой муки, и вина из плодов женипапо. Но ничего не поделаешь. Придется идти в «Свободу Баии». Розенда сшила себе бальное платье, хочет покрасоваться в клубе. Тщеславная негрятинка! Сам-то он пошел бы к Жоану Франсиско.



Эта Розенда стала просто невыносимой, думает Антонио Балдуино. Командовать им вздумала. Взять, да и вышвырнуть ее на улицу пинком в зад. Требуется то одно, то другое, заставила медведя продать, чтобы сделать настоящее бальное платье. Могла бы купить в долг у разносчика-турка. Теперь вот — подавай ей бусы за двенадцать мильрейсов, увидала в витрине на улице Чили. Пошел Антонио Балдуино покупать бусы, но встретил по дороге Висенте, докера, и отдал ему десять мильрейсов для вдовы Кларимундо. Подъемным краном его задавило. Похороны-то профсоюз взял на себя, но докеры хотели собрать что-нибудь для вдовы и заказать венки. Подъемный кран размозил ему голову стальным шаром. Кларимундо тащил на спине тук, не мог посмотреть вверх. Вдова осталась и четверо малышей. Антонио Балдуино отдал десять мильрейсов и взялся поговорить с Жубиабой — может, удастся сделать что-нибудь для вдовы. Этого Кларимундо Антонио Балдуино хорошо знал — весельчак был негр, певун, женился на светлой мулатке. Жоакин говорил про нее — «доска!». Хороший был товарищ негр Кларимундо, никогда не отказывал, если нужно помочь. Теперь нет его. Вдова будет жить на подачки. Работает человек, таскает тяжести, корабли грузит, а потом что? Погибнет, оставит жену и детей нищими. Старый Салустиано бросился в море. И Вирiato, Карлик, от этих мыслей покончил с собой в штормовую ночь. А он, Антонио Балдуино, о таких вещах думать не любит. Ему другое нравится. Хохотать, играть на гитаре, слушать душевспасительные истории Толстяка, героические истории Зе Кальмара. Сегодня он в плохом настроении, потому что не может пойти на праздник к Жоану Франсиско, должен тащиться с Розендой в клуб. По дороге зайдет в дом Кларимундо. Навестит покойника — бывшего друга. Лучше бы и не ходить ни на какой праздник, а провести ночь над телом покойного. Надо поговорить с Жубиабой, попросить его проводить усопшего. Может, Жубиаба сейчас у них, с Толстяком разговаривает. Лачуга Толстяка недалеко от холма Капа-Негро, иногда Жубиаба заходит к ним поболтать. Не старится Жубиаба. Сколько ему теперь лет? Больше ста, верно. Сколько он всего знает. Это Жубиаба виноват, что вдруг охватывает Антонио Балдуи-

но горькая тоска. Такие вещи говорит Жубиаба, которые камнем падают на душу. Из-за Жубиабы думает Антонио Балдуино о море, в которое бросился Вирiato, в котором Салустиано забыл о голодных детях. Да, не тот теперь Антонио Балдуино, что прежде. Смутно у него на душе. На улице-то он хохочет во весь голос — прохожие обращиваются. Он и сейчас хохочет. Но не оттого, что ему весело. А на зло людям. Негр ускоряет пружинящий шаг. Он почти бежит. Но домой приходит, почти успокоившись, думая о белом костюме, в котором пойдет на бал.

— Где бусы, любовь моя?

Антонио Балдуино обалдело смотрит на женщину. Он совершенно забыл о бусах. Да и десять мильрейсов отдал для вдовы Кларимундо. В кармане одна монетка в два мильрейса. Розенда подозрительно смотрит:

— Где мои бусы?

— Ты знаешь, кто умер?

Но Розенда не знала грузчика Кларимундо.

— Мне так хотелось, а ты не купил. Назло, нарочно! Говоришь еще, что любишь меня... Ну, погоди.

Сегодня, накануне иванова дня, на улице все люди веселые. Антонио Балдуино тоже хотелось бы быть веселым. Люди идут с такими счастливыми лицами. Все предвкушают необыкновенную ночь. Будут пускать шутихи, жечь фейерверк, бенгальский огонь. Негры говорят только о празднике у Жоана Франсиско, о бале в «Свободе Баии». Один Антонио Балдуино не весел сегодняшней ночью. Кларимундо. Антонио Балдуино мог думать только о погибшем докере.

Розенда капризничает, лезет в ссору. Антонио Балдуино не отвечает, негритянка принимается плакать. Антонио Балдуино подходит к двери, смотрит на улицу. Перед домом Освалдо раскладывают огромный костер. В особняке напротив нарядные девушки пытаются увидеть суженого в чашке с водой. Всем весело. Ему одному тоскливо, хоть в петлю лезь... Вдова Кларимундо плачет, наверное. Но у нее на то причина есть. Мужа потеряла. А у него, у Антонио Балдуино, что? Розенда не в духе? Плевать. Вышвырнуть и пойти к Жоану Франсиско. Розенда стала невыносимой. Антонио Балдуино открывает дверь. Розенда плачет, говорит, что никуда не пойдет. Негр берет шляпу, уходит. Надо известить Жубиабу о гибели Кларимундо.

Поговорив с Жубиабой и Толстяком (Толстяк сразу пошел к покойнику), Антонио Балдуино вернулся домой. У Розенды лицо злое, но она готова идти на бал.

— Знаешь, Розенда, придется все-таки зайти к Кларимундо.

— Какой еще Кларимундо? — спрашивает Розенда сквозь зубы.

— Докер. Убило его сегодня. Я деньги на похороны отдал, десять мильрейсов. Поэтому и бус не купил.

— Для чего мы туда пойдём?

— Вдову попробуем утешить...

— Я же в бальном платье...

— Ну и что...

Розенда простить ему не может бус, ворчит, что в бальном платье к покойнику никто не ходит. Но собирается идти. Антонио Балдуино на кухне пьет кофе. Из комнаты слышится раздраженный голос:

— В гости к покойнику... виданное ли дело...

Эх, отлупить бы ее как следует! Обнаглела. Желает идти на бал в голубых бусах за двенадцать мильрейсов... Десять пошли вдове Кларимундо. Два — вот они, в кармане. Хватит на кружку пива. А Розенде бусы бы пошли... только не голубые, а красные. Любит Антонио Балдуино красный цвет. Женщина-то она что надо. В постели с ней ни одна не сравнится. А так — дура набитая. Капризная. Избалованная. Подай ей то, подай это. А воображает-то! В театре, видите ли, выступать хочет. Официанткой работать — не по ней. «Я не для этого родилась». Кофе остыло. Да жидкое оно. Кофе сварить и то не умеет. Вот у жены Кларимундо здорово получается. Что она теперь делать станет... Не найдет второго мужа — голодать будет с детишками. Времена тяжелые, стиркой много ли зарабатываешь. Да и не вынести ей. Вон какая худая — кожа да кости... Розенда сердито спрашивает:

— Ты идешь или нет?

— А что?

— Ты даже не переоделся. Когда же мы на бал попадём? Еще и к покойнику хочешь зайти. Боже, какая глупость. Идти к покойнику в бальном платье. В жизни про такое не слышала...

Антонио облачается в белый костюм, но красный галстук не надевает — ведь он идет к Кларимундо. Негр

выходит из дому в отвратительном настроении. Розенда тоже. Идут порознь, будто и незнакомы. Вокруг взлетают огненные шары. Перед домом Освалдо пылает костер. С треском всныхивают шутихи, лопаются ракеты.

\* \* \*

Не видать Кларимундо праздничных огней в иванову ночь! Раньше и перед его домом горел костер, шумно взлетали цветные ракеты. Друзья собирались, пили кашасу, вино из женипапо. Сколько раз бывал тут Антонио Балдуино. Веселились они. Пускали шутих, те путались в ногах у неосторожных прохожих. Как-то друзья соорудили шестиметровый цеппелин с тремя огнедышащими отверстиями. Красота. На другой день в газетах фотография появилась. Дом бывал гостями битком набит.

Сегодня здесь тоже тесно. Только нет костра у входа. А Кларимундо — в гробу, и глаза у него закрыты. По небу летают огненные шары. Не видит их Кларимундо. И костра, что перед домом Освалдо, не видит. Прежде они всегда спорили, чей костер больше. На этот раз Освалдо выиграл. Не сравниться с его костром свече, что горит у покойника. Неузнаваем Кларимундо. Стальной шар снес ему череп, разможил кости, расплющил лицо. Сегодня тоже кто-то запустил огромный огненный цеппелин. Все бросаются к окнам. Пылающий цеппелин летит по ночному небу. Кларимундо не видит. Убил его подъемный кран в порту, во время погрузки. Остальные докеры — здесь. Похороны взял на себя профсоюз. От Кларимундо многие пойдут на бал в клуб «Свобода Баии». Жубиаба не пойдет — останется бдеть над усопшим, благословит его. В руке у жреца покачиваются зеленые ветви. Толстяк тоже останется. Будет всю ночь бодрствовать над телом, помогать старцу Жубиабе. Огненные шары летят по небу. Кларимундо, негр Кларимундо, не зажег ты этой ночью костра у дверей своего дома. Мертвецки напьется сегодня негр Антонио Балдуино, поминая тебя. Теперь подъемные краны — заклятые враги Антонио Балдуино.

Голос вдовы звучит покорно — сбылось страшное предчувствие, мучившее ее.

— Я знала... Каждый день думала — мертвым его принесут... раздавленным...

Старшая девочка, лет десяти, положила голову на стол, плачет. Младший, трехлетний карапуз, глядит на

огненные шары, бороздящие черное небо. Жрец Жубиаба совершает погребальный обряд. Этой ночью Антонио Балдуино будет мертвецки пьян. От соседей доносится музыка. Прощальная самба заполняет дом Кларимундо.

\* \* \*

Танцзал переполнен. «Свобода Баии» дрожит от веселого смеха. Остро пахнет потом, нечем дышать — но этого никто не замечает. Безумствует джаз «Семь канареек». Тесно. Пары почти стоят на месте. Сеу Жувенсио оставил на минутку свои распорядительские обязанности, встречает Антонио Балдуино:

— В кои веки почтили наш клуб...

Сеу Жувенсио одет в строгий синий костюм. Антонио Балдуино знакомит его с Розендой. На ней — светло-зеленое бальное платье. Они стоят в дверях, ждут, пока кончится танец. Наконец музыка стихла. Антонио Балдуино и Розенда Розеда входят в зал. Мулатки оглядывают Розенду, потрясенные ее платьем. Негры не отрывают от нее глаз. Розенда говорит:

— Уставились, будто людей не видали...

На самом-то деле она страшно довольна. Улыбается. В бусах она была бы еще лучше, думает Антонио Балдуино. Он горд успехом своей любовницы. Все смотрят на Розенду, шуткаются. Розенда Розеда проходит по залу, качая бедрами, будто танцует самбу. Антонио Балдуино и Розенда Розеда остановились на самой середине зала, под люстрой. Розенда уходит в дамскую комнату поправить свою прическу из распрямленных волос. Антонио Балдуино разговаривает с друзьями. Жоакин уже сильно пьян.

— Весело тут, приятель... Я уж выпил...

— Я думал, ты у Жоана Франсиско...

— Успею... Я сюда так зашел, на огонек... Хорошо... Девка-то у тебя что надо, а?..

— Розенда? Отбить хочешь?

— Чужими обедами не пользуюсь...

Негры смеются. Кто-то спрашивает, откуда у Антонио Балдуино шрам на лице. Негр врет, будто один подрался с шестерыми. Зэфа тут, исподтишка наблюдает за Антонио Балдуино. Негр подходит к ней, Зэфа жалуется: «Не узнаешь нас, бедных». Розенда выходит из дамской комнаты, ослепительно улыбаясь. Зэфа говорит с завистью:

— Вот твоя госпожа...

Розенда садится рядом с Зэфой на стул Антонио Балдуино — он пошел выпить с Жоакином и сеньором Жувенцио. Джазисты угощаются пивом, танцев пока нет. Но вот снова ударил карнавальный марш. Антонио Балдуино смотрит на танцы, сидя за столиком. Пар слишком много, не стоит сейчас танцевать. Негр с удовольствием разглядывает обновку, рыжие туфли. Шикарные. Жоакин тоже ими любит. Антонио Балдуино решил сходить за Розендой, пусть пока пива выпьет. Встал из-за столика и глазам своим не поверил. Розенда Розеда танцует с каким-то белым. Негр оборачивается к Жоакину:

— Кто этот тип?

— Который?

— Вон — с Розендой танцует.

— Карлос, шофер. Головорез отчаянный...

Где это видано, чтобы дама, пришедшая на бал с кавалером, пошла танцевать с незнакомым мужчиной, не попросив разрешения у своего спутника? Так не делают. Много себе позволяет Розенда. Разозлилась из-за бус, видно, отомстить захотела. Зэфа не танцует. Подходит к их столику, соглашается выпить пива.

— Погляди-ка на свою красавицу, Балдо. Улыбается белому во весь рот. С этим Карлосом лучше не связываться.

Зэфа пошла танцевать с Жоакином. Смеется... Это она над ним, над Антонио Балдуино, смеется. Вообразила, будто он от Розенды без ума, словно его зельем приворотным опоили. Антонио Балдуино велит официанту принести кашасы. Официант хромой, одна нога — деревянная. За соседним столиком сидит подвыпивший негр, у него руки чешутся, подраться бы с кем-нибудь.

Негритянки танцуют. Джазисты в экстазе превосходят себя, из кожи вон лезут. Розенда Розеда танцует с шофером Карлосом. Он шепчет ей что-то на ухо. Это запрещено! Куда сеу Жувенцио смотрит? Что она — рога хочет наставить Антонио Балдуино?

Миленькая мулаточка — вон там, в углу, рядом с толстой старухой. Личико симпатичное, грудь, как у подростка. Розенда подошла к окну, смеется. Почему Антонио Балдуино не может заставить себя думать о миловидной мулатке? Велит принести еще кашасы. И все это из-за бус! Но не мог же он не дать денег для вдовы Кларимундо!

Погиб Кларимундо, подъемный кран задавил его в порту. Голубые бусы... Если бы еще красные! Опять проходит Розенда, смеется. Не поздоровится этому шоферу, Карлосу. Они что, шутить вздумали с Антонио Балдуино? Плохо же они его знают. Негр нацупывает нож, спрятанный в заднем кармане брюк. Красиво можно черкнуть по физиономии. Голубые бусы все равно не пошли бы к зеленому платью. Официант! Еще кашасы. Красные — другое дело... Завтра вдова Кларимундо начнет стирать чужое белье. Ну, что это за работа! Да и тощая она, не выдержит, схватит чахотку. Отлупить надо как следует эту Розенду. Никогда ни одна негритянка не смела так поступать с Антонио Балдуино. Зал переполнен. Танцуют негритянки в бальных платьях — ну, прямо дамы из высшего общества. Негритянка Жоана славится своими нарядами. Но сегодня Розенда затмила всех. Шофер доволен, выставляет напоказ свою партнершу. Антонио Балдуино отдал деньги вдове Кларимундо, а бус не купил. Джаз смолк, но все неистово хлопают, и музыка продолжается. За соседним столиком подвыпивший негр так и лезет в драку. Антонио Балдуино поворачивается к нему:

— Можешь на меня рассчитывать, парень.

— Благодарю, земляк... трусы они — ни один драться не хочет.

Он пристаёт к официанту, к соседям:

— Вы у меня попляшете...

Антонио Балдуино мог бы попросить у Жубиабы приворотное зелье. Ползала бы за ним Розенда Розеда. Негр-солист поет:

Мулатка, ты меня не любишь...

Нет. Не нужна Антонио Балдуино любовь, рожденная колдовскими чарами. Ему все равно — пусть Розенда идет, куда хочет. Вот только — не допустит он, чтобы с ним так поступали. Пришли вместе, а танцует с другим, не попросив разрешения. Шутить с ним вздумала. Негритянки извиваются под звуки марша. Старый негр рассказывает какую-то историю. Подвыпивший задира перебивает его. Остро пахнет потом. Один мулат уговаривает свою партнершу выйти с ним из зала. Шофер, ясное дело, просит о том же Розенду. Розенда Розеда смеется...

Антонио Балдуино встал. Он отдал деньги жене Кла-

римундо. Негр подходит к шоферу, хватает Розенду за руку.

— Пошли танцевать!

Шофер вламывается в амбицию:

— Не тронь мою даму!

— Она не твоя. Я ее привел. Платье на мои деньги куплено. Она бусы еще хотела... да я отдал десять мильрейсов вдове Кларимундо, докера. Его подъемный кран раздавил.

Негр тащит Розенду — та струхнула, не знает, что делать. Уж очень Антонио Балдуино любит драться. Но шофер не собирается уступать красавицу. Музыка смолкла, они стоят посреди зала и спорят. Подходит сеу Жувен시오, распорядитель. Стоять посреди зала запрещено.

Шофер взрывается:

— Проваливай!

Подошел Жоакин:

— В чем дело?

Розенда берет его под руку:

— Балдо лезет в бутылку, потому что я пошла танцевать с этим парнем. Успокойте его, сеньор Жоакин.

Теперь на них все смотрят. Пьяный задира предлагает Антонио Балдуино свои услуги:

— Поддержать, земляк?

Сеу Жувен시오 велит прекратить эти глупости и делает знак дирижеру. Играют фокстрот. Антонио Балдуино танцует с Розендой. Шофер угрожает:

— Мы еще встретимся...

Розенда Розеда польщена. Антонио Балдуино силой отнял ее у соперника. Розенда нежно прижимается к негру. В красных бусах она была бы еще красивее, думает Антонио Балдуино. Задира удалось наконец устроить драку в глубине зала. Шофер стоит в дверях, глаз не спускает с танцующих. Драку разняли. Шум стих. Фокстрот продолжается. Сеу Жувен시오 азартно хлопает. Тоскливая какая музыка, похоронный марш, да и только, думает Антонио Балдуино. Нет больше Кларимундо. Не видать больше веселому докеру огней в иванову ночь. Фокстрот кончился. Антонио Балдуино подходит к шоферу:

— Я только хотел показать, что женщине у меня никому не отбить. А теперь, если охота — забирай эту уродину. Мне она не нужна.



Веселье в разгаре, «Свобода Баии» содрогается от неистовой пляски. Грохочет музыка. Антонио Балдуино управляет «Семью канарейками»,— дирижер упился, не стоит на ногах. Шофер и Розенда Розеда исчезли. Остро пахнет потом. Негры хохочут, иступленно извиваясь в машине.

#### «КАРАВЕЛЛА «КАТАРИНЕТА»<sup>1</sup>

На террасе Линдиналва читает сентиментальные романы, стихи о любви. Особенно ей нравится «Каравелла «Катаринета».

Каравелла «Катаринета»  
плывет по морским волнам.

Может быть, каравелла «Катаринета» привезет жениха Линдиналве. Однажды ей сказал нищий мальчик, что жених приплывет к ней на корабле, по морским волнам. И Линдиналва ждет. Ждет и читает на террасе сентиментальные романы, стихи о любви.

Девушка из особняка напротив вышла замуж, и в переулке Зумби-дос-Палмарес стало скучно: ни разу больше влюбленный не пересек улицу, ни разу больше не бросил на балкон букетик гвоздик. Молодожены сняли квартиру в центре, на оживленной улице, теперь окна особняка не открываются. Не видно портрета молодого военного, убившего своей ранней смертью радость в этой семье. Вышла замуж девушка из особняка напротив, и загрустила Линдиналва. Раньше она из своего сада следила за романом соседки, и гвоздика, которую влюбленный бросал на балкон, говорила что-то и ее сердцу. Эта любовь придавала очарование тихому переулку Зумби-дос-Палмарес. Теперь, после свадьбы соседки, хоть Линдиналва ни разу в жизни не поговорила с девушкой, она чувствует себя совсем одинокой. Амелия старится потихоньку, возится на кухне. Через год после того, как убежал Антонио Балдуино, Линдиналва рыдала на похоронах матери. Овдовев, командор забросил дела, пропадал в веселых домах, пил. С горя, говорили знакомые. Линдиналва грусти-

---

<sup>1</sup> «Каравелла «Катаринета» — название старинного португальского романса времен великих географических открытий.

ла одна, покинутая в старом доме. Гуси у них передохли, цветы начали вянуть. Линдиналва читала романс «Каравелла «Катаринета», обрывала лепестки роз, ждала — приплывет к ней на корабле жених. Линдиналва столько мечтала об этом, что нисколько не удивилась, когда из Рио приплыл на пароходе в Баию Густаво — доктор Густаво Баррейрас, юноша из хорошей семьи. Приплыл с дипломом юриста и твердым решением разбогатеть. Густаво вел дела командора в одном процессе и познакомился с Линдиналвой. Красавицей она не была, но веснушки делали ее пикантной, а худенькое тело с высокой грудью дразнило взгляд адвоката. Они стали женихом и невестой. Будущее казалось безоблачным. Переулочек Зумби-дос-Палмарес повеселел. Они гуляли под руку, Густаво говорил так красиво. Через каменную ограду особняка напротив тянулись алые маки — посмотреть на влюбленных. Алые маки, сочные, влажные, будто губы, просящие поцелуй. Однажды Густаво сказал:

— Маки вводят во грех, — и поцеловал Линдиналву.

Ветер покачивал головки маков. Линдиналва была так счастлива, что ее даже перестал преследовать в кошмарных снах негр Антонио Балдуино. Теперь ей снился жених, уютный домик, сад, маки. Много-много алых маков, прекрасных, как грех.

\* \* \*

Командор разорился (знакомые говорили, все промотал на девок). Жених оказался на редкость преданным. Но хотя и старался изо всех сил, спасти ничего не смог. Командор пропадал в дешевых домах терпимости. Густаво каждый день приходил к Линдиналве. Пришлось уехать из особняка (пошел за долги), снять квартиру на окраине. Деньги на хозяйство давал Густаво. Однажды лил дождь, была непогода — его оставили ночевать. Командор не возвращался из публичного дома. Дверь в комнату Линдиналвы была приоткрыта. Густаво вошел. Она спряталась в простыни. Она улыбалась.

Не думала Линдиналва, что все так скоро изменится. Несколько ночей они провели вместе, вначале она была так счастлива. Сладкие ночи любви, поцелуи, от которых болели губы, руки, ласкавшие грудь, словно обрывали лепестки маков. Потом Густаво начал приходить реже, говорил — занят, дела идут плохо. Три раза назначали

свадьбу — и три раза откладывали. Командор умер в постели у проститутки, об этом сообщили газеты. Густаво счел себя оскорбленным, жаловался, что пострадает его карьера, не явился на похороны. Через несколько дней прислал две бумажки по сто мильрейсов.

Линдиналва написала, что хочет с ним повидаться. Он пришел только через неделю. И был он такой мрачный и так торопился, что она даже не заплакала. Даже не сказала ему, что ждет ребенка.

## ПЕСНЯ О МИЛОМ ДРУГЕ

Это Амелия рассказала Антонио Балдуино, что Линдиналва пошла по рукам. Когда несчастье обрушилось на дом командора, Амелия осталась верна Линдиналве. Верна и заботлива. Заменяла ей и отца и мать. Перебравшись на окраину, Линдиналва заставила служанку найти другое место. Амелия не хотела, но Линдиналва настояла на своем, рассердилась даже. И Амелия пошла служить к Мануэлу Алмасу, богатому португальцу, владельцу кондитерской. Антонио Балдуино скитался в это время по табачным плантациям. Когда подошли роды, Амелия помогла Линдиналве. Бросила работу, вернулась к девочке, как она ее называла. Амелия дала деньги, была преданной, тактичной сиделкой. Такой тактичной, что Линдиналва не почувствовала себя униженной. Густаво, женившись на дочери депутата парламента, прислал на ребенка сто мильрейсов. Он умолял сохранить все в тайне. Линдиналва ответила, что он может не беспокоиться, — никто никогда ничего не узнает. Линдиналва снова заставила Амелию поступить на работу. А сама приняла приглашение Лулу — хозяйки самого шикарного притона в Баие. Так началась ее жизнь в «Монте Карло». Антонио Балдуино слушал, низко опустив голову, поглаживая шрам на лице. Была дождливая ночь.

Ребенка, здорового в отца, грустного в мать, взяла Амелия. В эту ночь Линдиналва в невероятном открытом вечернем платье дебютировала в «Монте Карло».

Лулу дала ей инструкции: просить побольше самых дорогих вин, завлекать тучных полковников, владельцев

табачных, сахарных, какаовых плантаций. У Линдиналвы вид хрупкой невинной девочки. Это нравится старикам. И тянуть с них надо побольше. Такова жизнь...

Когда она вошла в зал, играли медленный вальс. На груди у нее — ключ от комнаты. Она отдаст его мужчине, который ее пригласит. Ключ к тайнам ее тела... Линдиналве не хочется плакать. Просто музыка почему-то уж очень грустная.

По залу медленно кружат пары... Рано, гостей еще мало. Только две женщины уже заняты — сидят с какими-то юнцами, пьют пиво.

Линдиналва садится за стол для женщин... Блондинка говорит остальным:

— Это новенькая.

Женщины безразлично смотрят на Линдиналву. Только мулатка с рюмкой кашасы в руке вдруг спрашивает:

— Что вы собираетесь тут делать?

Голос у Линдиналвы дрожит:

— Я не нашла работы...

Блондинка, француженка, угощает остальных сигаретами:

— Боже, хоть бы пришел полковник Педро... Мне позарез нужны деньги...

Мулатка смотрит в рюмку и вдруг принимается хохотать. Никто не обращает внимания. Все давно привыкли к выходкам мулатки Эунисы. Но Линдиналва вздрагивает. Почему играют этот тоскливый вальс? Могли бы выбрать какую-нибудь веселую самбу. С улицы доносится пьяный гул голосов, звонки трамваев. Там, на улице, — жизнь. А тут — кладбище. Склеп, в котором играет музыка. Эуниса говорит:

— Вы думаете, мы живы? Все мы тут — покойницы. Кончена наша жизнь. Проститутка — все равно что труп.

Блондинка ждет полковника Педро. Ей нужны деньги, она получила письмо от родных из французского захолустья. Ее братишка опасно болен. Родители просят прислать хоть немного, ведь она — хозяйка преуспевающего ателье мод в далекой Бразилии. Блондинка барабанит пальцами по столу.

— Ателье мод... ателье мод...

Эуниса залпом допивает рюмку:

— Могила тут... все мы — трупы...

— Ну, я-то пока живая! — не соглашается черново-

лосая девушка.— Эта Эуниса выдумает тоже! — Девушка улыбается.

Линдиналва пристально на нее смотрит. Совсем еще девочка. Ребенок. Веселый смуглый ребенок. Блондинка — та действительно старая, вся в морщинах. Вид у нее отсутствующий. Мысли ее далеко, в нездешних краях.

Вальс смолк. Двое посетителей входят в зал, заказывают сложный коктейль, приглашают смуглую девочку. Они гладят ей грудь, хватают за бедра, заказывают еще спиртного, говорят ей что-то на ухо. Линдиналва ощущает беспредельную грусть, беспредельное желание приласкать смуглую девочку. Эуниса закуривает. Может быть, ей тоже жалко девчущку?

— Проститутка — все равно как общественная плевательница...

Эуниса думает, что она насмешливо улыбнулась.

Теперь оркестр играет танго. Мелодия поет о любви, об измене, о самоубийстве. Входят местные богачи. С этим коммерсантом Линдиналва встречалась. Когда-то, в счастливые времена, он обедал в их доме. Отец Линдиналвы умер в таком же заведении, в постели у проститутки. Кто из этих женщин знал его? Кто над ним смеялся? Кто ждал его, чтобы выпросить денег?

Вот и Линдиналва ждет теперь командора, который дал бы ей денег, заказал побольше дорогого вина, чтобы Лулу осталась довольна, не выбросила ее на улицу. Танго поет об измене. Линдиналве не хочется вспоминать о сыне. Он сейчас, наверное, тянет ручонки к Амелии. Когда он в первый раз скажет «мама», он скажет это Амелии. И улыбнется он впервые не Линдиналве. Двое юнцов шушукаются со смуглой девочкой. Что они ей предлагают? Она говорит им — нет. Но сегодня день такой неудачный, гостей так мало... Юнцы настаивают, и она уходит с обоими. Эуниса сплевывает. Она взбешена. Линдиналве хочется плакать. Лулу улыбается, указывает коммерсантам на Линдиналву, говорит им что-то очень тихо. Эуниса предупреждает:

— Ваша очередь...

Линдиналва знает этого господина. Он обедал у них за столом... С этим бы ей не хотелось. Пусть лучше кто угодно другой, пусть даже негр Антонио Балдуино. Но мужчина подзывает ее жирным пальцем. Смуглая девочка пошла с двумя... Линдиналва встает. Лулу делает ей знак поторопиться. Эуниса поднимает рюмку:

— За ваш дебют...

Француженка махнула рукой. Подумаешь. Все они — трупы, об этом поет танго, так говорит Эуниса. Она больше не Линдиналва, бледненькая девочка, бегавшая в парке Назаре. Та Линдиналва умерла, оставив Амелии своего сына. Она проходит рядом с Лулу — та еще раз велит просить шампанского. Смуглая девочка возвращается в зал. Вид у нее испуганный, на глазах слезы. Юнцы смеются, обмениваются впечатлениями. Линдиналва просит шампанского. Потом, уже в комнате, коммерсант (он обедал в их доме) спрашивает, что она умеет, кроме того, что умеют все. Все равно. Они все — покойницы, они все давно умерли. Эуниса пьет вторую рюмку кашасы. Рыдает танго. Так начала Линдиналва.

\* \* \*

Увяла рано Линдиналва, ей больше не место в таком дорогом заведении, как «Монте Карло». Богачи ее больше не приглашают. Теперь у нее во рту всегда горький привкус кашасы. Эуниса уже перебралась в нижнюю часть города, где женщины получают по пять мильрейсов. Сегодня уходит и Линдиналва, сняла комнату рядом с Эунисой. Днем сходила к Амелии повидать сынишку. Густавиньо такой хорошенький. У него большие живые глаза, пухлые губки, красные, влажные, как тот красивый цветок, о котором говорил Густаво. Линдиналва забыла его название. Зато выучила непристойные слова по-французски, знает жаргон проституток. Но ребенок говорит ей «мама», и Линдиналва чувствует себя чистой, как девушка. Она рассказывает сыну сказки, которые Амелия рассказывала ей когда-то, давно, когда она была еще Линдиналвой. Теперь ее зовут просто Линда, так распорядилась новая хозяйка. Она рассказывает сыну про Золушку, и ей сейчас хорошо... Какое было бы счастье, если бы в этот миг произошла мировая катастрофа и все бы погибли...

Проститутки стоят у открытых окон, делают знаки проходящим мужчинам. Некоторые заходят, другие отшучиваются. Те, что с пакетами, не отвечают, спешат дальше. Эуниса пьяна. Она говорит, что все эти женщины умерли, что они в аду. Старая полька жалуется — не везет ей. Вчера не удалось завлечь ни одного. Сегодня тоже. Придется уходить на Ладейра-до-Табоан. Женщины там получают по полтора мильрейса и чем только не

занимаются... и мрут как мухи. Мысли Линдиналвы далеко — в бедной комнатухе Амелии, рядом с сыном. Густавиньо улыбается, говорит «мама». Ей безумно хочется целовать его в пухлые губки, всю жизнь рассказывать ему про Золушку. В столовой хозяйка включила проигрыватель. Дряблые груди Эунисы едва прикрыты сорочкой. Она стоит у окна, зазывает мужчин. Когда Густавиньо вырастет, он, может быть, тоже придет на эту улицу. Но Линдиналвы он не увидит. Ее тогда уже не будет в живых. Она останется в его памяти скромной прекрасной женщиной, которая рассказывала ему о Золушке.

Эуниса говорит, что все они умерли. Полька просит в долг два милрейса. Юноша с пышной шевелюрой откликается на призыв Линдиналвы. Эуниса говорит:

— За удачу! — и поднимает воображаемый бокал.

В комнате молодой человек спрашивает Линдиналву, как ее зовут, хочет знать всю ее жизнь, рассказывает о своей больной мамочке, которая осталась в сертане, говорит, что Линдиналва прелестна, как цветок белой акации, сравнивает ее волосы со спелой пшеницей, обещает посвятить ей сонет. В столовой гремит самба. Юноша предпочел бы танго, оно романтичнее. Ему интересно знать, что Линдиналва думает о политике:

— Политика — это такая грязь, верно?

Так начала Линда.

\* \* \*

Линдиналва катится по наклонной плоскости. Опускается все ниже и ниже. Вот она уже тоже продажная женщина в нижнем городе, на Ладейра-до-Табоав. Отсюда только два выхода: больница и морг. Отвезут на машине. Либо на «скорой помощи», либо в красном санитарном фургоне.

В нижнем городе на окнах висит белье, в дверях теснятся черные люди. Линдиналва пошла навестить Густавиньо. Он только что болел корью. Сынишка протянул к ней ручонки, заулыбался:

— Мама, мама... — Потом лицо у него стало серьезным, и он спросил: — Ты с нами навсегда останешься, мама?

— Детка, я приду на днях...

— Будет так хорошо, мама.

Линдиналва идет мимо старого лифта, соединяющего верхний и нижний город. Улыбается в ответ на улыбку

трамвайного кондуктора. Подходит к тридцать второму номеру. Здесь она сняла комнату.

Густавиньо должен пополнить. Он так исхудал после болезни. Линдиналва толкает тяжелую старинную дверь с чугунным кольцом. На двери голубой краской намалеван огромный номер: тридцать два. Сверху кричат:

— Кто там?

Линдиналва поднимается по грязной лестнице. Глаза ее почти закрыты, грудь судорожно вздрагивает. Всю ночь она думала... Пыталась заснуть, но всю ночь мучили ее кошмары. Сифилитические женщины с чудовищно распухшими пальцами толпятся у дверей крошечной больницы. Кого-то несут в машину «скорой помощи»... да это — труп командора, умершего в постели у проститутки... И труп Густавиньо. Он умер от кори... Вдруг все исчезло — остался только негр Антонио Балдуино. Он дико хохочет, в руке у него — бумажка в пять мильрейсов и какая-то мелочь.

Она проснулась в поту, хлебнула воды.

Какая страшная ночь. Теперь Линдиналва не думает. Такая уж у нее судьба. Каждый со своей судьбой рождается. У кого она — счастливая, у кого — несчастная. Нечего ждать, что прильнет каравелла «Катаринета». Ее судьба — злая. Тут уж ничего не поделаешь.

Линдиналва идет по лестнице. Она обречена. Вчера мулатка с пятого этажа сказала ей прямо:

— Отсюда, милая, два пути: или в больницу, или в яму... — Она поглядела в окно, на небо. — При мне столько уж увезли...

Линдиналва идет по лестнице, смотрит перед собой невидящими глазами. Где сейчас та Линдиналва, которая играла и смеялась в парке Назаре?

Она идет сгорбившись, по вналым щекам катятся слезы. Да, Линдиналва плачет... Слезы падают из ее глаз на ступени, смывают грязь с лестницы.

Линдиналва идет сгорбившись, прикрывая рукой землистое веснушчатое лицо. Слезы катятся из ее грустных глаз. У нее сын, ей хочется жить. Но с Ладейра-до-Табон только один путь: в могилу.

На площадке пятого этажа разговаривают две проститутки:

— Рябая идет. Тихе, она плачет...

В голосе — горячая жалость.

Так начала Рябая.



## ПОДЪЕМНЫЕ КРАНЫ

Друзья пойдут в «Фонарь утопленников», на набережную. Ночь на берегу моря прекрасна. Они выходят из Байша-дос-Сапатеярос, спускаются по откосу Ладейра-до-Табоан. Вдруг Толстяк заметил новую звезду на небе:

— Гляди... этой раньше не было... Это моя.

Толстяк счастлив. У него теперь своя звезда. Жубибаба говорит, что звезды — это души умерших героев. Видно, умер сегодня храбрец, о котором сложено АВС. И Толстяк открыл звезду. Жоакин тоже хочет найти новую звезду на небе — и не может. Антонио Балдуино думает: кто же умер сегодня ночью? Храбрые есть всюду. Когда сам он умрет, тоже звезда засверкает в небе. И откроет ее Толстяк, а может, какой-нибудь беспризорник, из тех, что просит милостыню, а у самого нож за поясом. Друзья идут по пустынным улицам, полная луна заливает город желтоватым светом. На улицах — никого, окна в домах закрыты, все спят. Негр Антонио Балдуино и его друзья снова хозяева города, как в детстве, в далекие времена, когда побирались они в Баие. Во всем городе только они свободны по-настоящему. Они — бродяги, живут, чем придется, играют на гитаре, поют, спят на песке, у моря, любят чернокожих служанок, засыпают и просыпаются, когда захотят. Зе Кальмар никогда не работал. Он уже стареет, а всю жизнь был бродягой, нарушителем спокойствия, гитаристом, мастером капоэйры. Лучший его ученик — Антонио Балдуино. Превзошел негр своего учителя. Чем он только не занимался. Работал на табачных плантациях, и боксером был, и циркачом. Живет на то, что изредка получает за самбы, поет их на негритянских праздниках веселой Баии. Жоакин работает в месяц дня три-четыре. Таскает чемоданы на вокзале, когда носильщики не справляются. Толстяк продает газеты, когда в городе нет Антонио Балдуино. А вернулся Балдо — прощай, трудовая жизнь. Друзья снова живут праздной, сладкой свободной жизнью в безлюдном, спящем городе.

Антонио Балдуино спрашивает:

— Бросаем якорь в «Фонаре утопленников»?

— Можно...

Глубокая ночь. Откос Ладейра-до-Табоан погружен в молчание. Старый лифт прекратил работу. Башня будто склонилась над городом. Темно. Лишь кое-где в чердач-

ных окнах, в мансардах горит еще свет. Это проститутки, вернувшись с улицы, отпускают последних клиентов.

Жоакин насвистывает самбу. Остальные идут молча. Только свист Жоакина нарушает тишину. Антонио Балдуино думает о том, что рассказала ему Амелия. Думает о судьбе Линдиналвы. Как все меняется. Теперь Линдиналва, верно, не гордая. Захочет Антонио Балдуино — и будет ею обладать. Теперь она ему не хозяйка. Была дочерью командора — стала проституткой с Ладейра-до-Табоан. Продается любому за два мильрейса. Как все меняется! Стоит ему захотеть, и он поднимется по лестнице дома, где живет Линдиналва, и она отдастся ему. Стоит ему захотеть. Стоит заплатить два мильрейса. Негр вспоминает, как он убежал из переулка Зумби-дос-Палмарес. Если бы не обогнала его Амелия, продолжал бы Антонио Балдуино служить в доме командора. На Линдиналву смотрел бы как на святую, работал бы не за страх, а за совесть в хозяйской конторе, не дошло бы дело до Санкротства. Но был бы Антонио Балдуино рабом. Амелия хотела его погубить, а вышло к лучшему. Теперь он свободен. Теперь он может обладать Линдиналвой, когда захочет. У нее было лицо святой. И веснушки. Не было тогда желания во взгляде Антонио Балдуино. Но с тех пор как Амелия обогнала его, сказав, что он подглядывает, как Линдиналва моется, негр не мечтал уже ни о какой другой женщине. С кем бы ни спал, в его объятиях всегда была Линдиналва. Даже когда любил Розенду. Розенду он уступил шоферу. Теперь она танцует в дешевом кабаре и тоже продается. И уже денег просила в долг. Очень уж задавалась Розенда, вот и получила по заслугам. Линдиналва не задавалась. Но она ненавидела негра Антонио Балдуино и тоже расплачивается. Прозябает на Ладейра-до-Табоан, где живут самые дешевые проститутки. Отребе. Стоит ему захотеть, и она будет с ним спать. Почему же ему невесело, что это он вдруг загрустил — даже полная луна его больше не радует. Разве не ждал он всю свою жизнь дня, когда сможет обладать Линдиналвой? Чего же он медлит? Почему не бежит бегом на пятый этаж тридцать второго номера, не стучится в дверь Линдиналвы? Вот он, дом. Они как раз идут мимо. Улица спит, тишину нарушает только свист Жоакина. Что за холодный ветер дует с моря? Почему Антонио Балдуино дрожит? Из дверей тридцать второго номера выбегает растрепанная женщина. Он сразу узнал Линдиналву. Это уже не человек даже, а

отброс человеческий, потерявший на Ладейра-до-Табоан все. Даже имя. Веснушчатое испитое лицо, тощие руки трясутся, безумные глаза горят. Ветер треплет ей волосы. Она преграждает мужчинам путь, ломает руки, умоляет:

— Два мильрейса на кружку пива... Два мильрейса... ради твоей матери...

Мужчины остановились, онемели от неожиданности. Она подумала — эти ничего не дадут.

— Дайте хоть сигарету... хотя бы одну... Я два дня не курила...

Жоакин протягивает ей сигарету. Она смеется, сжимает ее тощими пальцами.

Да, это Линдиналва.

Антонио Балдуино дрожит как в лихорадке. С моря дует холодный ветер. Негра охватил ужас. Он дрожит, ему жутко, он готов убежать, убежать отсюда на край земли. Но он — словно в землю врос. Не оторвать ему глаз от страшного веснушчатого лица Линдиналвы. Она его не узнаёт — она его даже не видит. Она дымит сигаретой и спрашивает нежным голосом — голосом той, другой Линдиналвы, которая играла в парке Назаре с негрятенком Антонио Балдуино:

— А пиво? Вы меня угостите, правда?

Антонио Балдуино вытаскивает из кармана десять мильрейсов. Он отдаёт их женщине, та смеется и плачет. Не помня себя от ужаса, трясась, будто в припадке, Антонио Балдуино бросается бежать вверх по откосу Ладейра-до-Табоан. Он останавливается только у дома Жубиабы. Он рыдает у ног Жреца Черных Богов, Жубиаба гладит его курчавые волосы, как в день, когда помешалась тетя Луиза.

\* \* \*

Через несколько дней, придя в себя, Антонио Балдуино пошел к Линдиналве. В убогой комнатухе на огромной двуспальной кровати неподвижно лежит Линдиналва. Она умирает. У постели Амелия с трудом сдерживает слезы. Он входит как можно тише, так велела ему проститутка, которая рыдает в дверях. Амелия не удивляется, увидев его. Она только прижимает палец к губам в знак молчания. И подходит к негру. Он спрашивает:

— Больна?

— Умирает.

В преддверии смерти она снова — прежняя Линдиналва, девушка из переулка Зумби-дос-Палмарес. Ее лицо красиво, спокойно. Веснушчатое лицо, лицо святой. Ее руки — все те же. Руки, которые играли на рояле, обрывали лепестки роз. Ничто не напоминает теперь о Линдиналве из «Монте Карло», о Линде из нижнего города, о Рябой с Ладейра-до-Табоан. Сейчас она снова — дочь командора, которая жила в самом красивом особняке в переулке Зумби-дос-Палмарес и ждала, что приплывет к ней жених на каравелле, по морским волнам. Линдиналва зашевелилась, приподнялась — теперь это уже другая Линдиналва, которую не знает Антонио Балдуино. Но эту Линдиналву знает Амелия. Это — невеста Густаво, возлюбленная Густаво, мать Густавиньо. Улыбающееся лицо молодой сеньоры. Она что-то шепчет. Амелия подходит, берет ее за руку. Линдиналва говорит, что хочет видеть сына. Пусть его приведут, ведь она умирает. Амелия оборачивается в слезах. Антонио Балдуино спрашивает:

— Что сказал доктор?

— Сделать ничего нельзя... Только ждать смерти.

Антонио Балдуино не может этого допустить. Его осеняет:

— Ее спасет Жубиаба! Пойду за ним.

— Зайди по дороге ко мне, возьми ребенка, — просит Амелия.

Он, Антонио Балдуино, пришел сюда, чтобы насладиться мстью, чтобы обладать Линдиналвой и бросить ей в постель два мильрейса... Пришел унижить ее, сказав, что белая женщина гроша ломаного не стоит, а негр Антонио Балдуино всегда добивается своего... А теперь он идет к Жубиабе, будет умолять его спасти Линдиналву. Если Линдиналва поправится, Антонио Балдуино навсегда отсюда уедет. А если она умрет, жизнь его потеряет смысл. Не останется у него другого выхода, другого пути, кроме моря. В море ушел Вириато Карлик, у которого тоже никого не было на этом свете. Только сейчас Антонио Балдуино понял, что умрет Линдиналва — и останется он один. И жить ему будет не для чего.

\* \* \*

Он вернулся с ребенком. Жреца не оказалось дома, никто не знал, где он. Проклял Антонио Балдуино старого колдуна. Теперь он ведет мальчика за руку, и ему хо-

рошо. У ребенка нос Линдиналвы, такие же веснушки на лице. Мальчуган пристаёт к Антонио Балдуино с вопросами, все ему надо знать. Негр отвечает на все вопросы и сам удивляется — откуда у него берется терпение.

Он несет ребенка вверх по лестнице. Амелия едва сдерживает рыдания:

— Скорей... Она умирает...

Антонио Балдуино ставит мальчика рядом с кроватью. Линдиналва открывает глаза:

— Сынок...

Она хочет улыбнуться, лицо искажается. Ребенку страшно, он начинает плакать. Линдиналва целует мальчика в щеку. Амелия уводит его. Линдиналва хотела поцеловать пухлые губки сына, губы Густаво... и не смогла.

Теперь она плачет, ей не хочется умирать. А сколько раз она призывала смерть... Линдиналва чувствует, что в комнате еще кто-то. Спрашивает Амелию:

— Кто тут?

Амелия теряется, не знает, что говорить. Но Антонио Балдуино уже подходит к кровати, опустив глаза. Если бы увидел его сейчас кто-нибудь из друзей — не понял бы, отчего Антонио Балдуино плачет. Линдиналва узнала его, пытается улыбнуться:

— Балдо... я была несправедлива к тебе...

— Не надо...

— Прости меня...

— Не говори так... а то я заплачу.

Она проводит рукой по курчавым волосам негра. Она умирает со словами:

— Помоги Амелии вырастить моего сына... позаботься о нем...

Антонио Балдуино, словно черный раб, рухнул на колени перед кроватью.

Антонио Балдуино хочет, чтобы Линдиналву хоронили в белом гробу. Так хоронят невинных девушек. И никто не понимает его, даже сам мудрый Жубибаба. Толстяк соглашается только по бесконечной своей доброте. В глубине души он недоумевает: виданное ли дело — хоронить проститутку в белом гробу. Только Амелия, кажется, поняла:

— Она ведь тебе нравилась, Балдо? Оговорила я тебя... ревновала к хозяевам. Я у них двадцать лет прожила. Я ее вырастила. Она другой судьбы заслуживала... Добрая моя девочка...

Антонио Балдуино протягивает к ним руки и говорит глухим голосом:

— Она умерла невинной... Я клянусь... Ею никто не обладал... Она продавала себя, но не отдалась никому... Только мне, люди... Когда я обнимал женщину, я думал только о ней... Я требую: пусть ее хоронят в белом гробу...

Да, все ее покупали, но обладал Линдиналвой только он, негр Антонио Балдуино. Он никогда не спал с Линдиналвой, но любил он только ее, воплощенную в юном теле Марии дос Рейс, в танцующих бедрах Розенды. Только он владел Линдиналвой, воплощенной в теле всех женщин, принадлежавших ему. В чудесной любви черного Антонио Балдуино к бледной Линдиналве она была то мулаткой, то белой, то негритянкой, то полной, то худенькой. В переулке Марии-Пас стала она китайкой. Однажды она пела низким голосом ночью на пристани. И даже лгала, как негритянка Жоана. И все-таки ее нельзя хоронить в белом гробу, Антонио Балдуино. Амелия говорит — она любила Густаво, отдалась ему по любви. Но Антонио Балдуино не слушает. Опять, верно, лжет Амелия, чтобы отдалить его от Линдиналвы.

Сына Линдиналвы надо было кормить, и Антонио Балдуино стал докером — нанялся на место Кларимундо, раздавленного подъемным краном. Кончилась свободная жизнь. Теперь Антонио Балдуино раб времени, надсмотрщиков, подъемных кранов, судов. Но если бы не сын Линдиналвы, негру остался бы только один путь. Путь в море.

Черные тени подъемных кранов падают на море. Зеленые маслянистые волны зовут Антонио Балдуино. Подъемные краны поработают людей, убивают их. Краны — враги черных, союзники богачей. Море — это свобода. Бросишься в волны, и даже будет еще время расхотаться на прощание. Но Линдиналва погладила его курчавые волосы и попросила вырастить ее сына.

## ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЗАБАСТОВКИ

Всю ночь Антонио Балдуино разгружал шведский корабль, доставивший материалы для строительства железной дороги, а потом, тоже ночами, должен был грузить на него какао. Антонио Балдуино тащил тяжелую связку

стальных деталей, к нему подошел тощий мулат Северино и сказал:

— Сегодня трамвайщики начнут забастовку...

Забастовки ждали давно. Не раз рабочие и служащие компании, ведавшей освещением, телефонами и трамваями, собирались все, как один, потребовать прибавки к зарплате. Как-то они даже объявили забастовку, но хозяева обманули — наобещали золотые горы и ничего не дали. Теперь целую неделю город ждал, что перестанут ходить трамваи, что замолчит телефон. Но забастовку откладывали. Поэтому Антонио Балдуино не принял всерьез предупреждение Северино. Однако какой-то высокий негр предложил:

— Нам бы тоже примкнуть, поддержать их...

Подъемные краны опускали на набережную огромные связки рельсов. Негры, таскавшие груз на спине в гору, были похожи на горбатых чудовищ, и все же они ухитрялись разговаривать. Надсмотрщик подавал команду свистком. Какой-то белый грузчик отер пот со лба, отрянул руку:

— Интересно — добьются они чего-нибудь?

Докеры бегом возвращались за новыми связками деталей. Вваливая их на плечи, Северино шепнул:

— У них профсоюз богатый. Могут выстоять...

Северино бегом потащил груз в гору. Антонио Балдуино взялся за свою связку:

— Каждый месяц в профсоюз идут деньги. Как не выстоять...

Свисток надсмотрщика приказывает ночной смене кончать. Тотчас приступает к работе дневная смена. Материалы для строительства железной дороги непрерывным потоком текут на склад. Подъемные краны скрежещут и лязгают.

Грузчики группами выходят из ворот порта. Вдруг Антонио Балдуино вспомнил: вот здесь, на этом месте, арестовали докера, который говорил речь. Антонио Балдуино был тогда беспризорником. Нет, он ничего не забыл. Он и другие мальчишки орали что было мочи. Тогда он орал, потому что орать — весело. Орать, ругать полицейских, бросать в солдат камни. И теперь он тоже будет кричать, как в те далекие времена, когда он свободно разгуливал по улицам, когда подъемные краны еще не грозили размозжить ему голову.

Антонио Балдуино идет по улице. На площади Террейро он покупает миску мансовой каши. Разносчицы-негрянки говорят о забастовке. Он уходит, напевая песню про Лампеана<sup>1</sup>.

Где бы денег раздобыть,  
чтобы патронташ купить  
и патронов сотен пять —  
с Лампеаном воевать?

Кто-то кричит:

— Эй, Балдо!

Негр помахал рукой, продолжает петь:

А девчонка Лампеана  
днем и ночью слезы льет.  
Сшейте платье ей из дыма,  
а не то она умрет.

Негромко, сквозь зубы, Антонио Балдуино цедит припев:

Ламп, Ламп, Ламп,  
Ламп, Ламп, Лампеан...

Трамваи стали. Кажется, будто в городе не забастовка, а праздник. Необычное движение на улицах. Группы людей проходят, оживленно разговаривая. Молодые приказчики смеются — ну и рожа будет у хозяина, за опоздание-то теперь не взыщешь... Девушка торопливо переходит дорогу, — боится чего-то... На улицах полно вожатых, рабочих из мастерских, из трамвайных парков. Они горячо о чем-то спорят. Антонио Балдуино завидует. Они заняты делом, Антонио Балдуино тоже любит такие дела. Как бы ему хотелось быть с ними. А то — нечего делать негру этим солнечным утром. Группы трамвайщиков спешат в профсоюз — он совсем близко, через улицу. Балдуино шагает один по обезлюдевшей улице. Из профсоюза слышен шум голосов. Кажется, кто-то говорит речь. Антонио Балдуино тоже состоит в профсоюзе портовых грузчиков. С ним даже говорили, хотели провести в правление. Они ведь знают, что он храбрый. Вдруг негру преграждает путь какой-то белобрысый тип — пьян с утра, жует потухшую сигарету.

<sup>1</sup> Л а м п е а н Виргулино — известный бандит, державший в страхе весь северо-восток Бразилии.



— Ты тоже бастовать, негр? Вот что принцесса Изабелла натворила<sup>1</sup>. Разве негр — человек? А теперь?! Негры, видите ли, бастуют. Трамваи стали. Эх, кнутом бы вас... Черные должны быть рабами... Иди, негр... бастуй... раз уж эти ослы вас освободили... Проваливай, сукин сын, не то плюну тебе в поганую рожу...

Белобрысый плюет на землю. Он пьян. Антонио Балдуино отталкивает его. Белобрысый растягивается на цементном тротуаре. Негр вытирает руки, задумывается. Почему этот тип ругает негров? Забастовку подняли вожакие, рабочие из трамвайного парка, монтеры, служащие с телефонной станции. Среди них много испанцев, есть белые посветлее этого типа. Неважно... все бедняки теперь все равно что черные. Так говорит Жубиаба.

Со стороны Террейро доносится шум. Там беспорядки. Рабочие пекарен примкнули к забастовке. Разносчики хлеба вывернули корзины прямо на мостовую. Сбежались голодные беспризорники. Даже служанки из богатых домов не прочь поживиться даровыми булками.

\* \* \*

Его нашли в комнатухе Амелии. Стоя на четвереньках, он играл с Густавиньо.

— Я оборотень. Человек-волк...

Антонио Балдуино одним прыжком встает на ноги. Северино кладет ему на плечо руку:

— Ты нам нужен, Антонио...

— В чем дело? — Негр предвкушает драку.

— Сейчас собирается наш профсоюз...

Негр Энрике вытирает со лба пот.

— С трудом тебя отыскали...

Докеры удивленно смотрят на белого мальчика, сидящего на полу. Антонио Балдуино немного смущен. Он объясняет:

— Мой сын...

— Хотим примкнуть к забастовке... нужен твой голос.

Он оставляет Густавиньо с Толстяком и выходит на улицу. Антонио Балдуино смеется, ему весело — вот и у него своя забастовка. В помещении профсоюза стоит

---

<sup>1</sup> Принцесса Изабелла (1846—1921) — дочь императора Бразилии Педро II. Во время своего регентства в 1888 г. подписала закон об отмене рабства.

страшный шум. Все говорят разом, понять ничего нельзя. Члены правления садятся за стол, просят, чтобы стало по-тише. Какой-то светлокожий докер предупреждает негра: — Тут полицейские...

Антонио Балдуино оглядывается — не видать никого в форме. Бледный поясняет:

— Переодетые...

Северино говорит речь. Голодают не только трамвайщики. Им, докерам, тоже не сладко. А потом, примкнуть к рабочим из «Электрической» — долг солидарности. Все они братья. Надо поддержать забастовку. Ораторы смеяются друг друга. Один надсмотрщик (такой красноречивый, еще играл с ними в кости после работы в «Фонаре утопленников») тоже берет слово. Речь у него заученная. Говорит, что бастовать глупо. Для забастовки нет оснований. Все обстоит прекрасно. Речь встречают возмущенными криками. Негр Энрике стучит кулаком по столу:

— Я неученый негр, красиво говорить не умею. Я одно знаю, есть у нас такие, у кого дома жена и дети голодные. Испанцы вожатые, они тоже голодные. Я — негр, вот они белые, но все мы голодные бедняки...

Вопрос — поддержать или нет трамвайщиков — поставили на голосование. И победа пришла благодаря голосу Антонио Балдуино. Потом только выяснилось, что против голосовали такие личности, которые не то что в профсоюзе не состояли, но и к порту-то никакого отношения не имели.

Составили манифест. Выбрали специальную комиссию, сообщить бастующим трамвайщикам о солидарности докеров. Членом комиссии был избран и Антонио Балдуино. Негр вышел из помещения профсоюза веселый: предстало подраться, пошуметь, а до этого он большой охотник.

**«Товарищи из «Электрической»!**

Докеры, собравшиеся в своем профсоюзе, приняли решение примкнуть к забастовке братьев по классу из «Электрической компании». Докеры окажут бастующим безоговорочную поддержку в борьбе за экономические требования. Товарищи из «Электрической»! Вы можете рассчитывать на помощь докеров. За повышение заработной платы! За восьмичасовой рабочий день! За ликвидацию штрафов!

*Правление».*

Антонио Балдуино огласил манифест под грохот аплодисментов. Вожатые в восторге обнимали друг друга. Пекари уже примкнули. Теперь пришли докеры. Забастовка не может не победить.

\* \* \*

Трамваи стали, телефон не работает. Вечером не будет света. Рабочие послали свои требования в правление компании. Правление заявило, что не уступит, и связалось с правительством. Из-за отсутствия электроэнергии не выходили газеты. На улицах былолюдно, на всех углах стояли, беседуя, кучки рабочих. Циркулировал конный патруль. Ходили слухи, что компания вербует штрейкбрехеров, обещает им бешеные деньги, лишь бы сорвать забастовку. Адвокат Густаво Баррейрас, председатель рабочей ассоциации, встретился с губернатором и имел с ним длительную беседу. Вернувшись из губернаторского дворца, он заявил в профсоюзе, что правительство находит требования рабочих справедливыми и намерено начать переговоры с правлением компании. Многие аплодировали. Молодой адвокат простирали руки — казалось, он уже собирает голоса, которые принесут ему кресло в парламенте. Северино громко сказал:

— Шкурник.

\* \* \*

Антонио Балдуино устал от речей. И все-таки ему весело. Забастовка — это что-то новое, бастовать интересно. Здорово! Сейчас они — хозяева города. Захотели — и нет света, не ходят трамваи, влюбленные не разговаривают по телефону. Не выгружают со шведского корабля рельсы для железной дороги, не нагружают его мешками с какао, от которых ломится склад № 3. Подъемные краны стоят, побежденные теми, кого они убивали. А владельцы всех этих богатств уже не распоряжаются, не приказывают, как раньше. Струсили, нос бояться на улицу высунуть. Раньше негр Антонио Балдуино презирал рабочих людей. Он бы ушел путем моря, темной ночью лишил бы себя жизни, если бы Линдиналва не попросила его позаботиться о ребенке. Теперь негр смотрит на рабочих другими глазами. Уважает их. Рабочие, если захотят, могут разбить цепи рабства. Захотят, и никто с ними не справится. Щупленькие испанцы, которые вечно торчат на подножках трам-

ваев, собирают плату за проезд, и огромные негры — портовые грузчики, и негры — рабочие ремонтных мастерских — все они оказались смелыми и решительными. Жизнь города в их руках. Пусть они бедно одеты, а то и босы. Они смеются, когда их оскорбляют богачи, которых забастовка бьет по карману. Смеются, потому что знают: они — сила. Знает это теперь и Антонио Балдуино. И ему кажется, будто родился он заново.

\* \* \*

В баре какой-то человек в пальто встал из-за стола, спросил рабочего:

- Ради чего бастуете?
- Чтобы зарплату повысили.
- Чего же вам надо?
- Денег...
- Разбогатеть захотели?

Рабочий слегка растерялся. Он-то не думает разбогатеть. Он хочет получать больше денег, чтобы жена не ругалась, чтобы было на что позвать доктора (заболела дочь), на что купить одежонки (обносились совсем).

— Многого хотите. Где это видано, чтобы у рабочего были такие требования?

Рабочий смутился. Антонио Балдуино подошел поближе. Человек в пальто ораторствовал:

— Дам тебе хороший совет. Брось ты все это. Разные смутьяны подбивают вас... Их рук дело. А ты и работу свою потеряешь, и прежней зарплаты не увидишь. Много хочешь, ничего не получишь.

Рабочий вспомнил расстроенную жену, больного ребенка, опустил голову. Антонио Балдуино в лоб спросил мужчину в пальто:

- Кто тебе платит за эти сказки?
- Ты тоже из таких?
- Как раз из таких, у кого хватает духу съездить тебе по роже.
- Да ты знаешь, с кем говоришь?
- И знать не хочу...

Не важно. Сегодня они хозяева города. Сегодня они могут говорить, что угодно.

- Я — доктор Малагета. Ясно?
- Врач из «Электрической компании»?

Это сказал подошедший Северино. С ним еще несколько рабочих. Негр Энрике — черный Геркулес. Человек в

пальто скрылся за углом. Северино объяснил рабочему, который присоединился к группе:

— Парень, забастовка — это как бусы. Видал в витринах? Все бусины на одной нитке держатся. Оборви нитку — и рассыплется все. Нельзя забастовку рвать...

Рабочего звали Мариано. Он понял, кивнул.

Антонио Балдуино пошел вместе с ними в профсоюз «Электрической», ждать результатов совещания директора компании с правительством.

\* \* \*

Черный оратор заканчивал свою речь, стоя у стола в правлении профсоюза:

— Мой отец был рабом, сам я раб. Я не хочу, чтобы мои дети были рабами...

Помещение профсоюза набито битком, многие стоят — не хватает мест.

Прибыла делегация от пекарей. Зачитали манифест солидарности. Манифест призывает всех пролетариев к забастовке. В зале кричат: «Да здравствует всеобщая забастовка!» Какой-то переодетый шпик курит. Стоит в дверях, опершись о косяк. Он — не единственный. Но на него никто не обращает внимания. Теперь выступает парень в очках. Он говорит, что мировой пролетариат составляет подавляющее большинство, а богачи — жалкое меньшинство. Почему же тогда богатые пьют пот и кровь бедных? Почему же большинство туго трудится ради удобств меньшинства?

Антонио Балдуино хлопает. Все ему в новинку, и все правильно. Он всегда это чувствовал. Потому и работать не хотел. В АВС тоже об этом речь, но не так ясно. Антонио Балдуино слушает, мотает на ус. Прямо как в детстве, на холме Капа-Негро. Парень в очках слез со стула, служившего ему трибуной. Негр, предыдущий оратор, оказался рядом с Антонио Балдуино. Антонио Балдуино обнял его и сказал:

— У меня тоже сын. Я тоже не хочу, чтобы он был рабом.

Негр-оратор улыбается. Теперь говорит представитель студентов. Профсоюз студентов-юристов солидарен с бастующими. Представитель говорит, что все рабочие, все студентки, вся неимущая интеллигенция, все крестьяне и все солдаты должны объединиться в борьбе труда против капитала. Антонио Балдуино не все понял. Негр-оратор

объясняет ему, что богачи и капиталисты — это одно и то же. И Антонио Балдуино поддерживает представителя студентов. Ему страшно захотелось тоже вскочить на стул, произнести речь. Ему ведь есть о чем рассказать, он многое повидал в жизни. Он продирается сквозь толпу, влезает на стул. Один рабочий спрашивает другого:

— Кто это?

— Докер... был раньше боксером...

Антонио Балдуино начал. Нет, это не речь. Он просто рассказывает о том, что довелось ему повидать, ведя жизнь бродяги. Говорит о батраках с табачных плантаций, о работницах табачных фабрик. Не верите — можете спросить Толстяка. Говорит Антонио Балдуино о том, что не любил он раньше рабочих людей. Сам только ради сына пошел в грузчики. Теперь он понял, что рабочие — стоит им только захотеть! — разобьют цепи рабства. Если бы батраки с табачных плантаций поняли, тоже объявили бы забастовку...

Его даже хотели качать. Антонио Балдуино сначала не осознал своего триумфа. Почему все хлопают? Он не рассказывал занятой истории, никого не избил, не совершил подвига. Он просто поведал о том, что видел. Но ему устроили овацию, многие обнимают его, когда он пробирается на свое место. Шпик внимательно смотрит, старается запомнить его лицо. Забастовка захватывает негра Антонио Балдуино.

\* \* \*

Парень в очках вышел, за ним последовал шпик. В профсоюз звонят из губернаторского дворца. Адвокат Густаво Баррейрас сообщает, что совещание затягивается. Но к ночи, наверное, решение будет принято.

— Положительное? — спрашивает секретарь профсоюза.

— Почетное... — говорит Густаво Баррейрас на другом конце провода.

Куранты пробили шесть раз. Город погрузился во тьму.

## ПЕРВАЯ НОЧЬ ЗАБАСТОВКИ

Ночь прекрасна. Безоблачное синее небо усыпано звездами. Ночь прямо летняя. Но люди идут по домам, сегодня не до прогулок. Город погружен в темноту, не горят

огни на высоких черных столбах. Погас свет и в «Фонаре утопленников».

Никогда еще на набережной не было так тихо. Сегодня подъемные краны спят. Сегодня ночью грузчики не выйдут работать. Матросы со шведского корабля разбрелись по притонам. Пустынны улицы города. В темноте люди становятся трусами. В домах красноватый свет керосиновых ламп делает тени огромными. А призрачный свет свечей напоминает о бдении над дорогами покойниками. Антонио Балдуино идет по безлюдной улице, думает о табачных плантациях. У самой стены крадучись проходит какой-то субъект. Ощупывает бумажник через пиджак. Можно подумать, за сердце держится. С холма Капа-Негро на город обрушивается гром негритянской музыки. Сегодня ночью Жубиаба устраивает макумбу. Грохот негритянской музыки отдается в ушах Антонио Балдуино как призыв к войне, к свободе. Звезда Зумби из Палмареса сверкает на ясном небе. Студент поднял на смех Антонио Балдуино. Сказал, что это и не звезда совсем, а планета Венера. Негр только ухмыляется. Он-то знает — это Зумби из Палмареса, негр, не знавший страха, погибший, но не сдавшийся, сверкает на небе, смотрит на Антонио Балдуино. Не стал рабом Зумби из Палмареса. Антонио Балдуино борется, чтобы Густавиньо не был рабом. Первый день забастовки был одним из самых счастливых в жизни Антонио Балдуино. Как тот день, когда он прорвал кольцо окружавших его людей. Как день, когда он стал чемпионом, уложив на ринге Висенте. Даже еще счастливее. Теперь Антонио Балдуино знает, за что он борется. И он торопливо шагает по опустевшему городу, чтобы рассказать об этом всем неграм, собравшимся на макумбу в доме Жубиабы. Он всем расскажет — и Толстяку, и Жоакину, и Зе Кальмару, и самому Жубиабе. Не понимает Антонио Балдуино, почему Жубиаба не говорил им про забастовку. Зумби из Палмареса — планета Венера — подмигивает негру с ночного неба.

\* \* \*

Это Эшу, дьявол Эшу, портит им праздник. Видно, забыли они совершить обряд заклинаний Эшу, забыли отослать дьявола Эшу куда-нибудь далеко, по ту сторону океана, на африканский берег или на хлопковые плантации Вирджинии. Эшу упорствует, рвется на праздник. Эшу хочет, чтобы негры пели и плясали в его честь. Хо-

чет, чтобы его восхваляли, хочет, чтобы Жубиба склонился перед ним, воскликнул:

— Окэ! Окэ!

Хочет, чтобы старшая жрица попросила его прийти:

— Эдуру демин лонам о йе!

И все бы хором ответилл:

— А умбо ко ва йо!

Эшу не отступает. Такого никогда еще не было на макумбе у Жубибы. Гром негритянской музыки скатывается по склону холма Капа-Негро и замирает внизу, в закоулках города, объятого забастовкой. Иаво пляшут. В глазах ога — изумление и страх. Беспумно входит Антонио Балдуино. Он — ога, он становится на свое место в кругу пляшущих иаво. С приходом Антонио Балдуино дьявол Эшу покидает макумбу. Толстяк говорит, сегодня будут славить Ошосси, бога охоты. Но прежде, чем божеество воплотится в теле одержимой плясуньи, Антонио Балдуино обращается к собравшимся неграм:

— Народ мой, ты ничего не ведаешь... негры, вы ничего не знаете. Вы не видели забастовки... Мы должны прикнуть к забастовке. Тогда разобьются цепи рабства. Негры забастуют, и рабство падет. Что толку в молитвах, что толку в гимнах в честь Ошосси? Придут богачи, запретят праздник. Однажды полиция запретила праздник Ошала, когда он был старцем Ополуфаном, и Жубибу, Жреца Черных Богов посадили в тюрьму. Вы это помните, негры. Что может негр? Ничего не может. Даже плясать для своих богов. Вы ничего не знаете. Забастовали негры — и все остановилось. Стоят трамваи, подъемные краны. Свет погас. Горят одни звезды. Это неграм подчиняется свет, негров слушаются трамваи. Мы, негры, и белые бедняки, все мы — рабы, но все — в наших руках. Захотим и разобьем рабство. Народ мой, иди бастовать. Забастовка — все равно что бусы. Пока все вместе — все хорошо. Но упадет одна бусинка — и все рассыпалось. Идемте, негры!

Антонио Балдуино выходит, не оборачиваясь, не глядя, кто следует за ним. Толстяк идет за ним, идет Жоакин, идет Зе Кальмар. Жубиба простирает руки:

— Им овладел Эшу...

\* \* \*

В профсоюзе ничего не известно о результатах совещания в резиденции губернатора. Северино без конца повторяет: вранье. Сразу видно: адвокатишка этот — желтый.



Кое-кто защищает юриста. Он, дескать, человек ученый, знающий. Их же права отстаивает. Трамвайный инспектор произносит речь в защиту доктора Густаво. Одни поддерживают его, другие громко протестуют.

\* \* \*

Совещание проходит в конференц-зале губернаторского дворца. К соглашению прийти трудно. Густаво защищает интересы рабочих, пользуясь эффектными ораторскими приемами:

— Я не прошу: я требую...

Густаво призывает к гуманности, говорит о голодных, работающих по восемнадцать часов в сутки, умирающих от туберкулеза. Напоминает об опасности: если сохранится такой порядок вещей, возможна социальная революция.

Представители компании (молодой американец и пожилой бразилец, адвокат «Электрической», бывший член парламента) непреклонны. Самое большее, заявляет пожилой адвокат, — это уступить половину того, что просят рабочие. Да и то исключительно из человеколюбия, чтобы не лишать город трамваев, света, телефонов. Для рабочих — это превосходный выход. Но дать им все, что они требуют, — просто безумие. Все равно что подарить им трамваи. Как же тогда с акционерами быть? Рабочие думают только о себе. Они совершенно забывают об иностранцах, которые поверили в нас, вложили свои деньги в бразильские предприятия. Что скажут иностранные акционеры? Скажут, что бразильцы их обокрали, а это не делает чести нашей стране (американец кивает и говорит «yes»). Не хочется верить, чтобы доктор Густаво Баррейрас, умный, интеллигентный человек (Густаво кланяется), мог так антипатриотически рассуждать... Неужели ему приятно было бы слышать, как за границей поливают грязью имя его родины. Что рабочие об этом не думают, понятно. Люди они невежественные, получают и так намного больше, чем заслуживают. Идут на поводу у разных чужеродных элементов, подстрекателей. Оратор не имеет в виду — учтите! — доктора Густаво Баррейраса, чья честность известна всем, перед чьим талантом он преклоняется. (Густаво опять кланяется, бормочет: я бы этого и не подумал. Моя репутация выше всяких подозрений.) Компания, дабы не лишать население жизненно необходимого, усту-

пит половину того, что требуют рабочие. Пятьдесят процентов. И ни на один сентаво больше.

Пора ужинать. Совещание закрывается, не дав результатов. Губернатор удаляется. Американец предлагает подвезти Густаво на своей машине. Адвокат компании приглашает Густаво:

— Поужинаем вместе... голод — плохой советчик.

\* \* \*

Комфортабельная штука этот «Гудзон», думает Густаво, усаживаясь между американцем и адвокатом. Американец угощает сигарами. Сначала они едут молча. Машина идет мягко. На шофере — красивая форма. Едут совсем рядом с рельсами. Адвокат спрашивает американца:

— Не раздумали, мистер Томас?

— А! Yes...

Адвокат объясняет Густаво:

— Подумайте, какое совпадение, доктор... Мы с мистером Томасом на днях говорили о вас...

— Yes, yes, — подтверждает американец, затягиваясь сигарой.

— Устал я... годы дают себя знать...

— Что вы...

— Это не значит, что я совсем брошу адвокатскую практику. Но работа в компании мне уже не по силам. Мы с мистером Томасом думаем пригласить кого-нибудь помоложе на должность второго адвоката. Два адвоката компании вполне по средствам. Вот мы и вспомнили о вас... Не подумайте, сеньор, что я вам льщу... нет, нет... (Густаво удерживается от жеста, означающего, что его совет не допускает сделок... напротив! Ему бы и в голову не пришло будто доктор Гедес хочет его купить!) Компания надеется, что вы... я хочу сказать, мы с мистером Томасом надеемся (Густаво благодарит)... вы ведь связаны с профсоюзами, вы бы и представляли в компании наших тружеников. Осуществляли бы гармонию труда и капитала. Ратовали бы за интересы рабочих. Вы молоды, перед вами блестящая карьера, парламент. Нация нуждается в вашем таланте. Как видите, намерения у нас самые благородные. Многие считают, что компании безразлична судьба рабочих. Какое заблуждение! Вот вам лучшее доказательство того, что компании близки интересы трудя-

щихся: мы приглашаем к себе на службу их верного рыцаря! У рабочих будет защитник в правлении! Да еще какой защитник! Вот доказательство доброго отношения компании...

Автомобиль мягко катится. Зулейка давно мечтает о собственной машине. При поддержке компании Густаво в ближайшие выборы пройдет в парламент. Американец практичен.

— Гонорар — восемь тысяч в месяц.

Густаво возражает. Деньги его мало тревожат. Он заботится только об интересах рабочих. Они, правда, иногда предъявляют непомерные требования, но ведь у них на то и причины есть... Он, разумеется, против неразумных претензий...

После ужина доктор Гедес говорит:

— Ну, что же, доктор, можете сообщить рабочим добрую весть. Пусть эти дети (да, да, они простодушны, как дети, утверждает Густаво, их так легко успокоить)... пусть эти дети завтра возвращаются на работу. Они получают пятьдесят процентов того, что просят... и этим они обязаны безграничному обаянию сеньора Густаво.

После ухода «верного рыцаря» рабочих американец презрительно бросил:

— На редкость нудный тип...

Старый Гедес, посмеиваясь, заказывает шампанского — отметить конец забастовки.

— За счет компании!

\* \* \*

Машина для жены, репутация, особняк в Кокабаде, может быть, собственная плантация какао. Пятьдесят процентов — великолепно. Сто, как требовали рабочие, — это уже слишком. Обычно ведь просят сто, чтобы получить десять. Он отвоевал для них пятьдесят. Какая победа! И за рубежом не будут поливать грязью имя родины.

\* \* \*

В профсоюзе Антонио Балдуино произносит речь, третью за этот день. Хочет, чтобы сын доктора Густаво Баррейраса не был рабом, как сам он, негр Антонио Балдуино, как черные и белые докеры, рабочие «Электрической», рабочие хлебопекарен...

Мариано идет домой, опустив голову. Когда он уходил, жена еще не знала, что объявлена забастовка. Только ночью осмелился он вернуться, встретить лихорадочно горящие глаза разгневанной женщины, потухшие глаза больной дочери. Завидев его, жена кричит:

— Ты с ними связался, Мариано?

— С кем?

— С кем? Ах ты, невинный младенец! С забастовщиками проклятыми... Ты в это связался, да?..

— Почему они «проклятые»... Мы хотим больше зарабатывать... хотим больше денег... чтоб было, на что лекарство купить для Лилы... Почему ты называешь забастовку «проклятой»?..

— Тебе, значит, денег надо? Лодырь ты, напьешься, шатаешься по всему городу, домой вот под утро явился. Думаешь, обманешь меня? Лодырничаете, потом мне сказки рассказываете... Лекарство для Лилы... Если б ты работал по-настоящему, не лез бы во всякие беспорядки, давно бы тебя инспектором сделали... больше бы зарабатывал... Забастовка — наваждение дьявольское, вон падре Силвино каждый день говорит... Дьявол искушает мыслями о забастовке таких вот олухов... Не связывался бы — давно бы инспектором сделали...

Мариано молча слушает. Когда жена кончила и вызывающе подбоченилась, он спросил:

— Как Ли́ла?

— «Как Ли́ла?» — передразнивает жена. — Да все так же, как еще? Не очень-то ты о ней думаешь... тебе забастовка не нравится. Господи, прибери меня, не дай мне увидеть, как Ли́ла попадет в дьявольское дело впутается.

Жена отступает, будто Мариано и есть дьявол. Рабочий подходит к кровати, глядит на дочь. У Лилы тяжелое расстройство кишечника. Врач сказал — оттого, что землю ела. Голодали они, когда Мариано без работы остался. Хоть бы доктор Густаво уладил это дело с компанией сегодня вечером... завтра бы работать начали. Тогда снова можно будет позвать врача, лекарства купить в аптеке. А вдруг не уладится? Вдруг забастовка на неделю затянется, дней на десять... Хлебнут они тогда горя... еда кончится... девочка без лекарств умрет. Тяжело ему будет, если Ли́ла умрет. Гильбермина кричит, ругается, а Ли́ла улыбнется ему, поцелует... А если... Нет, Мариано. Заба-

ставка — что бусы. Сорвется одна бусина, и все пропало. Он слышит голос Северино, и трусливая мысль уходит. Мариано целует дочь. С улицы доносится брань Гильермины.

\* \* \*

Негр Энрике ковыряет в зубах рыбьей костью. Берет сынишку на руки, спрашивает:

— Уроки выучил, Уголек?

Негритенок смеется, засунув палец в курносый нос. Говорит — на зубок выучил. Из кухни приходит Эрсидия:

— Завтра опять будет рыба...

— Пока есть рыба, все в порядке, черная...

Негр хохочет вместе с сынишкой. Уголек умница! Все уроки выучил. Даже считать умеет...

— Ну и парень, верно, Эрсидия?

Негритянка улыбается. Уголек просит рассказать что-нибудь интересное. Энрике говорит:

— Один черный, бывший боксер, толкал речь в профсоюзе... наши дети, Эрсидия, рабами не будут... Уголек рабом не будет...

— Победит забастовка?

— А то как же! Кто с нами справится? Еще как победит, увидишь. Есть у нас такой негр, Антонио Балдуино... Говорит — заслушаешься...

Энрике рассказывает жене о событиях дня. Из полосатой тельняшки выпирает атлетическое черное тело. Энрике берет сынишку, ставит перед собой:

— Ты, Уголек, рабом не будешь... Ты губернатором будешь. Нас много, их горстка. Управлять ими будем.

Негр Энрике отдает честь будущему губернатору. Заливается хохотом. Он уверен в себе, в своей силе, в забастовке. Негритянка Эрсидия нежно улыбается мужу:

— Завтра опять рыба...

\* \* \*

Хозяин пекарни «Два мира», невысокий испанец, рассказывает о событиях дня. Жена, откинувшись в качалке, молча слушает. Дочь играет на пианино самбу. Хозяин пекарни «Два мира» говорит о забастовке. Керосиновая лампа горит неверным красноватым светом. Мигел кончил, закрыл глаза. Жена спрашивает из качалки:

— У нас ведь пекарня прибыльная?

— Да. Сейчас будут, конечно, убытки, но потом все окупится...

— Тогда я думаю, что они правы. Они вправду в нужде живут...

— Да. Я бы дал им прибавку. Так и в ассоциации сказал. Другие, вот Руис из «Объединенных», те ни в какую. Уж этот Руис. Все ему мало. А я бы дал...

Его недовольно перебивает дочь:

— К чему, папа? Сеньор Руис прав... Нам самим нужны деньги. Мне машину хочется... приемник... Ты же обещал... помнишь, папа? А теперь ты собираешься отдать эти деньги каким-то бесстыжим неграм.

— Кто много хочет, теряет все, дочка... — отвечает Мигел.

Жена сидит задумавшись. Девочка родилась в достатке, в комфортабельном домике. Не то что они. Не работала она на мадридских фабриках, не плыла в трюме эмигрантского корабля в Бразилию, не знает она, что такое голод. Ей машину подавай, приемник... тысячу всяких прихотей. Негры просят так мало. И она снова говорит мужу:

— Настаивай на прибавке, Мигел.

Сеньор Руис уж очень скуп. Любит копить деньги...

Девушка мечтает о машине. Такой, как та, что сейчас промчалась по улице. К окну подходит поклонник:

— Я лично — за забастовку. При луне ты еще красивее...

Когда у нее будет машина, ей не придется терпеть ухаживания приказчика из мелочной лавки, выслушивать избитые комплименты, всякий романтический бред. Она познакомится со студентами, будет ходить на шикарные вечера.

\* \* \*

Густаво Баррейрас выскакивает из такси, бежит вверх по лестнице, прыгая через две ступеньки. В помещении профсоюза он усаживается за стол — председатель уступил ему свое место. Густаво Баррейрас просит слова:

— Господа, в качестве вашего адвоката я трудился весь вечер, убеждал директоров «Электрической компании». Лучшее свидетельство моего труда, моих честных усилий — та приятная новость, которую я собираюсь вам

сообщить. Господа, я буду краток. Конфликт разрешен. (Слушающие подались вперед, как один.) Разрешен благодаря стараниям вашего покорного слуги. Проспорив весь вечер, мы пришли к выводу, что недоразумение будет улажено с честью для обеих сторон, если каждая немного уступит. (По залу прошел ропот.) Компания решила пойти навстречу трудящимся. Раньше она не желала никаких переговоров с рабочими, пока они бастуют. Теперь же благодаря моим стараниям компания готова пойти на уступки. Рабочие откажутся от пятидесяти процентов своих притязаний, компания удовлетворит оставшиеся пятьдесят. С завтрашнего дня вступят в силу новые расценки.

— Это политика адвоката или политика рабочего? — перебил его Северино.

— Это лучшая из политик. — Густаво улыбается своей самой нежной улыбкой. — Эта политика поможет получить по частям то, чего не захватишь одним ударом. Если вы будете слушать профессиональных агитаторов, вы проиграете битву. Непомерные требования — оружие обоюдоострое, оно обернется против вас же самих. И голод постучится в ваши двери, и нищета поселится в вашем доме.

— У профсоюза есть средства, чтобы обеспечить забастовку.

— Даже если она будет длиться вечно?

— Она должна кончиться — город не может жить без трамваев, без света. Компании придется дать нам то, что мы требуем! Не падайте духом, товарищи!

Доктор Густаво побагровел от злости:

— Вы не понимаете, что говорите. Я адвокат, я разбираюсь в этих вещах.

— Мы лучше знаем, сколько нам нужно, чтобы не сдохнуть с голоду...

— Правильно, негр, — поддерживает Антонио Балдуино.

Слова просит молодой рабочий. Едва он появляется за столом президиума, его встречают аплодисментами.

— Кто это? — спрашивает Антонио Балдуино у негра Энрике.

— Рабочий из мастерских. Педро Корумба. Об их семье АВС сочинили. Я читал... Туго им пришлось там, в Сержипе... Он боец закаленный, забастовщик со стажем. Он и в Сержипе бастовал, и в Сан-Пауло, и в Рио. Я его знаю. Я тебя с ним познакомлю.

— Когда я выхожу из дому, я говорю своим детям: вы — братья детей всех рабочих Бразилии. Я говорю это потому, что меня могут убить, а я хочу, чтобы мои дети продолжали работу за освобождение пролетариата. Товарищи! Нас предали. Я не впервые бастую. Я знаю, что такое предательство. Рабочий человек может верить только рабочему человеку. И никому больше. Другие обманывают. Этот вот, — он указывает на доктора Густаво, — желтый. Может быть, ему предложили место в компании. Может быть, ему дали взятку.

Доктор Густаво стучит по столу, протестует, заявляет, что его оскорбили, что он этого так не оставит. Но рабочие не обращают на него внимания. Все взгляды прикованы к Педро. Тот продолжает:

— Товарищи! Нас предали. Мы не можем принять предложение компании. Тогда они подумают, что мы не уверены в своих силах, отнимут у нас прибавку, выпшвырнут нас на улицу. Раз уж мы начали, будем стоять до конца. Я лучше умру, чем брошу забастовку на полпути. Мы победим! Обязательно победим! Пролетариат — это сила. Если он сумеет организоваться, направить свою борьбу, то он добьется всего... Товарищи! Мы не откажемся от наших требований. Долой предателей! Долой Густаво Баррейраса и «Электрическую компанию»! Да здравствует пролетариат! Да здравствует забастовка!

— Да здравствует забастовка!

У рабочих блестят глаза. Мариано улыбается. Негр Энрике скалит зубы. Антонио Балдуино просит слова:

— Мы, докеры, согласны с товарищем Педро. Мы еще ничего не добились. Мы поддержали рабочих из «Электрической» и надеемся, что и вы нас поддержите. Обмана нам тоже не нужно. Мы тоже хотим, чтобы наши требования были удовлетворены полностью, а не наполовину.

Он предлагает, чтобы Густаво Баррейрас, который их продал, был удален из президиума. Знал бы Антонио Балдуино, что Густаво Баррейрас тот самый жених, что соблазнил Линдиналву, — не выйти адвокату живым из этого зала. Густаво уходит, охраняемый шпиками. Вслед ему несется улюлюканье. Потом председатель просит внимания. Говорит Северино. Он предупреждает, что теперь бороться будет труднее, теперь враги скажут, что рабочие не желают идти на переговоры. Северино предлагает обратиться к населению, выпустить манифест. Зачитывает составленный им текст. Рабочие единодушно одобряют его.



Манифест объясняет, что рабочих предали, но что они будут стоять на своем и начнут работу только в том случае, если компания удовлетворит все их требования.

Какой-то чернявый просит, чтобы его выслушали. Он против продолжения забастовки. Пятидесятипроцентную прибавку надо принять. Это уже что-то. Кто хочет слишком многого, теряет все. Доктор Густаво был прав. Что они, рабочие, могут? Ровно ничего. Полиция покончит с забастовкой в одну минуту...

— Что? Что?

— Покончит в одну минуту. Надо радоваться прибавке.

Он предлагает, чтобы собрание проголосовало за прекращение забастовки и вынесло благодарность доктору Густаво.

Слышны крики:

— Предатель! Взяточник!

Но многие просят, чтобы оратору дали высказаться до конца. Мариано почти согласен со смуглым парнем. Пятьдесят процентов — это уже что-то. Будут упорствовать — могут потерять все. Что тогда делать? Парень спускается в зал, кое-кто аплодирует. Антонио Балдуино кричит прямо с места:

— Люди, глаз вашего милосердия иссяк. Остался злой глаз! Вы что, забыли о тех, кто вас поддерживает? О докерах, о рабочих из пекарен? Если вам нравится предательство — на здоровье. Каждый сам себе хозяин. Но если вы такие дураки, что хотите потерять все, чтобы получить крохи, — можете не сомневаться. Пробью голову первому, кто пройдет в эту дверь. Я буду бастовать до победы!

Северино улыбается. Слова Антонио Балдуино на многих произвели впечатление. Толстяк потрясен, он никогда не слышал ничего подобного. Негр, выступавший после обеда, опять просит слова. Доказывает, что их предали. Снова говорит Педро Корумба, вспоминает похожие случаи из забастовки в Рио, в Сан-Пауло. Тогда они поверили обещаниям юристов, именовавших себя «друзья пролетариата».

Но собравшиеся колеблются, переговариваются. У компромиссного решения все больше сторонников.

Председатель ставит вопрос на голосование. Те, кто за продолжение забастовки, встают. Те, кто принимает предложение компании, остаются сидеть. Но прежде, чем вы-

яснились результаты голосования, в профсоюз врывается молодой рабочий, кричит:

— Арестовали товарища Адемара! Он после обеда отсюда вышел... Компания вербует людей, чтобы сломить забастовку!

Рабочий переводит дыхание.

— Еще говорят, полиция заставит пекарей завтра дать хлеб.

Все встают, как один человек, голосуют за продолжение забастовки. Рабочие поднимают сжатые кулаки.

## ВТОРОЙ ДЕНЬ ЗАБАСТОВКИ

Разве можно спать в такую чудесную ночь? Негр Антонио Балдуино вместе с Жоакином и Толстяком расклеивают листовки по городу. В листовке, составленной Северино, объясняется, почему надо продолжать забастовку. Друзья наклеивают листовки на столбы, на стены домов в предместьях Рамос-де-Кейрос, Байша-дос-Сапатейрос. Группа бастующих во главе с негром Энрике отправилась в сторону Рио-Вермелью. Другие пошли на шоссе Свободы, на бульвар, в нижний город. Всюду полно листовок. Теперь все узнают, почему рабочие решили продолжать забастовку. Компании мало кто сочувствует. Мелкие служащие едут на работу в маршрутных такси «Маринетти», смотрят на рабочих с симпатией. Компания распространяет слух, что, если победит забастовка, подскочит плата за проезд в трамвае, за телефон, за свет. Но это ни к чему не ведет. Люди только еще больше ожесточаются против компании. Погода стоит прекрасная, поднимает настроение горожан. Хорошее настроение — союзник стачечников.

\* \* \*

Сколько Антонио Балдуино всего понял за один день и одну ночь! Теперь он объясняет положение Толстяку и Жоакину. Антонио Балдуино поражен, — как это Жубиаба не ведает о таких вещах? Жубиаба мудр, он знает тайны богов и духов, помнит о временах рабства. Жубиаба свободен. Но он никогда не призывал рабов с холма Капа-Негро объявить забастовку. Антонио Балдуино поражен.

Со стороны Ладейра-де-Пеллуриньо доносится какой-то шум, он приближается. Происходит что-то непонятное. Бегут люди. Послышался выстрел. В помещение профсоюза входит забастовщик, говорит:

— Полиция заставляет пекарей выдать хлеб.

Из профсоюза выходят группы рабочих. Но шум уже прекратился. На земле валяются корзины с черствыми булками — хозяева пекарен хотели, чтобы разносчики вручили их постоянным клиентам. Разносчик с лиловым синяком под глазом рассказывает:

— Даже конную полицию присылали, но мы не сдались.

Другой разносчик предупреждает: в «Галисийской булочной» тоже собираются отправить клиентам черствые булки. Нанимают безработных, обещают двойную плату. Сулят хорошее место на всю жизнь.

Старый пекарь кричит:

— Не допустим!

Из окон на Ладейра-де-Пеллуриньо смотрят люди, много людей. Из профсоюза «Электрической компании» выходят новые группы рабочих. Пекаря поддерживают:

— Мы им покажем, как подрывать стачку...

Антонио Балдуино рвется в бой.

— Морды им набить...

— Не надо, — говорит Северино. — Проведем объяснительную работу. Растолкуем, что они не должны служить орудием борьбы против таких же рабочих, как они сами... Обойдемся без драки...

— Эх, к чему разговоры, если можно сию же минуту набить морду желтым!

— Они не желтые. Их обманули. Мы им все объясним. Северино знает, что говорит.

Антонио Балдуино успокаивается. Скоро и он поймет, что в забастовке один человек — ничто. В забастовке все они — единое тело. Забастовка — все равно что бусы... Антонио Балдуино не обидно, что не он командует забастовкой. Здесь все командиры. Кто даст правильный совет, за тем и идут. Вся жизнь негр Антонио Балдуино боролся, а что толку? Стал рабом подъемных кранов... Путь к свободе для него — путь моря. Забастовка — совсем другая борьба. Сейчас забастовщики вырвут у рабства немного свободы. Но придет день — и они устроят великую забастов-

ку. И тогда с рабством будет покончено. Жубибаба об этом не знает... Безработные, подрядившиеся разносить черствые булки, тоже не знают. Прав Северино. Кулаками ничего не добьешься. Надо убеждать, втолковывать. И негр идет с группой рабочих в «Галисийскую булочную», в Байша-дос-Сапатејрос.

Появляются разносчики. На голове у них огромные корзины — ни дать ни взять карнавальные ряженые. Северино влезает на фонарный столб и, держась одной рукой, произносит речь. Он объясняет разносчикам, что они должны быть солидарны со своими братьями по классу, которые требуют увеличения зарплаты. Разнося булки, ты оказываешь услугу хозяевам. Предаешь рабочий класс. А ведь ты сам — рабочий.

— Мы-то безработные, — возражает один из них.

— Хочешь чужое место занять? Место товарища, который борется, чтобы всем было лучше? Разве это по совести? Предательство это...

Разносчик бросает корзину с булками. За ним другие.

Все кричат, охваченные единым порывом. Все, даже самые упорные. Даже тот, кто возразил Северино. Даже тот, кого дома ждут голодная жена и дети. Толпа ликует. Двое хотели было улизнуть, но их задержали товарищи. Все идут в профсоюз пекарей, кричат: «Да здравствует забастовка!»

\* \* \*

К вечеру в профсоюзе пекарей стало тревожно. Толстяк ушел обедать, его долго не было, а вернувшись, он принес дурные вести. Хозяин «Объединенных пекарен» послал за пекарями и месильщиками в Фейра-де-Санта-Ана. Их привезут на машинах, и завтра уже будет хлеб, потому что они приступят к работе сегодня ночью.

Среди рабочих началась была паника. Послали связанных в профсоюз «Электрической компании», в профсоюз докеров. Если «Объединенным пекарням» удастся выдать хлеб, то с забастовкой пекарей покончено. Тогда прощай прибавка, да еще половину рабочих на улицу вышвырнут. А это тяжело ударит и по рабочим из «Электрической», и по докерам. Без пекарей забастовка потеряет силу. С остальными хозяева легко справятся. Профсоюз пекарей гудит. Речь следует за речью. На площади Кастро Алвеса собрался митинг, требуют освободить рабочего, схваченного вчера вечером. В самый разгар митинга кто-

то сообщил о том, что решили предпринять хозяева. Митингующие возмутились, двинулись к профсоюзу пекарей. Туда же пришли представители докеров. Толстяк отправился предупредить рабочих из «Электрической».

В профсоюзе пекарей народу набилось столько, что яблоку негде упасть. Говорят пекари, докеры, трамвайщики, студенты. Попросил слова и рабочий с обувной фабрики. Обувщики готовы объявить забастовку, как только понадобится. Народ все прибывает. Северино уже охрип. Составили манифест, призывающий к всеобщей забастовке, решили — не допустить к работе пекарей, прибывших из Фейра-де-Санта-Ана.

В «Объединенные пекарни» входят три больших предприятия. Одно в предместье Байша-дос-Сапатејрос, другое на шоссе Свободы, третье в центре. Забастовщики собрали три отряда, двинулись к пекарням. Северино и другие товарищи вошли в контакт с рабочими ряда фабрик, с шоферами такси «Маринетти». Готовится всеобщая забастовка.

«Электрическая компания» и «Компания по эксплуатации порта» не желают никаких переговоров с рабочими. Они согласны ознакомиться с требованиями бастующих только после того, как те приступят к работе. Хозяева хлебопекарен готовят срыв забастовки.

\* \* \*

Убедить людей, завербованных для работы в пекарнях шоссе Свободы и центра, оказалось нетрудно. Наобещали им всякие блага, а хозяин Руис для начала отказался выдать обещанную половину зарплаты. Говорил, заплатит завтра, после работы. Забастовщики призывали к классовой солидарности, по их лицам было видно: работать пришельцам они все равно не дадут, и пекари решили вернуться в Фейра-де-Санта-Ана на тех же машинах, на которых их привезли. Отъезжали, крича «ура» бастующим.

На Байша-дос-Сапатејрос дела шли хуже. Когда подошел отряд забастовщиков, у пекарни уже стояла полиция. В толпе шныряли агенты, сжимая рукоять револьвера в кармане брюк. Рабочие остановились перед пекарней в ожидании машин с завербованными. Когда грузовик наконец показался в конце улицы, один рабочий преградил ему путь, другой влез на столб и начал говорить

речь. Он разъяснял пекарям из Санта-Аны, что такое забастовка и чего хотят хозяева.

Улица была забита народом. Прохожие останавливались посмотреть, что будет дальше.

Кто-то сказал:

— Давай поспорим — вернутся они.

— Останутся. Пятерку ставлю.

Подбежали мальчишки и девочки, игравшие в переулке — смотрят, будто на представление. Ребятишкам интересно. Антонио Балдуино тоже было интересно тогда, в порту, когда арестовали грузчика. Тогда беспризорники повеселились на славу. Кричали вместе с докерами. Рабочий на столбе продолжает говорить речь. Пекари из Фейра-де-Санта-Ана внимательно слушают, многие уже решили вернуться.

Вдруг ударили выстрелы. Стреляли агенты, конная полиция теснила рабочих. Люди бросились врассыпную, их давили, началась рукопашная. Антонио Балдуино уже сбил кого-то с ног, когда увидел Толстяка. Тот бежал со страшно выпученными глазами, его жирные щеки тряслись. Рабочий на столбе продолжает говорить под пулями. Антонио Балдуино видел, как Толстяк поднял с земли труп застреленной черной девочки и побежал дальше, крича:

— Где бог? Где бог?..

\* \* \*

Пекари из Фейра-де-Санта-Ана вернулись на том же грузовике. На Байша-дос-Сапатејрос осталось лежать двое стачечников. Один был убит наповал, у другого хватило сил улыбнуться.

Кто этот негр, что ходит, вытянув перед собой руки, по улицам города, то пустынным, то оживленным? Почему он выкрикивает проклятия, плачет, спрашивает, где бог? Почему его руки вытянуты вперед, будто он несет что-то хрупкое? Почему он смотрит невидящим взглядом, не замечает мужчин и женщин, которые оборачиваются ему вслед, не замечает кипящей вокруг него жизни, не видит солнца, сияющего над его головой? Что он несет, кого так нежно укачивает? Что, невидимое людским глазам, прижимает он так осторожно к сердцу? Что нужно этому толстому негру с трагическими глазами, проходящему по

шумным улицам города? Всем прохожим он задает все тот же тревожный вопрос:

— Где бог? Где бог?

В голосе — безутешное горе. Кто он, наводящий ужас на гуляющих? Никто не знает.

Забастовщики знают. Это Толстяк. Он сошел с ума, когда шпик застрелил из пистолета маленькую черную девочку, игравшую перед пекарней в день митинга. Он отнес труп девочки в дом Жубиабы. С тех пор он повторяет один и тот же вопрос:

— Где бог?

Толстяк был глубоко верующим, и он сошел с ума. Он ходит, вытянув руки, будто все еще несет убитую девочку. Его никто не трогает. Он — смиренный безумец.

Но даже рабочие-забастовщики знают не всё. Не знают они, что с этого дня Толстяк носит на руках негрityнчку, ожидая, что бог докажет, что он всемогущ и милостив, вернет негрityнчке жизнь, и снова будет она играть с другими детьми в Байша-дос-Сапате́йрос. Тогда Толстяк перестанет повторять свой вопрос, опустит руки, и глаза его снова станут спокойными.

Если бы он знал, что девочка умерла, что ее давно уже похоронили в дешевом гробике, он бы тоже умер. Ведь это бы значило, что глаз милосердия бога — огромный, как вселенная, — закрылся. И Толстяк потерял бы свою веру и тоже умер. Вот почему он ходит по улицам, безобидный безумец, неестественно держа перед собой руки. Он прижимает к сердцу худенькое черное тело ребенка, убитого шпиком. Люди не видят маленькое простреленное тело. Но руки Толстяка чувствуют его тяжесть, сердце Толстяка ощущает его тепло.

## ВТОРАЯ НОЧЬ ЗАБАСТОВКИ

Город утратил праздничный вид. После стычки с полицией поползли тревожные слухи, стихло оживление на улицах, «Маринетти» еще ходили, но пассажиров почти не было, шоферы торопились домой, опасаясь беспорядков, случайных выстрелов:

— Пуля — дура...

Обыватели охвачены ужасом. Столкновение полиции с бастующими пекарями в Байша-дос-Сапате́йрос чудовищно раздуто. Говорят о восемнадцати убитых, десятках ра-

ненных. Говорят, что полиция собирается атаковать профсоюзы, разогнать бастующих. Хозяйки, дрожа, запирают двери на все засовы. В домах горят керосиновые лампы, свечи. Город объят тревогой.

\* \* \*

В доме Кловиса сегодня не ужинали. Он обещал принести съестного из города, Елена напрасно прождала его целый вечер. Кловис не возвращался. Ходили разноречивые слухи. Узнав о стычке в Байша-дос-Сапатейрос, Елена побежала на улицу. Но ей сказали, что Кловиса там не было, он отправился с другим отрядом рабочих отстаивать пекарню на шоссе Свободы. Женщина вернулась, немного успокоившись, и снова стала ждать. Детишки, все трое, бегали по комнате, играли в жмурки. Чем она их накормит? В кухне — нетопленная плита. Съестного — ни крошки. Манноковая мука — и та кончилась. К обеду она уже попросила еды в долг у соседок, обещала отдать, когда муж вернется. Соседки сами нуждаются... На их улице живут пекари, грузчики. Они бастуют. Неловко опять просить. Что же ей с детьми делать? Сейчас забастовка. Мужчины говорят, надо помогать друг другу. Елена не осуждает забастовку, нет. Правы бастующие. Зарплата нищенская, на самое необходимое и то не хватает. Правильно делают, что прибавки просят, что не идут на работу, пока хозяева не станут платить больше. Но о будущем думать страшно. Есть уже сейчас нечего. У соседей припасы кончатся не сегодня-завтра. Где же профсоюзу взять денег, чтобы прокормить такую ораву? Продлись забастовка еще пару дней, и начнется голод. Елена подходит к окну. В дверях соседнего дома стоит Эрсидия.

— Кловис пришел?

— Нет еще, синья Эрсидия.

— Может, совсем не придет. Эрикке сказал, чтобы его не ждали. Забастовка-то разрастается... мужчины должны быть на улице.

Негритянка улыбается:

— Будем ужинать без него...

И снова Эрсидия улыбнулась. Почему же Елене грустно? Ей не до смеха, она расплакалась.

Эрсидия идет к соседке.

— Что с тобой, Елена?



На кухне — нетопленная плита. Негритянка гладит подругу по волосам:

— Не огорчайся, милая, не будь дурочкой. У нас пока есть харчи, и на вас хватит. Вот выиграют они забастовку — разбогатеем.

Елена улыбнулась сквозь слезы.

\* \* \*

Уложив детей и дождавшись, когда они заснули, Елена набрасывает на плечи шаль и отправляется на улицу Гра-са. Там живет дона Елена Руис, супруга хозяина. Когда-то Елена работала у них прачкой. Сеньора всегда была добра к беднякам, старалась помочь. Прачку она всерьез называла тезкой.

— Ну, тезка... Чтобы белье чистое было, как снег...

Дона Елена сама вела хозяйство, даром что богатая. Говорила — кому нечего делать, того одолевают дурные мысли. И хотя ходила хозяйка и в кино, и в гости, и на прогулки, у нее всегда хватало хлопот по дому. Муж умолял ее не заниматься хозяйством, у них ведь служанки есть, умолял не губить своей красоты и молодости на кухне — ей было двадцать два года, но дона Елена и слышать ничего не хотела.

— Если поручить все служанкам, у тебя и рубашки порядочной не будет... А потом, мне это нравится...

Муж целовал ее в щечку, и нежная пара отправлялась в кино. По дороге муж рассказывал ей о делах, с гордостью говорил об успехах «Объединенных пекарен». Хотел открыть еще одно предприятие в Итапажипе. Она улыбалась. Она восхищалась им. Какого необыкновенного человека дал ей в мужья господь бог! Руис уверял ее:

— Это ты приносишь мне счастье. Без тебя не знаю, что бы я делал...

Благодаря доне Елене Кловис устроился работать в пекарне. Прачка попросила, и на следующий же день Кловис получил место. Теперь прачка снова идет к хозяйке, которую не видела уже два года, с тех пор, как Кловис работает. Узнает ли дона Елена свою тезку?

Дона Елена сидит в гостиной, вышивает. Наверху принимает ванну муж — сегодня он вернулся домой вспотевший, грязный. Весь день он суетился, бегал, искал людей — работать в пекарнях.

Едва узнав о приходе прачки, дона Елена распоряжается, чтобы ее провели в гостиную. Бросает вышивание, которым занималась при свете керосиновой лампы. (Муж сердился: испортишь зрение, Елена...) Дона Елена улыбается женщине, которая стоит перед ней, опустив глаза:

— Наконец-то, тетка, собралась нас проведать...

— Занята я очень, дона Елена... с детьми разве найдешь время...

— Знаешь, тетка? Такой прачки, как ты, у меня больше не было...

Елена нерешительно улыбается. Дона Елена чувствует — прачка пришла с какой-то просьбой.

— Тебе что-нибудь нужно?

Елена не знает, с чего начать. Она мнетя, ломает пальцы. Дона Елена спрашивает:

— Случилось что-нибудь? С детьми? С мужем?

— Слава богу, ничего пока не случилось, дона Елена... Только забастовка вот...

— Ах! Забастовка! Руис тоже страшно расстроен...

— Да ведь от него все зависит...

Дона Елена ничего не знала. Прачка рассказывает ей о жизни в предместье, о пекарях, получающих за работу гроши, о голодных семьях, о больных детях. Забастовка правильная, просят они сущие пустяки, а сейчас им совсем есть нечего. Ее детей сегодня соседка накормила, ждали... У других голодают дети...

Дона Елена потрясена. В глазах у нее слезы:

— Голодные дети! Не может этого быть...

Может. А одну негритянскую девочку убили сегодня полицейские во время стычки с пекарями. Это еще не все. Другие дети плачут от голода.

— Еще день, два — пойдем по миру... А ведь мы так мало просим!

Дона Елена взволнована. Она встает. Руис, конечно, ни о чем не подозревает. Если бы он это знал, он бы давно увеличил жалованье рабочим.

— Руис — такой добрый... Дона Елена ведет прачку в кухню. Собирает ей гостинцы, все самое лучшее. И еще деньгами дает двадцать мильрейсов. Женщина уходит, сторбившись, как рабыня, плача, как рабыня. Дона Елена утешает ее:

— Не беспокойся, тетка. Я сию же минуту поговорю с Руисом. Он ничего не знает. Я расскажу ему, и он сразу повысит зарплату. Он такой добрый.

\* \* \*

Когда жена входит в комнату, Антонио Руис, владелец «Объединенных пекарен», надевает шелковую рубашку. Его пугает выражение ее лица:

— Что с тобой, детка? — Он подходит, целует ее. — Тебе скучно? Почему ты не пошла в кино? — Руис смеется: — Забастовка отняла кино у моей ненаглядной душеньки... у моего ангела...

— Я о забастовке хочу поговорить с тобой, Руис.

— Ударилась в политику, детка?

В комнате рядом, в роскошной кровати, среди дорогих кукол спит их дочка. Дона Елена вспоминает о голодающих детях.

— Ты должен принять их требования и дать прибавку...

Муж подпрыгивает, как ужаленный.

— Ты что? — В его голосе — резкость, которой дона Елена раньше не слышала. Он спохватывается, продолжает нежно: — Счастье мое, ты ничего в этом не понимаешь.

— Кто тебе сказал, что не понимаю? Понимаю лучше, чем ты (перед ее внутренним взором — голодные дети). Я знаю то, о чем ты даже не подозреваешь...

Дона Елена, волнуясь, передает мужу все, что рассказывала ее прачка. Кончив, она торжествующе улыбается:

— Видишь, я знаю такие вещи, которые тебе и не снились. Твоя женошка прекрасно осведомлена.

— Кто тебе сказал, что я этого не знаю?

— Ты знаешь? Знаешь, и...

Дона Елена ошеломлена. Ее будто обухом по голове стукнули. У нее потемнело в глазах, голос осекся... Муж обнимает ее.

— Что ты, Лена? Да, я знаю...

— И... ты не даешь им прибавки? Это же преступление!

Удивление Руиса не наигранное — настоящее.

— Почему преступление?

Дона Елена не может прийти в себя. Она возмущена, испугана.

— По-твоему, это не преступление — допускать, чтобы эти люди, эти женщины, эти дети умирали от голода...

— Я, милая, тут не при чем. Так заведено с сотворения мира. Всегда были бедные и богатые.

— Но, Руис, ведь там голодают дети... маленькие дети... такие, как наша Ленинья... Ты представь себе: Ленинья плачет от голода! Боже мой, какой ужас...

Руис нервно ходит по комнате.

— Почему ты лезешь не в свое дело? Ты в этом не разбираешься...

— Ты такой добрый... Я думала...

— Я — как все. Не хуже, не лучше.

Воцаряется тишина. Из другой комнаты слышно ровное дыхание спящей девочки. Руис пытается объяснить

— Да ты знаешь, чего им надо?

— Они хотят так немного...

— А давать им ничего не нужно. Если сейчас я дам им эту прибавку, завтра они захотят еще, потом еще, потом потребуют все пекарни...

— У них голодные дети. И зарплата нищенская. Ты никогда не рассказывал мне об этом. Я ничего не знала. Если бы я знала...

Руис обрывает ее:

— Ну и что? Что бы ты сделала? Много ты понимаешь. Я борюсь за то, чтобы у тебя был автомобиль, дом, чтобы Ленинья ходила в гимназию. Ты считаешь, я должен работать на этот сброд?

— Но они просят так мало, Руис. Не может быть, чтобы тебе нравилось смотреть на чужие страдания.

— Мне не нравится. Но тут не до сантиментов. Это очень серьезно. Я не могу позволить себе раскиснуть, расчувствоваться. Я — хозяин, борюсь за свои интересы. Если сегодня я уступлю им палец, завтра они отхватят всю руку. Ты что — хочешь остаться без автомобиля, без дома, без слуг? А Ленинья? Я борюсь за все это, борюсь за наше имущество, за наши деньги... За твой комфорт, черт возьми!..

Он ходит по комнате и внезапно останавливается перед женой:

— Не думай, Лена, будто мне приятно знать, что они голодают. Совсем не приятно. Но война есть война.

Из соседней комнаты доносится дыхание дочери. Голодные дети... дети, оставшиеся без ужина... дети, кото-

рые плачут, потому что нечего есть... А он находит это естественным. Он, ее муж, которого она боготворила, считала добрым, неспособным и муху обидеть. Тут — какая-то страшная тайна, которую она не в состоянии понять. Но дети плачут от голода. Значит, если бы Руис оказался менее удачливым, Ленинья плакала бы от голода. И дона Елена в слезах умоляет мужа пойти на уступки.

— Не могу, милая, не могу. Это — единственное, чего я не могу для тебя сделать.

И он снова принимается объяснять, что война есть война, что уступи он им палец, они потребуют руку, захотят еще прибавку, потом еще...

— Я задую забастовку голодом...

Он подходит к жене, хочет погладить ей волосы:

— Не плачь, Лена...

Он обнимает ее. (Дети рабочих плачут от голода...)

— Не тронь меня! Ты чудовище... Уйди!

Она рыдает, она глубоко несчастна, ей жаль себя, жаль мужа... Как она завидует забастовщикам!

Она шепчет, захлебываясь слезами:

— Голодные дети... Голодные дети...

\* \* \*

Кловис задержался в профсоюзе, слушает речи. После стычки с полицией дело приняло крутой оборот. Люди возбуждены, рвутся в бой. Удержать их трудно. Выпущены листовки, требующие немедленного освобождения арестованных забастовщиков. Ходят самые невероятные слухи. В зал врывается рабочий, кричит, что полиция идет громить профсоюз. Все готовятся к отпору. Тревога оказалась ложной, но нападения можно ждать с минуты на минуту. В девять часов вечера приходит весть — дело докеров выиграно! Но на собрании в своем профсоюзе они заявляют, что не прекратят забастовки, пока не будут удовлетворены требования пекарей и трамвайщиков. Докеры идут в профсоюз «Электрической компании» сообщить об этом решении. Речи прерываются неожиданной новостью — полиция схватила несколько человек, их избивают, хотят заставить работать. Профсоюз шумит, словно штормовое море. Все выходят на улицу. Отправляют комиссии для переговоров с шоферами «Маринетти», с шоферами городских такси, с рабочими разных фабрик. Боль-

шой отряд бастующих направляется к зданию «Электрической компании», чтобы выразить свой протест. Люди взвинчены до предела. Десять часов гэчера.

\* \* \*

У конторы стоит машина. Это — «Гудзон» директора, того самого янки, которому платят двенадцать тысяч в месяц. Директор как раз спускается вниз по лестнице, попыхивая сигарой. Шофер собирается открыть дверцу. Антонио Балдуино, подошедший с другими бастующими, кричит:

— Хватай его, ребята! Будет и у нас арестант!

Директора окружили. Стража, охранявшая здание, бросилась наутек. Антонио Балдуино тащит директора за руку, рвет на нем белый костюм. Толпа воет:

— Линчуй его!

Антонио Балдуино заносит кулак. Но его останавливает голос Северино:

— Не трогать. Мы рабочие, а не убийцы. Отведем его в профсоюз.

Антонио Балдуино в бешенстве опускает руку. Но он согласен — так надо. Забастовку в одиночку не сделаешь. Ревущая толпа уводит американца в профсоюз «Электрической».

Весть о пленении директора облетает город. Полиция настаивает, чтобы его выпустили. Вмешивается американское консульство. Забастовщики в ответ требуют освобождения политических заключенных. Требуют, чтобы арестованных не принуждали работать. В одиннадцать часов вечера арестованные рабочие появляются в профсоюзе. Говорят — американский консул обратился в полицию с просьбой их выпустить. Боятся, как бы рабочие не убили директора. Директора отпускают. Вслед ему летят острые шутки. Профсоюз торжествует. Антонио Балдуино говорит негру Энрике:

— Этот живьем ушел. Но попадись мне в лапы доктор этот, Густаво, — ух!

Он потирает руки. Жизнь хороша. Бастовать здорово.

\* \* \*

Прошло полчаса. В профсоюзе под аплодисменты зачитывают еще один манифест. Шоферы «Маринетти», шоферы городских такси, рабочие двух ткацких и одной табач-

ной фабрики объявят завтра забастовку, если требования пекарей и трамвайщиков не будут удовлетворены этой же ночью. Педро Корумба начинает свою речь словами:

— Объединившись, рабочие могут завоевать мир.

Антонио Балдуино обнимается с парнем, которого видит впервые в жизни.

\* \* \*

В полдень в губернаторском дворце представители «Электрической компании» и хозяева хлебопекарен доводят до сведения рабочей комиссии, что требования бастующих приняты. С завтрашнего дня начнут действовать новые расценки. Забастовка кончается полной победой рабочих.

Антонио Балдуино идет к Жубиабе. Теперь он смотрит, как равный, на Жреца Черных Богов. Он говорит, что открыл истину, воспетую в АВС, нашел верный путь. У богачей закрылся глаз милосердия. Но люди, если они захотят, могут уничтожить злой глаз. И Жубиаба, колдун и жрец, склоняется перед Антонио Балдуино, будто перед ним — Ошолуфан, древний Опала, могущественнейший из богов.

## ХАНС-МОРЯК

Антонио Балдуино прячет в карман сто двадцать мильрейсов, которые он выиграл сегодня вечером. На город медленно спускается ночь. Несколько ночей подряд в городе не зажигались огни. Забастовка остановила все. Нет, думает Антонио Балдуино. Не все. Это его жизнь до сих пор будто стояла на месте. Забастовка открыла ему глаза, теперь он знает, что надо бороться. Вот уже больше месяца прошло, а он все напевает потихоньку самбу «Да здравствует забастовка», которая облетела весь город в утро победы. Антонио Балдуино поет и одно за другим напоминает события тех дней:

Нам наших заработков скудных  
хватало на один укус,  
и вот потребовал прибавки  
тогда рабочий профсоюз.

Мы объявили забастовку,  
чтобы хозяев припугнуть:  
пускай узнают, что рабочий  
к своим правам отыщет путь.

Слова сочинил Перминио Дирио. Поется на мотив «Ну и дела». Люди расхватывали отпечатанные листки с текстом самбы. На другой день после забастовки только ее и пели на улицах, по которым снова пошли трамваи. Поет Антонио Балдуино, и снова чувствует себя в гуще событий. Вначале его привлекала драка и шум, все то, что страстно любил ли с детства. Потом бывший боксер постиг и другое: забастовка нечто посерьезнее, чем просто шум и драка. Это — ясная цель, это то, когда знаешь, за что борешься. Такая борьба прекрасна. Забастовщики помогали друг другу, защищали друг друга в борьбе против рабства. Забастовка стоит того, чтобы сложить о ней АВС. Мало одной только самбы, которую напевает Антонио Балдуино:

И вот не выпекают хлеба,  
и не печатают газет,  
и замолчали телефоны,  
и всюду выключили свет.

У нас такой рабочей стачки  
не видывали никогда:  
не ходят в городе трамваи,  
остановились поезда.

Правду говорит самба. Люди, которых раньше Антонио Балдуино презирал, считая их рабами, неспособными постоять за себя, остановили всю жизнь города. Прежде Антонио Балдуино думал, что он и его друзья — бродяги, нарушители спокойствия, не расстающиеся с ножом, свободны по-настоящему. Что именно они — хозяева благочестивой Баии. Потому и было ему тошно, и с собой хотелось покончить, когда пришлось идти работать грузчиком. Теперь он понял. Трудящиеся пока еще рабы, но они борются за свободу. Правильно говорит самба:

Хоть поначалу фабриканты  
не уступали ничем,  
но трудовой народ боролся,  
и он поставил на своем.

Так пусть у нас царит веселье  
и все танцуют и поют.  
Да здравствует Баия наша!  
Да здравствует рабочий люд!

Это совсем не та борьба, о которой он узнавал на холме Капа-Негро из АВС, бесед перед домом тетюшки Луизы, из рассказов Жубиабы и негритянских песен. Антонио



Балдуино думал, что бороться — значит быть свободным бродягой, нигде не работать. Теперь ему ясно — настоящая борьба другая. Борьба — это стачка, это бунт угнетенных. Этого не знал даже Жубиаба. Негр Антонио Балдуино смеется — забастовка вернула ему его прежний беззаботный смех. Он так громко поет последние строки самбы, что пугает бледную проститутку, похожую на девушку, которая поливает цветы в окне старого дома в Ладейра-да-Монтанья.

На землю опустилась ночь, из-за моря вышла луна и поднялась к звездам. Толстяк идет, верно, где-нибудь по улице Чили, вытянув руки — будто несет перед собой что-то, и спрашивает, где бог. На небе горит Зумби из Палмареса. Белые думают: это планета Венера. Но Антонио Балдуино и все другие негры знают: это Зумби, отдавший жизнь, чтобы не быть рабом. Зумби знал то, что только сейчас понял Антонио Балдуино. Парусники спят у причала. Один «Скиталец» собирается в плавание, нагруженный ананасами, фонарем освещая свой путь. Мария Клара поет, стоя на палубе. От нее исходит аромат моря. Она родилась на море, она трепещет перед ним и любит его. Антонио Балдуино тоже влюблен в море. В море видится ему путь домой. Когда умерла Линдиналва, ему казалось, что он не сумеет уже совершить ничего героического и никто не сложит о нем АВС. И он захотел уйти в море и обрести успокоение в смерти. Но портовые грузчики, люди моря, подарили ему забастовку. Море — это путь домой. Антонио Балдуино всматривается в темно-зеленую гладь, позолоченную луной. Издалека доносится голос Марии Клары.

Куда держу я путь, Мария?

На безлюдной пристани играет старик шарманщик. Под звуки негромкой музыки покачиваются рыбацьи лодки, парусники, океанские корабли. Музыка летит в таинственный океан, призывающий Антонио Балдуино. Не будь забастовки, волны обняли бы его тело в какую-нибудь безлунную ночь. Не будь забастовки, он отступил бы от борьбы, от своего АВС и не светил бы ему Зумби из Палмареса, которого белые называют Венерой. Вдали мелькнула какая-то тень. Может быть, это эквилибрист Роберт, сбежавший из цирка? Не все ли равно. Шарманка

плачет. Голос Марии Клары смолк в океанских просторах. Мануэл стоит у штурвала. Все тайны моря открыты ему. Он будет любить Марию Клару в лунном свете. Морские волны пеной обдадут их тела, любовь станет еще прекраснее. Прибрежный песок кажется серебряным. Белый прибрежный песок, на котором Антонио Балдуино любил столько мулаток. И все они в его объятиях были веснушчатой Линдиналвой. Не будь забастовки, лежало бы теперь на песке тело Антонио Балдуино, распухшее, как тело Карлика Вириато, и щелкали бы клешнями раки-сири. Вдали светит фонарь парусника. Слышна ли на нем шарманка старого итальянца? Когда-нибудь, думает Антонио Балдуино, он обязательно уйдет в дальнейшее плавание, увидит новые земли.

Когда-нибудь он вступит на палубу корабля — огромного, как этот ярко освещенный голландец, и отправится вдаль широкой океанской дорогой. Забастовка спасла его. Теперь он умеет бороться. Забастовка — это его АВС. Корабль отшвартовывается. Матросы видели забастовку. Они расскажут в далеких странах о борьбе негров Баии. Оставшиеся машут с берега уходящему кораблю. Отплывающие смахивают слезинки. Почему, уезжая, люди плачут? Неизвестность захватывает. Даже если это морская пучина, в которую ушел Вириато Карлик. Но лучше — уйти в борьбу, в забастовку. Когда-нибудь Антонио Балдуино уйдет в плавание на большом пароходе и поднимет стачку во всех портах мира. Отплывая, он тоже будет махать остающимся. Прощайте, друзья, не поминайте лихом. В небе горит Зумби-дос-Палмарес. Он знает: Антонио Балдуино не будет больше искать в море смерти. Его спасла забастовка. Когда-нибудь он тоже будет махать платком с палубы океанского корабля. Шарманка играет грустный прощальный вальс. Антонио Балдуино будет махать не так, как дамы и господа из первого класса, расстающиеся с друзьями, родителями, заплаканными женами, опечаленными невестами. Он будет, как тот светловолосый матрос, что стоит в глубине, у рубки, и машет матросской шапкой, прощаясь со всей Баией, с проститутками Табоана, с рабочими, победившими в забастовке, с бродягами из «Фонаря утопленников», со звездами, среди которых блесит Зумби-дос-Палмарес, с небом, с желтой лунной, со стариком шарманщиком и с самим Антонио Балдуино. Он будет прощаться с городом, как этот моряк.

Прощайте! Я выстоял забастовку, я научился любить всех мулатов, всех негров, всех белых, которые, на суше и в трюмах судов, борются, чтобы разбить цепи рабства. И негр Антонио Балдуино, подняв огромную мозолистую руку, прощается с моряком Хансом.

## АВС АНТОНИО БАЛДУИНО

Здесь Антонио жил Балдуино,  
чернокожий буян и храбрец.  
Был он парень разгульный и  
шалый,  
но добрей не бывало сердец.  
До бабья был охочий он малый,  
и девчонок имел он без счета,  
но при том был за правду борец.  
Здесь с язменой он встретился  
подлой  
и нашел свой печальный конец.

*(Из АВС Антонио Балдуино)*

АВС Антонио Балдуино в красной обложке с фотографией, сделанной в бытность его боксером, продают за двести рейсов на набережной, на парусниках, на ярмарках, на Образцовом рынке, в пивных. АВС покупают молодые крестьяне и портовые грузчики, светлокожие моряки и женщины, любящие моряков и крестьян, и белозубые веселые негры, на груди у которых татуировка — якорь, сердце или женское имя.

# МЕРТВОЕ МОРЕ



Р О М А Н

*Перевод*

ИННЫ ТЫНЯНОВОЙ



*Я хочу поведать вам сегодня истории, что называются и поются на баиянских пристанях. Старые моряки, лагающие углые паруса, капитаны парусных шхун, негры с татуированной кожей, бродяги и мошенники знают наизусть эти истории и эти песни. Я не раз слушал их лунною ночью на баиянской набережной против рынка, во время ярмарок, у причалов малых гаваней побережья, возле огромных шведских судов в Ильеусском порту. Людям моря есть что порассказать.*

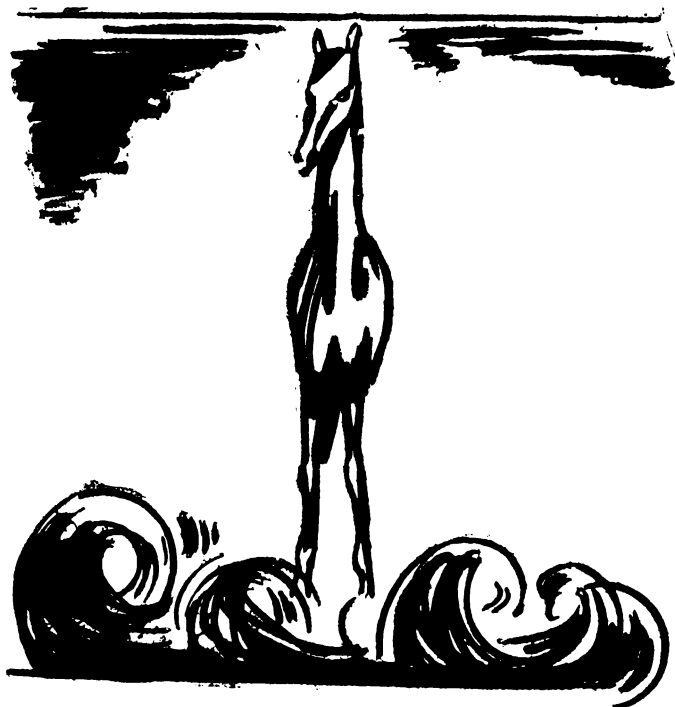
*Послушайте же эти истории и эти песни. Послушайте историю Гумы и Ливии. Это история жизни у моря; это история любви у моря. А ежели она покажется вам недостаточно прекрасной, то вина в этом не тех простых, суровых людей, что сложили ее. Просто сегодня вы услышите ее из уст человека с суши, а человеку с суши трудно понять сердце моряка. Даже тогда, когда он любит эти истории и эти песни, когда ходит на все праздники в честь богини моря Иеманжи, или донь Жанайны, как ее еще называют,— даже тогда не знает он всех секретов моря. Ибо море — это великая тайна, постичь которую не могут даже старые моряки.*



ИЕМАНЖА  
ХОЗЯЙКА ВСЕХ МОРЕЙ  
И ВСЕХ ПАРУСОВ







## БУРЯ

**Н**очь поторопилась. Люди еще не ждали ее, когда она обрушилась на город тяжкими грозowymi тучами. На пристани еще не зажгались огни, в таверне «Звездный маяк» тусклый свет керосиновых ламп еще не падал на стаканы с водкой, и множество шхун еще бороздили волны, когда ветер внезапно пригнал эту, в черных тучах, ночь.

Люди переглянулись, будто спрашивая о чем-то друг друга. И глядели на морскую синь, ища и у нее ответа, откуда вдруг эта ночь прежде времени? Час еще не про-



бил для ночи. А она вот пришла, нагруженная тучами, предводимая холодным ветром сумерек, поглотив солнце, словно наступил конец света.

Ночь пришла на сей раз не встреченная музыкой. Не прозвенел эхом по городу в ее честь ясный голос вечерних колоколов. Ни один юноша-негр не тронул для нее струну своей гитары на песчаном побережье. Ни одна гармоника не послала ей своих вздохов с кормы качающейся на волнах шхуны. По склонам холмов не прокатился глухой, монотонный перестук макумбы и кандомбле. Почему ж тогда пришла она, ночь, не дождавшись музыки, не дождавшись, откуда колокола возвестят о ее прибытии, не дождавшись размеренных переливов гитар и гармоник, таинственной барабанной дроби обрядовых инструментов? Почему пришла так вдруг, прежде часу своего, без времени?

Эта ночь была отличной от всех других — отличной и тягостной. Да, именно тягостной, ибо вид у людей на пристани был растерянный и беспокойный, и моряк, одиноко тянувший тростниковую водку в пустой таверне, вдруг сорвался с места и побежал к своей шхуне, словно желая уберечь ее от какой-то неизбежной и непоправимой беды. А смуглая женщина, что на молу против рынка ждала шхуну, на которой недавно еще уходила в море ее любовь, вдруг принялась дрожать не от холодного ветра, не от холодного дождя, а от холода, каким наполнила любящее ее сердце эта, так внезапно и быстро раскинувшаяся вокруг ночь.

Ибо они — одинокий моряк и смуглая женщина — были этому морю близкие знакомцы и хорошо знали, что, если ночь настала раньше срока, много людей погибнет в море, многие корабли остановлены будут на пути своем и многие вдовы будут плакать неутешно, прижимая к груди головы малых детей. Ибо они знали: ночь настоящая, ночь лунная и звездная, ночь музыки и любви, не пришла. Она приходит только лишь в час свой, когда звонят колокола и какой-нибудь юноша-негр поет себе, перебирая струны гитары, где-то на песчаном берегу долгую, тоскливую песню. А та, что пришла сейчас, — нагруженная тучами, предводимая ветром, — была вовсе и не ночь, а буря. Буря, что топит корабли и убивает людей. Буря, что притворяется ночью.

Дождь упал на землю в ярости и омыл берег, перемесил песок, закачал стоящие на причале суда, заставил раз-

бежаться всех, кто ожидал на берегу прибытия трансатлантического парохода. Один из грузчиков сказал товарищу, что будет буря. Подъемный кран, как сказочное чудовище, рассек дождь и ветер, опустив свой груз. Дождь безжалостно хлестал черные спины грузчиков. Ветер летел быстрый, бешеный, со свистом, сваливая на пути все, что попадалось, напугав женщин. Дождь падал сплошной лавиной, застилая глаза. Только черные краны продолжали свое размеренное движение. На море перевернулась шхуна, и в воду упали двое. Один — молодой и сильный. Быть может, он произнес чье-то имя в этот прощальный час. Во всяком случае, то, что он произнес, не было проклятьем, ибо голос его прозвучал сквозь бурю печально и нежно.

Ветер сорвал парус с затонувшей шхуны и понес его к берегу, как трагическую весть. Чрево моря вздыбилось, волны ударили с силой в прибрежные камни. Лодки в порту Ленья закачались неистово, и лодочники решили не ворочаться нынче ночью в маленькие городки побережья. Парус с затонувшей шхуны занесло куда-то на волнолом, и тогда погасли фонари на всех других шхунах, и женщины забормотали поминальную молитву, а глаза мужчин устремились куда-то далеко в море.

Негр Руфино, сидя за стаканом водки, уж не улыбался больше. В такую бурю Эсмералда, конечно же, не придет.

Огни зажглись наконец. Но были они сегодня тусклые и мерцающие. Людям, ожидавшим прибытия трансатлантика, так ничего и не удалось разглядеть. Они укрылись от дождя в портовых складах и лишь смутно могли различить оттуда подъемные краны и силуэты грузчиков, пересекавших, согнувшись, лавину дождя. Но они не видели долгожданного большого корабля, на котором должны приехать друзья, отцы и братья, невесты, может быть. Они не видели и человека, плакавшего в каюте третьего класса. Дождь вперемежку со слезами стекал по лицу человека, что прибыл морскими дорогами на пристававшем в двадцати портах корабле, и память об огоньках родного селения мешалась с мутным светом огней незнакомого города, объятого бурей.

Шкипер Мануэл, опытный моряк, лучше всех знающий нрав своего моря, решил не выходить нынче ночью на промысел. В бурные ночи любовь слаще и тело Марии Клары пахнет морскою волной.

Огни старого форта не зажигались сегодня. На шхунах тоже было темно. В городе не было света. Даже подъемные краны остановились, и грузчики попрятались по складам. Гума со своего шлюпа «Смелый» видел, как погасли огни, и испугался. Он держал руку на руле, «Смелый» кренился на сторону... Те, что ждали на пристани трансатлантика, уже разошлись. Лишь один остался стоять, чтобы позвать руку другому, спускающемуся по трапу с прибывшего наконец парохода:

— Все в порядке?

— Ну да, — улыбнулся другой.

Тот, что ждал, подозвал машину, и оба молча отъехали. Их уже заждались, верно.

Человек, прибывший в каюте третьего класса, медленно обвел взглядом город, в котором говорят на другом языке, где царят другие нравы. Потом нащупал на груди полупустой бумажник и поспешил со своим саквояжем по первому попавшемуся переулку. Набережная опустела.

Одна только Ливия, худая, с прилипшими к лицу тонкими мокрыми волосами, осталась на берегу, возле стоявших у причала шхун, всматриваясь в даль моря. Она слышала любовные стоны Марии Клары на палубе шхуны шкипера Мануэла. Но мысли ее были не здесь. Ветер качал ее, как тростинку, дождь хлестал ее по лицу, по ногам. Но она все стояла недвижно, подавшись всем телом вперед, вперив взгляд во тьму, ожидая, не мелькнет ли фонарик «Смелого», пересекая бурю, осветив эту ночь без единой звезды, возвестив прибытие Гумы.

## ПЕСНИ ПРИСТАНИ

Внезапно, как и пришла, буря удалилась к другим морям, топить другие корабли. Ливия явственно слышала теперь любовные стоны Марии Клары. Это не были уже, однако, резкие вскрики наслаждения и боли, вскрики раненого зверя, недавно еще рассекающие бурю с каким-то тайным вызовом. Теперь, когда по городу, по набережным и по морю растекалась настоящая ночь, лунная, звездная, ночь для любви и музыки, любовь на шхуне шкипера Мануэла сделалась тихой и успокоительной. Стоны Марии Клары уподобились теперь радостным всхлипываниям, глухой тихой песне. Скоро уже придет Гума, скоро «Сме-

лый» рассечет волну бухты, и она обнимет мужа худыми и смуглыми руками, и они оба тоже будут стонать от любви. Теперь буря прошла, теперь Ливии не страшно. Она скоро увидит красный фонарик «Смелого» в темноте ночи на море. Мелкие волны били в прибрежные камни, и шхуны на причале тихо покачивались. Вдалеке на мокром асфальте города отражались огни. Группы людей, которые уже успокоились и не спешили, направлялись к подъемной дороге. Ливия снова повернулась взглянуть на море. Вот уже восемь дней, как нет Гумы. Она осталась в старом домишке на берегу. На сей раз она не отправилась вместе с ним в путешествие, каждый раз новое и полное приключений, по заливу и по спокойной реке. Если б она была на борту, когда разыгралась буря, было б лучше. Он-то боялся бы за жизнь подруги, но вот ей, Ливии, было б вовсе не страшно, потому что она была бы с ним, а он знает все морские дороги, зоркий глаз указывает ему путь лучше любых фонарей, а рука его тверда на руле. Он теперь уж скоро приедет. Весь промокший от дождя и бури, мускулистый и веселый, махнет крепкой рукой, на которой возле локтя вытатуирована стрела и ее, Ливии, имя, и примется шумно рассказывать разные истории... Ливия улыбнулась чуть заметно. Круто повернулась всем своим длинным, смуглым телом в ту сторону, откуда слышались стоны Марии Клары. Набережная была темна, два-три фонаря поблескивали на шхунах, но она ясно различала среди них шхуну шкипера Мануэла, откуда доносились стоны. Вот — стоит на причале, покачиваясь на волнах. Там мужчина и женщина любят друг друга, и стоны их доносятся до Ливии. Попозже, скоро, верно, это уж она, Ливия, будет на корме «Смелого» прижимать к своему телу крепкое тело Гумы, целовать его темные волосы, чувствовать вкус моря на его коже и вкус смерти в его едва вырвавшихся из бури и тревоги глазах. И ее, Ливии, любовные стоны будут нежней, чем у Марии Клары, ибо полны будут долготы ожидания и страха, еще недавно владевшего ею. Мария Клара прервет свою любовную песнь, чтоб услышать музыку плача и смеха, что вырвется из уст Ливии, когда Гума прижмет ее к себе, сожмет руками, еще влажными от морской пены.

Мимо прошел один из лодочников и сказал Ливии: «Добрый вечер». Группа людей вдалеке рассматривала парус потонувшей шхуны. Он лежал очень белый, порванный, у самого берега. Несколько мужчин уже вышли в

море искать тела погибших. Но Ливия думает о Гуме, что вот-вот причалит, и о ночи любви, что ждет ее. Эта ночь будет счастливее, чем у Марии Клары, которая не ждала и не страшилась.

— Знаешь кто умер, Ливия?

Она испугалась. Но нет, это не парус «Смелого». У него парус гораздо больше и так сильно не порвался бы. Ливия оборачивается и спрашивает у Руфино:

— Кто ж это был?

— Раймундо с сыном. И перевернуло-то вблизи берега... Буря уж больно лютовала.

В эту ночь, думает Ливия, любовь уже не придет к бедной Жудит, ни в ее хижине, ни на шхуне ее мужа. Жакес, сын Раймундо, умер. Надо пойти туда. Позже. После того, как Гума появится, после того, как утолят они оба муку ожидания, после того, как минует час любви. Руфино поднял голову и смотрит, как всходит луна.

— Уж отправились искать тела.

— Жудит уже знает?

— Я пойду сказать ей...

Ливия глядит на негра. Великан. И водкой от него пахнет. Пил, наверно, в «Звездном маяке». Почему он так смотрит на эту полную луну, что всходит где-то посреди моря и освещает все вокруг серебристым светом? Мария Клара все еще вздыхает от любви. Жудит не узнает любви нынче ночью. Ливия ждет Гуму — он вернется, обрызганный морской волною, пропитанный вкусом и запахом моря. Как красиво море, когда луна так вот все побелила! Руфино еще не ушел. Со стороны старого форта слышится музыка. Кто-то играет на гармонике и поет:

Ночь для любви дана...<sup>1</sup>

Густой голос. Такие голоса бывают у негров. Руфино смотрит на луну. Быть может, он тоже думает о том, что Жудит нынче ночью уж не узнает любви. Ни нынче, ни после. Никогда... Ее муж погиб в море.

Пусть волны качают нашу любовь...  
Погляди, как светит луна...

Ливия спрашивает у Руфино:

— Мать Жудит все еще у них живет?

---

<sup>1</sup> Стихи в романе «Мертвое море» даются в переводе И. Тыняновой.

— Нет. Старуха уехала в Кашоэйру. На шхуне...

Он сказал это словно вскользь, все глядя на луну. Красиво поет негр в старом форте, но песня его не утешит Жудит.

Руфино протянул Ливии руку:

— Ну, пошел я...

— Я тоже приду. Попозже...

Руфино отошел на несколько шагов. Остановился:

— Вот печаль-то... Тяжко... Как скажу ей, что он умер?

Почесал задумчиво голову. Отошел еще немного. Ливии стало так грустно. Никогда больше Жудит не узнает любви. Никогда не выйдет с любимым в море, в час, когда светит луна. Ночи ей теперь даны уж не для любви, а для слез... Руфино протянул руку:

— Пойдем со мной, Ливия. Ты лучше знаешь, как сказать...

Но ведь Ливия ожидает свою любовь, Гума скоро будет здесь, алый фонарик «Смелого» вот-вот покажется вдали, еще немного — и они обнимут друг друга, прижмутся друг к другу всем телом. Еще немного — и его шлюп поплывет по светлой полосе, которую луна простелила на море. Ливия ожидает свою любовь, она не может уйти. Сегодня, после всего этого страха, после того, как перед глазами ее стояло видение Гумы, тонущего в бурном море, Ливия хочет любви, хочет радости, хочет страсти. Ливия не может идти плакать к Жудит, которой не суждено уж любить.

— Я гляжу, не покажется ли Гума, Руфино.

Пожалуй, негр подумает, что у нее сердца нет... Но ведь Гума скоро уж... Ливия произносит тихо:

— Я немножко позже приду...

Руфино приветливо машет рукой:

— Ну, доброй ночи тогда...

— До скорого...

Руфино нехотя делает еще несколько шагов. Смотрит на луну, слушает песню, доносящуюся с форта:

Пусть волны качают нашу любовь...

Оборачивается:

— Ливия...

— Да?

— Ты знала, что она ребенка ждет?

— Жудит?

— Такое вот дело...

Идет дальше. Еще раз взглядывает на луну. Удаляется. В старом фортe голос поет:

Ночь для любви дана...

Мария Клара плачет и смеется в объятиях мужа. Ливия вдруг срывается с места и кричит Руфино, тень которого виднеется вдали:

— Я иду с тобой.

Они идут вместе. Она все еще не спускает взгляда с моря. Кто знает, может быть, фонарь, что поблескивает вдали, горит на борту «Смелого»?

\* \* \*

Жудит — высокая мулатка, и живот у нее уже натягивает ситцевое платье. Все молчат. Негр Руфино беспомощно машет руками, не зная, куда их девать, и в испуге глядит на остальных. Ливия — вся сострадание, нежно поддерживает голову Жудит. Много уж людей собралось. Пробормотав соболезнование, они топчутся на месте, ожидая, когда принесут тела погибших, которые другие моряки ищут на дне морском. Из угла, где притаилась Жудит, слышатся глухие рыдания, и руки Ливии поднимаются и опускаются в каких-то ласковых взмахах. Потом пришли шкипер Мануэл и Мария Клара — глаза у нее сонные.

Ничто не напоминает более о недавней буре. Даже Мария Клара прервала свои любовные вздохи. Ничто не напоминает о буре. Но почему ж тогда Жудит плачет, почему Жудит стала вдовой, почему люди собрались здесь и ждут, когда принесут два мертвых тела? Негр Руфино охотно бы ушел отсюда, убежал бы, укрылся бы в радости объятий, которые раскроет для него Эсмералда. Тяжело ему видеть этот печальный дом, горе Жудит, он сам не свой, не знает, куда деть руки, и чувствует, что будет еще тяжелей, когда принесут труп Жакеса и придется всем смотреть на последнее свидание Жудит с ее мужем, с человеком, который любил ее, от которого у нее сын, который владел ее телом.

Ливия держится стойко. И так она еще красивее. Кто отказался бы жениться на Ливии, чтоб она плакала по нем, когда он утонет в море? Сейчас она нежна с Жудит, как сестра.

Ей, наверно, тоже хочется бежать отсюда, идти на берег, ждать Гуму, ждать под звездами своей ночи любви. Всем больно от боли Жудит, и Мария Клара думает, что когда-нибудь так же вот и шкипер Мануэл останется на дне морском в бурную ночь, и Ливия покинет берег, где ждала Гуму, чтоб принести печальную весть и ей, Марии Кларе. Она с силой прижимает к себе локоть шкипера Мануэла, который спрашивает:

— Ты что?

Но Мария Клара плачет, и шкипер Мануэл не настаивает на своем вопросе. Принесли графин с водкой. Ливия уводит Жудит в комнату. Мария Клара идет с ними и теперь заменяет Ливию — плачет вместе с вдовою, плачет о самой себе.

Ливия возвращается к остальным. Мужчины теперь тихонько переговариваются о чем-то, обсуждают недавнюю бурю, вспоминают отца с сыном, погибших нынче ночью. Один негр замечает:

— Старик-то был сила... Храбрец, каких и не сыщешь...

Другой начинает рассказывать давнюю историю:

— Вы помните все, наверно, тот ураган в июле? Так вот Раймундо...

Кто-то открывает графин с водкой. Ливия проходит между мужчин и направляется к двери... Ей слышен отсюда гул спокойного моря, гул вечный, однообразный, гул каждого дня... Гума, наверно, скоро вернется и, конечно, придет искать ее сюда, к Жудит. В сумраке, скрывшем пристань, ей видятся вдали приближающиеся паруса рыбацких шхун. И вдруг ее охватывает то же дурное предчувствие, что недавно Марию Клару. А если когда-нибудь, в такую вот ночь, ей принесут весть, что Гума остался на дне морском, а «Смелый» блуждает по волнам без пути, без руля, без кормчего? Только сейчас пронзила ее вся боль Жудит, и она почувствовала себя и впрямь ее сестрой, и сестрой Марии Клары, и всех, всех женщин, чья судьба связана с морем, чья судьба едина: ждать такой вот бурной ночью вести о гибели своего мужчины.

Из комнаты донеслись рыдания Жудит. Одна осталась. С ребенком под сердцем. Может быть, еще когда-нибудь придется ей так же оплакивать и этого сына, что не родился еще. В группе мужчин негр продолжает рассказ:

— Пятерых спас... Ночь была — конец света... Многие видали в эту ночь саму Матерь Вод..., Своими глазами... Раймундо...



Жудит рыдает в глубине комнаты. Такова здесь судьба всех женщин. У мужчины здесь лишь одна дорога — дорога в море. По ней уходят они, ибо такова их судьба. Море господствует над ними всеми. От него — вся радость и все горе, ибо оно — тайна, постичь которую не могут даже старые моряки, даже те, что давно уж не выходят в море, а сидят себе на берегу, чинят ветхие паруса и рассказывают давние истории. Кто же может разгадать тайну моря? Оно несет и музыку, и любовь, и смерть. И разве не над морем луна полней? Море непостоянно и зыбко. И, как море, непостоянна и зыбка жизнь людей под парусами шхун. Кому из них под конец жизни удалось понять внуков и посидеть в кругу семьи за обедом и завтраком, как бывает то у людей земли? У каждого из них есть что-нибудь на дне морском: сын, брат, рука, оторванная акулой, шхуна, перевернутая волнами, парус, растерзанный в клочья ветром бури. Но, однако ж, кто из них не знает песен любви на ночном побережье? Кто из них не умеет любить горячо и сладко? Ибо каждая ночь любви может оказаться последней. Когда они прощаются с женщиной, то не целуют, походя и торопясь, как люди земли, спешащие по своим делам. Они прощаются долго, и все машут, машут на прощание, словно зовя за собою.

Ливия смотрит на людей, поднимающихся по пологому склону холма. Они приближаются двумя группами. Фонари придают траурной процессии какой-то призрачный вид. Как предчувствие их приближения, громче слышится из комнаты плач Жудит. Достаточно взглянуть на непокрытые головы людей, чтобы понять, что они несут тела погибших... Отца и сына, утонувших вместе в эту бурную ночь. Без сомнения, один хотел спасти другого, и погибли оба... А откуда-то из глубины всего, со старого форта, с набережной, со шхун, из какого-то далекого, не ведомого никому места песня провожает тела усопших. Она говорит:

О, как сладко в море умереть...

Ливия плачет. Прижимает Жудит к груди и плачет вместе с нею, плачет, уверенная, что придет и ее день, и день Марии Клары, и день всех их, всех женщин, что живут у моря. А песня пересекает набережную, чтоб дойти до них, этих женщин:

О, как сладко в море умереть...

Но даже присутствие Гумы, что пришел с траурной процессией и что первым отыскал тела умерших, не может сейчас утешить Ливию.

\* \* \*

Только песня, что слышится неведомо откуда (быть может, и впрямь со старого форта), уверяющая, что так сладко умирать в море, напоминает сейчас Ливии о смерти мужа Жудит. Тела, верно, уж положили в комнате. Жудит, на коленях, плачет у тела мужа, мужчины столпились вокруг, Мария Клара с тревогой думает, что когда-нибудь так вот утонет и ее Мануэл.

Но зачем ей, Ливии, думать о смерти, о всех этих печалях, когда ее ожидает любовь? Ибо сейчас она здесь, на корме «Смелого», вместе с Гумой. Ливия растянулась на досках в тени свернутого паруса, глядя на своего мужа, не торопясь раскуривающего трубку. Зачем думать о смерти, о людях, борющихся с волнами, когда ее любимый здесь, и буря ему уж не страшна, а огонек его трубки разгорается над темным морем самой яркой звездочкой? Но Ливия задумчива. И грустна. Что ж он не подойдет, не сожмет ее крепче своими сильными руками, татуировку на которых она знает наизусть? Ливия ждет, положив руки под голову, ее девические груди едва проступают под легким платьем, которое ночной ветерок, теперь мирный, приподымает и колышет. «Смелый» тихонько покачивается на волнах.

Ливия ждет, и так красива она в этом своем ожидании... Самая красивая женщина из всех, каких можно видеть на пристани. Ни у одного из здешних моряков нет такой красивой жены, как у Гумы. Все они говорят об этом открыто и все приветливо улыбаются Ливии. Все они охотно взяли бы ее с собой в плавание, охотно сжали бы мускулистыми руками. Но она принадлежит Гуме, ему одному, венчана с ним в церкви Монте-Серрат, где обычно венчаются рыбаки, лодочники и шкипера со шхуп. Даже моряки, что ходят в дальнее плавание на огромных пароходах, тоже приходят венчаться в церковь Монте-Серрат, вскарабкавшуюся высоко на холм, нависший над морем. Это их церковь, морская. Ливия с Гумой венчались там, и с тех пор на ночной набережной, на палубе «Смелого», в комнатах «Звездного маяка», на песке побережья они любят друга, соединяются в одно тело над морем и под луною.

А сегодня, когда она так долго ждала его, так боялась за него во время бури, он к ней и не подходит, курит себе спокойно свою трубку... Потому-то Ливия так неотступно думает о Жудит, у кого не будет больше любви, для кого ночь навсегда отныне станет ночью слез. Ливия вспоминает: Жудит упала наземь рядом с умершим мужем. Глядела ему в лицо, теперь уж недвижимое, в глаза, что никогда уже не улыбнется, что видели уже глубоко под волнами лик богини Иеманжи, Матери Вод.

Ливия с гневом думает о богине. Она — Мать Вод, хозяйка моря, и потому все мужчины, что проводят жизнь свою на волнах, испытывают страх перед ней и любовь к ней. Она карает их и за страх и за любовь. Никогда не является она пред ними, покуда не достигнет их смерть на дне морском. Те, что гибнут во время бури, — ее любимцы. А тех, что гибнут, спасая других, берет она с собою в плавание по дальним, неведомым водам, и плывут они, словно корабли, по всем морям и океанам, и заходят отдохнуть во все порты и гавани. Вот их тела никогда еще не удавалось найти, ибо они уходят с Матерью Вод. Чтоб увидеть ее, многие бросались в море с улыбкой и никогда более не появлялись среди живых. Неужто она спит со всеми этими мужчинами в водной глубине? Ливия думает о богине с гневом. Сейчас она, верно, с теми, кто утонул нынче ночью, — отцом и сыном. Возможно, они поспорили из-за нее или даже схватились врукопашную, а ведь так дружны были всегда. Когда Гума нашел тела, рука старика крепко сжимала рубашку сына. Умерли-то они друзьями, но сейчас — кто знает?.. Из-за нее, Иеманжи, хозяйки моря, женщины, которую видят лишь мертвые, может, уж поссорились, и Раймундо, может, и нож выхватил — все ведь видали, что когда он уходил в море, то нож за пояс заткнул, а когда нашли тело, ножа при нем не было. Борются, наверно, в глубине вод, чтоб решить спор, кто ж из них пойдет с нею в плавание по всем морям, взглянуть на диковинные города по другую сторону земли. А Жудит, что сейчас обливается слезами, Жудит, у кого ребенок под сердцем, Жудит, что так и зачахнет на тяжелой работе, Жудит, что больше не полюбит ни одного мужчину, — Жудит уже забыта, ибо Мать Вод прекрасна и светловолоса, а волоса у нее длинные-предлинные, и только они ее и одевают, а так-то она нагая совсем под водой... А когда всходит полная луна и плывет над морем, а на волны ложится золотая дорожка, то это

и есть волоса Матери Вод, тогда только они и видны людям.

Люди земли (а что они знают, люди земли?) говорят, что это лунные лучи ложатся на море, а вовсе не волоса Иеманжи. Но моряки, шкипера со шхун и лодочники смеются над этими людьми с суши — а что они знают про море? Ничего! Вот моряки знают точно, что это волоса Матери Вод, которая в полнолуние подымается из глубины полюбоваться луной. Потому-то мужчины так подолгу смотрят на море в лунные ночи. Они знают, что Иеманжа тут, близко. Негры тогда берутся за свои гармоньки и гитары, играют для нее, бьют в барабаны и поют ей песни. Это — их подарок хозяйке моря. А другие раскуривают трубки, чтоб осветить ей дорогу — так ей лучше видна окрестность. Все они влюблены в нее и даже забывают своих жен, когда богиня расстелит свои волоса по волнам.

Вот с Гумой сейчас то же самое творится, поэтому он так долго смотрит в серебряную глубину моря и так внимательно прислушивается к песне негра, зовущей в смерть. Негр поет, что так сладко умереть в море, ибо там ожидает Матерь Вод, а она — самая красивая женщина во всем мире. Гума сейчас смотрит на ее волоса, забыв, что Ливия рядом, растянулась возле него, ждет... А ведь Ливия ждала так долго этого часа любви, Ливия видела, как буря крушит все кругом, опрокидывает корабли, убивает людей... Ливия так страшилась за него, Гуму. А сейчас ей так хочется обнять его, целовать в губы, угадать, испугался ли он тоже, когда огни на пристани погасли, прижаться к его телу, чтоб узнать, сильно ли его обдало волнами. Но Гума сейчас забыл о Ливии, он думает только о Матери Вод, хозяйке моря. Быть может, он даже завидует отцу и сыну, что погибли в бурю и теперь, верно, странствуют по далеким мирам, какие видали только лишь моряки с больших кораблей. Ливия полна ненависти, ей хочется плакать, ей хочется бежать без оглядки от этого моря, далеко, далеко.

Какая-то шхуна проплыла мимо них. Ливия приподымается на локте, чтоб лучше разглядеть. Кто-то кричит со шхуны:

— Добрый вечер, Гума...

Гума машет вслед рукой:

— Счастливого пути...

Ливия смотрит на него. Теперь, когда туча скрыла лу-

ну и Иеманжа опустила в свои глубины, он погасил трубку и улыбается. Ливия сжалась в радостный комочек, предчувствуя уже тепло его рук. Гума заговорил:

— Где это пел этот негр, как думаешь?

— Почему знать... Наверно, в старом форте.

— Красивая песня...

— Как жалко Жудит...

Гума смотрит на море.

— Очень... Тяжко ей придется. И еще этот ребенок.

Лицо его мрачнеет, он смотрит на Ливию. Хороша она так вот, в ожидании... Какие тонкие у нее руки, для тяжелой работы не годятся. Если он, Гума, останется в море навсегда, ей придется искать другого, чтоб продолжать жизнь. Ее руки не подходят для тяжелой работы. От этой мысли в нем подымается глухой гнев. Маленькие груди Ливии красиво вырисовываются под платьем. Все мужчины на берегу равнодушны к ней. Всем хотелось бы быть с нею, потому что она самая красивая в здешних краях. А когда он, Гума, тоже уйдет в плавание вместе с Матерью Вод? Гуме вдруг захотелось убить Ливию, тут же, на месте, чтоб никогда она не принадлежала другому.

— А если когда-нибудь «Смелый» перевернется и я отправлюсь к рыбам на ужин?..— Смех Гумы звучит натянуто.

Голос негра снова рассекает темноту:

О, как сладко в море умереть...

— ...ты тоже будешь работать до седьмого пота или сойдешься с другим?

Ливия плачет, Ливии страшно. Она тоже думает об этом дне, когда ее муж останется на дне морском, чтоб больше не вернуться, когда отправится с хозяйкой моря, с Матерью Вод, в плавание по дальним морям, поглядеть на дальние земли. Ливия подымается и охватывает руками шею Гумы:

— Мне сегодня было страшно. Я тебя на берегу ждала. Мне все казалось, что ты уж не придешь... Никогда...

Он пришел. Да, он знает, сколько Ливия ждала, как страшилась за него. Он пришел к ней, к ее любви, к ее рукам, обнимающим его сейчас. Голос негра все поет вдалеке:

О, как сладко в море умереть...

Теперь уже не блестят под луною волосы богини моря Иеманжи. И песнь негра смолкает, заглушенная смехом и

плачем Ливии, встретившейся наконец со своей любовью, — Ливии, самой красивой женщины на побережье, о которой мечтают все мужчины и которая сейчас, на палубе «Смелого», так крепко прижимает к себе того, за кого так страшилась, за кого так еще страшится.

Ветер бури унесся далеко. Ливни из туч, принесенных искусственной ночью, падают теперь где-то в других портах. Иеманжа несет тела других утопленников к другим берегам. Море сейчас спокойное, чистое, ласковое. Море сейчас — друг морякам. Оно им — и путь-дорога, и дом родной... Над ним, на корме своих шхун, обнимают моряки любимых жен, заронив в них новую жизнь.

Да, Гума любит море, и Ливия тоже любит море. Как оно красиво так вот, ночью, — синее, синее, без конца и края, море — зеркало звезд, полное фонариками шхун и огоньками шкиперских трубок, полное шепотом любви.

Море — друг, ласковый друг для всех, кто живет на море. Ливия чувствует вкус моря, когда Гума прижимает ее к себе. «Смелый» покачивается на волнах, как гамак, что в рыбацких хижинах служит людям постелью.

## ЗЕМЛЯ БЕЗ КОНЦА И БЕЗ КРАЯ

Поющий голос, глубокий и звонкий, разгоняет все шумы ночи. Он доносится со стороны старого форта и разливается над морем и над городом. Музыка старой песни нежна и печальна, и при звуке ее замирают на губах слова и смолкают разговоры. Но слова старой песни — жестоки, они ударяют людей в самое сердце. «Несчастлива та, что станет женой моряка, — говорится в песне, — не будет ей в жизни судьбы и удачи. Много слез прольют глаза ее, и рано помрачится свет их, ибо слишком долго придется глядеть им в бескрайнюю даль моря, ожидая, не покажется ли на горизонте знакомый парус...» Голос негра властвует над ночью.

Старый Франсиско знает хорошо и эту музыку, и этот океан звезд, отраженный океаном воды. Даром, что ли, провел сорок лет на своей шхуне? И не только звезды знает он. А и все изгибы, отмели и лагуны залива и реки Парагуасу, все окрестные порты, все песни, что в них поются. Жители этой части реки и побережья — все его друзья,

и говорят даже, что как-то раз, в ночь, когда старый Франсиско спас всю команду одного рыбацкого судна, он видел вдаль силуэт Матери Вод, которая поднялась из глубины для него, в награду за его подвиг. Когда заходит речь об этом случае (и все молодые моряки спрашивают старого Франсиско, правда ли это), старик только улыбается и произносит:

— На свете много чего говорят, парень...

Так вот никто и не знает, правда ли это или выдумка. Возможно, и правда. Иеманжа — с причудами, а уж если кто и заслужил право видеть ее и любить, так это старый Франсиско, живущий на побережье столько лет, что уж никто и не знает сколько. А еще лучше, чем все отмели и все излучины, знает старик разные истории здешних вод и земель, помнит все празднества в честь Иеманжи, или Жанаины, как ее еще называют, все кораблекрушения и все бури. Да разве есть такая история, какой не знает старый Франсиско?

Когда наступает ночь, он покидает свой ветхий домишко и идет на берег. Проходит по цементу набережной, покрытому грязью, вступает в воду и ловко прыгает на палубу какой-нибудь шхуны. Тогда все начинают просить его рассказать что-нибудь: какую-нибудь быль, какой-нибудь случай. Нет лучшего рассказчика, чем старый Франсиско.

Теперь-то он живет тем, что чинит паруса. Да еще Гума, племянник, подкармливает старика. Но были времена, когда он управлялся с тремя шхунами. Ветры и бури унесли его шхуны. Но не смогли унести старого Франсиско. Он всегда возвращался живым в родной порт. А имена трех шхун вытатуированы на его правой руке рядом с именем брата, погибшего в бурю. Быть может, когда-нибудь придется ему добавить к этим именам имя Гумы, если Матери Вод вдруг взбредет в голову полюбить его племянника. По правде говоря, старый Франсиско смеется над всем этим. Конец для всех одинаков — на дне морском. И если он, Франсиско, там не остался, то потому лишь, что Жанаина не пожелала, а предпочла, чтоб он ее увидел живым и потом рассказывал о ней молодым морякам. А честно сказать, зачем он живет-то? Чтоб чинить паруса? Никакой теперь от него пользы, в плавание ходить он больше не может, руки ослабли, глаза плохо видят в темноте. Зачем живет? Чтоб смотреть, как племянник выходит в море на своем «Смелом»? Лучше уж было остаться в глу-

бине вод вместе с «Утренней звездой», самой быстроходной его шхуной, что затонула в ночь Святого Жоана. А то теперь он, Франсиско, только и делает что смотрит, как уходят в море другие, а сам не может плыть с ними. Он теперь, как Ливия, дрожит за жизнь близких, когда разыграется буря, помогает хоронить тех, кто погиб. Как женщина... Много уж лет прошло с тех пор, как пересек он в последний раз бухту, — рука на руле, взгляд зорко пронзает тьму, соленый ветер хлещет по лицу, а шхуна легко бежит по воде под звуки далекой музыки.

Вот сегодня тоже слышится музыка откуда-то издалёка. Негр какой-то поет. В песне говорится, что у жен моряков — тяжелая доля. Старый Франсиско грустно улыбается. Он-то давно схоронил жену. От сердца умерла — так доктор сказал. Разом умерла, как-то ночью, когда буря была и он едва уцелел. Она кинулась ему на шею, а когда он опомнился, она уж не двигалась, была уж мертвая. Умерла от счастья, что муж вернулся, а доктор сказал, что от сердца. Он-то, Франсиско, тогда вернулся, а вот Фредерико, отец Гумы, остался той ночью в море навсегда. Тела не нашли, потому что Фредерико погиб, спасая брата, и за это Иеманжа взяла его с собой посмотреть другие земли, очень красиво там, верно. Так что в ту ночь потерял Франсиско и брата и жену. Он тогда взял Гуму к себе и воспитал на своей шхуне, в открытом море, чтоб парень никогда моря не боялся. Мать Гумы, про которую никто не знал, кто она, в один прекрасный день объявилась и спросила про мальчика:

— Вы извините, это вы и есть Франсиско?

— Я самый, к вашим услугам...

— Вы меня не знаете...

— Да что-то не вспомню, нет... — Он потер рукой лоб, стараясь вспомнить всех старых знакомых. — Не узнаю, уж не обессудьте...

— А Фредерико меня хорошо знал...

— Это может случиться, ведь он плавал на больших пароходах Баиянской компании. А вы сами из каких краев будете?

— Я-то из Аракажү. Как-то раз он приехал в наши края. А у корабля дыра в боку была преогромная, чудом спаслись...

— Ах, помню, это было в Марау... Трудное было плавание, Фредерико мне рассказывал. Там вы с ним и познакомились?



— Они у нас месяц простояли. Фредерико уж так меня улещал...

— Да, бабник-то он был, это точно. Хуже обезьяны-самца...

Она улыбнулась, показав плохие зубы:

— Много наговорил: и что увезет меня с собой, и дом мне отстроит, и оденет, и накормит. Сами знаете, как это бывает...

Старый Франсиско поморщился. Они стояли на берегу, а рядом на базаре продавали апельсины и ананасы. Они присели на пустые ящики. Женщина продолжала:

— Беда случилась, лишь когда он сказал, что не вернется на корабль. Но когда дыру в посудине заделали, он и слушать не стал, махнул платочком — да и был таков...

— Не скажу, что он хорошо поступил. Хоть и моя кровь, а...

Она прервала:

— Я не говорю, что он плохой был человек. Что делать? Судьба, видно, так хотела. Я б с ним куда угодно подалась, даже если б знала, что он меня бросит. Втрескалась больно.

Женщина взглянула на старого Франсиско. А он думал: зачем она явилась через столько лет? Денег просить, что ли? Так он теперь последний бедняк, нет у него денег. Фредерико, брат, и впрямь был бабник...

— Говорил, что пришлет за мной. За вами прислал? — Она улыбнулась. — Вот и за мной так же. Когда стало сильно заметно, я хотела снадобье принять, мать не позволила. Отец был человек честный, крутой, он ко мне с ножом: «Кто да кто? Покончу с ним», — кричит. У меня и посе́йчас шрам под коленкой остался. Не дрогнула рука у отца-то.

Зачем она подымает юбку и показывает шрам на голый ноге? Франсиско не тронет женщину, которая была с его братом, это — большой грех, за него человека может постичь кара небесная.

— Так я и ушла из дому. Одна-одинешенька на свете. Семья крестного меня к себе взяла, прислужгой. Вот раз накрываю я, значит, на стол, и вдруг как меня схватит... Боли начались...

Только теперь Франсиско понял:

— Гума?

— Ну да, Гумерсиндо. Это мой крестный имя придумал. Его самого так звали. Ну, я собрала деньжонок и при-

везла ребенка к Фредерико. Он уж был с другой, сына взял, а про меня сказал, что и слышать не хочет.

Снова наступило молчание. Франсиско украдкой взглядывал на женщину, все старался понять, к чему она клонит. Денег у него нет, во всяком случае сразу если, то никак нет. А спать с женщиной, что была с его братом, — нет, он такой вещи не сделает.

— Ну, я и осталась в здешних краях, ворочаться-то стыдно было. И у бедных стыд есть, верно? Не хотела я на улицу идти в моем краю, где меня знают... Мой отец был человек уважаемый, он даже одного из моих братьев учиться послал, на врача... Ну, а потом меня уж по свету бросало, бросало... Да давно это было все...

Она махнула рукой и стала глядеть на корабли. Сзади, с рынка, доносился шум голосов, там спорили, смеялись.

— Я только три дня тому назад приехала из Ресифе. Давно хотела на сына взглянуть, знакомый один мне сказал, что Фредерико умер два года назад. Так что я за сыном... Сама его растить буду...

Франсиско не слышал уже шума, доносившегося с рынка. Он слышал лишь слова женщины, уверявшей, что она — мать Гумы, и приехавшей за ним. Он не любил спорить с женщинами. Начнешь с ними — конца не видно. Но сейчас ему придется поспорить, ибо он ни за что не отдаст Гуму. Мальчик уже научился управлять рулем на шхуне и свободно мог поднимать своими детскими руками большие кули с мукой. Спорить Франсиско привык, но только с суровыми моряками, крепышами-шкиперами, с кем можно не бояться крепких слов, ибо они-то сумеют за себя постоять. Но с женщиной, тем более такой, как мать Гумы — в шелковом платье, и духами от нее несет, и зонтик на руку повесила, и зуб во рту золотой — нет, с такой женщиной Франсиско спорить не осмелится. Если невзначай сорвется у него некрасивое словцо, так ведь она, поди, и расплакаться может, а Франсиско не мог вынести, когда женщина плачет. А к тому ж брат и вправду нехорошо с нею поступил. Однако если б моряки только и думали, что о женщинах, которых они покидают в каждом порту... А разве лучше, когда моряк женится и потом оставляет жену вдовой или когда жена умирает от сердца при виде мужа, вернувшегося невредимым после бури? Еще хуже. Нет, Гума не женится. Он всегда будет свободен. Свободным будет ходить в плавание под своим парусом. И уйдет

с Матерью Вод, когда захочет. Не будет у него якорей, привязывающих его к земле. Человек, живущий на море, должен быть свободен. А если эта женщина увезет Гуму, что станется с мальчиком? Будет он столяром, каменщиком, может, адвокатом или даже священником в женских юбках, кто знает! А старому Франсиско придется только краснеть за то, что он толкнул на такое своего племянника, и ничего ему больше не останется, как самому отправиться навстречу Жанаине в какую-нибудь темную ночь. Нет, ни за что на свете не даст он этой женщине увезти Гуму.

А женщину уже удивляло молчание Франсиско. С рынка слышались голоса: «Так дорого? Да вы что? Пугаете?» И обрывки какого-то разговора издалека: «Он как фукнет раза два из своего револьвера, и побежал. Но человек он человек и есть, так что я собрался с духом и тоже выстрелил...»

Старый Франсиско вдруг засмеялся:

— Знаете что, милая? Вы не увезете парня, нет. Да что вы с ним делать будете?

Он взглянул на женщину, ожидая ответа. Но лицо его говорило красноречивее слов, что нет на свете такой силы, какая заставила бы его отдать Гуму. Женщина неопределенно помахала рукой и ответила:

— Вообще-то я сама не знаю... Хочу его увезти, потому что он мой сын и отца у него теперь нету... Жизнь гулящей женщины, сами знаете, какова... Сегодня тут, а завтра в другом месте... Но если он останется, то с ним будет как с отцом, утонет когда-нибудь...

— А если он пустится в плавание под вашим парусом, тогда как?

— Я его в школу отдам, он научится читать, может, адвокатом станет, как дядя, брат мой... Не утонет в море...

— Милая женщина, судьба наша там, наверху, пишется. Коль ему суждено уйти с Матерью Вод, то никакая сила его не избавит от этого. Если он останется здесь, вырастет настоящим человеком. Если уйдет с вами, то коптит бездельником за трактирной стойкой...

— Это вы так думаете...

— Да где вы достанете денег на его учение? Вашей сестры я немало повидал. Сегодня получите, завтра нет... Сами сказали, что нынче тут, а наутро в другом месте... А сыну женщины с таким занятием иной раз хуже, чем щонку, приходится, сами знаете...

Она опустила голову, потому что знала, что это правда. Увезти сына с собой — значит обречь его на вечное унижение, потому что всегда и для всех будет он сыном публичной женщины. Где бы ни очутился он — на улице ли среди других мальчиков, в школе ли, или еще где, — ничего не сумеет он сказать, нигде не посмеет свое мнение выразить, потому что всякий сможет бросить ему в лицо самое худшее оскорбление, какое только есть на свете...

С рынка все еще доносился голос мужчины, рассказывающий о происшествии: «...я только и успел увидеть, как блеснул нож, ну, думаю, выпустит мне сейчас кишки. Замахнулся я, коленом его как поддам. Непшуточное было дело».

...Да нет, гораздо лучше, чтоб Гума остался здесь, научился управлять рулем, ходил в плавание, заходил в чужие порты, оставлял там будущих сыновей под сердцем чужих женщин, вырывал ножи из рук мужчин, пил тростниковую водку в кабачках, татуировал сердца у себя на руке, боролся с волнами в бурю, ушел в глубину с Иеманжой — Хозяйкой Моря, когда пробьет его час. Там никто не спросит, кто была его мать.

— Но я могу иногда приезжать взглянуть на него?

— Всякий раз, как потребует ваше сердце...— Теперь Франсиско было жаль женщину. Даже самая плохая мать не может совсем уж не любить своего ребенка. Взять хоть китов: пускай они животные, и мыслей у них нету, а как защищает самка своих детенышей от китоловов! Иной раз даже умирает за них!

— Сегодня же вы можете его увидеть. Он плавал в Итапарику, вечером, попозже, вернется. Вы погодите уезжать...

На лице женщины изобразился испуг:

— Он уже один ходит на шхуне?

— Один. В Итапарику и обратно. Учится. Да он не хуже взрослого.

Теперь на лице женщины сияла гордость. Ее сын, которому едва одиннадцать лет сравнялось, уже сам управляется с парусным судном, не боится моря, — он уже настоящий мужчина. Она спросила совсем как-то по-детски, словно голос ее исходил в эту минуту из самой глубины сердца:

— Он похож на меня?

Старый Франсиско взглянул на женщину. Несмотря на гнилые зубы, она была красива. А золотой зуб, так даже

украшал ее. Тонкий запах духов исходил от нее, и так странно было вдыхать его здесь, на набережной, густо пахнущей рыбой! Губы были ярко накрашены, словно кто кусал их в кровь. Руки, как-то бессильно повисшие вдоль тела, были округлы и крепки. Несмотря на все, что выстрадала, глядела она молодо, трудно даже было поверить, что это мать Гумы. А ведь уже одиннадцать лет, как вела она жизнь уличной женщины, спала с чужими мужчинами, терпела от них грубое обращение и даже побои. И, несмотря на все это, была все еще лакомый кусочек. Если б не то, что она когда-то спала с Фредерико...

— Похож, да. Глаза у него аккурат, как у вас. Да и нос ваш...

Она улыбалась. Это была, верно, самая счастливая минута в ее жизни. Когда-нибудь, когда красота ее совсем увянет, когда мужчины уже выпьют из нее все соки, будет ей обеспечена спокойная старость: она переедет к сыну, станет готовить ему обед, ожидать на берегу его возвращения в бурные ночи. Ей не придется ничего ему объяснять и ни в чем оправдываться. Сыновья умеют все прощать старухам матерям, вдруг появляющимся в их доме. И женщина вся отдалась счастливой мечте о будущем и, убаюканная ею, радостно улыбалась — губами, глазами, всем лицом, и даже этот запах духов, напоминающий о кабаках и притонах, вдруг исчез куда-то, и от нее так свежо пахло теперь морем и соленой рыбой.

\* \* \*

Около девяти показался у берега Гума на «Смелом». Пристал у небольшого причала, сложил руки трубочкой и крикнул:

— Дядя! Э-ге-ей, дядя!..

— Иду-у-у!..

Гума слышал приближающиеся голоса. Кто-то шел по берегу вместе с дядей, кто-то незнакомый, — Гума хорошо различал издали голоса. Шкипер Мануэл крикнул с палубы своей шхуны:

— Гости к тебе, парень!

Кто ж это пришел к нему? По голосу, видно, женщина. Неужто дядя привел все-таки женщину, чтоб он, Гума, спал с нею? Последнее время Франсиско и знакомые рыбаки подшучивали над ним, все говорили, что ему пора

уже иметь дело с бабой, и грозились привести и оставить с ним вдвоем на палубе, посреди моря:

— Вот тогда посмотрим, умник-разумник...

И рыбаки так и покатывались со смеху, подмигивая друг другу.

— Да он уж взрослый мужик, ваш Гума,— говорил Антонино, хозяин шхуны «Святая Вера» с большим убеждением.

— Испытать его надо.— И Раймундо потирал руки, густо хохоча: — Мой Жақес уже вкусил плода, а как же...

Гума знал, о чем они говорили: надо спать с женщиной, тогда его не будут мучить такие сны, от которых он просыпается весь словно избитый. Много раз, в маленьких портовых городишках, где они с дядей приставали во время плавания, случалось Гуме проходить по улицам гуляющих женщин, но у него никогда не хватало мужества войти хоть в один дом. Никто не давал ему меньше пятнадцати лет, хоть было ему всего одиннадцать. С этой стороны все в порядке. Но какое-то смутное опасение мешало ему войти. Он был уверен, что умрет со стыда, когда женщина догадается, что он это в первый раз... И боялся, что прогонит от себя, обойдется как с ребенком, сиротой, заблудившимся в чужом городе. Ей, женщине, сразу ведь не угадать, что он уж один выходит под парусом в открытое море, что он такие огромные мешки с мукой таскает на спине, не всякому взрослому под силу. Еще, поди, посмеется над ним. Гума не решался зайти... А теперь вот дядя привел ему женщину, как обещал. Гуме стало неловко: дядя, наверно, рассказал ей, что он никогда еще не имел дела с женщиной, что он пень пнем, трусишка жалкий, вы, мол, не смотрите, что у него нож за пояс заткнут. И что сказать этой женщине, как вести себя с ней? А вдруг дядя не уйдет и захочет посмотреть, что он, Гума, предпримет, только чтоб посмеяться потом над увальнем племянником? Нет, тогда он убежит, совсем уйдет отсюда, никогда больше не взойдет на палубу и не выйдет в море — от стыда... Гума в большом смятении слушает приближающиеся голоса. Он дрожит с головы до ног, и вместе с тем ему хочется, чтоб они шли быстрее, ибо он должен стать настоящим мужчиной как можно раньше,— тогда-то уж он один-одинешенек будет плавать на «Смелом» по всем рекам, по всем каналам, будет заходить во все порты.

Голоса приближаются. Да, это женщина. Дядя выполнил обещание — привел. Ему стыдно, верно, за племянника, который еще не мужчина, еще не знает женщин. И поскольку у Гумы не хватает смелости войти в дом к какой-нибудь из них, дядя ему привел женщину, — так слепому приносят пищу или калеке — воду. Унижение-то какое... Но Гума не хочет задумываться. Он думает о том, что скоро почувствует рядом с собою тело женщины, заключающее в себе все тайны жизни. Он попросит дядю уйти, оставить его одного с нею и уведет судно на самую середину залива. Со старого форта или с какой-нибудь шхуны будет доноситься музыка. Он будет любить, узнает тайну всего и тогда сможет один вести «Смелый» по всему побережью, сможет, когда придет его день, без страха взглянуть в лицо Матери Вод и сможет любить ее на дне морском, ибо будет знать те тайны, о которых столько говорят взрослые мужчины. Гуме стало даже холодно, хотя ночь была душная и теплый ветер дул мирно, едва-едва покачивая корабли. По правде говоря, Гуме было не холодно, а страшно. Голоса становились все явственней:

— Он еще ребенок, но вы взгляните ему в лицо — настоящий мужчина...

Голос дяди. Женщина спрашивает, видно, каков он из себя. Понятно, она хочет знать, как ей с ним обходиться. Но он ей докажет, что он уже взрослый, что он сильный, он ее так сожмет, что она заплачет, и не отпустит, пока она не признает, что он даже сильнее тех взрослых мужчин, с какими ей приходилось иметь дело. Теперь слышится голос женщины:

— Я хочу, чтоб он был красивым и храбрым...

Сердце Гумы наполняется радостью. Он уже любит эту женщину, которой еще не видел и не знает, которую дядя привел для него, Гумы. Он повезет ее с собой по всем портам побережья, станет плавать с нею на «Смелом» по всем рекам. Он не отпустит ее больше на улицу. Нет, она будет с ним всегда, всю жизнь. Наверно, красивая, дядя хорошо разбирается в этом деле, все говорят. Женщины, которых он приводит по ночам на палубу «Смелого», всегда красивы. В такие ночи Гума слышит странные шумы, стоны, шепоты, смех. Иногда он пугается и убегает, а иногда, напротив, прислушивается, одержимый диким желанием взглянуть, что там такое творится, и каким-то страхом, удерживающим его от этого. Как-то ночью он услышал резкий женский крик — крик боли, Он кинулся

было на палубу, уверенный, что дядя бьет женщину. Но его не пустили. Только много времени спустя он понял, что означало это пятно крови, которое он наутро обнаружил на досках. Та молоденькая мулатка много еще раз приходила к дяде, но Гума больше не слышал, чтоб она кричала. Постанывала только, как другие. Женщина, что пришла сегодня, наверно, не будет кричать, для нее это не в первый раз. Но когда-нибудь и он, Гума, заставит какую-нибудь женщину так вот кричать на палубе «Смело-го», как кричала та мулатка, любовь его дяди...

Слышится голос Франсиско:

— Гума!

— Я здесь...

Шлюп подплыл совсем близко к берегу. Сейчас они пересекут эту полосу грязи и увидят якорь, держащий его у причала. Дядя и женщина уже возле самой воды. Вот Франсиско одним прыжком взобрался на шлюп, протягивает руку женщине, которая тоже прыгает, показав голые полные ноги. Гума смотрит, и словно огонь наполняет его всего. Красивая, да. Теперь дядя пускай уходит, пусть не вмешивается, оставит Гуму с ней одного, Гума покажет, на что он способен. Женщина смотрит на Гуму с удивлением. Да, он очень понравился ей. Он и правда глядит взрослым мужчиной, несмотря на свои одиннадцать лет. Гума улыбается, показывая белые зубы. Франсиско как-то растерянно машет руками. Женщина улыбается. Гума смотрит на дядю и на женщину и почему-то радостно смеется. Женщина спрашивает:

— Ты меня не узнаешь?

Да, он узнает ее. Он давно уж ее ждет. Он искал ее по улицам пропавших женщин, на берегу моря, в каждой женщине, бросившей на него взгляд. Теперь он нашел ее. Это его женщина. Он давно уже знает ее, с тех самых пор как странное волнение стало овладевать им, смущая его сны.

Франсиско говорит:

— Это твоя мать, Гума.

Почему странное волнение не покинуло Гуму от этих слов дяди? Нет, никак невозможно, чтоб это была его мать,— да ему никто никогда и не говорил о матери, да он никогда и не думал о ней. Дядина хитрость, ясно. Женщина, стоящая перед ним сейчас,— это уличная женщина, что пришла спать с ним. Франсиско не должен был и сравнивать ее с его матерью, такой, верно, доброй, ласковой...



Что общего у его матери со всеми этими делами, о которых он только что думал? Но женщина подошла к Гуме и поцеловала так ласково. Так, наверно, целует только мать. Продажные женщины целуют, конечно же, совсем иначе. Голос женщины звучит тепло и чисто:

— Я оставила тебя так давно... Теперь я никогда больше тебя не оставляю...

Тогда Гума вдруг принимается плакать, сам не зная почему: потому ли, что нашел мать, потому ли, что потерял женщину, которую так ждал.

\* \* \*

Он смотрит на нее, не зная, что сказать. Сегодня почью он не матери ждал, нет. Он ждал нечто совсем иное. Она глядит на него растроганно, много и взволнованно говорит о Фредерико, каждую секунду повторяя:

— Я теперь останусь с тобой...

Зачем она пришла? Откуда? Почему обнимает его с таким волнением? Она ему чужая. Ни разу не вспомнил он о матери. Никто, за все одиннадцать лет его жизни, не говорил с ним о ней. И приход ее смешался в нем с волнением совсем иным, она пришла вместе с искушением, отняв у него что-то, чего он так желал. Он знал теперь, что это его мать, и вместе с тем она больше походила на женщину, которую он ждал, потому что запах духов, исходивший от нее, был запахом тех женщин и тех улиц, и как ни старалась она побороть себя, но каждое мгновение из уст ее вылетали слова, каких он не хотел бы слышать от своей матери, и невольно позволяла она себе движения, каких он не видал у моряцких жен с побережья. Это была его мать, но Франсиско смотрел на нее слишком пристально, на белую шею и начало груди, выступавших из выкаченного ворота платья, на округлые ноги, видные из-под подола, задираемого ветром... Гуме хочется одного — плакать. Мужчине плакать стыдно, кто в этом сомневается? А особенно моряку. Довольно и того, что плачут женщины. Моряк никогда не должен плакать. Поэтому Гума кусает губы и молчит, ожидая, когда уж она уйдет и весь этот сон наконец рассеется. Франсиско нравится женщина. Он думает, что ведь она спала с его братом, она — мать Гумч, но смотрит на нее, такую свежую, крепкую, и чувствует соблазн. И начинает говорить, торопясь, уговаривая ее уйти вместе с ним:

— Вам еще всю набережную пройти надо. Темнеет уже...

Она прощается с Гумой:

— Я буду навещать тебя, сынок...

Франсиско уходит с нею, Гума смотрит им вслед с палубы «Смелого». Ни на мгновение не почувствовал он ее свою мать. И вот не он, а старый Франсиско будет спать с нею нынче ночью. Один в темноте Гума заплакал. Впервые в жизни явственно услышал он песню, в которой говорится, что сладко умереть в море. И впервые в жизни захотелось ему самому пойти на свидание к Матери Вод, Иеманже, или Жанаине, как ее еще называют, ибо она одновременно и мать и женщина для всех моряков.

\* \* \*

Старый Франсиско вернулся в ярости. Губы плотно сжаты, брови насуплены. Вспрыгнул на палубу, не проронив словечка, растянулся на досках, попыхивая трубкой и глядя на море. Гума улыбнулся: дядя тоже остался без женщины на эту ночь. Мать Гумы не захотела спать с братом своего Фредерико. У таких, как она, тоже есть свое понятие чести. Только теперь почувствовал Гума какую-то нежность к этой женщине.

Но вот взошла луна, и волоса Жанаины расстелились по воде. Музыка пришла со шхун, со стороны старого форта, с лодок, с набережной, приветствуя Мать Вод, хозяйку моря, которой все страшилось и которую все желали. Она была женой и матерью. Она одна знала желания людей моря, и она одна умела утолить их и утишить. Женщины в этот час молятся ей. Все чего-нибудь у нее просят. Гума попросил красивую женщину, красивую и хорошую, без этого странного запаха духов, который принесла с собою его мать, просил, чтобы Иеманжа подарила ему женщину молодую и невинную, как он сам, почти такую же красивую, как сама богиня моря. Может быть, тогда растает перед его глазами образ матери, потерянной на улицах продажных женщин, отдающейся без разбору мужчинам, чуть было не соблаздившей его дядю и даже его самого, Гуму, родного сына.

Иеманжа, которую лодочники называют Жанаина, добра к людям моря. Она снисходит к их желаниям и снам.

Мать Гумы не вернулась больше. Никогда. Подалась, значит, в другие земли, ведь уличные женщины, словно моряки, не задерживаются надолго ни в одном порту. Всѣ странствуют, ищут мест, где им можно заработать. Но долго еще ее образ, странный запах ее духов тревожили крепкий сон Гумы. Он хотел бы, чтоб она вернулась, но не как его мать, не со словами материнской нежности на устах, а как гулящая женщина, с губами, открытыми для поцелуя. Гума потерял покой. В его мальчишеской душе смешался образ, в котором все видели воплощение самой чистоты,— образ матери — с образом женщины, отдающей мужчинам за деньги, сделавшей любовь профессией. Никогда не было у него матери. А нашел он ее лишь затем, чтоб сразу же потерять, чтоб желать ее помимо воли, чтоб почти возненавидеть память о ней. Есть лишь одна мать, которая может быть одновременно женою,— Иеманжа, Мать Вод. Потому так любят ее мужчины побережья. Но чтоб узнать любовь Иеманжи, жены и матери, надо умереть. Часто появлялось теперь у Гумы желание броситься в волны с палубы «Смелого» во время бури. Тогда он отправится в плавание с Жанаиной, тогда сможет он любить одной любовью мать и жену.

Но вот как-то вечером старый Франсиско привел на свое судно какую-то мулатку, а сам ушел. Когда Гума поднялся на палубу в засученных брюках, с обрызганными грязью ногами, она лежала, лениво раскинувшись на досках, и взглянула на него как-то по-особому. Он понял. С тех пор как приезжала мать, прошло уже два года. Та, что теперь явилась перед ним, должна бы прийти тогда, вместо матери. Было бы лучше.

И когда большие тучи поглотили луну, он вывел шлюп на середину гавани, а свежий ветер летел ему вслед, и со старого форта слышалась музыка. Гума громко крикнул несколько раз — из гордости. Наверно на берегу старый Франсиско и другие взрослые мужчины говорят о нем и смеются. Пусть! Он тоже уже мужчина, он знает, как обращаться с женщиной. Теперь-то он сможет ходить на «Смелом» по всем портам, один, как настоящий шкипер, хозяин парусной шхуны. Он пристал к берегу в ту ночь в разгар бури, надвинувшейся внезапно. Мулатка при первых раскатах грома испуганно прижала голову к его груди. Он улыбнулся, подумав, что Иеманжа, верно, ревнует, потому и насала на него ветер с дождем.

Как-то раз (прошли еще годы, прошли еще женщины) старый Франсиско чуть не разбил шлюп о подводные камни в излучине реки. Если б Гума не бросился к рулю и не повернул его резко, то что б было со «Смелым»? Поминай как звали... Старик опустил голову и за весь остаток пути ни разу не улыбнулся. В тот вечер он не шутил, как обычно, с друзьями в баре, не рассказывал разных историй. Когда возвращались, он передал руль Гуме и лег, вытянувшись во весь рост на досках палубы, подставив тело восходящему солнцу. Он сказал Гуме:

— Я плавал в этих водах больше тридцати лет...

Гума взглянул на дядю. Старик набивал трубку.

— Никогда я не уезжал отсюда, не манили меня другие земли. Фредерико, твой отец, был не такой, как я. Плавать по здешней реке ему быстро наскучило. Он считал, что лучше идти матросом на большой корабль, узнать чужие края... У каждого свой нрав...

Солнце ударилось о спокойную воду. Верхушки больших подводных камней поблескивали у берега. Гума хотел утешить старика:

— У вас было четыре шхуны, дядя.

— Однажды из плавания Фредерико привез тебя. Лет уж восемнадцать минуло.... Он нанимался матросом на морские суда. Сначала он плавал на каботажных Баиянской компании, потом поступил на большой корабль, поплыл искать счастья по всему свету. Ты оставался у нас, покуда он не вернулся...

— Я помню, дядя. Это было как-то ночью, вдруг...

— Он не сказал, почему возвратился. Думаю, какое-нибудь дело из-за бабы. Поговаривали, что он выпустил кому-то кишки. Храбрый был мулат. Обиды не стерпит...

Гума улыбнулся, вспомнив отца в клеенчатом черном плаще, с которого стекали струйки дождя... Как он обнимал Франсиско, радостно:

— Вот я и здесь, братишка...

Гума тогда испугался, убежал даже, когда отец, с этими своими огромными усищами, бросился его целовать. Но теперь он испытывал какое-то безмерное наслаждение, вспоминая эту сцену: как отец вдруг ворвался к ним в дом... А раньше, говорят, выпустил кому-то кишки из-за какой-то чернолицей девчонки. Отец, повидавший диковинные дальние земли, плававший на больших океанских кораблях...

Старый Франсиско продолжал:

— Потом он плавал со мною на моих шхунах. Помнится, на «Утренней звезде»...

— Помню... Отчаянный был...

— До той самой августовской ночи. До той бури... Он, помню, все смеялся, и когда уж душа отлетала. Отчаянный был, это ты верно сказал. Моя старуха тоже в ту ночь померла... От сердца. Я даже доктора звал. Не помогло. Сердце, сам понимаешь.

Гума задумался: почему дядя вдруг вспомнил обо всем этом? Он знал столько разных историй о других, зачем рассказывать о себе самом? Гума находил, что незачем, и ему было отчего-то грустно.

— Мне бы с того дня и бросить плавать-то. Ничего мне уж не надо стало... Но ты у меня остался, я должен был научить тебя управлять судном, укрощать его, чтоб слушалось... Теперь ты научился...

Старик улыбнулся. Гума тоже. Он теперь знал, как обращаться с судном, это верно. А вот старый Франсиско больше уж не знал, он все свое знание передал племяннику.

— Я старик... Со мной покончено... Меня уж и рыбы не хотят — одни кости...

Он помолчал с минуту, словно чтоб собраться с силами:

— Ты видел? Когда шли вверх по течению, я чуть не бросил «Смелого» на камни...

— Да что вы, дядя, стороной прошли!

— Потому что ты взялся за руль. В глазах моих мало уж света. Свет моря съедает глаза человека...

Он поглядел на Гуму долгим взглядом, словно намеревался сказать еще нечто важное. Солнце яростно пекло его тело, но он, как старый зверь, грел на солнце остывающую кровь. Он поднял руку:

— Я стар, кончен я. Но не хочу, чтоб все эти негры на пристани смеялись надо мной. Что, мол, старый Франсиско плавал да плавал тридцать лет, а потом взял да и разбил свой шлюп о камни...

Голос его звучал страдальчески. Была в нем какая-то невыразимая мука, какое-то предвестие конца. Гума молчал, не найдясь, что сказать. Старый Франсиско продолжал:

— Ты никому не рассказывай... Знаю, что не захочешь моего стыда...

Остаток пути прошел в глубоком молчании, и это было последнее плавание старого Франсиско.

Теперь он один, Гума, выводил «Смелого» в широкие голубые воды. Старый Франсиско чинил на берегу паруса, рассказывал разные истории. Для старого Франсиско все заключилось, море, видно, не захотело взять его к себе, несмотря на смелость и мужество. Он видел Иеманжу живой, она ему улыбалась, ему не пришлось умереть, чтоб увидеть ее.

Гума остался хозяином шлюпа и побережья, но судьба отца влекла и манила его, он был влюблен в большие корабли, пристававшие в порту, слушал, как зачарованный, слова чужих наречий, странные слова, какими перебрисывались незнакомые белокурые матросы, заслушивался историй, какие рассказывали негры — машинисты с пароходов, и смутно думал про себя, что в один прекрасный день обязательно уйдет на таком вот большом корабле, увидит другие земли, другую луну и другие звезды, станет петь песни своего побережья в чужих портах, где люди не поймут его речь и будут тихо слушать его песни только лишь за их музыку, только лишь затем, что в песне моряка, на каком бы языке ни была она сложена, говорится про море, про страдание и про любовь. Когда-нибудь он взойдет на большой корабль, и рыбацьи шхуны покажутся ему маленькими-маленькими, и он сменит спокойные воды залива и реки Парагуасу на бурные воды бескрайнего моря, на дорогу, которой нет конца и которая ведет в чужие, далекие, незнакомые земли. Плыть на огромном черном корабле, пережить наяву все чудесные сказания, каких наслушался он на побережье, — чего ж еще можно желать! Некоторые рыбаки уже бросили свои шхуны и ушли матросами в открытое море. Порою они возвращались ненадолго, рассказывали чудовищные вещи, описывали кораблекрушения и бури, битвы с желтокожими людьми где-то на краю земли и говорили на какой-то странной смеси всех языков мира. Но бывало и так, что они не возвращались. Шико Печальный (кто ж его не помнит?) еще мальчишкой нанялся на немецкое грузовое судно. Толстый такой негр, никогда не улыбался. День-деньской смотрел на море, на корабли и все говорил, что уедет. Только об этом и говорил. Казалось, что родная его земля не здесь, что сам он откуда-то из-за моря. Ну, завербовался на корабль. Как-то вечером тот корабль снова причалил в здешних краях. Все сбегались взглянуть на Шико Печального. Даже его

старуха мать пришла, хоть она торговала кокосовыми лепешками далеко от берега, в центре города, и никто не знал, как дошла до нее весть о корабле. Но все сразу разошлись, потому что Шико Печальный не прибыл вместе с этим кораблем. Он поступил на другой и работал там кочегаром. А с этого другого корабля, как рассказали немецкие матросы, он перешел на третий, и никто не знал, в каких дальних водах плавает теперь Шико Печальный. Покуда шел о нем разговор, кто-то предположил, что он, наверно, умер, но никто не поверил. Моряк приходит умирать в свой порт, у своего моря и своих шхун. Если только, конечно, не суждено ему утонуть. Но и тогда он приходит вместе с Матерью Вод взглянуть на луну родного берега, послушать песни земляков. Шико Печальный не умер, не мог умереть где-то вдали.

Гума знал Шико Печального мало, он был еще ребенком, когда тот уехал. Но Гума любил память о нем и хотел стать таким, как он. Огромные черные корабли не удержи́мо манили его. Какая-то странная тайна заключалась в них, в их особо пронзительных гудках, в их тяжелых якорях, в их высоких мачтах. Когда-нибудь Гума уедет в Земли без Конец и без Край. Один только старый Франсиско держит его у этого берега, как якорь. Он должен зарабатывать хлеб для дяди, научившего его всему, что он знает. Когда старик утомится жизнью на берегу и уйдет с Матерью Вод, тогда и Гума уйдет из этих мест в бескрайное море, и у дороги его не будет больше пределов, и место парусного шлюпа займет корабль огромный и черный, а на побережье станут рассказывать о нем таинственные истории.

\* \* \*

Он остался один хозяином «Смелого» и понял, что отрочество его кончилось. Рано, слишком рано кончилось и его детство, ибо он давно уже стал мужчиной, задолго до появления на шлюпе той молоденькой мулатки, которую старый Франсиско оставил на палубе в такой ленивой позе. Как-то раз приезжала его мать, за несколько лет до этого, и в тот день он уже один водил «Смелого» до самой Итапарики и чувствовал в теле странное ощущение, которого не мог тогда понять. Он помнил страдание этого дня. Тогда впервые грешные мысли пронзили его и желание оставить эти берега обрело постоянную жизнь в его душе. С того дня он стал мужчиной.

Мало что мог он вспомнить из своего короткого детства — сын моря, чья судьба была уже прочерчена судьбами отца, дяди, товарищей, всех окружающих. Его судьбой было море, и это была героическая судьба. Быть может, и сам он не знал об этом, быть может, и не помыслил никогда, что и он, как все эти люди, что ругались днем непристойными словами, а по вечерам нежным голосом пели песни любви, будет героем, рискующим жизнью во власти волн, каждое мгновение, в дождь и ведро, под тучами и под ярким солнцем, горящим в небе над Баней, Городом Всех Святых. Никогда не думал он о том, что судьба его — героична, а жизнь полна красоты. Не привелось ему познать беззаботное детство, слишком о многом надо было заботиться ему, так рано брошенному жизнью на корму рыбацкой шхуны, вынужденному пристально вглядываться в опасные верхушки подводных камней, плохо различимые под гладкой поверхностью воды, и натирать мозоли на руках о рыболовные снасти и твердое дерево руля.

Он ходил в школу одно время, да. Это был грубо сколоченный дом за гаванью, и учительница сочиняла любовные сонеты (быть может, любовь придет когда-нибудь на корабле в таинственную ночь, а быть может, не придет никогда, и учительница была молоденькая и бледная, и в свежем голосе ее звучало томное разочарование в жизни), а ребятня упивалась разными рыбацкими историями, и говорила на странном языке моряков, и билась об заклад, у чьей шхуны ход быстрее.

Он недолго пробыл в школе. Как и другие дети окрестных рыбаков, он провел там ровно столько времени, сколько понадобилось, чтоб научиться прочесть по складам письмо и нацарапать записку, с особым усилием и тщанием выводя хвостик под последней буквой подписи. Слишком многие дела ждали их дома и на море, не могли они долго задерживаться в школе. И когда потом учительница встречала их (звали ее Дулсе, что означает Нежная), то не узнавала в этих огромных крепких детинах с распахнутой грудью и лицом, обожженным морскими ветрами, своих недавних учеников. А они проходили мимо нее, робко опустив голову, и все еще по-детски любили ее, потому что она была добрая и такая усталая от всего, что приходилось ей видеть на берегу. Много печального видела она здесь — девочка, приехавшая после окончания института учительствовать в эти края для того, чтобы прокормить мать, прежде богатую, а теперь нищую, и пьянчужку-бра-



та, бывшего ранее надеждой всей семьи: и ее самой, учительницы, и матери, и отца, веселого человека с большущими усами и густым басом, умершего раньше, чем в доме у них все пошло так нехорошо. Она заступила в школе место прежней учительницы — истеричной старой девы, бывшей мальчишек линейкой по ладоням, — и очень хотела, чтоб портовым детям было в ее школе весело и тепло. Но она увидела столько печального на пристани, у больших судов, на палубах шхун и в грубо сколоченных рыбацких хижинах, увидела так близко людскую нищету, что потеряла всю свою бодрость и веселость и уж не смотрела на море зачарованно, как в первые дни после приезда, уж не ждала, что на каком-нибудь из этих громад кораблей придет к ней жених из далекой страны, и рифмы для любовных сонетов иссякли в ее усталом мозгу. И поскольку была она набожная, то теперь все молилась, ибо ведь бог — добрый, и должен же он когда-нибудь покончить с этой бездонной нищетой, а не то скоро настанет конец света. Из окна своей школы худенькая учительница глядела на всех этих оборванных, грязных мальчишек, без книг и без сапог, покидавших школу для тяжкой работы, для бродяжничества по портовым кабакам, для водки, и не понимала. Все говорили, что она добрая, да она и сама это знала. И, однако, только в первые дни своего пребывания здесь она чувствовала себя достойной такого эпитета, когда говорила этим потерянными людям слова утешения и вселяла в них надежду. Но давно уж надежда угасла в ней самой, и теперь слова ее были пустой формулой, и ничто не согревало все эти сердца, пораженные язвой разочарования... Она и сама устала ждать. И уже не могла найти тех прежних теплых слов утешения. Ничего не могла она сделать для этих людей, посылавших к ней на полгода учиться своих детишек. Нет, не заслуживала она, чтоб ее называли доброй, ничем она не помогала всем этим людям, не было у нее мудрого слова, чтоб сказать им. И если не свершится какое-нибудь чудо; какая-нибудь перемена, грянувшая, как буря, внезапно, она умрет здесь от печали, от тоски из-за того, что ничем не может помочь людям моря.

В ее школе Гума выучился читать и писать свое имя. Большему хотела она его научить, большому хотел и он научиться. Но старый Франсиско отозвал его из школы — на борт «Смелого», его судьба была там. Из здешних мест не выходили ученые и адвокаты. Но вышло много меха-

ников, а один парень работал даже телеграфистом на большом пассажирском судне.

Гума оставил школу без грусти и без радости. Он любил учительницу, учение давалось ему не так трудно, любил Руфино, маленького негра, который ловко мог булавкой сделать татуировку на руке и никогда не знал урока. Но любил он еще и море, любил плыть по морю на парусной шхуне навстречу своей судьбе. В день, когда он уходил навсегда из школы, учительница повесила ему на шею небольшую медаль.

Из окна школы глядела она вслед уходящему Гуме. Всего одиннадцать лет — а уж готов к самостоятельной жизни, как какой-нибудь врач или адвокат в двадцать пять, кончивший институт и начинающий самостоятельную жизнь. Гума тоже кончил учение и начинал самостоятельную жизнь, не было только ни праздника, ни торжественного акта, а одно лишь облегчение, что теперь не надо так часто стирать свое платье, а то в школу полагалось ходить чистым. Никакой надежды не уносил в своем сердце этот ученик, закончивший учение. Никакой мечты о подвигах, о великих открытиях, о чудесных изобретениях, о возвышенных поэмах и нежных любовных сонетах. Учительница знала, что Гума умен, даже среди своих коллег по институту и приятелей из литературных академий мало встречала она людей, таких способных, как Гума. И, однако, все они надеялись совершить в жизни что-то грандиозное, мечтали о большой судьбе, что ждет их впереди. Мальчиков, уходящих из этой ее школы, никогда не посещали подобные мысли. Судьба их была прочерчена заранее. Судьба ждала их на борту парусной шхуны, у весел рыбацкой лодки, а самое большое — у топки океанского парохода — это уж был волшебный сон, в который мало кто верил. Море лежало перед глазами учительницы таким, каким увидела она его в первый раз. Море, проглотившее многих из ее учеников, проглотившее и ее девичьи мечты тоже. Море прекрасно и жестоко. Море свободно, так здесь говорят, и свободны все, кто живет на море. Но учительница хорошо знала, что это вовсе не так, что все эти мужчины, женщины, дети не свободны, они — рабы моря, они прикованы цепями к морю, хоть этих рабских цепей и не видно.

Вон идет Гума — мальчик, так быстро выучившийся читать. Его бы отдать в Политехнический институт, он мог бы стать прекрасным инженером, а может, изобрел

бы такую машину, которая облегчила бы труд моряков и сделала менее опасной их судьбу в предательских морских просторах. Но мальчишки с пристани уходят из школы не в институты. Они уходят на шхуны и челны. Они будут петь в ночной тьме песни моря, и у многих ведь такие красивые голоса. Только песни эти печальны, как их жизнь. Невозможно понять... Дона Дулсе, учительница, никак не может понять...

Но она ждет чуда, учительница с нежным именем Дулсе. Оно явится внезапно, как морская буря. Все переменится, и все станет прекрасно. Прекрасно, как море. А вдруг это именно ей суждено найти наконец слово, из которого родится это чудо, и сказать это слово всем людям побережья? Тогда вот она действительно заслужит то прозвание, какое дали они ей — «добрая», и то радушие, с каким они тащат на свой бедняцкий стол все лучшее, что есть в доме, когда она заходит навестить их.

\* \* \*

Когда случалось увидеть учительницу или когда ветер играл висящей на шее медалью, Гума вспоминал школу и быстро протекшее свое детство.

Как-то раз, давно-давно, когда шел дождь и шхуны стояли без дела, а старый Франсиско рассказывал жене и Гуме историю одного кораблекрушения, дверь вдруг резко открылась и вошел какой-то человек, закутанный в клеенчатый плащ, с которого стекала вода. Лицо его было почти закрыто капюшоном, и виделись только громадные усищи, но голоса его, когда он заговорил со старым Франсиско, Гума не забудет никогда.

— Вот и я, брат...

Гума испугался. Но человек шагнул к нему и поцеловал, уколов усищами, и сочно, довольно смеялся, вглядываясь в мальчишеское лицо. Потом они долго беседовали с Франсиско, и пришелец рассказывал о какой-то ссоре, о каком-то парне, которого он «послал гулять в преисподнюю»... Так появился в доме отец, вернувшийся домой из своих странствий по чужим землям и морям. Он вернулся с чьей-то смертью на острие своего ножа, не имея более возможности оставить родные земли и воды для новых приключений. Но оттого, верно, что отец так обожал путешествия, а вынужден был сидеть на одном месте, он не долго протянул в здешних краях и ушел с «Утренней

звездой» на дно морское, после того как спас брата. Только так мог он продолжать прерванное свое путешествие и потому ушел с Матерью Вод, которая любит смельчаков.

Гума смутно помнил отца, но хорошо помнил ту бурную ночь, когда отец так внезапно вошел в этом своем черном клеенчатом плаще, разбрызгивая вокруг себя дождь, еще не вынув из-за пояса ножа, которым лишил кого-то жизни. «Тут, верно, не обошлось без бабы,— уверял старый Франсиско, когда разговор случайно касался того дела.— Фредерико всегда был большой бабник...»

В ночь, когда умер отец, умерла также тетка Рита, жена Франсиско. Когда буря разыгралась, она побежала на берег и Гуму с собой взяла, укрыв под шалью от ветра и дождя. Они ждали долго и напрасно. Потом вернулись домой, приближался час ужина. Она начистила рыбы для обоих мужчин, хоть и думалось неотступно, что, верно, оба они об эту пору сами попали к рыбам на ужин. Она ждала, тревожно ходя из угла в угол, молясь Монте-Серратской божьей матери, давая обеты Иеманже, Матери Вод. Она обещала принести цветы на праздник Иеманжи и две свечи на алтарь божьей матери в церковь Монте-Серрат. В полночь Франсиско вернулся. Она бросилась к нему в объятия, оставив там свою жизнь. У нее не хватило сил перенести подобную радость. Даже доктор приходил, но было уже поздно. Сердце тетки Риты разорвалось, и Гума остался один со старым Франсиско.

Он ходил на празднества в честь Иеманжи, узнал Анселмо, жреца, обладавшего чудесной силой, сообщенной ему Хозяйкой Вод, познакомился с Шико Печальным, который потом уплыл на большом корабле. Гума был еще совсем маленький, когда негр убежал из дому. Но не раз видел его у самой воды задумчиво глядящим в бескрайность, за голубую черту, где кончается все. Родная земля Шико, конечно же, была где-то далеко отсюда, в том краю без предела, куда он и уехал. Потому и уехал. Но он вернется когда-нибудь, обязательно вернется, он — моряк здешних мест и должен умереть в том порту, из которого впервые сошел на воду. Он должен еще раз увидеться с доной Дулсе, учительницей, научившей его читать и не раз вспоминаяшей о нем. Когда он вернется, у него будет немало что порассказать, и мужчины усядутся вокруг него в кружок, даже самые глубокие старики придут, чтоб послушать истории, которые он расскажет. А в том, что он вернется, не может быть сомнения. Кораб-

ли несут имя своего порта, написанное на корме, повыше винта. Так и моряки несут имя своей пристани в сердце своем. Некоторые даже татуируют это имя у себя на груди, рядом с именами любимых. Бывает и так, что какой-нибудь корабль затонет вдали от своего порта. Тогда и моряк умирает вдали своей пристани. Но потом он все же возвращается с Матерью Вод, которая знает, откуда родом каждый моряк, возвращается, чтоб увидеть своих земляков и свою луну, раньше, чем пуститься в вечное плавание на пути к неведомому. Шико Печальный вернется обязательно. Тогда Гума узнает от него много разных чудес и уйдет отсюда, ибо дальние дороги моря давно уж влекут его.

Из всех воспоминаний детства память о Шико Печальном, внезапно покинувшем здешние края на большом корабле, возвращалась к Гуме чаще всего. Когда-нибудь он и сам уйдет тою же дорогой.

Не одну ночь своего детства провел Гума на палубе «Смелого», стоявшего на причале в маленькой бухте. С одного боку блеснул, раскинувшись широко, тысячами электрических огней город. Он карабкался вверх по склону, звоня в качающиеся колокола многих своих церквей, и от него исходила веселая музыка, и смех прохожих, и гуд автомобилей. Свет подъемной дороги полз то вверх, то вниз, как в гигантском волшебном фонаре. А с другого боку было море, тоже все освещенное — луной и звездами. Музыка, исходящая от него, была печальной и глубже проникала в душу. Шхуны и лодки подходили безмолвно, рыбы проплывали под тихой водою. Но город, что так полнился шумом, был, однако же, спокойнее этого тихого моря. В городе были красивые женщины, разные диковинные вещи, театры и кино, кабачки и кафе и много, много людей. В море ничего подобного не было. Музыка моря была печальной и говорила о смерти и утраченной любви. В городе все было ясно, без всякого таинства, как свет электрических ламп. В море все было таинственно, как свет звезд. Городские пути были ровные, мощные. В море был только один путь, зыбучий и опасный. Пути города давно уже были открыты и завоеваны. Путь моря приходилось сызнова открывать и завоевывать каждый день, и каждый уход в море был неведомым приключением. На земле нет Матери Вод — Иеманжи, нет праздников в ее честь, нет такой печальной музыки. Никогда музыка земли, жизнь города не влекли к себе сердце Гумы. Даже ве-

черами на побережье, где рассказывалось столько разных историй, никогда никто еще не упомянул о таком небывалом случае, чтоб сына моряка потянуло к спокойной городской жизни. И если кому-нибудь вздумается заговорить о чем-то подобном со старыми штопальщиками парусов, они не поймут и рассмеются ему в лицо. Бывает, конечно, что человеку вдруг взбредет в голову отправиться по морю поглядеть другие земли, — так бывает. Но оставить свой парус для жизни на суше — такое можно выслушать лишь за стаканом водки, да и то со смехом.

Гуму никогда не манила земля. Там нет неведомых приключений. Путь моря, зыбучий и длинный, один лишь манил его. Конечно же, путь моря приведет его туда, где найдет он все, чего у него нет — любовь, счастье. А может, смерть, кто знает? Его судьбою было море.

В одну такую вот, как эта, ночь пришла его мать. Никто прежде не говорил ему о ней, и она пришла с земли, ничего в ней не было от женщины моря, ничего у нее не было общего с ним, Гумой, она показалась ему гулящей женщиной, какую он ждал для себя на палубу «Смелого». Зачем приезжала она? Только чтоб заставить его страдать? И почему не вернулась больше? Другие женщины пришли с земли на его шлюп, сначала — гулящие, что явились за деньгами, потом молоденькие мулатки, служанки из домов, стоящих близ порта, и эти приходили потому, что считали его сильным и знали, что им будет с ним хорошо в любви. Первые напоминали ему мать. Они были надушены такими же духами, говорили с такими же интонациями, только лишь не умели улыбаться, как она. Мать улыбалась Гуме, как улыбаются женщины с пристани своим детям, и так как она была для Гумы одновременно и матерью, и гулящей женщиной, то от этого он страдал еще сильнее.

Она не вернулась больше. Бродит, верно, по другим портам, с другими мужчинами. Кто знает, быть может, какою-то ночью, когда последний мужчина уйдет и оставит ее одну, она вспомнит о сыне, проводящем жизнь на борту и так и не сумевшем тогда сказать ей ни одного слова? Кто знает, быть может, той ночью она напьется пьяной из-за любви к этому сыну, потерянному для нее?.. Но когда музыка наплывает с моря и разносится над фортом, над шхунами и челнами и говорит о любви, Гума забывает обо всем и отдается душою лишь этой прекрасной, убаюкивающей, плавной песне.

Детство его было быстротечным, и потому он почти не узнал игр. Но в детстве уже он чувствовал свою силу и искал ей приложения. Этот большой шрам на руке остался от одной ссоры, когда ему было четырнадцать лет. Противниками были Жакес, Родолфо, Косой и Манека Безрукий. Он шел с Руфино, и ссора разыгралась из-за пустяка, из-за того, что Манека слишком заинтересовался ножками сестры Руфино, толстенькой негрятючки десяти с небольшим лет. Они с Руфино беззаботно болтали, когда Марикота прибежала с плачем:

— Он мне под юбку лезет...

Руфино отправился искать Безрукого. Гума не такой был человек, чтоб покинуть друга в трудный час, да и законы пристани подобного не допускают. Пошли они вместе и застали четверку все еще помирающей со смеху. Руфино поднял руку — споры и жалобы были не в его вкусе, — и битва разыгралась на славу. Это было на пляже, где солнце раскалило песок, и оба врага покатались по земле, нанося друг другу бесчисленные удары. Манека Безрукий, у которого в действительности, правда, были руки, но одна — кривая и слабая, получив удар Руфино, упал плашмя. Но и такой бой был неравным — трое против двоих, — и в самый разгар его Родолфо (дрянной парень, по совети сказать) схватился за нож, и пошла уж тут резня. У Руфино и сейчас виден шрам под подбородком, и когда Гума подскочил, то успел лишь отвести нож, направленный в самое лицо друга. Однако, несмотря на то что силы были неравны, враги бежали. Негр Руфино вытер кровь и пообещал:

— Этот Родолфо мне еще заплатит. Когда-нибудь я его проучу...

Гума не сказал ничего. Он уважал закон пристани, а закон этот не разрешает браться за нож, за исключением тех случаев, когда противник в большем числе. А тех, кто не подчинялся закону пристани, Гума считал людьми пропащими.

Неделю спустя Родолфо был найден лежащим на песке, с разбитым лицом, без ножа и без штанов. Руфино выполнил свое обещание.

Гума дружил с Руфино еще со школы. Без отца, воспитанный одной только матерью, Руфино пробыл в школе недолго. И то, чему он там выучился, сводилось лишь к

одному: он умел ловко татуировать пером и чернилами якоря и сердца на коже товарищей. Дона Дулсе принималась, было, бранить его, но негр смеялся своими кроткими глазами, показывая большие белые зубы, и дона Дулсе улыбалась ему в ответ. Он оставил школу, пошел работать, чтоб содержать мать и сестру. Отдал свои большие сильные руки на службу всем лодочникам, какие нуждались в помощи. Он греб размашисто и смело, ибо не было на побережье человека, который более верил бы в благоволение богини моря, чем Руфино. Когда-нибудь у него будет своя лодка, нет сомнения, он уже просил об этом богиню во время праздника на молу и послал флакон духов в дар принцессе Айока́ (так негры называют Иеманжу), чтоб волосы ее всегда были душистые. Она дарует ему лодку, ибо он всегда был самым ревностным плясуном на ее праздниках и еще когда-нибудь будет жрецом на кандомбле, устроенном в ее честь. Негр Руфино много смеялся. И много пил, это тоже, и любил петь глубоким низким голосом, заставлявшим умолкнуть все остальные.

А вот Родолфо совсем не казался уроженцем здешних мест. Когда-то отец его приехал сюда, открыл таверну, но она вскоре прогорела. Однако он не уехал, соорудил ларек на базаре, торговал на ярмарках. Родился Родолфо. Он рос красивый, белокожий, с прямыми волосами, которые он усердно теперь мазал брильянтином. Когда он вырос, то оставил руль шхуны, на которую отец было устроил его, бежал с моря и жил неведомо где, то появляясь, то снова исчезая. Иногда он приезжал с большими деньгами, угощал всех водкой в «Звездном маяке». А иной раз, напротив, являлся нищим оборвышем и выпрашивал у знакомых монетку в долг. На побережье ему не очень доверяли и поговаривали, что он «порядочный мошенник».

Жакес вырос на палубе, как Гума. Он женился в здешних краях, а потом умер в одну бурную ночь. Он умер вместе с отцом, оставив жену с ребенком под сердцем. А Манека Безрукий все еще был тут и, несмотря на кривую руку, умел управлять шхуной как никто. Даже шкипер Мануэл, самый, наверно, старый из здешних моряков, самый старый и вечно молодой шкипер Мануэл, — и тот уважал его.

Таковы были у Гумы друзья детства. Много было в порту мальчишек, подобных им, что теперь стали мужчинами, кормчими парусных шхун. Они не очень-то много ждали от жизни: плыть по волнам, занять когда-нибудь собст-



венную шхуну, пить тростниковую водку в «Звездном маяке», произвести на свет сына, который пойдет тем же путем и отправится в один прекрасный день в вечное плавание с Матерью Вод. Правильно сказано в песне, что поет чей-то голос в прекрасные лунные ночи:

О, как сладко в море умереть...

Дона Дулсе, что тихо стареет в своей школе и даже уже носит очки, слышит песню и знает, что бывшие ее ученики умрут без страха. Но, несмотря на это, в сердце ее — печаль. Она боится за этих людей, ей жаль этих людей. Старый Франсиско, который уже не плавает, а сидит себе на берегу, ожидая спокойной своей смерти, уже свободный от бурь, от предательского нрава морских валов, тоже знает, что эти люди умрут без страха. Но, в противоположность доне Дулсе, он испытывает к ним зависть. Ибо говорят, что плыть с Матерью Вод к Землям без Конца и без Края, под морскою волной, быстро — быстрее, чем самые ходкие корабли, стоит больше, чем вся эта жалкая жизнь, какую влачат на берегу.

## КОЛЫВЕЛЬНАЯ РОЗЕ ПАЛМЕЙРАО

Роза Палмейрао... Это имя звучит так приятно для обитателей побережья. Много разных историй рассказывают об этой мулатке. Старый Франсиско помнит их без счета, в стихах и прозе, ибо у Розы Палмейрао есть уже целый свой АВС, и даже слепцы по дорогам, уходящим в сертаны, поют о ее буйном нраве и отчаянных поступках. Мужчины с пристани знают и любят ее, и ни один не откажет ей в крепком рукопожатии, а порой и в огоньке, чтоб раскурить трубку. И в присутствии Розы Палмейрао никто не решается хвалиться своей храбростью.

Вечерами, когда лишь немногие шхуны уходят в море, старый Франсиско рассказывает разные истории. Всем, разумеется, известно, что старый Франсиско любит присочинять, выдумывает целые эпизоды. Но сколько б он ни присочинял, никогда он не расскажет полностью историю Розы Палмейрао, всю правду о ней. Ни один сказитель в мире (а лучшие в мире сказители живут на баиянском побережье) не может рассказать обо всем, что Роза Палмейрао уже совершила. Она столько совершила, что попала в

песню, и старый Франсиско часто поет о ней людям, собравшимся в кружок послушать:

У Розы Палмейрао за поясом заткнут нож,  
спрятан кинжал на груди, и серьги в ушах блестят,  
прекраснее тела ее ты нигде не найдешь,  
и ей не страшны ни акула, ни хищный скат.

О, ничего бы и не случилось, если б не ее прекрасное тело... Слава о ней уже обошла все порты и берега, каждый моряк знает ее. Все боятся ножа, заткнутого за ее пояс, кинжала, спрятанного у нее на груди, ее железного кулака. Но больше всего боятся ее прекрасного тела. Она всегда обманывает. Она проходит, плавно покачивая бедрами, словно призывая. Моряк устремляется за нею, песок так мягок, и луна так нежна над морем. Она идет, мерно покачиваясь, вразвалку, словно это и не она вовсе, а местная женщина, морячка. Моряк не узнает ее, спешит вслед. Песок так и стелется под ногами, ждет в свою мягкую постель. А женщина хороша такою тихою красотой, даже не похоже, что это скандальная Роза Палмейрао. Горе бедному моряку, если он не понравится ей или если ей просто не хочется предаваться любви этой ночью. У Розы Палмейрао за поясом заткнут нож, а на груди спрятан кинжал. Она уже поразила этим ножом и этим кинжалом троих солдат, уже двадцать раз была за решеткой, уже много мужчин узнали на себе железную силу ее кулака...

Старый Франсиско поет:

Роза сразила троих солдат  
в праздник Святого Жоана,  
Розу в тюрьму отвести хотят,  
она ж: «Мне туда еще рано».  
Целый взвод солдат прискакал:  
— В тюрьму, в тюрьму, потаскуха...—  
Но Роза схватилась за свой кинжал,  
и такая пошла заваруха!

Она могла убить человека, могла обратиться в бегство целый взвод полиции. Она была храбра и красива. Старый Франсиско поет о подвигах Розы Палмейрао, и все хлопают в ладоши:

— Живую иль мертвой ее приведешь,—  
начальнику взвода сказали,  
но сверкнул у пояса Розы нож,  
и солдаты в страхе бежали...

Все слушают и хлопают в ладоши. Гума хлопает громче всех. Он не помнит Розу Палмейрао. Уж много лет

не появлялась она у них в порту. Говорят, она прошла из конца в конец все баиянское побережье, потом подалась на юг штата, одно время жила с каким-то полковником, потом как-то раз вдруг избила его до полусмерти и потерялась в этих землях бескрайних. Однажды она всего на несколько часов появилась в баиянском порту, но почти никто ее не видал, она только пересела с одного корабля на другой — и уехала. Говорят, она ни капельки не постарела и все такая, как прежде. Цветок (палевая роза), который она всегда прикалывала к платью, был на своем обычном месте. Но она снова уехала, и только лишь осталось от нее это АВС, распеваемое вечерами на берегу, да истории, которые мужчины рассказывают друг другу где-нибудь в тени, возле Большого рынка... У нее было прекрасное тело, и она все не потеряла своей красоты. Когда она любила мужчину, не было другой женщины, способной сравниться с ней. Роза словно еще пышней расцветала у нее на груди, и волосы ее были душисты. А если, когда она связана с кем-то любовью, другой осмелится бросить на нее нескромный взгляд, то уйдет ни с чем: Роза Палмейрао не делит свое чувство...

Старый Франсиско поет:

Хоть была она неукротимой  
и днем не справиться с ней,  
ночью не сыщешь любимой,  
покорней ее и нежней...

Перед глазами собравшихся плыл очерк знакомого лица Розы Палмейрао. Некоторые из тех, кто слушал сейчас старого Франсиско, например рыбак Брижидо Ронда, любили ее когда-то. И почти все бывали свидетелями ее вспышек и потому так любили слушать песню о ней и историю о беспорядках, какие она учиняла. Где-то теперь Роза Палмейрао? Она родилась в здешних местах, ушла бродить по свету — не любила сидеть на одном месте. Никто не знает, где она сейчас. Потому что у нее за поясом заткнут нож, на груди спрятан кинжал, а тело ее такое красивое...

\* \* \*

Как-то ночью она вновь сошла на берег, приехав в каюте третьего класса, на пароходе, прибывшем из Рио. Носильщик взял ее багаж и отнес бесплатно в одну из комнатшек «Звездного маяка». Через пять минут все на берегу

уже знали, что Роза Палмейрао вернулась и что она все такая же и нисколько не постарела. Тело ее все так же прекрасно, поэма о ней может продолжаться. В ту ночь ни одна шхуна не вышла в море. Грузы черепицы, апельсинов, ананасов, плодов сапоти остались ждать разгрузки до завтра... Роза Палмейрао вернулась после многих лет отсутствия... Матросы с парохода Баиянской компании устремились в «Звездный маяк». Лодочники тоже пришли. Старый Франсиско привел Гуму.

Из зала слышался звон стаканов. Красная лампочка над входом освещала вывеску, на которой был нарисован маяк в кругу тусклого света. Когда они вошли, Роза Палмейрао сидела на террасе и громко смеялась, широко откинув левую руку и держа стакан в поднятой правой. Увидев старого Франсиско, она легко вскочила с места и повисла у него на шее:

— Взгляните на Франсиско... Взгляните... Правду говорят, что дурной стакан не бьется...

— Потому вот мы оба и живы...

Она смеялась, весело теребя Франсиско:

— Ты не остался на дне морском, а, старый плут? Кто бы мог подумать...

Тут она заметила Гуму:

— А этот юнга откуда взялся? Что-то смахивает на тебя...

— Это мой племянник Гумерсиндо, мы тут все его Гумой зовем. Ты его еще мальчиком видала...

Она задумчиво похмурила брови. Потом улыбнулась:

— Сын Фредерико? Выше нос, крепкая косточка... Твой отец — это вот был настоящий мужчина...

— Он был мой брат, — улыбнулся Франсиско.

— Брат брату рознь. Он-то не был похож на сонную рыбу...

Все рассмеялись, потому что Роза Палмейрао и правда была чудесная — живая, милая, весело размахивала руками, говорила, не стесняясь, как мужчина, а пила — так и не всякий мужчина умеет. Старый Франсиско ударил в ладоши и сказал:

— Вот что, ребята, давайте-ка выпьем в честь того, что эта старая сума переметная вернулась... Плачу за всех...

— А я за всех по второй... — крикнул шкипер Мануэл, который в ту пору не жил еще вместе с Марией Кларой.

Все сели и опрокинули по стаканчику. Сеу Бабау, хозяин «Звездного маяка», ходил от одного гостя к другому

с графином «пряной» в руках и считал выпитые стаканы. Роза Палмейрао подседа к Гуме за маленький столик в углу. Он глядел на нее. Правда, у нее было красивое тело. Широкие бедра покачивались, как корма шхуны. Она глотнула тростниковой водки и поморщилась:

— Хотя я знала твоего отца, но вообще-то я не так уж стара...

Гума засмеялся, заглянув ей в глаза. Почему в песнях, сложенных о ней, не поется про эти глаза — глубокие, зеленые, похожие на камешки на дне моря? Более, чем ее кинжал, ее нож, ее прекрасное тело, эта крепкая живая корма, которой она раскачивала так мерно, пугали ее глаза, бездонные и зеленые, как само море. Кто знает, может, они меняют цвет, как море — море синее, зеленое, море свинцовое в душные ночи затишья...

— Я и сам давно знаю старого Франсиско, а мне только двадцать лет...

— Ну, я-то не такой сосунок, ясно... Ну, а с отцом твоим Фредерико мы помяли песку, это да... Смотрю на тебя — ровно он сидит...

Была очередь шкипера Мануэла платить за выпивку. Он крикнул Розе Палмейрао:

— Эй, чертово отродье, это я плачу! Не знаешь разве?

Она повернула голову:

— А я, что ли, не стою?

— Да ты — старый мех, Роза, зачем в тебя новое вино лить? — засмеялся Франсиско.

— Замолчи, баркас опрокинутый. Ты в этих вещах не разбираешься...

— Правильно, Роза. Ты еще можешь ум и сердце вынуть, — поддержал Северино.

Роза Палмейрао спросила Гуму:

— Я и верно такой старый мех, как твой дядя говорит? Как ты думаешь? — И смеялась, и глубоко заглядывала ему в глаза. Он смотрел на нее, не отрываясь, словно направив ей в лицо два кинжала.

— Неправда... Не устоит ни один...

Глаза Розы Палмейрао смеялись. Зачем эта зала, эта таверна, когда песок на побережье так мягок и летящий ветер так легок и свеж? Глаза у Розы Палмейрао цвета моря.

Но сейчас Роза Палмейрао не принадлежит одному мужчине. Она принадлежит им всем, мужчинам этого пор-

та, которые хотят знать, что делала она столько времени вдалеке от своей земли. По каким местам бродила, с кем ссорилась и скандалила, в каких тюрьмах отсидела. Со всех сторон сыплются вопросы:

— Я только одно вам скажу... Побродила я по свету, да поможет мне бог. Столько мест исходила, что и счесть не могу. Большие города видела, десять таких, как Баия, в одном поместятся...

— А в Рио-де-Жанейро ты тоже была?

— Три раза насквозь исходила... Оттуда и сейчас...

— Здорово там красиво?

— Красота... От свету и от людей прямо тесно... Даже глядеть больно...

— А больших кораблей много?

— Один одного обширней, в здешнюю гавань и не пройдут, такие есть, что от пристани и до самого волнолома...

— Да не слишком ли велики?

— Ты не видел? А я вот видела. Это только настоящий моряк знает. Иль ты думаешь, что лодочник — это моряк, что ли?

Шкипер Мануэл вмешался:

— Я тоже слышал... Говорят, и не поверишь, пока своими глазами не увидишь.

— А парня там никакого не подцепила, а, Роза? — спросил Франсиско.

— И не стоит труда. Там мужчины никуда не годятся. Я там одно время на холме жила, так знаете, как меня уважали? И слышать ни о чем не хотела. Как-то раз один птенец путался что-то у меня под ногами в танцевальной зале. Да я как опущу якорь на шею бедняге, так он тут же и ко дну пошел. Вот смеху-то...

Мужчины были довольны. Там, далеко, в столице, она показала всем, кто она такая. Роза Палмейрао глянула на Гуму и промолвила:

— Говорили даже: если в Баии такие женщины, то каковы ж мужчины?

— Ты, видно, по себе громкую славу оставила, а, Роза?

— Был у меня сосед, так не знаю, что с ним приключилось, что он один раз хотел меня повалить. А мне как раз незадолго до того мулат один приглянулся, он до того ладно умел сложить песню или самбу, что заслушаешься. Ну вот, сосед приходит как-то вечером, поговорить, мол, по душам. Говорит, говорит, а сам все на кровать смотрит.

А потом как бросится на кровать — и лежит. Я ему говорю: «Кум, снимайся с якоря да плыви отсюда». А он — на своем, причалил, будто это его гавань. А глазищи на меня пялит. Я предупредила: мой скоро придет... А он говорит, что никого, мол, я не боюсь. Сам мужчина. Я его спросила: «А женщин боишься?» Говорит: нет, только нечистой силы боюсь. А глаза все пялит на меня. Я ему говорю, что лучше всего для него будет отшвартоваться немедленно. А он ни в какую. Еще и штаны стал стаскивать, тогда меня досада взяла, знаете?

Мужчины улыбались, заранее смакуя финал.

— И что ж дальше?

— Да я его за шиворот и за дверь. Он еще все глядел, с полу-то, а рожа такая дурацкая...

— Молодец, кума...

— Да вы еще не знаете, что было потом. Я тоже думала, что песенке конец. Ан нет. Вскорости мой мулат пришел, я и думать забыла. Но у соседа-то, оказывается, заноза еще ныла, и он, что-то около полуночи, вломился ко мне, а с ним — еще дюжина. Мой-то мулат сразу заметно, что не робкого десятка, и парни эти как его увидели, то уж и не сомневались — подались назад... Они, бедняги, думали, что всего дела-то, что дать моему Жуке подзатыльник, схватить меня и поднять паруса. Когда опомнились, то у одного, смотрят, рожа расквашена, а я с моим старым боевым ножом в самой гуще стою. Такое было! Я и мулат мой, так мы уж не дрались, а словно рыбу на кол ловили. Но тут вдруг — здрасьте, добрый день: полиция, когда ее вовсе и не ждали. Ну, все закончилось в управлении.

— Так что отсидела там, в Рио?

— Какое отсидела! Пришли мы с Жукой туда, я шефу все как есть рассказала, объяснила, что Роза Палмейрао себя вокруг пальца обвести не даст, нет. Шеф сам был из Баии, засмеялся, сказал, что уж знает меня, и отослал с богом. Я попросила Жуку тоже отпустить, он разрешил. А те все остались, один из драки весь татуированный вышел, так и в полицию явился.

— Повезло тебе на шефа, а?

— Но когда я стала Жуку разыскивать, то куда уж... Никогда больше его и в глаза не видела. Очень он меня испугался...

Моряки смеялись. Стаканы с водкой порожнились один за другим. Шкипер Мануэл платил за всех. Кто сказал,

что Роза Палмейрао похожа на старый мех для вина? Гума не отрывал от нее глаз. О ней пели песни, и она умела драться. Но у нее было ладное тело и глубокий взгляд. Роза Палмейрао сказала Гуме:

— Я никогда не дерусь с мужчиной, который мне нравится... Спроси кого хочешь...

Но в глазах Гумы не было страха.

Они поздно вышли из таверны. Старый Франсиско давно ушел, даже шкипер Мануэл устал ждать. Хозяин сказал Розе Палмейрао:

— Ты сегодня спать не собираешься?

— Да еще поброжу, давно не была...

Давно уж не лежала она рядом с мужчиной на этих песках. Многие думают, что она умеет лишь драться, что жизнь для нее — скандалы, удар клинком, блеск ножа. Если в народе говорят, что храбрецы после смерти зажигаются в небе звездами, то и она может засверкать среди этих звезд. Однако напрасно думают, что жизнь для Розы Палмейрао заключается только в скандалах. Нет, ей нравится больше всего, больше чем ссоры, выпивки, беседы, быть покоренной женщиной, очень женщиной, вот так, как сейчас, в объятьях Гумы, вытянувшись на песке, перебирая его волосы с ленивой нежностью... Глаза ее глубоки, как море, и, как море, изменчивы. Они зеленые в ночи любви на теплом прибрежном песке. Они синие в дни затишья, они темно-свинцовые, когда затишье — лишь предвестник бури. Ее глаза блестят. Ее руки, привыкшие орудовать ножом и кинжалом, сейчас мягки и ласково поддерживают голову Гумы, покоящуюся на них. Ее губы, с которых так часто срываются крепкие словечки, сейчас раскрылись в тихой улыбке. Никогда раньше не любили ее так, как ей было нужно. Все боялись ее ножа, ее кинжала, ее красивого тела. Думали, верно, что если она вдруг рассердится, то будет только кинжал и нож, а красота станет ни к чему. Никогда раньше не любили ее без страха. Никогда не видели она глаз таких ясных и чистых, как глаза Гумы. Он восхищался ею, он не боялся ее... Даже те, у кого хватило смелости увидеть ее ладное тело, несмотря на нож и кинжал, никогда не заглядывали ей в глаза, никогда не замечали нежности, излучаемой этими морскими глазами, жаждущими любви, этими нежными женскими глазами. Гума взглянул в эти глаза и понял. Потому-то руки Розы Палмейрао гладят его волосы, губы улыбаются и тело вздрагивает.



Три ночи спустя «Смелый» плавно шел по волнам реки Парагуасу. Из трюма доносился запах фруктов. Ветер сам вел судно, и у руля не требовалось никого, так покойна была река. Звезды сияли в небе и в море. Иеманжа поднялась поглядеть на луну и раскинула свои волосы по спокойной воде.

Роза Палмейрао (нож за поясом, кинжал на груди) прошептала на ухо Гуме:

— Ты будешь смеяться надо мной, скажешь, что я глупая... Но знаешь, что б мне хотелось иметь?

— А что ж именно?

Она глянула в спокойные воды реки. Хотела улыбнуться, смутилась:

— Клянусь тебе, что мне б очень хотелось иметь ребенка, сыночка, чтоб взять к себе и вынянчить... Я не шучу, нет...

И она не стыдилась слез, заструившихся на кинжал, спрятанный на груди, и на нож, заткнутый за пояс.

## ЗАКОН ПРИСТАНИ

Рыбачьи лодки возвращались. Некоторые еще и не успели начать лов, даже на обед для семьи не заработали. Руфино повернул свой челн с середины бухты. Шхуны, поднявшие было паруса, изготоясь с повисшим в воздухе якорем к отплытию, отдали якоря и убрали паруса. А тем не менее небо было сине, а море безмятежно. Солнце освещало все, и освещало, пожалуй, слишком ярко. Из-за этого-то и вернулись рыбачьи лодки, Руфино ввел свой челн в гавань Порто-да-Ленья, и шхуны спустили паруса. Вода меняла цвет, из синей становилась свинцовой. Северьяно, храбрый моряк, подошел к той стороне пристани, где стояли шхуны. Видя, что суда не выходят в море, многие ушли с рынка и направились к подъемной дороге. Большинство, однако, осталось, ибо день был погож, небо сине, море безмятежно, солнце ярко. Для них ничего не происходило, ничего не надвигалось.

Северьяно подошел и сказал шкиперу Мануэлу и Гуме:

— Сегодня разыграется не на шутку...

— Только сумасшедшие отчалят...

Они задымили трубками. Какие-то люди заходили на

рынок и выходили обратно. Солнце сверкало на щелке мостовой. Какая-то женщина развешивала на окне скатерть. Матросы на большом корабле мыли палубу... Ветер сперва легко так пробежал по песку, подымая летучие песчинки. Северьяно спросил:

— Много людей в море?

Шкипер Мануэл посмотрел вокруг. Шхуны покачивались на мелких волнах.

— Насколько знаю, нет... Кто ушел, останется в Итапарике или в Мар-Гранде...

— Не хотел бы я быть в море в такую пору...

Старый Франсиско присоединился к беседующим, число которых росло.

— В такой же вот день Жоан Коротышка хлебнул водицы...

Подумать только, ведь Жоан Коротышка был мастером своего дела — никто не умел рыбачить лучше него на всем побережье от края до края. Слава его разнеслась широко вокруг. Люди из Пенедо, из Каравелас, из Аракажу повторяли его имя. Его шхуна заходила дальше всех других, ей не страшны были штормы и шквалы. Он так хорошо знал вход в гавань, что его даже вызывали лоцманом. Он выходил навстречу кораблям в бурные ночи. Разыскивал их далеко в море, прыгая на своем суденышке по волнам, и приводил в порт, ловко избегая опасных мест гавани, трудной в дни бури.

Так вот в одну такую спокойную, как эта, ночь — только лишь море было медного цвета — он отважился выйти. Какой-то корабль заблудился, не знал, как пристать, впервые пришел в Баию. Жоан Коротышка не вернулся. Правительство определило вдове пенсию, но потом отняло, из экономии. И сегодня от Жоана Коротышки осталась лишь добрая слава.

Старый Франсиско, знавший его, рассказывал эту историю, наверно, раз сто. Но все всегда слушали его с уважением. Говорят, Жоан Коротышка появляется в здешних местах в ночи, когда ревет буря. Многие видели, как он плывет в низких тучах над шхунами, ища корабль, заблудившийся в тумане. И не успокоится, пока не приведет в порт. Только тогда начнет он свое плавание с Матерью Вод по бескрайным водам, к берегам бескрайных земель, теперь уже заслуженное им.

В такую ночь, как эта, он должен появиться. Когда ветер взвывается и загудит, сотрясая дома, когда ночь без

времени падет на пристань, он явится искать дорогу затерянному в море кораблю. Проплывет над шхунами, пугая тех, кто в море...

Какая-то шхуна приближается к берегу. Гонимая ветром, дующим с большою силой, она бежит по волнам с небывалой быстротой. Паруса надуты так туго, словно сейчас лопнут. Люди вглядываются:

— Это Шавьер пристаёт...

— Да, верно, это «Сова»...

Шхуна подходит ближе, и имя ее «Сова» уже ясно прочитывается, выведенное черной краской.

— Никогда не встречал названья противней...— говорит Мануэл.

— А может, у него особая причина была,— прерывает Франсиско.— Чужую жизнь никто не знает...

— Да я ничего. Так, к слову...

...Ветер крепчал с каждым мгновеньем, и вода не была уж спокойной, как недавно. Издалека все громче слышался настойчивый, безжалостный гуд ветра. Набережная быстро пустела. Шавьер с трудом поставил шхуну на причал и присоединился к товарищам...

— Разыгрывается...

— Много людей на воде?

— Я повстречался только с Отониэлем, но он был уж неподалеку от Марagoжипе...

Море вздымалось, волны были уже высокие, шхуны и лодки подымались и опускались. Мануэл обернулся к Шавьеру:

— Не обижайся на пустой вопрос, брат, но почему ты прозвал свое судно таким неласковым именем?

Шавьер нахмурился. Он был большой, крепкий и специально разглаживал свои мулатские волосы, чтоб не вились.

— Да так пришлось... Всё — глупость одна, знаете?

Буря разразилась над городом и над морем. Теперь никого уже не видно было на рыночной площади, если не считать маленькой группы людей в клеенчатых плащах, с которых стекал дождь. Ветер выл оглушительно, и им приходилось почти кричать. Мануэл выкрикнул:

— Так в чем же все-таки дело?

— Ты хочешь знать? Да в женщине было дело... Давно это было, на другом берегу, в южной стороне. Все глупость одна, не стоит труда, знаете? Кто ж ее разгадает, женщину? Почему она меня звала Совой? Одна она и

могла сказать, а так никогда и не сказала, только все смеялась, смеялась... С ума могла свести, это да...

Ветер уносил слова. Мужчины наклоняли головы, чтоб лучше слышать. Шавьер говорил теперь совсем тихо:

— Она меня называла Совой... Не знаю почему. «Эх ты мой Совушка, Сова!..» И смеялась, когда я спрашивал... Так и осталась моя шхуна «Совой»...

Товарищи слушали рассказ равнодушно. Лицо Шавьера вдруг вспыхнуло гневом. Он крикнул:

— Вы что, никогда не любили? Тогда вы не знаете, что это несчастье... Я вынесу в сто раз легче, да простит меня господь, — и он с силой ударил ладонью по губам, — такую вот бурю, как сегодня, чем обиду от изменщицы, из тех, что всё смешки да смешки... Звала меня Совой, один черт знает почему... Да ладно... А вот ушла-то зачем? Ничего я ей дурного не сделал. Как-то раз прихожу я домой, а ее и след простыл... И все вещи оставила... Я даже в море искал, думал, утонула, может... Выпьем, а?

Все двинулись к «Звездному маяку». Оттуда доносился голос Розы Палмейрао, она цела. Ветер подымал песок. Шавьер заговорил снова:

— Не стоит труда... Но потом все как-то думается, думается... Вот я и назвал шхуну «Совой». В память того, как она меня Совой называла... «Эх ты мой Совушка, Сова...» Говорила даже, незадолго перед тем как уйти, что у нее от меня ребенок будет... Так и ушла с ребенком под сердцем...

— Когда-нибудь воротится... — утешил Гума.

— Мальчик, ты из другого уж времени... А коли она вернется, то я ее на части раскрошу...

— Шхуна «Сова»... Я все думал...

— Другой бы на моем месте со стыда и сам ушел куда-нибудь далеко...

Он сказал еще какие-то слова, но их унес ветер. Голос Розы Палмейрао смолк. Темень сгустилась и давила. Снова слышались голоса, лишь когда они ступили на порог «Звездного маяка».

Человек в пальто кричал хозяину таверны:

— Я думал, они мужчины... А они трусы, все как есть...

Зала была пуста. Только Роза Палмейрао слушала рассказчика, вся — внимание. Хозяин, сеу Бабау, разводил руками, не находя ответа.

— Но ведь бури-то была нешуточная, сеньор Годофредо...

— Трусые поганые. Храбрецы на здегнем берегу, видно, повывелись. Куда девались такие, как Жоан Коротышка? Вот это была крепкая косточка!

Новые гости подошли к говорившему. Это был Годофредо из Баиянской компании, глядевший так, словно в него черти вселились.

— Да что случилось, сеньор Годофредо? — спросил Мануэл.

— Что случилось? А вы не знаете? Там «Канавиейрас» не может войти в гавань...

— А капитан порта знает?

— Знает, черта с два... Он сам англичанин, недавно и прибыл. Ничего-то еще толком не знает. Ищу кого-нибудь, кто б мог лоцмана заменить...

Он гневно сплюнул:

— Но, видно, храбрые моряки тут повывелись...

Шавьер шагнул вперед. Франсиско, думая, что он сейчас предложит на такое дело себя, дернул его за плащ.

— Вы вспомнили Жоана Коротышку, сеньор? А что он своей храбростью заработал? Даже отдых в аду не заработал. Носится тут тенью да людей пугает. Что заработал-то? Вдове пенсию дали только для виду... Сразу ж и отняли... Храбрость одна и есть — помереть...

— Но у него семья была...

— У нас тоже семья... Что заработаем-то?

Сеньор Годофредо ответил уклончиво:

— Вообще-то компания дает двести мильрейсов человеку, который отважится...

— Дешева жизнь человечья, а? — Шавьер сел и спросил водки.

Роза Палмейрао громко рассмеялась:

— На этом корабле твоя жена едет, Годофредо? Или зазноба твоя?

— Молчи, насмешница, не понимаешь, что ли, что на корабле полным-полно народу?

В порту не любили сеньора Годофредо. Начал он штурманом на одном из больших кораблей Баиянской компании, дослужился неведомо как до капитана. Никогда он свое дело толком не знал. Зато умел всячески притеснять матросов. После того как он чуть не потопил корабль у входа в гавань Ильеуса, компания устроила его на хорошее место в одну из своих контор. И здесь он продолжал притеснять рыбаков, лодочников, грузчиков как только мог.

— Полным-полно народу. А где все мужчины с пристани? В прежние времена не допустили бы, чтоб корабль так вот затерялся...

— А все-таки есть на корабле кто-нибудь из нашей семьи?

Годофредо взглянул в лицо Франсиско:

— Я знаю, что вы меня ненавидите... — Он улыбнулся. — Я только затем и прошу, что там есть кто-то из моих, да? Но я и не прошу, нет. Я предлагаю деньги. Двести мильрейсов тому, кто пойдет на это дело...

Подожли еще люди. Годофредо повторил свое предложение. Они глядели на него недоверчиво. Шавьер пил, сидя за столом.

— Никто здесь не хочет идти на смерть, сеньор Годофредо. Пускай англичанин сам управляется.

Гума спросил:

— Почему не пошлют буксир?

Годофредо вздрогнул:

— Должны бы послать, конечно... Но компания считает, что это слишком дорого обойдется... Я ищу храброго человека. Компания дает двести мильрейсов...

Ветер хлопал дверью в «Звездном маяке». В первый раз услышали все гудок корабля, просящего о помощи. Годофредо поднял руки (он казался таким низеньким в этом широком пальто) и сказал почти ласково, обводя взглядом людей:

— Я добавлю еще сто из своего кармана... И клянусь, я позабочусь о человеке, который решится...

Все глядели испуганно, но никто не двинулся. Годофредо обернулся к Розе Палмейрао:

— Роза, ты женщина, но у тебя больше храбрости, чем у любого мужчины... Слушай, Роза, двое моих сыновей на том корабле. Они ездили в Ильеус, на каникулы... У тебя никогда не было детей, Роза?

Франсиско шепнул на ухо Гуме:

— Я ж сказал, что там у него кто-то свой...

Годофредо умоляюще протягивал руки к Розе. Он был так смешон сейчас — маленький, одетый в роскошное пальто, с жалким лицом, с дрожащим голосом.

— Попроси их пойти, Роза... Даю двести мильрейсов тому, кто пойдет... Всю жизнь помнить буду... Я знаю, они не любят меня... Но там мои дети...

— Ваши дети? — Роза Палмейрао глядела за окно, в ночь.

Годофредо подошел к одному из столиков. Опустил голову на свои холеные руки. Плечи его подымались и опускались. словно корабли в море...

— Он плачет...— сказал Мануэл.

Роза Палмейрао медленно поднялась. Но Гума уже стоял возле Годофредо:

— Ладно, я войду...

Старый Франсиско улыбнулся. Он взглянул на свою руку, где у локтя были вытатуированы имя брата и названия затонувших шхун. Оставалось место для имени Гумы. Шавьер отставил свой стакан:

— С ума сошел... Да и не поможешь...

Гума вышел навстречу тьме. Глаза Розы Палмейрао светились любовью. Годофредо протянул руки вслед Гуме:

— Привези моих сыновей...

Гума исчез во тьме ночи. Поднял паруса, поставил шлюп против ветра. Еще виднелись вдали те, что проводили его до причала. Роза Палмейрао и старый Франсиско махали ему вслед. Шавьер крикнул:

— Привет Матери Вод...

Шкипер Мануэл обернулся в гнев:

— Никогда нельзя говорить человеку, что он идет на смерть...

Он поднял глаза, проследил тень шлюпа, удалявшегося по свинцовым волнам:

— Жаль. Он был еще ребенок...

\* \* \*

Звезды исчезли. Луна и не всходила этой ночью, и потому на море не было песен и слов о любви. Волны бежали, тесня друг друга. И это в самой бухте, далеко еще до волнолома. Как же должно быть там, снаружи, где море свободно?

«Смелый» с трудом отплывает от пристани. Гума старается разглядеть что-нибудь впереди. Но все вокруг черным-черно. Самое трудное — это начало, когда надо плыть против ветра. А потом начнется бешеный бег по воле взбесившегося ветра, по морю, принадлежащему уже не лодкам и шхунам, а большим кораблям.

Гуме видны еще смутно знакомые тени там, на берегу. Все еще трепещет, махая ему, рука Розы Палмейрао, самой храброй и самой нежной женщины из всех, кого

приходилось ему встречать. Гуме только двадцать лет, но он узнал уже любовь не с одной женщиной. И не одна не была еще такая, как Роза Палмейрао, не лежала в его объятиях такой любящей, такой ласковой. Море сегодня сходно нравом с Розой Палмейрао, когда она не в духе. Море сегодня свинцового цвета. Вон рыба вспрыгнула над водой. Ее не страшит буря. Напротив, радуется — мешает рыбакам выходить на лов... «Смелый» с трудом пересекает воды залива. Волнолом уже близок. Ветер носится вокруг старого форта, влетает в пустынные окна, играючи хлопает по стволам старые, давно уже бездействующие пушки. Гуме уже не видны знакомые тени на берегу. Может быть, Роза Палмейрао плачет. Она не такая женщина, чтоб плакать, но она так хотела иметь сына, совсем забыв, что ей уже поздно. Гума был для нее и любовником и сыном. Почему в этот смертный час вспомнил он вдруг мать, что ушла навсегда? Гуме не хочется думать о ней. В любви Розы Палмейрао есть что-то от любви матери. Она и не моложе, чем его мать, и часто она ласкает его, как сына, и, забыв о поцелуях страсти, целует его с материнской нежностью... «Смелый» прыгает вверх и вниз по волнам. «Смелый» продвигается вперед с трудом. Волнорез видится все на том же расстоянии. Такой близкий и такой далекий. Гума сбросил промокшую рубашку. Волна прокатилась по палубе из конца в конец. Что же, наверно, делается там, за гаванью?.. Роза Палмейрао хочет иметь ребенка. Устала драться с солдатами, отсиживать за решеткой, устала от ножа за поясом, от кинжала на груди. Она хочет сына, которого можно будет ласкать, которому можно будет петь колыбельные песни. Как-то раз Гума задремал в ее объятиях, и Роза пела:

Спи, мой маленький, скорее,  
чтобы бука не пришел...

Она забыла, что он ее любовник, и превратила его в сыночка, укачивая на коленях. Быть может, именно этим она и вызвала гнев Иеманжи. Только Иеманжа, Матерь Вод, донна Жанаина, может в одно и то же время быть матерью и женой. Такою она и предстает всем мужчинам побережья, а всем женщинам она — помощница и покровительница. Сейчас, наверно, Роза Палмейрао уже дает ей обеты, моля, чтоб Гума вернулся невредимым. Быть может, обещает даже (на что не способна любовь) отдать



в дар богине моря нож, что заткнут за пояс, и кинжал, что спрятан на груди... Другая волна набегаёт на «Смелого», затопив палубу. По правде сказать, так думает Гума, трудно вернуться отсюда живым. Настал, видно, его день... Гума думает об этом без страха. Настал раньше, чем он ожидал, но ведь должен же был настать когда-нибудь. Никто не избежит. Гуме жалко лишь, что ещё не пришлось ему любить такую женщину, о какой просил он как-то ночью богиню вод. Женщину, что подарила бы ему сына, которому «Смелый» достанется в наследство, чтоб и сын мог плавать по этому морю и слушать на берегу рассказы старого Франсиско. И ещё жаль, что не удалось постранствовать по другим морям, повидать другие порты и города. Не удалось уплыть, подобно Шико Печальному, к неведомым Землям без Конца и без Края. Теперь он поплывёт туда под водою вместе с Иеманжой, кого лодчонки называют дона Жанаина, а негры — царица Айока! Быть может, она увлечёт его к земле Айока, своей родине. Это земля всех моряков, а дона Жанаина там царица. Земля Айока, далекая, затерянная на горизонте земля, откуда приплывает Иеманжа в лунные ночи.

Где же волнолом, почему «Смелый» никак не достигнет его? Гума с силой налегает на руль, но даже и так трудно вести шлюп против ветра. «Смелый» проходит в тени, падающей от старого форта. Там вдали, за гаванью, затерялся корабль, посылающий тревожные гудки. Ветер доносит крики людей с корабля. Многих людей... Не из-за денег плывёт сейчас Гума сквозь бурю, пытаясь спасти корабль и привести в гавань. Он и сам не совсем сознаёт, почему вдруг решился сразиться с бурей. Но только не из-за денег. Что он сделает с этими двумястами мильрейсами или больше, если Годофредо выполнит обещание? Купит подарки Розе Палмейрао, новую одежду Франсиско и, пожалуй, новый парус «Смелому». Но можно обойтись и без всего этого, и ведь не за двести мильрейсов человек идёт на смерть. И не потому, что два сына Годофредо плывут на заблудившемся корабле и что сам Годофредо плачет, как покинутый ребенок. Не потому, нет. А оттого, что с моря доносится печальный гудок корабля, мольба о помощи, а закон пристани не велит оставлять на произвол судьбы тех, кто в море взывает о помощи. Теперь Иеманжа останется им довольна и, если он вернется живым, даст ему женщину, о какой он просил. Гума не

может ответить на печальный гудок. Корабль, по всей вероятности, где-нибудь возле маяка, старается продержаться в ожидании помощи, моряки утешают детей и женщин. Корабль без пути, заблудившийся у входа в порт... Из-за него Гума идет на смерть, из-за корабля. Потому что корабль, лодка, шхуна, даже просто доска, плавающая по морю, — это земля, это родина для всех этих людей, живущих на побережье, для племени Матери Вод. Они и сами не знают, что в корабельных снастях, в рваных парусах шхун и находится та самая земля Айока, где царицею — их Жанаина.

«Смелый» проходит у волнолома. На старом форте мутный огонек мигает, снует туда-сюда, как призрак. Гума кричит:

— Жеремиас! Эй, Жеремиас!

Показался Жеремиас с фонарем. Свет падает на море и прыгает, качаясь, вверх-вниз вместе с волнами. Жеремиас спрашивает:

— Кто идет?

— Гума...

— Черт, что ли, в тебя вселился, мальчик?

— Я иду искать «Канавиейрас», он не может войти в гавань...

— И нельзя было привести его завтра?

— Он гудит о помощи...

«Смелый» ушел за волнолом. Жеремиас все еще кричит вслед, поворачивая свет фонаря:

— Добрый путь! Добрый путь!

Гума орудует рулем. Жеремиас тоже не надеется увидеть его еще раз. Не надеется, что «Смелый» еще когда-нибудь пройдет за волноломом. Никогда уж не придется Жеремиасу петь для Гумы. Это ведь Жеремиас поет по ночам о том, как сладко умереть в море... «Смелый» бежит по волнам. Теперь предстоит ему бешеный бег. Ветер теперь попутный. Шлюп чуть не опрокинулся, когда Гума пытался изменить направление. Ветер хочет унести Гуму, бросает волны на палубу, склеивает мокрые волосы, свистит в ушах. Ветер гуляет по палубе. Ветер свищет в снастях. Ветер гасит фонарь на корме. Огни города, все более далекие, быстро мчатся мимо. Теперь это бег без конца и без времени, и судно и кормчий крелятся набок, и руки впиваются в руль. Куда увлекает его этот ветер? Дождь мочит его тело, хлещет в лицо. Ничего нельзя различить в темноте. Только гудок заблудившегося кораб-

ля указывает ему путь. Может случиться, что он пройдет далеко от корабля, может случиться, что ударится всеми ребрами об остров Итапарика или о любую скалу посреди моря. Никто не осмелился выйти в море нынче. Даже Жеремиас изумился, когда он прошел у волнолома. А Жеремиас — это старый солдат. Он живет там, в покинутом форте, один, как крот, с тех пор как стал слишком стар для военной службы. Он остался жить здесь, посреди моря, в своей заброшенной крепости, чтоб не расставаться с пушками, со всем, что напоминало ему казарму и военный быт. Он шел своим путем до конца. И Гума шел своим — путем «Смелого», и уже не шел, а бешено мчался по бушующему морю. Быть может, он так и не дойдет до цели, и завтра поутру будут искать его тело. Старый Франсиско напишет татуировкой его имя на руке и будет рассказывать о его приключениях и безумствах в кругу рыбаков, на пристани. Роза Палмейрао, наверно, его позабудет и станет любить других и думать, что хорошо иметь сына. Но, несмотря на все это, закон пристани будет исполнен, и жизнь Гумы станет примером для других в другие времена.

Не слышен более гудок корабля. Огни города уже почти невидимы. Несмотря на все усилия кормчего, судно сильно отклонилось от намеченного пути. Оно гораздо правее, чем надо... Берега Итапарики уже близки. Гума с силой налегает на руль и продолжает свой бег, стараясь найти направление. Сколько времени море будет так вот гнать его в бешеном беге, сколько часов прошло уже и пройдет еще? Пора бы уж кончиться всему этому. Давно пора. Лучше уж пусть сразу настанет час свидания с Иеманжой, если ему так и не суждено найти заблудившийся корабль.

...Он слишком молод, чтоб умереть. Он еще мечтает встретить молодую женщину (такую, как была дона Дулсе, учительница, когда он ходил в школу), которая будет принадлежать ему одному. А теперь вот он не оставит после себя сына, а его корабль разобьется в щепы. Он не страшится смерти, но думает, что еще рано умирать. Он хотел бы умереть позже, оставив по себе славу, историю своей жизни, которую будут помнить на побережье... Рано еще умирать. Рано еще уходить в вечное плавание с доной Жанаиной. Он не бывал еще жрецом на ее кандомбле, не пел в честь нее священных песнопений, не смеет еще носить на шее ее фетиш — зеленый камень.

Зато на шее у него висит медаль, которую дала ему донна Дулсе, когда он уходил из школы. Учительница опечалится, узнав, что он умер. Она не понимает их жизни, жизни суровой, каждый день рядом со смертью, и все ждет чуда. Кто знает, может, оно и произойдет... Поэтому Гума не хочет умирать. Ибо в день, когда произойдет чудо, все будет хорошо и красиво, не станет такой нищеты, как сейчас, человек не будет рисковать жизнью за двести мильрейсов.

Кажется, он снова на верном пути. Слышен гудок корабля, зовущий на помощь. Но волна, набежавшая на шлюп, слишком высока, она с силой обрушивается на руль и отступает, унося с собой Гуму. Он плывет, пытаясь добраться туда, где «Смелый» кружит по воле ветра, одинокий, со сломанной мачтой. Быть может, все уже заключилось, а у Гумы нет даже заветного имени, чтоб произнести в свой час. Не настало еще время для его смерти. И не пришла еще к нему «его женщина»... Он плывет отчаянно сквозь огромные волны, вот он уцепился за борт шлюпа, вот схватил руль рукою. Но его несет теперь в сторону от заблудшего корабля, уже смутно виднеющегося вдали. Он борется с ветром, с водою, с дрожью своего тела, объятю холодом.

Снова начинается бешеный бег. Гума стиснул зубы. Он не чувствует никакого страха. Надо покончить разом со всем этим. Близко, совсем близко светлое пятно освещенного корабля. Дождь падает, свищовый. Ветер порвал паруса «Смелого», но Гума уже здесь, у высокого борта «Канавиейраса», и кричит громко, чтоб услышали там, наверху:

— Трап!

Матросы кидаются к борту. Сбрасывают вниз веревку, чтоб привязать «Смелого». Потом — опасный исход по колеблющемуся трапу. Два раза Гума чуть не сорвался, и тогда бы не было спасения — он был бы зажат между кораблем и шлюпом и раздавлен.

Гума улыбается. Он весь пропитан водой, но все-таки счастлив. На пристани думают, верно, об эту пору, что он уж мертв, что тело его плывет в объятиях Иеманжи.

Гума подымается на капитанский мостик, англичанин вручает ему судьбу корабля. Машинисты приводят в действие двигатели, кочегары оживляют огонь, матросы становятся по своим местам. Гума ведет корабль. Гума командует положением. Гума отдает приказы. Только так,

наверно, и может такой человек, как он, стать капитаном большого корабля. Только с помощью Иеманжи, силою ее волшебства. Это неповторимая ночь в жизни Гумы. На завтра уже ни этот важный англичанин, ни сам Годофредо даже и не заметят его, когда он будет плыть мимо на своем «Смелом». Никто не назовет его героем. Гума знает это. Но знает и то, что всегда так было, и разве только чудо, о котором мечтает донна Дулсе, может изменить такое положение вещей.

Два часа спустя — буря еще свирепствовала над городом и над морем — «Канавиэйрас» приставал к берегу. Паруса «Смелого» были разорваны, в корпусе зияла дыра от столкновения с кораблем, руль был разбит в щепы.

Рассказывают на пристани, что с тех пор тень Жоана Коротышки больше не появлялась, ибо корабль уже нашел вход в гавань. И с этого дня имя Гумы стало часто повторяться на баианском побережье.

## ИЕМАНЖА, БОГИНЯ ПЯТИ ИМЕН

Ни у кого на побережье нет одного имени. У всех есть еще какое-нибудь прозвище. Здесь или сокращают имя, или прибавляют к нему какое-нибудь слово, напоминающее о давнем происшествии, споре, любовном приключении.

Иеманжа, властительница пристаней, парусных шхун и всех этих жизней, зовется даже пятью именами, пятью певучими именами, что знакомы всем. Она зовется Иеманжа, всегда звалась она так, и это ее настоящее имя, имя Матери Вод, властительницы морей и океанов. Но лодочникам нравится звать ее донна Жанаина, и негры, любимые ее детища, которые танцуют в ее честь священный танец и боятся ее больше, чем другие, с набожным восторгом зовут ее Инаэ или возносят мольбы к царице Айока, правительнице таинственных земель, что скрыты за голубой линией горизонта. Однако женщины с пристани, прямые и смелые, и Роза Палмейрао, и гулящие женщины, и замужние, и девушки, ждущие женихов, прозвали ее просто Марией, ибо Мария — красивое имя, наверно, самое красивое из всех, самое почитаемое, и дали это имя Иеманже как подарок, как цветы, гребни и кусочки душистого мыла, что приносят в дни ее праздника к ее

скале у мола. Она — русалка, Матерь Вод, хозяйка моря, Иеманжа, дона Жанаина, Мария, Инае, царица Айока. Она властвует над морями, она поклоняется луне, приплывая в ясные ночи полюбоваться лунным сиянием, она любит музыку негров. Каждый год устраиваются празднества в ее честь на молу и в Монте-Серрат. Тогда ее называют всеми пятью именами, с прибавлением всех ее званий и прозваний, приносят ей дары и поют для нее песни.

Океан велик, море — бескрайная дорога, воды разлились на большую половину мира, и все это принадлежит Иеманже. И, однако же, она живет на скале у мола в баианском порту или в своей подводной пещере возле Монте-Серрат. Она могла бы жить в средиземноморских городах, в морях Китая, в Калифорнии, в Эгейском море, в Мексиканском заливе. В древности она жила у берегов Африки, а это, говорят, близко от земли Айока. Но она приплыла в Баию поглядеть на воды реки Парагуасу. И осталась жить в порту, поблизости от волнолома, на вдающейся в море скале, что стала священной. Там она расчесывает свои волосы (молоденькие черные служанки приносят ей гребни из серебра и слоновой кости), там она внемлет молитвам женщин — рыбацких жен, оттуда она насылает бури, там выбирает она, кого из мужчин должна повести на нескончаемую прогулку по дну морскому. Там, на молу, и справляют обычно ее праздник, самый красивый из всех праздников Баии. Самые нарядные процессии, самые неистовые обряды макумбы, ибо они творятся в честь могущественного божества из тех, что зовутся ориша и вселяются в медиумов... Она — из первых, из породивших другие культы. Если б не было опасно произносить подобные слова, то можно б сказать, что ее праздник даже красивее праздника Ошолуфана, самого старого и сильного из божеств. Ибо до чего ж хороши вечера и ночи, когда справляется праздник Иеманжи! Цвет моря колеблется меж зеленью и голубизною, луна высоко стоит на небе, звезды перемигиваются с фонарями шхун. Иеманжа лениво расстилает свои волосы по морю, и ничего нет в целом мире красивее (моряки с больших кораблей, побывавшие в дальних краях, подтверждают это), чем этот цвет, образуемый прядями Иеманжи, сплывленными с морской волною.

Анселмо, отец всех святых, несет молитвы моряков Иеманже. Главный жрец макумбы в этих местах, он и сам

был когда-то моряком, плавал к берегам Африки, научился исконному языку негров, узнал назначение этих празднеств и этих святых. А когда вернулся, покинул корабль и остался на баиянском побережье жрецом вместо недавно умершего Агостиньо. И теперь это он распоряжается празднествами в честь Иеманжи, управляет макумбой в Монте-Серрат, лечит — по наученью самой богини — различные болезни, наполняет попутным ветром паруса шхун, разгоняет часто налетающие бури. Нет в этих местах, на суше и на море, человека, который не знал и не почитал бы Анселмо, повывавшего Африку и знающего молитвы на языке наго. Когда вдали появляется его седая, в жестких завитках голова, все головы обнажаются.

Совсем не так легко примкнуть к макумбе отца Анселмо. Требуется быть хорошим моряком, чтоб так вот просто прийти и сесть среди ога, как называют мужчин, участвующих в этих таинствах. И чтоб вокруг тебя плясали иаво, дочери святых... Гума, светлый мулат с длинными черными волосами, тоже скоро будет сидеть на одном из стульев, расставленных в зале для обряда кандомбле вокруг отца всех святых. С той бурной ночи, когда он привел в порт «Канавиейрас», слава о нем переходит из уст в уста, и всем теперь ясно, что Иеманжа отметила его своим благоволением. Он недолго будет сидеть так, среди ога, окружен пляшущими дочерьми святых. На следующем празднике Иеманжи он уже наденет ее фетиш — зеленый камень, который находят на дне морском, и вместе с другими ога будет присутствовать при посвящении иаво, черных жриц.

С ним вместе и негр Руфино наденет священный камень Иеманжи. Они вместе посвятят себя служению богине моря, женщине с пятью именами, матери всех моряков, которая один раз, только лишь один раз в жизни, становится им также и женой. Негр Руфино любит петь, сжав сильными руками весла и направляя свою лодку, полную живого груза, вверх по реке:

Я бог Огум, ваш властелин,  
так народ меня зовет,  
Я светлой волны сын,  
я внук Матери Вод...

Руфино черный-пречерный негр, но считает себя сыном светлой волны, Иеманже приходится он внуком, она была матерью его отца, что был моряком подобно его деду и другим старикам, память о которых уже иссякла...

Праздник Иеманжи приближается. Гума пойдет непременно и будет просить богиню подарить ему женщину, чтоб похожа была на нее саму и была не юрочна и прекрасна, чтоб сверкала своей красотой по набережным Баии, Города Всех Святых. Ибо Роза Палмейрао уже не раз говорила, что скоро подымет якорь и распустит парус навстречу другим землям. Она надеялась иметь сына от этого юного храбреца, сына, чтоб качать его на руках, привычных к драке, чтоб петь ему колыбельные песни губами, привычными к крепким словам. Но Роза Палмейрао забыла, что ей это уже поздно, что она растратила в буйстве свою молодость, — и только и оставалось в ней, что не растроченная нежность, желание ласкать и нянчить какое-то свое существо. Но ребенок не явился, и она теперь собралась податься в поисках драк и скандалов в другие земли, чтоб пить и буянить в других кабаках. Странствовать по другим морям и водам... Уйти... Однако только лишь после праздника Иеманжи, а то не будет попутного ветра, а то на пути подымутся грозные бури.

Потому-то, что Роза Палмейрао уходит, Гума должен будет напомнить Иеманже, что час дать ему обещанное настал. Он отнесет ей в дар, кроме красивого гребня для волос, кусок паруса «Смелого», что порвался в ту ночь, как он спасал «Канавиейрас».

Близится день праздника Иеманжи... В этот день набережная опустеет, в море не увидишь ни одного челна. Все пойдут туда, где живет Иеманжа, богиня с пятью именами.

\* \* \*

Иеманжа, приди...  
подымись из вод...

Так поют в эту ночь, посвященную Иеманже. Люди собираются на том месте, где всегда проходит самая большая ярмарка в Баие. Неподалеку, в Итагажипе, находится порт Левня, порт лодочников, где тоже бывают ярмарки. А между обоими этими местами — жилище Иеманжи на морской скале... Песок хранит следы от килей рыбацких шхун. Разноцветные раковины блестят при свете дня. В глубине — тускло освещенная улица. Голоса, откуда-то издалека, поют:

Русалка, приди к нам, приди  
порезвиться на теплом песке...



Ночь праздника Иеманжи... Потому-то здешний народ призывает ее, чтоб пришла поиграть на песке. Ясно видно, где находится ее подводный грот: вот он, как раз под луною, обозначенный распущенными волосами богини, разлетевшимися по глади морской. Если она не выйдет к людям, они сами отправятся за нею туда. Сегодня — ночь ее праздника, ночь, когда Жанаина должна веселиться вместе со всеми, ктс поклоняется ей.

Русалка встала из волн,  
русалка играет в волнах...

Иеманжа играет с морскими волнами, Иеманжа прыгает в морских волнах. Было время — самые древние старики еще помнят его, — когда приступы гнева Иеманжи были устрашающими. Тогда она не прыгала и не играла. Челны и шхуны не имели роздыха, люди метались в горе и страхе. Бури переполняли бухту высокой водою, вздымали над берегами реку Парагуасу. В те страшные времена даже дети, даже юные девушки бывали принесены в дар и в жертву Иеманже. Она уводила их в глубину вод, и тела их никогда не выплывали на поверхность. Иеманжа была в самой грозной своей поре, не желала музыки, гимнов и песен, не принимала цветов, кусочков душистого мыла и гребней для волос. Она требовала живой плоти. Гнев Иеманжи был грозен. Ей несли детей, вели юных дев — одна слепая девушка даже сама вызвалась и шла в страшный путь с улыбкой (надеялась, верно, увидеть так много красоты!), а крохотная девочка в ночь, как несли ее к воде, плакала и звала мать, и звала отца, и кричала, что не хочет умирать... Это было тоже в праздник Иеманжи... Много, много лет прошло с тех пор... Ужасный был год, зима разбила и унесла с собою множество шхун, редкому челну удалось выстоять в схватке с диким ветром с юга, и гнев Иеманжи все никак не утихал. Агостиньо, жрец, справлявший макумбу в тот грозный год, сказал, что дело ясно: Иеманжа требует человеческой плоти. Тогда и отнесли эту крохотную девочку, потому что она была самым красивым ребенком в порту, походила даже на саму Жанаину, особенно своими синими-синими глазами. Буря ревела и металась над пристанью, и волны мыли священный камень Иеманжи. Шхуны и лодки шли, кренясь из стороны в сторону, и все слышали крики ребенка, которого несли к воде с завязанными глазами. Это была ночь преступления, и старый Франсиско

и сейчас еще дрожит с головы до ног, рассказывая эту старую и страшную быль. Полиция дозналась обо всем, кое-кого посадили в тюрьму, жрец Агостиньо бежал, мать принесенного в жертву ребенка сошла с ума. Тогда только стал стихать гнев Иеманжи. Празднества, посвященные ей, были запрещены, и какое-то время их заменяла торжественная процессия в честь доброго Иисуса, покровителя мореплавателей. Но здешние воды искони принадлежали Иеманже, и мало-помалу праздник ее вернулся в здешние края, да и гнев ее прошел, кажется, прочно, она уж не требовала младенцев и юных дев. Лишь случайно какая-нибудь молоденькая женщина становилась ее рабыней, вернее, любимой служанкой, как то произошло с женой слепого рыбака, историю которой любит рассказывать старый Франсиско.

Иеманжа так жестока потому, что она — мать и супруга в одно и то же время. Воды баиянского залива родились в тот день, когда ее сын овладел ею. Немногие на этих берегах знают историю Иеманжи и ее сына Орунга. Но Анселмо знает, и старый Франсиско — тоже. Однако они никогда не рассказывают эту историю, боясь вызвать гнев Жанаины. А было так, что Иеманжа родила от Аганжу, бога суши, сына, которому было дано имя Орунга. И стал он богом воздуха и ветра и всего, что находится между небом и землею. Орунга бродил по земле, жил в воздухе и ветре, но перед взором его все стоял образ матери, прекрасной богини вод. Она была красивее всех, кого он встречал, и все его желания были устремлены к ней. И как-то раз он не устоял и взял ее силой. Иеманжа бежала от него, в быстром беге треснули ее груди, и из них вылилась вся вода, образовавшая баиянский залив, близ которого выросла и сама Баия, Город Всех Святых. А из чрева ее, оплодотворенного сыном, родились самые грозные божества ориша, те, что повелевают молниями, грозами и громами.

Так и случилось, что Иеманжа стала матерью и женой одновременно. Она любит людей моря, как мать, покуда они живут и страдают. Но в день, как они умирают, мнится ей, что каждый из них — сын ее, Орунга, так страстно желавший ее когда-то.

Как-то раз Гума услышал эту историю из уст старого Франсиско. И вспомнил, что его мать тоже приходила к нему как-то ночью и он тоже желал ее. Он, подобно Орунга, ощущал это странное страданье, которое все по-

вторялось... За это, наверно, Иеманжа так любит его, так охраняет его, когда он выходит на «Смелом» в море. Поэтому, чтоб он не страдал, как некогда Орунга, она должна подарить ему красивую женщину, почти столь же красивой, как и сама богиня моря.

Сегодня праздник Иеманжи. На молу, где каждый год проводит она какое-то время, ее день — второе февраля. То же самое в Гамелейре, Мар-Гранде и других местностях. Однако в Монте-Серрат, где ее праздник пышней и ярче, чем где-либо, ибо справляется в ее собственном жилище, в гроте Матери Вод, ее день — двадцатое октября. И в день этот приходят почтить ее жрецы из Амореяры, Бон-Деспашо и других селений, со всего острова Итапарика. А в этом году так даже отец Деусдедит пришел из Кабесейра-да-Понте — присутствовать при посвящении дочерей всех святых, жриц Иеманжи.

Белый песок стал черным от мелькания черных ступней, попирающих его. Это люди моря, спешащие на зов своей повелительницы. Все они — подданные царицы земли Айока, все они изгнанниками живут в других землях и потому-то и проводят полжизни в море, надеясь достичь земли Айока. Песнопения и гимны летят над песками, над морем, над лодками и парусами шхун, над дальним городом в движенье оживленных улиц и, конечно же, достигают тех незнакомых земель, где скрывается Она:

Иеманжа, приди...  
подымись из вод...

Огромной плотной массой движутся люди, топча теплый песок. Вот стала уже видна наверху, на холме, церковь Монте-Серрат, но не к ней тянутся все эти изукрашенные татуировкой руки. Они тянутся к морю, туда, откуда придет Иеманжа, хозяйка их жизней. Сегодня — ее день, и она придет, чтоб резвиться на песке и справлять свои свадьбы с моряками, чтоб получать подарки от своих грубых и простодушных женихов и приветы от девушек, которым вскоре суждено стать ее жрицами. Сегодня — ее день, и она встанет из вод, чтоб раскинуть свои волосы по песку, чтоб веселиться, чтоб обещать морякам попутные ветра, добрый груз и красивых жен.

Они зовут ее:

Иеманжа, приди...  
подымись из вод...

Она появится из вод, с длинными своими волосами, цвет которых таинствен и неопределим. Появится, набрав полные пригоршни раковин, с улыбкой на губах. И станет забавляться вместе со всеми, вселится в тело какой-нибудь негритянки и станет равной для негров, лодочников, рыбаков, шкиперов, станет подобной другим женщинам портового города, женой, подругой, какую можно обладать, какую можно любить. И тогда исчезнет черная набережная Баии, скупо освещенная редкими фонарями, полная призывной, тоскливой музыкой,— и все очутятся в волшебных землях Айока, где говорят на наречии наго и где находят все, кто погиб в море.

Но Иеманжа не придет так просто. Одних призывных песнопений тут мало. Надобно выйти за нею в море, отвезти ей подношения и дары. И вот уже все, кто только есть на берегу, попрыгали в лодки и разместились под парусами шхун. Рыбачьи челны набиты людьми, «Смелый» так перегружен, что, кажется, вот-вот пойдет ко дну, шкипер Мануэл стоит на своей шхуне в обнимку с Марией Кларой, с которой вступил в союз лишь несколько дней назад, женщины громко поют, а луна освещает всех и все. Тысячи фонарей наполняют море звездами. Гума идет на «Смелом» вместе с негром Руфино. Старый Франсиско тоже поет, а Роза Палмейрао везет в подарок Иеманже красивую, вышитую шелком подушку, чтоб богиня во время отдыха могла преклонить на нее голову.

Праздничная процессия потянулась по морю. Поющие голоса становятся громче, и звук их становится каким-то таинственным, ибо исходит из всех этих лодок, шхун, плотов и ботов, теряясь далеко в море, там, где вкушает отдых Иеманжа. Женщины всхлипывают, женщины везут подарки и письма, в каждом из которых содержится какая-нибудь мольба, какая-нибудь просьба к Матери Вод, исходящая из глубины простого сердца. Под парусами шхун идет пляска, и все здесь кажется призрачным: и мерно качающиеся женские тела, и мерные взмахи весел в руках мужчин, и эта варварская музыка, разносящаяся над морем.

Вот уже окружено жилище Матери Вод. Волоса Иеманжи раскинулись по морской синеве как раз под самой луною. Женщины бросают в море дары, предназначенные богине, и нараспев повторяют свои моления (...чтоб мужа моего бури не загубили... У нас двое детишек, кто их

кормить станет, святая Жанаина...) и глядят на воду долгим взглядом: затонет ли подарок? Ибо если поплывет — значит, Иеманжа не приняла дара, и тогда несчастье черною тучей нависнет над домом...

Но сегодня Матерь Вод обязательно выйдет к сынам и дочерям своим. Она приняла дары, она услышала мольбы, она внимает гимнам. И парусники начинают готовиться в обратный путь. Но вот послышалось с темного берега громкое ржанье. И при свете луны люди с челнов и шхун различают на песке черный силуэт коня. Начинается исполнение великого обета, данного Иеманже. Черный конь с выколотыми глазами не различает моря, набегающего на берег. А люди на берегу толкают его к морю. Бока вороного сверкают, хвост синего блеска свисает до земли, высокая грива разлетается по ветру. Вот он уже в море — это дар Иеманже. Верхом на черном коне поскачет она под водою к своим далеким священным землям. Верхом на черном коне станет она объезжать свои моря, любуясь луною... Черного коня бросают в море, и люди на двух лодках по оба бока влекут его дальше и дальше на поводу, ибо конь слеп. Ему выкололи глаза раскаленным железом, отметив его как дар Жанаине. И вот уже опускают повод возле самого подводного грота, женщины снова повторяют свои мольбы (...чтоб муж мой бросил эту ведьму Рикардину и вернулся ко мне...), и процессия пускается в обратный путь. Конь бьется еще некоторое время в волнах, плывет, устремив вдаль свои глаза без света, и потом опускается на дно, к Иеманже. Теперь она может скакать на нем сквозь штормовые ночи, по маленьким портам баиянского побережья, управляя вихрями, молниями и громами.

Челны и парусники причаливают. Люди высыпали на берег. Иеманжа приплыла с ними. Это ночь ее праздника, она будет плясать вместе со всеми в Итапажипе, на кандомбле, устроенном в ее честь. Даже Деусдedit, жрец из селения Кабесейрас-да-Понте, прибыл на праздник Матери Вод. Она движется вместе с толпой на черном своем коне, недавнем подарке. Она едет по воздуху, поближе к луне и так, верхом, не боится даже встречи со своим сыном Орунга, силой овладевшим ею.

И процессия следует дальше и дальше, медлительно и мерно, колыхаясь, как челн на воде. Пролетающий ветер несет уснувшему городу запах морской прели и грохот дикарских песен.

Резкие звуки барабанов, колокольцев и гремушек разносятся по всему полуострову Итапажипе. Музыканты — в экстазе, как, впрочем, и все, кто присутствует сейчас на макумбе отца Анселмо, устроенной в честь Иеманжи. Уже несколько месяцев назад началось посвящение молодых негритянок, «дочерей всех святых». Сначала велели им совершить омовение со священными травами, потом сбрили волосы на голове, под мышками и в низу живота, чтоб божество могло свободнее проникнуть их. Потом началась церемония эфун — раскрашивание лиц и обритух голов в кричаще-яркие цвета. И тогда приняли они в себя Иеманжу, проникшую в их тела через голову, под мышками или между ног.

Последний путь богиня избирает только лишь, когда прозелитка молода и девственна, и делает это как бы в знак того, что избирает ее своей рабыней и любимой служанкой, которая будет расчесывать ей волосы и щекотать ее тело.

После всех этих церемоний обращенные проводят долгие месяцы в полном одиночестве, запертые от людей. Им воспрещено сношение с мужчинами, они не видят ни улиц в движении, ни моря. Они живут только для богини вод. Сегодня настал их праздник, теперь они уже доподлинно станут «дочерьми всех святых», жрицами Иеманжи. Они вертятся в пляске, бешено раскачиваясь из стороны в сторону, кажется, что сейчас у них вывихнутся все суставы. Они пляшут даже лучше, чем Роза Пальмейрао, прошедшая обряд посвящения двадцать лет назад. Мать всех святых, старая жрица, поет песнопение в честь Иеманжи на языке наго:

А ода рэссэ  
о ки Иеманжа...

Негритянки танцуют так, словно внезапно сошли с ума. Жрецы ога — среди них и Гума с Руфино — смешались с ними в танце, мерно поворачивая плечи и взмахивая руками, как веслами. В разгар праздника, уже полностью завладевшего всеми (Иеманжа уже давно среди них, пляшет, вселяясь в тело Рикардины), Руфино толкнул Гуму под локоть:

— Гляди-ка, кто смотрит на тебя...

Гума обводит взглядом всех, но не догадывается, о ком говорит Руфино.

— Да вон та, смуглая...

— Вон та, приятная такая?

— Не сводит с тебя глаз...

— Да она в другую сторону смотрит...

Плечи движутся всё в том же ритме. Иеманжа приветствует Гуму, она покровительствует ему. Матерь всех святых поет песнопения на языке наго:

О ийна́ ара́ вэ,  
о ийна́ онарабб...

Все кружатся в пляске, словно одержимые. Но Гума не спускает глаз с девушки, указанной ему другом. Несомненно, это и есть его женщина, та, что посылает ему Иеманжа. У нее гладкие волосы, такие блестящие, что кажутся влажными, глаза прозрачные, как свежая вода, румяные губы. Она почти так же хороша, как сама Жанайна, и молода, очень еще молода, потому что груди ее едва проступают под красным ситцем платья. Все кругом пляшут, Иеманжа пляшет шибче всех, и лишь она, незнакомая эта девушка, сидит одна и только глядит время от времени на Гуму всем своим существом, своими глазами, словно из воды, своими влажными длинными волосами, своей, еще только расцветающей, грудью. Иеманжа послала Гуме его женщину, ту, о которой он просил богиню еще мальчишкой, в день, когда приезжала мать. И Гума ни на мгновение не сомневается, что будет обладать ею, что она будет спать под парусом «Смелого», верной спутницей станет ходить с ним на трудный промысел. И он громко запекает песню в честь Иеманжи, богини с пятью именами, матери моряков и одновременно жены их, что приходит к ним в телах других женщин, так вот внезапно появляющихся в разгар макумбы, управляемой в ее честь.

\* \* \*

Откуда она явилась? Он ринулся искать ее, как только праздник кончился, но ее нигде не было. И он грустно поплелся вслед за Руфино, сразу направившимся в «Звездный маяк» со своей неизменной гитарой.

— Кто эта девушка?

— Какая девушка?

— Та, что, ты говорил, смотрела на меня.

— А то не смотрела? Каждый взгляд — как прожектор...

— Откуда ты знаешь ее?..

— Да я и сам видел ее сегодня в первый раз. Лакомый кусочек. Корма что надо. Обратил внимание?

Гума внезапно пришел в ярость.

— Не смей говорить так о девушке, с которой ты даже не знаком.

Руфино засмеялся:

— Так я ж говорю хорошее.... У нее бока...

— Разузнай, кто она, и скажи мне.

— Так тебя задело, а?

— Может же мне понравиться кто-нибудь!..

— Если Роза узнает, будет кораблекрушение... Так что считай, что ты уж утонул.

Гума засмеялся. Они подошли к «Звездному маяку». Вошли. Роза Палмейрао сидела за столом и пила стакан за стаканом.

— Ухожу я от вас, милые, нет мне здесь дорожки...

Шкипер Мануэл, сидевший за соседним столиком в обществе Марии Клары, явно при этом гордясь любовницей, увидел, что вошел Гума, и крикнул Розе:

— Здесь по тебе скучать будут, девчонка...

— Кто любит меня, уйдет со мною...— И Роза улыбалась Гуме.

Но Гума сел поодаль от нее. Он уже душою принадлежал другой, словно бы Роза Палмейрао давно покинула эти края. Роза встала и подошла к нему:

— Ты грустный сегодня?

— Так ведь ты уезжаешь...

— Если ты хочешь, я останусь...

Ответа не последовало. Он глядел в ночь, опускавшуюся на берег. Роза Палмейрао знала, что значит этот взгляд. Она расставалась так со многими мужчинами, с некоторыми даже со скандалом. Она была стара, не подходила она более для такого молодого мужчины, как он. Тело ее еще красиво, но это уже не тело молодой женщины. И потом тело ее вызывало в нем память о матери, так и не обретенной. Они были чем-то похожи, мать и любовница.

В последний раз образ матери-проститутки растревожил Гуму. Груды Розы Палмейрао, большие, с кинжалом, спрятанным между ними, напомнили ему груди матери, тоже измятые ласками. Но сразу же другое видение вста-



ло перед его глазами — едва проступавшие под платьем груди девушки, которую он видел на кандомбле, ее глаза, как чистая вода, прозрачные, светлые, так непохожие на глаза Розы Палмейрао. Девочка-подросток, еще без истории, без куплетов, сложенных о ней, что глядела на него так просто, не скрывая того, что чувствовала...

— Ты стал важным человеком на пристани... — сказала Роза Палмейрао. — С тех пор, как спас «Канавиейрас»...

Девочка, наверно, знает, что он — тот самый Гума, который в бурную ночь один, на своем маленьком шлюпе, спас большой корабль, набитый людьми... Гума улыбнулся...

Роза Палмейрао тоже улыбнулась. Она уедет отсюда и никого уж больше не станет любить. Теперь ей хотелось только шума и скандалов — на весь остаток жизни. Пусть блещит в драках кинжал, что носит она на груди, нож, что торчит у нее за поясом. Пусть вянет ее красивое тело. А если и вернется она когда-нибудь в свой порт, усталая от драк и шума, то затем лишь, чтоб взять на воспитание какое-нибудь дитя, брошенного ребенка какой-нибудь пропащей женщины. Она станет рассказывать ему истории из жизни всех этих людей, что видела на долгом веку своем, и научит его быть храбрым, как надлежит моряку. И она станет воспитывать этого чужого мальчика как своего сына, как воспитывала бы того сына, что родился мертвым, сына от первого своего мужчины, мулата Розалво. Она тогда сама была почти ребенком, любовь не считается с возрастом. Старуха мать прокляла ее тогда, и так она и отправилась по свету. Он был бродяга, хорошо играл на гитаре, его возили бесплатно на шхунах и кораблях, и музыка его оживляла не один праздник во многих городах побережья. Роза Палмейрао очень сильно его любила, и было ей всего лишь пятнадцать лет, когда она с ним познакомилась. Она с ним и голодала, ибо денег у него никогда не водилось, и терпела от него побои, когда он напивался, и даже прощала ему похождения с другими женщинами. Но когда она узнала, что ребенок родился мертвым из-за того, что он, Розалво, нарочно дал ей тогда это горькое питье, что он не хотел, чтоб дитя родилось живым, тогда она переменялась сразу и навсегда. Тогда она стала Розой Палмейрао с кинжалом на груди и ножом за поясом и ушла, оставив любимого мертвым подле его гитары. Все было в нем ложью — и его песни, и его взгляды, и его мяг-

кая манера говорить. Он даже не успел испугаться, когда той ночью, в постели, она воткнула ему в грудь свой кинжал в расплату за то, что он убил ее нерожденное дитя... Потом долгие месяцы тюрьмы, суд и незнакомый человек, утверждавший, что она была пьяна в ту ночь. Ее отпустили. И она стала женщиной, которой ничто не страшно, — такая слава утвердилась за ней с тех пор и была правдой: у нее просто не было иного пути... Много лет миновало, много мужчин было и ушло. И только лишь с Гумой почувствовала она вновь желание иметь ребенка, малого сыночка, что махал бы ручонками и называл ее мамой. Потому она так любила Гуму... А он вот больше не любит ее, потому что она стала стара. Он также не дал ей сына, но вина тут не его, а ее, уже бесплодной. Ей пора уходить отсюда, ведь он не любит ее.

Они вышли из «Звездного маяка». Падал мелкий дождик... Он обнял ее за талию и подумал, что она заслужила еще одну ночь любви, за все добро, что для него сделала. Еще одну ночь. Прощальную, последнюю ночь под насупленным небом, над морем в мелких завитках дождя. Они направились к «Смелому». Он помог ей взойти на шлюп, растянулся рядом с нею. Он пришел сюда для любовной встречи. Но Роза Палмейрао удержала его (что сделает она сейчас, выхватит кинжал из-за пазухи или нож из-за пояса?) и сказала:

— Я ухожу отсюда, Гума...

Дождь падал тихий, медлительный, и с моря не слышалось никакой музыки.

— Ты женишься в ближайшие дни, прибыла твоя невеста... Красивая, как ты заслуживаешь... Но я хочу от тебя одну вещь на прощанье...

— Какую?

— Я хотела ребенка, но я уж стара...

— Ну что ты...

Дождь падал теперь сильнее, толще.

— Я стара, твой сын не зародился во мне. Но ты женишься, и, когда у тебя будет ребенок, я вернусь сюда. Я стара, волосы мои поседел — разве не видно? Я очень стара, Гума, я клянусь тебе, что больше ни с кем не затею ссоры, не поражу кинжалом никого.

Гума смотрел на нее удивленный: ее словно подменили, говорит так умоляюще, морская глубь глаз устремлена на его лицо, и глаза эти ласковые, материнские.

— Не затею больше ссор... Я хочу, чтоб ты нашел место для этой старой женщины в доме твоей жены... Она ничего не должна знать про то, что у нас с тобой было. И мне ничего больше не надо, ей нечего будет со мною делить. Я хочу только помогать воспитывать твоего сына, словно бы я когда-то сама родила тебя... Я по летам гожусь тебе в матери... Ты позволишь?

Теперь на небе взошли звезды, луна тоже показалась, и нежная музыка понеслась с моря. Роза Палмейрао тихо гладила по лицу Гуму — своего сына. Это было в почт праздника Иеманжи, богини с пятью именами.

### КОРАБЛЬ БРОСАЕТ ЯКОРЬ

Большой корабль бросает якорь у пристани. Большой корабль отплывает... Роза Палмейрао отплыла на большом корабле.

Гума смотрел на женщину, машущую ему платком с палубы третьего класса. Она отправлялась на поиски последних своих приключений. Когда вернется, найдет она дитя, о ком заботиться, кого-то, кто станет ей внуком. Корабль плыл уж далёко-далёко, а она все махала платочком, и люди с пристани махали ей в ответ. Кто-то сказал за спиной Гумы:

— Вот неугомонная... Все бы ей по свету рыскать...

Гума медленно пошел назад. Вечер сгущался понемногу, и дома его ждал груз, который надо было отвезти в Кашозэйру. Но сегодня ему не хотелось уходить с набережной, не хотелось переплывать бухту. Вот уже несколько дней, с момента празднества в честь Иеманжи, он думал только о том, чтоб встретить девушку, что глядела на него тогда. Ничего не удалось ему узнать о ней, ибо этой ночью масса народу собралась на празднике отца Анселмо, и многие пришли издалека, даже с дальних плантаций Консейсан-да-Фейра. Он исходил вдоль и поперек все улицы, близкие к порту, проверял дом за домом — и не нашел ее. Никто не знал, кто она такая и где живет. Во всяком случае, здесь, в порту, она не живет, здесь все друг друга знают в лицо. Негр Руфино тоже не смог ничего о ней узнать. Но Гума не терял надежды. Он был уверен, что найдет ее.

Сегодня его ждет груз товаров, который он должен от-

везти. Когда груз будет сложен на его шлюпе, он отплывет в Кашоэйру. Еще раз подыметесь вверх по реке. Жизнь моряка так полна опасностей, что уж все равно: вниз ли, вверх ли по реке или через бухту... Это дело обычное, каждодневное, никому не внушающее страха. Так что Гума и не думает о предстоящем плавании. Он думает о другом: что многое бы отдал за то, чтоб снова повстречать девушку, которую видел на празднике Иеманжи. Теперь ведь Роза уехала, он свободен... Он идет по берегу, тихонько насвистывая. Со стороны рынка слышится пенье. Это поют матросы и грузчики. Они собрались в круг, в центре которого пляшет какой-то мулат, напевая задорно:

Я мулат, не отрекаюсь,  
сам господь меня поймет:  
даже если попытаюсь —  
шевелюра выдает!

Остальные хлопают в ладоши. Губы распахнуты в улыбке, тела мерно раскачиваются в такт мелодии.

Мулат поет:

Не смогу казаться белым,  
хоть лицо мне вымажь мелом,—  
больно круты завитки...

Гума подошел к компании. Первый, кого он увидел и едва узнал в щегольском темно-синем костюме, был Родолфо, о котором вот уж долгие месяцы не было ни слуху ни духу. Родолфо сидел на перевернутом ящике и улыбался певцу. Здесь были еще Шавьер, Манека Безрукий, Жакес и Севериано. Старый Франсиско сидел тут же и пыхтел трубкой.

Родолфо, едва увидев Гуму, замахал руками:

— Мне очень нужно сказать тебе пару слов...

— Ладно...

Мулат уже кончил песню и стоял посреди круга, улыбаясь друзьям. Он задыхался после быстрой пляски, но глядел победителем. Это был Жезуино, матрос с «Морской русалки», большой баржи, плававшей между Баией и Санто-Амаро. Он улыбнулся Гуме:

— Привет, старина...

Манека Безрукий услышал это ласковое приветствие и пошутил:

— Лучше и не заговаривай с Гумой, Жезу... У парня руль сломался...

— Что сломалось?

— Потерял направление. Призрак ему явился...

Все засмеялись. Манека продолжал:

— Говорят, мужчина, как ему в голову дурь ударит, баба то есть, сразу идет ко дну. Вы разве не знаете, что он чуть было не разбил «Смелого» о большие рифы?

Гума в конце концов обозлился. Он никогда не обижался на шутки, но сегодня, сам не зная почему, прямо-таки рассвирепел. Если б у Манеки Безрукого обе руки были здоровые... Но тут вмешались Севериано и Жакес:

— Какую шкуру подцепил ты на этот раз? — полюбопытствовал Жакес.

— Верно, старая ведьма какая-нибудь, уж песок сыплется... — подхватил Севериано, раздражаясь своим роко-чуцим, дерзким смехом.

Руфино, заметив, как Гума сжал кулаки, сказал примирительно:

— Ладно, хватит, ребята. Каждый живет, как знает.

— А ты ее ходатай, что ли? — Севериано засмеялся еще пуще. Все кругом тоже смеялись. Но долго им смеяться не пришлось, ибо Гума бросился с кулаками на Севериано. Жакес хотел разнять их, но Руфино оттолкнул его:

— Надо, чтоб один на один...

— Перестань дурью мучиться... Ты кто: мужчина или баба? Рыбацкая женка...

И Жакес бросился на негра. Руфино отскочил назад и, пробормотав: «Страшнее кошки зверя нет...» — ловко уклонился от удара, который хотел нанести ему Жакес, резко повернулся на пятках — и противник так и шлепнулся оземь во весь свой рост. А Гума тем временем награждал тумаками Севериано. Прочие глядели на все это, не понимая хорошенько, что же здесь происходит. Внезапно Севериано высвободился и схватился за нож. Старый Франсиско вскрикнул:

— Он убьет Гуму...

Севериано прислонился к стене рынка, размахивал ножом и кричал Гуме:

— Пошли Розу драться со мной, ты не мужчина, ты баба!

Гума ринулся на него, но Севериано ударил его ногой в живот. Гума рухнул на землю, и противник так и упал на него с ножом в руке. Но тут Родолфо, дотеле беззаботно напевавший, рванулся вперед и сжал руку зачинщика с такой силой, что тот выронил нож. А Гума тем временем уже поднялся и снова напал на Севериано и мо-

лотил его до тех пор, пока тот не свалился почти что замертво.

— А ты, видать, мужчина, только когда у тебя нож в руках...

Теперь негр Руфино пел победоносно:

Ну, храбрец, тебе досталось!  
Ничего, попомнишь наших!  
У тебя такая харя,  
словно ты объелся каши.

Люди медленно расходились. Несколько человек подхватили Севериано и отнесли его в лодку. Жакес пошел домой, бормоча угрозы. Гума и Руфино направились к «Смелому». Гума уже прыгнул на палубу, как вдруг слышался крик Родолфо:

— Ты куда?

Гума обернулся:

— Если б не ты, я был бы уж мертвый...

— Оставь, пожалуйста...

Родолфо вспомнил:

— Мы так мальчишками дрались. Помнишь? Только тогда мы были противниками.

Он снял свои начищенные ботинки и зашлепал по грязи к причалу:

— Мне надо сказать тебе два слова.

— Что такое?

— Ты не занят сейчас?

— Нет... (Гума был уверен, что тот попросит денег.)

— Тогда садись, поговорим.

— Что ж, я пошел... — Руфино распрощался.

Родолфо провел рукой по напояженным волосам. От него пахло дешевым брильянтином. Гума подумал: где же он провел последние месяцы? В другом городе? В тюрьме за воровство? Толковали, что он на руку не чист. Крал бумажки, вымогал деньги в долг без отдачи, как-то раз даже пустил в ход нож, чтоб очистить чьи-то карманы. Тогда его впервые посадили. Но на сей раз Родолфо приехал нарядный и в долг ни у кого не просил...

— Ты отплываешь сегодня?

— Да. Направляюсь в Кашозйру...

— Это срочно?

— Срочно. Груз со склада. От Ранжела, он просил поскорее, это для карнавала...

— Карнавал будет что надо...

Гума укладывал тюки на дне шлюпа:

— Говори, я тебя слышу отсюда.

Родолфо подумал, что так даже лучше, легче, так он не видит Гумы и может говорить без стеснения.

— Это запутанная история. Я лучше начну с самого начала...

— Да говори же...

— Ты помнишь моего отца?

— Старого Конкордиа? Помню, конечно... Он еще винный погребок держал, на базаре.

— Точно. Но мать мою ты не можешь помнить. Она умерла, когда я родился.

Он поглядел на воду. Помолчал. Потом бросил взгляд в трюм, где был Гума, раскладывающий тюки.

— Я слушаю, говори.

— Так вот: старый Конкордиа никогда не был женат на ней...

Гума поднял голову и удивленно взглянул вверх. Он увидел, что Родолфо стоит на корме у самого борта и задумчиво смотрит на воду. Зачем он пришел? Зачем рассказывает все это?

— Настоящая его жена жила в городе, на одной из улиц верхней части города. Когда отец умирал, он все рассказал мне... Ты сам видишь, я ничего не сделал, не пошел к этой женщине, его жене — что мне было там делать? Остался здесь с этим дырявым корытом, что мне оставил старик и на котором плавал раньше он сам. А потом я выбрал другую жизнь, здешняя меня не очень-то тянет.

Гума поднялся наверх, уложив уже груз. Он сел напротив Родолфо.

— Жизнь и правда не легкая... Но что ж остается?

— Так и есть... Ушел я и с тех пор и качусь из одного места в другое.

Он опустил голову:

— Ты ведь знаешь, что я уж понюхал тюрьмы... Там вот, недавно иду я себе спокойно, достал пемного деньжонков — выгодное дельце подвернулось с полковником Бонфином... Вот тут-то я и наткнулся на сестру...

— У тебя есть сестра?

— Да я и сам не знал. Старик ни разу не обмолвился про дочку. Велел только разыскать его жену, она, мол, знает, что у него сын есть, и примет, и растить станет, как своего.

— И у нее была дочь...

— В тот день, о котором я рассказываю, мы и встретились. Она знала обо мне и разыскивала. С тех пор как мать умерла,— около года.

— А где ж она столько времени жила?

— У тетки, верней, у дальней родственницы какой-то.

— Родственницы старого Конкордия?

— Нет, видно, матери. Не разберешь толком.

Гума никак не мог понять: какое он-то имеет отношение ко всему этому? Зачем Родолфо рассказывает ему эту историю?

— Так вот, друг. Девчонка меня разыскала. Говорила, что поможет мне встать на верный путь, много чего говорила, умно так. И вот что я тебе скажу: клянусь богом, лучше этой девчонки я в жизни не встречал... Она моложе меня, восемнадцать лет всего. Исправить меня она, конечно, не исправит, я уж, верно, совесть-то совсем потерял. Кто ступит на эту дорожку, тому с нее не сойти...

Он помолчал, зажег сигарету:

— Раз отвык работать, то уж не привыкнешь...

Гума тихонько принялся насвистывать. Ему было жаль Родолфо. О нем плохо говорили в порту: что и на руку не чист и ни на что не годен. Он завяз в этой жизни, теперь ему не выбраться даже с помощью этой доброй сестры.

— Она как начнет меня распекать, я обещаю все, жаль мне ее становится. Говорит, что я плохо кончу. И права.

Он широко развел руками, словно чтоб развеять весь этот разговор, и объяснил наконец:

— Так вот, сестра хочет, чтоб я привел тебя к ним...

— Меня привел? — Гума даже испугался.

— Ну да... Эти ее родственники ехали на «Канавией-расе», когда ты его спас. Ты тогда поступил, как настоящий мужчина. А люди эти ездили в Ильеус улаживать какие-то дела. Ничего они там не уладили и возвращались назад. Они овощную лавку держат, на улице Руи Барбозы. Все в третьем классе ехали, она думала, что все погибли! Поблагодарить тебя хочет...

— Глупости. Всякий на моем месте сделал бы то же самое. Мне просто повезло: буря не так сильна была...

— Она тебя видела. На празднике Иеманжи. Пришла, только чтоб тебя увидеть. Она была на кандомбле старого Анселмо.

— Смуглая, с гладкими волосами?



— Да, да...

Гума словно онемел. Он в ужасном испуге смотрел на Родолфо, на парус «Смелого», на море. Ему хотелось цеть, кричать, прыгать от радости. Родолфо спросил:

— Да что на тебя вдруг нашло?

— Ничего. Я уже знаю, кто это...

— Вот и хорошо. Как отвезешь груз, так сразу же собирайся и пойдем. А я ей скажу, что ты обещал.

Гума с яростью смотрел на свой шлюп и на тюки ткани, которые подрядился отвезти. Ему хотелось идти немедленно к сестре Родолфо.

— Ладно, договорились.

— Ну, прощай. Известишь тогда...

Родолфо прыгнул на берег, держа в руках ботинки. Гума крикнул вслед:

— Как ее имя?

— Ливия!

\* \* \*

Гума поднял паруса «Смелого», снялся с якоря и пустил шлюп по ветру. Шкипер Мануэл шел на «Вечном скитальце», уже за волноломом. Никто в те времена не плавал так ходко, как шкипер Мануэл на своем судне. Гума посмотрел на «Вечного скитальца»: он шел быстро, паруса надувались ветром. Ночь опустилась уже густая. Гума разжег трубку, зажег фонарь, и «Смелый» послушно заскользил по волнам.

Близ Итапарики он нагнал шхуну шкипера Мануэла:

— Побьемся об заклад, Мануэл?

— А тебе до куда?

— Сначала Марагожипе, оттуда в Кашоэйру.

— Тогда состязаемся до Марагожипе.

— Ставлю пятерку...

— И еще десятку, если ты проиграешь, — крикнул негр Антонио Балдуино, гость на судне Мануэла.

— Согласен...

И парусники пошли вместе, взрезая спокойную воду. На палубе «Скитальца» Мария Клара запела. В этот момент Гума понял, что проиграет. Нет такого ветра, что противостал бы песне, когда она хороша. А та, что поет Мария Клара, чудо хороша. Судно шкипера Мануэла приближается к цели. А «Смелый» плывет словно нехотя, ибо и Гума весь во власти песни. Огни Марагожипе уже видны за рекой. «Вечный скиталец» проходит мимо «Смелого»,

чуть не задев его бортом, Гума бросает пятнадцать миль-рейсов, шкипер Мануэл кричит ему:

— Счастливым путем!

Шкипер Мануэл доволен, что выиграл еще одно состязание на быстроту и что его слава на побережье еще укрепитя. Но Гуме тоже сопутствует слава. Он хороший моряк, рука его тверда на руле, и храбрец он каких мало. В ночь, когда чуть не погиб «Канавиейрас», никто не хотел выходить в море, только у него хватило храбрости. Даже шкипер Мануэл не осмелился. Даже Шавьер, со своей тайной тоской. Только он, Гума. С тех пор слава его передается из уст в уста на побережье и в порту. Он из тех, кто оставляет после себя легенду, историю, над которой могут поразмыслить другие.

«Смелый» спешит сквозь тихую ночь по кроткой реке. Вот он входит в глубокий полукруг гавани Марагожипе. Гума счастлив. Ее зовут Ливия. Он никогда прежде не встречал женщины с подобным именем. Когда она будет с ним, шкипер Мануэл проиграет все состязания, потому что она станет петь, подобно Марии Кларе, старинные песни моря. Иеманжа услышала его наконец и посылает ему женщину, о которой он просил.

Есть песня, в которой говорится о том, какая несчастливая судьба у жены моряка. Говорят также, что сердце моряка изменчиво, как ветер, дующий в паруса, и не пускает корня ни в одном порту. Но каждое судно несет имя своего порта, начертанное на корпусе крупными буквами и видное всем. Оно может плавать по многим местам, может не приставать к родному берегу много лет, но порта своего не забудет и когда-нибудь обязательно вернется. Так и сердце моряка. Никогда не забудет моряк женщину, которая принадлежит ему одному. Шавьер, у которого на каждой улице по зазнобе, так и не забыл ту, что звала его Совушкой и как-то ночью вдруг ушла от него, беременная. И Гума тоже не забудет Ливию, эту вот Ливию, которую он еще и разглядеть-то не успел хорошенько... А вот и берег Марагожипе.

На пристани уже ждет человек. Сговариваются, что на обратном пути «Смелый» захватит груз сигар. Гума выпивает рюмку в ближайшем кабаке и снова пускается в путь.

В этих местах надо плыть побыстрее. Именно здесь и появляется белый конь. Никто и не помнит, когда он в первый раз появился, он бежит, не останавливаясь. Никто

не знает, почему он мчится так вот по этим чащам, что подступили к самой реке. Развалины старых феодальных замков, когда-то возвышавшихся здесь, заброшенные и поросшие травой плантации — все это принадлежит белому коню-призраку, что мчится, не останавливаясь. А кто увидит белого коня, тот с места не сойдет. Известно, что чаще всего он появляется в мае, это главный месяц его набегов... Гума плывет вперед и вперед на своем шлюпе и помимо воли всматривается в густые окрестные чащи — владенье коня-призрака.

Говорят, это мучается грешная душа свирепого феодала, некогда хозяина многих плантаций, убивавшего людей и заставлявшего лошадей работать до тех пор, пока те не падали мертвыми. Вот он и преобразился в белого коня и навеки обречен бежать по берегу этой реки, бежать без усталости, расплачиваясь за содеянное. На спине у него тяжелый груз, не легче того, какой взваливал он на спины своих лошадей. Хребет его трещит под этим грузом, а он все скачет и скачет сквозь чащу леса. Земля дрожит под его копытом, а кто увидит его, тот с места не сойдет. И тогда лишь остановит он бег свой по этим землям, некогда сплошь покрытым его плантациями, когда кто-нибудь сжалится над ним и снимет со спины его груз — огромные корзины, набитые камнями на постройку его замка. Много уж лет мчится он так по прибрежным чащам...

Что там за шум? Наверно, белый конь... Сегодня Гуме хочется углубиться в чащу, встретить белого коня и снять со спины его груз, освободить этого бывшего рабовладельца, владеющего теперь лишь собственным рабством. Сегодня Гума счастлив. «Смелый» бежит по волнам реки. Быстро бежит, подгоняемый стуком копыт коня-призрака. Быстро бежит еще и оттого, что Гума обязательно хочет вернуться завтра же, вернуться в свой порт, чтоб увидеть Ливию.

Никогда раньше плавание не казалось ему таким долгим. А столько еще надо успеть! Разгрузиться в Кашоэйре, принять новый груз в Марагожипе, идти вниз по течению до Баии. Слишком долгое плавание для человека, так торопящегося вернуться. Но ничего, скоро уж с ним будет она, Ливия. Взойдет вместе с ним на палубу «Смелого», станет петь для него песни, поможет выиграть все состязания. Потому-то и надо спешить, ведь это плавание такое длинное — целых два дня...

Шумные приветствия встречают Гуму. Таверна полнится людьми. Пристань Кашозйры всегда такая шумная, людная, суда приходят со всех сторон, а сегодня у причала высится еще и большой пароход Баиянской компании. Часа в три ночи он отплывает, и поэтому морякам не до сна, и они проводят оставшиеся часы в портовой таверне, попивая тростниковую водку и целуя женщин. Гума садится за столик, тоже намереваясь выпить. Слепой музыкант играет на гитаре у раскрытой двери. Женщины охотно смеются, даже когда смеяться не над чем — только чтоб угодить гостям. Одна только тихо жалуется новому знакомому на свою жизнь:

— Уж так тяжело... И на обед не соберешь...

Какие-то люди рассказывают Гуме про драку, что накануне вечером завязалась между матросами и местными парнями. Из-за женщины. В одном таком доме, понятно? Парни были под хмельком, один хотел зайти в комнату к женщине, а она там была не одна, и был у нее Траира, матрос со «Святой Марии». Парень стал было барабанить ногами в дверь, Траира поднялся, дернул дверь изнутри, парень так и повалился за порог. Потом вскочил да как примется выкрикивать разные слова, и все кричал, что эта женщина его и чтоб грязный негр убирался вон, коли не хочет, чтоб ему рожу расквасили. Парней было человек шесть, и все они гоготали и тоже кричали Траире, что пусть поторапливается, а то ему несдобровать. Ну, тут кровь бросилась Траире в голову, и он сцепился с обидчиками.

— Один против шести, представляешь... Где ж ему их одолеть, это было бы чудом,— объяснял толстый негр по имени Жозуэ.— Дрался он здорово, и хоть самому порядком досталось, но за честь свою постоял. Ну, тут народ собрался, толпа целая, такая заваруха пошла... Парни те перетрусили, пустились наутек, а один так даже под кровать забился...

Все смеялись. Гума тоже.

— Правильно... Нечего дурить...

— Ты еще главного не знаешь. Парни те, оказывается, в торговле работают. Так что сегодня толки по всему городу пошли. На каждом углу толкуют. Сам понимаешь — баба замешана. А так как сейчас здесь военные ученья

проходят, так, говорят, нынче, сразу же после учений прямо из военной школы все они собираются отправиться в дом к той женщине — поджидать нас, чтоб свести счеты за вчерашнее.

— Так они хотят...

— Думают, что стоит надеть форму — и храбрецом станешь, — засмеялся высокий мулат.

— Мы как раз собираемся туда. Пойдем с нами.

Гума отмахнулся: нет. В другой раз он обязательно пошел бы с большим удовольствием, он любил поглядеть на такие дела. Но сегодня ему хотелось вернуться на свой шлюп и слушать песню, любую песню, что море донесет до его слуха, чтоб думать о Ливии.

— Как так? Ты не идешь с нами? — изумился Жозуэ.— Вот уж этого я от тебя не ожидал. Я думал, ты хороший товарищ.

— Так я ж тут вовсе ни при чем, — пытался оправдаться Гума.

— Как ты сказал? Ты что, не моряк, что ли?!

Гума понял, что ничего не поделаешь, придется пойти. Если он не пойдет, то ему на всем побережье никто больше руки не подаст.

— Ладно, забудьте, что я сказал. Принимаю вызов.

— Так мы и думали...

Вскоре явился и сам Траира, слегка навеселе. Его приветствовали восторженными криками:

— О, Траира! Вот это настоящий мужчина!

Траира радостно отозвался:

— Добрый вечер всей команде. И да здравствуют моряки!..

Гума мало знал этого человека. Тот не бывал почти в Баие, больше все плавал по портам побережья с грузом табака. Траира был плотный мулат с лицом шоколадного цвета, аккуратно подстриженными усиками и бритой головой. Жозуэ познакомил их:

— Это вот Гума, храбрый негр. Истинно храбрый.

— А мы уж знакомы, — сказал Траира.

Он широко улыбался, зажав зубочистку в углу рта. На нем была полосатая рубашка, и, обращаясь к Гуме, он склонялся в комическом поклоне:

— Я много слышал про вас... Это вы тогда?..

— Он, он. Взял свое суденышко, нырнул в эту чертову бурю и привел «Капавиейрас», хоть кругом был суцый ад и конец света.

— Ну что ж, сегодня храброму человеку будет где развернуться.

— Жозуэ мне уже рассказывал...

— Вначале-то я был один. Ну, меня как ударили в борт, я чуть ко дну не пошел. А тут, глядь, прибор — подкрепление явилось.

— Мы их так разукрасили... — И Жозуэ сжал кулак, потом разжал, потом снова сжал и со всей силы опустил на трактирную стойку. Этот таинственный жест означал, очевидно, что они едва не прикончили этих наглых парней.

— А теперь они хотят с нами расквитаться. Чуть не целая рота ждет нас...

С улицы раздавался ритмический шум шагов многих ног. Это шли с учений. Слышалась команда: «Напра-во...» И шум шагов в повороте. Жозуэ спросил еще водки.

Траира предложил:

— Пошли, ребята. А то опоздаем, они скажут: испугались.

Бросили монетки на стойку и вышли. Двенадцать человек. Матросы с парохода не пришли, им надо было оставаться на борту, на рассвете отплывали. Один даже огорчился:

— Такой случай пропустить! Обидно даже. Когда я из-за любой ерунды в драку лезу... Надо же...

Двенадцать храбрецов, мирно беседуя, направлялись к улице гулящих женщин. Они говорили обо всяких житейских вещах, словно забыв о предстоящем сражении. Вспоминали разные случаи, происшедшие, когда они ходили на лов. Один, тощий такой, рассказывал бесконечную историю про то, как он ел вяленую рыбу у своего кума в Сан-Фелисе. Траира слушал, весь внимание, чуть склонив к плечу бритую голову, блестящую в темноте, когда они проходили под фонарем. Но, войдя в улицу гулящих женщин, все двенадцать разразились громкими криками:

— Вот и мы! Вот и мы!

Прохожие испуганно оглядывались. Странная компания. Издали видно, что моряки, ибо идут неуверенным шагом, широко расставляя ноги, как по палубе. Вразвалку, словно борясь с сильным ветром. Какой-то парень лет девятнадцати сказал своему спутнику постарше:

— Это моряки. Уйдем отсюда.

Спутник пожал плечами, затягиваясь сигаретой:

— Ну и что же? Такие ж люди, как мы. Бояться нечего.

Однако все вокруг насторожились. Какой-то старик проворчал, проходя:

— И что только смотрит полиция? Шайка бездельников... Честный человек не может спокойно пройти по улице,— и с тоской смотрел на женщин, свесившихся из окон.

Группа моряков прошла мимо говоривших. Тот, что курил сигарету, выпустил клуб дыма прямо в лицо Жозуэ.

— Ты это нарочно, гад?

Нет, не нарочно. Парень оправдывался с дрожью в голосе. Спутник поддержал его. Жозуэ глядел грозно. Товарищи ждали немного поодаль.

— Тебя что, шпионить послали?

— Да мы уж домой собрались. Мы никакого не имеем отношения, начальник.

— Никому я не начальник. Нечего болтать зря.

Траира крикнул Жозуэ:

— Дай ему хорошенько, и пошли дальше, слышишь? А то опоздаем.

Тут младший начал умолять:

— Не бейте меня, ради бога. Я ничего плохого не сделал.

Жозуэ опустил кулак:

— Тогда уходи с глаз долой.

Повторять второй раз не пришлось... Когда Жозуэ догнал товарищей, Гума спросил:

— Что произошло?

— Ерунда. Пареньки чуть со страху не померли...

Они вошли в один из домов. Из внутренних комнат навстречу им вышла, покачивая бедрами, толстая мулатка:

— Чего вам здесь надо?

Жозуэ решил сразу же взять быка за рога:

— Как здоровье, мать?

— Может, я чертова мать, да только не твоя. Вы зачем сюда явились? Шуметь, как вчера? А полиция потом с меня спрашивает. Давайте отсюда, давайте...

— Да бог с тобой, Тиберия. Мы пришли только позавеселиться с девочками. Что уж, нам и к женщинам ходить нельзя?

Содержательница дома свиданий смотрела недоверчиво.

— Я знаю, зачем вы пришли. Вы только и умеете, что

затевать драки. Думаете, верно, что так нам здесь хорошо живется, своей чесотки мало...

— Да нам бы только пивка выпить, Тиберия.

Они вошли. В большой зале женщины, сидевшие вокруг стола, взглянули на них испуганно. Один из товарищей сказал Гуме:

— Они нас за диковинных зверей приняли? Или за души с того света?

Одна из женщин, стареющая блондинка, сказала Траира:

— Ты опять пришел воду мутить, бесстыдник? Дьявол тебя срази. Меня сегодня в участок вызывали...

— Я пришел затем лишь, чтоб нашу вчерашнюю любовь завершить, Лулу.

Сели за стол. Появилось пиво. Женщин было только пять. Тиберия предупредила:

— На всех вас у меня женщин не хватит. На пятерых только...

— Остальные пусть в другие дома идут, — предложил Траира.

— Но сначала выпьем пивка все вместе. — И Жозуэ ударил кулаком по столу, требуя еще пива.

Потом некоторые ушли в другие дома. Они вернутся, как только услышат шаг курсантов, возвращающихся с учений, и окружают дом Тиберии, чтоб, когда начнется заваруха, быть на месте. Из двенадцати за этим столом останутся только Траира, Жозуэ, тощий мулат, мужчина со шрамом на подбородке и Гума, с которым Жозуэ, совсем уже пьяный, ничем не желал расставаться.

— Ты даже не знаешь, какой я теперь тебе друг... Посмей только кто-нибудь сказать про тебя плохое в моем присутствии...

Человек со шрамом сказал:

— Я вашего отца знал когда-то. Говорят, он отправил подальше одного типа...

Гума не ответил. Одна из женщин завела патефон. Жозуэ утащил какую-то мулаточку в заднюю комнату. Траира ушел со стареющей блондинкой. Тиберия считала кувшины из-под пива, выпитого компанией. Человек со шрамом уснул, уронив голову на стол. Одна из женщин подошла к нему:

— А как же я? Одна останусь?

Человек со шрамом пошел за нею пехотя, как на аркане. Тощий мулат сказал:



— Я-то, собственно, драться пришел. Но раз уж я здесь... — и тоже подхватил женщину.

Гуме досталась совсем молоденькая, со смуглым лицом. Она очень не походила на продажную женщину. Наверно, недавно попала сюда. В комнате она сразу же стала раздеваться.

— Ты меня угостишь рюмкой коньяку, мой хороший?

— Можно...

— Тиберия! Коньяку!

Уже в одной рубашке, она взяла заказанный бокал, чуть приоткрыв дверь. Выпила залпом, предложив предварительно Гуме:

— Хочешь?

Он щелкнул языком: нет, спасибо... Она растянулась на постели.

— Чего ты там ждешь? (Гума сидел в ногах постели.) Не хочешь?

Гума снял сапоги и куртку. Она сказала:

— Все сдается мне, что не за этим вы все пришли сегодня.

— Да нет. За этим самым.

Свеча освещала комнату. Она объяснила, что лампа перегорела, «здесь в Капшэйре так плохо с электричеством, знаешь?...». Гума, растянувшись на постели, смотрел на лежащую рядом женщину. Она так молода еще. А здесь скоро станет старухой. Такую же жизнь вела, наверно, и ее мать. Несчастливая судьба. Он спросил женщину:

— Как тебя зовут?

— Рита.— Она повернулась к нему: — Рита Мария да Энкарнасао.

— Красивое имя. Но ты ведь не здешняя, верно?

Рита поморщилась.

— Видишь ли... Я здесь потому, что... — Она закончила фразу неопределенным взмахом руки и печальным взглядом.— Я вообще-то из столицы штата.

— Из Баии? Да ну?

— А что ж тут удивительного... Или ты подумал, что я деревенская какая-нибудь?

— Я подумал только, что ты слишком молода для такой жизни...

— Горе веку не разбирает.

— А сколько тебе лет-то?

Тень от горящей свечи чертила причудливые зигзаги по стенам комнаты с глинобитным полом. Женщина вытянулась на постели и взглянула на Гуму:

— Шестнадцать. А зачем тебе, извини за вопрос?

— Ты еще очень молода, а уж ведешь такую жизнь. Слушай: я знал одну женщину (он вспомнил мать), она очень быстро состарилась от этой жизни.

— Ты что, пришел мне проповедь читать? Ты кто: моряк или поп?

Гума улыбнулся:

— Нет, я так... пожалел просто.

Женщина села на кровати. Руки ее дрожали.

— Не нуждаюсь в твоей жалости. Зачем ты пришел? Что тебе нужно?

И (кто знает почему) вдруг закрылась простыней от внезапно нахлынувшего стыда. Гуме было грустно, и ее слова не казались ему обидными. Он находил ее красивой, ей было всего только шестнадцать лет, и он думал, что вот, верно, и мать была когда-то такой же. Ему было жаль ее, и от ее жестких слов становилось еще грустнее. Он положил руку ей на плечо и сделал это так мягко и нежно, что она пристально посмотрела на него.

— Извини...

— Знаешь, кто была женщина, о которой я тебе только что рассказал? Моя мать. Когда я ее видел, она была еще молода, но была уж развалиной, как корабль, потерпевший крушение... Ты красива, ты девочка еще. Почему же все-таки ты здесь? — Он теперь почти кричал, сам не зная зачем. — Нечего тебе здесь делать. Сразу видно, что совсем тебе не место здесь.

Она еще плотнее закуталась в простыню. Она дрожала, словно ей было очень холодно или словно ее ударили хлыстом. Гума уже раскаивался, что так кричал.

— Нечего тебе здесь делать. Почему ты не уйдешь? (Голос его был нежен, как у сына, говорящего с матерью. Он и говорил этой женщине все то, чего не пришлось сказать матери.)

— Куда? Кто сюда попадет, тому уж не выбраться. Засасывает, как тряпина. Я уж смирилась. Ты пришел, чтоб сделать мне больно. Зачем? Разве от этого лучше будет?

Огонь свечи то затухал, то разгорался снова.

— Я не из Баии, нет, я тебе наврала. Я там и не бы-

вала никогда. Я из Алагоиньяс, а сюда меня стыд загнал... Человек тот был коммивояжер. Я от стыда свой край покинул. Сыночек мой умер.

Он положил обе руки на голову Риты. Она тихонько плакала, прижавшись головой к его груди.

— Скажи: что же мне теперь делать?

В дверь постучали. Гума услышал голос Жозуэ:

— Гума!

— В чем дело?

— Они уже здесь... Выходи.

С улицы слышались шаги и шум голосов. Женщина схватила Гуму за локоть:

— Что там?

— Это курсанты, с учений. Сейчас такая каша заварится.— И он хотел соскочить с кровати.

Она ухватила за него обеими руками, на лице ее выразился испуг, глаза еще полны были слез. Она ухватила за него как за последнюю надежду, за дерево, растущее на краю пропасти.

— Ты не пойдешь, нет...

Он ласково погладил ее по щеке.

— Да ничего не случится. Пусти...

Она глядела на него, не понимая.

— А со мной-то что будет? Со мной? Ты не пойдешь, я не пущу... Ты мой, ты не можешь теперь на смерть идти... Если ты умрешь, я убью себя...

Он опрометью бросился из комнаты и в коридоре все еще слышал, несмотря на грозные крики и нарастающий шум скандала, ее плач и ее голос, вопрошавший:

— А я-то? Я тоже умру... Я убью себя...

\* \* \*

Курсантов из военной школы было человек семьдесят, почти вся школа, кроме семейных, благоразумно оставшихся дома. Если бы их было меньше, весь скандал окончился бы иначе. Они буквально наводнили комнаты, нанося удары направо и налево, не разбирая, где мужчины и где женщины. Моряки привяли бой. Никто не заметил: Траира ли первый схватился за нож или курсант первый выстрелил. Когда прибыла полиция, моряки уже скрылись через задний двор, перепрыгнув стену и рассеявшись по пристань,— опасное место для преследования людей

моря. Курсант, получивший удар ножом, умер. Второй был легко ранен — в руку. Кровавый след, который оставил, выходя, Траира, доказывал, что в него стреляли, и сержант школы уверял, что стреляли в грудь, он сам видел, как курсант навел пистолет.

— Но мулат, уже раненный, поразил его ножом. Потом вышел, согнувшись, как старик. Пуля попала в грудь, я ручаюсь. Он не дойдет до пристани...

Женщина тоже была мертва. Она кинулась между Гумой и направленным на него пистолетом, но никто не обратил внимания на Риту — подумаешь, важность: проститутка. Все жалели убитого курсанта: мальчик из хорошей семьи, сын адвоката, пользовался доброй славой по всей округе. Начальник участка почесал голову (он спал, когда его вызвали), взглянул на труп Риты, толкнул ногой:

— А эта зачем?

Стареющая блондинка была перепугана.

— Не знаю, что на нее нашло. Выбежала из комнаты, как безумная, вцепилась в мужчину, который только что у нее был, хотела затащить обратно. Тут началась стрельба, она заслонила его собой, ну и получила, что причиталось ему...

— Она была его любовница?

— Да то-то и есть, что она с ним познакомилась только сегодня вечером...— Женщина покачала головой: — Не знаю, что на нее нашло...

Другие тоже не понимали. Никто не понимал. Никто не знал, что она лишь снова обрела чистоту, оставив эту жизнь. Не для этой жизни она родилась и оставила ее во имя своей любви. И Тиберия, содержательница публичного дома, широко раскрыв испуганные глаза, повторила тоже:

— Не знаю, что на нее нашло...

\* \* \*

Гума бросился в воду далеко от того места, где стоял «Смелый». Поплыл, достиг шлюпа, взобрался на борт. Чья-то тень поднялась навстречу ему, и послышался шепот:

— Гума, ты?

Это был Жозуэ. Обнаженный до пояса. Вода в реке подымалась, и шлюп оказался довольно далеко от причала.

— Ну и ад был... Траира здесь. Я его вплавь приволок. Сам чуть не задохся.

— Зачем ты его сюда?..

— Плох он, Гума. Довезти бы до Баии... Если найдут здесь, схватят беднягу обязательно. И еще с пулей в животе...

Набережная была пустынна. Пароход Баианской компании, ярко освещенный, принимал немногих своих пассажиров. Лодки скрылись. Жозуэ объяснил:

— Когда я дотащил его до берега, весь наш караван уж поднял якоря. Только «Смелый» оставался на месте. Если б у меня была шхуна, я б сам его отвез. Но на моей лодчонке его живым не довести.

— Где ты положил его?

— Там, в трюме. Я перевязал ему рану, сейчас он, кажется, задремал...

— Что мне с ним делать?

— Отвези его к доктору Родриго, он хороший человек, сделает, что может. Потом Траира сумеет замести следы.

— Ладно.

Гума навел фонарь на Траиру, лежащего внизу. Кровь больше не текла из раны. Траира казался мертвецом. Только дыхание указывало, что он еще жив. Фонарь освещал посеревшее лицо и бритую голову. Жозуэ сказал:

— Поторопись друг, а то полиция вот-вот нагрянет.

Он помог Гуме поднять парус и, когда шлюп отошел, бросился в воду. На прощанье махнул рукой:

— До встречи... Можешь на меня рассчитывать всегда.

Покидая гавань, Гума наблюдал необычное оживление на баианском пароходе. По трапу подымалось много людей, все громко говорили. Вероятно, полиция. Гума крепко сжимал руль, «Смелый» бежал по волнам со всей быстротой, на какую способен. Гума погасил фонарь и вел судно осторожно — в реке много мелей и ночь темна. Он услышал первый гудок баианского парохода. «Мне остается один час», — подумал он. Один час, чтоб опередить пароход, чтоб уйти на такое расстояние, когда полицейский досмотр станет уже невозможным. Надо укрыться в каком-нибудь глухом извиве реки, куда пароход пройдет мимо. Если станут осматривать шлюп и найдут умирающего Траиру, то его, Гумы, жизненный путь можно считать оконченным. Может, даже и не арестуют. В здешних краях это не обязательно. Просто пустят плыть по воде с ножом в бок — для примера. Траире уже беспо-

лезно мстить, он умрет скоро, но на ком-то они обязательно захотят отомстить. Убитый курсант был из хорошей семьи, пользующейся влиянием... Гума огляделся вокруг. Море было спокойно, добрый ветер дул с ровной силой, надувая парус. Море помогает своим людям. Море — друг, ласковый друг...

«Смелый» скользит по синей воде. Гума ловко обходит внезапно открывшуюся мель. Теперь он плывет по узкому каналу. Глаза его зорко вглядываются в темноту, рука на руле тверда. Траира стонет в трюме. Гума заговаривает с ним:

— Траира... Ты слышишь меня, Траира?

В ответ стоны слышатся громче. Гуме никак нельзя сейчас оставить руль. Слишком опасно пустить «Смелого» по воле волн в этом канале.

— Я сейчас подойду... Подожди минуту.

Но стоны слышатся все более частые, все более страдальческие. Гума думает, что Траира, наверно, сейчас умрет. Умрет на его шлюпе, и полиция найдет его здесь... И выместит на нем, Гуме. Но не это его пугает. Ему не хочется оставаться одному с трупом Траиры, погибшего из-за глупого скандала. Траира не должен был пускать в ход нож. Если противников оказалось так много, то разве было бы трусостью отступить, оставив поле битвы за ними? Гума задумался. И все же кто ж поступил бы иначе, чем Траира? Кто из них в подобном случае не схватился бы за нож? Но спорить не о чем: Траира умирает. Надо как-то избежать досмотра, чтоб довести мертвеца до порта, где можно отдать его тем, кто его оплачет.

Вот канал уже пройден. Гума зажжет фонарь и спустился в трюм. Траира лежит на боку, ему каким-то чудом удалось повернуться. Тонкая струйка крови стекает из раны. Гума наклоняется:

— Тебе нужно что-нибудь, брат? Мы идем в Баю.

Угасающий взгляд Траиры останавливается на нем.

— Воды...

Гума приносит кувшин, наклоняется, прислоняет горлышко ко рту умирающего. Траира пьет, с трудом. Потом снова медленно поворачивается животом вверх. Пристально смотрит на Гуму.

— Это Гума?

— Ну да, я.

— Парень тот умер, так ведь?

— Так...

— Никогда я не убивал человека... Сам себе могилу роешь...

— Так уж случилось.

— Что станется теперь с моей женой?

— Ты женат?

— Женат. Три дочки у меня. В Санто-Амаро. Что с ними будет?

— Ничего плохого. Ты поправишься, вернешься к ним.

— Полиция гонится за нами?

— Мы ее перехитрим.

— Иди к рулю, не задерживайся.

Гума идет к рулю. Идет, задумавшись о том, что вот, оказывается, у Трайры есть жена и три дочери. Кто прокормит теперь такую семью? Правильно говорит старый Франсиско, что моряк не должен жениться. В один прекрасный день приходит беда, и дети остаются без хлеба. И все-таки он, Гума, хочет жениться. Хочет привести Ливию на свой шлюп, хочет иметь сына... Глухой голос Трайры снова зовет:

— Гума!

Он спускается к нему. Трайра делает тщетную попытку приподнять голову.

— Ты слышал свисток баиянского парохода?

— Нет.

— Я слышал. Он сейчас уже отплывает. Ничего не выйдет. Они на корабле, ведь верно?

Гума знает, что он говорит о полиции. Верно, зачем отрицать... Трайра продолжает:

— Они нас догонят. И убьют.

Тишина. Фонарь освещает лицо Трайры, искаженное болью.

— Есть один выход. Я все равно умру. Ты помоги мне подняться, я брошусь в воду. Когда они нас догонят, меня уж не найдут...

— Ты с ума сошел, приятель. Я еще умею управлять судном.

— Дай воды.

Гума идет за водой. Теперь действительно слышен гудок баиянского парохода. Через минуту он снимется с якоря и пойдет в погоню за ними. Когда с палубы завидят парусник с людьми, все будет потеряно. Пароход поплывет дальше, а вооруженные полицейские прикончат их. Скажут потом, что они оказали сопротивление, хотя

Гума даже и не сможет оказать сопротивление: нож го-ден лишь в прямой схватке — грудь с грудью, а полицейские перепрыгнут на шлюп, уже нацелив свои парабеллу-мы и ружья. Нынче ночью они вместе с Траирой отпра-вятся на свидание к Жанаине, царице вод. Он не увидит больше Ливию, не увидит больше старого Франсиско... «Смелый» летит по волнам стрелою, подгоняемый ветром. «Смелый» отдаст кормчему всю быстроту, на какую спо-собен, но это последний бег «Смелого». Он будет проды-рявлен пулями, может быть, затонет вместе со своим хо-зяином. Его фонарь не засветится больше в этой гавани, он не пересечет больше эту реку, не помчится весело, со-стязаясь в быстроте со шхуной шкипера Мануэла... Там, в большой зале публичного дома, остался мертвый кур-сант, осталась и убитая женщина. Гума только сейчас вспомнил о ней. Она умерла, спасая его, и была молода и красива. Оставила эту жизнь, ибо не для такой жизни родилась. Если б она не умерла, то не расставалась бы уж со стаканом, спилась бы и состарилась раньше време-ни. Она умерла, как жена моряка. Она не была публич-ной женщиной, случайно убитой в перестрелке. Она была женой Гумы — Иеманжа знает это и наверняка возьмет ее с собою в плавание к землям Айока и сделает ее своей любимой служанкой, из тех, что расчесывают волоса бо-гини, когда она отдыхает на большом камне у мола... Она была молода и красива. Она умерла из-за любви к моря-ку, и поэтому, хоть тело ее будет предано земле, Иеман-жа без сомненья придет за нею, чтоб взять ее к себе в служанки. Гума расскажет Ливии эту историю. И если у них родится дочь, он назовет ее Ритой... Слышится гудок баиянского парохода. Разносится над каналом. Скоро па-роход поравняется с ними, спустит шлюпку с полицей-скими и исчезнет в темноте. Тогда все будет кончено... «Смелый» мчится изо всех сил. Мчится навстречу гибели, ибо пробил его час. Нынче они отправятся в вечное пла-вание к землям Айока, что прекраснее всех других зе-мель. Там Рита, наверно, уже ждет.

Внезапно Гума слышит какой-то шорох. Словно кто-то ползет по палубе. Да, ползет. Очень медленно, очень тихо, в сторону борта. Гума на мгновение оставляет руль и всматривается. Это Траира хочет броситься в воду. Гума кидается к нему, чтоб остановить, и Траира еще борется с ним из последних сил, он решил разом покончить со всем



этим, он не желает, чтоб Гума жертвовал собой из-за него. Бритая голова поблескивает в свете фонаря. Гума волочит его на прежнее место. Траира смотрит на него с благодарной гордостью. Он тоже твердо знает закон пристани и твердо знает, что Гума выполнит этот закон. Что ж делать, придется умирать вместе. Траира спрашивает:

— У тебя есть второй нож?

— Есть. Зачем?

— Дай мне. Я хочу умереть как мужчина. У меня еще хватит сил увести с собою кого-нибудь из них...— Он с трудом улыбается.

Гума отдает ему нож и возвращается к рулю. Он тоже будет защищаться. Не согласится умереть, как рыба, вытасенная из воды. Он выпустит нож, только когда упадет, чтоб умереть. Он не увидит больше Ливию, она выйдет замуж за другого, у нее будут дети от другого. Но когда Гума упадет, сраженный, последнее, что он произнесет, будет имя Ливии. Жаль, что здесь сейчас нет Руфино. Негр написал бы татуировкой имя Ливии на руке Гумы.

Внезапно в темноте блеснул свет фонаря чьей-то шхуны. Кто бы это мог быть? Скоро он узнает. Если друг, то это может оказаться спасением. Парусник приближается. Это шхуна Жакеса. Еще сегодня утром они дрались на песке побережья. Но Гума знает, что он может обратиться за помощью. Так велит закон пристани.

В ответ на световой сигнал Гумы шхуна Жакеса останавливается. Жакес поражен. Он целый час ждал возможности расквитаться с Гумой за утреннюю драку. Но, узнав о случившемся, о преследовании, об умирающем Траире, Жакес сразу же забыл о недавних обидах. Вдвоем они переносят Траиру на шхуну Жакеса. Раненый задыхается, он близок к смерти. Гума предупреждает:

— Жду в Марагожице.

— Договорились.

— Счастливого пути...

Оба парусника отплывают одновременно. Теперь уж ничего не случится. Никому не придет в голову осматривать шхуну Жакеса, направляющуюся в Кашоэйру. А на «Смелом» ничего подозрительного не найдут. Никто не может с твердостью сказать, что Гума замешан в недавних беспорядках, разве что женщины, а они не выдадут. Он свободен.

«Смелый» все же подвергся досмотру (Гума успел смыть пятна крови в трюме), но ничего не нашли и оставили в покое. Жакес вскоре вернулся. Гума уже грузил ящики с сигарами. Потом парусники пошли вместе, Жакес все равно опоздал, куда собирался, и теперь мог идти с Гумой до конца. Траира не умер. Из трюма шхуны Жакеса слышались его стоны. Утро стояло ясное, когда они дошли до Баи. Баианский пароход давно уж стоял на причале. На пристани все уже знали о вчерашнем происшествии. Жакес остался на шхуне, Гума отправился разыскивать доктора Родриго. Траира все стонал в трюме. И говорил о жене, о семье, о трех дочерях. В бреду ему представлялся огромный корабль — трансатлантик, бросающий якорь у причала. Корабль пришел за ним, Траирой, чтоб отвезти на дно морское, и был уже вовсе и не корабль, а огромная черная грозовая туча, причалившая к берегу. Корабль бросает якорь... Туча бросает якорь... Буря пришла за ним, Траирой, убившим человека, пришла, чтоб увести с собою. Где жена, где дочери, почему не машут ему с пристани на прощание? Ведь Траира уезжает от них на большом корабле, на большой черной туче. Нет, нет, он не уедет, как может он уехать, если здесь нет жены и дочек, чтоб махать ему платком на прощанье? Траира, уже на борту большого корабля, на борту тучи, в самом средоточии бури, все говорит о жене, о семье, о трех дочерях: Марта, Маргарита, Ракед.

#### МАРТА, МАРГАРИТА, РАКЕЛ

В порту считалось непререкаемой истиной, что доктор Родриго принадлежит к семье моряков и что родители его и деды были потомственными моряками, а более далекие предки пересекали моря и океаны на своих судах, что и являлось их единственным промыслом в жизни. Ибо иначе совершенно невозможно было бы объяснить, почему врач с высшим образованием и дипломом покинул красивые улицы города и поселился в жалком домишке на побережье вместе со своими книгами, котом и графинами крепких напитков. Несчастливая любовь тут не подходила. Доктор Родриго был еще слишком молод для такой неизлечимой болезни. Безусловно, — утверждали матросы, рыбаки и лодочники, — он из моряцкой семьи

и тянется к морю. И поскольку он тощ и слаб, и не способен, таким образом, управлять судном или таскать на спине тяжелые мешки, то и решил лечить моряков, возвращая к жизни тех, кого буря выпустила из своих когтей полумертвыми. Он же обычно давал денег на похороны бедняков и помогал потом их вдовам. Удавалось ему и спасать из тюрьмы тех, что были задержаны в пьяном виде. Много хорошего делал он людям моря, и в порту его уважали, а слава его дошла до таких глухих мест, куда доходила лишь слава о подвигах самых храбрых моряков. Но было в его жизни кое-что, о чем моряки не знали. Быть может, только учительница, дона Дулсе, знала, что он пишет стихи о море, ибо доктор скрывал свои поэтические опусы, считая их слабыми и недостойными темы. Дона Дулсе тоже не до конца понимала, почему он все-таки живет именно здесь, будучи состоятелен и уважаем в богатых кварталах города. Одевался он в поношенное платье, без галстука, и когда ему не надо было идти к больным (многих из которых он лечил бесплатно), то все больше сидел у окна, курил трубку и смотрел на вечно новую панораму моря.

Люди с пристани по вечерам заходили к нему послушать радио, музыку из других стран, завлекавшую воображение. Они уже привыкли к своему доктору и смотрели на толстые, нарядные книги как на друзей (поначалу они побаивались этих книг, служащих преградой между ними и доктором Родриго) и почти всегда кончали тем, что выключали радио и сами пели для доктора свои любимые песни моря.

Его жизнь на побережье, среди моряков, целиком отданная им, не была тайной для одного лишь старого Франсиско, как-то раз сказавшего ему:

— Ваш отец был моряком, правда ведь, доктор Родриго?

— Насколько мне известно — нет, Франсиско.

— Значит, дед...

— Деда я не знал, а отец как-то не нашел времени о нем рассказать... — улыбался Родриго.

— Моряком был, — уверял Франсиско. — Я знал его. Командовал большим кораблем. Хороший человек. Все в округе его любили.

И Франсиско был искренне убежден, что действительно знал деда Родриго, несмотря на то, что сам только что выдумал это. Отсюда и пошел этот слух, которому все ве-

рили: что Родриго — из семьи потомственных моряков. И все ждали, что в один прекрасный день доктор Родриго женится на учительнице Дулсе. Они встречались, прогуливались вместе, беседовали... Но никогда не возникал у них разговор о свадьбе. Однако на побережье все ждали этой свадьбы и даже обсуждали подробности праздника. А самые близкие друзья доктора иногда даже позволяли себе некоторые намеки, но Родриго только улыбался, сжимался как-то, словно стараясь плотнее укрыться в свое поношенное платье, и менял тему разговора. И возвращался к своим книгам, к своим больным (особенно один чахоточный мальчик занимал его мысли и почти все его время) и к созерцанию моря.

Вначале доктор Родриго часто бывал в городе. Он надеялся, что его предложения о гигиенических мерах по улучшению жилищ моряков найдут отклик. Потом перестал бывать. Дона Дулсе все ждала чуда. Придет чудо — и тогда жизнь на побережье станет прекрасной. И тогда доктор Родриго сможет писать о море стихи поистине прекрасные, столь же прекрасные, как и само море.

\* \* \*

Гума входит в комнату, служащую доктору приемной. Толстая женщина стоя слушает жалобы матери чахоточного мальчика, которого та держит за руку. Мальчик худенький, кожа да кости, все время кашляет, и кашель у него такой сильный, что вызывает слезы на глаза. Молоденькая девушка, сидящая в углу, с ужасом смотрит на него и закрывает рот платком. Мать мальчика рассказывает:

— Иной раз думаю, прости меня господи, — и она бьет себя ладонью по губам, — что лучше б было, коли бог забрал бы его к себе... Страданье-то какое... Для всех нас страданье. Всю-то ночь кашляет, кашляет, конца не видно... Какая ж ему, бедняжке, радость в жизни дана, раз он и играть-то с другими детьми не может? Иной раз думаю: помоги нам господи, возьми его от нас... — Она проводит рукавом по глазам и плотней застегивает курточку на малыше, который кашляет и кажется далеким, далеким от всего, что происходит.

Толстая женщина сочувственно кивает головой. Девушка в углу спрашивает:

— Когда же он заболел?

— Да вот простудился, потом все хуже и хуже, так и впал в чахотку...

Толстая женщина советует:

— А вы не хотите свести его к отцу Анселмо? Говорят...

— Да уж водила... Не помогает... Доктор Родриго уж так заботится, ровно отец родной...

— Иеманжа хочет взять его к себе,— заключает толстая женщина.

Гума спрашивает:

— Доктор Родриго скоро освободится, Франсиска?

— Не знаю, Гума. Там у него Тибурсио, он ранен в ногу... А вы что, больны?

— Нет. У меня дело к нему...

Мальчик снова принялся кашлять. Толстая женщина обращается теперь к Гуме:

— Вы ведь знаете Мариану, да? Жену Зе Педриньо?

— А-а, знаю.

— Так у нее тоже была чахотка. Высохла, как треска сушеная. Харкала кровью так, что, казалось, вот-вот сердце выхаркает. Так вот, отец Анселмо дал питье, все как рукой сняло.

— А моему Мундиньо не помогло. Отец Анселмо даже сам посоветовал обратиться к доктору Родриго. Доктор сделал все, что только мог. Видно, нет надежды...

Дверь комнаты, служащей кабинетом, отворилась, Тибурсио вышел, прихрамывая. Доктор показался на пороге в белом халате. Худое, костистое лицо его было серьезно. Поздоровался с Гумой:

— Заболел, Гума?

— Мне нужно поговорить с вами, доктор. Дело очень срочное.

— Войдите.— Он обернулся к женщинам: — Подождите немного.

Через несколько минут оба вышли из кабинета, Родриго уже в пиджаке с чемоданчиком в руках. Он предупредил женщин:

— Зайдите через два часа. Срочный случай.— У двери он обернулся: — Не забудьте дать мальчику лекарство, донна Франсиска. Перед едой...

Они уже шагали по набережной, когда Родриго поприсл:

— Теперь расскажите мне, что произошло.

Гума рассказал. Доктору все можно было сказать, он свой, как если б сам был моряком. Гума рассказал о схватке, о смерти Риты, о том, как был ранен Траира.

— Курсант умер. А Траира совсем плох, бедный...

Они зашлепали по грязи причала, прыгнули на палубу шхуны Жакеса. Доктор Родриго соскочил в трюм. Траира бредил и звал дочерей — Марта, Маргарита, Ракед. И все узнавали теперь, что Марта уже взрослая — восемнадцать лет, красавица, что Маргарита любит бегать по прибрежным камешкам и плескаться в реке, у нее длинные волосы, и, хоть ей всего четырнадцать, на нее уже заглядываются... Но больше всего тосковал Траира по Ракед, которой нет еще трех и говорить толком не умеет, и такие чудные выдумывает слова...

Жакес сказал:

— Он забывается уж...

Марта, Маргарита, Ракед... Он звал их и звал, непрерывно, настойчиво. Марта хорошо шила и даже начала вышивать приданое — жених может появиться каждый день... Маргарита бегала по камешкам, каталась по песку, плавала как рыба... Ракед болтала что-то невнятное, рассказывала о чем-то старой кукле, которая одна ее понимала. Ракед он звал чаще других, это о ней, Ракед, больше всего болела его душа. Ракед разговаривала со старой куклой, говорила ей, что забросит в угол, что папа обещал привезти новую с золотыми волосами... И умирающий отец все звал Ракед, звал Марту, Маргариту, звал и свою старуху, что ждет его и, наверно, нажарила для него рыбы к ужину, как всегда.

Родриго осмотрел рану, умирающий уже никого и ничего не слышал, не замечал ничего присутствия. Он видел только трех своих девочек, пляшущих вокруг него, радостно прыгающих рядом, весело смеющихся, — Марта Маргарита, Ракед. Новая кукла была на руках у Ракед, та, что он привез ей из этого путешествия. Он теперь плывет на корабле, похожем на тучу, а Марта, Маргарита и Ракед пляшут на пристани, пляшут, взявшись за руки, как в те счастливые дни, когда он, Траира, возвращался из долгих странствий и бросал на стол привезенные подарки. Марта одета в подвенечное платье, Маргарита прыгает по камешкам, что собрала на берегу реки, Ракед прижимает к груди новую куклу...

— Придется оперировать.

— Что вы сказали, доктор?

— Надо извлечь пулю... Да и то вряд ли... Придется доставить его ко мне домой. У него есть семья, так я понял?

Траира звал:

— Марта, Маргарита, Ракед...

— А как мы его доставим? — спросил Жакес.

В конце концов решили: в подвесной койке. Сначала направили судно к пустынному берегу гавани. Положили Траиру на койку-сеть, продели шест и понесли на плечах. Дома у Родриго инструменты всегда были наготове, и операция была начата сразу же. Гума и Жакес помогали и видели кровавый разрез, вынутую пулю, вновь зашитую рану. Это походило на то, как чистят рыбу. Теперь Траира спал, не говорил больше о дочерях, не звал их.

Когда операция закончилась, Гума спросил:

— Он поправится, доктор?

— Боюсь, что он не выдержит, Гума. Слишком поздно. — Доктор Родриго мыл руки.

Гума и Жакес стояли и смотрели на товарища. Бледно-серое лицо, бритая голова, огромное тело, забинтованный живот... Казалось, он уже ушел от них, уже не принадлежит этому миру. Гума промолвил:

— У него есть семья. Жена и три дочери. Моряк не должен жениться.

Жакес повесил голову: он собирался жениться через месяц. Доктор Родриго спросил:

— А где находится его семья?

— Он проживал в Санто-Амаро... Где-то в тех местах...

— Надо сообщить...

— Наверно, уже знают... У плохих вестей ноги длинные...

— Полиция, наверно, там уже была.

Дон Родриго сказал:

— Идите по своим делам, я позабочусь о нем.

Они вышли. Гума в дверях обернулся и взглянул на лежащего без сознания и тяжело дышащего человека. Доктор Родриго, оставшись один, обратил свой взгляд на море за окном. Тяжела жизнь моряка. Гума говорит, что моряк не должен жениться. Обязательно настанет день, когда семья будет обречена на нищету, обязательно придется голодать каким-нибудь Мартам, Маргаритам и Ракедам... А дона Дулсе ждет чуда... Родриго хотел было

вернуться к своей поэме о море, но умирающий рядом человек, казалось, восставал против всей этой описательной лирики, посвященной морю. И в первый раз в жизни Родриго подумал, что если писать поэму о море, то надо чтоб это была поэма о нищей и страдальческой жизни моряков.

Потом пришла смерть — спокойная. Траира уже не плыл на корабле. Доктор позвал Гуму и Жакаса. Траира увидел три тени вокруг своего ложа. Он уже не стонал. Он вытянул руку, прощаясь, но не с доктором и двумя друзьями прощался он. Он видел трех дочерей вокруг своей постели, трех дочерей, что будили его, ибо солнце высоко стояло в небе (солнце и впрямь залило комнату) и пора было вставать и выходить в море на своей лодке. Он протянул руку, ласково улыбнулся (доктор Родриго ломал руки, стоя в изголовье), прошептал имена: Марта, Маргарита, Ракел, повторил Ракел и уплыл на своей лодке...

#### ГРАФЫ, МАРКИЗЫ, ВИКОНТЫ И СКОРПИОН

Городок Санто-Амаро, где Гума недавно пристал со своим шлюпом, был родиной многих знатных людей империи, графов, маркизов, виконтов, но, что важнее, был родиной Скорпиона. Именно по этой причине и не по какой другой — не потому, что славился своим сахаром, графами, маркизами, виконтами и водкой, — Санто-Амаро был одним из городов, особенно любимых моряками. Здесь родился знаменитый Скорпион, ступал по этим улицам, здесь пролилась его кровь, здесь он орудовал ножом и пистолетом, побеждал в атлетических играх капоэйры, пел свои самбы. Близехонько отсюда, в Маракангалья, его разрезали на куски, и в небе над этой местностью горит его звезда, большая и светлая, почти такая же большая, как звезда знаменитого храбреца и разбойника Лукаса да Фейра. Он превратился в звезду, ибо это — удел храбрых.

Санто-Амаро — родина храброго негра по прозвищу Скорпион... Об этом думает сейчас Гума, лежа на юте своего судна. Еще недавно мысли Гумы были направлены совсем в другую сторону. В тот день, когда умер Траира, он собирался вечером к Ливии, и только о ней были его думы. Но сейчас ему вновь и вновь беспокойно приходят на память и слова старого Франсиско, и песня, что так ча-



сто слышится над морем («Несчастлива та, что станет женой моряка...»), и смерть Траиры, оставившая сиротами трех девочек. Моряк должен быть свободен, говорит старый Франсиско. Об этом в песне поется, и печальные происшествия, случающиеся чуть ли не ежедневно, подтверждают это. Моряк должен быть свободен... Не для любви, не для вольной жизни — для смерти, для свадьбы с Иеманжой, хозяйкой моря. Ибо для смерти живут они все, такой близкой, такой знакомой, что ее уж и не ждут, что о ней уж и не думают. Моряк не имеет права принести в жертву любимую женщину. И не в том дело, что жизнь его бедна, дом нищ, ужин из жареной рыбы скудеп и карман пуст. Это вынесет любая, здесь все женщины к этому привыкли, ибо одни из них родились тут же, в порту, а другие — дочери пришлых рабочих, поденщиков, таких же бедняков. К бедности-то они все привыкли, а часто и к чему-нибудь похуже бедности. Но не могут же они привыкнуть к внезапно врывающейся в дом смерти, к тому, что вот вдруг и осталась ты одна — без мужа, без опоры, без крова и без пицци, дабы быть потом проглоченной фабрикой, или еще хуже — улицей, если ты молода и хороша собой. Гума приходит в ужас при мысли, что подобная судьба может постичь Ливию, самую красивую из женщин побережья, что она вынуждена будет отдаваться другим мужчинам, зазывая их из окна для того, чтобы прокормить сына, который в один прекрасный день тоже станет моряком и сделает несчастной другую женщину. Из-за решетчатого окна (словно в тюрьме для осужденных пожизненно) мелькнет на миг ее лицо, все то же, что сейчас, без тайны и страдания, и она взмахнет рукой, зазывая проходящего мимо мужчину. А сын ее, сын Гумы, сын моря, будет спрятан от чужих глаз, чтоб не слышно было, как он плачет о своей матери. И она раскроет первому встречному тайну своего тела, чтоб накормить сына, который когда-нибудь тоже покинет жену свою внезапно и навеки, уплыв с Иеманжой к землям Айюка, ископным землям всех моряков, где обитает единственная, кем можно обладать без опаски, — Жапаина, богиня с пятью именами, мать и супруга в одно и то же время, чем она и таинственна, чем она и страшна. Никто не припомнит, чтоб хоть один моряк, имеющий семью и детей, дожил до старости, ежедневно уходя в море на своей лодке или шхуне. Иеманжа ревнива, и в гневе она оборачивается богиней бурь Инаэ и насылает дикие вихри и черные тучи.

Бесполезно тогда слать ей подарки, предлагать девушек для услуг, ей нужны мужчины — ее сыны и мужья вместе.

Вот по этой-то причине, не желая, чтоб судьба Ливии была несчастной, и уехал Гума в ту ночь в Санто-Амаро, с намерением на обратном пути забрать груз ящиков с вином. Он попросту бежал, чтоб не пойти с Родолфо к Ливии, не видеть ее чистых глаз, не желать ее еще больше. Потому он лежит сейчас на палубе своего судна, стоящего на причале в Санто-Амаро, городе графов, виконтов и маркизов, городе Скорпиона.

Слышите, моряки и докеры всех морей и портов, — Скорпион родился здесь... Гума смотрит на небо, где он горит звездой. Если светит полная луна, то глаза человека, смотрящего в небо, обращаются сперва на луну, а потом ищут звезду Скорпиона, самого храброго негра на всем побережье. Небо освещено душами храбрых, что зажглись звездами после их смерти, — Зумби дос Палмарес, вождь восставших рабов, Лукас да Фейра, отчаянный искатель приключений, за ними — другие, другие. Скорпион... Там, между луной и Лукасом да Фейрой, есть место, где заблестит после смерти разбойник Виргулино Феррейра Лампиан, гроза богачей, только это случится еще не скоро...

Но никто из них не был сыном моря, никто не мчался на легком паруснике под морским ветром. Один только Скорпион. Он был истинный сын моря, умел управлять рулем, ловко причалить лодку к берегу, плыть на всех парусах под звуки музыки. Потому он так и любим на всех пристанях. И это именно здесь, в Санто-Амаро, — слышите, моряки со всего света, грузчики, докеры, лодочники, слышите, доктор Родриго и учительница дона Дулсе, слышите все, кто трудится окрест на воде и на суше? — именно здесь он родился. А близехонько отсюда, в Маракангалье, изрубили его на куски, но — заметьте это себе, моряки со всех концов света, — убили его изменой, во время сна, когда он мирно спал в подвесной койке, которая, покачиваясь, как на воде, более, чем что-либо иное, напоминает на суше о лодках, шлюпках и шхунах.

Так что он родился здесь. На баньянском побережье родилось много храбрых моряков. В Баие, столице штата, городе семи ворот, рождаются самые красивые женщины побережья. Ливия тоже там родилась. Если бы повстречалась она Скорпиону, — думает Гума, затягиваясь трубкой на палубе своего судна, — он обязательно увлекся бы ею

и из-за нее пырнул бы ножом троих, а то — четверых. Храбрый был моряк. А на побережье нет женщины красивой Ливии, той, что пришла на праздник Иеманжи, только чтоб увидеть Гуму, ибо Гума тоже храбрый, он не раз уже подвергался опасности и намерен когда-нибудь отправиться на большом корабле в чужие края — искать приключений. Он любит Ливию, он так долго ждал ее, и она любит его, в чем и призналась тогда, на празднике, чистым взглядом своих глаз, без тайны и без обмана. А кроме того, Гума ведь обещал Розе Палмейрао, что у них с Ливией будет сын и Роза вернется, чтоб воспитывать его, играть с ним, забыть о своей прежней жизни, полной скандалов, драк, насилия и смерти... Известно, правда, что Скорпион не был женат. Но ведь он не знал Ливии, его уж не было, когда она родилась. Из-за такой женщины, как Ливия, любой моряк обо всем на свете забудет, забудет и о том, что когда-нибудь может оставить ее одну в нищете, с сыном или с тремя дочерьми, как у Трапирь, — Марта, Маргарита, Ракед.

Гума даже не слышит музыки, доносящейся с пристани. Он лишь чувствует ее, она проникает его мысли, и это та самая старая песня, в которой говорится, что ночь создана для любви. Ночи Скорпиона не всегда бывали отданы любви. Много раз были они полны схваток, преступлений. А иной раз служили пособницами бегства, как случилось в ту ночь, когда, сразив четверых солдат, он углубился в рощу, раненный двумя пулями в подбородок и одной — в руку. Ночь та была темна, и его преследовали долго, окружили рощу, он бросился в воду и, раненный, плыл, не останавливаясь, как и положено моряку, куда какая-то лодка не подобрала его и не отвезла к негритянскому жрецу на исцеление... И все же и у Скорпиона бывали ночи любви. Ночами, полными луной и музыкой, когда вода в реке голубая, он предавался любви, обнимая Марию Жозе, или Жозефу да Фонте, или Алипию, или другую женщину, которую только что встретил. Но никогда не было у него единственной, той, что связана с ним судьбою, что будет влачить свою жизнь в нищете, когда он погибнет. Многие женщины оплакивали его, да и не только женщины — все побережье его оплакивало, а похороны его были пышней, чем у любого маркиза, барона или графа родом из Санто-Амаро. Оплакивали потому, что он был добр, щедр к бедным, всегда готов отстоять с ножом в руке исконные права моряков. Но ни одна из женщин

не плакала по нем, забыв о его храбрости, доброте, подвигах, — просто как о близком человеке, о своей опоре, своем счастье. Правду говорят старые люди и старые песни — моряк не должен жениться... Гума беспокойно ворочается на досках. Ночь дана для любви, но для любви-приключения, любви случайной, на прибрежном песке, на берегу реки, у стены опустевшего рынка, с первой встречной.

Ночь дана для любви, поет какой-то негр у берега Санто-Амаро. Другая песня (история баиянского побережья вся переложена в стихи — АВС, самбы, песни, эмболады) уверяет, что у жены моряка одна судьба: ждать на берегу, не покажется ли вдалеке парус, ждать в бурные ночи, не выбросит ли море мертвое тело. Скорпион так и не женился, он был не только моряк, но еще и жагунсо, наемный стрелок, и, кроме весел, было у него ружье, а кроме обычного ножа, какой носит за поясом каждый моряк этих мест, был у него еще и кинжал. А вспомнить Розу Палмейрао?.. Хоть и женщина, а стоит двоих мужчин, — и тоже ведь никогда так и не было у нее семьи, сына. Жакес, намеревавшийся сыграть в этом месяце свадьбу с Жудит, молоденькой мулаткой, сиротой без отца, стал после смерти Траиры, сомневаться: стоит ли. Он тоже спасся бегством — уплыл в Кашозэйру, чтобы так же, как сейчас Гума, лежать на юте своего судна, курить трубку, слушать музыку и думать... У Ливии такие чистые глаза, словно она не ждет от жизни ничего плохого. Связать ее жизнь с судьбой моряка, значит сделать ее несчастной, правильно поется в песне. Гума охвачен гневной досадой, ему хочется кричать, броситься в воду — «так сладко в море умереть»... — затеять драку на ножах, один против десяти, как Скорпион.

Звезда Скорпиона мерцает на небе, словно подмигивая. Она большая и светлая. Женщины уверяют, что он наблюдает все злые дела людей (графов, маркизов, виконтов и баронов) Санто-Амаро и видит все несправедливости, каким подвергаются моряки. Придет день, и он вернется на землю, чтоб отомстить за них.

Он вернется в ином обличье, никто не догадается, что это Скорпион. Его звезда исчезнет с небес и засияет на земле. Быть может, это и есть чудо, которого ждет дона Дулсе, тот заветный день, о котором говорит в своих стихах доктор Родриго. Быть может, с того дня моряки смогут спокойно жениться, лучше обеспечивать своих жен и быть уверенными, что те не умрут от голода после смерти

мужа и не будут вынуждены идти на улицу. Когда настанет такой день? Гума вопрошает об этом луну и звезды.

Скорпион был храбрец, захватить его удалось лишь изменой, и тело его изрубили на мелкие куски, которые пришлось потом собирать для погребения. Он боролся против графов, маркизов и виконтов, которые все были владельцами плантаций, зеленых полей сахарного тростника, и устанавливали тарифные таблицы для фрахта парусников и лодок. Он делал набеги на плантации, уносил хоть немного из того, что принадлежало всем этим богачам, и распределял потом среди вдов и сирот, чьи кормильцы погибли в море. Бароны, виконты, маркизы и графы произносили речи в парламенте, беседовали запросто с самим доном Педро II, императором бразильским, пили дорогие вина, насиловали девушек-рабынь, пороли негров, обращались с моряками и лодочниками как со своими слугами. Но Скорпиона они боялись, он был для них хуже черта, при одном звуке его имени их пробирала дрожь. Они бросали против него целые полки своих вооруженных людей, отряды полиции. Но не могли справиться со Скорпионом, ибо не нашлось на всем побережье, в городах и селениях, на море и на реке, ни одной женщины, которая не молила бы Иеманжу защитить его. И не было такой шхуны, лодки или баржи, где он не нашел бы убежища. Дрожали бароны, дрожали графы из Санто-Амаро, просили бога сделать так, чтоб Скорпион пощадил их земли, обещая взамен пощадить какую-нибудь негритянку, какого-нибудь негра, какого-нибудь моряка. Ибо феодальные сеньоры испытывали ужас перед Скорпионом.

В один прекрасный день Скорпион вернется. Гуме надо будет подождать с женитьбой до этого дня. Никто не знает, каким образом вернется Скорпион. Он может даже оборотиться многими людьми, и на пристани будет тогда волнение, и все будут требовать новых тарифов для фрахта судов, новых законов, защиты прав вдов и сирот.

Ливия ждет, Гума знает это. Ночь дана для любви, и Ливия ждет его. Родолфо, наверно, обиделся, что он не пришел. Родолфо не знает, что Гума бежал от них, не желая, чтоб у Ливии была несчастная судьба. Но сейчас им овладевает неудержимое желание вернуться, увидеть ее снова, стоять и смотреть на нее. Ливия должна пойти с ним, должна провести много ночей на палубе «Смелого». А если он умрет, у нее должно хватить мужества не стать уличной женщиной. Ночь дана для любви, а для Гумы

«любовь» означает «Ливия». Ему не нужно случайных любовных утех с первой встречной. Ливия послана ему самою Иеманжой, он не может противиться воле богини. Лодочники, рыбаки, шкипера с парусных шхун боятся любви. Что-то решит Жакес, отправившийся в Кашпоэйру обдумывать свои дела? Гума ведь не хотел, чтоб у Ливии была несчастливая доля, — но что он может поделать? Судьба творится помимо нас, ей нельзя прекословить. И судьба Ливии такая же, как у других женщин побережья. Ни она, ни Гума, ни даже Скорпион, обратившийся в звезду, не могут изменить судьбу. Гума поедет к Ливии, не нужно было ему бежать от нее, эта ночь, озаренная яркой луной и столькими звездами, создана для любви. В такую ночь никто не думает о бурях и штормах, опасности и смерти... Гума думает о том, как Ливия красива и как он любит ее.

Санто-Амаро — это вотчина Скорпиона. Не важно, что здесь родились знатные сеньоры империи, владеющие бесчисленным числом рабов. Это нам не важно, моряки. Здесь родился Скорпион, самый храбрый моряк из тех, что плавали когда-либо в этих водах. Бароны, графы, маркизы и виконты спят рядом с развалинами феодальных замков в закрытых гробницах, которые постепенно поедает время. Но Скорпион сияет в поднебесье яркой звездой, лия свой свет на развернутый парус «Смелого», быстро уплывающего к родной гавани в поисках Ливии. В один прекрасный день Скорпион вернется, — слышите, моряки со всего света? — и тогда все ночи будут для любви, и новые песни зазвучат на пристани и в сердцах людей.

## МЕЛОДИЯ

Море послало Гуме самый быстрый ветер — норд-ост, подгоняющий судно к берегам Баии. С лодок, проплывающих мимо, со шхун, встречающихся на пути, с рыбацких плотов, с барж, груженных дровами, отовсюду слышится приветствие:

— Счастливого пути, Гума...

Счастливого пути, ведь он едет искать Ливию. Луна освещает ему путь, морская дорога длинна и добра. Дует норд-ост, свирепый норд-ост, ветер бурь. Но сегодня он — друг, помогающий быстрее пересечь этот трудный рукав

рски. Норд-ост доносит мелодии с речного берега — песни прачек, напевы рыбаков. Акулы вспрыгивают над водой у самой бухты. На освещенной палубе корабля, входящего в гавань, — танцы. У борта какая-то парочка тихо беседует под луной. «Счастливого пути», — говорит Гума и машет рукой. Они машут в ответ, улыбаясь, удивленные приветом незнакомого моряка.

Он едет за Ливией, он едет за красивой женщиной, которую подарит морским просторам. Пройдет немного времени, и тело Ливии станет пахнуть морем, а волосы станут влажными от брызг соленой воды. И она станет петь на палубе «Смелого» песни моря. Она услышит о Скорпионе, о заколдованном коне, узнает истории всех кораблекрушений. Она будет принадлежать морю, как весло, как парус, как песня.

Норд-ост дует все сильнее, наполняя паруса. Лети, «Смелый», лети, уже видны вдалеке огоньки Баии. Уже слышен барабанный перестук кантомбле, пенье гитар, протяжные стоны гармоник. Гуме кажется, что он уже слышит чистый смех Ливии. Лети, «Смелый», лети!

## ПОХИЩЕНИЕ ЛИВИИ

Шесть месяцев острого стремления к ней, к близости с нею... «Смелый» резал волны моря и реки, «Смелый» уходил в рейс и возвращался, а острота не сглаживалась. Гума ничего не мог поделать... В тот день, когда вернулся из Санто-Амаро, он увидел ее сразу же по прибытии. Он пошел к ней с Родолфо, как обещал, и она показалась ему еще красивее — такая робкая, с такими ясными глазами. Родственники, у которых она жила, дядя и тетка, владельцы овощной лавчонки, все свои надежды возлагавшие на красоту Ливии (она может сделать хорошую партию), вначале горячо благодарили Гуму за спасение, но потом стали глядеть как-то не очень дружелюбно. Они полагали, что Гума зайдет, выслушает слова благодарности и отправится дальше своей дорогой. К чему ему, собственно, задерживаться здесь? Чего Ливия может ждать от простого моряка? И чего могли ждать они все от человека беднее их самих?

В течение шести месяцев, чтоб увидеть ее и перекинуться двумя-тремя словами (говорила она одна, он молча

слушал), Гуме приходилось выдерживать косые взгляды дяди с теткой. Взгляды, полные злобы, недоброжелательства, презрения. Он спас им жизнь, это правда, зато теперь хотел отнять у них единственную надежду на лучшую жизнь в будущем. Но, несмотря на косые взгляды, на язвительные слова, сказанные громким шепотом, специально, чтоб он их услышал, Гума продолжал приходить в своем неизменном (и единственном) кашемировом костюме, в котором он чувствовал себя непривычно и неловко.

На второй неделе знакомства он написал Ливии письмо. Хотел было показать доне Дулсе, чтоб исправила ошибки и расставила почтаще знаки препинания, да постеснялся и послал как есть:

*«Здравствуйте горячо уважаемая Л... С приветом к Вам от всей души и от всего сердца.»*

*Неумелою рукой но с сердцем полным безумной страсти к тебе пишу я эти неразборчивые строки.*

*Ливия любовь моя прошу хорошая моя чтоб ты прочитала внимательно это письмо чтоб сразу же могла послать ответ, хочу получить ответ прямой и искренний от твоего сердца моему.*

*Ливия Вы знаете что любовь вырастает из поцелуя и кончается горькою слезой? Но милая я думаю что если ты отвечаешь мне взаимностью у нас будет совсем наоборот, наша любовь уже родилась с первого взгляда, она должна расти и никогда не кончится правда ведь любимая? Прошу чтоб ты мне ответила на все вопросы, которые я поставил понимаешь? Моя хорошая я думаю что твое сердце это золотая раковина где скрыто слово ДОБРОТА.*

*Ливия любовь моя я наверно родился уже любя тебя не в состоянии больше скрывать эту тайну и не в состоянии больше выносить огромную боль какую чувствует мое сердце объявляю тебе правду обожаемый мой ангел понял?*

*Ты будешь для меня единственной надеждой, я отдаю Вам свое сердце чтоб идти общей дорогой, боюсь что я тебе не нравлюсь но мое сердце всегда принадлежало тебе и так и останется до последних секунд моей жизни.*

*Когда я увидал тебя мой ангел то потерял рассудок и такая была моя страсть к тебе что чуть сразу же не сказал наконец настал момент чтоб ты услышала мои мольбы.*



*Я пишу это письмо чтобы облегчить свое сердце, никого на всей земле не люблю так как Вас, уважаю и желаю чтобы ты была со мною всегда для нашего вечного счастья.*

*Прошу окажи мне услугу не показывай никому это письмо чтоб не могли надсмеяться над сердцем полным страсти а не то я способен разбить руль любому кто надо мной посмеется. Надеюсь что Вы мне ответите положительно обещаю твое письмо тоже никому не показывать пускай это будет между нами наш общий секрет.*

*Прошу ответить срочно чтоб я знал сочувствуете ли Вы сердцу полному страсти к тебе, но хочу получить ответ искренний от твоего сердца моему слышишь?*

*Твой ответ послужит утешением моему страдающему сердцу понимаешь?*

*Прошу простить ошибки и плохой почерк.*

*Вы наверно заметите что с середины письма почерк изменился это я поменял перо поняла? Писал один дома без помощи и думая о Вас ясно?*

*Притом примите привет от твоего Г... который так тебя любит и уважает всем сердцем ясно?*

*Гумерсиндо*

*СРОЧНО».*

По правде говоря, это письмо чуть не послужило причиной ссоры. Дело в том, что начал писать его совсем не Гума, а «доктор» Филадельфио. Впрочем, Филадельфио его почти никто и не называл, а все знали просто за «доктора». Он писал истории в стихах, песни и АВС из жизни портового люда. Он был всегда под хмельком, сердился, если кто ставил под сомнение его ученость (он учился целый год в монастырской школе), зарабатывал по несколько монет, составляя разные письма — для людей семейных, для женихов и невест, для случайных любовников. Он произносил речи на крестинах, на свадьбах, на открытии новых магазинов и на церемонии спуска на воду новых судов. Его очень любили в порту, и все помогали ему заработать на еду и на выпивку. Ручка с пером за ухом, чернильница в кармане, желтый зонтик, сверток бумаги, книга о спиритизме под мышкой... Он всю жизнь читал эту книгу и никак не мог дочитать до конца, дошел лишь до тридцатой страницы, но считал себя спиритом. Тем не менее он ни разу не был на спиритическом сеансе, испытывая истинный ужас перед душами с того света. Каждый вечер он усаживался где-нибудь вблизи рынка и там,

взгромоздившись на какой-нибудь ящик, писал записки для влюбленных, чьим постоянным наперсником оставался при всех обстоятельствах, драматически расписывал болезни и нужду семей лодочников в их письмах к родственникам и друзьям, составлял даже послания к самой богине Иеманже от всех своих земляков, не нуждаясь в подсказке, ибо жизнь их знал назубок. Когда к нему приближался Руфино, он смеялся своим тоненьким смехом, пожимал плечами и спрашивал:

— Кто твоя новенькая?

Руфино называл имя, «доктор» писал письмо — всегда одно и то же. Завидев знакомого, предупреждал:

— Элиза сейчас свободна. Руфино ее уже бросил.

И писал письмо к Элизе от другого. Так он зарабатывал себе на жизнь, а главное — на выпивку. Как-то раз он за десять тостанов создал для Жакеса такой шедевр, что даже сам гордился. Это был акrostих, который Жудит теперь всегда носила на груди:

Покою навек я лишился,  
ранено сердце во мне,  
о, навек я с весельем протился,  
сохнет душа по тебе,  
тобою я полон одной,  
и до смертного часа я твой.

Написал название — «Прости», сам растрогался, взглянул на Жакеса влажными глазами и сказал:

— Мне надо было заниматься политикой, парень. Здесь, в порту, мне выдвинуться невозможно. Я б такие речи произносил — самого Руи<sup>1</sup> за пояс бы заткнул...

Прочел акrostих вслух, переписал своим ровным почерком, получил десять тостанов и сказал:

— Если после этого она не сдастся, как лодка, опрокинутая бурей, я верну тебе твои деньги...

— Ну что вы...

— Да, да, верну... Так-то вот...

Когда наступала пора празднеств в Кашоэйре и Сан-Фелисе, он отправлялся на судне какого-нибудь знакомого моряка писать письма, сочинять стихи и послания на ярмарках этих городов, куда слава о нем дошла раньше него.

---

<sup>1</sup> Имеется в виду Руи Барбоза, знаменитый бразильский государственный деятель, один из основателей Бразильской республики, оратор и писатель, родившийся в 1849 г. в Баие.

Он был неизменным наперсником всех. Много раз приходилось ему сочинять ответ на письмо, сочиненное им же самим. Благодаря его посредничеству не одна девушка вышла замуж и родился не один ребенок. И не одной семье, находящейся далеко, приходилось ему сообщать печальную весть о смерти моряка, не вернувшегося из плавания. В такие дни он напивался больше обычного.

Гума давно уже ждал часа, когда «доктор» будет свободен (или менее занят), чтоб поговорить с ним. В тот вечер как раз клиентов было мало и «доктор» задумчиво ковырял щечкой в зубах, ожидая, не появится ли кто-нибудь, чтоб обеспечить ему ужин. Гума приблизился:

— Добрый вечер, доктор.

— Дай тебе бог попутного ветра, ты пришел вовремя. — «Доктор» любил говорить правду.

Гума помолчал, не зная, как приступить к делу. «Доктор» подбодрил его:

— Так что же, место Розы так и будет пустовать? Я могу тебе такую поэму сочинить, что ни одна не устоит.

— Я за тем и...

— Ну, какую ты рыбку ловишь, а? Как ее зовут?

— Вот этого мне б как раз не хотелось говорить...

«Доктор» обиделся:

— Я здесь двенадцать лет, никто во мне не сомневался. Я нем, как могила, будто не знаешь?

— Да я не то чтоб сомневаюсь, доктор. Потом я скажу...

— Тебе нужно настоящее любовное письмо, так я уразумел?

— Я хотел, чтоб вы мне набросали письмецо, чтоб там было сказано...

— Давай к делу: дама какого разряда?

— Очень красивая.

— Я спрашиваю (досадно, он хотел сказать «я осведомляюсь», да сбился в последний момент), девица она, гулящая женщина или морячка? — Под «морячками» он понимал мулаточек, подавальщиц из таверны, которые водили любовь с моряками из чувства, а не из выгоды, не требуя никакого вознаграждения.

— Это серьезная девушка, я хочу жениться на ней.

— Тогда тебе нужно достать апельсинового цветку и положить в конверт. И на бумаге чтоб было сердце, прозенное стрелой, а еще лучше — два сердца.

Гума отправился разыскивать требуемый материал. «Доктор» предупредил:

— Такое письмо обойдется в два крузадо. Но зато уж письмо будет, пальчики оближешь.

Когда Гума вернулся, то «доктор» сразу же принялся составлять письмо и каждую фразу прочитывал вслух. Вместо имени любимой проставил лишь букву Л., как просил Гума.

Ссора вышла в том месте письма, где говорилось: «Моя хорошая я думаю что твое сердце это золотая раковина где скрыто слово доброта». Ибо первый вариант был, что сердце — это золотой ларец. Гума с ларцом не согласился и предложил раковину. Ларец — это что-то тяжелое, вроде сундука. Какая красота в нем? Никакой... Но Гума забыл, что «доктор» указаний не принимал. И потому ответил, что или будет ларец, или вообще не будет письма. И кто, вообще, пишет, он или Гума? Гума вырвал письмо из рук ученого, отнял также перо с чернильницей и отправился на свой шлюп. Зачеркнул ларец и заменил раковиной. И сам, испытывая при этом огромную радость, дописал письмо до конца. Закончив, он добавил объяснение о перемене почерка и отправился искать «доктора».

— Вот, возьмите за работу...

— Ты не хочешь, чтоб я закончил?

— Нет. Но я плачу...— И Гума вынул из кармана обещанные деньги.

«Доктор» положил заработок в свой карман, захлопнул крышку на чернильнице и очень серьезно посмотрел на Гуму:

— Ты видал когда-нибудь ларец?

— А как же? Даже возил один на моем судне в Маргожице...

— И он не был золотой?

— Нет, кованый.

— А золотого ты никогда не видел?

— Никогда.

— Потому ты и говоришь, что раковина лучше. Если бы ты видел золотой ларец, то не спорил бы.

И письмо так и пошло — с раковиной. Гума сам отнес его в тот же день по адресу. Ливия была дома, он поси-дел немножко и, уже собравшись уходить, сказал ей:

— Я хочу дать вам кое-что. Но поклянитесь, что распечатаете, только когда я уйду.

— Клянусь...

Он отдал письмо и опрометью бросился из комнаты.

Остановился только у самого моря и целую ночь провел без сна, мучительно думая: что же она ему ответит.

Ответила она устно, когда он пришел на следующий день:

— Я готовлю приданое...

Дядя и тетка, возлагавшие такие надежды на замужество Ливии, узнав о предложении Гумы, порвали с ним и не велели впредь ступать на порог их дома. Никто не знал, в каких краях сейчас Родолфо, Гуме не у кого было искать помощи. Когда не был в плавании, он проводил долгие часы, блуждая вокруг дома Ливии, только чтоб увидеть ее хоть на мгновение, перекинуться парой слов, договориться о встрече. Страсть его все росла. В конце концов, он открылся Руфино. Негр поковырял палочкой землю и сказал:

— Один только вижу путь...

— Какой?

— Украсть девушку.

— Но...

— Ничего такого тут нет. Ты с ней сговариваешься; крадешь ее ночью, укрываешь на шлюпе, плывешь в Кашоэйру. А как вернешься, родственникам придется согласиться.

— А с кем я ее оставлю в Кашоэйре?

— С матерью жены Жакеса, — сказал Руфино после короткого раздумья.

— Пойдем к Жакесу, спросим, как он на это посмотрит.

Жакес женился несколько месяцев тому назад. Теща живет в Кашоэйре, Ливия, разумеется, может пожить у нее, пока Гума договаривается с родственниками. Жакес согласился сразу. Гума отправился бродить вокруг дома Ливии, чтоб улучшить минуту и договориться с ней обо всем.

\* \* \*

Ему удалось поговорить с Ливией, она была согласна, она тоже мучилась. Условились на следующую субботу, поздним вечером, дядя и тетка идут в гости. Она как-нибудь ухитрится остаться дома одна, тогда можно будет бежать... Договорившись о побеге, Гума отправился в «Звездный маяк», где заплатил за выпивку для всех и согласился с «доктором», что ларец красивой раковины. Золотой, разумеется.

Стоял июнь, месяц южного ветра и частых бурь. В июне Иеманжа насылает южный ветер, а он жесток. Пересекать залив в эту пору крайне опасно, и бури неистовей, чем когда-либо. Рыбацким лодкам и парусным шхунам в этот месяц приходится туго. Даже большим пароходам Баиянской компании угрожает опасность.

Этой ночью июньское небо застлано было тучами, напрасно Иеманжа приплыла взглянуть на луну. Южный ветер бежал по остывшему, сырому побережью, заставляя людей ежиться, плотней запахивать клеенчатые плащи. Гума еще засветло занял наблюдательный пост на углу улицы Руи Барбозы. Руфино был с ним, и оба не сводили глаз с дома Ливии. Они видели, как дядя с теткой запирали лавку, слышали, как в комнате что-то хлопотали, видно, убирали со стола, потом старики вышли. Гума вздохнул с облегчением: ей удалось остаться дома. Он следил за стариками до самой трамвайной остановки: тетка улыбалась, дядя читал газету... Тогда Руфино отправился за Ливией. Гума остался на углу. Когда Руфино постучал, соседка звала Ливию:

— Ты решила остаться, Ливия? Тогда иди к нам, поболтаем...

Ливия увидала Руфино, шепотом сказала ему что-то, потом обернулась к соседке:

— Тетя забыла сумку... Прислала сказать, чтоб я принесла.

Вошла в комнату, взяла большую сумку и зонт, на прощание еще сказала соседке:

— Она ждет на трамвайной остановке. Возьму и зонтик, верно, дождь будет.

Соседка опустила глаза:

— Ручаюсь, что зонтик она захватила... Да, будет дождь.

И Ливия ушла. Они пересекли площадь, спустились на подъемнике, и перед глазами Ливии лег морской берег, а за ним море, новая ее родина. Гума закутал ее в клеенчатый плащ, Руфино шел впереди, чтоб уберечь их от встречи со знакомыми, а дождь уже падал, мелкий и холодный. У причала Руфино распрощался.

Стоял июнь, месяц южного ветра, когда Ливия сменила город на море. «Смелый» двинулся против ветра и шел накренившись, багряный свет фонаря освещал ему морскую дорогу. Гума склонился над рулем. Какой-то лодоч-

ник у входа в гавань пожелал счастливого плавания. Первый раз в жизни Ливия ответила на морское приветствие:

— Счастливого плавания...

Южный ветер разметал ей волосы, от моря исходил какой-то новый, дотоле ей не ведомый, запах, и в груди ее поднялась радость, вылившаяся в песню. Ливия приветствовала океан самой прекрасной песней из всех, какие знала, и так «Смелый» пересек фарватер и вошел в гавань, ибо прекрасные песни, что поют морячки, умирляют ветер и море. Ливия была счастлива, а Гума так уж был счастлив, что впервые в жизни не заметил надвигавшейся бури. Ливия улеглась у его ног, и волосы ее развевались на ветру. Песня Ливии постепенно замерла. Оба молчали. Теперь только южный ветер насвистывал свою песню смерти.

\* \* \*

Буря напала внезапно, как обычно случается в июне. Южный ветер яростно потряс парус «Смелого». Свет фонаря освещал огромные валы у рейда. За годы, проведенные на море, не раз приходилось Гуме сражаться с бурями. Некоторые оканчивались трагически для многих рыбаков, лодочников и капитанов шхун. Раз ночью он один вышел в море, чтоб привести в гавань заблудший корабль, буря так свирепствовала тогда, что никто не осмелился... И никогда Гума не знал страха. Смерть была его давняя знакомая, он привык к ней, привык думать, что и сам когда-нибудь очутится на дне морском. Сегодня буря обещала быть сильной, как никогда. Огромные валы кидались друг на друга, словно состязаясь в силе. Однако Гума встречался и не с такими бурями и никогда не испытывал страха. Почему же сегодня ему так страшно, почему он так боится, что ветер загасит фонарь? Первый раз в жизни сердце его бьется учащенно от страха перед морем. Ливия устала от напряженного ожидания, в каком жила весь этот день, от опасений, что все может провалиться в последнюю минуту, если дядя с теткой будут настаивать, чтоб она пошла с ними в гости, и сейчас растянулась на досках у ног Гумы, стоящего у руля. Он чувствует ласковое прикосновение ее длинных волос, раздуваемых ветром. Он тянется к ней всем существом, а ведь может случиться, что им и не придется быть вместе. Быть может, поплывут они оба к землям Айока, так и не соединившись. Но час смерти еще не настал, ибо они еще не

насладились друг другом, жажда их еще не утолена, и, лишь когда тела их соприкасаются случайно и мгновенно, они дрожат от наслаждения, несмотря на бурю, несмотря на неистовый рев бушующих вокруг гигантских валов. Гума не хочет умирать, не слившись хоть раз с Ливией, ибо тогда он и после смерти будет обречен все возвращаться и возвращаться на место своей гибели в поисках своей желанной.

Ливия, ничего еще не знающая о жизни моря, спрашивает, широко раскрывая испуганные глаза:

— Оно всегда такое, Гума?

— Если б оно всегда было такое, то человек после второго плавания оставался бы на дне.

Тогда Ливия поднялась и крепко прижалась к Гуме:

— Мы можем умереть сегодня?

— Не обязательно... «Смелый» хорошее судно. И я кое в чем разбираюсь...— И, несмотря на бурю, Гума улыбнулся Ливии.

Она еще крепче прижалась к его плечу. И прошептала:

— Если ты думаешь, что мы умрем, то приди ко мне сейчас. Так будет лучше.

Гуме хочется того же. Тогда они умрут, уже узнав друг друга, утолив свою жажду. Так они умрут с миром. Но он знает, что, если удастся пересечь вход в гавань и достичь реки, он будет спасен и найдет место, куда пристать. Невозможно далее плыть против этого крепкого ветра, который завладевает судном и отбрасывает его далеко в сторону. Фонарь еще не погас, спасение еще возможно.

Дождь захлестывает палубу, платье на Ливии промокло и прилипло к телу, с Гумы ручьями течет вода. Паруса принимают полный удар ветра, и «Смелый» кренится, хочет выровняться, уступает, почти ложась на бок, и, отходя от первоначального пути, удаляется все больше и больше в сторону открытого моря, того, что принадлежит уж не им всем, а огромным трансатлантикам и черным грузовым гигантам. Гума удерживает руль из последних сил, все-таки управляя своим судном, вопреки бешеному натиску ветра и волн. Ливия прижимает голову к его плечу, умоляя:

— Если нам суждено умереть, приди ко мне...

— Может быть, и выдюжим...

На небе ни одной звездочки, не для любви эта ночь.



Даже не слышно песен с пристани, только ветер воет. Но Гума и Ливия хотят любви этой ночью, которая может оказаться последней. Все так изменчиво и быстро в жизни на море. Даже любовь быстра. Волны омывают шлюп и тела людей на палубе. Трудно сражаться с ними. Все, чего Гуме удалось добиться за долгие часы,— это удержаться в заливе, не быть унесенным в открытое море. Вон какой-то корабль входит в гавань. Тысячи огней освещают его. Волны ломают хребты о его высокий корпус, не властные над ним. Но они властны над маленьким парусником Гумы, который иногда целиком скрывается под каким-нибудь гигантским валом. Одна лишь Ливия придает Гуме силы, только страсть к ней, только желание жить для нее заставляет его продолжать борьбу. Никогда не испытывал он страха перед бурей. Сегодня — впервые. Сегодня он боится умереть, так и не узнав любовь Ливии.

Удалось наконец войти в реку. Но и здесь хозяйничает буря. Фонарь «Смелого» гаснет под ударом ветра. Ливия попыталась было вновь зажечь, да истратила целый коробок спичек, так ничего и не добившись. Гума старается направить судно в маленькую заводь, где можно переждать шторм. Их мало здесь, в начале реки. Разве что в тех местах, где вершит свой бег конь-призрак, есть одна такая. Однако для моряка лучше остаться во власти бури, чем оказаться там и слышать собственными ушами тяжелый скок белого коня, что был когда-то жестоким феодалом, владельцем бесчисленных плантаций и рабов. Но пути назад у Гумы нет, они уже вблизи той заводи. Уже ясно различим стук копыт. Вот промчался, возвращается вспячь, вот опять глуше. Конь-привидение скачет по берегу реки, сумы, набитые камнями, бьют его по спине и бокам, молнии вырисовывают во тьме его силуэт.

Ливия поет, тихонько и нежно, призывая Гуму. Но белый конь скачет по берегу — лучше отдаться буре и умереть. А как, наверно, хорошо прижаться телом к девичьему телу Ливии! Молния, разрезав ночь, высветила невдалеке маленькую заводь:

— Гума, смотри... мы можем пристать вон там.

Зачем думать о белом коне? Он не навлечет на нее смерть этой ночью, ее венчальною ночью. Белый конь скачет по берегу, но Ливия поет и не боится его. Она боится бури, южного ветра, грома — гневного голоса Исманжи, молнии — гневного блеска ее глаз.

И Гума причаливает шлюп в маленькой заводи.

Много лет спустя один человек (старик, что уж и сам потерял счет своим летам) говорил, что не только лунные ночи даны для любви. Ночи бурь и гнева Иеманжи тоже хороши, чтоб любить. Стоны любви — это самая прекрасная на свете музыка, от которой молнии останавливаются в небе, преображаясь в звезды, а гигантские валы, набегая на песок побережья, где укрылись влюбленные, разбиваются на мелкие волны. Ночи бурь тоже хороши для любви, ибо в любви есть музыка, звезды и добро.

Музыка слышалась и в столах любви, вырывавшихся у Ливии. Звезды зажглись в ее глазах, и молнии остановились в небе. И гордый крик Гумы остановил грома. Огромные валы делались кротки, набегая на песчаную отмель маленькой заводи мелкими волнами. А Гума с Ливией были так счастливы, и была так хороша эта черная ночь без луны и без звезд, так полна любви, что конь-призрак почувствовал, как груз упал с его спины и искупление его заключилось. И никогда уж больше не слышно стало его бешеного скока по речному берегу близ маленькой заводи, куда с тех пор моряки водят своих подруг.

### СВАДЕБНЫЙ МАРШ

Родственники Ливии бушевали, угрожали убить обоих. Гума оставил Ливию у тещи Жакаса и возвратился в Баию. Родолфо, появившийся внезапно, как всегда, пытался успокоить стариков, не дал им сообщить в полицию. Гума встретил его в порту. Родолфо постарался было изобразить на лице гнев, но это ему не удалось. Он обнял Гуму:

— Я по-настоящему люблю сестру. Ты знаешь, что я человек поконченный, но она... Я хочу, чтоб она была счастлива. Тебе вот что надо сделать...

Гума перебил:

— Я хочу жениться на ней. В том, что я украл ее, виноваты старики... Не соглашались...

Родолфо засмеялся:

— Да я все знаю. Я их уговорю, не сомневайся. У тебя есть деньги, чтоб все оформить?

Гума рассказал Родолфо все, и на следующий день тот объявил, что свадьба состоится через двенадцать дней в

церкви Монте-Серрат и в Гражданском управлении. Больше всех обиделся старый Франсиско. Он всегда находил, что моряк жениться не должен. Женщина — только помеха в жизни моряка. Однако ничего не сказал: Гума человек взрослый, вмешиваться в его жизнь негоже. Но одобрять... Нет, он не одобряет. В особенности теперь, когда жизнь так трудна, тарифы на перевозку грузов на лодках и парусных судах так низки... Он заявил Гуме, что съезжает с квартиры:

— Поищу какой-нибудь другой угол, где бросить якорь...

— Вы с ума сошли, дядя... Вы останетесь здесь — и все тут.

— Твоя жена будет недовольна...

— Вы меня почитаете за глупого гусака. В вашем доме кто распоряжается? Вы или прохожий?

Старый Франсиско пробормотал себе под нос что-то непонятное. Гума продолжал:

— Она вам понравится. Право, она хорошая.

Старый Франсиско еще ниже склонился над рваным парусом, который чинил. Вспомнил собственную свадьбу.

— Ну и праздник был, все даже удивлялись. Народ со всей округи собрался к нам жареную рыбу есть. Даже твой отец явился, а он, знаешь ведь, бродяга был отчаянный, никто никогда не знал, где его и искать-то. Не упомяну, чтоб столько народу когда собиралось. Разве что на похоронах жены.

Старик задумался, игла, которой он чинил парус, замерла в воздухе.

— К чему жениться? Все равно плохо кончится. Я не хочу накликать, нет, просто к слову пришлось...

Гума знал, что старый Франсиско прав. Тетка умерла от радости, когда однажды в бурю старый Франсиско вернулся невредимым. Умерла от радости, но другие умирали почти всегда от печали, узнав, что муж не вернулся из плавания.

Поэтому доктор Родриго взглянул на Гуму с каким-то испугом, когда тот пришел приглашать его на свадьбу. Гума хорошо знал, о чем тогда думал доктор Родриго, так пристально глядя на него. Наверняка вспоминал день, когда умер Трейра, — ушел на корабле или на грозовой туче своего бреда, все зовя и зовя дочек. Раquel все-таки получила новую куклу, только не от отца, вернувшегося из плавания. Гума помнил о нем, помнил и о других. Они

остались навеки в море и плыли теперь к Землям без Конца и без Края. Как может женщина здесь, на побережье, жить без мужа? Иные стирают белье для семей из верхнего города, иные становятся проститутками и пьют по ночам в «Звездном маяке». И те и другие одинаково печальны — печальны прачки, что все время плачут, печальны проститутки, что все время смеются... Доктор Родриго протянул Гуме руку и улыбнулся:

— Обязательно приду поздравить тебя...— Но голос его тоже был печален. Он думал о Траире и о других подобных ему, прошедших через его врачебный кабинет.

Только донна Дулсе искренне обрадовалась и светло улыбнулась:

— Я знаю, жизнь от этого станет еще труднее. Но ты ее любишь, правда ведь? Хорошо делаешь, что женишься. Так не может продолжаться вечно. Я все думаю, Гума...— И в голосе ее звучала детская надежда. Она ждала чуда, Гума знал это, все на пристани знали. И ее любили, любили сухое ее лицо, кроткие глаза под очками, худую, начавшую уже горбиться фигуру. И водили к ней детей на учение — месяцев на пять, шесть. А она жадно искала того слова, какому надлежит их научить, слова, способного свершить чудо...

Она крепко ждала руку Гумы и попросила:

— Приведи ее сюда, я хочу на нее посмотреть...

Ну, а «доктор» Филадельфио, сунув пальцы в карман грязной жилетки, засмеялся довольным, тоненьким смешком:

— Пойдем отметим...— Потом вспомнил: — Если б ты в письме написал ларец, она б уж давно согласилась...

И опрокинул стаканчик в «Звездном маяке» за здоровье Гумы и его суженой. Впрочем, за их здоровье выпила вся таверна. Некоторые были уже женаты, другие собирались жениться. Большинству, однако, не хватало духу принести женщину в жертву своей моряцкой жизни.

\* \* \*

Ливия посетила дону Дулсе. Дядя с теткой уже помирились с ней и даже пришли повидаться. Принесли приданое, и все начали готовиться к празднику. Старый Франсиско совершенно влюбился в Ливию. Он был так счастлив, что казалось, будто это он сам женится, а не племянник. На пристани только и разговоров было, что о

свадьбе Гумы, которая в конце концов и состоялась в один из субботних дней, сначала в Гражданском управлении, куда пошло мало людей (Руфино был посаженным отцом и чуть ли не полчаса старательно выводил свою подпись под свадебным контрактом), потом в церкви Монте-Серрат, полной цветов. Тут уж собрался весь портовый люд, пришедший взглянуть на Гуму и его невесту. Все нашли, что хороша. Многие глядели на Гуму с завистью. В уголке собралась компания молодых парней. Там переговаривались:

— Счастливец: пригоженькая... Сам бы женился, коли б мог...

Кругом смеялись:

— Эх, брат, уж поздно...

Кто-то сказал:

— Тебе надо только немножко подождать... Когда она вдовой останется...

Никто больше не смеялся. Только какой-то старый моряк укоризненно махнул рукой в сторону парней:

— Такие вещи не говорятся...

Сказавший горькие слова сконфуженно опустил голову, а его недавно женившийся товарищ почувствовал, как по спине пробежал холодок, словно вдруг подул свирепый ветер с юга.

Ливия была сегодня такая милая, нарядная, и Гума улыбался, сам не зная чему. Холодный июньский вечер опускался над городом. Набережная была уже освещена. Все спустились вниз по холму.

Вечер был сырой и туманный. Люди кутались в плащи, дождь падал тонкий, колющий. На кораблях, несмотря на ранний еще час, зажглись огни. Шхуны со спущенными парусами тыкались мачтой в серо-свинцовое небо... Воды моря словно остановились этим сырым вечером, когда праздновали свадьбу Гумы. Старый Франсиско дорогою рассказывал Руфино историю своей собственной женитьбы, и негр, уже немного навеселе, слушал, отпуская время от времени соленые шуточки. Филадельфио обдумывал речь, какую вскоре произнесет за праздничным столом, и заранее предвкушал успех. Дождь падал на свадебную процессию, в то время как колокола церкви Монте-Серрат возглашали своим звоном пришествие ночи. Песок прибрежья был изрыт лужами, и какой-то корабль тихо и печально отплывал от пристани в буро-свинцовую тьму...

Замыкали процессию дона Дулсе и доктор Родриго.

Она все говорила ему что-то, и шли они, взявшись за руки, словно жених и невеста, только спина у невесты немножко уж сгорбилась и глаза с трудом различали дорогу, не смотря на очки. А жених все больше молчал и попыхивал трубкой.

— Маленький Мундиньо умер...— сказал он.

— Бедная мать...

— Я сделал все, что мог. Спасти его было невозможно. Здесь, во всяком случае. Отсутствие самой примитивной гигиены, никаких условий...

— Он ходил ко мне в школу. Хорошо учился. Он далеко бы пошел...

— Ну, в школу-то он недолго бы ходил.

— У этих людей нет возможности, доктор. Сыновья нужны им, чтоб помогать зарабатывать на хлеб. А многие из моих учеников такие способные, понятливые... Гума, например...

— Вы ведь много лет уже здесь, правда, дона Дулсе?

Она слегка покраснела и отозвалась:

— Да, давно. Грустно все это...

Доктор Родриго не понял как-то: относились ли эти слова к ее собственной жизни или к жизни всех этих людей. Она шла рядом с ним, еще больше сгорбившись, и дождь серебрил ей волосы.

— Иногда я думаю... Могла бы я уехать отсюда, найти лучшее место... Но мне жаль этих людей, они так привязаны ко мне. А мне между тем нечего сказать им...

— Как так?

— К вам в дом никогда не приходили плакать женщины? Не приходили вдовы, только что потерявшие мужей? Я видела много свадеб. Шли счастливые, как сейчас Ливия... А потом они же приходят плакать о мужьях, оставшихся в море. И мне нечего сказать им...

— Недавно умер человек у меня в кабинете, если только можно назвать это кабинетом... Умер от раны в животе. Все только о дочерях говорил... Он был лодочник...

— Нечего мне ответить этим женщинам... Вначале я еще во что-то верила и была счастлива. Верила, что когда-нибудь бог сжадется над этими людьми. Но я столько тут навиделась, что теперь уж ни во что не верю. Раньше я хоть утешать умела...

— Когда я приехал сюда, Дулсе (она взглянула на него, когда он назвал ее просто Дулсе, но поняла, что он

говорит с нею как брат), я тоже верил. Верил в науку, хотел изменить к лучшему жизнь этих людей...

— А теперь?

— Теперь мне тоже нечего им сказать. Говорить о гигиене там, где есть только нищета, говорить о лучшей жизни там, где есть только опасность смерти... Я потерпел поражение...

— А я жду чуда. Не знаю какого, но жду.

Ливия издали улыбалась доне Дулсе. Доктор Родриго поднял воротник плаща.

— Всё ждете чуда... Это доказывает, что вы еще сохранили веру в своего бога. А это уже кое-что. А я уже потерял веру в мою богиню.

До них донесся гул голосов, смех старого Франсиско в ответ на какую-то шутку Руфино, счастливый возглас Гумы, ласковый зов Ливии. Тогда дона Дулсе сказала:

— Не от небес жду я чуда. Слишком много молилась я святым, а люди вокруг все умирали и умирали. Но я сохранила веру, да. Я верю в этих людей, Родриго. Какой-то внутренний голос говорит мне, что это они свершат чудо, которого я жду...

Доктор Родриго взглянул на дону Дулсе. Глаза у учительницы были добрые и улыбались. Он подумал о своих неполучившихся стихах, о своей науке, в которой потерпел провал. Он взглянул на людей, весело смеющихся вокруг них. Шкипер Мануэл только что выпрыгнул на берег со своего «Вечного скитальца» и теперь прямо бежал об руку с Марией Кларой навстречу новобрачным. И громко смеялся, извиняясь за опоздание. Доктор Родриго сказал:

— Какое чудо, Дулсе? Какое чудо?

Она шла рядом, какая-то преображенная, похожая на святую. Кроткие глаза были устремлены куда-то далеко в море. Чей-то ребенок подбежал к ней, и она положила ему на голову свою высохшую руку:

— Чудо, да.

Ребенок шел теперь рядом с ними в сырой темноте приближающейся ночи. Дулсе продолжала:

— Вы никогда не воображали себе это море, полное новеньких шхун с белоснежными чистыми парусами, которые вели бы в плавание моряки, получающие за свой труд столько, сколько он действительно стоит? Не воображали моряцких жен, будущее которых было бы обеспечено, детей, что ходили бы в школу не шесть месяцев, а все годы, нужные для обучения, а некоторые, наиболее

способные, могли бы поступить в институт? Представляли ли вы себе посты спасательной службы на реках, у входа в гавань... Иногда я воображаю себе все это...

Ребенок шел рядом, слушая молча и не понимая. Ночь была промозгла, море словно остановилось. Все было печально и бледно. Голос доня Дулсе продолжал:

— Я жду чуда от этих людей, Родриго... Чуда, похожего на луну, что сейчас осветит эту зимнюю ночь. Все проясняя, все делая прекрасным...

Родриго посмотрел на луну, всходящую на небе. Луна была полная и все освещала, преображая море и ночь. Вспыхнули звезды, песня раздалась со стороны старого форта, люди как-то выпрямились, свадебный кортеж стал вдруг наряжен. Ночная сырость исчезла, уступив место сухому холодку. Луна осветила ночь над морем и берегом.

Шкипер Мануэл шел в обнимку с Марией Кларой, и Гума улыбался Ливии. Доктор Родриго посмотрел на чудо ночи. Ребенок улыбался луне. Доктору Родриго показалось, что он понял, о чем говорила Дулсе. Он взял ребенка на руки. Это правда. Когда-нибудь эти люди совершат чудо. И он сказал тихонько, обращаясь к Дулсе:

— Я верю.

Процессия входила в дом Гумы. Старый Франсиско кричал:

— Входи, народ, входи, этот дом для всех. В тесноте да не в обиде...

Когда доктор Родриго и доня Дулсе прошли мимо, он спросил:

— О чем говорили? Свадьба-то скоро?

Доктор Родриго отозвался:

— Мы говорили о чуде.

— Время чудес миновало...— засмеялся Франсиско.

— Нет еще,— горячо отрезала доня Дулсе.— Но чудеса теперь иные.

Луна входила в дом через окошко.

\* \* \*

Жеремиас принес гитару. Другие взяли с собой гармоника, и негр Руфино тоже прихватил свою шестиструнную. Голос Марии Клары был сегодня достоянием всех. И стали петь песни моря, начав с той, где говорится, что ночь дана для любви (и при этом все улыбались Гуме и Ливии), и кочив той, где говорится о том, как сладко



умереть в море. Танцы, конечно, тоже были. И все хотели танцевать с невестой, и пили тростниковую водку, и ели сласти, присланные доной Дулсе, и фасоль с вяленным мясом, приготовленную старым Франсиско под руководством Руфино. И смеялись, смеялись, забыв и о сырости ночи, и о южном ветре, особенно хлестком в июне. Скоро праздник святого Жоана, и костры зажгутся по всему побережью, потрескивая в темноте.

Гума ждал, чтоб все ушли. С тех пор как он увез тайком Ливию и обнимал ее на песке заводи в ту бурную ночь, ему ни разу не удалось даже дотронуться до нее. А с того дня его чувство к ней все росло и росло. Он смотрел на гостей, которые смеялись, пили, разговаривали. Совершенно очевидно, что рано домой не собирался никто. Шкипер Мануэл рассказывал длинную историю о какой-то драке:

— Он ему как даст... И туда его, и сюда. От бедняги только мокрое место осталось...

Попросили Руфино спеть. Ливия положила голову на плечо Гуме. Франсиско потребовал тишины. Руфино тронул струну своей гитары, голос его разнесся по комнате:

Деньги миром управляют,  
управляют миром деньги...

Песня продолжалась. Голос певца был стремителем, как волны в бурю. Строки набегали одна на другую:

Яму вырою большую,  
мачту в яме укреплю  
и за косы пришwartую  
ту, которую люблю.

И взглядывал на мулаточек, сидевших у стены, и пел именно для них, ибо ему нравилось менять женщин, а женщинам нравилось лежать с ним на песке прибрежья. Про него говорили в порту, что он «лодочник хоть куда, как ударит веслом, так и причалит где надо»... А на это большая ловкость нужна...

Нас учили наши предки,  
как кому невесту брать:  
ягуару — прыгать с ветки,  
а змее — в земле копать.  
Эдак тот, а этот — так,  
ведь любовь-то не игрушка,  
и пастух, коль не дурак,  
знает, где его телушка.

Все вокруг смеялись, мулаточки так и стреляли глазами в Руфино. Шкипер Мануэл сопровождал задорную мелодию, крепко ударяя себя ладонями в колени. Руфино цел:

Как узнать, кому печальней,  
коли дурь-то забрала:  
бьет кузнец по наковальне,  
ну, а поп — в колокола.

И теребил струны гитары. Ливии нравились задорные куплеты, хотя она, конечно, предпочла бы какую-нибудь из старых песен про море, из тех, что пелись только в здешних местах. В них говорится про такое важное... Руфино заканчивал:

Я боль зубная сердца,  
я послан за грехи,  
я жечь могу без перца,  
пеку я без муки.  
Скажу, чтоб не забыли:  
я — куст, моя любовь,  
вчера меня срубили,  
я нынче зелен вновь.

После всех этих хвастливых намеков Руфино положил наконец гитару в уголок и стал стрелять глазами по сторонам:

— Спляшем, что ли, народ, день-то сегодня радостный...

Пошли плясать. Гармоники просто изнемогали, сходясь и расходясь, как волны. Шкипер Мануэл рассказывал доктору Родриго:

— Дни идут суровые, доктор. Плавать сейчас куда как опасно. Этой зимой много людей останется у Жапаины...

Шум праздника разносился до самой пристани. Пришел сеу Бабау, принес несколько графинов с вином, это был его подарок новобрачным. На сегодня он закрыл «Звездный маяк», все равно никто не придет, весь народ здесь собрался... И сразу же подхватил даму и закружился по зале. Самба набирала силу, пол гудел под ногами, отстукивающими чечетку. Потом пела Мария Клара. Ее голос проникал ночь, как голос самого моря. Гибкий, глубокий... Она пела:

Ночь, когда он не вернулся,  
ночью печали была...

Голос ее был нежен, несмотря на силу. И, казалось, исходил из самой глубины морской и, как и тело ее, пахнул

сырым песком побережья и соленой рыбой. Все в комнате сидели тихо и слушали, полные внимания. Песня, которую она пела, была их исконной песней, песней моря:

Он ушел в глубину морскую,  
чтоб остаться в зеленых волнах.

Старая морская песня. Почему говорится в них всегда о смерти, о печали? А между тем море такое красивое, вода такая синяя, луна такая желтая. А слова и напевы этих песен такие печальные, от них хочется плакать, они убивают радость в душе.

Отправлюсь я в земли чужие,  
не плачьте, друзья, надо мной,  
уплыл туда мой любимый,  
под зеленой морскою волной.

Под зеленой морскою волной уплывут когда-нибудь все эти моряки. Мария Клара поет, ее любимый тоже проводит все дни и ночи на море. Но она и сама родилась на море, возникла из моря и живет морем. Поэтому песня эта не говорит ей ничего нового, и сердце ее не сжимается от страха, как сердце Ливии, от слов этой песни:

Под зеленой морскою волной...

«Зачем Мария Клара поет эту песню на ее свадьбе?» — думает Ливия. Словно она — враг ей. И сам голос ее подобен подступающей буре. Старуха, много лет назад потерявшая мужа, плачет в углу. Морская волна уносит все... Море и дарит и отымает. Все дарит, все отымает. Мария Клара поет:

Отправлюсь я в земли чужие...

К этим землям отправятся в свой день все моряки. К далеким землям Айока... Гума улыбается, полуоткрыв губы. Ливия опускает голову ему на плечо, впервые чувствуя страх за жизнь любимого. А если он когда-нибудь останется в море, что будет с нею? В песне поется, что все уйдут в свой день «под зеленой морскою волной».

Ливия дышит прерывисто. Песня кончается. Но в холодной июньской ночи голос этой песни не молкнет, достигая набережной, кораблей, шхун и рыбацких лодок. И стучит и стучит в сердца всех людей, собравшихся сегодня в доме Гумы. И чтоб забыть голос этой песни, все снова пускаются в пляс, а кто не пляшет, тот пьет.

Манека Безрукий подымает большую чашу и кричит:  
— Пейте! Крепка проклятая!  
Дождь падает за окошком. Тучи скрыли луну.

\* \* \*

Ее свадебным маршем была печальная песня горя. Песня, заключающая суть всей жизни моряков. «Ушел, чтоб остаться в волнах» — так могла сказать любая женщина, провожая мужа в плавание. Печальная судьба у Ливии... Брат то появляется, то исчезает, никто не ведает, зачем и куда. И на свадьбу не явился, вот уж несколько дней как от него ни слуху ни духу. Поначалу взял на себя все — ходил оформлять бумаги, назначил день, а потом вдруг исчез. Никто ничего не знал о его жизни — где он жил, чем питался, где мог преклонить свою красивую голову с напомаженными волосами. А муж каждый день уходит, чтоб остаться в зеленых морских волнах. Когда-нибудь вместо него вернется мертвое тело, а душа отправится в плавание к бескрайним землям Айока.

Ливия снимает платье и утирает слезы. Она не чувствует сейчас страстных желаний. А ведь жажда ее еще не утолена, ведь только раз привелось ей изведать близость своего мужчины. И вот сегодня они поженились, сегодняшняя ночь дана для любви, а она, Ливия, грустна, печальная песня погасила ее любовную жажду. Отныне она всегда, обнимая Гуму, будет представлять себе его мертвое тело, прибитое волной к берегу. Отныне всегда будет она помнить, что муж уходит, чтоб остаться в волнах. Она смогла бы радостно предаться ему, и полной была бы ее любовь, лишь если бы они могли бежать отсюда сегодня же ночью. Бежать подальше от этого моря, в сухие, суровые земли сертанов, бежать от злого волшебства зеленых этих волн. Там мужчины и женщины думают о море спокойно. Они не знают, что море — жестокий властелин, убивающий людей. В одной из песен, что сложены в сертанах, рассказывается про жену Лампиана, знаменитого разбойника, властвующего в тех местах, — как она плакала, что у нее нет платья цвета дыма из пароводных труб. Пароходы бывают только на море, а в море никто не властвует, даже такой храбрец, как Лампиан. Море само — властелин, хозяин человеческих жизней, море таинственное и страшное. И все, что существует на море и у моря, окружено тайной... Ливия сжимается в ко-

мочек под одеялом и плачет. Теперь уж навсегда дни ее будут трагическими. Она каждый день будет смотреть, как Гума уезжает, чтоб остаться в зеленых морских волнах.

И тогда она принимает внезапное решение. Она всегда будет уходить в море вместе с ним. Она тоже станет морячкой, будет петь песни моря, узнает все ветра, все рифы в излучинах реки, все тайны морских глубин. Ее голос тоже будет смирять бури, как голос Марии Клары. Она будет стремительно плыть на «Смелом» в состязаниях на быстроту и побеждать силою своих песен. И если когда-нибудь ее муж уйдет в глубину вод, она пойдет с ним, и они отправятся вместе в вечное плавание к неведомым землям Айока...

Гума из-за двери спрашивает, можно ли уже войти. Ливия вытирает глаза и отвечает, что можно. Свет свечи вянет, расцветают рассветные вздохи и слова. Он уйдет, чтоб остаться в волнах, поплывет по зеленому морю. Она громко плачет и прижимается к нему, и оба торопятся, словно смерть уже кружит над их брачной постелью, словно они в последний раз вместе.

Внезапно врывается рассвет, и Ливия клянется, что сын ее не будет моряком, не будет плавать под парусом шхун и шлюпов, не будет слушать печальных песен, не будет любить предательское это море... Какой-то густой мужской голос поет, что море — ласковый друг. Нет, сын Ливии не будет моряком. У него будет спокойная жизнь, и жена его не будет страдать, как страдает Ливия. Он не уйдет, чтоб остаться в зеленых волнах.

Внезапно врывается рассвет, и Гума думает, что сын его будет моряком, и научится управлять шхуной искусней, чем шкипер Мануэл, будет плавать на лодке, еще лучшей, чем у Руфино, и когда-нибудь отправится в плавание на огромном корабле к берегам далеким, дальше, чем те, где бродит Шико Печальный. Море — ласковый друг, сын будет плавать по морю.

Внезапно врывается рассвет, и снова расцветают рассветные вздохи и слова.

# КРЫЛАТЫЙ БОТ







## ТРУДНЫЙ ПУТЬ В БОЛЬШОЕ МОРЕ

**Т**рудные месяцы наступили на пристани. Рейсов мало, платежи за фрахт низкие, многим пришлось добывать себе на жизнь рыбной ловлей. Гума был в хлопотах, таскал прибывавшие грузы, брался за любую, хоть самую опасную, работу. Ливия почти всегда сопровождала его. Верная обету, данному самой себе, она старалась постоянно быть возле мужа. Но как-то, во время бури, Гума признался ей, что плавание становится много труднее, когда она рядом. Он, никогда не знавший страха, впал в панику, едва заметив, что небо хмурится, а они всё еще в море. Он



боялся за жизнь ее, Ливии, и потому испытывал ужас перед ветром и бурей. Тогда Ливия стала ездить с ним реже — только когда он бывал в духе. Случалось, что он и сам ее звал, увидев по глазам, что ей этого хочется:

— Хочешь со мной, чернявая?

Он называл ее чернявой, когда говорил особенно ласково. Она радостно бежала одеваться и на вопрос, почему она так любит сопровождать его, никогда не отвечала правды: что опасается за его жизнь. Говорила, что ревнует, боится, что в каком-нибудь порту он изменит ей с другой. Гума улыбался, попыхивая трубочкой, и говорил:

— Глупа ты у меня, чернявая. Я плыву и думаю о тебе.

Когда она не ездила, когда оставалась дома со старым Франсиско, слушая морские были, истории о кораблекрушениях, утопленниках, сердце ее наполнилось ужасом. Она думала о том, что муж сейчас в море, на ветхом суденышке, во власти всех ветров. Кто знает, вернется ли он или труп его прибьет к берегу волна, и положат его в сеть, и понесут домой случившиеся рядом люди. А вдруг вернется с вшившимися в мертвое тело, шевелящимися раками, как произошло с Андраде, историю которого так часто рассказывает старый Франсиско, покуда чинит паруса, а Ливия помогает ему.

Никогда не смогла она позабыть ту песню, что пела Мария Клара в день ее свадьбы: «Он ушел в глубину морскую, чтоб остаться в зеленых волнах». Каждое утро смотрела она на то, как муж уходит навстречу смерти, и не могла удержать его, и не осмеливалась сказать хоть слово. Другие женщины равнодушно провожали своих мужей. Но они родились здесь и не раз видели, еще детьми, как волна выбрасывала на песок мертвое тело — их отца, дяди или старшего брата. Они знали, что так оно и бывает, что это закон моря. Есть на побережье нечто худшее, чем нищета, что царит в полях и на фабриках, — это уверенность в том, что смерть подстерегает в море в неожиданную ночь, во внезапную бурю. Жены моряков знали это, это была предначертанная им судьба, вековой рок. Никто не восставал. Плакали отцы и матери, узнав, что сын погиб, рвали на себе волосы жены, узнав, что муж не вернется, уходили в забвение, в непосильную работу или проституцию, покуда сыновья не вырастут и... не останутся в свой час на дне морском... Они были женщинами

с берега моря, и сердца их были покрыты татуировкой, как руки их мужчин.

Но Ливия не была женщиной с берега моря. Она пришла сюда из любви к мужчине. И она страшилась за него, искала средств спасти его или, если то невозможно, погибнуть с ним вместе, чтоб не плакать о нем. Если ему суждено утонуть, то пусть утонет и она... Старый Франсиско знает много былей, но только о море. День-деньской рассказывает он разные истории, но истории эти полны бурь и кораблекрушений. С гордостью рассказывает он о гибели отважных — шкиперов и лодочников, которых знал лично, и сердито сплевывает каждый раз, когда на язык ему приходит имя Ито, который, чтоб спастись самому, загубил четверых, плывших на его шхуне. Ибо ни один моряк не вправе поступать подобным образом. Таковы истории, рассказываемые старым Франсиско. Они не утешают сердце Ливии, напротив, прибавляют в нем горечи, заставляют не раз глаза ее наполняться слезами. А у старого Франсиско всегда наготове новая история, повествующая о новой беде. Ливия часто плачет, еще чаще убегает и запирается в доме, чтоб не слышать. И старый Франсиско, уже дряхлеющий, продолжает рассказывать самому себе, скупой на жест и на слово.

Потому-то Ливия так обрадовалась, когда Эсмералда, подружка Руфино, поселилась по соседству с ними. Это была красивая мулатка, крепкая, полногрудая, крутобедрая, лакомый кусочек. Много говорила, еще больше смеялась грудным залихватным смехом и не слишком была озабочена судьбой Руфино, влюбленного в нее без памяти. Болтала все больше о нарядах и помадах, о туфельках, что недавно видала в витрине, — красота! — но Ливия привязалась к соседке: та отвлекала ее от мрачных мыслей о смерти. Мария Клара тоже иногда заходила, но Мария Клара, родившаяся и выросшая на море, больше всего на свете любила море, разве что шкипера Мануэла еще больше. Пределом ее желаний было, чтоб он оставался самым искусным моряком по всей округе, чтоб оставил ей сына и отважно ушел в плавание с Иеманжой, когда пробьет его час.

После классов заглядывала иногда и дона Дулсе перекинуться несколькими словами с Ливией. Но забавнее всех была Эсмералда, с ее дразнящим голосом, с ее задорно покачивающимися бедрами, с ее пустой, веселой болтовней. Целый-то день она была занята: что-то у кого-

то брала займы, носилась в дом и из дому (старый Франсиско только облизывался да подмигивал ей, а она смеялась: «Гляньте-ка: старая рыба, а туда же...»), все время о чем-то спрашивала. Руфино плавал на своей лодке вверх и вниз по реке, проводил одну ночь дома, а неделю неизвестно где, она и значения этому не придавала. Как-то раз, застав Ливию в слезах, она сказала ей:

— Глупая ты, как я погляжу. По мужику плачешь... Пускай они там с другими бабами возьятся, нам-то что? Ты посмотри на меня, я и внимания не обращаю...

— Да я не о том совсем, Эсмералда. Я боюсь, что он из какого-нибудь плавания не вернется, умрет...

— А мы все разве не умрем? Я вот не тревожусь. Этот умрет, другого найду.

Ливия не понимала. Если Гума умрет, она умрет тоже, ибо, кроме того, что она не перенесет тоски по нем, не создана она для тяжелой работы, а тем паче не способна торговать собой, чтоб заработать на хлеб.

Эсмералда не соглашалась. Если Руфино умрет, она найдет другого, жизнь продолжается. Да он у нее и не первый. Первый утонул, второй, настоящий муж, ушел грузчиком на корабле да и остался в чужих краях, а третий удрал с другой на своей лодке. Она не горевала особенно-то, жизнь продолжалась. Разве знала она, какая судьба ждет Руфино и что ему в один прекрасный день может в голову взбрести? Ее занимали новые платья, ладно сидящие на ее крутых бедрах, брильянтин, чтоб распрямлять жесткие завитки волос, яркие туфельки, чтоб бегать по пляжу. Ливия смеялась до слез над ее болтовней. Эсмералда развлекала ее... Лучшей соседки и представить себе невозможно. Ей, Ливии, просто повезло. Иначе как проводила бы она свои дни? Слушая нескончаемые истории старого Франсиско о трагедиях на море, думая о страшном дне, когда муж утонет?

\* \* \*

Но стоило лодке Руфино пристать к берегу, как Эсмералду словно подменяли. Она чинно усаживалась у его ног и кричала Ливии:

— Соседка, мой негр приехал. Сегодня у нас праздничный обед...

Руфино был от нее без ума, кое-кто даже говорил, что она его ворожкой держит, что будто бросала в море запи-

сочки самой Иеманже, чтоб его приворожить. Руфино во-  
дил ее в кино, иногда они ходили танцевать в «Океанский  
футбольный клуб», куда спортивные команды и не загля-  
дывали, но где зато по субботам и воскресеньям устраи-  
вались танцы для портового люда. Они казались счастли-  
вой парой, и Ливия частенько завидовала Эсмералде.  
Даже когда Руфино напивался и всех задевал, Эсмералда  
не боялась за него. Сердце ее было спокойно.

\* \* \*

Иногда Ливия ждала Гуму в тот же день и так и не  
уходила с пристани, стараясь различить среди показав-  
шихся вдали парусов парус «Смелого». Появится какой-  
нибудь похожий — и уж сердце ее так и рвется от радости.  
Она попросила Руфино вытатуировать ей на округлив-  
шейся руке, пониже локтя, имена Гумы и «Смелого».  
И смотрела то на свою руку, то на море, пока не убедит-  
ся, что ошиблась, что это вовсе не «Смелый» там вдали,  
а чужая какая-то шхуна. Значит, надо ждать следующего  
паруса. Вон там на горизонте показался один, уж не он  
ли? И надежда вновь наполняла ее сердце. Нет, опять  
не он. Все еще не он... Случалось ей проводить целый ве-  
чер, а иногда и часть ночи в подобном ожидании. И когда  
становилось ясно, что сегодня Гума не вернется, что его  
что-то задержало, она возвращалась домой с тяжестью на  
сердце. Напрасно Эсмералда говорила ей:

— Плохие вести сразу доходят. Если б случилось что-  
нибудь, мы б уж знали...

Напрасно старый Франсиско старался отыскать в уста-  
лой памяти такие случаи, когда люди задерживались в  
море, иной раз на целый месяц пропадет человек, а потом  
вдруг и явится... Не помогало... Она не спала, ходила взад-  
вперед по комнате, часто слыша (дома примыкали друг  
к другу) любовные стоны Эсмералды в объятьях Руфино...  
Она не спала, и в голосе ветра чудился ей голос Марии  
Клары, поющий:

Ночь, когда он не вернулся,  
ночью печали была,  
навек волна морская  
любовь у меня отняла.  
Отправляюсь я в земли чужие,  
не плачьте, друзья, надо мной,  
уплыл туда мой любимый  
под зеленой морскою волной.

А если сон одолевал ее и усталость бросала плашмя на постель, то ей снились кошмары, полные диких видений, буйные бури и тела утопленников в шевелящихся черных раках.

И успокаивалась она, только заслышав знакомый голос, наполненный радостью, громко зовущий сквозь полночь или раннее утро:

— Ливия! Ливия! Погляди-ка, что я тебе привез...

Но почти всегда первой глядела Эсмералда, которая мигом появлялась на своем пороге, крепко обнимала Гуму, прижимаясь полными грудями и спрашивая:

— А мне ты ничего не привез?

— Тебе Руфино привозит...

— Этот-то? Да он и сухого рыбьего хвоста не привезет...

Ливия выходила, глаза ее еще блестели от недавних слез, глядела на Гуму и даже я не верила, что это действительно он, — столько раз видела она его мертвым в своих снах...

\* \* \*

Как-то в пятницу Гума предложил ей:

— Хочешь поехать со мной, чернявая? Я везу черепицу в поселок Мар-Гранде, Мануэл тоже едет. Так что можно будет побиться об заклад...

— Насчет чего? — спросила Ливия, боясь, что тут пахнет ссорой.

— Да мы с ним как-то состязались в быстроте, он выиграл. Давно. А вот теперь посмотрим... Ты станешь петь, чтоб «Смелому» бежать легче...

— Разве это поможет? — улыбнулась она.

— А ты не знала? Ветер помогает тому, кто лучше поет. В тот раз он выиграл только потому, что Мария Клара пела красивую песню. А у меня петь было некому.

Он подхватил жену за талию, заглянул ей в глаза:

— Почему ты плачешь, когда меня нету дома, а?

— Неправда. Кто сказал?

— Эсмералда. Старый Франсиско тоже намекал. Ты скрываешь что-нибудь?

Глаза у нее были без тайны. Чистые и ясные, как вода, светлая вода реки. Ливия провела рукой по буйным волосам Гумы:

— Я бы, если б от меня зависело, каждый раз ездила с тобою...

— Ты за меня боишься? Я умею править рулем...

— Но все гибнут...

— Там тоже,— и он указывал вдаль и вверх, на город,— там тоже умирают. Ничего не поделаешь.

Ливия обняла его. Он бросил ее на постель, зажал ей губы своими, торопясь как всегда, как торопятся люди, не знающие, что будет с ними завтра. Но на пороге показалась Эсмералда, прервав своим веселым голосом ласку Гумы.

Гума вышел, отправился грузить шлюп. Под вечер Ливия оделась понарядней и поехала по подъемной дороге в верхний город — навестить дядю с теткой. Она была в хорошем настроении. Завтра она отправится с Гумой в плавание в поселок Мар-Гранде, что означает Большое Море, а оттуда дальше, в Марагожипе. Так что они целых два дня проведут вместе и почти все время — на море.

Вечером Гума вернулся. Он знал, что Ливии нет дома, потому и не торопился особенно. Опрокинул рюмочку в «Звездном маяке» (сеу Бабау хлопотал у стойки, прихрамывая, «доктор» Филадельфио писал письмо для Манеки Безрукого и пил стакан за стаканом) и теперь стоял, беседуя с Эсмералдой, которая, вся разрядившись, выставилась в окошко.

— Не хотите ли зайти, сосед?

— Да не беспокойтесь, соседка.

Она приглашала, улыбаясь:

— Зашли бы. В ногах правды нет.

Он уклонился. Да право же, не стоит, он уж почти дома, Ливия, верно, скоро придет... Эсмералда сказала:

— Вы кого боитесь? Ее или Руфино? Так Руфино в отъезде...

Гума взглянул на мулатку с испугом. Правда, она его обнимала при встрече, терлась грудью, позволяла себе всякие вольности, но такой прямой атаки еще не было. Она просто предлагалась, тут не могло быть сомнений... Мулатка хоть куда, слов нет. Но она любовница Руфино, а Руфино ему друг, и он не может предать ни Руфино, ни Ливию. Гума решил сделать вид, что не понял, но этого не понадобилось. Ливия шла вверх по улице. Эсмералда сказала:

— В другой раз...

— Ладно.

Теперь ему хотелось любовной встречи, не состоявшейся утром, потому что помешала Эсмералда, не состояв-

пейся сейчас, потому что помешала дружба. Дружба или Ливия, идущая вверх по улице? Гума задумался. Эсмералда была лакомый кусочек. И предлагалась ему. Она — любовница Руфино, а Руфино друг Гумы, оказавший ему немало услуг, бывший шафером на его свадьбе. А потом у Гумы есть жена, самая красивая женщина в порту, зачем ему другая? У него есть женщина, которая его любит. Зачем ему пышущее здоровьем тело Эсмералды? Бедрa Эсмералды колышутся, как корма корабля, мулатские крепкие груди словно готовы выпрыгнуть из-под платья. И у нее зеленые глаза, странно: мулатка — и зеленые глаза... Что сделал бы Руфино, если б Эсмералда изменила ему с Гумой? Убил бы обоих наверняка, уплыл бы потом в море без компаса, Ливия приняла бы яд... А глаза у Эсмералды зеленые... Ливия зовет:

— Иди, обед простынет.

Пусть стынет... Он увлекает ее в комнату.

— Ты сначала мне что-то покажи.

Она вся так и трепещет в постели. У него есть жена, самая красивая женщина в порту. Он никогда не предаст друга.

\* \* \*

Утро выдалось великолепное, солнечное. Октябрь в этих местах — самый красивый месяц. Солнце еще не печет, утра светлые и свежие, ясные утра, без тайны и угрозы. С ближних парусников до самой базарной площади доносится запах спелых плодов. Сеу Бабау покупает ананасы, чтоб настаивать на них вкусную водку для посетителей «Звездного маяка». Толстая негритянка проходит по базару с подносом, уставленным банками со сладкой маниоковой кашей — мингау. Другую окружили любители маисового повидла — мунгунсы. Оба блюда, как и все баиянские лакомства, сложны для приготовления, требуют большого кулинарного искусства... Старый Франсиско купил два ломтя маниокового мармелада... Какая-то шхуна отчаливает, окончив погрузку. Рыбачьи челны отправляются на лов, обнаженные по пояс рыбаки хлопочут над сетями. Рынок ожил, весь в движении, люди выходят из вагонов подъемной дороги, соединяющей два города — верхний и нижний.

Шкипер Мануэл уже на пристани. Мария Кларa в красном ситцевом платье, с лентой в волосах, стоит подле.

Старый Франсиско, всегда просыпающийся с петухами, подходит к ним:

— Уезжаешь, хозяин?

— Жду Гуму. Молодожены, они, знаете, запаздывают...

— Да уж он почти полгода как женился...

— А можно подумать, что вчера,— сказала Мария Клара.

— Живут дружно, это главное.

Легки на помине. У Ливии глаза еще опухшие от бессонной ночи. Гума идет, устало свесив руки, уверенный, что проиграет состязание.

— Считаю, что ты выиграл, Мануэл. Я пошел ко дну.

Ливия бесхитростно рассмеялась, сжала руку мужа:

— Все будет хорошо...

Шкипер Мануэл лукаво приветствовал:

— Ты не торопишься...

Ливия теперь разговаривала с Марией Кларой, которая заметила:

— Ты очень располнела. Обрати внимание.

— Да нет, это я так.

— Смотри, скоро новый шкипер появится!

Ливия покраснела:

— Не шкипер и не рыбак. Мы об этом пока не думаем... Денег едва хватает на двоих.

Мария Клара призналась:

— Вот то-то и есть. Но я говорю Мануэлу: если ты хочешь, то я тоже согласна. Боюсь только, вдруг девчонка выскочит...

Шкипер Мануэл был уже на своей шхуне. Старый Франсиско направился было к группе мужчин, беседующих возле базара. Но остановился, чтоб посоветовать Гуме:

— Как будете обходить остров, постарайся обогнать Мануэла. Он в таких маневрах не слишком силен.

— Хорошо,— отозвался Гума, заранее уверенный, что проиграет.

На базаре люди держали пари. Многие ставили на шкипера Мануэла, но Гума, после спасения «Канавиейраса» и, в особенности, после случая с Траирой (о котором в порту все-таки узнали), тоже имел своих восторженных почитателей.

«Вечный скиталец» двинулся первым. Ветер был попутный, он сразу вырвался вперед, взяв курс на волнолом. Гума только что поднял якорь «Смелого». Ливия держа-



лась за канаты паруса. Со стороны волнолома донесся голос Марии Клары:

Лети, мой парусник, лети  
с попутным ветром по пути...

У волнолома «Скиталец» дожидался «Смелого». Оттуда начиналось состязание. Шлюп Гума пошел вперед, совершая первые ловкие маневры. На пристани стояла группа людей в ожидании. «Смелый» почувствовал ветер, паруса надулись, он скоро достиг «Скитальца». И началось. Шкипер Мануэл шел немного впереди, Мария Клара пела. Гума ощущал какую-то тяжесть во всем теле, руки у него ослабли. Ливия подошла и улеглась у его ног. Ветер разносил голос Марии Клары:

Лети, мой парусник, лети  
с попутным ветром по пути.

Ливия тоже запела. Только музыка может смирить ветер. Только музыкой можно подкупить море. А голоса, предлагаемые сейчас в дар морю и ветру, были глубоки и красивы. Ливия пела:

Плыви, мой парусник, плыви,  
попутный ветер обгони.

...Песня торопит бег «Смелого». Утро роняет блики света на сине-голубую воду. Гума мало-помалу перестает чувствовать томную усталость, оставшуюся в теле после ночи любви, и в приливе энергии налегает на руль, чтоб помочь ветру. «Смелый» идет теперь почти вровень со «Скитальцем», и шкипер Мануэл кричит Гуме:

— А ну, чья возьмет, парень?

Остров Итапарика видится зеленым пятном на синем фоне моря. Оно такое гладкое у берега, что, кажется, можно различить камни на дне. Наверно, и раковины есть. Из-за раковины Гума когда-то чуть не рассорился с Филадельфио. Когда «доктор» хотел в письме к Ливии поставить «ларец», а Гума — «раковину»... Он был тогда так влюблен в Ливию. А теперь разве нет? Только что он сжимал ее в объятьях и сейчас, в этом состязании на быстроту со шкипером Мануэлом, совсем не думает о том, чтоб выиграть, а лишь о том, чтоб все это быстрее окончилось и он смог снова сжать ее в объятьях. Голос Марии Клары разносится у входа в гавань. Гума зовет:

— Иди ко мне, Ливия.

— Только после того, как ты выиграешь состязание.

Она знает, что, если сейчас выполнить его просьбу, он позабудет обо всем — о руле, о состязании, о добром имени «Смелого» — и будет помнить только о любви.

«Смелый» и «Скиталец» идут параллельно. Ветер подгоняет их, люди направляют их бег. Кто придет первым? Никто не знает. Гума всей силой налегает на руль, Мария Клара поет. Ливия тоже возобновляет прерванную было песню. И «Смелый» бежит весело. Но шкипер Мануэл вдруг низко склоняется над рулем и выводит «Скитальца» вперед.

Труден путь в Большое Море. Сейчас придется оги-  
бать остров. Здесь высокий риф. Шкипер Мануэл бросает судно вправо, чтоб выиграть расстояние. Он уже довольно далеко впереди «Смелого». Но Гума использует маневр, которого никто не мог ожидать, — «замкнутый круг» над самым рифом, скрипнув даже по камню килем своего судна. И когда шкипер Мануэл возвращает шхуну на прежний путь, оказывается, что «Смелый» уже на много обогнал его, и рыбаки на пляже поселка Мар-Гранде приветствуют восторженными криками героя, совершившего только что на их глазах подвиг ловкости и храбрости. Никогда еще не приходилось им видеть, чтобы судно развернулось над самым рифом. Один только старый рыбак отнесся недоверчиво...

— Он выиграл, но второй моряк опытнее. Опытный моряк не должен так вот бросать свое судно прямо на камни.

Однако молодежь не хочет слушать столь разумных доводов и страстно рукоплещет Гуме. Старик, ворча, уходит. «Смелый» причаливает к берегу. Сразу вслед за ним причаливает и «Скиталец», и шкипер Мануэл смеется:

— Все равно. Тогда я выиграл. Теперь ты. В такой вот день видно, кто упрямее. — Он кладет руку на плечо Гумы: — Но помни: то, что ты сегодня сделал, два раза не делается. На второй раз судно разобьется о риф.

Гума не согласен:

— Да это ж легче легкого...

Ливия улыбается, Мария Клара шутит:

— А будущий шкипер тоже будет так поступать?

Ливия затуманивается и думает, что ее сын никогда так поступать не будет. И все-таки она восхищается смелым маневром, считая его достойным настоящего мужчины.

Гума и шкипер Мануэл принялись за разгрузку. Потом они снова нагружат свои суда и направятся в Марагожине, откуда привезут сигары и табак. Они решили вместе совершить это путешествие, раз уж подвернулся такой удачный случай в эти мертвые месяцы.

Мария Клара и Ливия идут в поселок по улице, продолжающей собою пляж. Дома здесь с соломенной кровлею, и у торговцев рыбой, проходящих мимо, штаны засучены по колено, а руки сплошь покрыты татуировкой. Здесь, в Мар-Гранде, устраиваются кандомбле, пользующиеся громкой славой, и здешних жрецов знают и уважают по всей округе. В дачной зоне есть даже каменные дома. Но земля эта — земля рыбаков. Каждое утро на рассвете выходят они на лов на своих челнах и возвращаются к вечеру, часов после четырех. Когда-то они возили дачников из столицы штата, теперь для этого есть катер.

Стоит октябрь, и еще властвует зюйд-вест. Но когда настанет лето, подует «свежак», как его здесь называют. Дачники, приехав на катере, должны все же, прежде чем высадиться на берег, отдавать себя в руки рыбаков, чтоб миновать рифы, к которым катер не отваживается подойти. Только маленькие парусники ловко лавируют среди них. И нигде буря так не свирепствует, как в этой зоне...

Обо всем этом думает Ливия, медлительным шагом пересекая пляж — главную здешнюю улицу. Мария Клара идет молча, только иногда вдруг нагнется и подымет какую-нибудь раковину:

— Я из них сделаю рамку для фотографий...

Внезапно им навстречу выходят цыгане. Раньше еще прошел мимо них какой-то растрепанный мужчина, ударя в бубен. Теперь идут четыре женщины. Грязные, говорящие на незнакомом языке, кажется, спорящие о чем-то между собою. Мария Клара предлагает:

— Погадаем по руке?

— Зачем? — противится Ливия, которой страшно.

Но Мария Клара бежит к цыганкам, не обращая внимания на слова подруги. Старуха цыганка берет руку Марии Клары, договариваясь заранее:

— Дай четыреста рейсов, и отгадаю все: настоящее, прошедшее и будущее.

Другая цыганка подходит к Ливии:

— Хочешь, прочту твою судьбу, красавица?

— Нет.

Мария Клара подзадоривает.

— Дашь одну монетку, глупенькая, и все будешь знать...

Ливия протягивает цыганке руку и монетку. Старуха тем временем говорит Марии Кларе:

— Вижу дальнюю дорогу. Много ездить будешь. Много детей народишь...

— Пусть Жанаина услышит тебя...— смеется Мария Клара.

Цыганка, рассматривающая ладонь Ливии, беременная, с длинными серьгами в ушах, повествует:

— С деньгами у тебя туго, дальше хуже пойдет. А мужа твоего ждет большая удача, но только через большую опасность.

Ливия перепугана. Цыганка говорит:

— Прибавь десятку, и я отведу опасность.

У Ливии больше нет денег, она просит Марию Клару ссудить ей десять тостанов. И отдает цыганке, проворчавшей в ответ нечто невнятное. И гадалки уходят, возобновив на своем непонятном языке прерванный спор. Мария Клара смеется:

— Она сказала, что я нарожу дюжину детей. Мануэл будет недоволен. Я-то бы хотела. Посадила б всю дюжину на «Скитальца»... и по волнам.

А в ушах у Ливии все звучат слова цыганки: «...через большую опасность...»

Какая еще опасность грозит Гуме? В какую еще историю он впутается? Цыганка, наверно, имела в виду опасности жизни моряков вообще... Господи, нет конца этому пляжу!.. Подруги возвращаются наконец на пристань. Оба парусника уже разгружены. Надо готовить обед, жарить рыбу. Гума и шкипер Мануэл радостно смеются, вдыхая воздух, пропитанный вкусным запахом жареной рыбы. И, поев, снова принимаются грузить свои суда.

Уже поздно ночью выходят в море. Оно все так же спокойно на трудном пути из Большого Моря. С чужой шхуны слышится музыка и песни на чужом и странном языке цыган. Красивая музыка, только грустная... Гума обращается к Ливии:

— Поют, словно горе накликают...

Ливия опускает голову и молчит. По небу рассеяны звезды без числа.

Труден путь из Большого Моря. Потому суда идут осторожно, тщательно обходя рифы. Здесь многие уж погибли. В одну бурную ночь остались навеки у этих рифов Жакес и Раймундо, его отец. Это Гума нашел их тела, когда возвращался из Кашозэйры. Старик крепко сжимал мертвой рукой край рубахи сына, видно, в минуту гибели пытался его спасти. И Жудит стала вдовой в ту ночь. Ливия до рассвета ждала Гуму на пристани. Это Руфино сообщил, что погиб Жакес. Ливия не забыла, что теща Жакеса приютила ее, когда она бежала из дому с Гумой. И вот рифы Большого Моря отняли навек Жакеса и его отца, и волны сомкнулись над ними... Труден путь в Большое Море, повторяемый каждый день десятками судов...

Цыганка сказала Ливии, что скоро мужу ее будет грозить опасность. Какой еще трудный морской путь придется пройти Гуме? Жизнь Ливии уже так переполнена отчаянием и тоской... Когда Гума уходит в плавание, сердце Ливии предчувствует одну лишь беду. Мария Клара даже сказала, что это дурная примета, что так, не ровен час, и накличешь беду.

Труден путь в Большое Море, поглотивший уже столько людей! Когда-нибудь настанет черед Гумы, но раньше — так сказала цыганка — ему предстоит еще опасные труды. Неужто он станет теперь плавать только по этому опасному пути? Кто знает, что может в жизни случиться? Даже цыганки не знают, умеющие слушать голос моря, приложив ухо к раковине. И те не знают.

Ливия привезла с собою горсть цветных ракушек и сделала из них рамку, в которую вставила карточку Гумы, ту, где он снят в саду возле подъемной дороги и стоит, прислонясь к дереву. Другую, на которой виден также «Смелый», она запечатала в конверт и послала Иеманже, прося богиню не отнимать у нее отца ее будущего ребенка. Ибо Мария Клара оказалась права. Есть уже новое существо, которое ворочается пока еще в животе Ливии, существо, что когда-нибудь — такова судьба — тоже отправится в плавание по трудному пути в Большое Море.

Прежде всего Ливия отправилась к доктору Родриго. Он всегда настаивал, что беременным женщинам следует быть под наблюдением врача. Платы за это он не требовал, а роды от этого проходили легче. На пристани говорили также, что доктор не отказывался «посылать ангелочков на небо» и что немало абортот было делом рук доктора Родриго. Как-то раз донна Дулсе даже спросила его, правда ли это.

— Правда. Эти бедняжки живут черт знает как, голодают, мужья их гибнут в море. Вполне понятно, что многие из них не хотят иметь больше детей. Иногда у них есть уже восемь, а то и десять. Они приходят ко мне, просят, что ж мне делать? Ведь не посылать их к знахаркам... Это еще хуже...

Донна Дулсе хотела возразить, но смолчала. Действительно, он прав... Она опустила голову. Слишком хорошо она знала, что не из злого умысла делали себе аборты эти женщины. Если они решались на такое, то затем лишь, чтоб дети потом не росли заброшенными, не толклись сызмальства по портовым кабакам, не вынуждены были напоминаться грузчиками с восьми лет. Денег в семье всегда не хватало. Доктор Родриго был прав, делая аборты. Просто в ней, доне Дулсе, говорил ее неудовлетворенный инстинкт материнства. Ей все представлялись белокурые головки, детские нестройные голоса... Доктор Родриго сказал:

— Надо видеть жизнь такой, как она есть... Я не жду чудес...

Она улыбнулась:

— Вы правы. Но как это жаль...

Однако Ливия пошла к доктору Родриго не затем, чтоб вырвать из чрева свое дитя. Она пошла, чтоб узнать, не ошиблась ли, так как беременность была, видно, еще недолгая и ничего еще не было заметно. Доктор Родриго подтвердил беременность и сказал, что готов наблюдать ее и помочь родам. Она, наверно, не захочет делать аборт? Доктор Родриго прекрасно знал, что здешние женщины никогда не хотят лишиться первого своего ребенка.

Гума приехал в полночь. Бросил в угол вещи, показал Ливии подарок, что привез ей. Он выиграл целый отрез материи, побившись об заклад с одним матросом с корабля компании «Ллойд Бразилейро», стоявшего на якоре в порту. Корабль был на ремонте, и матрос решил, пока суд

да дело, съездить навестить семью в Кашоэйру. Он отправился на шлюпе Гумы, готовящемся к отплытию (это было три дня назад) и держал с Гумой пари, что тот не обгонит баианский пароход, идущий тем же курсом. Гума выиграл пари.

— Это был риск, но уж больно мне материя приглянулась. Он ее одной своей знакомой вез...

Ливия сказала:

— Ты больше никогда не должен так поступать.

— Да это не страшно...

— Нет, страшно.

Тут только Гума обратил внимание, что она сегодня как-то особенно серьезна.

— Что это с тобой, а?

— У меня тоже есть для тебя подарок.

— А какой же?

— Уплати залог...

Он вынул из кармана двести рейсов.

— Оплачено.

Тогда она вплотную подошла к нему и сообщила:

— У нас будет ребенок...

Гума соскочил с кровати (он начал уж было раздеваться) и кинулся к двери. Ливия удивилась:

— Ты куда же?

Он принялся стучаться к Руфино. Стучался долго. Услышал бормотание внезапно разбуженных соседей и смутился, что так вот врывается в чужой дом среди ночи, только чтоб сообщить новость, что у Ливии будет ребенок... Услышал сонный голос Руфино, вопрошавший:

— Кто там?

— Свои. Это Гума.

Руфино отворил. Вид у него был заспанный. Эсмералда появилась в дверях комнаты, кутаясь в простыню.

— У вас случилось что-нибудь?

Гума не знал теперь, что и сказать. Глупо просто, разбудил людей... Руфино настаивал:

— Так что же произошло, брат?

— Ничего. Я только что приехал, зашел повидать вас.

Руфино не понимал:

— Ладно, раз ты не хочешь рассказывать...

— Да так, глупости...

Эсмералда не отступала:

— Да развяжи язык, парень. Снимайся, что ли, с якоря...

— У Ливии будет ребенок...

— Как? Сейчас? — испугался Руфино.

Гума злился на свое чудачество.

— Да нет же. Через некоторое время. Но сегодня она убедилась, что беременна.

— А-а...

Руфино глядел в ночь, открывшуюся за порогом. Эсмералда помахала Гуме на прощание:

— Я завтра задам перцу этой обманщице. Отрицала ведь.

Руфино вышел вместе с Гумой. Шел задумчивый.

— Пойдем в «Маяк», выпьем по глотку.

Выпили. Не по глотку, конечно. В таверне была масса народу — матросы, лодочники, проститутки, грузчики из доков. Уж под утро, совсем опьяневший, Руфино предложил:

— Друзья, выпьем по стаканчику за одно событие, которое произойдет у моего дружка Гумы.

Все обернулись. Наполнили стаканы. Какая-то тощая женщина подошла к Гуме спросить:

— А в чем дело-то?

Она не была пьяна. Гума сказал:

— У моей жены будет ребенок.

— Как здорово!.. — И женщина выпила немножко пива из стоящего на столике стакана. Потом вернулась в свой угол к мужчине, нанявшему ее на эту ночь. Но прежде улыбнулась Гуме и сказала:

— Желаю ей счастья.

Домой пришли только под утро.

\* \* \*

Гума сообщил новость всем своим знакомым, а их было много, рассеянных по всему побережью. Некоторые дарили ему подарки для будущего сына, большинство просто желало счастья. Эсмералда тоже зашла на следующий день утром. Наболтала с три короба, бурно поздравляла соседку, уверяя, что так уж рада, так рада, словно это с нею самой приключилось... Но когда Ливия вышла в кухню приготовить кофе для них троих, завела речь весьма рискованную:

— Только мне вот все не попадается такой мужчина, от которого у меня б был ребенок. И в этом мне не судьба. С моим не выйдет... — Она сидела, скрестив ноги, из-под короткого платья виднелись крепкие ляжки.

Гума засмеялся:

— Вам надо только сказать Руфино...



— Ему-то? Да к чему мне сын от негра? Я хочу сына от кого-нибудь побелей меня, чтоб улучшить породу...

И лукаво оборачивалась к Гуме, словно чтоб указать, что именно от него она хочет иметь ребенка. Зеленые ее глаза указывали на то же, ибо усталились на Гуму с каким-то странным, словно зовущим выражением. И губы ее были полуоткрыты, и грудь дышала тяжело. Гума с минуту был в нерешимости, потом почувствовал, что не может дольше сдерживаться. Но тут же вспомнил о Руфино, вспомнил и о Ливии:

— А Руфино?

Эсмералда вскочила как ужаленная. Крикнула Ливии в кухню:

— Я ухажу, соседка. У меня дел по горло. Заскочу попозже.

Лицо ее пылало яростью и стыдом. Она быстро вышла и, проходя мимо Гумы, бросила отрывисто:

— Тряпка...

Он остался сидеть, закрыв лицо руками. Чертова баба... Во что бы то ни стало хочет его погубить. А Руфино-то как же? По-настоящему, надо было бы обо всем рассказать Руфино. Но он, может статься, и не поверит даже, еще, пожалуй, поссорится с ним, ведь Руфино по этой мулатке с ума сходит. Не стоит ему говорить. Но от нее надо подальше, нельзя предавать друга. Самое худшее было то, что, когда она так вот его соблазняла, когда глядела на него зелеными своими глазами, он забывал обо всем — и о Руфино, оказавшем ему столько услуг, и о беременной Ливии, и только одно существовало для него — гибкое тело мулатки, крепко торчащие груди, томно раскачивающиеся бедра, жаркое тело, зовущее его, зеленые глаза, зовущие его. Морские песни повествуют о людях, тонущих в зеленых морских волнах. Зеленых, как глаза Эсмералды... И он чувствовал, что тонет в этих зеленых глазах. Она желает его, она влечет его. Тело ее неотступно раскачивается перед глазами Гумы. А она вот назвала его тряпкой, решила, что он не в силах повалить ее, заставить ее стовать под его лаской. О, он ей покажет, на что способен! Она еще застонет в его руках! Зачем думать о Руфино, если она любит его, Гуму? А Ливия никогда не узнает... Но вот она, Ливия. Входит с чашкой кофе и испуганно смотрит на разгоряченное лицо Гумы:

— У тебя что-нибудь случилось?

Она беременна, живот ее округляется с каждым днем.

Там, в этом круглом животе, уже существует их сын. Она не заслуживает быть обманутой, преданной. А бедный Руфино, такой добрый, всегда рядом, с самого детства? Из чашки кофе словно смотрят зеленые глаза Эсмералды. Груды ее, как крутые холмы, напоминают груди Розы Палмейрао. Надо написать Розе Палмейрао, думает Гума, сообщить, что скоро у него родится сын... Но мысль его неотступно возвращается к одному и тому же. Фигура Эсмералды стоит у него перед глазами. И Гума спасается бегством: спешит на пристань, где сразу же нанимается привезти груз табака из Марагожипе, хоть и придется идти туда порожняком.

\* \* \*

Из Марагожипе Гума направился в Кашоэйру. Ливия напрасно ждала его в тот день. Долго оставалась она на пристани — весь день и всю ночь. Эсмералда тоже ждала. Она не сумела его забыть, слишком уж нравился ей этот моряк с почти белой кожей, о смелости которого рассказывали чудеса. Она еще более упорно желала его потому, что Ливия была так счастлива с ним, так трогательно заботилась о муже. Эсмералда почти ненавидела Ливию за то, что она так непохожа на нее, ей хотелось ранить Ливию в самое сердце. Эсмералда знала, что добьется своего, и готова была на все для этого. Она решила соблазнить его всеми правдами и неправдами...

Гума вернулся только через два дня. Эсмералда ждала его у окошка:

— Пропал совсем...

— Я уезжал. Табак возил.

— Твоя жена уж думала, что ты ее бросил...

Гума неловко засмеялся.

— А я думала, ты испугался...

— Испугался, чего?

— Меня.

— Не пойму отчего.

— А ты уже забыл, как однажды меня обидел? — Мощные груди сильнее обнажились в вырезе платья.

— Там посмотрим...

— Что посмотрим-то?

Но Гума снова бежал. Еще мгновение — и он вошел бы к ней и даже не дал бы открыть дверь в комнату, тут же, на пороге, все бы и произошло.

Ливия ждала его:

— Как ты задержался. Почти неделю ехал до Мараго-  
жипе и обратно...

— Ты думала, я сбежал?

— С ума сошел...

— Так мне сообщили.

— Кто ж это выдумал?

— Эсмералда сказала.

— А ты теперь раньше, чем идти домой, заводишь бе-  
седу с соседкой, а?

Хуже всего, что в голосе ее не было ни капли гнева. Только грусть. И вдруг он, сам не зная почему, принялся горячо защищать Эсмералду:

— Она шутила. Мы поздоровались, она так ласково о тебе говорила. Похоже, что она тебе настоящий друг. Это радует меня, потому что я очень люблю Руфино.

— Зато она его ни вот столечко не любит.

— Я заметил...— мрачно отозвался Гума. (Теперь он уже не помнил, что Эсмералда была почти что его любовницей. Он сердился на нее за то, что она не отвечает на чувство Руфино.) — Я заметил. Когда Руфино поймет это, случится что-нибудь страшное...

— Не надо говорить дурно о людях...— сказал старый Франсиско, входя в комнату. Он пришел пьяный, что случалось редко, и привел к обеду Филадельфио. Он встретил «доктора» в «Звездном маяке» без гроша в кармане и, пропив с ним вместе то небольшое, что было у него самого, привел обедать.

— Найдется паек еще на одного? Едок-то что надо.

Филадельфио пожал руку Гуме:

— Что ни дашь, подойдет. Так что успокойся и воды в огонь, то бишь в бобы, не подливай.— И сам охотно засмеялся своей шутке. Другие тоже засмеялись.

Ливия подала обед. Вечная жареная рыба и бобы с сушеным мясом. За обедом Филадельфио рассказал историю с письмом, которое писал Ливии по поручению Гумы, и о ссоре из-за раковины и ларца. И спросил Ливию:

— Правда, ларец лучше?

Она приняла сторону Гумы:

— Раковина красивей, я нахожу...

Гума был смущен. Ливия не знала раньше, что письмо он писал в сотрудничестве с «доктором». Филадельфио настаивал:

— Но ведь ларец золотой. Ты видала когда-нибудь золотой ларец?

Когда старики ушли, Гума принялся объяснять Ливии историю с письмом.

Она бросилась ему на шею.

— Молчи, негодный. Ты никогда не любил меня...

Он схватил ее на руки и понес в комнату. Она запротестовала:

— После обеда нельзя.

\* \* \*

Однако в полночь Ливии стало очень плохо. Что-то с ней вдруг сделалось, ее тошнило, казалось, она сейчас умрет. Попробовала вызвать рвоту, не удалось. Каталась по кровати, ей не хватало воздуха, живот весь болел.

— Неужто я рожу раньше времени?

Гума совсем потерял голову. Опрометью бросился вон, разбудил Эсмералду (Руфино был в отъезде) сильными ударами в дверь. Она спросила, кто стучится.

— Гума.

Она мигом отворила, схватила его за руку, стараясь заткнуть в дом.

— Ливия умирает, Эсмералда. С ней делается что-то ужасное. Она умирает.

— Что ты! — Эсмералда уже вошла в комнату. — Сейчас иду. Только переоденусь.

— Побудь с ней, я пойду за доктором Родриго.

— Иди спокойно, я побуду.

Заворачивая за угол, он еще видел, как Эсмералда быстро шлепала по грязи к его дому.

Доктор Родриго, одеваясь, попросил рассказать подробнее, что произошло. Потом утешил:

— Наверно, ничего серьезного... Во время беременности такие вещи бывают.

Гуме удалось разыскать старого Франсиско, бросившего якорь за столиком «Звездного маяка» и попивавшего вино с Филадельфио, рассказывая свои истории оказавшимся рядом морякам. В углу слепой музыкант играл на гитаре. Гума разбудил Франсиско от сладкого опьянения:

— Ливия умирает.

Старый Франсиско вылупил глаза и хотел бежать немедля домой. Гума удержал его:

— Нет, доктор уже пошел туда. Вы отправьтесь в верхний город и позовите ее дядю с теткой. Скорей пойдите.

— Я хотел бы видеть ее. — Голос у старого Франсиско пресекся.

— Доктор говорит, что, может быть, обойдется.

Старый Франсиско вышел. Гума направился домой. Шел со страхом. То пускался бегом, то замедлял шаг, в ужасе думая, что, может, она уже умерла и сын с нею вместе. Вошел в дом крадучись, как вор. Дверь комнаты была приоткрыта, оттуда слышались голоса. При свете керосиновой лампы он видел, как Эсмералда быстро вышла и сразу же вернулась, неся таз с водой и полотенце. Он стоял, не решаясь войти. Потом в дверях показался доктор Родриго. Гума нагнал его в коридоре:

— Как она, доктор?

— Ничего опасного. Хорошо, что сразу позвали меня. У нее мог быть выкидыш. Теперь ей нужен покой. Завтра зайдите ко мне, я дам для нее лекарство.

Глаза у Гумы сияли, он улыбался:

— Значит, с ней ничего плохого не будет?

— Можете быть спокойны. Главное — ей сейчас нужен отдых.

Гума вошел в комнату. Эсмералда приложила палец к губам, требуя тишины. Она сидела на краю постели, глядя Ливию по волосам. Ливия подняла глаза, увидела Гуму, улыбнулась:

— Я думала, умру.

— Врач говорит, что все в порядке. Тебе теперь уснуть надо.

Эсмералда знаком показала ему, чтоб вышел. Он повиновался, чувствуя к Эсмералде иную какую-то нежность, без прежней страсти. Ему хотелось погладить ее по волосам, как она только что гладила Ливию. Эсмералда была добра к Ливии.

Гума вышел в темную переднюю. Там висела сетчатая койка, он лег и разжег трубку. Послышались мягкие шаги Эсмералды, выходящей из комнаты с лампой в руках. Она шла на цыпочках, он мог поклясться в этом и не видя ее. И бока ее покачивались на ходу, как корма корабля. Хороша мулатка, ничего не скажешь... Отнесла лампу в столовую. Сейчас подойдет к нему... Он чувствует ее приглушенный шаг. И страсть снова овладевает им, постепенно, трудно. Прерывистое дыхание Ливии слышно и здесь. Но шаги Эсмералды приближаются, заглушая своим мягким шумом шумное дыхание Ливии.

— Уснула, — говорит Эсмералда.

Вот она прислонилась к веревкам гамака.

— Напугались здорово, а?

— Вы устали... Я разбудил вас...

— Я от всего сердца...

Она уселась на край гамака. Теперь ее крепкие ноги касались ног Гумы. И вдруг она бросилась на него и укусила его в губы. Они сплелись в одно тело в качающемся гамаке, и все произошло сразу же, он не успел подумать, не успел даже раздеть ее... Гамак заскрипел, и Ливия проснулась:

— Гума!

Он оттолкнул Эсмералду, крепко вцепившуюся в него. Побежал в комнату. Ливия спросила:

— Ты здесь?

— Конечно.

Он хотел погладить ее по волосам... Но ведь рука его еще хранит тепло тела Эсмералды... Он отдернул руку. Ливия попросила:

— Ляг со мной рядом...

Он стоял в растерянности, не зная, что сказать. В передней Эсмералда ждала... Тут он вспомнил о дяде с теткой.

— Спи. Я жду твоих родственников, за ними пошел Франсиско.

— Ты их напугал, верно.

— Я и сам испугался.

Снова он протягивает руку к ее волосам и снова отдергивает руку. Снова вспоминает об Эсмералде, и какой-то комок встает у него в горле. А Руфино? Ливия повернулась к стене и закрыла глаза. Он возвратился в переднюю. Эсмералда раскинулась в гамаке, расстегнула платье, груди так и выпрыгнули наружу. Он остановился, глядя на нее какими-то безумными глазами... Она протягивает руку, зовет его. Тащит его на себя, прижимается всем телом. Но он сейчас так далек от нее, что она спрашивает:

— Я такая невкусная?..

И все начинается вновь. Он теперь, как сумасшедший, не знает более, что творит, не думает, не вспоминает ни о ком. Для него существует лишь одно: тело, которое он прижимает к своему телу в этой борьбе не на жизнь, а на смерть. И когда они падают друг на друга, Эсмералда говорит тихонько:

— Если б Руфино видел это...

От этих слов Гума приходит в себя. Да, это Эсмералда здесь с ним. Жена Руфино. А его собственная жена спит, большая, в соседней комнате. Эсмералда снова говорит о

Руфино. Но Гума ничего не слышит более. Глаза его налиты кровью, губы сухи, руки ищут щеку Эсмералды. Начинают сжимать. Она говорит:

— Брось эти глупости...

Это не глупости. Он убьет ее, а потом отправится на свидание к Жанаине в морскую глубину. Эсмералда уже готова закричать, когда вдруг Гума слышит голоса родственников Ливии, разговаривающих со старым Франсиско. Он спрыгивает с койки, Эсмералда поспешно оправляет платье, но тетка Ливии уже заглядывает в переднюю, и глаза ее полны ужаса. Гума опускает руки, теперь беспомощные.

— Ливии уже лучше.

## ИХ БЫЛО ПЯТЕРО, ПЯТЕРО МАЛЬЧИШЕК

Как только Ливии стало лучше, он уехал. Бежал от Эсмералды, которая теперь преследовала его, назначала свидания на пустынном пляже, угрожала скандалом. Но бежал он не так от Эсмералды, как от Руфино, который через несколько дней должен был вернуться с грузом для ярмарки, открывающейся в будущую субботу.

Он нанялся плыть в Санто-Амаро, задержался там. Вопреки своим привычкам ходил по кабакам, почти не бывая на стоящем у причала судне, откуда он так любил всегда любоваться луной и звездами. Ему все представлялся Руфино и ужас на его лице, если б он узнал... Гуме казалось, что все теперь погибло, пропало. Несчастливая жизнь... С детства лежит на нем проклятье. Однажды приехала мать, а он ждал гулящую женщину, и он пожелал свою мать как женщину. Он в тот день хотел броситься в море, уплыть с Иеманжой в бесконечное плавание к морям и землям Айока. И, право, было б лучше, если б он тогда убил себя. Ни для кого бы не было потери, только старый Франсиско, может, погрустил бы, да скоро б утешился. Велел бы вытатуировать имя Гумы у себя на руке, рядом с именами четырех своих затонувших шхун, и прибавил бы историю детской его жизни ко многим историям, которые знал: «Был у меня племянник, да Жанаина к себе взяла. Одной светлой ночью, когда полная луна стояла на небе. Он был еще ребенок, но уж умел управлять судном и таскал мешки с мукой. Жанаина пожелала забрать его...»

Так стал бы рассказывать старый Франсиско историю Гумы... Но теперь все по-другому. Он не может даже убить себя, нельзя же покинуть Ливию — одну, в нищете, с ребенком под сердцем. Да и какую он теперь оставит по себе память, чтоб старый Франсиско мог сложить историю?.. Мой племянник предал друга, сошелся с женщиной, принадлежащей другому, при этом человеку, сделавшему ему много добра. А потом бросился в воду из страха перед этим другом, оставив жену голодать, с ребенком в животе... Старый Франсиско добавит, что племянник пошел в свою родительницу, которая была гулящая, что ж тут еще скажешь... И не велит вытатуировать его имя рядом с именами четырех своих шхун. Старый Франсиско будет стыдиться его.

Гуме нельзя теперь смотреть на луну. Он нарушил закон пристани. И вовсе не страх перед Руфино терзает его. Если б Руфино не был его другом, все было бы иначе. А сейчас Гуму мучает стыд, стыд перед Руфино и перед Ливией. Ему хотелось бы убить Эсмералду, а потом умереть — бросить «Смелого» на рифы и погибнуть вместе с ним. Эсмералда соблазнила его, он и не вспомнил о друге своем Руфино, о большой Ливии, спящей в соседней комнате. А тетка Ливии заглянула в двери и смотрела так испуганно, с подозрением, он никогда уж не сможет глядеть старухе в глаза. Может быть, она и не догадалась ни о чем, она так благодарила Эсмералду за то, что та ухаживала за Ливией. И хуже всего, что Ливия была теперь исполнена благодарности к Эсмералде, просила купить для нее подарок, а мулатка пользовалась этим и не вылезала от них, следя за каждым шагом Гумы. Он все чаще уходил из дому, зачастил в «Звездный маяк», пил так, что об этом уже стали поговаривать на пристани. А она преследовала его, и каждый раз, как ей удавалось заговорить с ним наедине, спрашивала, когда и где они встретятся, говорила, что знает такие пустынные места на пляже, куда никто не ходит. Гума и сам знал эти места. Не одну молоденькую мулатку или негритянку увлекал он, бывало, на пустынные пески пляжа в ночь полнолуния. А Эсмералду он не хотел вести туда, не хотел больше ее видеть, хотел убить ее и потом убить себя. Но нельзя было оставить Ливию с ребенком в животе. Все случилось нечаянно, страсть — слепая. В то мгновение он не помнил ни о Руфино, ни о Ливии — ни о ком и ни о чем на свете. Он видел только смуглое тело Эсмералды, мощ-



ные груди, зеленые ее глаза, такие блестящие. А теперь вот надо страдать. Днем раньше, днем позже, придется встретиться с Руфино, говорить с ним, смеяться, обнимать его, как обнимают друга, сделавшего тебе много добра. И за спиной Руфино Эсмералда будет делать ему знаки, назначать свидание, улыбаться.

А Ливия, которая так беспокоится, когда он уезжает, так боится за него? Ливия тоже не заслужила ничего подобного. Ливия страдала из-за него, в животе ее рос сын от него. Он слышал тогда из комнаты трудное дыхание Ливии и однако ни о чем этом не вспомнил. Эсмералда прислонилась к гамаку, он только видел тело ее и томные зеленые глаза. Потом он хотел убить ее. Если бы родственники не пришли, он задушил бы ее тогда.

Ночь над поселком Санто-Амаро светла. По речным берегам тянутся вдаль тростники, зеленые в свете луны. Звезда Скорпиона сияет в небе, был он храбрец, и о нем уж не скажут, что овладел он женою друга. Он был человек, верный своим обетам, друг, верный своей дружбе. Гума предал все, теперь ему остался один путь — в глубину вод. Иначе — как жить? Видеть каждый день Эсмералду, иногда говорить с нею, иногда лежать рядом с нею, иногда стонать от любви вместе с нею... Видеть в эти же дни беременную Ливию, хлопчущую по дому, тоскующую по нем, плачущую при мысли о том, что он когда-нибудь погибнет в море. Видеть также Руфино, слышать его густой хохот и ласковое «братец», когда негр кладет ему на плечо свою крепкую руку. Видеть каждый день их всех, тех, кого он предал, ибо Эсмералду он тоже предал, ведь он больше не любит ее и не влечет его больше ее истомное тело. Всех предал он, всех, даже еще не родившегося сына, ибо не оставил ему примера для подражания, не создал легенды ему в наследство. Никто никогда уж не скажет, с гордостью указывая на его сына: «Вон идет сын Гумы, отчаянного храбреца, жившего в здешних краях...»

Нет. Он теперь предатель, сравнялся с тем человеком, что некогда всадил кинжал в бок Скорпиону. Негодяй называл себя другом знаменитого разбойника, а в один прекрасный день ударил его кинжалом и позвал других, чтоб разрезать его на куски. Убийца стал потом сержантом полиции, но сегодня, упоминая его имя, все сплевывают в сторону, чтоб имя это не осквернило рот, его произнесший. Так вот будет и с ним, Гумой... На пристани еще никто не знает. Удивляются только, что он так много

плет, раньше за ним такое не водилось. Но не знают причин, думают, что это от радости, что скоро сын будет.

Ливия сейчас, наверно, думает о нем, волнуется. Жена старого Франсиско умерла от радости, что он вернулся из опасного плавания. Так и Ливия живет в вечном ожидании, что муж вернется. Наверняка ей хотелось бы, чтоб он оставил море, перебрался жить в город, переменял профессию. Но она никогда не высказывала таких мыслей, ибо хорошо знала, что мужчины, плавающие на судах, никогда не променяют море на сушу и труд моряка на какой-нибудь другой. Даже люди, приехавшие к морю уже взрослыми, как дона Дулсе, никогда не возвращаются назад. Колдовство Иеманжи обладает большою силой... А теперь Гуме кажется, что хорошо бы уехать. Отправиться с Ливией куда-нибудь далеко отсюда, — кто-то говорил, что в городе Ильеусе можно заработать много денег. Сменить профессию, работать где-нибудь на фабрике, бежать из этих мест.

Гума смотрит на «Смелого» у причала. Хороший шлюп. Раньше он принадлежал старому Франсиско — пятое его судно. Тоже уж старый, не один год бежит он по волнам. Сколько раз приходилось ему пересекать залив и подыматься вверх по реке? Без счета... Он плыл с Гумой сквозь бурю спасать «Канавиейрас», несколько раз они чуть не затонули вместе, как-то ночью «Смелому» пробило бок. А сколько уж он парусов сносил? Фамильный шлюп, с заслугами... А теперь Гума готов остановить его бег... Он продаст его любому шкиперу и уедет, так лучше. Гума заслужил такое наказание: покинуть море, покинуть порт, уехать в чужие края. Он когда-то мечтал о путешествии, мечтал плавать на большом корабле, как Шико Печальный. Потом познакомился с Ливией, бросил прежние планы, остался с нею, привез ее на побережье, чтоб обречь на печальную жизнь жены моряка, на страдание одиночества в долгие дни его отсутствия, на вечное беспокойство: вернется ли он из своей схватки со смертью. А теперь ко всему еще предал ее, предал и Руфино, своего друга... Гума закрывает лицо руками. Не будь он моряк, он бы плакал сейчас, как ребенок, как женщина.

Теперь ему осталось ждать только случая, который увлечет его на дно морское, а вместе с ним и «Смелого», — не хочется отдавать «Смелого» в чужие руки. Ибо бежать с побережья, уехать в другие земли — это выше его сил. Только те, кто живет на море, знают, как трудно рас-

статься с ним. Трудно даже для того, кто не может больше ни смотреть в лицо другу, ни любоваться луной, сияющей в небе...

Не будь Гума моряком, он плакал бы сейчас, как ребенок, как женщина, как узник в глухой темнице.

\* \* \*

Он встретил Руфино в море, и так было лучше. Руфино стоял в лодке, чуть не по пояс в воде: он не заметил, когда выходил из порта, что лодка течет. Гума помог законопатить. Часть груза пропала — негр вез сахар. Мешки на дне лодки промокли, сахар наполовину растаял. Гума перетащил мешки на палубу «Смелого» и положил сушиться на солнце. Он старался не смотреть на Руфино, расстроенного тем, что понес убыток.

— Деньги за фрахт во всяком случае пропали, их у меня вычтут за испорченный товар.

— Может, еще обойдется. Мешки высохнут, мы тогда посмотрим, много ли погибло. Мне кажется немного.

— Сам не знаю, как это случилось. Я всегда так слежу за всем. Но полковник Тиноко послал своих людей укладывать сахар, а мне делать было нечего. Ну я и пошел выпить глоточек, дождь-то ведь какой был, промок я до нитки. А пришел — все уж закончено. Ну, я отправился и только на середине пути заметил это дело. Гребу, а лодка так тяжело идет, ну просто не сдвину. Поглядел, а вода так и хлещет...

— Тебе, собственно, ничего не надо платить, а с них еще требовать за дыру в лодке. Если это люди полковника проломил...

— Да вот то-то и оно, что я не уверен... Я когда еще туда шел, так, сдается, резанул днищем по верхушке рифа в излучине реки. Потому и неизвестно...

Они еще некоторое время плыли рядом и переговаривались. Но потом «Смелый» обогнал лодку. Руфино греб где-то позади, пока совсем не пропал из виду. Гума просто не знал, как это у него хватило сил говорить с ним, выдерживать его взгляд, смеяться в ответ на его шутки. Лучше было ему прямо сказать все, чтоб Руфино тут же хватил его веслом по голове. Это было бы правильнее...

«Смелый» бежит по волнам, ветер надувает паруса. Ливия ждет на пристани. Эсмералда — рядом с нею и спрашивает с невинным видом:

— Негра моего там не видели?

— Он скоро будет. Я даже привез несколько мешков сахара, что были у него в лодке. Там пробоина.

Ливия встревожилась:

— Но с Руфино ничего не случилось?

Эсмералда пристально смотрит на Гуму:

— Нарочно ведь никто не проломил?

Он заметил, что она боится, не было ли между мужчинами ссоры.

— Похоже, что это еще когда он подымался вверх по реке... Он задел за риф... Он скоро будет здесь. Огорчен убытком.

Гума поставил «Смелого» на причал и пошел с Ливией домой. Эсмералда простилась.

— Пойду на пристань Порто-да-Ленья, встречу его.

— Скажите, что мешки у меня.

— Ладно.

Она посмотрела вслед удалявшейся паре. Гума избегал ее. Боялся Руфино, боялся Ливии, или она, Эсмералда, уже разонравилась ему? Многие мужчины здесь, в порту, сходили по ней с ума. Они боялись Руфино, но все-таки находили случай сказать ей словечко, послать подарок, попытаться счастья. Только Гума избегал ее, Гума, который нравился ей больше всех: и светлым лицом, и черными, длинными, почти до плеч, волосами, и губами, румяными, как у ребенка... Грудь Эсмералды дышала тяжко, глаза проводили с тоской человека, идущего вверх по улице. Почему он бежал от нее? Ей не пришло в голову, что из угрызений совести. Надо составить письмо Жанаине, тогда посмотрим, кто кого... Она медленно шла к пристани Порто-да-Ленья. Лодочники кланялись ей, матрос, красящий баржу, на мгновение прервал свою работу и даже свистнул от восторга. Только Гума бежал от нее. Чтоб он разок побыл с нею, надо было невесть что проделать. Уж прямо на шею ему вешалась, предлагалась, как уличная женщина, а он еще потом задушить хотел... На пристани говорят, что за такую, как она, горы золота не жалко. А Гума бежит от нее, не замечает ее красоты. Ее тела, ее глаз... Уставился на свою тощую, плаксивую Ливию... Эсмералда услышала восторженный присвист матроса, взглянула в его сторону и улыбнулась. Он стал показывать на пальцах, что в шесть освобождается, и махнул рукой в сторону пляжа. Она улыбалась. Почему Гума бежит от нее? Страх перед Руфино, это точно. Боится мести негра, его мускулистых рук, накопивших невидан-

ную силу за долгие дни непрерывной работы веслами. Эсмералда не думала об угрызениях совести. Наверно, она даже и не знала, что это такое, и слов таких не слышала никогда... Холодный ветер дул на побережье. Вдали, разрезая воду, показалась лодка Руфино.

Ночь упала холодная, ветер завывал песок пляжа и гребни волн. Несколько шхун вышли в море. Такой ветер не пригоняет бурю. В воздухе тонко разлетались песчинки, уносимые ветром до самых городских улиц. В церкви шла служба. Туда паправлялись женщины, кутаясь в шали, мужчины группами спускались по склону холма. А ветер летал между всеми этими людьми... Колокола празднично звонили. Лавки закрывались, нижний город пустел.

После обеда старый Франсиско вышел из дому. Он шел поболтать на церковный двор, рассказать историю, послушать другую. Гума зажег трубку, он собирался позднее подойти на пристань, взглянуть, разгрузили ли уже судно, узнать, не найдется ли какой работенки на завтра. Ливия мыла посуду, живот уже очень мешал ей, лицо ее как-то посерело, последний румянец сбежал со щек. Она каждый день теперь ходила на прием к доктору Родриго. Ее мучила тошнота, и вообще она плохо себя чувствовала. Гума незаметно наблюдал за ней. Она входила и выходила, мыла оловянные тарелки, большие грубые кружки. Собака, черненькая шавка, недавно подобранная на улице, хрустела рыбьими костями в кухне на глиняном полу. Пустая чашка отдыхала на краю стола. Гума услышал, как Руфино поднялся со стула у открытого окна соседнего дома. Наверно, кончили обедать. Он говорил с Эсмералдой. Гуме казалось, что это здесь, в комнате, они говорят, так явственно можно было расслышать каждое слово.

— Пойду поговорю с полковником Тиноко насчет этих мешков, что промокли. Будет скандал, вот увидишь.

Эсмералда говорила очень громко:

— Можно, я схожу взглянуть на праздник? Церковь, говорят, так разукрашена! А потом, это в честь моей святой...

— Иди, но возвращайся пораньше, я сегодня завалюсь рано.

Зачем она так громко говорит? Наверно, чтоб и он ее услышал, подумал Гума. Да вовсе и не пойдет она в церковь, обманывает... Из окна видна была церковь, так ярко

освещенная, словно большой океанский пароход... А если и пойдет, так, верно, с Ливией, которая, конечно же, захочет помолиться за будущего сына. Колокола звонят и звонят, созывая людей на праздник. Ветер порывисто влетает в окно. Гума высовывает голову, вглядываясь в свинцовое небо. Красивый вечер! Однако ночь, что последует за ним, не обещает ничего хорошего. Луна убывает, тончайшим желтым серпом висит она на небе... Из-за стены послышался голос Руфино:

— Ты здесь, братишка?

— Здесь.

— Иду ругаться к старому Тиноко.

— Ты не виноват.

— Но старик упрям, как черепаха: ей отрежешь голову, а она шевелится, жить хочет.

— Ты ему объясни.

— Я на него раза два как цыкну, так он своих не узнает...

За стеной Эсмералда прощалась:

— Я скорехонько назад буду...

Голос Руфино донесся глуше:

— Обожди-ка, мулатка, дай я разнюхаю, сильно ль ты загривок надушила.

Гума почувствовал какую-то дурноту. Он не хотел больше никаких встреч и видеть-то ее не хотел, но эти, глухим голосом сказанные слова обожгли его, словно Руфино только что украл у него что-то. А ведь на деле он украл у Руфино... Шаги Эсмералды удалялись. Руфино снова заговорил громко:

— Моя мулатка в церковь пошла...— И крикнул ей вслед, внезапно вспомнив: — Черт тебя дери, да что ж ты Ливию не зовешь?

— Она сказала, что пойдет с Гумой.— И шаги замерли вниз по склону.

Теперь слышалось, как Руфино, оставшись один, расхаживает по комнате. Гума снова взглянул в небо. Ветер крепчал, редкие звезды вынырнули из-под туч. «Будет буря»,— подумал он. Ливия кончила мыть посуду, спросила:

— Хочешь пойти взглянуть на праздник?

Она была бледна, очень бледна. Платье спереди было короче, приподнятое огромным животом. Она была, наверно, смешна. Но Гума ничего этого не замечал. Он знал только, что у нее в животе сын от него, что она

поэтому больна, а он ее предал. Он слышал, как Руфино ушел, издали что-то приветливо крикнув на прощанье. Ливия стояла подле, ожидая ответа на свой вопрос.

— Иди переоденься.

Она прошла в комнату, но сразу же вышла, потому что в дверь постучали.

— Кто там?

— Свои.

Однако голос был чужой, они не помнили, чтоб когда-либо слышали его. Ливия подняла на Гуму глаза — в них был испуг. Он встал.

— Ты боишься?

— Кто б это мог быть?

Стук возобновился.

— Да есть тут кто-нибудь? Это что: кладбище или затонувший корабль?

Пришелец был моряк, это ясно. Гума открыл дверь. В темноте улицы блеснул огонек трубки, и за огоньком смутно виднелась какая-то большая фигура в плаще.

— Где Франсиско? Где этого чумного гоняет? Что он еще не помер, это я знаю, такого барахла и в раю не надобно...

— Его нет дома.

Ливия испуганно смотрела из-за спины Гумы. Фигура в плаще двинулась, будто намереваясь войти. И так оно и было. Голова просунулась в дверь, осматривая помещение. Кажется, только сейчас пришелец заметил Гуму.

— А ты кто такой?

— Гума.

— Черт дери, да что за Гума? Думаешь, я обязан знать?

Гума начинал раздражаться:

— А вы-то кто?

В ответ фигура сделала еще шаг и ступила на порог. Гума вытянул руку и загородил вход:

— Что вам надо?

Фигура оттолкнула руку Гумы и так и пришила его к стене — так что один из самых сильных людей на пристани не мог и пошевелиться. Фигура обладала, казалось, силой двадцати самых сильных людей на пристани.

Ливия вышла вперед.

— Чего вы хотите, сеньор?

Пришелец отпустил Гуму и вошел в комнату, слабо

освещенную керосиновой лампой. Теперь Гума ясно видел, что перед ним старик с длинными седыми усами, гигантского роста. Плащ его слегка распахнулся, и Ливия заметила, как сверкнул за поясом кинжал. Старик жадно осматривал дом в красноватом свете коптилки, удлиняющим тени:

— Значит, этот болван Франсиско живет здесь, так ведь? А ты кто такая? — Он тыкал пальцем в сторону Ливии.

Она намеревалась ответить, но Гума встал между нею и гостем.

— Сначала скажите нам, кто вы!

— Ты сын Франсиско? До меня не доходило, что у него есть сын.

— Я его племянник, сын Фредерико. — Гума уже раскаивался, что ответил.

Старик взглянул на него с испугом, почти с ужасом. — Фредерико?

Взглянул на Ливию, потом снова на Гуму.

— Это твоя жена?

Гума кивком головы подтвердил. Старик остановил взгляд на животе Ливии, потом снова уставился на Гуму:

— Твой отец никогда не был женат...

У него были белые-белые волосы, и казалось, его пробирал холод, даже в плаще. Несмотря на все, что он наговорил, Гума не чувствовал себя оскорбленным.

— Твой отец умер давно, так ведь?

— Давно, да.

— Только Франсиско не умер, так?

Он взглянул на пламя коптилки, повернулся к Гуме.

— Ты не знаешь, кто я? Франсиско никогда не рассказывал?

— Нет.

Старик спросил Ливию:

— У тебя есть водка, а? Выпьем глоток за возвращение вашего родственника.

Ливия пошла за водкой, но в ту же секунду вернулась, услышав за окном вскрик старого Франсиско, подошедшего незаметно и заглянувшего в окошко узнать, кто у них в гостях.

— Леонсио!

Франсиско быстро вошел в дом. Ливия принесла графин и стаканы и стояла, не понимая ничего. Франсиско все еще не верил:



— Я думал, ты умер. Столько времени прошло...

Гума сказал:

— Так кто ж это в конце концов?

Старый Франсиско ответил тихо, как по секрету, у него был такой вид, словно он только что пробежал несколько миль:

— Это твой дядя. Мой брат.

Он повернулся к гостю, указал на Гуму:

— Это сын Фредерико.

Ливия налила стаканы, старик выпил залпом и поставил свой на пол. Франсиско сел:

— Ты ведь не надолго, правда?

— А ты торопишься увидеть мою спину? — Старик засмеялся каким-то нутряным смехом. Белые усы дрожали.

— Нечего тебе здесь делать. Все считают, что ты умер, тебя никто здесь больше не знает.

— Все считают, что я умер, вот как?

— Да, все считают, что ты умер. Чего еще ищешь ты здесь? Ничего здесь нет для тебя, ничего, ничего...

Гума и Ливия были испуганы, она крепко сжимала обеими руками графин. У старого Франсиско был вид усталый-усталый, вид человека, смертный час которого близок, он казался сейчас много старше, чем обычно, — перед лицом легенды, которой он, рассказывавший столько историй, никогда не рассказывал. Леонсио посмотрел через окно на пристань. Женщина прошла мимо дома, это была Жудит. Она шла, вся в черном, с ребенком на руках. Дом ее был далеко, мать теперь жила у нее, приехала помочь ей, обе ходили по людям стирать, а мальчик был худенький, и поговаривали, что не выживет. Леонсио спросил:

— Вдова?

— Вдова, ну и что же? Я уже сказал, что тебе здесь делать нечего. Нечего, слышишь? Зачем ты пришел? Ты ведь умер, зачем ты пришел?

— Зачем пришел... — задумчиво повторил гость, и голос его походил на рыдание. Однако он засмеялся: — Ты не рад мне. Ты даже не обнял брата.

— Уходи. Тебе нечего здесь делать.

Снова глаза гиганта старика обратились на набережную, на затянутое туманом небо. Словно он пытался вспомнить это все, как старый моряк, вернувшийся в свой порт.

Словно он пытался узнать это все... Он долгим взглядом смотрел на небо, на берег, затерянный в тумане. Холодная ночь надвигалась с моря. Старик повернулся к Франсиско:

— Сегодня ночью будет буря... Ты заметил?

— Уходи отсюда. Твоя дорога не здесь.

И, словно делая огромное усилие, Франсиско добавил:

— Это не твой порт...

Гигант старик присмирел, опустил голову, и, когда заговорил вновь, голос его доносился будто откуда-то издалека и звучал мольбою:

— Позволь мне остаться хоть на две ночи. Я так давно уж...

Ливия опередила старого Франсиско, не дав возможности отказать:

— Оставайтесь, этот дом ваш.

Франсиско взглянул на нее. В глазах его было страдание.

— Устал, я пришел из дальнего далёка...

— Оставайтесь, сколько хотите, — отозвалась Ливия.

— Только две ночи... — Он обернулся к Франсиско: — Не бойся.

Потом взглянул на небо, на море, на берег. Угадывалась во всем его существовании радость прибытия. Старый моряк вернулся к своему берегу. Франсиско сидел в кресле съевшись, зажмурив глаза, морщины его лица словно сомкнулись теснее. Леонсио обернулся к нему еще один только раз, чтоб спросить:

— У тебя нет портрета отца?

Так как ответа не последовало, некоторое время стояла тишина. Потом гость обернулся к Гуме:

— Ты рано ложишься?

— Почему вы спрашиваете?

— Пойду пройду по берегу, ты дверь не затворяй. Я, как вернусь, запру.

— Хорошо.

Он запахнул плащ, надел на лоб капюшон и направился к выходу. Но с порога вернулся, встал перед Ливией, засунул под плащ руку, сдернул со своей широченной груди какую-то медаль и протянул ей:

— Возьми, это для тебя.

Старый Франсиско после ухода гостя сказал еще:

— Зачем он пришел? Ты ведь не оставишь его здесь, правда, Ливия?

— Расскажите мне эту историю, дядя,— попросил Гума.

— Не стоит тревожить мертвецов. Все считали, что он умер.

Франсиско снова ушел, и они видели, как он направился к «Звездному маяку». Нынешний день ни один корабль не пристал к гавани, как же приехал Леонсио? И ни один корабль не отплыл нынешней ночью, а тем не менее он не вернулся нынче, и не вернулся уж больше никогда. Медаль, что он подарил Ливии, была золотая и вылита была, казалось, в какой-то дальней-дальней стране и в какое-то давнее-давнее время. Да и сам гигант старик пришел, казалось, из дальнего далёка и принадлежал другому, давнему времени.

\* \* \*

Они все-таки пошли в церковь тем вечером. Ливия дорогой спрашивала Гуму, не слышал ли он что-нибудь обо всей этой истории. Нет, не слышал, старый Франсиско никогда не упоминал об этом брате... Эсмералды в церкви не было. Наверно, устала ждать и ушла. Гума почувствовал облегчение. Не придется выносить ее взгляды и тайные знаки. Не из-за подобной ли истории Леонсио не может появляться здесь, потерял свой порт? Морьяк теряет свой порт и свою пристань, только если он совершил очень подлый поступок... Эсмералды не было в церкви, пахнувшей ладаном. Снаружи была ярмарка, и доктор Филадельфио зарабатывал грошики за своим станком, производящим стихи и письма. Какой-то негр пел в кругу зевак:

В день, когда я встану рано,  
не даю мозгам покою...

Они вернулись домой. Из-за стены голос Руфино спросил:

— Это ты, братишка?

— Это мы, да. Пришли.

— Праздник уж кончился?

— В церкви кончился. Но ярмарка еще шумит.

— Ливия, ты видела там Эсмералду?

— Нет, не видала, нет. Но мы там только чуточку и побыли.

Руфино пробормотал что-то, обиженно и грозно. Гума спросил:

— Уладилось с полковником?

— Ах это? Да, мы решили разделить убыток на двоих...  
Прошло несколько минут. Голос Руфино послышался снова:

— Ночь смурная. Похоже, будет буря. Дело серьезное.

Гума и Ливия прошли в комнату. Она взглянула на медаль, которую подарил ей Леонсио. Гума тоже повертел ее в руках — красивая. Из-за стены слышались шаги Руфино. Эсмералда, может быть, сейчас где-нибудь с другим. Она способна на это. Где-нибудь на пляже. Руфино подозревает ее. А вдруг она во всем сознается и расскажет, что Гума тоже был ее любовником? Тогда-то уж будет дело серьезное, как говорит Руфино. Похуже бури. Нет, он не подымет руку на Руфино, не станет с ним драться. Он даст убить себя, ведь Руфино его друг. А Ливия, а сын, что должен родиться, а старый Франсиско? Он станет тогда моряком, потерявшим свой порт... Не вернется уж больше... Даже после смерти... Такими мыслями мучился Гума, пока не услышал шаги возвращавшейся домой Эсмералды и ее слова, обращенные к Руфино:

— Задержалась, не сердись, негр. Там столько интересного. Думала, ты тоже подойдешь.

— Ты где пропадала, сознавайся, сука! Никто тебя там не видел.

— Ну понятно, в такой толпище... А я вот видела Ливию... Издали...

Послышался звук пощечины, потом еще. Он бил ее, это было ясно.

— Если узнаю, что ты мне изменяешь, на дно пошлю, в ад...

— Изменяю тебе? Господь меня срази! Да не бей ты меня...

Потом послышался шум, уже не похожий на удары... У мулатки были зеленые глаза и крепкое тело. У нее были тугие, острые груди, и Руфино был без памяти влюблен в нее.

\* \* \*

Буря разразилась в полночь. Обычно ветер, такой как поднялся с вечера, не нагонял бурю, но если уж нагонял, то самую страшную. Она разразилась в полночь и завладела сразу многими судами, случившимися о ту пору в море. Гума был поднят с постели старым Франсиско, возвращавшимся из «Звездного маяка», и разбудил по дороге и Руфино.

— Говорят, три судна перевернуло. Просят помощи. Сейчас выйдут несколько шхун и лодок, вас обоих тоже просят. На одной шхуне целая семья ехала... Опрокинулись...

— Где?

— Близко. У входа в гавань.

Бегом бросились на пристань. Гума поднял якорь, Руфино поехал с ним. Огромные валы с силой били в причал. Другие парусники уже шли впереди. «Смелый» вскоре нагнал их. В черной дали плавал парус одной из затонувших шхун. «Вечный скиталец» шел впереди всех, быстро разрезая волны. Силуэт шкипера Мануэла вырисовывался в свете фонаря. Гума окликнул его:

— Эй, Мануэл!

— Это ты, Гума?

Руфино сидел на юте «Смелого» и молчал. Вдруг он спросил Гуму:

— Ты не слышал, говорят об Эсмералде в порту?

— Говорят, в каком смысле? — отозвался с усилием Гума.

Огромные валы разбивались о борт «Смелого». Впереди «Скиталец» шкипера Мануэла, казалось, исчезал в глубине каждый раз, когда налетала гигантская волна.

— В том смысле, что она сильно гуляет. Мне-то, конечно, не говорят.

— Нет, я никогда не слышал ничего такого.

— Ты ведь знаешь, я часто уезжаю. Хочу просить тебя: если узнаешь что, скажи... Рога мне ни к чему. Я тебе это говорю, потому что ты мне друг. Я опасуюсь этой мулатки.

Гума не соображал даже, куда ведет судно. Руфино продолжал:

— Хуже всего, что я люблю ее.

— Никогда я ничего такого не слышал.

Они были уже возле входа в гавань. Обломки трех судов качались в бушующих волнах моря. Буря стремилась утопить тех, кто еще не погиб, и тех, кто явился их спасти. Люди цеплялись за доски, за обломки... Люди кричали, плакали. Только Пауло, капитан одного из затонувших парусников, молча и упорно плыл, одной рукой разрезая волны, а другой прижимая к себе ребенка. Двое уже стали жертвами акул, а третьему акулы оторвали ногу. Шкипер Мануэл начал подбирать людей и втаскивать на свою шхуну. Другие прибывшие с ним последовали его примеру, однако не всегда это было просто:

парусники относило в сторону, тонущие выпускали из рук доски, за которые держались, но не всегда успевали достичь спасительного борта — пучина проглатывала их. Пауло передал ребенка Мануэлу. Когда ему самому удалось вскарабкаться на шхуну, он сказал:

— Их было пятеро. Остался только этот...

Удалось спасти и мать ребенка, но она смотрела безумными глазами и, схватив свое дитя и крепко прижав к груди, застыла, как неживая. Человек, у которого акула оторвала ногу, лежал на палубе «Смелого» и кричал. Еще Гуме удалось втащить на борт старика. Руфино бросился в воду, чтоб спасти человека, пытавшегося доплыть до ближайшего парусника. Но он его уже не увидел, зато увидел акулу, бросившуюся во след ему самому и, плавая вокруг, преграждавшую ему отступление... Гума заметил это, бросил руль «Смелого» и нырнул с ножом в зубы. Он проплыл под самым брюхом чудовища, и Руфино смог вернуться на борт невредимым. В свой смертный час акула так металась и била хвостом по воде, что Гума чуть не потерял сознание.

Руфино сказал ему:

— Если б не ты...

— Пустяки.

Теперь искали тела погибших. Кусок руки до локтя плавал по воде, рука, видно, принадлежала молодой женщине, остальное стало добычей акул. Плавали обрывки одежды и куски тел. Семь человек погибло. Четверо детей, двое мужчин и одна женщина. Спасенные ехали на судах вместе с мертвецами. Мать, прижимавшая к груди сына, смотрела на другого, мертвого, с вьющимися волосами, лежащего на палубе. Их было пятеро, пятеро мальчишек, которых отец ждал в порту. Они возвращались из Кашоэйры, буря застала их в пути. Двое погибших мужчин были капитанами двух затонувших шхун. Из тех, кто стоял у руля, спасся только Пауло, да и то потому лишь, что спасал ребенка. Если б не ребенок, он тоже погиб бы со своими пассажирами и ушел на дно морское следом за своим погружавшимся кораблем. Их было пятеро, пятеро мальчишек, а теперь мать прижимала к груди одного — уцелевшего, глядя на труп другого, лежащий на палубе. Остальные сделались добычей акул, не осталось и трупов... У маленького мертвеца, лежащего на палубе «Смелого», — курчавые волосы. Мать не плачет, только все крепче прижимает к груди единственного сына, который ей остался.

Море все волнуется, вздымая гигантские волны. Шхуны-спасательницы возвращаются. Корпус одного из затонувших судов медленно погружается в воду. Их было пятеро, пятеро мальчишек...

## ТИХИЙ ОМУТ

Со дня возвращения и нового исчезновения Леонсио старый Франсиско почти не бывал дома. Он жил на пристани, беседуя со знакомыми, выпивая стаканчик в «Звездном маяке», возвращаясь к себе лишь на рассвете, совершенно пьяным. Он не захотел рассказывать историю Леонсио и просил Гуму никогда не упоминать при нем это имя. Гуму очень беспокоило, что дядя сильно пьет, доктор Родриго уже предупреждал его, что так старик не долго протянет. Он попытался было завести с дядей разговор на эту тему, но получил сухой ответ:

— Не вмешивайся в чужие дела...

Руфино тоже изменился за последнее время. Вначале Гума подумал, что он о чем-то догадывается. Но ведь Эсмералда давно уж охладела к Гуме и не смотрит в его сторону, похоже, что завела другого. Так было лучше, спокойнее. Только Гума теперь часто думал о том, что было бы, если б она умерла. Все чаще об этом думал. Если бы Эсмералда умерла, он был бы свободен от груза, что носит на сердце. Ему казалось, что со смертью мулатки исчезли бы все причины для грусти и угрызений совести. Столько он об этом думал, что в конце концов ему стало видеться как наяву тело, недвижно лежащее на столе,— зеленые глаза закрыты, губы, жаждущие поцелуев, сомкнулись навсегда. Ему виделся Руфино, скоро утешившийся с другой. Ливия, наверно, будет очень плакать у гроба, мужчины с пристани придут взглянуть в последний раз... Красавица мулатка была...

Хуже всего было то, что она не умирала, была жива и, совершенно очевидно, изменяла Руфино с кем-то другим. Вопреки самому себе Гума ревновал. На пристани говорили, что новый любовник — матрос. Дней восемь тому назад в порту пристал большой грузовой пароход. Его ремонтировали. Один из матросов залюбовался на боча Эсмералды, потом попробовал ее поцелуев и влюбился в ее крепкое тело. Руфино что-то подозревал и незаметно следил за мулаткой.

Как-то вечером, когда Гума вернулся из одного плавания, Руфино пришел к нему и сказал еще с порога:

— Она мне изменяет!

— Что такое?

— Рогач я, вот что такое.— И объяснил: — Я уж держал ухо востро. Не сводил с нее глаз, ну и накрыл ее, подлюку. Сегодня я нашел его письмо.

— Кто ж он?

— Матрос с судна «Миранда». Корабль сегодня отплыл, потому я не смог угостить его свинцом.

— Что ж ты теперь думаешь делать?

— Я ее проучу. Играла мной, моей дружбой и любовью. Мне эта мулатка нравилась невозможно, браток.

— Что ты задумал? Ты ведь не погубишь себя из-за нее?

— Мне достаточно было и того, что она раньше вытворяла. Изменщица. Я когда ее подобрал, она уж с другими успела, слава дурная о ней шла. Но когда человек теряет голову, то уж и знать ничего не хочет.

Он пристально всматривался в горизонт, словно ища там что-то. Голос его звучал тихо, глухо и ровно. Он был так непохож на прежнего Руфино, распевавшего зазорные куплеты...

— Я думал, с ней будет, как с другими. Поживем и разойдемся с миром. Но не мог я от нее отстать, так и остались вместе. А теперь все смеются надо мной.— Голос его стал еще глуше: — А ты знал и ничего не говорил мне.

— Я не знал. Сейчас в первый раз слышу от тебя. Что ты задумал, скажи?

— Я хотел бы разбить ей голову и спустить этого типа на дно.

— Не смей губить себя из-за нее!

— Вот что я тебе скажу: я еще сам толком не знаю, что сделаю, но хочу, чтоб, если случится что плохое, ты сделал для меня одну вещь.

— Слушай, перестань думать глупости. Выгони ее, и все тут...

— Каждый месяц я посылал двадцать мильрейсов моей матери, она совсем старуха. Она живет в поселке Лапа, работать уже не может. Если со мной что случится, продай мою лодку и пошли деньги ей.

Он вышел внезапно, не дав Гуме удержать его. Он шел к пристани. Шел очень быстро. В соседнем доме Эмералда громко пела. Гума вышел вслед за Руфино, но не нагнал его.



Луна, полная луна, белеющая на небе, казалось, слушает песню Руфино. «Я тоскую по ней, по изменщице злой, что сердце разбила мое». Песня эта была популярна на побережье, и Эсмералда сидела в лодке спокойно, ничего не подозревая. Она была в зеленом, нарядном платье, потому что Руфино сказал, что они едут на праздник в Санто-Амаро. Она нарочно надела это платье, чтоб доставить ему удовольствие, это было его любимое платье. Он уж давно не нравился ей как мужчина, это правда. Но когда ее негр пел, разве можно было устоять против теплого, глубокого его голоса? Ни одна бы ни устояла... Эсмералда подседа поближе к Руфино. Весла разрезали воду, помогая ветру, толкающему парус. Река была пустынна и широко развернулась под звездным небом, отражая, подобно зеркалу, каждую звезду. Руфино все пел свою песню... Но вот — час настал... Он смолк и бросил весла... Эсмералда прижалась к нему:

— Красиво поешь...

— Тебе понравилось?

Он взглянул на нее. Зеленые глаза манили, рот приоткрылся для поцелуя. Руфино отвел взгляд, боясь не устоять. В эти мгновения незнакомый моряк смеется над ним на борту «Миранды»...

— Ты знаешь, что я сделаю сейчас?

— Что именно?

— Я убью тебя.

— Перестань дурить...

Лодка плыла медленно, ветер веял тихо и ласково. Эта ночь хороша для любви... Руфино говорил глухо, и в голосе его была печаль, а не гнев:

— Ты изменила мне с матросом с «Миранды».

— Кто тебе наболтал?

— Все это знают, все смеются надо мной. Если я не нравлюсь тебе, почему ты не ушла от меня? Ты хотела, чтоб все надо мной смеялись. За это я и решил убить тебя.

— Это тебе Гума сказал, так ведь? (Она знала, что смерть близка и хотела ранить его как можно сильнее.) И ты задумал меня убить? А потом тебя на каторгу сошлют, землю есть. Лучше уж не убивай меня. Отпусти лучше. Я уеду далеко, никогда и близко не подойду к этим местам.

— Ты скоро встретишься с Жанаиной. Готовься.

— Гума тебе сказал, точно. Он ревновал, я уж заметила. Хотел, чтоб я была только для него. А я с ним всего раза два-три и была-то. Вот матрос, тот мне и верно нравился.

— Ты мне на Гуму не наговаривай, слышишь! Он меня из пасти акулы спас, а ты мне на него наговариваешь.

— Наговариваю?

И она рассказала все в мельчайших подробностях. Рассказала, как Гума провел с нею ту ночь, когда Ливия заболела. И смеялась, рассказывая...

— Теперь можешь убить меня. На побережье многие будут смеяться, когда ты будешь проходить мимо: Флориано, Гума, еще кое-кто...

Руфино знал, что она рассказала правду. Сердце его было полно печали, ему хотелось только умереть. Он чувствовал, что не способен убить Гуму, спасшего его от смерти. И потом была еще Ливия. Она-то чем виновата? Ей-то за что страдать? Но сердце его просило смерти, и раз не могла это быть смерть Гумы, значит, должна была быть его собственная смерть... Большая луна морских просторов сияла на небе. Эсмералда все еще смеялась. Так, смеясь, она и умерла, когда весло раскроило ей череп. Руфино успел еще взглянуть на тело, погружавшееся в воду. Акулы сплывались на призывный запах крови, слившейся со струями речной воды. Он успел еще взглянуть: очень сильно любил он это тело, что теперь погружалось в воду. Красивое тело, крепкое и жаркое, с тугими грудями. Тело, согревавшее его в зимние ночи. Плоть, что принадлежала ему. Зеленые глаза, что смотрели на него... Ни на мгновение не вспомнил он о Гуме: друг словно бы умер раньше, давным-давно... Он долго и мягко провел рукой по бортам лодки, взглянул в последний раз на далекие огни родного порта,— и воды реки раскрылись, чтоб принять и его. И в мгновение, когда вынесло его на поверхность в последний раз (он не видел уже лодки без гребца и рулевого, уносимой рекою), прошли перед его глазами все те, кого любил он в жизни: он увидел отца, гиганта негра, всегда с улыбкой; увидел мать, хромую и скорбленную; увидел Ливию, идущую с праздничной процессией в день свадьбы, на которой он был шафером; увидел дону Дулсе; увидел старого Франсиско, доктора Родриго, шкипера Мануэла, лодочников и капитанов шхун. И увидел также Гуму, но Гума смеялся над ним, смеялся ему в спину. Его глаза, в которых гасла жизнь, увидели Гуму, насмехающегося над другом. Он умер без радости.

Шико Печальный вернулся! В один прекрасный день привез его сюда незнакомый корабль, подобно тому, как незнакомый корабль увез его отсюда много лет назад. Вернулся настоящим геркулесом. В порту провел два дня — ровно столько, сколько стояло на причале его судно — скандинавский грузовой пароход. Потом снова ушел в океан. Но та ночь, что он провел на пристани, была праздничной ночью. Те, кто знал его, пришли его повидать, те, кто не знал, пришли с ним познакомиться. Негр ведь понимал всякие чудные языки и наречия, побывал в землях, столь же неведомых и дальних, как земли Айока.

Гума пожал ему руку, старый Франсиско расспрашивал, что нового на свете. Шико Печальный смеялся, он привез шелковую шаль для своей старухи матери, торговавшей кокосовым повидлом. Ночью пришел он на рыночную площадь, мужчины собрались в кружок вокруг него, он долго рассказывал истории из жизни тех далеких стран, где побывал. Истории о моряках, о кораблях, о дальних портах — то грустные, то смешные. Больше, однако, грустных. Мужчины слушали, пыхтя большими трубками, глядя на качающиеся у причала суда. Темный силуэт рынка в глубине площади обрушивался на них своею тенью. Шико Печальный рассказывал:

— Там, в Африке, где я побывал, ребята, житье для негра хуже, чем у собаки. Был я в землях негров, где теперь хозяева французы. Там негра ни в грош не ставят, негр — это раб белого, подставляй спину кнуту, и больше ничего. А ведь это их, негров, земля...

— Словно бы и не их...

Шико Печальный взглянул на прервавшего его:

— На их же земле их ни в грош не ставят. Белые там — всё, всё имеют, всё могут. Негры работают в порту, грузят суда, разгружают. Бегают целый день по сходам, что крысы по палубе, с огромными мешками на спине. А кто замешкается — белый тут как тут со своим хлыстом: как взмахнет, так искры из глаз посыплются.

Собравшиеся слушали молча. Один молодой негр так и трясся от гнева. Шико Печальный продолжал:

— Вот в этих краях и произошел тот случай, что я хочу вам рассказать, ребята. Я как раз прибыл туда на корабле компании «Ллойд Бразилейро». Негры разгружали ко-

рабль, хлыст белого так и свистел в воздухе. Стоит черному хоть чуть замешкаться — и хлыст тотчас огреет его по спине. Вот идет, значит, негр один — кочегаром он работал на корабле, имя ему Баже, — идет, значит, возвращается: он к девчонке одной ходил. Толкнул случайно негра одного, местного, что подымался на корабль по доске с огромным мешком, — они там по доске всходят. Негр тот остановился на секунду, хлыст белого упал ему на спину, он и отчалил на землю со всего маху. Баже никогда не видал хлыст белого в ходу, он в эти земли попал в первый раз. Как увидел, что негр на земле лежит да от боли корчится, Баже вырвал хлыст у француза да как огреет его — ну, француз пришвартовался кормой на землю. Он еще встать пытался, француз-то, но Баже его еще угостил так, что всю морду ему раскроил. Тогда все негры, что были на корабле, повылезали из трюма и спели самбу, потому как они никогда ничего подобного не видали.

Все слушали очень внимательно. Один негр не выдержал и пробормотал:

— Молодчина этот Баже!..

Но Шико Печальный все-таки уехал. Корабль его стоял на причале всего лишь два дня, на второй день вечером поднял якоря и пустился в путь по морю-океану, ставшему для Шико Печального единственной дорогой и судьбою.

\* \* \*

Гума проводил его с сожалением. Где-то в глубине его души навсегда осталась история негра Баже. Так, хоть и постепенно и медленно, то чудо, которого ждала дона Дулсе, начинало осуществляться...

Гума также, когда был помоложе, хотел отправиться в далекое путешествие. Побывать в чужих землях, отомстить за всех униженных негров, узнать все то, что знает Шико Печальный... Но пожалел Ливию и остался. Только из-за нее остался, и все-таки предал ее, предал Руфино, предал закон пристани. Нет уже теперь ни Руфино, ни Эсмералды, нашли только в море, у входа в гавань, рваные куски их тел — акулы пожрали их. Другие жильцы жили теперь в соседнем доме, никогда уж больше не увидит Гума в окошке Эсмералду, выставившуюся напоказ прохожим, соблазняя их своими тугими грудями. Никогда не увидит ее широкие, крепкие бедра, ее призывные зеленые глаза.

И истомная мощь ее тела, и зеленый, как море, блеск ее глаз — все досталось акулам, грозным хозяевам этого водного пространства, что начинается там, где кончается море, и кончается там, где начинается река, — пространства, носящего название «вход в гавань». Иногда Гуме казалось, что он слышит голос Руфино, зовущий: «Братишка, братишка», — или жалующийся: «Я так любил эту мулатку, я души в ней не чаял». На побережье все возникает и гаснет мгновенно, как буря. Только страх Ливии не угас, он владеет ею все дни и все ночи, это уже не страх, а страдание, которому нет конца.

Ливия все больше боится за Гуму. Она так и не смогла привыкнуть к этой жизни, состоящей из вечного ожидания. Напротив, тревога ее растет с каждым днем, и ей представляется, что опасность, угрожающая Гуме, все возрастает и возрастает. День за днем она все ждет и ждет, а во время бури сердце в груди ее бьется сильнее и чаще. За последние месяцы видела она так много зловещих возвращений — одних выбрасывало на песок море, других вытаскивали рыбаки. Видела она и куски тел Руфино и Эсмералды, погибших никто не знает как и отчего. Люди заметили лодку, плывущую без руля и ветрил, и стали искать утопленников. И нашли только лишь куски рук и ног и голову Эсмералды с открытыми, застывшими в ужасе зелеными глазами. Ливия видела так же, как принесли тела Жакеса и Раймундо, — отец и сын погибли вместе, в бурю. Жакес оставил Жудит вдовой, сын их тогда еще не родился, она живет с тех пор в нищете, почти что на милостыню. Ливия видела, как Ризолета стала гулящей женщиной — сегодня с одним, завтра с другим, — а ведь она прожила с мужем больше десяти лет и никогда не знала других мужчин. Но ее мужчина погиб при кораблекрушении, когда затонул «Цветок морей», парусник, наткнувшийся на рифы. Ливия видела много еще таких судеб. Моряки редко умирают на суше, в своем доме, на своей постели. Редко бывает, чтоб в свой смертный час видел моряк крышу над головой и родные лица рядом. Чаще видит он небо, покрытое звездами, и синие морские волны. Ливии страшно. Если б хоть могла она не думать, смириться, как Мария Клара. Но Мария Клара — дочь моря. Сердце ее не рвется от тоски, потому что она знает, что так должно быть, что так было всегда. Она родилась здесь, у моря, и в море покоятся все ее близкие. Один лишь шкипер Мануэл еще рассекает волны. Один лишь он остался. А ведь у нее была большая семья — ро-

дители, братья, множество всякой родни. Только ее любимый еще сопротивляется общей судьбе, но и его день придет — должен прийти. Тогда Мария Клара уйдет отсюда и поступит на какую-нибудь фабрику, где будут нужны ее руки, и будет вполголоса петь песни моря у ткацкого станка или у машины, делающей сигары. И вернется к морю, только когда приблизится час смерти, ибо здесь она родилась, здесь ее порт и берег, к которому должна пристать ее жизнь. Так думает Мария Клара. Но Ливия думает иначе. Ливия не родилась на море, она дитя земли, никто из ее родных не нашел себе успокоение на дне океана, никто не отправился с Иеманжой в вечное плавание к землям Айока. Один только Гума должен отправиться туда. Это судьба людей моря, и он не может избежать ее. Мария Клара говорит, что нельзя все время об этом думать, что это дурная примета, что так она лишь накликает на него смерть. Но в сердце Ливии живет такая твердая уверенность в его гибели, что каждый раз, когда Гума возвращается невредимым, ей кажется, что он воскрес из мертвых.

Печальны дни Ливии, полные ожиданием и страхом. Берег широк и красив, волны бьют о прибрежные камни, нет неба прекрасней, чем в этом краю. Под каждым парусом льются песни и слышится смех. Но дни Ливии печальны и полны страдания.

\* \* \*

Однажды вдруг объявился Родолфо. Приехал удрученный, спрашивал, где Гума. Ливия не спросила, откуда он теперь. Пообедал с нею, сказал, что дождется Гумы. «Смелого» ожидали примерно к девяти вечера. Родолфо целый день курил, ходил из угла в угол, выказывая нетерпение. На тревожный взгляд Ливии ответил:

— Я не приехал в день вашей свадьбы. Но не потому, что не хотел. Возникло одно препятствие. Но дела, я вижу, идут хорошо, скоро надо племянника ждать...

— До каких пор хочешь ты вести эту беспорядочную жизнь, Родолфо? Ты мог бы остаться здесь, заняться чем-нибудь полезным... Так жить не годится, ты плохо кончишь, другие будут горевать о тебе...

— Некому обо мне горевать, Ливия. Я пустой человек, никто меня не любит.

Он увидел, что несправедлив и что Ливия огорчена.

— Когда я так говорю, то не имею в виду тебя. Ты меня жалеешь, ты моя сестра, ты добрая.

Он остановился посреди комнаты:

— С тех пор, как я тебя разыскал, я много раз думал бросить эту жизнь. Но не от меня зависит: поступлю на работу, покажется не под силу — ну я и опять бродяжить. После того, как я с тобой познакомился, я раза три пробовал. Дней десять, а то и две недели послужу и увольняюсь. Не выдерживаю. Месяцев около трех тому назад я в игорном доме служил. Все было в порядке, даже начал деньги откладывать. Неплохо зарабатывал.

— А кем ты там работал?

— Фонарем.— Видя на ее лице полное непонимание, он объяснил: — Я растяп обрабатывал. Начну играть на большие деньги, дурачье и пялит глаза: видят, как мне везет, ну и сами ставят. А я — цап — да и проигрался, милый человек, уж не сетуй... Так и летели, как мотыльки на фонарь.— И смеялся, рассказывая.

Ливия ничего не ответила. Он снова принялся мерять шагами комнату.

— Но не удержался я там. Нудно как-то показалось. Ушел. Сам не знаю, что меня гонит. Внутри сидит что-то и гонит. Только и могу что братья за дела опасные, с риском.

— Ты должен устроить свою жизнь. Когда-нибудь ты можешь понадобится мне.

— У тебя хороший муж. Гума — парень что надо.

— Но он может погибнуть.— Она ударила себя по губам, словно загоняя назад вырвавшееся слово.— Тогда только ты один сможешь помочь мне,— она опустила голову,— мне и сыночку...

Родолфо повернул голову. Он стоял спиной, только лицо было вполборота обращено к ней.

— Я расскажу тебе все. Знаешь, почему я не приехал на твою свадьбу? Я собирался, но надо было хоть сколько-нибудь деньжат добыть. Для подарка тебе. У меня как на грех ни гроша не оказалось. Вижу, полковник идет, толстый, словно заспанный, ну, думаю, у него в карманах не пусто.— Он помолчал секунду. Казалось, он просил прощения: — Я только хотел тебе часы купить. В витрине одной лавки я такие красивые часики высмотрел. Когда я опомнился, толстяк уже схватил меня за руку, а рядом стоял полицейский. Ну, пришлось отсидеть в коштелке несколько месяцев... Потому я и не приехал...

— Не нужен мне был подарок, ты мне был нужен.

— Даже с пустыми руками? Ну, ты просто святая. Не знаю, что за штука со мной происходит, но таков уж я есть, ничего не поделаешь. Однако если я тебе когда-нибудь понадоблюсь...

Она подошла и прижала к себе голову брата. Он был такой усталый, такой беспокойный. Гума все не приходил. Она теперь страшилась и за мужа и за брата. Родолфо приехал неспроста: была какая-то причина, которой она не знала и которой он не захотел раскрыть ей. Вероятно, он приехал просить денег, у него, наверно, ни гроша в кармане, ведь он совсем недавно вышел из тюрьмы... Он лег на циновку, растеленную на полу, и растянулся, подложив руки под голову. Волосы, тщательно расчесанные, блестели от дешевого брильянтина. Ливия опустила на пол рядом с ним, и он положил голову ей на колени. Она тихо погладила его голову, усталую голову, полную воспоминаний об опасных приключениях и рискованных кражах, и запела колыбельную песню. Она укачивала брата, как стала бы укачивать сына. Брат был вор и мошенник. Он вымогал обманом деньги, продавал несуществующие земли, метал банк в игорных домах с дурной славой, скрывался невесте где и якшался невесте с кем, пускал даже в ход кинжал, чтобы припугнуть прохожего с тугим бумажником в кармане. Но сейчас он тихо дремал на циновке и был невинен и чист, как ребенок, которого Ливия носила под сердцем. И она пела над ним колыбельную, как над ребенком, как над новорожденным, уснувшим у нее на коленях.

\* \* \*

Было уже больше одиннадцати, когда возвратился Гума. Ливия осторожно опустила на циновку голову брата и побежала навстречу мужу. Он объяснил, почему задержался, — очень долго грузились в Мар-Гранде. Услышав голос зятя, Родолфо проснулся.

Они обнялись. Гума пошел за графином, выпить по стаканчику. Чтоб отметить приезд Родолфо, объяснял он, расставляя стаканы, в то время как вода стекала с него ручьями.

— Промок до нитки.

Ливия поставила перед Гумой обед. Родолфо сел за стол, придвинув к себе стакан с водкой. Гума быстро убирал рыбу, проголодавшись за долгий день. Он улыбался то жене, то гостю, весело показывая ему вытянутыми губами



на живот Ливии. Родолфо посмотрел: Смотрел долго. Покачал головой в ответ на свою какую-то мысль, пригладил волосы, выпил остаток из своего стакана.

— Ну, я двинулся.

— Уже? Так рано?

— Я только приехал повидать вас...

— Но ведь ты хотел поговорить с Гумой,— промолвила Ливия.

— Да нет, я просто хотел повидать его, столько времени не виделись.

— Надеюсь, теперь ты уж не забудешь дорогу к нашему дому...

Родолфо засмеялся. Надвинул на лоб шляпу, бережно подобрав тщательно расчесанные пряди, вынул из кармана зеркальце, посмотрелся в него, приветливо махнул рукой на прощанье и вышел, насвистывая.

Ливия сказала задумчиво:

— Да нет, у него было к тебе какое-то дело. Видно, денег хотел попросить.

Гума отставил тарелку и крикнул в окошко:

— Родолфо! Родолфо!

Тот уже загибал за угол, но вернулся. Подошел к дому и остановился под окном. Гума, понизив голос, спросил:

— Ты, верно, без гроша? Об этом ты хотел говорить со мной, а? Я тебе наскребу сколько-нибудь.

Родолфо положил руку на плечо друга, задумчиво разглядывая татуировку на его руке.

— Не об этом речь...— Он вынул из кармана деньги и показал Гуме: — Я сейчас богат.

— Так в чем же дело?

— Да так, парень. Ничего. Просто я приехал повидать вас обоих. Seriously.

Он снова махнул на прощанье и пошел прочь от дома. Шел посвистывая, но мысли его упорно возвращались к одному и тому же. Он думал о деле, которое намеревался было предложить Гуме, из-за которого и приехал. Одно из тех рискованных дел, к каким он-то, Родолфо, давно привык. Дело, которое могло дать им обоим легкие и притом немалые деньги. А могло и привести за решетку... Он прикусил аккуратно подстриженный ус и принялся свистеть громче прежнего. Ливия просто святая. А у него, Родолфо, скоро будет племянничек. Он улыбнулся, вообразив себе личико младенца, только что с плачем появившегося на свет. Поддал ногой камешек с дороги и подумал, что теряет весьма

выгодное дельце. Но вдруг он забыл обо всем, забыл, что от выгодного дельца отказался сам, из-за сестры и будущего племянника, не желая впутывать Гуму в рискованное предприятие. Внимание его было отвлечено другим: впереди шла молоденькая мулатка, чеканя шаг и плавно поводя бедрами.

\* \* \*

Тетка с дядей навещали Ливию. Они жили теперь лучше, лавка процветала, старик щеголял новеньким жилетом, старуха приносила Ливии зелень и овощи. Когда они приходили, старый Франсиско уходил из дому, ему казалось, что они каким-то колючим взглядом осматривают все вокруг, словно сетуя на бедное убранство дома. Дядя морщился и говорил Ливии, что «плавать на паруснике — это бесперспективно». Почему она не добьется, чтоб Гума переехал в город и бросил наконец это море? Он мог бы продать свой шлюп, вырученные деньги внести как пай и стать его компаньоном. Овощную лавку можно бы расширить, они открыли бы большой магазин и, чего доброго, могли бы еще разбогатеть и обеспечить будущее малышу, который должен родиться. Самое лучшее для Гумы — бросить этот опасный промысел на море и на реке и перебраться в верхний город, поближе к ним, — уверял дядя. А тетка добавляла, что Гума просто обязан так поступить, если он любит Ливию по-настоящему, а не только на словах. Ливия слушала стариков молча, в глубине души соглашаясь с ними, — она была бы рада такой перемене.

Да, она многое бы отдала за то, чтоб Гума бросил свой промысел. Она знала, как трудно моряку покинуть свой корабль, жить вдали от моря. Кто рождается на море, на море и умирает, и редко бывает по-другому. Потому она никогда и не заговаривала с Гумой о перемене жизни. Но это было бы лучшим выходом для их семьи. Кончилось бы тоскливое ожидание, что не дает ей жить. Кончился бы страх за будущее. И потом, сын ее не родился бы на море, не чувствовал бы себя связанным с морем на всю жизнь. А то ведь Гума уже мечтает о том, как будет брать ребенка с собою в плавание, с малолетства приучать его к рулю. И после всех страданий из-за мужа Ливии предстоят еще страдания из-за сына — его тоже придется ждать ночи напролет.

И каждый раз после посещения родственников Ливия решала поговорить с Гумой. Надо убедить его. Он продаст «Смелого» (сильно будет жалеть, разумеется. Да и ей тоже

жалко), откроет магазин вместе с дядей. Тогда ей нечего будет бояться... Она решала поговорить с ним сегодня же, но когда Гума возвращался из плавания, пропитанный морскою водой, полный впечатлений от всего, что приключилось с ним на опасном пути, у нее не хватало духу завести с ним подобный разговор. Да она и чувствовала, что это бесполезно — невозможно оторвать его от моря. Он окончит жизнь как другие, подобные ему. И она останется вдовой в ночь, когда разыграется буря. И сын ее к тому времени уже привыкнет к парусам шхун и киям лодок, к песням моря и гудкам больших кораблей. Ничто на свете не изменит судьбы Синдбада-морехода.

\* \* \*

Дождь так и не пошел в ту ночь. Тучи не собрались на небе. Декабрь — праздничный месяц в городе и на побережье. Но луна не взошла, и свинцовый цвет неба не преобразился в темно-синий с приходом вечера. Ветер опутывал тьмою все вокруг. Он был сильнее дождя, грома и молний, он собрал в себе мощь всех стихий, и ночь эта принадлежала ему одному. Никто не слышал песни, что пел, как всегда, Жеремиас, — ветер рассеивал и заглушал ее. Старые моряки вглядывались в приближающиеся по морю паруса. Они летели слишком быстро, и надо было быть очень опытным рулевым, чтоб сдерживать бег судна у самого берега и поставить его на причал такую вот ночью, когда над всем властвует один лишь ветер. Много шхун было еще в открытом море, некоторые неслись к гавани, возвращаясь из плавания по реке.

Ветер — самый грозный из всех властителей моря. Он круто завивает гребни волн, любит жонглировать кораблями, заставляя их кружиться на воде, вывихивая руки рулевым, тщетно пытающимся удержать равновесие. Эта ночь принадлежала ветру. Он начал с того, что загасил все фонари на шхунах, лишив море его огней. Один лишь маяк мигал вдалеке, указывая путь. Но ветер не повиновался и гнал суда по ложным путям, относя в сторону от верной дороги, увлекал их в открытое море, где волны были слишком мощны для легкого парусника.

Никто не слышит сегодня песни, которую поет старый солдат в покинутом форте. Никто не видит света фонаря, который он поставил на парапет мола, вдающегося в море. Ветер гасит и затуманивает все — и фонари и песни.

Парусники плывут без руля, по воле и милости ветра, вертятся кругами по воде, как игрушечные. Взбешенные стаи акул ждут у входа в гавань. В эту ночь им обеспечена богатая добыча. Парусники вертятся и переворачиваются... Ливия прикрылась шалью (живот был уже такой огромный, что она послала за теткой) и спустилась вниз по набережной. У двери «Звездного маяка» старый Франсиско изучал ветер. Он пошел с нею. Другие пили там, внутри, но глаза всех были устремлены наружу, в грозную ночь.

На пристани собирались группами люди, переговариваясь. Над огромными океанскими пароходами, стоящими в отдалении на якоре, бороздили небо подъемные краны.

Ливия тоже осталась на милости ветра. Старый Франсиско подошел к одной из беседующих групп узнать, нет ли новостей. Ливия слышала обрывки разговора:

— ...надо быть настоящим мужчиной...

— ...этот ветерочек похуже любой бури...

Она ждала долго. Быть может, и получаса не прошло. Но для нее это было долго. Парус, показавшийся вдали, не принадлежал «Смелому». Кажется, это шхуна шкипера Мануэла. Она неслась с бешеной быстротой, человек за рулем сгибался в три погибели, готовясь к трудному маневру, чтоб остановить судно. Мария Клара низко склонилась над чем-то, простертым на юте. Длинные ее волосы разлетались по ветру. Ливия поправила шаль, соскользнувшую с плеч, взглянула на людей, спускающихся на покрытую мокрой грязью пристань, и ринулась туда. Парусник с трудом причалил, Мария Клара склонялась над распростертым на палубе человеком. И еще до того как шкипер Мануэл произнес: «Смелый» затонул»,— она уже знала, что это Гума лежит там, на палубе «Вечного скитальца», и что это над ним склонилась Мария Клара. Ливия двинулась к краю причала, шатаясь как пьяная. Потом, вскрикнув, упала в лужу грязи, отделявшую ее от шхуны шкипера Мануэла.

## СЫН

Послали за доктором Родриго. У Гумы была рана на голове от удара об острые рифы, на которые наткнулся «Смелый». Но когда доктор пришел, ему пришлось сначала оказать помощь Ливии, которая из-за испуга разрешилась от бремени на несколько дней раньше. И малыш уже пла-

кал, когда Гума смог наконец подняться с забинтованной головой и рукой на перевязи. Он долго смотрел на сына. Мария Клара находила, что ребенок — весь в отца.

— Ни прибавить, ни убавить: Гума — и всё тут.

Ливия улыбалась устало, доктор Родриго велел всем оставить ее одну, чтоб отдохнула. Шкипер Мануэл пошел домой, но Мария Клара осталась с Ливией до прихода тетки. Старый Франсиско отправился за нею, по дороге сообщая счастливую новость всем знакомым. Оставшись наедине с Ливией, Мария Клара сказала:

— Ты сегодня заработала сына и мужа.

— Расскажи, как все было.

— Не сейчас, тебе надо отдохнуть. После ты все узнаешь. Ветер, надо сказать, был уж так свиреп...

Гума задумчиво ходил взад-вперед по комнате. Теперь у него родился сын, а «Смелого» больше нет. Чтoб заработать на жизнь, придется наняться на баржу. Нет у него теперь парусника, чтоб оставить в наследство сыну, когда он сам отправится к землям Айока. Теперь он будет продавать труд своих рук, не будет у него больше своего паруса, своего руля. Это было наказание, думал Гума. Зато, что он предал Руфино, предал Ливию. Это было наказание. Ветер упал на него, бросил на рифы. Если б не Мануэл, подоспевший в ту минуту, как Гума упал в воду и ударился головой о камни, не видать бы ему собственного сына.

Родственники Ливии пришли. Обняли Гуму, старый Франсиско им все рассказал дорожью. Приблизились к постели Ливии. Мария Клара простилась, обещав заглянуть позднее. Предупредила, что Ливия спит, доктор не велел будить. Тетка села возле постели, но дядя вышел из комнаты, решив поговорить с Гумой.

— Шлюп совсем пропал?

— Затонул. Доброе было судно...

— А чем вы теперь намерены заняться?

— Сам не знаю... Наймусь лодочником или в доки.

Он был грустен: не было больше «Смелого», нечего было оставить в наследство сыну. Тогда дядя Ливии предложил ему работать с ним. Гума мог бы переехать в верхний город, помогать в лавке, постепенно осваиваться. Дядя собирался расширить дело.

— Я уже говорил об этом с Ливией. Думал, вы продадите шлюп и внесете свой пай. Но теперь никакого пая не надо, просто давайте работать вместе.

Гума не ответил. Тяжело было ему покинуть море, признать себя побежденным. Да и не хотелось оказаться в долгу у дяди Ливии. Старик надеялся, что племянница сделает удачную партию, чтоб иметь компаньона в деле, открыть впоследствии большой магазин. Он был против ее брака с Гумой. Потом примирился и стал думать о Гуме как о возможном компаньоне. Теперь все его честолюбивые планы провалились, и лавка на ближайшее время так, видимо, лавкой и останется, да еще придется извлекать из нее на пропитание Гумы и его семьи. Старик ждал ответа.

Дверь открылась, и вошел старый Франсиско. На руке его виднелась новая татуировка — он велел написать имя «Смелого» рядом со своими четырьмя затонувшими шхунами, которые звались «Гром», «Утренняя звезда», «Лагуна», «Ураган». Теперь к ним присоединился и «Смелый». Старик с гордостью показал новую татуировку, вынул изо рта трубку, положил на стол и обратился к Гуме:

— Что ты намереваешься делать?

— Стать лавочником.

— Лавочником?

— Он будет моим компаньоном, — с достоинством сказал дядя Ливии, — он оставит прежнюю жизнь.

Старый Франсиско снова взял трубку, аккуратно набил и зажег. Дядя Ливии продолжал:

— Он будет жить с нами в верхнем городе. Вы тоже можете переехать.

— Я не такая развалина, чтоб жить на милостыню. Я пока еще зарабатываю себе на хлеб.

Тетка появилась в дверях, прикладывая палец к губам.

— Говорите потише, пускай она поспит, — и кивала в глубину комнаты.

— Я не хотел обидеть, — объяснял дядя Ливии.

Гума думал о старом Франсиско. Что будет с ним, если он останется один? Скоро он уже не сможет чинить паруса, и ему нечем будет заработать на жизнь. Старый Франсиско затыкнул трубку и закашлялся:

— Я скажу доктору Родриго, что не нужно...

— Чего не нужно?

— Жоао Младший продает своего «Франта». Он купил три баржи, парусник ему больше не нужен. Дешево продает, сразу нужна только половина суммы. Доктор Родриго сказал, что поможет... Но ты хочешь стать лавочником...

— Доктор Родриго дает половину?

— Дает в долг. Ты заплатишь, когда сможешь. Вторую половину будешь выплачивать каждый месяц.

— Это красивое судно.

— Другого такого у нас в порту нет.— Старый Франсиско воодушевлялся: — Только с одним «Скитальцем» шкипера Мануэла может сравниться. Остальные и в счет не идут. Да и продает-то почти что за бесценок.

Он назвал цифру, Гума согласился, что это недорого. Он думал о сыне. Так у сына будет свой парусник.

— Жоао Младший здесь?

— В отъезде. Но когда вернется, поговорим.

— А других покупателей нет?

— Как нет? Уж раньше нас интересовались. Но я все улажу, когда вернется Жоао. Я его ребенком знал, когда он по земле ползал.

Дядя Ливии пошел к племяннице. Гума смотрел на старого Франсиско как на спасителя. Старик пыхтел трубкой, вытянув руку на столе, чтоб просохла новая татуировка. Пробормотал:

— Моя рука пережила его...

— «Смелого»?

— Ты помнишь, как я чуть не разбил его о камни?

Он засмеялся. Гума тоже засмеялся. Пошел за графинчиком.

— Мы «Франта» переименуем.

— А как назовем?

— У меня такое имя на уме — красота: «Крылатый бот».

Входили всё новые приятели. Графин скоро опустел. В комнате стоял запах лаванды.

\* \* \*

Как только они остались вдвоем, Гума рассказал Ливии, как все произошло. Она слушала с полузакрытыми глазами. Рядом спал маленький сын. Когда он кончил свой печальный рассказ, она сказала:

— Теперь у нас нет своего парусника, надо нам начинать другую жизнь.

— Я уже покупаю новый...

Он рассказал, как все складывается. С таким судном, как «Франт», можно заработать кучу денег. Он большой и легкий.

— Ты знаешь, не могу я работать с твоим дядей, не внеся ничего в дело. Но когда мы подзаработаем, можно

будет продать парусник и переехать к твоим родственникам. Тогда не стыдно будет...

— Честное слово?

— Клянусь.

— А сколько на это нужно времени?

— Полгода буду выплачивать... Еще через годик у нас подсоберется деньжонок, можно будет продать парусник. Войдем в пай с твоим стариком, откроем магазин...

— Ты клянешься?

— Клянусь.

Тогда она указала ему на сыночка. И взгляд ее говорил, что это все из-за него. Только из-за него.

### АРАБ ТУФИК

Он приехал на палубе первого класса большого торгового судна, пристававшего на своем веку уже в двадцати портах. Он приехал из краев, находящихся где-то по ту сторону света, и его кожаный бумажник, который он бережно прижимал к груди, подымаясь по улице Монтанья, был почти пуст. Он приехал в ночь, когда свирепствовала буря, в ночь, когда шхуна Жакеса перевернулась у входа в гавань. В эту ночь, на палубе третьего класса, глядя на незнакомый город, развернувшийся перед его глазами, он плакал. Он прибыл из Аравии, из какого-то селенья, затерянного среди пустынь, он пересек океан песков, чтоб отправиться заработать кусок хлеба по другую сторону земли. Иные приезжали раньше него, некоторые возвращались домой богатыми и становились владельцами красивых домов и оливковых рощ. Он приехал с той же целью. Он пришел из-за гор, пересек пустыни на спинах верблюдов, взшел на корабль и много дней подряд жил в открытом море.

Он еще не знал ни слова из языка страны, где решил обосноваться, но уже бойко продавал солнечные зонтики, дешевые шелка и кошельки кухаркам и слугам Баии. Довольно быстро освоился он и с чужим городом, и с чужим языком, и с чужими нравами. Он поселился в арабском квартале на улице Ладейра-до-Пелоруиньо, откуда выходил каждый день рано поутру со своим коробом бродячего торговца. Потом жизнь его пошла лучше. Особенно когда он познакомился с Ф. Мурадом, самым богатым арабом в городе. «Торговый дом Ф. Мурад», торговавший шелками,



занимал почти целый квартал на улице Чили. Поговаривали, что владелец разбогател на контрабанде. Многие из местных арабов ненавидели его, говорили, что он не помогает своим соотечественникам. В действительности же Ф. Мурад вел точный учет своим соотечественникам, проживающим в Баии. И когда начинало казаться, что кто-то из них может быть полезен торговому дому, Ф. Мурад немедленно призывал его к себе для участия в одном из многочисленных своих предприятий. Он давно уже приглядывался к Туфику. Еще до приезда последнего он получил письмо, в котором его уведомляли о подлинных причинах этого приезда. Туфика привела в Баию не только мечта о богатстве. Он покинул свои края, ибо пролил там чужую кровь и хотел, чтоб о нем забыли. Ф. Мурад на несколько месяцев предоставил его самому себе, ограничившись лишь пристальным наблюдением. Видел, как приезжий быстро осваивается. Кроме всего прочего, это был, очевидно, человек смелый, способный согласиться на любое опасное дело, только б оно было выгодно. Ф. Мурад призвал его наконец и использовал в самом прибыльном из своих предприятий. Теперь Туфик имел дело с клиентами с борта кораблей, со всеми этими капитанами и лоцманами, которые провозили беспощадно грузы шелка. И Туфик проявил в этой хитрой работе особую ловкость, никогда еще дела не шли так успешно, как при нем.

Через несколько лет Туфик тоже рассчитывал вернуться домой с тем, чтоб там, среди своих гор, стереть оставленный им кровавый след, засадив его оливковыми рощами.

Он знал порт, как немногие. Капитаны парусных шхун все были его знакомцы, имена кораблей он все помнил наизусть, хотя и произносил их, забавно коверкая. Шавьер, хозяин «Совы», работал на него. И если еще не сколотил деньгу, так оттого лишь, что у Шавьера была душевная рана и деньги его уходили на выпивку в «Звездном маяке» и на игру в рулетку в подозрительных игорных домах на некоторых улицах верхнего города, пользующихся дурной славой. Это именно «Сова» принимала в молчании ночи тюки шелка с борта кораблей и отвозила их в надежные укрытия. И столько раз прошел араб Туфик этими опасными водными тропами, что ему казалось, что он и сам — капитан парусной шхуны. По крайней мере, он уже слушал, как зачарованный, те песни, что глубокой ночью пел солдат Жеремиас в старом форте. И как-то туманной ночью и сам вдруг запел на своем наречии песню моря, услы-

шанную некогда от своих соотечественников-моряков в порту, где он взосел на корабль, отплывавший в Баю. Странная была эта мелодия, вдруг разрезавшая тьму. Странная и чужая. Но песни моряков, сколь различны ни были бы их напевы и наречия, на которых они сложены, всегда повествуют о любви и гибели в волнах. Поэтому все моряки понимают их, даже если они поются арабом с далеких гор, услышавшим их в грязном азиатском порту.

## КОНТРАБАНДИСТ

Сынок уже начинал ходить и играл с корабличками, которые мастерил для него старый Франсиско. Брошенные в углу комнаты игрушечный поезд, подарок Родолфо, дешевенький медведь, купленный Ливией, и паяц, принесенный теткой, не удостоились даже взгляда своего маленького владельца. В корабличе, вырезанном из обломка мачты старым Франсиско, заключался для малыша целый мир. В тазу, где Ливия стирала белье, кораблик плавал долгие часы под восхищенными взглядами деда и внука. Он плыл без руля и кормчего и поэтому никогда не приставал к берегу, а все описывал круги или вдруг останавливался посреди своего водного пространства. И мальчик говорил на своем особом языке, похожем на язык араба Туфика:

— Дед, делай булю.

Старый Франсиско знал, что малыш хочет, чтоб над его бухтой разразилась буря. Подобно Иеманже, бросающей на воду буйный ветер, старый Франсиско надувал щеки и выдувал на таз-бухту яростный норд-вест. Бедный кораблик кружился вокруг своей оси, мчался по ветру с небывалой быстротой, а малыш радостно хлопал перепачканными ручонками. Старый Франсиско еще больше надувал щеки, делая ветер еще сильнее. И свистел, подражая смертоносной песне норд-веста. Воды бухты, только что спокойной, как озеро, волновались, волны заливали кораблик, который все больше наполнялся водой и наконец медленно опускался на дно. Малыш хлопал в ладоши, а старый Франсиско смотрел на тонущий кораблик с печалью. Хоть и была это только игрушка, сделанная его собственными руками, но все же это был в конечном счете парусник, который шел ко дну. Волны бухты успокаивались. Теперь она была тиха, как озеро. Кораблик лежал на боку, на дне.

Малыш засовывал руку в таз и вынимал кораблик. Игра начиналась снова, и так старик и мальчик проводили целые дни, склонившись над игрушечным морем, над игрушечным кораблем и над настоящей судьбой людей и кораблей в настоящем море.

Ливия с печалью и страхом смотрела на заброшенных медведя и паяца, на игрушечный поезд. Ни разу малыш не запустил его во дворе, не устроил крушения. Ни разу не заставил медведя напасть на паяца. То, что творится на суше, не интересовало его. Судьбы моря, а не земли, занимали его воображение. Его живые глазенки неотрывно следили за игрушечным кораблем, за его борьбой со штормовым ветром, вылетающим из надутых щек старого Франсиско. А медведь, паяц и поезд лежали в углу, заброшенные. Раз только надежда блеснула в сердце Ливии. Это было, когда Фредерико (сына назвали Фредерико) вдруг покинул свой таз-бухту в разгар самой страшной бури и пошел искать паяца. А найдя, бережно поднял с пола. Ливия внимательно следила за малышом: неужто устал наконец от бурь и кораблекрушений? Может, интересовался так своим ботом, пока тот был новинкой? А теперь займется забытыми игрушками? Но нет, совсем нет. Малыш отнес паяца к тазу и посадил на корабль. Хотел превратить его в капитана. Странный это был капитан — в полосатых сине-желтых шароварах. Впрочем, подумала Ливия, теперь столько приходится видеть чужеземных моряков в самых разных одеждах, что, если б и впрямь появился какой-нибудь в таких вот шароварах, вряд ли бы это кого-то удивило... И с этого дня, каждый раз, когда игрушечный кораблик шел ко дну, паяц (сражавшийся, разумеется, с бурей до последней секунды) тонул вместе со своим кораблем, погибая в пучине, как настоящий моряк. На дне таза его тряпочное тело раздувалось, словно в него вонзились тысячи раков. Малыш хлопал в ладоши, смеялся и восторженно смотрел на деда. Франсиско тоже смеялся, и игра начиналась снова и снова.

Бедный кораблик столько уж раз шел ко дну, и паяц столько уж раз тонул, что тряпочное его тело прохудилось и однажды он остался без ноги. Но морские волки не просят милостыню. И странный моряк в сине-желтых шароварах продолжал бороться с бурями, бодро стоя на одной ноге у мачты своего корабля. Малыш говорил старому Франсиско:

— Акуа села.

Акула съела у паяца ногу, старый Франсиско понимал внука. Потом она съела голову, отвалившуюся во время одной особенно сильной бури. Но и без головы моряк (это был самый странный моряк изо всех, когда-либо плававших по морям мира) продолжал бодро стоять у руля, рассекая бурные волны на своем корабле. И малыш смеялся, и старик смеялся вместе с ним. Для них обоих море было другом, ласковым другом.

Только Ливия не смеялась. Она смотрела на медведя и поезд, брошенных в углу. Для нее море было врагом, самым страшным из врагов. Люди, связанные с морем, напоминали ей игрушечного паяца в сине-желтых шароварах, случайно ставшего моряком: даже без ноги, калекой, боролся он с бешенством морской стихии, не выказывая при этом ни протеста, ни гнева.

Старик и мальчик смеялись. Буря ревела над маленькой бухтой, кораблик несся по воле волн и ветра, одноногий моряк без головы пытался управлять кораблем, не желая сдаваться.

\* \* \*

«Франта» превратили в «Крылатый бот» и покрасили сызнова. Понадобилось также сменить паруса, и новое судно Гумы обещало стать самым быстроходным в здешних местах. Доктор Родриго дал свою половину суммы с тем, что Гума вернет ее, когда кончит выплачивать вторую половину бывшим владельцам. Эту часть поделили на десять помесячных выплат. То немного, что было у Гумы, ушло на обновление судна. И «Крылатый» торжественно вышел в море. Срок, обещанный Ливии для того, чтоб скопить денег и войти пайщиком в дело ее дяди, вместо года растянулся на два. Ибо в конце первого года долг Жоао Младшему почти не уменьшился, а доктору Родриго не было еще выплачено ни гроша. Причиною тут была, разумеется, не неаккуратность, а то, что жизнь для моряков становилась все труднее и труднее. Грузов было мало, цены на фрахт стояли низкие, — из-за конкуренции более быстрых и дешевых моторных катеров — в делах был полный застой. Заработки становились все ниже и ниже, и набережная никогда еще не оглашалась столькими жалобами на распроклятую жизнь.

Ливия уже отчаялась ждать, поняв, что в этом году Гума не покинет море. Она и сама день-деньской трудилась, чтоб он мог поскорее выплатить долги и выкупить

свободу для нового своего корабля. Жоао Младший торопил с уплатой, он сам нуждался в деньгах, не мог свести концы с концами после покупки барж. Доктор Родриго ничего не требовал, ждал терпеливо, но Жоао Младший буквально приставал к ним, почти не вылезал от них, подстерегал Гуму на пристани каждый раз, когда тот возвращался из плавания. Что, впрочем, в последнее время случалось не часто. Моряки проводили теперь много времени на базарной площади, беседуя о жизни, о застое, о трудных временах. Да еще зачастили в «Звездный маяк» — заливать тоску, благо сеу Бабау пока еще верил в долг, хоть и записывал аккуратно все расходы в потрепанную тетрадь в зеленой обложке. Гума брался за любые перевозки, даже если назад приходилось возвращаться порожняком, соглашался даже на короткие рейсы в Итапарику, но и так в конце месяца не хватало денег на очередную выплату Жоао Младшему. Ливия помогала старому Франсиско чинить паруса. Многие часы проводила она теперь, согнувшись над толстым холстом разорванного бурей паруса, с иглой в руке. Но почти вся эта работа делалась в кредит, дела шли плохо у всех на пристани. Так плохо, что грузчики даже поговаривали о забастовке. Гума по целым дням искал работу, старался совершать перевозки насколько возможно быстрее, чтоб закрепить за собой клиентов. Многие продали свои парусники и нанялись на разные работы в порту: грузчиками в доки, матросами на большие океанские суда, носильщиками — таскать чемоданы и тюки путешественников.

И поскольку такая работа занимала мало времени, основную часть дня и ночи пели и пили.

\* \* \*

— Жоао Младший заходил, пока тебя не было...

Гума сбросил дорожный мешок на постель. Взглянул на сына, играющего со старым Франсиско в обычную игру.

Был конец месяца, и он обещал Жоао Младшему выплатить хоть сколько-нибудь. Но ничего не удалось отложить, из последнего рейса он вывез сущие гроши, это был рейс в Итапарику. Малыш смеялся, бегая вокруг таза с водой. Гума не стал обедать и сразу вышел. Не прошло и пяти минут, как Жоао Младший постучался к ним в двери:

— Гума вернулся, хозяйка?

— Вернулся, но сразу опять ушел, сеу Жоао.

Жоао Младший недоверчиво заглянул внутрь комнаты.

- Не знаете, куда он направился?
- Не знаю, сеу Жоао, он только что вышел.
- Ну что же, доброй ночи.
- Доброй ночи, сеу Жоао.

Жоао Младший удалился вниз по улице, покусывая ус. Керосиновые лампы на окнах освещали бедно убранные жилища моряков. В дверь одного из домишек входил какой-то пьяный, и Жоао услышал голос женщины, отворившей ему:

— В хорошем виде ты приходишь, нечего сказать... Словно не довольно...

На пристани собирались группами мужчины, беседуя. Жоао Младший стал расспрашивать о Гуме. Нет, не видел. На базарной площади кто-то заметил, что, кажется, он пошел в «Звездный маяк».

— Заливать тоску...

Кто-то другой спросил:

— Как твои баржи, Жоао? Доходны?

— Какое там доходны. У кого теперь есть доход? Расходы одни...

Он махнул рукой и пошел дальше. Повстречался с доктором Родриго, который шел куда-то, куря сигарету.

— Добрый вечер.

— Добрый вечер, доктор. Я как раз хотел сказать вам пару слов...

— В чем дело, Жоао?

— Да насчет хозяйки моей. Вы к нам столько раз приходили, пока она болела, на ноги ее поставили. Вы ее спасли. Один только бог вам помог. А я с вами еще не расплатился.

— Ничего страшного, Жоао. Я знаю, что дела у всех сейчас неважные...

— Плохие дела, верно, доктор. Но вы должны получить за вашу работу, вы тоже не можете воздухом питаться. Как только будет возможность...

— Не беспокойтесь об этом. Я обойдусь.

— Спасибо, доктор.

Родриго отошел, затягиваясь. Жоао Младший подумал о Гуме. Хотел было идти домой (времена и правда тяжелые), повернул было в обратную сторону, но внезапно решил и направился к «Звездному маяку»...

Гуму он увидел сразу — за столом перед пустым стаканом. Шкипер Мануэл сидел возле него. С высокого табурета за стойкой сеу Бабау смотрел на посетителей груст-

но и сонно. Жоао Младший заметил, как шкипер Мануэл, сказав что-то, безнадежно махнул рукой... Жоао стоял на пороге, словно не решаясь войти. Он рассматривал Гуму с восхищением и печалью, словно видел в первый раз. Длинные волосы свисали Гуме на лоб, и глаза глядели с каким-то испугом. «Бойтся»,— подумал Жоао и невольно подался назад, словно намеревался уйти, так и не переступив порога. Но ему нужно было заплатить своим матросам на баржах — и он шагнул за порог. Несколько голосов приветствовали его — «добрый вечер». Он кивнул на обе стороны и тяжело опустился на стул рядом с Мануэлом. Шкипер сказал:

— Как дела? — Казалось, он с трудом заставил себя заговорить с пришельцем.

— Сеу Жоао...— начал Гума.

Жоао Младший дернул себя за ус, спросил выпить. Шкипер Мануэл был очень мрачен и молчал, глядя на дно пустого стакана. Кто-то из посетителей кричал в углу:

— Подадут нам сегодня или нет?..

Сеу Бабау записывал имена должников в тетрадь. Внезапно Гума резко поднялся, провел рукой по лбу, отбрасывая назад волосы, и сказал:

— Пока ничего, сеу Жоао. Дела идут так скверно...

Шкипер Мануэл отозвался эхом:

— Так скверно...— И спросил необычно громко: — Сколько это будет продолжаться?

Сеу Бабау взглянул на говорившего, рука его, сжимавшая карандаш, застыла в воздухе. В наступившей тишине ясней слышалась песня, которую пел слепой у порога. Печальная, заунывная. Она медленно вливалась в комнату, и Жоао Младший слушал, чувствуя, как она постепенно овладевает им. Шкипер Мануэл ответил на свой собственный вопрос:

— Я думаю, что это никогда уж не кончится. И все мы умрем с голоду...

Сеу Бабау опустил свой карандаш. Почесал голову и улыбнулся, сам не зная чему. Закрыв тетрадь и перестал записывать долги. Голова его медленно опустилась на согнутую руку. Казалось, он дремлет.

— Спустил паруса...— заметил кто-то.

— Так скверно...— сказал Жоао Младший, имея в виду дела и время.

Песенка слепого тихо тлела за дверью. Не слышно было звона ни единой монетки, капнувшей в его нищую жестя-

ку. Но слепой все пел. И Жоао Младший слушал его, вопреки собственному желанию. Гума заговорил снова:

— Я хотел в этом месяце заплатить вам, но я гол как сокол. Не было работы, вовсе никакой не было работы, сеу Жоао.

Женщина вошла в таверну — Мадалена. Обвела взглядом пустые столы. Никто не пригласил ее. Она засмеялась, крикнула своим грудным голосом:

— Здесь что, поминки?

Все взглянули на нее. Шкипер Мануэл протянул ей руку — когда-то они были любовники. Но она подошла к их столу не из-за Мануэла, а из-за Жоао Младшего.

— Угостишь рюмочкой, Жоао?

Мальчишка принес стаканы.

Песенка слепого (он пел о нищете своей и просил милостыню) казалась нескончаемой там, за порогом. Гума продолжал:

— Сеу Жоао, потерпите еще, прошу вас. Будет же лучше когда-нибудь...

Шкипер Мануэл усомнился:

— Ты надеешься?

Мадалена обвела взглядом троих мужчин. Потом крикнула хозяину:

— Патефон онемел сегодня, да, Бабау?

Бабау поднял опущенную на руку голову, сонно взглянул вокруг и нехотя двинулся заводить старенький патефон. Звонкая самба наполнила залу. Но и сквозь задорную ее мелодию звучала в ушах Жоао Младшего заунывная песенка слепого.

— Дело в том, Гума, что я и сам завяз. Дьявольски завяз. Троем своим помощникам задолжал. Баржи пока что никакого дохода не принесли, только расходы. — Он взглянул на шкипера Мануэла, потом на Мадалену и махнул рукой: — Только расходы...

— Я знаю, сеу Жоао. Я очень хочу расплатиться с вами, только вот как?

— Я в тунике, Гума. Или достану денег, или мне придется спустить за бесценок одну из барж, чтоб уплатить собственные долги.

Песенка слепого просачивалась в залу сквозь резкую музыку самбы. Гума повесил голову. Сеу Бабау вернулся за стойку и снова задремал над своей тетрадью. Мадалена с любопытством прислушивалась к разговору.



— Я подумал...— начал Жоао Младший и осекся.

— Что?

— Продать бы нам парусник, ты б получил свою часть, я управился бы с делами. Мы б могли договориться, ты пошел бы работать ко мне на баржу.

— Продать «Крылатого»?!

Песенка слепого совсем заглушила самбу. Хоть и слаба и тиха, казалась она громче и мощнее, ибо все собравшиеся в этот час в таверне слушали только ее:

Сжальтесь над тем, кто навек потерял  
свет своих ясных глаз...

Шкипер Мануэл также недоумевал:

— Продать «Крылатый бот»?

Мадалена вытянула руку на столе:

— Такого красавца — и вдруг продать...

— Да иначе нам не выпутаться, — оправдывался Жоао Младший.

Он повторил:

— Не выпутаться...

— Сеу Жоао, подождите еще с месяц, я достану денег. Даже если весь месяц мне придется голодать...

— Да я не из-за себя, Гума. У меня самого долги. — Он боялся, что подумают, что он наживается на ком-то. Песня слепого терзала его. — Ты ведь знаешь, что я не такой человек, чтоб наживаться на других... Я ни с кого не хочу кожу сдирать. Но положение такое дрянное, что я другого выхода не вижу...

— Только месяц...

— Если я завтра людям не заплачу, они уйдут.

Шкипер Мануэл спросил:

— И ничего нельзя придумать?

— Что же?

— Попросить еще у кого-нибудь взаймы?

Стали думать — у кого. Мануэл вспомнил даже о докторе Родриго. Но как Гума, так и Жоао были ему уже должны. Нет, этот не годится... Жоао Младший продолжал оправдываться:

— Спросите у старого Франсиско, наживался ли я когда-нибудь на беде другого. Он меня знает уж столько лет... (Ему хотелось попросить слепого, чтоб замолчал.)

Мадалена кивнула на сеу Бабау:

— Кто знает, может, он выручит?

— А и то... — сказал Мануэл.

Гума смотрел на них смущенный, словно умоляя спасти его. И Жоао Младший продолжал оправдываться — у него было желание подарить Гуме парусник, а потом броситься в воду, ибо как будет он смотреть в глаза помощникам, которым не платит? Шкипер Мануэл поднялся, подошел к стойке, взял легонько под руку Бабау. И привел его к столу. Бабау сел рядом с ними:

— В чем дело?

Гума почесал голову. Жоао Младший был весь поглощен песней слепого. Пришлось говорить шкиперу Мануэлу.

— У тебя с деньгами как?

— Когда получу сполна то, что вы все мне задолжали, разбогатею... — засмеялся Бабау.

— А знаешь ты кого-нибудь, кто мог бы выручить?

— Сколько тебе нужно?

— Да это не мне. Это вот сеу Жоао и Гуме. — Он повернулся к Жоао Младшему: — Сколько надо сразу же?

Жоао Младший по-прежнему прислушивался к стонущей мелодии слепого певца. Он объяснил:

— Мне только заплатить своим помощникам. Гума мне должен, ты ведь знаешь, как теперь всем трудно...

Гума прервал:

— Я отдам, как только достану хоть сколько-нибудь денег. Понимаете?

Сеу Бабау спросил:

— Да сколько нужно-то?

Жоао Младший прикинул в уме:

— Сто пятьдесят меня бы выручили...

— В моей кассе и половины нет. Могу открыть, сами увидите... — Он задумался: — Если б речь шла о пятидесяти мильрейсах...

— Пятьдесят тебе не хватит? — Мануэл взглянул на Жоао Младшего.

— Пятидесяти и на уплату одному помощнику не хватит. Сто пятьдесят — это еще тоже не все, что им причитается.

— Ты сколько должен был отдать, Гума?

— Я выплачиваю по сту в месяц... Но я в том месяце тоже не уплатил.

Сеу Бабау поднялся и направился во внутреннее помещение. Мадалена вздохнула:

— Если б было у меня...

Патефон замолчал. Все сидели тихо, слушая песню слепого. Сеу Бабау вернулся и принес пятьдесят мильрейсов билетами по десять и пять. Отдал Гуме:

— Ты мне вернешь после первого же рейса, хорошо?

Гума протянул деньги Жоао Младшему. Шкипер Мануэл положил руку на плечо Мадалены.

— Поддери полковника, который даст нам в долг сотню.

Она улыбнулась:

— Если я сегодня выручу пятерку, то буду считать себя счастливой...

Гума сказал Жоао Младшему:

— Подождите еще несколько дней. Попробую достать недостающее.

Жоао Младший кивнул. Мадалена вздохнула с облегчением и принялась непринужденно болтать:

— Вы знаете Жоану? Ты знаешь, правда, Мануэл? Так вот сидит она сегодня у окна и видит, что какой-то тип с нее глаз не спускает. Ну она и...

Но Гума прервал:

— Вы все знаете, что этот бот ее дает мне никакого заработка. Он, собственно, и не мой еще, я за него и четверти не заплатил. И задолжал вам, Жоао, и доктору Родриго. Но если я останусь без судна, то что оставлю я в наследство сыну? Здесь, на море, долго не проживешь, настигнет тебя в один прекрасный день буря, ну и отправишься далеко. Разве что для тех, у кого нет ни жены, ни детей...

— Тяжкая доля, — согласился Мануэл. — За то я и не хочу детей. Хозяйка-то хотела бы...

— А жена у тебя красивая, — сказала Мадалена Гуме.

— Ты ее знаешь?

— Я видела вас вместе на улице.

Песня слепого все лилась через порог. Снова подали водки. Жоао Младший сказал:

— Достать бы мне еще десятку, я б каждому хоть по двадцать отдал... Может, остаток подождали бы.

— Десятку я тебе завтра утром достану, — отозвался Мануэл. — У хозяйки, возможно, есть.

— А у нас в доме — новенькая, — сказала Мадалена.

— А, в вашем стаде новая телушка появилась, вот как?

— Новая телушка... Скорей старая корова... Не дай тебе боже...

— Кто ж она?

— Старушенция, правда. Говорит, что была женой Шавьера.

— Шавьера? Капитана «Совы»?

— Его самого.

— Он нам когда-то о ней рассказывал, — сказал задумчиво Гума.

— Верно, помню, — подтвердил Мануэл.

— Он был так влюблен в нее. Она его бросила, и он даже шхуну назвал так, как она его самого звала — «Совой».

— Чудак какой-то, — Мадалена сделала насмешливую гримаску, — никогда другого такого не видала...

— Ты очень дружил с Руфино, правда? — Жоао Младший вдруг обернулся к Гуме.

— Почему вы спрашиваете? — Гума явственно слышал теперь песню слепого.

— Говорят, он убил жену, она ему рога наставляла с матросом каким-то.

— Я тоже слышала, — подтвердила Мадалена.

— А я в первый раз слышу. И если так, то он прав. Честный был парень.

— Другого такого ловкого лодочника на всем побережье нет, — сказал Мануэл.

Гуме слышался голос Руфино, повторявший «братишка, братишка». Одно его утешало — мысль, что Руфино так и не узнал, что и он, Гума, его предал. Жоао Младший заключил беседу:

— Я б на его месте того типа тоже прихлопнул...

В эту минуту вошел Манека Безрукий. Он сел за столик рядом с друзьями и сказал громко, обращаясь ко всем присутствующим:

— Вы уже слышали новость?

Все наострили уши. Манека Безрукий рассказал:

— Шавьер продал шхуну Педрокке за бесценок и поступил матросом на греческий корабль, который сегодня снялся с якоря.

— Что ты говоришь?

— То, что слышите. Ни с кем не посоветовался. Отплыл так с полчаса назад...

— Из-за этой женщины... — пробормотала Мадалена.

— Говорят, на этом греческом корабле команде жрать нечего, — заметил негр, сидевший за соседним столиком.

Они вышли. За порогом слепой все пел. Он вытянул руку с жестянкой, и Жоао Младший бросил в нее монетку в два тостана. Купить табак, чтоб выкурить трубку сегодня вечером, уж не придется.

Араб Туфик понес большой ущерб из-за бегства Шавьера. Через пять дней должен был прибыть большой корабль с грузом контрабандного шелка. Как доставить его на берег без помощи парусника и надежного человека, который управлял бы этим парусником? Он объяснил Ф. Мураду:

— Все потому, что пьяница был. На того, кто пьет, надеяться нельзя. Я теперь договорюсь с кем-нибудь понадежней.

— Договорись как можно скорее. Необходимо доставить груз вовремя.

Туфик отправился на пристань. Попробовал выпросить у сеу Бабау, как там с финансами у моряков. Узнал о том, что случилось накануне, узнал, что хозяин таверны ссудил деньгами Гуму, что дело чуть не дошло до продажи «Крылатого бота». Спросил:

— А можно на него положиться?

— На Гуму?

— Ну да.

— Нет на всем побережье человека честней его.

Араб сразу же и отправился к Гуме. Ливия открыла:

— Гума ушел, но он скоро вернется, сеу Туфик. Вы подождете?

Он сказал, что подождет. Пройдя в комнату, он сел на единственный (и дырявый) стул и, задумчиво вертя в руках шляпу, смотрел сквозь открытую дверь на ребенка, бегающего по лужам во дворе. И вдруг Туфик вспомнил, что Родолфо сказал ему однажды (Туфик разыскал его, чтоб узнать, не согласится ли Гума участвовать в одном контрабандном деле): «Мой зять не тот человек, что тебе нужен, турок». Никогда не пойдет он на такое, уверен был Родолфо. И сейчас Туфик подумал, что, может, и не стоит дожидаться. Но надо было срочно найти замену Шавьеру. Гума подходил по многим признакам: лучше всех умеет управлять парусником, судно у него легкое и быстроходное, да к тому ж остро нуждается в деньгах, долгов много. Но хватит ли у него храбрости ввязаться в подобные дела? О каких-то там принципах Туфик даже и не вспомнил, но вот хватит ли храбрости?.. Он встал и подошел к окну. Гума показался в конце улицы. Увидев Туфика, запыхал быстрее.

— Что хорошего, сеу Туфик?

— Я хотел поговорить с вами.

— К вашим услугам...

Ливия вошла в комнату и смотрела на мужчин с тревогой. Гума предложил:

— Выпьете, сеу Туфик?

— Разве что стаканчик.

— Ливия, угости сеу Туфика.

Туфик указал на ребенка во дворе:

— Сынок?

— Он самый.

Ливия принесла выпивку. Туфик налил себе. Когда Ливия вышла, он придвинул свой дырявый стул к ящику, на котором сидел Гума:

— Простите, сеу Гума, за вопрос, но как у вас с деньгами?

— Да неважно, сеу Туфик, по совести сказать, неважно. Застой, сами знаете. А вам зачем?

— Да, плохие времена, очень плохие. Но и сейчас человек решительный может заработать много денег.

— Не вижу как...

— Вы еще не выплатили за новый бот, правда?

— Пока что нет. А как же вы считаете, можно заработать?

— Вам известно, что Шавьер уехал?

— Известно. Жена его здесь появилась.

— Какая жена?

— Его. Он был женат.

— Так вот из-за чего... Он ведь у меня работал, вы не знали?

— Слышал.

— Посадил меня на мель, как вы тут выражаетесь. А работа у него была такая, что приносила много денег.

— Принимал контрабандный товар?

— Некоторые наши заказы, что прибывали на кораблях...

— Не хитрите со мной, сеу Туфик, не тратьте попусту время. Все давно всё знают. А теперь вы хотите втянуть в эти дела меня?

— Вы смогли бы выплатить за свое судно в течение двух-трех месяцев. Дело выгодное. За один раз можно заработать не меньше пятисот мильрейсов.

— Но если дознается полиция, богач пойдет ко дну.

— У нас все так налажено, что не дознается. Дозналась хоть раз?

Он нерешительно посмотрел на Гуму:

— В среду прибывает немецкий пароход. Он доставит

большой груз. Дело выгодное...— Он осекся.— Сколько вы еще должны за бот? Много?

— Примерно восемьсот.

— Вы можете заработать пятьсот одним махом. Крупное дело, три рейса, не меньше. За одну ночь вы загребете кучу денег.

Он говорил, прижав голову к плечу Гумы, громким шепотом, как заговорщик. Гума подумал, что, может, стоит пойти на это рискованное дело раз или два, только чтоб выплатить за бот, а потом махнуть этим арабам рукой — и поминай как звали. Туфик, казалось, отгадал его мысли:

— Два-три раза сделаете что надо, заплатите за судно, а потом можете и не продолжать. У меня выхода нет, мне немедленно человек нужен. Освободитесь от долгов. К тому ж речь идет всего об одном или двух грузах в месяц. А в остальные дни вы свободны, плывите куда хотите, можете мне и на глаза не показываться.

Туфик смолк и ждал ответа. Гума задумался. Согласиться разве на первое время? Оплатить судно — и бросить. Сам Туфик предложил это. Страха Гума не испытывал, его даже привлекали опасные рейсы. Боялся лишь, что вдруг попадет в тюрьму и Ливия тогда с ума сойдет от огорчения. Она уж из-за брата истрадалась... Он услышал голос Туфика:

— Хотите денег вперед?

Вспомнил Жоао Младшего, задолжавшего помощникам, почти решившегося продать одну из барж...

— Вы мне дадите вперед сто мильрейсов? Тогда я согласен.

Араб сунул руку в карман брюк, достал сверток бумаг. Это были письма, квитанции, векселя. И вперемешку со всеми этими грязными, измятыми бумагами — деньги:

— Вы знаете, где Шавьер принимал грузы шелка?

— Нет. Где?

— В порту Санто-Антонио.

— Близко от маяка?

— Там.

— Ладно.

Гума протянул руку и взял деньги. На пороге показался старый Франсиско. Туфик протиснулся, тихонько напомнив Гуме:

— В среду в десять. Чтoб судно было наготове.

Старый Франсиско приветствовал Туфика, когда тот уже выходил:

— Добрый день, сеу Туфик.

Ливия поинтересовалась:

— Что он хотел?

— Узнать о Шавьере. Кажется, Шавьер остался ему должен.

Старый Франсиско взглянул недоверчиво. Ливия заметила:

— Я уж думала, он у нас совсем поселился.

Мальчик во дворе заплакал. Гума пошел за ним.

\* \* \*

Ночь над землею веяла теплом. Но над морем дул свежий ветер, пробирающий до костей. На небе в звездах стояла большая желтая луна. Море было покойно, и только песни, доносящиеся с разных сторон, нарушали тишину. Неподалеку от «Крылатого бота» покачивался на якоре «Вечный скиталец», и Гуме слышны были любовные вздохи Марии Клары. Шкиперу Мануэлу нравилась любовь на палубе в лунные ночи под широким небом. Посеребренное луною море расстилалось вокруг любящих. Гума подумал о Ливии, которая сейчас дома, одна, в тревоге. Она никогда не могла примириться с той жизнью, какую он вел. После гибели «Смелого» она жила в вечной агонии, после каждого рейса ожидая увидеть мужа мертвым. Если она теперь узнает, что он впутался в контрабанду, то уж ни на мгновение не сможет быть спокойной, ибо к страху за его жизнь прибавится еще страх за его свободу. Ей теперь все время будет он представляться за решеткой... Гума клянется сам себе, что бросит эти дела сразу же, как выплатит долг за парусник. Сегодня — первая ночь, и на рассвете он получит пятьсот мильрейсов. Он отнесет деньги Жоао Младшему, скажет, что достал у друзей. Останется только доктор Родриго, ну, а он уж подождет. Еще два таких рейса — и новое судно будет оплачено. Тогда он подработает немного еще, продаст «Крылатый бот» и войдет пайщиком в это дело с магазином, которое предлагает дядя Ливии... Как? Продать «Крылатого»? После стольких жертв? Так трудно было его приобрести, а теперь вдруг продать за бесценок, чтоб стать приказчиком в какой-то лавчонке? Оставить море, вольные паруса под ветром, родной порт? Нет, такое моряку не под силу, в особенности когда ночь так хороша, так полна звезд, так светла под круглой лунной... Однако уже больше десяти, а Туфика все не видно.



Гума видел, как грузовой немецкий пароход вошел в гавань. Было три часа дня. Пароход не пристал, он был слишком огромен для здешней узкой гавани, остался на якоре неподалеку, выпуская огромные клубы дыма. С палубы «Крылатого» Гума различал огни парохода. Ливия, наверно, думает, что муж уже ушел в плавание, уже рассекает волны реки, везя груз в Мар-Гранде. Она ждет его возвращения не раньше рассвета. Наверно, в волнении, наверно, страшится за него, а когда он войдет, бросится ему на шею, спрашивая, скоро ли они переедут в город. Магазин... Продать судно, оставить порт. Он подумал об этом в первый раз, когда предал Руфино. Во второй — когда потерял «Смелого». Но теперь ему не хочется этого. На суше умирают так же, как и на море, страх Ливии — просто глупость. Однако песня, в которой говорится о том, как несчастна судьба жены моряка, не молкнет в здешних краях. Слышна и сейчас... Гума с нежностью проводит рукой по борту «Крылатого». Один лишь «Вечный скиталец» может поспорить с ним. Да и то потому лишь, что им управляет такой мастер своего дела, как Мануэл. «Смелый» тоже был хорошее судно. Не такое, однако, как «Крылатый». Даже сам старый Франсиско, со всем его опытом, говорил, что такого судна, как это, он еще не встречал. А теперь вот — продать его...

Он услышал, как Туфик прыгнул с высокого берега на ют «Крылатого». С ним был другой араб, в кашне, обернутом вокруг шеи, несмотря на жару. Туфик представил:

— Сеньор Аддад.

— Капитан Гума.

Араб приложил руку к виску, словно отдавая честь. Гума сказал:

— Добрый вечер.

Туфик внимательно осматривал бот:

— Вместительный, а?

— Самый большой в порту.

— Я думаю, за два рейса вы весь груз перевезете.

Аддад кивал головой. Гума спросил:

— Пора отчаливать?

— Подождем. Рано еще.

Арабы уселись на юте, начав длинный разговор на своем языке. Гума молча курил, слушая песню, доносящуюся со старого форта:

Мой любимый ко мне не вернулся,  
он остался в зеленых волнах.

Арабы продолжали свою беседу. Гума вспоминал Ливию. Она думает, что он в плавании, что он об эту пору пересек уже вход в гавань. Внезапно Туфик, повернувшись к нему, сказал:

— Красивая песня, правда?

— Очень.

— Жалостная такая.

Второй араб молчал, задумавшись. Потом запахнул пиджак и сказал что-то по-арабски. Туфик рассмеялся. Гума смотрел на них. Голос, доносящийся со старого форта, угас, и теперь ясно слышался скрип досок под телами мужчины и женщины на шхуне шкипера Мануэла.

Примерно около полуночи Туфик сказал:

— Можем отчаливать.

Гума выбрал якорь (Аддад с любопытством разглядывал татуировку у него на руке), поднял паруса. Судно развернулось и начало набирать скорость. Показались огни парохода. Снова раздалась песня со старого форта. Жеремиас в эту звездную ночь приветствовал, верно, луну, освещающую путь кораблям. На боте Гумы царило молчание. Когда были уже вблизи корабля, Туфик сказал:

— Остановитесь.

«Крылатый» остановился. Повинуясь жесту Туфика, Гума спустил паруса. Бот медленно покачивался на волнах. Аддад свистнул условным свистом. Ответа не последовало. Попытался снова. На третий раз они услышали ответный свист.

— Можем подойти,— сказал Аддад.

Гума взялся за весла, не подымая парусов. Бот обошел кругом огромный корабль, причалив к его боку с той стороны, где открывался путь на Итагажипе. Показалась на мгновение чья-то голова. Послышалось несколько отрывистых слов на непонятном Гуме языке, и голова скрылась. Аддад распорядился пройти еще вперед вдоль корпуса корабля. Они остановились перед большим отверстием. И двое людей начали спускать тюки шелка, которые Гума и Туфик сразу же складывали в трюме бота. Никто не заметил их.

Бот медленно отделился от корабля. Уже далеко, после того как пересекли фарватер, подняли паруса и пошли на большой скорости, не зажигая фонаря. Ветер был попутный, и вскоре достигли порта Санто-Антонио. Море здесь волновалось сильнее, и волны подымались высоко,

но бот был большой и крепкий и стойко выдерживал их удары. Туфик заметил:

— Мы быстро дошли.

На пристани их уже ждали. Один из встречавших, хорошо одетый человек, шагнул вперед:

— Все в порядке?

— Сколько еще рейсов?

— На таком паруснике, как этот — только один.

Хорошо одетый человек внимательно всматривался в Гуму, помогающего разгружать тюки шелка. Их следовало затем доставить в один дом, выходящий задней стеной в порт.

— Это тот самый парень?

— Тот самый, сеньор Мурад.

Гума взглянул на богача. Это был толстый, гладко выбритый человек, весь в черном. Он опустил руку на плечо Гумы.

— Парень, ты можешь заработать со мной кучу денег. Если не станешь хитрить.

Еще раз окинул быстрым взглядом груз и сказал Туфику:

— Присмотрите, чтоб все было в порядке. Я уйду, мой Антонио заболел.

Антонио был его сын, студент юридического факультета. Богач обожал своего ученого кутилу. Он все прощал ему и приходил в восторг, увидев имя сына под какой-нибудь статейкой в газете или журнале... Поэтому Аддад сказал так участливо:

— Антонио заболел? Я найду его навестить.

Ф. Мурад, прежде чем уйти, еще раз тронул Гуму за плечо:

— Будь со мной по-хорошему, не раскаешься.

— Будьте спокойны.

За углом, через улицу и еще через переулок, богача ждал автомобиль.

Кончив разгрузку, «Крылатый» собрался в обратный путь. Трюм его снова был набит тюками шелка. Гума потерял счет, сколько тюков они перетаскали. Туфик передал одному из своих помощников пачку денег, которые тот пересчитал при свете карманного фонаря.

— Все правильно, — сказал с ужасным акцентом человек, стоящий сзади считавшего.

Судно отчалило, снова пошло по направлению ветра, подняли паруса и дошли без каких-либо осложнений до

порта Санто-Антонио. На сей раз Туфик предложил Гуме выпить. Судно разгрузили. Аддад вошел в дом и что-то замешкался. Гума разжег трубку. Туфик подошел к нему.

— Я вам сообщу, когда вы мне снова понадобится.— Он вынул два билета по двести и протянул Гуме: — Вы никогда не видели этого дома, ясно?

— Слово моряка.

Туфик улыбнулся:

— Красивая песня, та, что недавно пели, верно?

Он застегнул пиджак и тоже вошел в дом. Гума крепко сжал в руке два денежных билета. «Крылатый» развернулся на волнах и отошел в надвигающемся рассвете. И только когда вокруг зашумело широкое море, Гума почувствовал, до чего устал. Он вытянулся на досках палубы, пробормотав:

— Можно подумать, что я все время боялся.

Маяк тускло мигал в наступающем рассвете.

\* \* \*

Жоао Младший сказал ему:

— Ты человек слова.

— Я взял в долг у жениного дяди. Теперь ему буду выплачивать. Лавка приносит доход, старик, кажется, собирается открыть большой магазин. Даже предлагал мне стать его компаньоном.

— Я однажды застал его у вас.

— Хороший старик.

— Сразу видно.

\* \* \*

Дней через десять явился Родолфо. Гума накануне вернулся из рейса в Кашоэйру и еще спал. Старый Франсиско ушел за покупками. Родолфо немножко поиграл с малышом и разговорился с Ливией:

— Ты все еще так же беспокоишься?

— Когда-нибудь привыкну... Придет такой день.

— Да что-то долго не приходит.

Он взглянул на племянника, тянувшего его за руку — показать игрушечный кораблик в тазу. И снова обратился к сестре:

— Ты ведь хотела, чтоб он поступил работать к старикам, в лавку.

— Я б рада была, конечно.

— Так момент наступил...

— Что ты хочешь этим сказать? — встревожилась она. Он искоса взглянул на нее. Если б она знала, то встревожилась бы куда сильнее.

— Да ничего особенного. Из-за малыша. Растет ведь, потом привыкнет тут — и не оторвешь.

Она смотрела все еще недоверчиво, но немножко успокоилась:

— Я думала, случилось что-нибудь.

И вдруг спросила:

— Где ты достал деньги, которые дал в долг Гуме?

— Я? — Но он быстро понял: — Мне подвернулась выгодная работа. Я б все равно пустил эти деньги на ветер...

Она подошла и погладила его по голове:

— Ты такой добрый.

Гума проснулся. Пока Ливия варила кофе, Родолфо спросил:

— Ты что, с контрабандой связался?

— А ты откуда знаешь?

— Я все о таких делах знаю. Я даже сам раз пришел к тебе с поручением от Туффика, но ничего не сказал — сестру пожалел.

— В прошлый раз?

— Ну да.

— Ты не бойся, я там не приживусь. Выплачу за судно — и конец. Немного уж осталось.

— Будь осторожен. Если такое дело провалится, то скандал будет громкий. С Мурадом ничего не стряется, у него больше десяти тысяч накоплено, вылезет. Но под удар попадут такие бедняки, как ты. Имей это в виду.

— Я там долго не задержусь. Я не хочу, чтоб Ливия...

— Днем раньше, днем позже она все равно узнает. Какие деньги я тебе дал?

Гума засмеялся.

— Ты оказался на высоте?

— Да чуть не засыпался. Будь осторожней. Дело это опасное.

Ливия вошла, неся кофе и лепешки из маисовой муки.

— Вы что тут секретничаете?

— Ни о чем мы не секретничаем. Мы про малыша говорили.

— Родолфо вот тоже считает, что нам хорошо было бы перебраться поближе к родственникам.

— Из-за мальчонки, — подтвердил Родолфо.

— Подожди, чернявая. Вот выплачу за бот — и переедем. Подработаю, войдем в пай. Теперь уж недолго.

Гума ласково обхватил жену за талию. Она села к нему на колени.

— Мне так страшно...

Родолфо опустил голову.

\* \* \*

Во второй раз груз был маленький — французские чулки для франтих и духи. Гума получил сто мильрейсов. Все обошлось благополучно. На сей раз Ф. Мурад тоже отправился с ними на «Крылатом» и долго совещался о чем-то с одним пассажиром большого корабля. Потом заплатил много денег. Когда возвращались, сказал Гуме, мрачно сдвинув брови:

— Ты никогда не видал меня на борту какого-либо корабля, парень.

— Само собой разумеется.

— Я слышал о тебе. Говорят, ты парень смелый. Сколько еще ты должен за твой бот?

— Когда внесу сегодняшние сто, останется только триста пятьдесят.

— Еще несколько рейсов, и бот твой. А потом ты нас покинешь?

— То есть буду ли дальше работать на вас, сеньор? Думаю, что нет.

— Не будешь?

— Я ведь с самого начала так и сказал сеу Туфику. Что я возьмусь за это, но когда захочу — перестану. Я затем только и взялся, чтоб выплатить за бот.

— Никто тебя не держит.

— Вы не бойтесь, я ничего никому не расскажу. Рта не раскрою.

— Я и не боюсь. Я знаю, что ты парень честный. Мне только кажется, что если б ты остался с нами, то мог бы заработать много денег.

Он опустил руку на плечо Гумы:

— Ты находишь эту работу очень опасной?

— У меня жена и сын. Завтра полиция нападет на след и (он вспомнил слова Родолфо)... Вам-то, сеньор, ничего не будет. Вы богач. Удар падет на мою спину.

Ф. Мурад понизил голос:

— Ты думаешь, никто не знает, что я занимаюсь

контрабандой? В полиции у меня есть свои люди. Я их купил. Мне трудно будет найти другого такого парня, как ты.

Они продолжали путь в молчании. Когда стал виден берег, Мурад еще раз повторил:

— Если останешься с нами, заработаешь много денег.

— Я поразились. Если решу...

— Туфик говорил, что через месяц ожидается большой груз. Можно заработать двести мильрейсов, а то и больше...

\* \* \*

На следующий день он понес свой долг доктору Родриго. Заработал в последнем рейсе, сказал он. В Кашоэ-ре играл в рулетку и повезло. Поставил пятерку, а выиграл сто двадцать. И поскольку в этом месяце он уже заплатил часть Жоао Младшему, то теперь вот пришел отдать эту сотню доктору, с благодарностью. Родриго вначале не хотел брать. Сказал, что Гуме, верно, самому нужно. Но Гума настоял. Чем раньше он выплатит все долги, связанные с покупкой судна, тем ему будет легче.

От доктора он отправился договариваться о рейсе в Санто-Амаро. За грузом вина. Обычные рейсы — это на жизнь. Деньги за контрабанду — только на оплату парусника. Выплатив все долги, придется, видно, еще немножко поработать на арабов, чтоб добыть еще примерно сотню. Тогда уж можно будет удовлетворить мечту Ливии — переехать в город и открыть магазин вместе со стариками. Может, даже и не придется продавать «Крылатого». Можно отдать его шкиперу Мануэлу или Манеке Безрукому напрокат, основав с ними товарищество. Оба с удовольствием возьмут в дело второй парусник. А у Манеки Безрукого так и вовсе одна лодчонка — он будет рад иметь возможность плавать на «Крылатом», так он гораздо больше заработает. А ему, Гуме, не придется окончательно расставаться с морем. Он сможет иногда тоже уходить с ними в плавание. Он не перестанет быть моряком, не оторвет от сердца все, что связано с морем. Он исполнит желание Ливии и сам будет доволен, переедет в город, не разлучаясь с морем. Вот это план! Лучше не придумаешь! Но, чтоб осуществить его, придется еще некоторое время заниматься контрабандой, чтоб накопить денег и войти в пай с дядей. Еще месяца два-

три, еще несколько рейсов — и хватит. Дело-то выгодное, тут ничего не скажешь. Жаль только, что вдруг вместо денег можно заработать тюрьму. Если б все раскрылось, скандал был бы на весь свет. У Ф. Мурада накоплено десять тысяч контос, спина-то у него крепкая, не ломается. Но он, Гума, у которого один бот, да и то пока что не свой...

Нет, страха он не испытывал. И если думал об опасности контрабанды, то только из-за Ливии и сына. Перед его глазами все время был малыш, возившийся с корабликом у таза с водой. Маленький капитан. Любит море, сразу видно, что сын моряка. Когда вырастет, будет управлять «Крылатым ботом», не один рейс совершит в этих водах. Станет хвастать, что отец был лучший рулевой здешних мест, что, даже перебравшись в город, он не продал свой парусник и теперь еще время от времени уходит с сыном в плавание... Гума ласково провел рукой по борту «Крылатого»...

Спустившись в трюм, он увидел сверток шелка. Совсем забыл... Накануне Ф. Мурад отдал ему этот отрез со словами:

— Подари твоей жене.

Торопясь домой, он совсем забыл об этом. Ливия будет рада. У нее мало платьев, и все плохонькие. Теперь у нее будет нарядное платье, как у городской модницы.

Гума еще прибрал немного на судне и пошел домой. После обеда он закончит сегодняшние дела... Ливия ожидала его, сидя на окне, с сыном на коленях. Он сразу показал ей шелк.

— Забыл утром на боте.

— Что это?

— Посмотри сама...

Он вошел. Она прыгнула с окна, спустила малыша на пол. Внимательно рассматривая материю, сказала:

— Но это же дорогой шелк...— И в глазах ее был тревожный вопрос.

— Я его выиграл в лотерею на ярмарке в Капшэyre.

— Ты врешь. Почему ты мне правду не скажешь?

— Какую правду? Я выиграл в лотерею, и все.

Она медленно сложила шелк. Минуту помолчала, потом сказала вдруг:

— Зачем ты хочешь, чтоб я все узнала от других?

— Да о чем ты?

— Так хуже.



— Ты просто сумасшедшая...

— Ты думаешь, я не знаю уже? Плохое быстро узнаешь. Ты связался с контрабандой, так?

— Тебе Родолфо сказал?

— Я его почти не вижу. Но все на пристани знают, что ты заступил на место Шавьера...

— Вранье.

Но невозможно было долее отпираться. Лучше все рассказать.

— Ты разве не понимаешь, что мы завязли по уши и не было другого выхода? Жоао Младший хотел уж перепродать «Крылатый бот» кому-нибудь другому, тогда б мне пришлось наняться лодочником и мы никогда бы отсюда не уехали, как ты хочешь...

Ливия слушала молча. Малыш выбежал из-за двери и ухватился за подол матери. Гума продолжал:

— Ты же видишь... Я сделал для них всего три рейса, а уж оплатил почти весь долг за судно. Через месяц у нас будут деньги, чтоб переехать в город и войти в дело твоего дяди.— Он с трудом выдавил: — Если я впутался в это, так ведь из-за тебя и из-за сына.

— Мне страшно, Гума. Не хорошие это деньги. В один прекрасный день все обернется по-иному, что тогда с нами будет? Я и раньше боялась за тебя, а теперь вдвойне...

— Так это ж ненадолго. Ничего не раскроется, как может раскрыться? Ты думаешь, полиции ничего не известно? Все ей превосходно известно, она этими известиями по горло сыта. И деньгами сеу Мурада.

— Может, из полиции всего двое каких и знают. Когда-нибудь придет настоящий начальник, серьезный, и разом со всем покончит.

— Тогда меня уж это не будет касаться. Через три, самое позднее — четыре месяца я все это брошу. А может, и раньше. Немножко поднакоплю и...

— Сейчас, вижу, ничего уж не поделаешь,— произнесла Ливия печально.— Но ты мне обещаешь, что оставишь это, как только сможешь? Что переедешь со мною в верхний город?

— Обещаю твердо.

Тогда она развернула отрез шелка. Красивая материя. Она набросила шелк на себя, примеряя, как будет выглядеть платье. Улыбнулась:

— Сошью, только когда ты бросишь эти дела.

— Значит, скоро.

И Гума принялся рассказывать перипетии своих контрабандных рейсов.

\* \* \*

Следующее плавание не дало того, что обещал Туфик. Груза прибыло меньше, чем ожидали, как объяснил арабам их соотечественник с парохода в нескончаемом разговоре на непонятном Гуме языке. Гума получил только сто пятьдесят мильрейсов. Туфик сообщил ему, что ожидается еще груз на этой же неделе. Но тут разразилась забастовка докеров и портовых грузчиков. Лодочники, матросы и капитаны мелких парусных судов в большинстве своем присоединились к бастующим. Забастовка окончилась успехом, плата за перевозки увеличилась. Но начались преследования, и одному докеру, по имени Армандо, пришлось бежать, скрываясь от полиции. Случилось так, что укрылся он на боте Гумы, отправлявшемся в плавание уже по новому тарифу. И на палубе, под звездным небом, докер рассказал Гуме многое, чего тот не знал до сих пор. И эта ночь стала для Гумы не ночью, а близящимся рассветом.

\* \* \*

Доктор Родриго очень помогал бастовавшим докерам. Когда все закончилось, он написал поэму, кончающуюся намеком на то, что чудо, которого ждала донна Дулсе, начинает осуществляться. Она согласилась, улыбаясь. Она за последнее время сгорбилась еще больше, но, послушав поэму, даже как-то распрямила плечи. И улыбалась, счастливая. Наконец-то она нашла слово, новое слово, чтоб сказать его обитателям бедных этих жилищ. Теперь они действительно могли называть ее добрым другом. Она знала, как отблагодарить их. Она снова обрела веру. Но только вера ее была теперь иная.

В небе над Санто-Амаро звезда Скорпиона исчезла. Спустилась, наверно, к бастующим докерам.

\* \* \*

Гума проделал еще несколько рейсов для Туфика. Оплатил бот. Он даже подружился с арабом — такой всегда приветливый... Аддад, тот продолжал упорно и мрачно молчать, выцветшее кашне болталось вокруг его шеи. Мурад появлялся редко, только когда нужно было перегово-

рить о чем-то важном со своими людьми на пароходе. Теперь у Гумы было отложено двести пятьдесят мильрейсов и долгов больше не было. Ливия уже говорила о переезде в верхний город как о чем-то очень скором, что должно произойти буквально на днях. Осталось приработать совсем немного — и можно будет внести пай в лавку дяди. Старик тогда сможет отдохнуть, ему становится очень трудно работать. Парусник перейдет к Манеке Безрукому, который будет каждый месяц выплачивать определенную сумму старому Франсиско. Привычный страх почти покинул Ливию, она ждала теперь спокойнее. В последнее время все шло так хорошо. Даже тарифы стали выше, жизнь на пристани понемногу налаживалась, кризис прошел — моряки сумели пережить его.

Ливия любила теперь проводить ночи на палубе, когда малыш гостил в городе у дяди с теткой. Она подолгу лежала возле Гумы, подложив руки под голову, слушая песни пристани, глядя на желтую луну, на звезды без числа, чувствуя близкое присутствие Иеманжи, расстелившей свои волосы по водной глади. И думала, что море — и правда друг, нежный друг. И жалела Гуму, которому приходится оставить море, оставить свою судьбу. Но они не продадут парусник, — когда море так вот спокойно, они будут приходить сюда для мирной прогулки по волнам, смотреть на звезды и луну над морем, слушать эти печальные песни. И снова будут обнимать друг друга на палубе своего бота. Волны будут омыwać их тела, и любовь от этого будет еще слаще. Кожа будет пахнуть морской солью, в ушах отзовется тихий свист ветра, стон гитар и гармоник под пальцами негров, глубокие их голоса и голос Жеремиаса, поющий на старом форте вечную свою песню. Не услышат они только голос Руфино, потому что Руфино убил себя из-за изменщицы-мулатки. Увидят они, как плывут, грозно разрезая гребни волн, акулы, залюбуются прекрасными волосами Иеманжи, хозяйки всех морей и всех парусов. И Гума нежно проведет рукой по борту верного своего бота. Они ведь будут так скучать по всему этому там, в городе... Нет, «Крылатый» не перейдет в чужие руки, он по-прежнему останется с ними. А «Смелого» они тоже будут вспоминать... Мысль о том, что сын воспитывается в городе, что его ждет хорошее будущее, утешит их сердца, и принесенная ими жертва покажется менее тяжелой. Но все-таки будут они тосковать, ужасно тосковать по морю, так, как тоскуют толь-

ко по родному существу. Ибо нет человека, который родился бы или долго прожил на море и не любил бы его всем сердцем и всею кровью. Любовь эта бывает полна горечи. Бывает полна страха и даже ненависти. Но не может быть равнодушием. И потому ей нельзя изменить и невозможно забыть ее. Ибо море — это друг, ласковый друг. И, быть может, море — это и есть те самые земли Айока, что для моряков становятся родиной.

## ЗЕМЛИ АЙОКА

Роза Палмейрао больше не носила ножа за поясом и не прятала на груди кинжал. Известие, посланное ей Гумой, догнало ее где-то на севере, в какой-то жалкой каморке, за которую она не платила, потому что владелец боялся ее. Когда незнакомый матрос разыскал ее и сказал: «Гума просил передать, что твой внук уже родился», — она вытащила нож из-за пояса и вынула кинжал, спрятанный на груди. Правда, до того как сделать это, она еще раз воспользовалась ими, чтоб «добыть обратный билет».

Ливия приняла ее как друга, с которым давно не виделись.

— Этот дом — ваш.

Роза опустила голову, крепко прижала к груди ребенка, который вначале испугался, потом с усилием улыбнулась:

— Гума — парень везучий.

Малыш спросил: раз это бабушка, так, значит, жена дедушки Франсиско? Тогда Роза заплакала. Теперь ей уже можно было плакать, ведь у нее не было ножа за поясом и кинжала на груди... Она стала носить скромное платье и по целым часам просиживала у порога с внуком на руках.

Иногда вечерами слыхала она, как поют на пристани АВС о ее подвигах, и слушала, зачарованная, словно пели не о ней, а о ком-то другом. Только море посылает своим сынам и дочерям подобные дары смирения, только море...

\* \* \*

Впервые пришлось Гуме везти контрабандный груз в разгар бури. Но он видел, что Ливия не очень встревожилась (в последнее время она была спокойна, ведь ждать

осталось так недолго), и вышел из дому в хорошем настроении. Туфик ждал его на борту, и на сей раз, кроме Адада, с ними отправлялся еще один молодой араб. Это был Антонио, сын Ф. Мурада, студент и литератор, которому любопытно было взглянуть, как перевозят контрабандные товары.

Тучи сгущались на небе, ветер бешено рвал паруса. Большой корабль, поджидавший их далеко в море, был едва различим с палубы бота. Туфик сказал:

— Вы находите, что будет буря?

— Еще какая...

Араб повернулся к сыну Ф. Мурада:

— Лучше б вы шли домой, сеу Антонио.

— Оставьте, пожалуйста. Так даже интереснее. Картина полнее. Он обернулся к Гуме: — Вы думаете, есть опасность, капитан?

— Всегда есть опасность.

— Тем лучше.

Судно отчалило. Но не дошли еще и до волнолома, как хлынул дождь. Гума с трудом спустил паруса, и стали ждать сигнала с парохода. Приблизились с трудом, орудя веслами. Туфик нервничал. Адад плотней завязал кашне вокруг шеи. Антонио насвистывал, бравидуя равнодушием, которого в действительности не испытывал. Парусник причалил к пароходу, тюки шелка начали совершать свой обычный путь. Но грузить было трудно, волны набегали частые и сильные, дождь падал яростный, и судно то подымалось, то опускалось, относимое в сторону от корабля. Наконец закончили погрузку. Гума развернул бот на бушующих волнах, прошли за волноломом, поплыли в направлении Санто-Антонио.

Дикий ветер толкал их куда хотел. Не было в море ни единого суденышка, только лодка, приставшая у самого старого форта, не решаясь двинуться дальше. Ветер гнал «Крылатого» прочь с намеченного пути, бот был перегружен до крайности, маневрировать становилось все труднее. Гума, нагнувшись, вцепился в руль, волны мели палубу с обоих бортов. Адад пробормотал:

— Шелк весь промокнет.

И стал искать на палубе доски, чтоб закрыть отверстие трюма. Он не видел бури, не видел грозящей смерти, видел только шелк, который промокнет и пропадет. Гума взглянул на него с восхищением. Туфик нервничал, он боялся за сына хозяина. Студент был бледен и стоял, присло-

нившись к мачте, молча. Один лишь раз он нарушил молчание, чтоб спросить Гуму:

— Вы думаете, мы погибнем?

— Можем и спастись. Все — судьба.

Путь продолжали в молчании. Держались верного курса, но их все время относило далеко в сторону, к открытому морю, туда, где кончалось владение маленьких парусных судов и начинались пространства, подвластные лишь большим, мощным кораблям. Словно исполнялась, помимо его воли, мечта Гумы — отправиться в путешествие к дальним и чужим землям, подобно Шико Печальному. Они видели, как освещал их путь — предназначенный им путь — спасительный огонек знакомого маяка. Они и плыли туда, но не прямо, а далеко в стороне, на границе открытого моря, неведомого моря, того самого таинственного моря-океана, где произошло столько приключений, о которых повествуется в историях, рассказываемых по вечерам на пристани.

Напротив них находился порт Санто-Антонио. Но их отнесло совсем в сторону, Гуме очень трудно маневрировать, чтоб ввести парусник в порт и поставить на причал. Впереди неподалеку — острые рифы под тонким слоем воды. Гума с трудом разворачивается на волнах, но валы-колоссы поднимают легкий бот и с силой швыряют на подводные камни. Излишний груз, сложенный в трюме, оказался «Крылатому» не под силу, и он перевернулся, как игрушечный кораблик. Стаи акул ринулись на затонувший бот со всех сторон, они — всегда настороже, не упустят кораблекрушения.

Гума увидел, как Туфик борется с волнами. Он схватил араба за руку, взвалил себе на спину. И поплыл к берегу. Слабый свет из порта Санто-Антонио тонул в темных волнах, но маяк послал широкую полосу света, осветившую дорогу Гуме. Взглянув назад, он увидел скопище акул вокруг разбитого бота и две человеческие руки, трепещущие в воздухе.

Он положил Туфика на песок пляжа и, едва успев подняться, услышал голос Ф. Мурада:

— А мой сын? Мой Антонио? Он был с вами! Был, да? Спасите его. Спасите! Я отдам вам все, что ни попросите!

Гума едва держался на ногах. Мурад умоляюще протягивал к нему руки:

— У вас тоже есть сын. Ради любви к вашему сыну...

Гума вспомнил Годофредо в день спасения «Канавией-

раса». Все, у кого есть дети, так вот умоляют. У него самого тоже есть сын...

И Гума снова бросился в воду.

Он плыл теперь с трудом. Он уже и раньше устал — от трудного этого пути сквозь бурю. И еще ему пришлось плыть с Туфиком на спине, борясь с волнами и ветром. И теперь силы его с каждой минутой убывали. Но он плыл дальше. И застал еще Антонио на поверхности воды, держащимся за корпус перевернутого судна, напоминающего тело мертвого кита. Он схватил юношу за волосы и поплыл обратно... Но что это? Море как будто не пускает его... Акулы, уже пожавшие Аддада, вереницей следуют за ним. Гума держит в зубах нож, волоча Антонио за волосы. Там, впереди, над черным морем, видится ему Ливия — почти спокойная, терпеливо ожидающая перемены их жизни к лучшему, Ливия, родившая ему сына, Ливия — самая красивая женщина на пристани... А акулы все ближе, догоняют его, и силы его уже иссякли. Он и Ливию не видит больше. Он знает только, что должен плыть, плыть, потому что спасает сына — сына Ф. Мурада или своего сына, он уже не знает теперь. А там впереди — Ливия, Ливия ждет его. Волны моря сильны и громадны, ветер свистит оглушительно. Но он плывет, разрезает руками воду. Он спасает сына. Быть может, это его сын?

Почти у самого берега, там где уже виден грязный песок порта Санто-Антонио, он не выдерживает и разжимает пальцы. Однако берег настолько близок, что волны несут Антонио прямо в объятия Ф. Мурада, который восклицает: «Сын мой! — и кричит: — Доктора! Скорее...»

Гума тоже хочет на берег. Но стая акул заставляет его обернуться, схватившись за нож. И он еще сражается, еще успеваает ранить одно чудовище, окрасить его кровью кипящие вокруг волны... Акулы увлекают его туда, где из воды еще виднеется опрокинутый корпус «Крылатого бота»...

\* \* \*

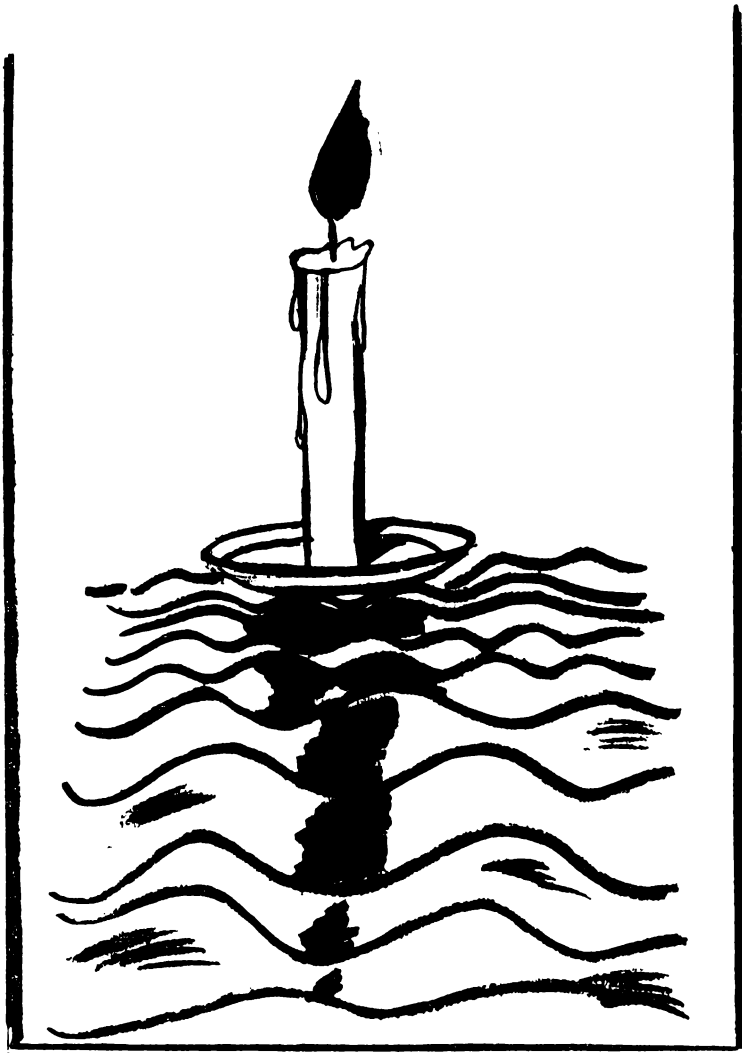
Буря побушевала некоторое время и стихла. Луна встала на небе, и Иеманжа распустила свои волосы по волнам, там, где исчез в морской глубине Гума. И увлекла его в таинственное путешествие к таинственным землям Айока, куда отправляются только смелые, самые смелые моряки.

Ветер выбросил «Крылатый бот» на песчаный берег порта.

MEPTBOE MOPE









### МОРЕ—ЛАСКОВЫЙ ДРУГ

**В**от здесь погрузилось в воду тело Гумы. Шкипер Мануэл остановил свою шхуну, спустил паруса. На палубе «Вечного скитальца» — доктор Родриго, Мануэл, старый Франсиско, Манека Безрукий, Мария Клара и Ливия с сухими глазами.

Они прибыли сюда рано утром. «Крылатый бот» удалось повернуть. В корпусе был пролом, но небольшой, плотник за несколько часов заделал его. Шкипер Мануэл привел бот в родную гавань. После завтрака пошел за Ливией. Роза Палмейрао и тетка Ливии остались с малышом. Манека Безрукий отправился вместе со всеми.

Вот здесь, как раз здесь, тело Гумы погрузилось в воду. Теперь море спокойное и голубое. Вчера оно было бурное и зеленое. Но глазам Ливии оно предстает остановившимся — недвижимая масса стоячей воды свинцового цвета. Оно тоже словно умерло, море. Вместе с Гумой.

Все молчат. Старый Франсиско зажигает свечу. Каплет воском на блюдце, приклеивает. И осторожно опускает блюдце на гладь моря. Все глаза неотрывно следят за свечой. Доктор Родриго не верит, что зажженная свеча может указать место, где под водой лежит утопленник. Но доктор молчит.

Медленно удаляется свеча. Тихонько покачиваясь, плывет по волнам. Подымается и опускается, словно крохотный корабль-призрак. Все глаза неотрывно следят за нею, все рты плотно сжаты. Доктор Родриго вновь видит Гуму, укрывающего в трюме раненого Траиру, спасающего «Канавиейрас», вытаскивающего потерпевших кораблекрушение, перевозящего контрабандные грузы, чтоб заплатить долги. Старый Франсиско вновь видит Гуму на палубе, весело рассекающего волны килем своего бота. Шкипер Мануэл вновь видит Гуму в «Звездном маяке», что-то рассказывающего своим свободным, чистым голосом и характерным движением руки отбрасывающего назад длинные черные волосы. Мария Клара вспоминает, как под звуки ее песни состоялся он в быстроте с Мануэлом. Манека Безрукий вспоминает он в стычках и ссорах между ними, не мешавших им оставаться добрыми друзьями. Только Ливия не видит Гуму, только она не вспоминает о нем. Только она одна надеется еще обрести его.

Свеча кружится по воде. Свинцовая вода для взора Ливии, свинцовая вода мертвого моря. Море без волн, море без жизни, мертвое море. Свеча останавливается. Старый Франсиско говорит тихо:

— Он там.

Все смотрят. Шкипер Мануэл сдергивает рубашку, бросается в воду. Манека Безрукий тоже. Оба ныряют, снова появляются на поверхности, снова ныряют. Но свеча плывет дальше, поиски продолжают...

Завтра старый Франсиско велит вытатуировать у себя на руке имя Гумы. Рядом с именами пяти затонувших шхун. И еще — брата. И еще — отца Гумы. Теперь рядом со всеми этими именами напишут имя племянника. Единственное имя, которое он никогда не напишет у себя на руке, принадлежит его брату Леонсио, человеку, потерявшему свой

порт. А может быть, когда-нибудь придется еще написать на левой руке имя сына Гумы — второго Фредерико. Тогда будут два одинаковых имени — деда и внука. Но нет, Ливия, конечно же, увезет его подальше от моря, переедет с сыном в верхний город, к дяде с теткой. Так что имя сына Гумы никогда не появится на левой руке Франсиско рядом со всеми другими... Свеча медленно плывет дальше...

Этой еще не так плохо, думает доктор Родриго про Ливию, у нее есть родственники, она будет теперь жить с ними, помогать в лавке. Другим хуже, для них остается только один путь — на улицу. Да, Ливия заслуживала иной участи. Очень сильно любила она мужа, пожертвовала из-за этой любви возможностью сделать лучшую партию. Теперь у нее остался сын, остался бот, уже ненужный, ибо некому им управлять... Теперь она ищет тело мужа, неотрывно следя за плывущей по воде свечой... Солнце встает, заливая белым светом море.

Свеча, кажется, не собирается остановиться никогда. Шкипер Мануэл смотрит на свечу. Гума был хороший рулевой, единственный, кто мог победить шкипера Мануэла в состязании на быстроту. Он тихо говорит Марии Кларе:

— Хороший был малый. Храбрец...

Все услышали эти слова. Хороший был малый, умер очень молодым. Единственный, кто мог обогнать шкипера Мануэла. Мария Клара вспомнила:

— Он как-то раз обогнал тебя...

— Но в первый раз я его обогнал. Мы были равны с ним, зато и состязались.

Ливия смотрит на воду. У нее сухие глаза. Нету слез. Она уже выплакала их все — в первый час, как узнала. Но слезы ее высохли, она не думает ни о чем, не слышит ничего, не видит никого. Словно люди говорят где-то далеко-далеко, о чем-то, что ее совсем не касается. Она смотрит на свечу, плывущую по воде. Все как-то затуманилось у нее в мозгу, она словно и плохо помнит, что произошло. Ей хочется только увидеть Гуму в последний раз, увидеть его тело, взглянуть в его глаза, поцеловать его губы. Не важно, что тело его уже изуродовано и вздуто, не важно, что раки уже пожирают его. Не важно: Ливия хочет видеть своего мужа, единственного мужчину, которого любила. И внезапно она приходит в себя и начинает понимать, что произошло. Начинает понимать... Никогда уж больше не будет лежать она рядом с ним на палубе «Крылатого бота». Никогда уж больше не увидит, как курит он свою

трубку, рассказывая о чем-то своим неторопливым голосом. Останется только его история — одна из многих, которые помнит старый Франсиско. Ничего больше не останется от него. Даже сына не останется, ибо сын пойдет другим путем, подыметя в верхний город, забудет пристань, паруса, море-океан, которое так любил его отец. Ничего не останется от Гумы. Только история, которую старый Франсиско оставит в наследство морякам, когда настанет наконец его черед уйти в вечное плавание с Жанаиной...

Свеча остановилась. Манека Безрукий бросается в воду. Плывет, ныряет. Безрезультатно. Но свеча неподвижна на волнах. Голова Манеки показывается из воды:

— Я ничего не нахожу.

Шкипер Мануэл тоже ныряет. Ничего... Манека Безрукий вскарабкался на палубу. Свеча стоит на воде, не двигаясь с места. Мануэл плывет, ныряет, ищет в самой глубине. Нет тела Гумы. Исчезло. Старый Франсиско говорит с убеждением:

— Здесь, это точно.

Теперь ныряют Манека и Мануэл одновременно. Ничего... Выплыли. Старый Франсиско сдергивает рубаху и бросается в воду. Он уверен, что это здесь.

Но и старый Франсиско ничего не нашел. Ветер пробегает по волнам, и свеча плывет дальше. Пловцы возвращаются на палубу. Старый Франсиско не теряет надежды:

— Он был здесь, но теперь уже далеко.

Ливия опустила руки. Она знала, что должна отыскать тело Гумы. Больше она ничего не знала и не хотела знать. Она должна увидеть его в последний раз, проститься с ним. Тогда она сможет уйти отсюда навсегда, повернуться спиной к морю, пристани и парусам.

Свеча плывет теперь далеко от них. Судно старается нагнать ее. Доктора Родриго уже охватывает нетерпение — слишком долго плывет эта свеча. Он не верит в подобные приметы, насмехается над ними, но люди рядом с ним полны такой веры, такой надежды, что он в конце концов подпадает под их влияние и теперь тоже неотрывно следит за свечой. И первый кричит:

— Остановилась!

— Вон там, — указывает Франсиско.

Снова ищут, снова ныряют и снова безрезультатно. Да и свеча остановилась ненадолго, вот уж плывет дальше. И они продолжают свой путь — бот медленно движется за свечой.

...Никогда больше не обнимет он ее на палубе «Крылатого». Никогда больше не станут они слушать вместе песни моря. Необходимо найти тело Гумы — для того хоть, чтоб в последний разплыли они вместе на палубе своего бота. Он умер, спасая двоих, — это самая геройская смерть для моряка, такой смертью умирают излюбленные сыны Иеманжи. Он оставил по себе красивую славу, мало было таких храбрых и ловких капитанов, как он. Но Ливия не хочет предаваться воспоминаниям. Ее глаза следят за свечой, которая все плывет, плывет, все ищет, ищет бесполезно, вместе с людьми. Малыш дома, верно, плачет, зовет ее и отца. Роза Палмейрао, верно, украдкой вытирает глаза, она ведь любила Гуму как сына. Голова Ливии бессильно падает на сложенные руки. Доктор Родриго осторожно касается ее волос — и снова наступает тишина.

Шкипер Мануэл зажигает трубку. Мария Клара обнимает Ливию, пытается утешить: «Такова наша судьба». Мария Клара родилась на море, жила всегда у моря. Для нее это закон, беспощадный закон: приходит такой день, когда мужчина навек остается в морских волнах, погибает вместе с затонувшим кораблем. А женщина ищет тело мужа и ждет, пока вырастет сын, чтобы увидеть и его гибель. Но Ливия не родилась на пристани. Она пришла из города, пришла из другой судьбы. Длинная дорога моря не была ее дорогой. Она вступила на эту дорогу из-за любви, потому-то и не умеет она смириться. Она не может принять этот закон моря как неизбежность, подобно Марии Кларе. Она боролась, она почти уж победила. Почти уж победила... Все было так близко... Рыдания разрывают грудь Ливии.

Старый Франсиско опустил голову. Мария Клара сжимает руку Мануэла, словно желая защитить его от грозящей и ему смерти. Словно смерть витает вокруг них. Воды моря спокойны, для Ливии они мертвы — стоячая вода, свинцовое море, мертвое море.

Свеча снова останавливается. Вечер опускается, солнце село. Мануэл снова ныряет. За ним — Манека Безрукий и старый Франсиско. Подымаются на палубу. Мокрое платье прилипло к телу. Темнеет. Манека говорит:

— Может, он вернется ночью. Они всегда возвращаются ночью...

— Вернется обязательно, — подтверждает старый Франсиско.

Доктор Родриго делает Ливии укол. Она и сама — как мертвая. На берегу кто-то поет старую песню:

Он остался навеки в волнах.

Ливия открывает глаза. Из таинства внезапно упавшей ночи долетает до нее печальная песня:

Мой любимый ко мне не вернется,  
он остался в зеленых волнах.

Ливия слушает. Он остался в зеленых волнах... Мария Клара бережно поддерживает ее. «Крылатый бот», уже на якоре у причала, тихонько покачивается на воде. Но того, кто управляет им, нет — он остался в зеленых волнах. Песня заполняет пристань, камнем падает на спины людей, выпрыгивающих на берег. Ночь наступила.

## НОЧЬ ДАНА ДЛЯ ЛЮБВИ

Дома ждала Ливию мать Гумы. Она появилась внезапно, без предупреждения. Рассказала Ливии, что видела сына всего один раз, много лет тому назад. Теперь она была совсем старая, хромая, полуслепшая.

— Я живу почти что на милостыню. Знакомые помогают...

Она не решилась признаться, что работает прислугой в публичном доме. Старый Франсиско заметил, насколько она постарела. Почти двадцать лет прошло с тех пор, как она появилась однажды в порту, разыскивая сына. Она хотела тогда увезти Гуму, он не отпустил мальчика. Если б она увезла его, было б, может, лучше. Наверняка Ливии не пришлось бы теперь плакать, а малыш не остался бы так рано без отца. Но судьба есть судьба, ее не изменишь.

Роза Палмейрао появилась в дверях комнаты и сказала, что Ливии необходимо хоть немного поесть. Мать Гумы спросила:

— Не нашли его, нет?

— Нет.

— Тогда я завтра утром зайду. Мне нельзя задерживаться.

И она ушла. Почти слепая, находя дорогу ощупью в темноте. Одна луна светила ей в пути. Ливия прижала к груди сына и так застыла на долгое время. Тетка и дядя

молча смотрели на нее. Тетка тихонько плакала. Роза Палмейрао молча поставила на стол ужин, к которому никто не притронется.

\* \* \*

В четвертый раз араб Туфик заходит в дом Ливии. Роза Палмейрао встречает его:

— Она уже вернулась, сеу Туфик.

Араб входит в комнату. Здесь предложил он Гуме участвовать в контрабандных делах. Здесь предложил ему смерть... Ливия появляется. Туфик встает ей навстречу, не зная что сказать. Она ждет, молча.

— Он был честный и храбрый.

Молчание. Глаза Ливии словно устремлены вдаль, кажется, что она ничего не видит и не слышит. Араб продолжает:

— Он спас мне жизнь, Антонио он тоже спас. Не знаю, как и...

Ему так трудно еще и потому, что эти слова надо произносить на чужом языке.

— Вам что-нибудь нужно?

— Ничего.

— Вот то, что посылает вам сеу Мурад. Он сказал, что в любой момент, когда он может быть вам полезен, вы найдете в нем друга.

Туфик кладет деньги на стол. Мнет папку в руках. У него не хватает духу предупредить Ливию, чтоб никому ничего не рассказывала о контрабандных делах. Медленно пятится к двери.

— Доброй ночи.

И Туфик опрометью выбегает на улицу, чуть не сбив с ног прохожего, чувствуя комок в горле и неудержимое желание плакать.

\* \* \*

В домах, где в тот день, в час обеда, включили радио, наставив на одну из радиостанций Баии, люди услышали, как диктор произнес:

«Люди с пристани просят набожных сеньор прочесть «Отче наш», прося господу, чтоб удалось отыскать тело моряка, утонувшего прошлой ночью».

Одна молоденькая девушка (жених которой был лоцман) вскрикнула, выскочила из-за стола, заперлась у себя в комнате и начала истово молиться.



Родолфо пришел, когда все собирались уходить. Он только что узнал, весь день он проспал где-то. Он присоединился к тем, кто отправлялся на поиски. На сей раз вышли два парусника, Манека Безрукий вел «Крылатый бот». С ним были Родолфо и старый Франсиско. Другие шли на «Вечном скитальце». Парусники взяли курс на порт Санто-Антонио.

Свеча покачивалась на воде там, где ее оставили прошлый раз. Парусники пошли вместе, рядом. В ночь тысячи звезд свеча поплыла по морю, ища тело погибшего.

Все глаза жадно следуют за ее движением. Она плывет медленно, заплывая то в одну, то в другую сторону, не останавливаясь. На обоих судах паруса спущены. Луна бледным светом ударяет в их корпуса. Ночи на море, прекрасные, как эта, даны для любви. В такие ночи женщин, особенно страшящихся за жизнь своих мужей, ждет большая любовь. Сколько ночей, подобных этой... — Ливия, уронив голову на грудь, все вспоминает и вспоминает, — сколько ночей, подобных этой, провела она возле Гумы, и голова любимого склонялась к ее плечу, и огонек его трубки смешивался со светом тысячи звезд... Когда он возвращался штормовой ночью, бывшей всегда для Ливии ночью страдания, они вместе шли на палубу своего судна и обнимали друг друга под дождем, при свете молний. И страсть и нежность мешались со страхом и со страданием. Откуда это страдание? Из уверенности, твердой уверенности в том, что он не вернется после какой-нибудь бури. Эта уверенность делала ее любовь такой стремительной, порывистой. Он погибнет в море, она уверена была в этом. Поэтому каждый раз она обнимала и целовала его так, словно это последний раз. Штормовые ночи, ночи смерти, были для них ночами любви. Ночи, когда стоны любви летели над морем-океаном, как вызов... Они особенно страстно любили друг друга в бурю. В ночи, черные от грозовых туч, в ночи, лишённые звезд, когда луна покидает осиротелое небо, они обнимали друг друга на палубе, и любовь их имела вкус разлуки и гибели. В такие ночи, когда ветер властвует надо всем вокруг, когда норд-ост или свирепый южный дико воют над морем, потрясая сердца жен моряков, в такие ночи они прощались друг с другом, словно уж и не суждено им встретиться вновь. Даже в первый раз, когда они были еще не венчаны, они обнимали друг друга

так, словно через несколько дней должно им было расстаться навеки. Было то на реке Парагуасу, близко от тех мест, где появлялся конь-призрак...

Снова ныряет Мануэл, Манека Безрукий снова бросается в воду с борта «Крылатого». Свеча остановилась. Родолфо сдергивает с себя пиджак, он сейчас тоже бросится в море. И вот уже трое пловцов рядом разрезают воду, зеленоватую в эти ночные часы. Мануэл первый показывается на поверхности:

— Он не вернулся еще.

Если он вернется сегодня ночью, думает Ливия, они снова нежно обнимут друг друга, ведь ночь так хороша, вся пронизана звездами, а луна так щедро льет свой желтый свет. Такие ночи он любил проводить на палубе, куря свою трубку. Она лежала, раскинув руки, на досках, они вместе слушали песню, доносившуюся бог весть откуда. С другого парусника, с чьей-нибудь лодки, со старого форта, кто знает? Потом она подходила к нему и прятала голову на его широкой, крепкой груди. Слушала его рассказы о последних рейсах, его планы на будущее — и оба тянулись друг к другу робко, как в первый раз. Долго глядели на море, соглашаясь с песней, что море — ласковый друг и что ночь дана для любви. И тела их сливались в одно без борьбы и криков, тихо. Глубокий голос негра, поющего вечную песню моря, голос, полный чувства, полный тоски, веял над ними. Так бывало в ночи, подобные этой... Но он не вернется, он отправился в последнее плавание, предназначенное лишь морякам-героям — в плавание к землям Айока. «Остался навеки в волнах» — поется в песне. Судьба людей моря вся расписана в песнях.

Доктор Родриго курит сигарету за сигаретой. Трубка старого Франсиско погасла. Он просит огня:

— Дадите мне огня, доктор?

В трюме «Крылатого бота» шкипер Мануэл и Манека Безрукий, насквозь промокшие, разговаривают с Родолфо. Он отходит от них и перепрыгивает на палубу «Вечного скитальца». Ему хочется быть поближе к Ливии. Тихо приблизясь, он проводит по ее лицу рукой, на которой еще не высохла морская вода.

— Что ж теперь будет, Ливия?

Она смотрит на брата, не понимая. Она еще не до конца поняла, что все переменилось.

— Ты переедешь к дяде с теткой, да? Знаешь, Мануэл и Манека хотят взять напрокат твой бот, даже купить,

если ты согласишься продать в рассрочку. Это лучший выход для тебя.

Ливия поворачивает голову, смотрит на «Крылатый бот». Хорошее судно, одно из самых быстрых в порту. Лучше не сыщешь. С какой гордостью Гума всегда говорил это: «Лучше не сыщешь!..» Он любил свой бот, он купил его для сына, он умер, чтоб сохранить его. А теперь она его продаст, отдаст другому человеку все, что осталось на море от ее Гумы... Это все равно, что продать свое тело, отдаться другому мужчине.

— Я должна подумать.

Роза Палмейрао сегодня вечером говорила, что судьба у каждого своя и ее нельзя изменить... Ливия запомнила эти слова. Нельзя изменить... Ливия повернулась к брату:

— У Мануэла большой груз?

— Ко дву тянет...

— Спроси его потом, не может ли он передать часть мне.

— А кто поведет судно?

— Я.

— Ты?!

Родолфо не понимает ее. Да и кто ее поймет? Один старый Франсиско понял все. И его охватывает яростная досада на свою старость. Если б не проклятая старость, встал бы он сейчас за руль и... Ливия смотрит на «Крылатого» и чувствует глубокую нежность к нему. Продать его было бы все равно, что продать свое тело. И бот и тело ее принадлежали Гуме, нельзя их продавать.

\* \* \*

Свеча остановилась впереди парусников. Родолфо нырнул, Франсиско последовал его примеру — старику тоже хочется быть полезным. Доктор Родриго смотрит на Ливию, не сводящую глаз с пловцов. Есть еще многое, чего доктор Родриго не понимает. Но он понимает, что решимость Ливии не идти на улицу, не продавать себя, а связать свою судьбу с тяжелым промыслом моряка — это тоже часть того чуда, какого ждет донна Дулсе. И чудо это начинает свершаться...

Внезапно послышался далекий гудок корабля. Мануэл промолвил:

— Просят помощи.

Ночь, однако, была спокойна и светла. А гудки и сигналы SOS, посылаемые заблудившимся кораблем, слышались

все чаще и явственней. Заблудившийся корабль... Заблудился, как тело Гумы, которое люди разыскивают в море по слабому огоньку свечи. Корабль, сбившийся с пути, не умеющий отыскать свой порт... Все глаза поворачиваются в ту сторону, откуда, как кажется, слышатся гудки. Протяжные, печальные, словно незнакомый корабль посылает в лунную ночь скорбные жалобы на свою судьбу.

Те, кто искал тело Гумы, поднимаются на палубу. Свеча снова поплыла вперед. Доктор Родриго кусает потухшую сигарету. Буксир проходит вдалеке — на помощь кораблю. Шкипер Мануэл делится своими сомнениями с доктором: «Ума не приложу...»

Мария Клара растянулась в уголке на палубе. Для нее тоже все это очень тяжело. Она вспоминает ночь, когда погиб Жакес. Она плакала тогда, обвинившись с Ливией, они были как две сестры. Когда придет день и для ее мужа? Когда и его тело станут так вот искать в мертвом море?.. Свет буксира исчезает вдалеке.

Родолфо оборачивается к Ливии:

— Он спрашивает, не возьмешь ли ты рейс в Итапарку на завтра, с утра. У него там много груза...

— Согласна.

Парусники качаются на тихой воде почти без волн.

\* \* \*

В полночь свеча вдруг поплыла быстрее и ушла далеко-далеко. Парусники спешили за ней. Снова бросились в воду Мануэл, старый Франсиско и Родолфо. Манека Безрукий был наготове, чтоб помочь им, если найдут тело. И подумал, что Гума, наверно, уж весь вздулся, полон шевелящихся раков, неузнаваем. Он провел рукой по лицу, чтоб отогнать видение...

В этом месте волны были выше. Снова, в последний раз, послышался гудок корабля. Но теперь он гудел по-другому, словно с надеждой,— заметили, видно, буксир... Пловцы снова поднялись на палубу, ничего не найдя. Свеча вдруг принялась описывать круги вокруг обоих парусников. Ливия опустила голову на руки. Желание видеть Гуму, ощущать его тепло, чувствовать соленый вкус моря на его губах, слышать его голос, целиком завладело ею. Вся во власти этого желания, сейчас только поняла она окончательно, что никогда уж больше его не будет, никогда уж

больше не будет тех дней и тех ночей... И слезы потекли обильным потоком... Мария Клара, бросившаяся утешать, тоже заплакала, уверенная, что когда-нибудь и ее настигнет такое же горе...

Свеча быстро кружится по воде, быстрая волна сваливает ее, блюдо опрокидывается и тонет. Старый Франсиско замечает:

— Незачем искать больше. Он не появится больше. Если свеча перевернулась...

Спускают паруса. Ливия уронила голову на грудь. Ветер, пролетая, шевелит ей волосы. Она смешала свои слезы с водой моря, она безраздельно принадлежит теперь морю, ибо там — Гума. И чтоб вновь и вновь почувствовать его присутствие, она должна быть вблизи моря. Здесь найдет она его всегда в ночи, что даны для любви. Сквозь слезы видит она тяжелую, маслянистую воду моря. Родолфо весь так и тянется к ней, страстно ища, чем утешить. Доктор Родриго сжимает пальцы, ему хочется, чтоб все это поскорей кончилось и все перестали наконец страдать. Но он знает, что Ливия никогда не перестанет страдать. И кушает потухшую сигарету.

\* \* \*

В море встретит она Гуму для ночей любви. На палубе, под ветром, вспомнит другие ночи, и слезы ее будут без отчаяния.

## ЧАСЫ НОЧИ

Ливия, сжавшая руки. Ливия, погруженная в молчание. Холод пронизывает ее тело. Но с моря слышится песня — она несет тепло, даже радость.

Ее муж далеко, он погиб в море. Ливия словно вся из льда, блестящие влажные волосы сбегают ей на плечи. Нет, она не увидит мертвое тело Гумы, его устали искать, следуя за свечой, плывущей в тяжелых, маслянистых волнах остановившегося, запретного для всех моря, запретного, как тело Ливии.

Многие кружили у ее двери. У ее тела без хозяина, у ее прекрасного тела. Ливия, всеми желаемая, сжала руки и погрузилась в молчание. Ни одного горестного крика не вырвалось у нее. Смуглая грудь дышала ровно. Теплый го-

лос негра, поющего знакомую песню в часы ночи, согривал ее, как и прежде:

О, как сладко в море умереть...

Ни одного горестного крика... Только холод, пронизывающий насквозь, и видение мертвого моря с маслянистыми, словно покрытыми нефтью, волнами, под которыми, где-то глубоко-глубоко, плывет тело Гумы — корабль без руля. Рыбы ведут вокруг него свои хороводы. Иеманжа плывет с ним рядом, укрывая его своими волосами. Она возьмет его в путешествие к землям дальним, какие привелось увидеть лишь морякам с больших океанских кораблей. Он посетит вместе с нею самые прекрасные тайники моря. И будет продолжать свой путь, как моряк, ищущий в море свой порт.

Ливия смотрит на мертвое море со свинцовой водою. Море без волн, тяжелое, маслянистое, как нефть. Где твои корабли, твои моряки и утопленники, мертвое море? Море рыданий, где твои вдовы, почему не идут на твои берега плакать о погибших мужьях? Где младенцы, затерявшиеся среди волн твоих в ночи бурь? Где паруса опрокинувшихся шхун, проглоченных тобою? Где мертвое тело Гумы, чьи длинные черные волосы так часто расстилались по синим твоим волнам, когда он, живой, плыл к берегу, спасая других?.. По свинцовым, тяжелым водам мертвого моря из нефти бежит, как призрак, свет маленькой свечи, ищущей тело того, кто умер. Нет, не только он умер — само море умерло, превратилось в нефть, остановилось, не рождает ни одной волны. Мертвое море, не отражаются звезды в тяжелых твоих волнах...

Если встанет большая луна, то желтый ее свет побежит по волнам мертвого моря, ища, вместе с маленькой свечой, тело Гумы — моряка с длинными черными волосами, что ушел по далекой тропе моря к Землям без Кюнца и без Края — к дальним берегам Айюка.

Ливия смотрит из своего окна на мертвое море без лунной полосы. Зарождается рассвет. Мужчины, бесцельно кружащие у ее двери, у ее тела без хозяина, расходятся по домам. Теперь все — таинство. Песня смолкла. Мало-помалу вещи вокруг оживают, жизнь возвращается, люди поднимают головы. Рассвет разливается над мертвым морем.

Только Ливия по-прежнему чувствует холод в сердце и во всем теле. Для Ливии ночь продолжается — беззвездная ночь над мертвым морем.

## ЗВЕЗДА РАССВЕТА

Дона Дулсе смотрит из окна школы на улицу. Ночь еще противится рассвету. Парусники выходят в плавание. Сын Ливии остался дома, с теткой. Роза Палмейрао снова заткнула за пояс нож и спрятала кинжал на груди. Она кажется мужчиной на палубе «Крылатого бота». Но Ливия осталась женщиной, хрупкой женщиной.

Первым разрезает волны «Вечный скиталец». Мария Клара поет песню пристани. В песне говорится о любви и разлуке. Шкипер Мануэл прокладывает путь «Крылатому боту» и, обернувшись, смотрит, как там управляется Ливия. Роза Палмейрао стоит у руля, Ливия подымает паруса своими тонкими маленькими руками. Волосы ее стелются по ветру, она стоит, выпрямившись, глядя прямо перед собой — в море. Шкипер Мануэл дает ей обогнать его, он пойдет сзади, сопровождая «Крылатый бот».

Морские птицы летают вокруг паруса, почти задевая крылом волоса Ливии. Она стоит, прямая, строгая, и думает, что в следующий рейс надо взять с собою сына, его судьба — море. Голос Марии Клары смолкает, внезапно оборвав мелодию, ибо в набирающем силу рассвете песня негра летит далеко над таинственным морем:

Привет тебе, звезда рассвета...

Звезда рассвета... На пристани, у причала, стоит старый Франсиско, задумчиво качая головой. Как-то раз, давным-давно, когда свершил он такое, чего не совершал до него ни один моряк, он увидел Иеманжу, властительницу моря. И разве это не она стоит сейчас, такая прямая и строгая, на палубе «Крылатого бота»? Разве не она? Да, это она. Это Иеманжа ведет «Крылатого». И старый Франсиско кричит всем на пристани:

— Смотрите! Смотрите! Это Жанаина!

Все смотрят и видят. Дона Дулсе тоже смотрит из окна школы. Смотрит и видит. Видит женщину, сильную духом, которая борется. Борьба — это и есть то чудо, какого ждет дона Дулсе. И чудо это начинает свершаться. Моряки, бывшие в этот час на пристани, увидели Иеманжу, богиню с пятью именами. Старый Франсиско кричал от волнения — это второй раз в жизни он увидел ее.

Так рассказывают на морских пристанях.

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>И. Тертерян. Предисловие . . . . .</i>	5
<i>Жубнаба. Перевод И. Чежеговой и Е. Голубевой . . . . .</i>	25
<i>Мертвое море. Перевод Инны Тыняновой . . . . .</i>	303



## Амаду, Жоржи.

А 61 Жубиаба. Мертвое море. Пер. с португ. Предисл. И. Тертерян. М., «Худож. лит.», 1973.

544 с.

Романы «Жубиаба» и «Мертвое море» относятся к раннему периоду творчества Жоржи Амаду. Оба романа вдохновлены Банией — городом, где родился и жил писатель, и, по отзывам критиков, в них звучит «сама Бразилия, сама поэзия, сама жизнь».

Роман «Жубиаба» — фольклорный, он построен по принципу баллады и весь пронизан мотивами и символами народной поэзии. «Мертвое море» — лирическая поэма в прозе, посвященная бесстрашным людям моря.

7-3-4

И (Латин)

189-73

*Жоржи Амаду*

**ЖУБИАБА. МЕРТВОЕ МОРЕ**

**Романы**

Редактор *Л. Бревверн*

Художественный редактор *Д. Ермоленко*

Технический редактор *Л. Робионова*

Корректоры *З. Тихонова* и *Н. Усольцева*

Сдано в набор 12/X 1972 г. Подписано в печать 1/II 1973 г. Бумага типографская № 1. 84×108/32. 17 печ. л. 28,56 усл. печ. л. 29,39 уч.-изд. л. Тираж 75 000 экз. Заказ 3286. Цена 1 р. 77 к.

Издательство «Художественная литература»  
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени  
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова  
Союзполиграфпрома при Государственном комитете  
Совета Министров СССР по делам издательств,  
полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54,  
Валовая, 28

Цена 1 р. 77-к.

